



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



Это цифровая копия книги, хранящейся для потомков на библиотечных полках, прежде чем ее отсканировали сотрудники компании Google в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских прав на эту книгу истек, и она перешла в свободный доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были поданы авторские права или срок действия авторских прав истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется по-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все пометки, примечания и другие записи, существующие в оригинальном издании, как напоминание о том долгом пути, который книга прошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использования

Компания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы предприняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические записи.

Мы также просим Вас о следующем.

- Не используйте файлы в коммерческих целях.
Мы разработали программу Поиск книг Google для всех пользователей, поэтому используйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отправляйте автоматические записи.
Не отправляйте в систему Google автоматические записи любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного перевода, оптического распознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может оказаться полезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный доступ.
- Не удаляйте атрибуты Google.
В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти дополнительные материалы при помощи программы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
Независимо от того, что Вы используете, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную ответственность. Не думайте, что если книга перешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в определенном случае использовать определенную книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг Google, то ее можно использовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских прав может быть очень серьезным.

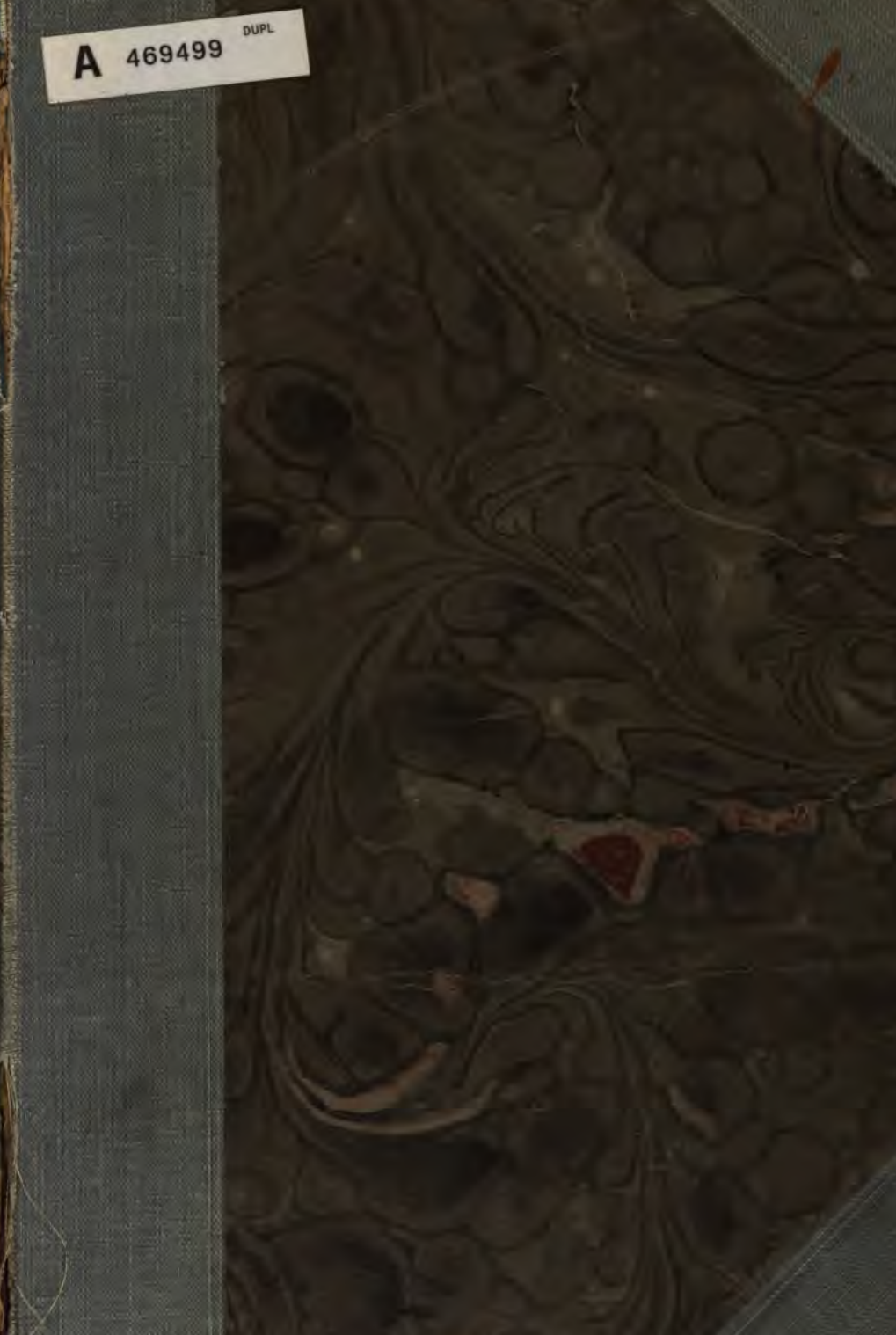
О программе Поиск книг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. Программа Поиск книг Google помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый поиск по этой книге можно выполнить на странице <http://books.google.com/>

A

469499

DUPL







PROPERTY OF

*The
University of
Michigan
Libraries*

1817

ARTES SCIENTIA VERITAS

444
Изданіе товарищества „ЗНАНІЕ“ (Спб. Невскій, 92).

XVII.

СБОРНИКЪ

ТОВАРИЩЕСТВА „ЗНАНІЕ“ ЗА 1907 ГОДЪ.

КНИГА СЕМНАДЦАТАЯ.

СОДЕРЖАНІЕ:

М. Горькій. Мать.
А. Черемазовъ. Стихотворенія.
В. Вересаевъ. На войнѣ.
Н. Гаринъ. Инженеры.

Библиотечка

10965

Цѣна 1 рубль.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

1907.

891.708
S3
25.17

Типографія Спб. акц. общ. „СЛОВО“. Ул. Жуковскаго, 21.



ОГЛАВЛЕНІЕ:

	Стр.
М. Горькій. Мать	1
А. Черемновъ. Стихотворенія	67
В. Вересаевъ. На войнѣ	79
Н. Гаринъ. Инженеры.	209



М. ГОРЬКІЙ.

МАТЬ.

(Продолженіе).

М. Горькій. Мать.

За англійскимъ изданіемъ этой повѣсти, выпущенной фирмой

Appleton and Company,

436 Fifth Avenue, New-York,

или ея уполномоченными,

закрѣплены всѣ права оригинала. Оно пользуется защитой законовъ
объ авторскихъ правахъ въ Соединенныхъ Штатахъ Америки, въ
Великобританіи и другихъ странахъ, гдѣ говорятъ по-англійски.

Во избѣжаніе недоразумѣній, гг. переводчиковъ просятъ предва-
рительно обращаться къ указанной фирмѣ, или къ представителю
автора въ Россіи, Ив. Павл. Ладыжникову, адресъ котораго:

Berlin W, 15, Uhlandstrasse, 145;

„Bühnen-und-Buch-Verlag russischer Autoren

J. Ladyschnikow“.

XI.

...Сѣрый, старенькій домъ Власовыхъ притягиваль къ себѣ вниманіе слободки все болѣе и болѣе, и хотя въ этомъ вниманіи было много подозрительной осторожности и бессознательной вражды, но, въ то-же время, зарождалось и довѣрчивое любопытство. Иногда приходилъ какой-то человѣкъ и, осторожно оглядываясь, говорилъ Павлу:

— Ну-ка, братъ, ты тутъ книги читаешь, законы-то извѣстны тебѣ. Такъ вотъ, объясни ты...

И рассказываль Павлу о несправедливости полиціи или администраціи фабрики. Въ сложныхъ случаяхъ, Павелъ давалъ человѣку записку въ городъ къ знакомому адвокату, а когда могъ—объяснялъ дѣло самъ.

Постепенно въ людяхъ возникало уваженіе къ молодому, серьезному человѣку, который обо всемъ говорилъ просто и смѣло и почти никогда не смѣялся, глядя на все и все слушая со вниманіемъ, которое упрямо рылось въ путаницѣ каждаго частнаго случая и всегда, всюду находило какую-то общую, безконечную нить, тысячами крѣпкихъ петель связывавшую людей.

Власова видѣла, какъ сынъ ея выросталъ, она начинала чувствовать смыслъ его работы и, когда это удавалось ей,—радовалась дѣтскою радостью.

Особенно поднялся Павель въ глазахъ людей послѣ исторіи съ „болотной копѣйкой“.

За фабрикой, почти окружая ее гнилымъ кольцомъ, тянулось обширное болото, поросшее ельникомъ и березой. Лѣтомъ оно дышало густыми, желтыми испареніями, и на слободку съ него летѣли тучи комаровъ, сѣялихорадки. Болото принадлежало фабрикѣ—и новый директоръ, желая извлечь изъ него пользу, задумалъ осушить его, а кстати и выбрать торфъ. Указывая рабочимъ, что эта мѣра оздоровитъ мѣстность и улучшить условія жизни для всѣхъ, директоръ распорядился вычитать изъ ихъ заработка копѣйку съ рубля на осушеніе болота.

Рабочіе заволновались. Особенно обидѣло ихъ, что служащіе не входили въ число плательщиковъ новаго налога.

Павель былъ боленъ въ субботу, когда вывѣсили объявленіе директора о сборѣ копѣйки; онъ не работалъ и не зналъ ничего объ этомъ. На другой день, послѣ обѣдни, къ нему пришелъ благообразный старикъ, литейщикъ Сизовъ, высокій и злой слесарь Махотинъ и рассказали ему о рѣшеніи директора.

— Собрались мы, которые постарше,—степенно говорилъ Сизовъ,—поговорили объ этомъ и вотъ, послали насъ товарищи къ тебѣ спросить,—какъ ты у насъ человѣкъ знающій, — есть такой законъ, чтобы директору нашей копѣйкой съ комарами воевать?

— Сообрази! — сказалъ Махотинъ, сверкая узкими глазами.—Четыре года тому назадъ они, жулье, на баню собирали. Три тысячи восемьсотъ было собрано... Гдѣ онѣ? Бани—нѣтъ!

Павель объяснилъ несправедливость налога и явную выгоду этой затѣи для фабрики; они оба нахмурившись ушли. Проводивъ ихъ, мать сказала, усмѣхаясь:

— Вотъ, Паша, и старики стали къ тебѣ за умомъ ходить.

Не отвѣчая, озабоченный, Павелъ сѣлъ за столъ и началъ что-то писать. Черезъ нѣсколько минутъ онъ сказалъ ей:

— Я тебя попрошу: сейчасъ же поѣзжай въ городъ, отдай эту записку...

— Это опасное?—спросила она.

— Да. Тамъ печатаютъ для насъ газету... Необходимо, чтобы исторія съ копѣйкой попала въ номеръ...

— Ну-ну!—отозвалась она, поспѣшно одѣваясь.—Я сейчасъ...

Это было первое порученіе, данное ей сыномъ. Она обрадовалась тому, что вотъ онъ открыто сказалъ ей, въ чемъ дѣло, и она можетъ быть прямо полезна ему.

— Это я понимаю, Паша!—говорила она. — Это ужъ они грабятъ!.. Какъ человѣка-то зовутъ, Егоръ Ивановичъ?

Она воротилась поздно вечеромъ, усталая, но довольная.

— Сашеньку видѣла!—говорила она сыну. — Кланяется тебѣ. А этотъ Егоръ Ивановичъ простой такой... шутникъ! Смѣшно онъ говорить.

— Я радъ, что они тебѣ нравятся!—тихо сказалъ Павелъ.

— Простые люди, Паша! Хорошо, когда люди простые... И всѣ уважаютъ тебя...

— Въ понедѣльникъ Павелъ снова не пошелъ работать, у него болѣла голова. Но въ обѣдъ прибѣжалъ Федя Мазинъ, взволнованный, счастливый и, задыхаясь отъ усталости, сообщилъ:

— Идемъ! Вся фабрика поднялась. За тобой послали... Сизовъ и Махотинъ говорятъ, что ты лучше всѣхъ можешь объяснить... Что тамъ дѣлается!.. Бабы приобѣжали, — визжать!

Павелъ молча сталъ одѣваться.

— Я тоже пойду!—заявила мать.—Ты нездоровъ и... все. Что они тамъ затѣяли?.. я пойду!

— Иди!—кратко сказалъ Павелъ.

По улицѣ шли быстро и молча. Мать задыхалась отъ ходьбы и волненія, она чувствовала—надвигается что-то важное... Въ воротахъ фабрики стояла толпа женщинъ, крикливо ругаясь. Когда они трое проскользнули во дворъ, то сразу попали въ густую, черную, возбужденно гудѣвшую толпу. Мать видѣла, что всѣ головы были обращены въ одну сторону, къ стѣнѣ кузнечнаго цѣха, тамъ на грудѣ стараго желѣза и фонѣ краснаго кирпича стояли, размахивая руками, Сизовъ, Махотинъ и Вяловъ и еще человѣкъ пять пожилыхъ, вліятельныхъ рабочихъ.

— Власовъ идетъ!—крикнулъ кто-то.

— Власовъ? Давай его сюда...

Павла схватили, толкнули впередъ и мать осталась одна.

— Тише!—кричали сразу въ нѣсколькихъ мѣстахъ.

И гдѣ-то близко раздавался ровный голосъ Рыбина:

— Не за копѣйку надо стоять, а за справедливость, вотъ! Дорогá намъ не копѣйка наша, она не круглѣе другихъ, но она тяжелѣе—въ ней крови человѣческой больше, чѣмъ въ директорскомъ рублѣ, вотъ! И не копѣйкой дорожимъ,—кровью, правдой, вотъ!

Слова его сильно падали на толпу и высѣкали горячія восклицанія:

— Вѣрно! Такъ, Рыбинъ!

— Тише, дьяволы!

— Правильно, кочегаръ!

— Власовъ пришелъ!

Заглушая тяжелую возню машинъ, трудные вздохи пара и шелестъ проводовъ, голоса сливались въ шумный вихрь. Отовсюду торопливо бѣжали люди и, размахивая руками, вступали въ споръ, разжигая друга друга горячими колкими словами. Безысходное раз-

драженіе, всегда дремотно таившееся въ усталыхъ грудяхъ, просыпалось, требовало выхода и, вырываясь изъ усть, торжествуя летало по воздуху, все шире расправляя темныя крылья, все крѣпче охватывая людей, увлекаая ихъ за собой, сталкивая другъ съ другомъ, перерождаясь въ пламенную злобу. Надъ толпой колыхалась туча копоти и пыли, облитыя потомъ лица горѣли и кожа щекъ плакала черными слезами. На темныхъ лицахъ сверкали глаза, блестяи зубы.

Тамъ, гдѣ стояли Сизовъ и Махотинъ, появился Павелъ, и прозвучалъ его крикъ.

— Товарищи!

Мать видѣла, что лицо у него поблѣднѣло и губы дрожать; она невольно двинулась впередъ, расталкивая толпу. Ей раздраженно говорили:

— Куда лѣзешь, старуха!

Толкали ее. Но это не останавливало женщину раздвигая людей плечами и локтями, она медленно протискивалась все ближе къ сыну, повинуюсь желанію встать рядомъ съ нимъ.

А Павелъ, выбросивъ изъ груди слово, въ которое онъ привыкъ вкладывать глубокий и важный смыслъ почувствовалъ, что горло ему сжала острая спазма боевой радости; его охватило необоримое желаніе отдать себя силѣ своей вѣры, бросить людямъ свое сердце, зажженное огнемъ мечты о правдѣ.

— Товарищи! — повторилъ онъ, черпая въ этомъ словѣ восторгъ и силу. Мы—тѣ люди, которые строятъ церкви и фабрики, куютъ цѣпи и деньги... мы—та живая сила, которая кормить и забавляетъ всѣхъ отъ пеленокъ до гроба...

— Вотъ!—крикнулъ Рыбинъ.

— Мы всегда и вездѣ—первые въ работѣ и на послѣднемъ мѣстѣ въ жизни. Кто заботится о насъ? Кто хочетъ намъ добра? Кто считаетъ насъ людьми? Никто!

— Никто!—отозвался, точно эхо, гулкій голосъ.

Павелъ, овладѣвая собой, сталъ говорить проще и спокойнѣе, толпа медленно подвигалась къ нему, складываясь въ темное, тысячеглавое тѣло. Она смотрѣла въ его лицо сотнями внимательныхъ глазъ и всасывала его слова.

— Мы не добьемся лучшей доли, покуда не почувствуемъ себя семьей друзей, крѣпко связанныхъ однимъ желаніемъ, — желаніемъ бороться за наши права.

— Говори о дѣлѣ! — грубо закричали гдѣ-то рядомъ съ матерью.

— Не мѣшай ему! Молчите! — негромко раздались два возгласа въ разныхъ мѣстахъ.

Закопченныя лица хмурились недовѣрчиво, угрюмо, десятки глазъ смотрѣли въ лицо Павла серьезно, вдумчиво.

— Соціалистъ, а не дуракъ! — замѣтилъ кто-то.

— Ухъ! Смѣло говорить! — толкнувъ мать въ плечо, сказалъ высокій, кривой рабочій.

— Пора, товарищи, дать отпоръ жадной силѣ, которая живетъ нашимъ трудомъ, пора защищаться, надо понять, что никто, кромѣ насъ самихъ, не поможетъ намъ! Одинъ за всѣхъ, всѣ за одного — вотъ нашъ законъ, если мы хотимъ одолѣть врага!

— Дѣло говорить, ребята! — крикнулъ Махотинъ — Слушай правду! Слушай!

И широко взмахнувъ рукой, онъ потрясъ въ воздухѣ кулакомъ.

— Надо вызвать директора сейчасъ-же! — продолжалъ Павелъ. — Надо спросить его...

По толпѣ точно вихремъ ударило. Она закачалась, и десятки голосовъ сразу крикнули:

— Директора сюда!

— Пусть объяснитъ!

— Веди его!

— Депутатовъ послать за нимъ!

— Не надо!

Мать протолкалась впередъ и смотрѣла на сына снизу вверхъ. Она была полна гордости. Павелъ стоялъ среди старыхъ, уважаемыхъ рабочихъ, всѣ его слушали и соглашались съ нимъ. Ей нравилось, что онъ спокоенъ и говорить такъ просто, не злится, не ругается, какъ другіе.

Точно градъ на желѣзо, сыпались отрывистыя восклицанія, ругательства, злые слова. Павелъ смотрѣлъ на людей сверху и искалъ среди нихъ чего-то, широко открытыми глазами.

— Депутатовъ!

— Сизовъ пускай говоритъ!

— Власовъ!

— Рыбина! У него зубы страшные!

Наконецъ выбрали для разговора съ директоромъ троихъ: Сизова, Рыбина и Павла, и уже хотѣли послать за нимъ, какъ вдругъ въ толпѣ раздались негромкія восклицанія:

— Самъ идетъ!...

— Директоръ!..

— Ага-а?!

Толпа разступилась, давая дорогу высокому и сухому человѣку, съ острой бородкой и длиннымъ лицомъ.

— Позвольте! — говорилъ онъ, отстраняя рабочихъ съ своей дороги короткимъ жестомъ руки и не дотрагиваясь до нихъ. Глаза у него были прищурены и взглядомъ опытнаго владыки людей онъ испытующе щупалъ лица рабочихъ. Передъ нимъ снимали шапки, кланялись ему; онъ шелъ, не отвѣчая на поклоны, и сѣялъ въ толпѣ тишину и смущеніе, конфузливныя улыбки и негромкія восклицанія, въ которыхъ уже слышалось раскаяніе дѣтей, сознающихъ, что они напалили.

Вотъ онъ прошелъ мимо матери, скользнувъ по ея лицу строгими глазами, остановился передъ грудой

желѣза. Кто-то сверху протянулъ ему руку; онъ не взялъ ея, свободно, сильнымъ движеніемъ тѣла влѣзъ наверхъ, всталъ впереди Павла и Сизова и спросилъ:

— Это что за сборище? Почему вы бросили работу?

Нѣсколько секундъ было тихо. Головы людей покачивались точно колосья. Сизовъ махнулъ въ воздухъ картузомъ, повелъ плечами и опустилъ голову.

— Я спрашиваю!—крикнулъ директоръ.

Павель всталъ рядомъ съ нимъ и громко сказалъ, указывая на Сизова и Рыбина.

— Мы трое уполномочены товарищами потребовать, чтобы вы отмѣнили свое распоряженіе о вычетѣ копѣйки...

— Почему?—спросилъ директоръ, не взглянувъ на Павла.

— Мы не считаемъ справедливымъ такой налогъ на насъ!—громко сказалъ Павель.

— Вы что-же, въ моемъ намѣреніи осушить болото видите только желаніе эксплуатировать рабочихъ, а не заботу объ улучшеніи ихъ быта? Да?

— Да!—отвѣтилъ Павель.

— И вы тоже?—спросилъ директоръ Рыбина.

— Всѣ одинаково!—отвѣтилъ Рыбинъ.

— А вы, почтенный?—обратился директоръ къ Сизову.

— Да и я тоже попрошу: ужъ вы оставьте копѣчку-то при насъ!

И снова наклонивъ голову, Сизовъ виновато улыбнулся.

Директоръ медленно обвелъ глазами толпу, пожалъ плечами. Потомъ испытующе оглядѣлъ Павла и замѣтилъ ему:

— Вы кажетесь довольно интеллигентнымъ человекомъ, — неужели и вы не понимаете пользу этой мѣры?

Павель громко отвѣтилъ:

— Если фабрика осушить болото за свой счет,— это всё поймутъ!

— Фабрика не занимается филантропией!—сухо замѣтилъ директоръ.—Я приказываю всѣмъ немедленно встать на работу!

И онъ началъ спускаться внизъ, осторожно опустывая ногой желѣзо, и не глядя ни на кого.

Въ толпѣ раздался недовольный гулъ.

— Что?—спросилъ директоръ, остановясь.

Всѣ замолчали, только откуда-то издали раздался одинокій голосъ:

— Работай самъ!..

— Если черезъ пятнадцать минутъ вы не начнете работать, я прикажу записать всѣмъ штрафъ! — сухо и внятно отвѣтилъ директоръ.

Онъ снова пошелъ сквозь толпу, но теперь сзади него возникалъ глухой ропотъ, и чѣмъ глубже уходила его фигура, тѣмъ выше поднимались крики.

— Говори съ нимъ!

— Вотъ-те и права! Эхъ, судьбишка...

Обращались къ Павлу, крича ему:

— Эй, законникъ, что дѣлать теперь?

— Говорилъ ты говорилъ, а онъ пришелъ — все стеръ!

— Ну-ка, Власовъ, какъ быть?

Когда крики стали настойчивѣе, Павелъ заявилъ:

— Я предлагаю, товарищи, бросить работу до поры, пока онъ не откажется отъ копѣйки...

Возбужденно запрыгали слова.

— Нашелъ дураковъ!

— Такъ и надо!

— Стачка?

— Изъ-за копѣйки-то?

— А что? Ну, и стачка!

— Всѣхъ за это въ шею...

— А кто работать будетъ?

— Найдутся люди!

— Это которые—Іуды?

— Мнѣ придется три рубля шесть гривенъ каждый мѣсяцъ комарамъ отдавать...

— Всѣмъ придется!

Павель сошелъ внизъ и всталъ рядомъ съ матерью. Всѣ вокругъ загудѣли, споря другъ съ другомъ, волнуясь, вскрикивая.

— Не свяжешь стачку!—сказалъ Рыбинъ, подходя къ Павлу.—Хоть и жаденъ народъ до копѣйки, да всѣ они трусливы. Сотни три встанутъ на твою сторону, не больше. Эдакую кучу навоза на однѣ вилы не поднимешь...

Павель молчалъ. Передъ нимъ колыхалось огромное, черное лицо толпы и требовательно смотрѣло ему въ глаза. Сердце стучало тревожно. Власову казалось, что всѣ его слова исчезли безслѣдно въ людяхъ, точно рѣдкія капли дождя, упавшія на землю, истощенную долгой засухой. Одинъ за другимъ къ нему подходили рабочіе, хваля его за рѣчь и выражали сомнѣніе въ удачѣ стачки, жаловались на отсутствіе въ народѣ пониманія своихъ интересовъ и силы своей.

Онъ пошелъ домой, грустный и усталый. Сзади него шла мать и Сизовъ, а рядомъ шагаль Рыбинъ и гудѣлъ ему въ ухо:

— Ты хорошо говоришь, да—не сердцу, вотъ. Надо въ сердце, въ самую глубину искру бросить. Не возмешь людей разумомъ, не по ногѣ обувь—тонка и узка! Не влѣзетъ. А и влѣзетъ—живо стопчешь, вотъ.

Сизовъ говорилъ матери:

— Пора намъ, старикамъ, на погостъ, Ниловна. Начинается новый народъ... Что мы жили? На колѣнкахъ ползали и все въ землю кланялись. А теперь люди... не то опаматовались, не то—еще хуже ошибаются... но на насъ не похожи. Вотъ она, молодежь-то, говоритъ съ директоромъ, какъ съ равнымъ... да-а. Эхъ, кабы Мат-

вѣй мой живъ былъ!.. До свиданья, Павелъ Михайловъ... хорошо ты, братъ, за людей стоишь! Дай Богъ тебѣ... можетъ найдешь ходы-выходы... дай Богъ!

Онъ ушелъ.

— Да, умирайте-ка!—бормоталъ Рыбинъ.—Вы ужъ и теперъ не люди, а замазка... вами щели замазывать. Видѣлъ ты, Павелъ, кто кричалъ, чтобы тебя въ депутаты? Тѣ, которые говорятъ, что ты социалистъ, смутьянъ... вотъ... они. Дескать прогонять его — туда ему и дорога.

— Они по своему правы!—сказалъ Павелъ.

— И волки правы, когда товарища рвутъ...

Лицо у Рыбина было угрюмое, голосъ необычно вздрагивалъ.

— Не повѣрять люди голому слову... страдать надо, въ крови омыть слово...

Весь день Павелъ ходилъ сумрачный, усталый, странно обеспокоенный, глаза у него горѣли и точно искали чего-то. Мать, замѣтивъ это, осторожно спросила:

— Ты что, Папа, а?

— Голова болить...—задумчиво сказалъ онъ.

— Легъ бы... а я доктора позову...

Онъ взглянулъ на нее и торопливо отвѣтилъ:

— Нѣтъ, не надо... ничего, пройдетъ...

И вдругъ тихо заговорилъ:

— Молодъ и слабосиленъ я... вотъ что! Не повѣрили мнѣ, не пошли за мсей правдой — значить, не умѣлъ я сказать ее, мама... Когда я думаю о правдѣ, сердце горитъ, и она такая ясная, такая сильная предо мной... А людямъ не умѣлъ я ее показать во всей силѣ, во всемъ огнѣ... И вотъ теперъ—какъ будто потерялъ что... такъ нехорошо мнѣ... обидно за себя...

Она смотрѣла въ сумрачное лицо его, ей хотѣлось понять слова сына, но они не давались. И желая утѣшить его въ потерѣ, она тихонько сказала...

— А ты погоди... не дергай себя за сердце... Сегодня не поняли—завтра поймутъ...

— Да... должны понять!—твердо воскликнулъ онъ.

— Вѣдь вотъ даже я вижу твою правду...

Павелъ близко подошелъ къ ней.

— Ты, мама... хорошій человѣкъ...

И отвернулся отъ нея. Она, вздрогнувъ какъ обожженная его тихими словами, приложила руку къ сердцу и ушла, бережно унося его ласку.

ХП.

Ночью, когда мать уже спала, а онъ, лежа въ постели, читалъ книгу, явились жандармы и сердито начали рыться вездѣ, на дворѣ, на чердакѣ. Желтолицый офицеръ велъ себя такъ же, какъ и въ первый разъ — обидно, насмѣшливо, находя удовольствіе въ издѣвательствахъ, стараясь задѣть за сердце. Мать, сидя въ углу, молчала, не отрывая глазъ отъ лица сына. Онъ старался не выдавать своего волненія, но когда офицеръ смѣялся, у него странно шевелились пальцы, и она чувствовала, что ему трудно не отвѣчать жандарму, тяжело сносить его шутки. Теперь ей не было такъ страшно, какъ во время перваго обыска, она чувствовала больше ненависти къ этимъ сѣрымъ ночнымъ гостямъ со шпорами на ногахъ, и ненависть поглощала тревогу.

Павелъ успѣлъ шепнуть ей:

— Меня возьмутъ...

Она, наклонивъ голову, тихо отвѣтила:

— Понимаю...

Она понимала—его посадятъ въ тюрьму за то, что онъ говорилъ сегодня рабочимъ. Но съ тѣмъ, что онъ говорилъ, соглашались всѣ, и всѣ должны вступить за него, значитъ, долго держать его не будутъ...

Ей хотѣлось обнять его, заплакать, но рядомъ стоялъ офицеръ и, злорадно прищутивъ глаза, смотрѣлъ на нее. Губы у него вздрагивали, усы шевелились; Власовой казалось, что этотъ человѣкъ ждетъ ея слезъ,

жалобъ и просьбъ. Собравъ все свои силы, стараясь говорить меньше, она сжала руку сына и, задерживая дыханіе, медленно, тихо сказала:

— До свиданья, Паша... Все взялъ, что надо?

— Все. Не скучай...

— Христось съ тобой...

Когда его увели, она сѣла на лавку и, закрывъ глаза, тихо завывала. Опираясь спиной о стѣну, какъ, бывало, дѣлалъ ея мужъ, туго связанная тоской и обиднымъ сознаниемъ своего безсилія, она, закинувъ голову, выла долго, тихо и монотонно, выливая въ этихъ звукахъ боль раненаго сердца. А передъ нею неподвижнымъ пятномъ стояло желтое лицо съ рѣдкими усами, и прищуренные глаза смотрѣли на нее съ удовольствіемъ. Въ груди ея чернымъ клубкомъ свивалась ожесточеніе и злоба на людей, которые отнимаютъ у матери сына за то, что сынъ ищетъ правду.

Было холодно, въ стекла стучалъ дождь, по стѣнамъ шуршало что-то и, казалось, что въ ночи вокругъ дома ходятъ, подстерегая, сѣрыя фигуры—съ широкими красными лицами, съ длинными руками. Ходятъ и чуть слышно звякаютъ шпорами.

— Взяли-бы и меня...—думала она.

Провылъ гудокъ, требуя людей на работу. Сегодня онъ былъ глухо, низко и неуверенно. Отворилась дверь, вошелъ Рыбинъ. Онъ всталъ передъ нею и, стирая ладонью капли дождя съ бороды, спросилъ:

— Увели?

— Увели проклятые!—вдохнувъ, отвѣтила она.

— Такое дѣло!—сказалъ Рыбинъ усмѣхнувшись.—

А меня—обыскали, ощупали, да-а. Изругали... ну—не обидѣли, однако... Увели, значить, Павла! Директоръ мигнулъ, жандармъ кивнулъ и—нѣтъ человѣка. Они дружно живутъ. Одни народъ доятъ, а другіе—за рога его держать...

— Вамъ бы вступиться за Павла-то!—воскликнула мать вставая.—Вѣдь онъ ради всѣхъ пошелъ.

— Кому вступиться?—спросилъ Рыбинъ.

— Всѣмъ!

— Ишь ты! Нѣтъ, этого не случится.. Они копили силу тысячи лѣтъ... они намъ въ сердца гвоздей набили... не можемъ мы соединиться сразу, прежде занозы желѣзныя надо повытаскать намъ другъ у друга... занозы-то эти, которыя мѣшаютъ намъ сложиться сердцами плотно...

И усмѣхаясь, онъ ушелъ своей тяжелой походкой, увеличивъ горе матери суровой безнадежностью своихъ словъ.

— Вдругъ бить будутъ... пытатъ...

Она представляла себѣ тѣло сына избитое, изорванное, въ крови, и страхъ холодной глыбой ложился на грудь, давилъ ее. Глазамъ было больно.

Она не топила печь, не варила себѣ обѣдъ и не пила чая, только поздно вечеромъ съѣла кусокъ хлѣба. И когда легла спать—ей думалось, что никогда еще жизнь ея не была такой обидной, одинокой, голой. За послѣдніе годы она привыкла жить въ постоянномъ ожиданіи чего-то важнаго, добраго. Вокругъ нея шумно и бодро вертѣлась молодежь и всегда передъ нею стояло серьезное лицо сына, хозяина и творца этой тревожной, но хорошей жизни. А вотъ нѣтъ его и ничего нѣтъ.

Медленно прошелъ день, бессонная ночь и еще болѣе медленно другой день. Она ждала кого-то, но никто не являлся. Наступилъ вечеръ. И—ночь. Вдыхалъ и шаркалъ по стѣнѣ холодный дождь, въ трубѣ гудѣло и подъ поломъ возилось что-то. Съ крыши капала вода, и унылый звукъ ея паденія странно сливался со стукомъ часовъ. Казалось, весь домъ тихо качается и все вокругъ было ненужнымъ, омертвѣло въ тоскѣ...

Въ окно тихо стукнули... разъ... два... Она привыкла

къ этимъ стукамъ, они уже не пугали ее, и теперь вздрогнула отъ легкаго, радостнаго укола въ сердце. Какая-то смутная надежда быстро подняла ее на ноги. Бросивъ на плечи шаль, она открыла дверь...

Вошелъ Самойловъ, а за нимъ еще какой-то человекъ, съ лицомъ, закрытымъ воротникомъ пальто, и въ надвинутой на брови шапкѣ.

— Разбудили мы васъ!—не здороваясь, спросилъ Самойловъ, противъ обыкновенія озабоченный и хмурый.

— Не спала я!—отвѣтила она и молча ожидающими глазами уставилась на нихъ.

Спутникъ Самойлова, тяжело и хрипло вздыхая, снялъ шапку и, протянувъ матери широкую руку съ короткими пальцами, сказалъ ей басовито и дружески, какъ старой знакомой:

— Здравствуйте, бабуля! Не узнали?

— Это вы?—воскликнула Власова, вдругъ чему-то радуясь.—Егоръ Ивановичъ?

— Азъ есмь!—отвѣтилъ онъ, наклоняя свою большую голову, съ длинными, какъ у псаломщика, волосами. Его полное лицо добродушно улыбалось, маленькіе сѣрые глазки смотрѣли въ лицо матери ласково и ясно. Онъ былъ похожъ на самоваръ—такой-же круглый, визенкій, съ толстой шеей и короткими руками. Лицо лоснилось и блестяло, дышалъ онъ шумно, и въ груди все время что-то булькало, хрипѣло...

— Пройдите въ комнату, я сейчасъ одѣнусь!—предложила мать.

— У насъ къ вамъ дѣло есть!—озабоченно сказалъ Самойловъ, исподлобья взглянувъ на нее.

Егоръ Ивановичъ прошелъ въ комнату и оттуда говорилъ.

— Сегодня утромъ, милая бабуля, изъ тюрьмы воротился извѣстный вамъ Николай...

— Развѣ онъ былъ тамъ?—спросила мать.

— Три мѣсяца и одиннадцать дней... Видѣлъ тамъ хохла—онъ кланяется вамъ, — и Павла, который тоже кланяется, просить васъ не беспокоиться и сказать вамъ, что на пути его мѣстомъ отдыха человѣку всегда служить тюрьма,—такъ ужъ установлено заботливымъ начальствомъ нашимъ... Затѣмъ, бабуля, я приступлю къ дѣлу. Вы знаете, сколько народу схватили здѣсь вчера?

— Нѣтъ! А развѣ — кромѣ Паши?.. воскликнула мать.

— Онъ—сорокъ девятый!—перебилъ ее Егоръ Ивановичъ спокойно. И надо ждать, что начальство забереетъ еще человѣкъ... съ десятковъ! Вотъ этого господина тоже...

— Да и меня!—хмуро сказалъ Самойловъ.

Власова почувствовала, что ей стало легче дышать...

— Не одинъ онъ тамъ! — мелькнуло у нея въ головѣ.

Одѣвшись, она вошла въ комнату и бодро улыбнулась гостю.

— Навѣрно долго держать не будутъ, если такъ много забрали...

— Правильно!—сказалъ Егоръ Ивановичъ. А если мы ухитримся испортить имъ эту обѣдню, такъ они и совсѣмъ въ дуракахъ останутся... Дѣло стоитъ такъ, бабуля: если мы теперь перестанемъ доставлять на фабрику наши книжечки, жандармишки уцѣпятся за это грустное явленіе и обратятъ его противъ Павла со товарищи, иже съ нимъ свергнуты въ узилище...

— Какъ-же это? Зачѣмъ-же? — тревожно крикнула мать.

— А очень просто, бабуля!—мягко сказалъ Егоръ Ивановичъ. — Иногда и жандармы рассуждаютъ правильно. Вы подумайте: былъ Павелъ—были книжки и бумажки, нѣтъ Павла—нѣтъ ни книжекъ, ни бумажекъ!

Значить, это онъ сѣялъ книжечки, ага-а? Ну, и начнутъ они ѣсть всѣхъ... они, эти жандармы, любятъ такъ окарнать человѣка, чтобы отъ него остались одни пустяки и трогательное воспоминаніе...

— Я понимаю, понимаю!—тоскливо сказала мать. — Ахъ, Господи! Какъ-же теперь?

Изъ кухни раздался голосъ Самойлова:

— Всѣхъ почти выловили, чортъ ихъ возьми!.. Теперь намъ нужно дѣло продолжать по-прежнему, не только для самого дѣла... а и для спасенія товарищей.

— А работать некому!—добавилъ Егоръ, усмѣхаясь. — Литература у насъ есть превосходнаго качества... самъ дѣлалъ... а какъ ее на фабрику внести—сіе неизвестно.

— Стали обыскивать всѣхъ въ воротахъ!—сказалъ Самойловъ.

Мать чувствовала, что отъ нея чего-то хотятъ, ждутъ, и торопливо спрашивала:

— Ну, такъ что-же? Какъ-же?

Самойловъ всталъ въ дверяхъ и сказалъ:

— Вы, Пелагея Ниловна, знакомы съ торговкой Корсуновой...

— Знакома, ну?

— Поговорите съ ней, не пронесетъ-ли она?

Мать отрицательно замахала руками.

— Ой, нѣтъ! Баба она болтливая... нѣтъ! Какъ узнаютъ, что черезъ меня... изъ этого дома... нѣтъ, нѣтъ!

И вдругъ осянненная внезапной мыслью она радостно и тихо заговорила:

— Вы мнѣ дайте, дайте—мнѣ! Ужъ я устрою... я сама ужъ найду ходъ! Я Марью-же и попрошу... пусть она меня въ помощницы возьметъ! Мнѣ хлѣбъ ѣсть надо-же, работать надо-же! Вотъ я и буду обѣды туда носить...

— Ужъ я устроюсь!

Прижавъ руки къ груди, она торопливо увѣряла, что сдѣлаетъ все хорошо, незамѣтно, и въ заключеніе торжествуя воскликнула:

— Они увидятъ—Павла Власова нѣтъ, а рука его даже изъ острога достигааетъ... они увидятъ!

Всѣ трое оживились. Егоръ, крѣпко потирая руки, улыбался и говорилъ:

— Чудесно, бабуля! Знали-бы вы, какъ это превосходно? Прямо—очаровательно.

— Я въ тюрьму, какъ въ кресло, сяду, если это удастся!—смѣясь и потирая руки, замѣтилъ Самойловъ.

— Вы, бабуля,—красавица!—хрипло кричалъ Егоръ.

Мать улыбнулась. Это было ясно: если теперь листки появятся на фабрикѣ,—начальство должно будетъ понять, что не ея сынъ распространяетъ ихъ. И чувствуя себя способной исполнить задачу, она вся вздрагивала отъ радости.

— Когда пойдете на свиданіе съ Павломъ,—говорилъ Егоръ,—скажите ему, что у него хорошая мать...

— Я его раньше увижу!—усмѣхаясь, пообѣщалъ Самойловъ.

— Вы такъ ему и скажите—я все, что надо, сдѣлаю! Чтобы онъ зналъ это!...

— А если его не посадятъ?—спросилъ Егоръ, указывая на Самойлова.

— Ну, что-же дѣлать!

Они оба захохотали. И когда она поняла свой промахъ, то и сама начала смѣяться, тихо и смущенно, немножко лукавая.

— За своимъ—чужое плохо видно!—сказала она, опустивъ глаза.

— Это естественно!—воскликнулъ Егоръ. — А насчетъ Павла вы не беспокойтесь и не грустите. Изъ тюрьмы онъ еще лучше воротится. Тамъ отдыхаешь

и учишься, а на волѣ у нашего брата для этого времени нѣтъ... Я вотъ трижды сидѣлъ и каждый разъ, хотя и съ небольшимъ удовольствіемъ, но съ несомнѣнной пользой для ума и сердца.

— Дышете вы тяжело!—сказала опа, дружелюбно глядя въ его простое лицо.

— На это есть особыя причины!—отвѣтилъ онъ, поднявъ палецъ кверху.—Такъ, значить, рѣшено, бабуля? Завтра мы вамъ доставимъ матеріалецъ... и снова завертится колесо разрушенія вѣковой тьмы. Да здравствуетъ свободное слово, бабуля, и да здравствуетъ сердце матери! А пока—до-свиданья!

— До-свиданья!—сказалъ Самойловъ, крѣпко пожимая руку ей.—А я вотъ своей матери и заикнуться не могу ни о чемъ такомъ... да!

— Всѣ поймутъ!—сказала Власова, желая сдѣлать пріятное ему.—Всѣ поймутъ!

Когда они ушли, опа заперла дверь и, вставъ на колѣни среди комнаты, стала молиться подъ шумъ дождя. Молилась безъ словъ, какой-то одной большой думой о людяхъ, о всѣхъ людяхъ, которыхъ ввелъ Павелъ въ ея жизнь. Они какъ-бы проходили между нею и иконами, на которыя она смотрѣла, проходили всѣ, такіе простые, странно близкіе другъ другу и одинокіе въ жизни.

Рано утромъ она отправилась къ Марѣ Корсуновой.

Торговка, какъ всегда замасленная и шумная, встрѣтила ее дружески и сочувственно.

— Тоскуешь?—спросила опа, похлопавъ мать по плечу жирной рукой.—Брось! Взяли, увезли, эка бѣда! Ничего худаго тутъ нѣту. Это раньше было —за кражи въ тюрьму сажали, а теперь за правду начали сажать. Павелъ, можетъ, и не такъ что-нибудь сказалъ, но онъ за всѣхъ всталъ—и всѣ его понимаютъ, не беспокоятся! Не всѣ говорятъ, а всѣ знаютъ, кто хорошъ... Я

собиралась зайти къ тебѣ, да вотъ, все некогда. Все стряпаю, да торгую, а умру, видно, нищей. Любовники меня одолѣваютъ, анаемы. Такъ и гложутъ, такъ и гложутъ, словно тараканы каравай... Накопишь рублей съ десятокъ, явится какой-нибудь еретикъ—и слижетъ деньги... да. Бѣдовое дѣло бабой быть! Поганая должность на землѣ!.. Одной жить трудно, вдвоемъ—силы нѣтъ.

— А я къ тебѣ въ помощницы проситься пришла!—сказала Власова, перебивая ея болтовню.

— Это какъ?—спросила Марья и, выслушавъ подругу, утвердительно кивнула головой.

— Можно! Помнишь, ты меня, бывало, отъ мужа моего прятала? Ну, а теперь я тебя отъ нужды спрячу... Тебѣ всѣ должны помочь, потому твой сынъ за общественное дѣло пропадаетъ. Хорошій парень онъ у тебя, это всѣ говорятъ, какъ одна душа, и всѣ его жалѣютъ. Я скажу—отъ арестовъ этихъ добра начальству не будетъ, ты погляди, что на фабрикѣ дѣлается? Не хорошо говорятъ, милая. Они тамъ, начальники, думаютъ—укусили человѣка за пятку, далеко не уйдетъ! Анъ, выходитъ такъ, что десятокъ ударили—сотни разсердились! Рабочаго осторожно трогай—онъ терпитъ, терпитъ, да и взорветъ его.

Разговоръ кончился тѣмъ, что на другой день въ обѣдъ Власова была на фабрикѣ съ двумя корчагами Марьиной стряпни, а сама Марья пошла торговать на базаръ.

Рабочіе сразу замѣтили новую торговку. Одни, подходя къ ней, одобрительно говорили:

— За дѣло взялась, Ниловна?

И утѣшали, доказывая, что Павла скоро выпустятъ, его дѣло—правое. Другіе тревожили ея печальное сердце осторожными словами соболѣзнованія, третьи озлобленно и открыто ругали директора, жандармовъ и находили въ груди ея отвѣтное эхо. Были люди, которые

смотрѣли на нее злорадно, а табельщикъ Исай Горбовъ сказалъ сквозь зубы:

— Кабы я былъ губернаторомъ, я-бы твоего сына повѣсилъ! Не сбивай народъ съ толку...

Отъ этой злой угрозы на нее повѣяло мертвымъ холодомъ. Она ничего не сказала въ отвѣтъ Исаю, только взглянула въ его маленькое, усѣянное веснушками лицо, и вадохнувъ опустила глаза въ землю.

Она видѣла, что на фабрикѣ было неспокойно, рабочіе собирались кучками, о чемъ-то вполголоса горячо говорили между собой, всюду шныряли озабоченные мастера, порою раздавались ругательства, раздраженный смѣхъ.

Двое полицейскихъ провели мимо нея Самойлова; онъ шелъ, сунувъ одну руку въ карманъ, а другой приглаживая свои рыжеватые волосы.

Его провожала толпа рабочихъ, человѣкъ въ сотню, погоняя полицейскихъ руганью и насмѣшками...

— Гулять пошелъ, Гриша!—крикнулъ ему кто-то.

— Почетъ нашему брату!—поддержалъ другой.—Со стражей ходимъ...

И крѣпко выругался.

— Воровъ ловить, видно, невыгодно стало!—зло и громко говорилъ высокій и кривой рабочій. — Начали честныхъ людей таскать...

— Хоть-бы ночью таскали!—вторилъ кто-то изъ толпы.—А то днемъ—безъ стыда... сволочи!

Полицейскіе шли угрюмо и быстро, стараясь ничего не видѣть и будто не слыша восклицаній, которыя отовсюду провожали ихъ. Встрѣчу имъ трое рабочихъ несли большую полосу желѣза и, направляя ее на нихъ, кричали:

— Берегитесь, рыбаки!

Проходя мимо Власовой, Самойловъ, усмѣхаясь, кивнулъ ей головой и сказалъ:

— Поволокли раба Божія Григорія!

Она молча и низко поклонилась ему, ее трогали эти молодые, честные, трезвые и умные, уходившіе въ тюрьму съ улыбками на лицахъ; у нея незамѣтно возникла жалостливая любовь матери къ нимъ.

И ей пріятно было слышать рѣзкія сужденія о начальствѣ—въ нихъ она чувствовала вліяніе своего сына.

XIII.

Воротясь съ фабрики, она провела весь день у Марьи, помогая ей въ работѣ и слушая ея болтовню, а поздно вечеромъ пришла къ себѣ въ домъ, гдѣ было пусто, холодно и неуютно. Она долго совалась изъ угла въ уголъ, не находя себѣ мѣста, не зная что дѣлать. И ее беспокоило, что вотъ уже скоро ночь, а Егоръ Ивановичъ не несетъ литературу, какъ онъ обѣщаль.

За окномъ мелькали тяжелые, сѣрые хлопья осенняго снѣга. Мягко приставая къ стекламъ, они безшумно скользили внизъ и таяли, оставляя за собой мокрый слѣдъ. Она думала о сынѣ...

Въ дверь осторожно постучались, мать быстро подбѣжала, сняла крючокъ,—вошла Сашенька. Мать давно ее не видала, и теперь первое, что бросилось ей въ глаза, это неестественная полнота дѣвушки.

— Здравствуйте!—сказала она, радуясь, что пришелъ человѣкъ; и часть ночи она проведетъ не въ одиночествѣ.—Давно не видать было васъ. Уѣзжали?

— Нѣтъ, я въ тюрьмѣ сидѣла!—отвѣтила дѣвушка, улыбаясь.—Вмѣстѣ съ Николаемъ Ивановичемъ, помните его?

— Какъ-же не помнить!—воскликнула мать.— Мнѣ вчера Егоръ Ивановичъ говорилъ, что его выпустили... а про васъ я не знала... Никто и не сказалъ, что вы тамъ...

— Да что-же объ этомъ говорить?.. Мнѣ, пока не пришелъ Егоръ Ивановичъ, переодѣться надо!—сказала дѣвушка, оглядываясь.

— Мокрая вы вся...

— Я книжки принесла...

— Давайте, давайте ихъ сюда!—заторопилась мать...

— Сейчасъ.

Дѣвушка быстро разстегнула пальто, встряхнулась, и съ нея, точно листья съ дерева, посыпались на полъ, шелестя, пачки бумаги. Мать смѣясь подбирала ихъ съ пола и говорила:

— А я смотрю — полная вы такая, думала замужъ вышли и ребеночка ждете... Ой-ой, сколько вы принесли! Неужели пѣшкомъ?

— Да!—сказала Сашенька. Она теперь снова стала стройной и тонкой, какъ прежде. Мать видѣла, что щеки у нея ввалились, глаза стали огромными и подъ ними легли темныя пятна.

— Только что выпустили васъ... вамъ-бы отдохнуть, а вы вотъ тяжесть какую несли семь верстъ!—вздыхнувъ и качая головой, сказала мать.

— Нужно!—отвѣтила дѣвушка, вдрагивая.—Скажете, какъ Павелъ Михайловичъ... ничего онъ... не очень взволновался?

Сирашивая, Сашенька не смотрѣла на мать; наклонивъ голову, она поправляла волосы, и пальцы ея дрожали.

— Ничего!—отвѣтила мать.—Да вѣдь онъ себя не выдастъ.

— Вѣдь у него крѣпкое здоровье? — тихо проговорила дѣвушка.

— Не хворалъ онъ никогда! — отвѣтила мать.—Дрожите вы вся. Вотъ я чаемъ васъ напою, съ вареньемъ малиновымъ...

— Это хорошо-бы! Только стоитъ-ли вамъ беспокоиться? Поздно. Давайте, я сама...

— Усталая-то?—укоризненно отозвалась мать, принимаясь возиться около самовара. Саша тоже вышла

въ кухню, сѣла тамъ на лавку и, закинувъ руки за голову, заговорила:

— Да... я очень устала! Все-таки ослабляетъ тюрьма. Это проклятое бездѣлье! Нѣтъ ничего мучительнѣе... Сидишь недѣлю, мѣсяцъ... знаешь, какъ много нужно работать... люди ждутъ знаній... ты можешь дать имъ необходимое... и — сидишь, въ клѣткѣ, точно звѣрь...

— Кто вознаградитъ васъ за все? — спросила мать.

И вздохнувъ, отвѣтила сама себѣ:

— Никто, кромѣ Господа! Вы, поди-ка, тоже не вѣрите въ Него?

— Нѣтъ! — кратко отвѣтила дѣвушка, качнувъ головой.

— А я вотъ вамъ не вѣрю! — вдругъ возбуждаясь, заявила мать. И быстро вытирая запачканныя углемъ руки о фартукъ, она съ глубокимъ убѣжденіемъ продолжала:

— Не понимаете вы вѣры вашей! Какъ можно безъ вѣры въ Бога жить такой жизнью?

Въ сѣняхъ кто-то громко затопалъ, заворчалъ, мать вздрогнула, дѣвушка быстро вскочила и торопливо зашептала:

— Не отпирайте! Если это — они, жандармы... вы меня не знаете... я — ошиблась домомъ... зашла къ вамъ случайно, упала въ обморокъ, вы меня раздѣли... нашли книги... понимаете?

— Милая вы моя... зачѣмъ? — умиленно спросила мать.

— Подождите! — прислушиваясь, сказала Сашенька. — Это, кажется, Егоръ...

Это былъ онъ, мокрый и задыхающійся отъ усталости.

— Ага! Самоварчикъ? — воскликнулъ онъ. — Лучше всего въ жизни, бабуля! Вы уже здѣсь, Сашенька?

Наполняя маленькую кухню хриплыми звуками своего голоса, онъ медленно стаскивалъ тяжелое пальто и, не останавливаясь, говорилъ:

— Вотъ, бабуля,—дѣвица, непріятная для начальства! Будучи обижена смотрителемъ тюрьмы, она объявила ему, что уморить себя голодомъ, если онъ не извинится передъ ней, и восемь дней не кушала, по какой причинѣ едва не протянула ножки. Недурно? Животикъ-то у меня каковъ?

Болтая и подлерживая короткими руками безобразно отвисшій животъ, онъ прошелъ въ комнату, затворилъ за собою дверь, но и тамъ продолжалъ что-то говорить.

— Неужто восемь дней не кушали вы?—удивленно спросила мать.

— Нужно было, чтобы онъ извинился предо мной!—отвѣтила дѣвушка, зябко поводя плечами. Ея спокойствіе и суровая настойчивость отозвались въ душѣ матери чѣмъ-то похожимъ на упрекъ...

— Вотъ какъ!..—подумала она и снова спросила:

— А если-бы вы умерли?

— Что-же подѣлаешь!—тихо отозвалась дѣвушка.— Онъ, все-таки, извинился. Человѣкъ не долженъ прощать обиду...

— Да-а...—медленно отозвалась мать.—А вотъ нашу сестру всю жизнь обижаютъ...

— Я разгрузился!—объявилъ Егоръ, отворяя дверь.— Самоварчикъ готовъ? Позвольте, я его втащу...

Онъ поднималъ самоваръ и понесъ его, говоря:

— Собственноручный мой папаша выпивалъ въ день не менѣе двадцати стакановъ чаю, почему и прожилъ на сей землѣ безболѣзненно и мирно семьдесятъ три года. Имѣлъ онъ восемь пудовъ вѣсу и былъ дьячкомъ въ селѣ Воскресенскомъ...

— Вы Ивана Семеныча сынъ?—воскликнула мать.

— Именно! А почему вамъ сіе извѣстно?

— Да я изъ Воскресенскаго!..

— Землячка! Чьихъ будете?

— Сосѣди ваши! Серегина я.

— Хромого Нила дочка? Лицо мнѣ знакомое, ибо не однажды дралъ меня за уши...

Они стояли другъ противъ друга и, осыпая одинъ другого вопросами, смѣялись. Сашенька улыбаясь посмотрѣла на нихъ и стала заваривать чай. Стукъ посуды возвратилъ мать къ настоящему.

— Ой, простите, заговорила! Очень ужъ пріятно земляка видѣть...

— Это мнѣ нужно просить прощенія за то, что я тутъ распоряжаюсь! Но ужъ одиннадцатый часъ, а мнѣ далеко идти...

— Куда идти? Въ городъ? — удивленно спросила мать.

— Да.

— Что вы? Темно, мокро... устали вы! Ночуйте здѣсь... Егоръ Ивановичъ въ кухнѣ ляжетъ, а мы съ вами тутъ...

— Нѣтъ, я должна идти!—просто заявила дѣвушка.

— Да, землячка, требуется, чтобы барышня исчезла. Ее здѣсь знаютъ... И если она завтра покажется на улицѣ, это будетъ нехорошо!—заявилъ Егоръ.

— Какъ же она? Одна пойдетъ?...

— Пойдетъ!—сказалъ Егоръ, усмѣхаясь.

Дѣвушка налила себѣ чаю, взяла кусокъ ржаного хлѣба, посолила и стала ѣсть, задумчиво глядя на мать.

— Какъ это вы ходите? И вы, и Наташа... Я бы не пошла... боязно!—сказала Власова.

— Да и она боится!—замѣтилъ Егоръ.—Вы боитесь, Саша?

— Конечно!—отвѣтила дѣвушка.

Мать взглянула на нее, на Егора и тихонько воскликнула:

— Какіе вы... строгіе!

Выпивъ чаю, Сашенька молча пожала руку Егора, пошла въ кухню, а мать, провожая ее, вышла за нею. Въ кухнѣ Сашенька сказала:

— Увидите Павла Михайловича, — передайте ему мой поклонъ... Пожалуйста!

А ваявшись за скобу двери, вдругъ обернулась, негромко спросивъ:

— Можно поцѣловать васъ?

Мать молча обняла ее и горячо поцѣловала.

— Спасибо!—тихо сказала дѣвушка и, кивнувъ головой, ушла.

Возвратясь въ комнату, мать тревожно взглянула въ окно. Во тьмѣ, густой и влажной, тяжело падали мокрые хлопья снѣга.

— А Прозоровыхъ помните? Лавочника?—спросилъ Егоръ.

Онъ сидѣлъ, широко разставивъ ноги, и громко дулъ на стаканъ чаю. Лицо у него было красное, потное и довольное.

— Помню, помню...—задумчиво сказала мать, бокомъ подходя къ столу. Сѣла и, глядя на Егора печальными глазами, медленно протянула:

— Ай-ай-яй... Сашенька-то... Какъ она дойдетъ?

— Устанетъ!—согласился Егоръ.—Тюрьма ее сильно пошатнула, раньше она крѣпче была... Къ тому же воспитанія она нѣжнаго... и, кажется, уже испортила себѣ легкія...

— Кто она такая?—тихо освѣдомилась мать.

— Дочь помѣщика одного. Богатый человекъ ея отецъ и большой прохвостъ, какъ она говоритъ. Вамъ, бабуля, извѣстно, что они хотятъ пожениться?

— Кто?

— Она и Павелъ... да! Но вотъ, все не удастся, онъ на волѣ, она въ тюрьмѣ,—и наоборотъ!

— Я этого не знала!—помолчавъ отвѣтила мать.— Паша о себѣ ничего не говоритъ...

Теперь ей стало еще больше жалко дѣвушку, и, съ невольной неприязнью взглянувъ на гостя, она проговорила:

— Вамъ бы проводить ее!..

— Нельзя сего! — спокойно отвѣтилъ Егоръ. — У меня здѣсь куча дѣла и я съ утра долженъ буду цѣлый день ходить, ходить, ходить. Занятіе немилое, при моей одышкѣ...

— Хорошая она дѣвушка, — неопредѣленно проговорила мать, думая о томъ, что сообщилъ ей Егоръ. Ей было обидно услышать это не отъ сына, а отъ чужого человѣка, и она плотно поджала губы, низко опустивъ брови.

— Хорошая!—кивнулъ головой Егоръ. — Немножко дворянка, но—все меньше! Вижу я—вамъ ее жалко... Напрасно! У васъ не хватитъ сердца, бабуля милая, если вы начнете жалѣть всѣхъ насъ, крамольниковъ... Всѣмъ живется не очень легко, говоря правду... Вотъ недавно воротился изъ ссылки мой товарищъ... и когда онъ ѣхалъ черезъ Нижній — жена и ребенокъ ждали его въ Смоленскѣ, а когда онъ явился въ Смоленскъ—они уже были въ московской тюрьмѣ. Теперь очередь жены ѣхать въ Сибирь. У меня тоже была жена, превосходный человѣкъ, но пять лѣтъ такой жизни свели ее въ могилу...

Онъ залпомъ выпилъ стаканъ чаю и продолжалъ рассказывать. Перечислялъ годы и мѣсяцы тюремнаго заключенія, ссылки, сообщалъ о разныхъ несчастіяхъ, объ избіеніяхъ въ тюрьмахъ, о голодѣ въ Сибири... Мать смотрѣла на него, слушала и удивлялась, какъ просто и спокойно онъ говоритъ объ этой жизни, полной страданій, преслѣдованій, издѣвательствъ надъ людьми...

— Но поговоримте о дѣлѣ!

Голосъ его измѣнился, лицо стало серьезнѣе. Онъ началъ спрашивать ее, какъ она думаетъ пронести на фабрику книжки, а мать удивлялась его тонкому знанію разныхъ мелочей.

Кончивъ съ этимъ, они снова стали вспоминать о своемъ родномъ селѣ; онъ шутилъ, а она задумчиво бродила въ своемъ прошломъ, и оно казалось ей странно похожимъ на болото, однообразно усыянное кочками, поросшее тонкой, всегда пугливо дрожащей осиною, невысокою елью и заплутавшимися среди кочекъ бѣлыми березами. Березы росли медленно и, простоявъ лѣтъ пять на зыбкой, гнилой почвѣ, падали и гнили.. Она смотрѣла на эту картину и ей было нестерпимо жалко чего-то. Передъ нею стояла фигура дѣвушки, съ рѣзкимъ, упрямымъ лицомъ. Она теперь шла гдѣ-то во тьмѣ, среди мокрыхъ хлопьевъ снѣга, одинокая, усталая... А сынъ сидитъ въ маленькой комнаткѣ съ желѣзной рѣшеткой на окнѣ. Можетъ быть, онъ не спитъ еще и думаетъ... Но думаетъ не о матери, у него есть человѣкъ ближе нея. Пестрой, спутанной тучей полали на нее тяжелыя мысли, и крѣпко обвиняли сердце...

— Устали вы, бабуля! Давайте-ка, ляжемъ спать!—сказалъ Егоръ, улыбаясь.

Она простилась съ нимъ и бокомъ, осторожно прошла въ кухню, унося въ сердцѣ ѣдкое, горькое чувство.

Путру, за чаемъ, Егоръ спросилъ ее:

— А если васъ спадаютъ и спросятъ, откуда вы взяли всѣ эти еретицкія книжки,—вы что скажете?

— Не ваше дѣло, скажу!—отвѣтила она.

— Они съ этимъ ни за что не согласятся!—возразилъ Егоръ.—Они глубоко убѣждены, что это—именно ихъ дѣло!.. И будутъ спрашивать усердно, долго.

— А я не скажу!

— А васъ въ тюрьму!

— Ну, что-жь? Слава Богу—хоть на это пожусь!—

сказала она, вздыхая. — Слава Богу! Кому я нужна? Никому... А пытаться не будутъ, говорить...

— Гмъ!—сказалъ Егоръ, внимательно посмотрѣвъ на нее.—Пытаться — не будутъ... Но хорошій человѣкъ долженъ беречь себя...

— У васъ этому не научишься! — отвѣтила мать, усмѣхаясь.

...Егоръ, помолчавъ, прошелся по комнатѣ, потомъ подошелъ къ ней и сказалъ:

— Трудно, землячка! Чувствую я—очень трудно вамъ!

— Всѣмъ трудно!—махнувъ рукой, отвѣтила она.— Можеть только тѣмъ, которые понимаютъ, имъ — полегче... Но я тоже понемножку понимаю... чего хотятъ хорошіе-то люди...

— А коли вы это понимаете, бабуля, значить, всѣмъ вы имъ нужны — всѣмъ!—серьезно и строго сказалъ Егоръ.

Она взглянула на него и молча усмѣхнулась.

XIV.

Въ полдень она спокойно и дѣловито обложила свою грудь книжками и сдѣлала это такъ ловко и удобно, что Егоръ съ удовольствіемъ щелкнулъ языкомъ, заявивъ:

— Зеръ гуть! какъ говорить хорошій нѣмецъ, когда выпьетъ ведро пива. Васъ, бабуля, не измѣнила литература: вы остались доброй, пожилой женщиной, полной и высокаго роста. Да благословятъ безчисленные боги ваше начинаніе!..

Черезъ полчаса, согнутая тяжестью своей ноши, спокойная и увѣренная, она стояла у воротъ фабрики. Двое сторожей, раздражаемые насмѣшками рабочихъ, грубо ощупывали всѣхъ входящихъ во дворъ, переругиваясь съ ними. Въ сторонѣ стоялъ полицейскій и какой-то тонконогій человѣкъ съ краснымъ лицомъ и быстрыми глазами. Мать, передвигая коромысло съ

плеча на плечо, исподлобья слѣдила за нимъ — она чувствовала, что это шпионъ.

Высокій, кудрявый парень въ шапкѣ, сдвинутой на затылокъ, кричалъ сторожамъ, которые обыскивали его:

— Вы, черти, въ головѣ ищите, а не въ карманѣ!

Одинъ изъ сторожей отвѣтилъ:

— У тебя въ головѣ, кромѣ вшей, ничего нѣтъ...

— Вамъ и ловить вшей, а не ершей! — откликнулся рабочий.

Шпионъ окинулъ его быстрымъ взглядомъ и сплюнулъ.

— Меня-то пропустили бы! — попросила мать. — Видите, человекъ съ ношей... спина ломится!

— Иди, иди! — сердито крикнулъ сторожъ. — Раассуждаетъ тоже...

Мать дошла до своего мѣста, составила корчаги на землю и, отирая потъ съ лица, оглянулась.

Къ ней тотчасъ же подошли слесаря, братья Гусевы и старшій, Василій, хмуря брови, громко спросилъ:

— Пирогъ есть?

— Завтра принесу! — отвѣтила она.

Это былъ условленный пароль. Лица братьевъ про-
свѣтлѣли. Иванъ, не утерпѣвъ, воскликнулъ:

— Эхъ ты, мать честная...

Василій присѣлъ на корточки, заглядывая въ корчагу и, въ то же время, за пазухой у него очутилась пачка книгъ.

— Иванъ, — громко говорилъ онъ, — не пойдемъ домой, давай у нея обѣдать! — А самъ быстро засовывалъ книжки въ голенища сапогъ. — Надо поддержать новую торговку...

— Надо! — согласился Иванъ и захохоталъ.

Мать, осторожно оглядываясь, покрикивала:

— Щи, лапша горячая! Жареное мясо!

И незамѣтно вынимая книги, пачку за пачкой, со-
вала ихъ въ руки братьевъ. И каждый разъ, когда

книги исчезали изъ ея рукъ, передъ нею вспыхивало желтымъ пятномъ, точно огонь спички въ темной комнатѣ, больное насмѣшливое лицо жандармскаго офицера и она мысленно со злораднымъ чувствомъ говорила ему:

— На-ко тебѣ, батюшка...

Передавая слѣдующую пачку, прибавляла удовлетворенно:

— А вотъ еще, на-ко...

Подходили рабочіе съ чашками въ рукахъ; когда они были близко, Иванъ Гусевъ начиналъ громко хотать и Власова спокойно прекращала передачу, разливая щи и лапшу, а Гусевы шутили надъ ней:

— Ловко дѣйствуетъ Ниловна!

— Нужда заставитъ и мышей ловить!—угрюмо замѣтилъ какой-то кочегаръ. — Кормильца-то оторвали... да. Сволочи! Ну-ка, на три копѣйки лапши... Ничего, мать! Перебьешься.

— Спасибо на добромъ словѣ!—улыбнулась она ему.

Онъ, уходя въ сторону, ворчалъ:

— Не дорого мнѣ стоитъ доброе-то слово...

— А сказать его некому!—замѣтилъ какой-то кузнецъ, усмѣхнувшись. И удивленно пожавъ плечами, добавилъ:

— Вотъ жизнь, ребята,—добраго слова сказать некому... никто его не стоитъ... а?

Василій Гусевъ всталъ на ноги, плотно запахнувъ пальто, воскликнулъ:

— Съѣлъ горячаго, а стало холодно!

Потомъ онъ воротился, всталъ Иванъ и тоже убѣжалъ насвистывая.

Власова, пріятно улыбаясь, покрикивала:

— Горячее—щи, лапша, похлебка...

Она думала о томъ, какъ расскажетъ сыну свой первый опытъ, а передъ нею все стояло желтое лицо офицера, недоумѣвающее и злое. На немъ растерянно

шевелились черные усы и изъ-подъ верхней, раздраженно вадернутой губы блестѣла бѣлая кость крѣпко сжатыхъ зубовъ. Въ груди ея птицею билась и пѣла острая радость, брови лукаво вдрагивали и она, ловко дѣлая свое дѣло, приговаривала про себя:

— А вотъ еще... вотъ...

Весь день она чувствовала въ сердцѣ что-то новое, пріятно ласкавшее ее. А вечеромъ, когда кончивъ работу у Марьи, она пила чай, за окномъ раздалось чмоканье лошадиныхъ копытъ по грязи и прозвучалъ знакомый голосъ. Она вскочила, бросилась въ кухню, къ двери, по сѣнямъ кто-то быстро шелъ, у нея потемнѣло въ глазахъ и прислонясь къ косяку, она толкнула дверь ногой.

— Добрый вечеръ, ненько!—раздался знакомый пѣвучій голосъ и на плечи ея легли сухія, длинныя руки.

Въ сердцѣ ея вспыхнули тоска разочарованія и радость видѣть Андрея. Вспыхнули, смѣшались въ одно большое, жгучее чувство; оно обняло еѣ горячей волной, обняло, подняло, и она ткнулась лицомъ въ грудь Андрея. Онъ крѣпко сжалъ ее, руки его дрожали, мать молча, тихо плакала, онъ гладилъ ее волосы и говорилъ, точно пѣлъ:

— А не плачьте, ненько, не томите сердца! Честное слово говорю вамъ—скоро его выпустятъ! Ничего у нихъ нѣтъ противъ него, всѣ ребята молчатъ, какъ варенныя рыбы...

Обнявъ плечи матери длинной рукой, онъ ввелъ ее въ комнату, а она, прижимаясь къ нему, быстрымъ жестомъ бѣлки, отирала съ лица слезы и жадно, всей грудью глотала пѣвучій голосъ.

— Кланяется вамъ Павелъ, здоровъ онъ и веселъ, какъ только можетъ быть. Тѣсно тамъ въ тюрьмѣ! Народу — больше сотни нахватали, и нашихъ, и городскихъ, въ одной камерѣ по трое и по четверо сидятъ.

Начальство тюремное ничего, хорошее и устало оно—такъ много задали работы ему эти чертовы жандармы! Такъ оно, начальство, не очень строго командуетъ, а все говоритъ:—вы ужъ, господа, потише, не подводите насъ! Ну, и все идетъ хорошо... Разговариваемъ мы и книги другъ другу передаемъ и ѣдой дѣлимся. Хорошая тюрьма! Старая она и грязная, но мягкая такая и легкая. Уголовные тоже славный народъ, помогаютъ намъ много. Выпустили меня, Букина и еще четверыхъ—тѣсно стало! Скоро и Павла выпустятъ, ужъ это вѣрно! Дольше всѣхъ Вѣсовщиковъ будетъ сидѣть, сердятся на него очень. Ругаетъ онъ всѣхъ, не уставая! Жандармы смотрѣть на него не могутъ. Пожалуй, попадетъ онъ подъ судъ или поколотятъ его однажды. Павелъ уговариваетъ его—„брось, Николай! Они вѣдь отъ того лучше не будутъ, если ты обругаешь ихъ!“ А онъ реветъ:—„сковырну ихъ съ земли, какъ болячки!“ Хорошо держится тамъ Павелъ, ровно со всѣми, твердо. Скоро его выпустятъ, говорю вамъ...

— Скоро! — сказала мать, успокоенная и ласково улыбаясь.—Я знаю, скоро!

— Вотъ и хорошо, коли знаете! Ну, наливайте же мнѣ чаю, говорите, какъ жили.

Онъ смотрѣлъ на нее, улыбаясь весь, такой близкій, славный и въ круглыхъ глазахъ свѣтилась любовная, немного грустная искра.

— Очень я люблю васъ, Андрюша!—глубоко вздохнувъ сказала мать, разглядывая его худое лицо, смѣшно поросшее темными кустиками волосъ.

— Съ меня немногаго довольно... Я знаю, что вы и меня любите, вы всѣхъ можете любить, сердце у васъ большое!—покачиваясь на стулѣ, говорилъ хохоль.

— Нѣтъ, васъ я особенно люблю!—настаивала она.—Была бы у васъ мать, завидывали бы ей люди, что сынъ у нея такой...

Хохоль качнулъ головой и крѣпко потеръ ее обѣими руками.

— Гдѣ-нибудь есть и у меня мать... — тихо сказалъ онъ.

— А знаете, что я сегодня сдѣлала?—воскликнула она и торопливо, захлебываясь отъ удовольствія, немножко прикрашивая, рассказала, какъ она пронесла на фабрику литературу.

Онъ сначала удивленно расширилъ глаза, потомъ захохоталъ, двигая ногами, колотилъ себя пальцами по головѣ и радостно кричалъ:

— Ого! Ну, это же не шутка! Это дѣло! Павелъ-то будетъ радъ, а? Это—хорошо, ненько! И для Павла, и для всѣхъ, кто съ нимъ взять!

Онъ съ восхищеніемъ щелкалъ пальцами, свисталъ и весь качался, блестя радостью и возбуждалъ въ ней сильный, полный отзвукъ.

— Милый вы мой Андрюша!—заговорила она такъ, какъ будто у нея открылось сердце и изъ него яснымъ ручьемъ брызнули, играя, живыя, полныя тихой радости слова.—Думала я о своей жизни—Господи Іисусе Христе! Ну, зачѣмъ я жила? Побой... работа... ничего не видѣла, кромѣ мужа, ничего не знала, кромѣ страха... И какъ росъ Паша—не видѣла... и любила ли его, когда мужъ живъ былъ—не знаю! Всѣ заботы мои, всѣ мысли были объ одномъ—чтобы накормить звѣря своего—хозяина жизни моей—вкусно, сытно, во время угодить ему, чтобы онъ не угрюмился, не пугалъ бы побоями, пожалѣлъ бы хоть разъ... Не помню, чтобы пожалѣлъ когда... Былъ онъ меня такъ... точно не жену бьетъ, а всѣхъ, на кого зло имѣть... Двадцать лѣтъ такъ жила... а что было до замужества—не помню! Вспоминаю—и какъ слѣпая, ничего не вижу. Былъ тутъ Егоръ Ивановичъ—мы съ нимъ изъ одного села... говорить онъ и то и се, а я—дома помню, людей помню, а какъ люди жили, что они говорили, что у кого случилось—

забыла, не вижу! Пожары помню... два пожара... Видно, все изъ меня было выбито, заколочена душа наглухо, ослѣпла, не слышать...

Она перевела дыханіе и, жадно глотая воздухъ, какъ рыба вытщенная изъ воды, наклонилась впередъ и продолжала, понизивъ голосъ:

— Померъ мужъ, я схватилась за сына... а онъ пошелъ по этимъ дѣламъ. Вотъ тутъ жалко мнѣ стало его... жадной такой жалостью... Пропадетъ, какъ я буду одна жить? Сколько страху, тревоги испытала я, сердце разрывалось, когда думала о его судьбѣ...

Она замолчала и, тихо качая головой, проговорила значительно:

— Не чистая она, наша бабья любовь!.. Любимъ мы то, что намъ надо... А вотъ смотрю я на васъ... о матери вы тоскуете... зачѣмъ она вамъ? И всѣ другіе люди за народъ страдаютъ, въ тюрьмы идутъ и въ Сибирь, умираютъ... многихъ—вѣшали... Дѣвушки молодыя ходятъ ночью, однѣ, по грязи, по снѣгу, въ дождикъ... идутъ семь верстъ изъ города къ намъ... кто ихъ гонить, кто толкаетъ? Любятъ они!.. Вотъ они — чисто любить! Вѣрують!.. вѣрують, Андрюша! И вотъ я—не умѣю такъ! Я люблю свое, близкое!

— Вы можете! — сказалъ хохоль и, отвернувъ отъ нея лицо, крѣпко, какъ всегда, потеръ руками голову, щеку и глаза.—Всѣ любятъ близкое, но въ большемъ сердцѣ и далекое — близко! Вы много можете. Велико у васъ материнское...

— Дай Господи!—тихо сказала она.—Я вѣдь чувствую—хорошо такъ жить. Вотъ я васъ люблю... можетъ я васъ люблю лучше, чѣмъ Пашу. Онъ—закрытый весъ... Вотъ онъ жениться хочетъ на Сашенькѣ... а мнѣ, матери, не сказалъ про это...

— Не вѣрно!—угрюмо возразилъ хохоль.—Я знаю это. Не вѣрно. Онъ ее любить и она его—вѣрно. А же-

ниться—этого не будетъ, нѣтъ! Она-бы хотѣла, да Павелъ... не можетъ онъ! Не хочетъ...

— Вотъ какъ! — задумчиво и тихо сказала мать. Глаза ея грустно остановились на лицѣ хохла.—Да. Вотъ какъ. Отказываются люди отъ себя...

— Павелъ—рѣдкій человѣкъ!—тихонько произнесъ хохоль.—Желѣзный человѣкъ...

— Теперь вотъ—сидитъ онъ въ тюрьмѣ!—вдумчиво продолжала она. — Тревожно это, боязно... а не такъ ужъ какъ раньше. Вся жизнь не такая и страхъ другой... всѣхъ жалко, за всѣхъ тревожно. И сердце другое... душа глаза открыла, смотреть—и грустно ей и радостно. Не понимаю я многого и такъ обидно, горько мнѣ, что въ Господа Бога не вѣруете вы!.. Ну, это ужъ ничего не подѣлаешь! Но вижу и знаю—хорошіе вы люди, да! И обрекли себя на жизнь трудную за народъ, на тяжелую жизнь за правду... Правду вашу я тоже поняла: покуда будутъ богатые—ничего не добьется народъ, ни правды, ни радости, ничего!.. Это такъ, Андрюша!.. Вотъ живу я въ этомъ среди васъ... иной разъ ночью вспомнишь прежнее, силу мою, ногами затоптанную, молодое сердце мое забитое—жалко мнѣ себя, горько! Но, все-таки, лучше мнѣ стало жить... и все больше я сама себя вижу...

Хохоль всталъ и, стараясь не шаркать ногами, началъ осторожно ходить по комнатѣ, высокий, худой, задумчивый.

— Хорошо все это сказали вы!—тихо воскликнулъ онъ.—Хорошо. Былъ въ Керчи еврей молоденькій, писалъ онъ стихи и однажды написалъ такое:

— „И невинно убіенныхъ—

Сила правды воскресить...“

— Его самого полиція тамъ, въ Керчи, убила, но это—неважно. Онъ правду зналъ и много посѣялъ ея въ людяхъ... Такъ вотъ вы—невинно убіенный человѣкъ... Вѣрно онъ сказалъ...

— Говорю я теперь,—продолжала мать,—говорю и сама себя слушаю, сама себя не вѣрю. Всю жизнь молчала, всегда думала объ одномъ—какъ-бы обойти день стороной, прожить-бы его незамѣтно, чтобы не тронули меня только? А теперь обо всѣхъ думаю... можетъ и не такъ понимаю я дѣла ваши... но всѣ мнѣ—близкіе, всѣхъ жалко, для всѣхъ—хорошаго хочется. А вамъ, Андрюша... особенно!..

Онъ подошелъ къ ней и сказалъ:

— Спасибо! Обо мнѣ не надо говорить...

Взявъ ея руку въ свои, крѣпко стиснулъ, потрясъ и быстро отвернулся въ сторону. Утомленная волненіемъ мать не торопясь мыла чашки и молчала, въ груди у нея тихо теплилось бодрое, грѣющее сердце чувство.

Хохоль, расхаживая, говорилъ ей:

— Вотъ-бы, ненько, Вѣсовщикова приласкать вамъ однажды! Сидитъ у него отецъ въ тюрьмѣ—поганенькій такой старичекъ. Николай увидитъ его изъ окна и ругаетъ. Нехорошо это! Онъ добрый, Николай... собака любить, мышей и всякую тварь, а людей—не любить! Вотъ, до чего можно испортить человѣка!

— Мать у него безъ вѣсти пропала, отецъ—воръ и пьяница...—задумчиво сказала женщина.

Когда Андрей отправился спать, она незамѣтно перекрестила его, а когда онъ легъ и прошло съ полчаса времени, тихонько спросила:

— Не спите, Андрюша?

— Нѣтъ... а что?

— Ничего. Спокойной ночи!

— Спасибо, ненько, спасибо!—благодарно и негромко отвѣтилъ онъ.

XV.

...На слѣдующій день, когда Власова подошла со своей ношей къ воротамъ фабрики, сторожа сердито оставили ее и, приказавъ поставить корчаги на землю, тщательно осмотрѣли все.

— Простудите вы у меня кушанье!—спокойно замѣтила она, въ то время, какъ они грубо ощупывали ее платье.

— Молчи!—угрюмо сказалъ сторожъ.

Другой, легонько толкнувъ ее въ плечо, увѣренно сказалъ:

— Я говорю—черезъ заборъ бросаютъ!

Къ ней первымъ подошелъ старикъ Сизовъ и, оглянувшись, негромко спросилъ:

— Слышала, мать?

— Что?

— Бумажки-то! Опять появились... Прямо—какъ соли на хлѣбъ насыпали ихъ вездѣ. Вотъ тебѣ и аресты, и обыски! Мазина, племянника моего, въ тюрьму взяли... ну, и что-же? Взяли сына твоего... вѣдь вотъ, теперь ужъ видно, что это не они!

И глядя бороду, Сизовъ закончилъ:

— Дѣло не въ людяхъ, а въ мысляхъ, а мысли—ихъ не переловишь.

Онъ собралъ свою бороду въ руку, посмотрѣлъ на нее и отходя сказалъ:

— Что не зайдешь ко мнѣ? Чай скучно, одной-то...

Она поблагодарила и, выкрикивая названія кушаний, зорко наблюдала за необычнымъ оживленіемъ на фабрикѣ. Всѣ были чему-то рады, собирались, расходились; перебѣгали изъ одного цѣха въ другой. Возбужденные голоса, веселыя и довольныя лица, въ воздухѣ, полномъ копоти, чувствовалось вѣяніе чего-

то бодраго, смѣлаго. То здѣсь, то тамъ раздавались одобрительныя восклицанія, насмѣшливыя возгласы, порой—угрозы. Молодежь была особенно оживлена, пожилые рабочіе осторожно усмѣхались. Озабоченно расхаживало начальство, бѣгали полицейскіе и, замѣтивъ ихъ, рабочіе медленно расходились или, оставаясь на мѣстахъ, прекращали разговоръ, молча глядя въ озлобленныя, раздраженныя лица.

Рабочіе почему-то казались всѣ чисто умытыми. Мелькала высокая фигура старшаго Гусева, уточкой ходилъ его братъ и хохоталъ.

Мимо матери, не спѣша, прошелъ мастеръ столярнаго цеха Вавиловъ и табельщикъ Исай. Маленькій, щуплый табельщикъ, закинувъ голову кверху, согнулъ шею налѣво и, глядя въ неподвижное, надутое лицо мастера, быстро говорилъ, тряся бородкой:

— Они, Иванъ Ивановичъ, хохочутъ... имъ это пріятно, хотя дѣло касается разрушенія государства, какъ сказали г. директоръ. Тутъ, Иванъ Ивановичъ, не полоть, а пахать надо...

Вавиловъ шелъ, заложивъ руки за спину, и пальцы его были крѣпко сжаты...

— Ты тамъ печатай, сукинъ сынъ, что хошь,—громко сказалъ онъ,—но про меня—не смѣй!

Подошелъ Василій Гусевъ, заявляя:

— А я опять у тебя обѣдать буду, вкусно!

И понизивъ голосъ, прищуривъ глаза, тихонько добавилъ:

— Видите? Попали мѣтко... хорошо! Эхъ, мамаша... очень хорошо!

Мать ласково кивнула ему головой. Ей нравилось, что этотъ парень, первый озорникъ въ слободкѣ, говоря съ нею секретно, обращался на вы, ей нравилось общее возбужденіе на фабрикѣ и она думала про себя:

— А вѣдь—кабы не я...

Недалеко остановилось трое чернорабочихъ и одинъ негромко, съ сожалѣніемъ сказалъ:

— Нигдѣ не нашель...

— А послушать надо-бы... Я неграмотный, но вижу, что попало-таки имъ подъ ребро!..—замѣтилъ другой.

Третій оглянулся и предложилъ:

— Идемте въ котельную... я вамъ прочитаю!

— Дѣйствуетъ!—шепнулъ Гусевъ, подмигивая.

Власова пришла домой веселая—теперь она сама видѣла, какъ возбуждаютъ людей книжки.

— Жалѣютъ тамъ люди, что неграмотные они!—сказала она Андрею.—А я вотъ молодая умѣла читать, да забыла...

— Поучитесь!—предложилъ хохоль.

— Въ мои-то годы? Зачѣмъ людей смѣшить...

Но Андрей взялъ съ полки книгу и, указывая концомъ ножа на букву на обложкѣ, спросилъ:

— Это что?

— Рцы!—смѣясь отвѣтила она.

— А это?

— Азъ...

Ей было неловко, обидно и грустно какъ-то. Показалось, что глаза Андрея смѣются надъ нею скрытымъ смѣхомъ и она избѣгала ихъ взглядовъ. Но его голосъ звучалъ въ ея ушахъ мягко и спокойно, она искала взглянула въ лицо ему—оно было серьезно.

— Неужто вы, Андрюша, въ самомъ дѣлѣ думаете учить меня?—спросила она, невольно усмѣхаясь.

— А что-жъ?—отозвался онъ.—Попробуйте! Коли вы читали—легко вспомнить. Не будетъ чуда—въ этомъ нѣтъ еще худа, а будетъ чудо—не худо!

— А то говорить, на образъ ваглянешь—святъ не станешь!—замѣтила мать.

— Э!—кивнувъ головой, сказалъ хохоль.—Поговорокъ много. Меньше знаешь—крѣпче спишь,—чѣмъ не-

вѣрно? Поговорками—желудокъ думаетъ, онъ изъ нихъ уздечки для души плететъ, чтобы лучше было править ею... Брюху надо покоя, душѣ—простора... А это какая буква?

— Люди!—сказала мать.

— Такъ! Вотъ они какъ растопырились... Ну, а эта?

Напрягая зрѣніе, тяжело двигая бровями, она съ усиліемъ вспоминала забытыя буквы и, отдаваясь во власть своихъ усилій, забывалась. Но скоро у нея устали глаза. Сначала явились слезы утомленія, а потомъ на страницу часто закапали слезы грусти.

— Грамотѣ учусь!—всклипнувъ, сказала она.—Умирать пора, а я только еще грамотѣ учиться начала...

— Не надо плакать!—сказалъ хохоль ласково и тихо.—Вы не могли жить иначе... а вотъ все-же понимаете, что-таки жили плохо! Тысячи людей могутъ лучше васъ жить... а живутъ, какъ скоты, да еще хвастаются—хорошо живемъ! А что въ томъ хорошаго—и сегодня человѣкъ поработалъ да поѣлъ и завтра—поработалъ да поѣлъ, да такъ всѣ годы свои—работаетъ и ѣстъ? Между этимъ дѣломъ народить дѣтей себѣ и сначала забавляется ими, а какъ и они тоже много ѣсть начнутъ, онъ сердится, ругаетъ ихъ—скорѣй, обжоры, растите, работать пора! И хотѣлъ-бы дѣтей своихъ сдѣлать домашнимъ скотомъ... но они начинаютъ работать для своего брюха... и снова тянутъ жизнь, какъ воръ мочало! Никогда не дрогнетъ душа радостью, не поживетъ думой, отъ которой сердце замираетъ. Одни живутъ какъ нищіе—всего просятъ, другіе какъ воры—все изъ рукъ хватаютъ. Надѣлали воровскихъ законовъ, наставили надъ народомъ людей съ палками—берегите наши законы, они удобные, они намъ кровь изъ человѣка сосать позволяютъ! Снаружи жмутъ—не поддается человѣкъ, такъ они внутри его вгоняютъ правила, чтобы и разумъ стиснуть...

Облокотясь на столъ, онъ смотрѣлъ въ лицо матери задумчивыми глазами и плавно говорилъ:

— Только тѣ и люди, которые сбиваютъ цѣпи съ тѣла человѣка и съ разума его... Вотъ теперь и вы, по силѣ вашей, за это взялись...

— Ну, что я?—воскликнула она.—Гдѣ мнѣ?

— А какъ-же? Это точно дождикъ—каждая капля верно поить. А какъ начнете вы читать...

Онъ засмѣялся, всталъ и началъ ходить по комнатѣ.

— Нѣтъ, вы учитесь!... Павелъ придетъ, а вы—эгэ?

— Ахъ, Андрюша!—сказала мать.—Молодому все просто. А какъ поживешь, горя-то много, силы-то мало, а ума—совсѣмъ нѣтъ...

Вечеромъ хохолъ ушелъ, она зажгла лампу и сѣла къ столу вязать чулокъ. Но скоро встала, нерѣшительно прошлась по комнатѣ, вышла въ кухню, заперла дверь на крюкъ и, усиленно двигая бровями, воротилась въ комнату. Опустила занавѣски на окнахъ и, взявъ книгу съ полки, снова сѣла къ столу, оглянувшись, наклонилась надъ книгой, губы ея зашевелились... Когда съ улицы доносился шумъ, она, вздрогнувъ, закрывала книгу ладонью, чутко прислушиваясь... И снова, то закрывая глаза, то открывая ихъ, шептала:

— Живете, иже-жи, земля, нащъ...

Мѣрно, съ неумолимой правильностью тусклый маятникъ часовъ считалъ умиравшія секунды...

Постучались въ дверь, мать быстро вскочила на ноги, сунула книгу на полку и, подойдя къ двери, спросила тревожно:

— Кто тамъ?

— Я...

Вошелъ Рыбинъ, поздоровался, солидно погладилъ бороду и, заглядывая темными глазами въ комнату, замѣтилъ:

— Раньше пускала безъ спросу людей... Одна?

— Одна.

— Такъ. А я думалъ—хохолъ дома... Сегодня я его видѣлъ... Тюрьма человѣка не портить... Всего больше глупость портить насъ... вотъ.

Онъ прошелъ въ комнату, сѣлъ тамъ и сказалъ матери:

— Давай-ка, поговоримъ... Есть у меня, видишь ты, догадка...

Онъ смотрѣлъ значительно и таинственно, внушая матери смутное безпокойство. Она сѣла противъ него и ждала молча, озабоченно.

— Все стоитъ денегъ!—началъ онъ своимъ тяжелымъ голосомъ.—Даромъ не родишься, не умрешь... вотъ. И книжки, и листочки—стоятъ денегъ. Теперь ты знаешь, откуда деньги на книжки идутъ?

— Не знаю я!—тихо сказала мать, чувствуя что-то опасное.

— Такъ. Я тоже не знаю. Второе— книжки кто составляетъ?

— Ученые...

— Господа!—кратко молвилъ Рыбинъ. Голосъ его становился все тяжелѣе и бородатое лицо напряглось, покраснѣло.

— Значить, господа книжки составляютъ, они ихъ раздають. А въ книжкахъ этихъ пишется—противъ господъ. Теперь—ты мнѣ скажи—какая имъ польза тратить работу и деньги для того, чтобы народъ противъ себя поднять... а?

Старуха быстро мигнула глазами, потомъ широко открыла ихъ и пугливо вскрикнула:

— Что ты думаешь?... Что?

— Ага!—сказалъ Рыбинъ и заворочался на стулѣ, точно медвѣдь.—Вотъ. Я тоже какъ дошелъ до этой мысли—холодно стало.

— Что-же такое? Узналъ что-нибудь?

— Обманъ!—отвѣтилъ Рыбинъ.—Чувствую—обманъ. Ничего не знаю, а—есть обманъ. Вотъ. Господа муд-

рять чего-то. А я—не желаю... Мнѣ нужно правду... И я правду понимаю, я ее понялъ... А съ господами въ одинъ рядъ не пойду. Они, когда понадобится имъ, толкнуть меня впередъ... да по моимъ костямъ, какъ по мосту, дальше зашагаютъ...

Онъ говорилъ и точно связывалъ сердце матери угрюмыми словами, въ которыхъ упрямо звучала тяжелая сила.

— Господи!—съ тоской воскликнула мать.—Неужто Папа не понимаетъ?.. И всѣ, которые... изъ города ходятъ, неужто они...

Передъ нею замелькали серьезные, честныя лица Егора, Николая Ивановича, Сашеньки и сердце у нея встрепетнулось.

— Нѣтъ, нѣтъ!—заговорила она, отрицательно качая головой.—Не могу я повѣрить... Они—за совѣсть... они—по чести. Они не помышляютъ худого, нѣтъ!

— Про кого говоришь?—задумчиво спросилъ Рыбинъ.

— Про всѣхъ... всѣхъ до одинаго, кого видѣла.

У нея на лицѣ выступилъ потъ и дрожали пальцы рукъ.

— Не туда глядишь, мать, гляди дальше!—сказалъ Рыбинъ, опустивъ голову.—Тѣ, которые близко подошли къ намъ, они, можетъ, сами ничего не знаютъ... Они—вѣрятъ—такъ надо!.. Имъ правда по сердцу... А можетъ—за ними другіе есть... которымъ лишь-бы выгода была? Человѣкъ противъ себя зря не пойдетъ...

И съ тяжелымъ убѣжденіемъ крестьянина, вѣками питавшагося недовѣріемъ, онъ прибавилъ:

— Никогда ничего хорошаго отъ господъ не будетъ! Такъ.

— Что ты надумалъ?—спросила мать, снова охваченная смутнымъ сомнѣніемъ,

— Я?—Рыбинъ взглянулъ на нее, помолчалъ и повторилъ:—Отъ господъ надо дальше. Вотъ.

Потомъ снова помолчалъ, угрюмый и съеживннйся.

— Я уйду, мать. Хотѣлъ я къ парнямъ пристегнуться, чтобы вмѣстѣ съ ними... Я въ это дѣло го-жусь. Грамотный, упрямый, не дуракъ. А, главное,—знаю, что надо сказать людямъ. Вотъ. Ну, а теперь я уйду. Не могу я вѣрить, долженъ уйти. Я, мать, знаю—опоганены души у людей. Всѣ живутъ завистью, всѣ хотятъ жрать. А жратвы—мало и каждый норовитъ другого съѣсть.

Онъ опустилъ голову, подумавъ.

— Пойду одинъ по селамъ, по деревнямъ. Буду бунтовать народъ. Надо, чтобы онъ самъ, чтобы народъ взялся. Если онъ пойметъ — онъ пути себѣ откроетъ. Вотъ я и буду стараться, чтобы онъ понялъ—нѣтъ у него надежды, кромѣ себя самого, нѣту разума, кромѣ своего. Такъ-то!

Ей стало жаль его, она почувствовала страхъ за этого человѣка. Всегда непріятный ей, теперь онъ какъ-то вдругъ всталъ ближе, сдѣлался роднѣе.

— Паша съ одной стороны идетъ, онъ—съ другой... Пашѣ - то легче будетъ! — подумала она, а вслухъ тихо сказала:

— Поймаютъ тебя...

Рыбинъ посмотрѣлъ на нее и спокойно отвѣтилъ:

— Поймаютъ,—выпустятъ. А я опять...

— Сами-же мужики свяжутъ... И будешь въ тюрьмѣ сидѣть...

— Посижу—выйду. И опять пойду... А что до мужиковъ—разъ свяжутъ, два, потомъ поймутъ, что не вязать надо меня, а слушать. Я скажу имъ:—вы мнѣ не вѣрьте, вы только слушайте... А будутъ слушать — повѣрятъ!

Они оба говорили медленно, какъ-бы оцупывая каждое слово прежде, чѣмъ сказать его.

— Мнѣ, мать,—говорилъ Рыбинъ,—радости въ этомъ мало. Я тутъ жилъ послѣднее время и многого нагло-

тался. Такъ. Понялъ кое-что. А теперь — какъ будто младенца хороню...

— Пропадешь, Михайло Ивановичъ!—грустно качая головой, молвила она.

Темными, глубокими глазами онъ смотрѣлъ на нее, спрашивая и ожидая. Его крѣпкое тѣло нагнулось впередъ, руки упирались въ сидѣнье стула и смуглое лицо казалось блѣднымъ, въ черной рамѣ бороды.

— А слышала, какъ Христосъ про зерно сказалъ? Не умрешь—не воскреснешь въ новомъ колосѣ... Человѣкъ есть зерно правды, вотъ... До смерти мнѣ далеко. Я—хитрый!

Онъ завожился на стулѣ и не спѣша всталъ.

— Пойду въ трактиръ, посижу тамъ на людяхъ... Хохолъ что-то не идетъ... Началъ хлопотать?

— Да!—сказала мать, улыбаясь.—Они всѣ такіе — выпустятъ ихъ изъ тюрьмы, они сейчасъ къ своему дѣлу...

— Такъ и надо. Ты ему скажи про меня...

Они медленно шли плечо къ плечу въ кухню и, не глядя другъ на друга, перекидывались краткими словами.

— Я скажу!—обѣщала она.

— Ну, прощай!

— Прощай... Когда расчетъ берешь?..

— Взялъ.

— А когда уходишь?

— Завтра. Рано утромъ. Прощай!

Онъ согнулся и какъ-то неохотно, неуклюже вылѣзъ въ сѣни. Мать съ минуту стояла передъ дверью, прислушиваясь къ тяжелымъ удалявшимся шагамъ и къ сомнѣніямъ, разбуженнымъ въ ея груди. Потомъ тихо повернулась, прошла въ комнату и, приподнявъ занавѣску, посмотрѣла въ окно. За стекломъ неподвижно стояла черная тьма и чего-то ждала, разинувъ свою бездонную, плоскую пасть.

— Ночью живу!—подумала она,—всегда ночью!..

Ей было жалко чернобородаго степеннаго мужика—былъ онъ такой широкій, сильный и — безпомощное было въ немъ, какъ во всѣхъ людяхъ...

Скоро пришелъ Андрей, оживленный и веселый.

Когда она рассказала ему о Рыбинѣ, онъ воскликнулъ:

— Идетъ? Ну, и пускай ходить по деревнямъ, звонить о правдѣ, будить народъ... Съ нами трудно ему. У него въ головѣ свои мысли выросли, нашимъ—тѣсно тамъ...

— Вотъ о господахъ говорилъ онъ... есть тутъ что-то!—осторожно замѣтила мать.—Не обманули-бы!

— Задѣваетъ? — смѣясь вскричалъ хохоль. — Эхъ, ненько, деньги! Были-бы онъ у насъ!.. Мы еще все на чужой счетъ живемъ... Вотъ Николай Ивановичъ получаетъ семьдесятъ пять рублей въ мѣсяцъ—намъ пятьдесятъ отдаетъ. Также и другіе. Да голодные студенты иной разъ пришлютъ немного, собравъ по копѣйкамъ... А господа, конечно, разные бываютъ. Одни—обмануть, другіе—отстануть, а съ нами, вплоть до нашего праздника,—самые лучшіе пойдутъ...

Онъ хлопнулъ руками и крѣпко продолжалъ:

— Но до того праздника — орелъ не долетитъ, а вотъ мы перваго мая небольшой устроимъ... Весело будетъ!

Его слова и оживленіе его отталкивали тревогу, посѣянную Рыбинымъ. Хохолю ходилъ по комнатѣ, потирая одной рукой голову, другой грудь и, глядя въ полъ, говорилъ:

— Знаете, иногда такое живетъ въ сердцѣ... удивительное! Кажется вездѣ, куда ты ни придеешь—люди товарищи, всѣ горятъ однимъ огнемъ, всѣ веселые, добрые, славные... Безъ словъ другъ друга понимаютъ... и никто не хочетъ обижать человѣка, не нужно уже это никому. Живутъ всѣ хоромъ, а каждое сердце

поеть свою пѣсню... Всѣ пѣсни, какъ ручьи, бѣгутъ—
льются въ одну рѣку и течетъ рѣка широко и свободно
въ море свѣтлыхъ радостей новой жизни... Подумаешь,
что вѣдь это—будетъ! Не можетъ этого не быть, если
мы такъ хотимъ... Тогда удивленное сердце замираетъ
отъ радости, плакать хочется... такъ хорошо!..

Мать старалась не двигаться, чтобы не помѣшать
ему, не прерывать его рѣчи. Она слушала его всегда
съ бѣльшимъ вниманіемъ, чѣмъ другихъ, онъ гово-
рилъ проще всѣхъ и его слова сильнѣе трогали сердце.
Павель тоже, должно быть, заглядывалъ впередъ—какъ
можно безъ этого, когда идешь такимъ путемъ? Но онъ
смотрѣлъ вдаль одиноко и никогда не говорилъ о томъ,
что видитъ. А этотъ, казалось ей, всегда былъ тамъ
частью своего сердца, всегда въ его рѣчахъ звучала
сказка о будущемъ праздникѣ для всѣхъ на землѣ.
Эта сказка освѣщала для матери смыслъ жизни и ра-
боты ея сына и всѣхъ товарищей его.

— А очнешься,—говорилъ хохоль, встряхнувъ голо-
вой, и руки его упали, вытянулись вдоль тѣла,—погля-
дишь кругомъ... и холодно, и грязно! Всѣ устали, обо-
зались, жизнь человѣческая изжевана, измята...

Остановясь передъ нею, съ глубокой печалью въ
глазахъ, покачивая головой, тихо и грустно онъ про-
должалъ:

— Обидно это... а надо не вѣрить человѣку, надо
бояться его и даже — ненавидѣть! Двоится человѣкъ,
рѣжетъ жизнь его на-двое. Ты-бы—только любить хо-
тѣлъ, а какъ это можно? Какъ простить человѣку, если
онъ дикимъ звѣремъ на тебя идетъ, не признаетъ въ
тебѣ живой души и даетъ пинки въ человѣческое
лицо твое? Нельзя прощать! Не за себя нельзя,—я за
себя всѣ обиды снесу, но потакать насильникамъ не
хочу, не хочу, чтобы на моей спинѣ другихъ бить
учились.

Теперь глаза у него вспыхнули холоднымъ огнемъ, онъ упрямо наклонилъ голову и говорилъ тверже.

— Я не долженъ прощать ничего вреднаго, хоть-бы мнѣ и не вредило оно. Я—не одинъ на землѣ! Сегодня я позволю себя обидѣть и, можетъ, только посмѣюсь надъ обидой, не уколетъ она меня... а завтра, испытавъ на мнѣ свою силу, обидчикъ пойдетъ съ другого кожу снимать... И приходится на людей смотрѣть разное, приходится держать сердце строго, разбирать людей; это—свои, это—чужіе... Справедливо—а не утѣшаетъ!

Мать вспомнила почему-то офицера и Сашеньку. Вздыхая, она сказала:

— Ужъ какіе хлѣбы изъ несѣянной муки!..

— Тутъ и горе!—воскликнулъ хохоль.—Надо смотрѣть разными глазами... бьются въ груди два сердца—это любить всѣхъ, а другое говорить — стой, нельзя! Ломается человѣкъ...

— Да-а!—сказала мать. Въ памяти ея теперь встала фигура мужа, угрюмая и тяжелая, точно большой камень, поросшій мохомъ. Она представила себѣ хохла мужемъ Наташи и сына, женатымъ на Сашенькѣ...

— А отчего?—спросилъ хохоль, загораясь.—Это такъ хорошо видно, что даже смѣшно. Оттого только, что не ровно люди стоятъ. Такъ давайте-же, поровняемъ всѣхъ въ одинъ рядъ!.. Раздѣлимъ поровну все, что сдѣлано разумомъ, все, что сработано руками! Не будемъ держать другъ друга въ рабствѣ страха и зависти, въ плѣну жадности и глупости!..

...Они часто стали говорить такъ.

XVI.

Хохла снова приняли на фабрику, онъ отдавалъ матери весь свой заработокъ и она брала эти деньги такъ-же спокойно, какъ принимала ихъ изъ рукъ Павла.

Иногда Андрей предлагалъ съ улыбкой въ глазахъ:

— Почитаемъ, ненько, а?

Она шутливо, но настойчиво отказывалась, ее смущала эта улыбка и, немножко обижаясь, она думала:

— Если ты смѣешься, такъ зачѣмъ-же?

И все чаще, замѣчалъ онъ, мать спрашивала его, что значить то или другое книжное слово, чуждое ей. Спрашивая, она смотрѣла въ сторону и голосъ ея звучалъ безразлично. Онъ догадался, что она потихоньку учится сама, понялъ ея стыдливость и пересталъ предлагать ей читать съ нимъ. Скоро она заявила ему:

— Глаза у меня слабѣютъ, Андрюша... Очки бы надо...

— Дѣло! — отозвался онъ. — Вотъ въ воскресенье пойду съ вами въ городъ, покажу васъ тамъ знакомому доктору и будутъ очки...

Она уже трижды ходила просить свиданія съ Павломъ и каждый разъ жандармскій генераль, сѣдой старичекъ съ багровыми щеками и большимъ носомъ ласково отказывалъ ей.

— Черезъ недѣлку, матушка, не раньше! Черезъ недѣлку мы посмотримъ... а сейчасъ невозможно...

Онъ былъ круглый, сытенькій и весь напоминалъ ей почему-то спѣлую сливу, немного залежавшуюся и уже покрытую пушистой плѣсенью. Онъ всегда ковырялъ въ мелкихъ бѣлыхъ зубахъ острой желтой палочкой и его небольшіе зеленоватые глазки кругло и ласково улыбались, а голосъ звучалъ любезно, дружески.

— Вѣжливый! — вдумчиво говорила она хохлу. — Все улыбаются... Не хорошо это, по моему. Командуя такимъ дѣломъ, не надо-бы зубы-то скалить...

— Да, да! — сказалъ хохоль. — Они ничего, ласковые, они всегда улыбаются. Имъ скажутъ: — а ну, вотъ это умный и честный человѣкъ, онъ опасенъ намъ, повѣсьте-ка его! Они улыбнутся и повѣсятъ, а потомъ — опять улыбаться будутъ.

— Тотъ, который у насъ съ обыскомъ былъ, онъ

лучше, проще!—сопоставляла мать.—Сразу видно, что собака...

— Всѣ они не люди, а такъ, молотки, чтобы оглушать людей. Инструменты. Ими обдѣлываютъ нашего брата, чтобы мы были удобнѣе для государства... Сами они уже сдѣланы удобными для управляющей нами руки—могутъ работать все, что ихъ заставляютъ, не думая, не спрашивая, зачѣмъ это нужно.

— Съ брюшкомъ онъ...

— Ну, да! Чѣмъ брюхо глаже, тѣмъ душа гаже...

Наконецъ ей дали свиданіе и однажды въ воскресенье она скромно сидѣла въ углу тюремной канцеляріи. Кромѣ нея въ тѣсной и грязной комнатѣ съ низкимъ потолкомъ было еще нѣсколько человѣкъ, ожидавшихъ свиданій. Должно быть они уже не въ первый разъ были здѣсь и знали другъ друга; между ними лѣниво и медленно сплетался тихій и липкій, какъ паутина, разговоръ.

— Слышали?—говорила полная женщина съ сухлымъ лицомъ и саквояжемъ на колѣняхъ. — Сегодня за ранней обѣдой соборный регентъ опять мальчику пѣвчему ухо надорвалъ...

Пожилой человѣкъ въ мундирѣ отставного военного громко откашлялся и замѣтилъ:

— Эти пѣвчіе всегда такіе сорванцы!

По канцеляріи суетливо бѣгаль низенькій, лысый человѣчекъ на короткихъ ногахъ, съ длинными руками и выдвинутой впередъ челюстью. Не останавливаясь, онъ заговорилъ тревожнымъ и трескучимъ голосомъ:

— Жизнь становится дороже, оттого и люди злѣе... Говядина второй сортъ—четыренадцать копѣекъ фунтъ, хлѣбъ опять сталъ двѣ съ половиной...

Порою входили арестанты, сѣрые, однообразные, въ тяжелыхъ кожаныхъ башмакахъ. Входя въ полутемную комнату, они мигали глазами. У одного на ногахъ звѣли кандалы.

Все было странно спокойно и неприятно просто. Казалось, что всѣ издавна привыкли, сжились со своимъ положеніемъ и одни—спокойно сидятъ, другіе—лѣниво караулятъ, третьи—аккуратно и устало посѣщаютъ заключенныхъ. Сердце матери дрожало дрожью нетерпѣнія и она недоумѣнно смотрѣла на все вокругъ, удивленная тяжелой простотой жизни.

Рядомъ съ Власовой сидѣла маленькая старушка, лицо у нея было сморщенное, а глаза молодые. Повертывая тонкую шею, она вслушивалась въ разговоръ и смотрѣла на всѣхъ странно заодно.

— У васъ кто здѣсь?—тихо спросила ее Власова.

— Сынъ. Студентъ, — отвѣтила старушка громко и быстро.—А у васъ?

— Тоже сынъ. Рабочій.

— Какъ фамилія?

— Власовъ.

— Не слыхала. Давно сидить?

— Седьмую недѣлю...

— А мой — десятый мѣсяцъ!—сказала старушка и въ голосъ ея Власова почувствовала что-то странное, похожее на гордость.

— Да, да! — быстро говорилъ лысый старичекъ.— Терпѣніе исчезаетъ... Всѣ раздражаются, всѣ кричатъ... и все возрастаетъ въ цѣнѣ. А люди, сообразно сему, дешевѣютъ... Примирающихъ голосовъ не слышно.

— Совершенно вѣрно! — сказалъ военный. — Безобразіе! Нужно, чтобы раздался, наконецъ, твердый голосъ—молчать! Вотъ, что нужно. Твердый голосъ...

Разговоръ сталъ общимъ и оживленнымъ. Каждый торопился сказать свое мнѣніе о жизни, но всѣ говорили вполголоса и во всѣхъ мать чувствовала что-то чужое ей. Дома говорили иначе, понятнѣе проще и, громче.

Толстый надзиратель съ квадратной рыжей бородой

крикнулъ ея фамилію, оглянулъ ее съ ногъ до головы и, прихрамывая пошелъ, сказавъ ей:

— Иди за мной...

Она шагала и ей хотѣлось толкнуть въ спину надзирателя, чтобы онъ шелъ быстрее. Въ маленькой комнатѣ стоялъ Павелъ, улыбался, протягивалъ руку... Мать схватила ее, засмѣялась, часто мигая глазами и, не находя словъ, тихо говорила:

— Здравствуй... здравствуй...

— Да ты успокойся, мама!—пожимая ея руку, говорилъ Павелъ.

— Ничего... Ничего...

— Мать! — Вздохнувъ сказалъ надзиратель. — Но, между прочимъ, разойдитесь... чтобы между вами было разстояніе...

И громко зѣвнулъ. Павелъ спрашивалъ ее о здоровьѣ, о домѣ... Она ждала какихъ-то другихъ вопросовъ, искала ихъ въ глазахъ сына и не находила. Онъ, какъ всегда, былъ спокоенъ, только лицо поблѣднѣло, да глаза, какъ будто, стали больше.

— Саша кланяется!—сказала она.

У Павла дрогнули вѣки и опустились. Лицо стало мягче и улыбнулось такъ ясно. Острая горечь щипнула сердце матери.

— Скоро-ли выпустятъ они тебя!—заговорила она со внезапной обидой и раздраженіемъ. — За что посадили? Вѣдь вотъ бумажки эти опять появились...

Глаза у Павла радостно блеснули.

— Опять?—быстро спросилъ онъ.

— Объ этихъ дѣлахъ запрещено говорить!—лѣниво заявилъ надзиратель. — Можно только о семейномъ...

— А это развѣ не семейное?—возразила мать.

— Ужъ я не знаю. Только — запрещается. Насчетъ бѣлья и пищи можно. А больше ни о чемъ! — настаивалъ надзиратель, но онъ говорилъ равнодушно.

— Ну, хорошо!—сказаль Павелъ.—Говори, мама, о семейномъ. Что ты дѣлаешь?

Она, чувствуя въ себѣ молодой задоръ, отвѣтила:

— Ношу на фабрику все это...

Остановилась и, улыбаясь, продолжала:

— Щи, кашу, всякую Марьину стряпню... и прочую пищу...

Павелъ поняль. Лицо у него задрожало отъ сдерживаемаго смѣха, онъ взбилъ волосы и ласково, голосомъ, какого она еще не слышала отъ него, сказалъ:

— Родная ты моя... это хорошо! Хорошо, что у тебя дѣло есть... не скучаешь. Да, не скучаешь?

— А когда листки - то эти появились, меня тоже обыскивать стали!—не безъ хвастовства заявила она.

— Опять про это!—сказаль надзиратель, обижаясь.— Я говорю нельзя! Человѣка лишили воли, чтобы онъ ничего не зналь, а ты—свое! Надо понимать чего нельзя.

— Ну, оставь это, мама!—сказаль Павелъ.—Матвѣй Ивановичъ хорошій человѣкъ, не надо его сердить. Мы съ нимъ живемъ дружно... Вѣдь онъ сегодня случайно при свиданіи, обыкновенно присутствуетъ помощникъ начальника. Вотъ Матвѣй Ивановичъ и боится, какъ бы ты не сказала чего-нибудь лишняго!

— Окончилось свиданіе! — заявилъ надзиратель, глядя на часы.

— Ну, спасибо, мама!—сказаль Павелъ. — Спасибо, голубушка. Ты не безпокойся. Скоро меня выпустятъ...

Онъ крѣпко обняль ее, поцѣловаль и разстроганная этимъ, счастливая, она заплакала.

— Расходитесь! — сказалъ надзиратель и, провожая мать, забормоталь:

— Не плачь... выпустятъ! Всѣхъ выпускають... Тѣсно стало...

Дома она говорила хохлу, широко улыбаясь и оживленно двигая бровями:

— Ловко я ему сказала... понялъ онъ!

И грустно вздохнула.

— Да, понялъ! А то бы не приласкалъ бы такъ... никогда онъ этого не дѣлалъ!

— Эхъ вы!—засмѣялся хохоль.—Кто чего ищетъ, а мать—всегда ласки...

— Нѣтъ, Андриюша, люди-то, я говорю!—вдругъ съ удивленіемъ воскликнула она.—Вѣдь какъ привыкли. Оторвали отъ нихъ дѣтей, посадили въ тюрьму, а они—ничего, пришли, сидятъ, ждутъ, разговариваютъ... а? Ужъ если образованные такъ привыкаютъ... что же говорить о черномъ-то народѣ?..

— Это понятно,—сказалъ хохоль со своей тихой усмѣшкой,—къ нимъ законъ, все-таки, ласковѣе, чѣмъ къ намъ... и нужды они въ немъ имѣютъ больше, чѣмъ мы. Такъ что, когда онъ ихъ по лбу стучаетъ, они хоть и морщатся, да не очень. Своя палка — легче бьетъ... Ихъ законы немножко охраняютъ, а насъ они—только вяжутъ, чтобы мы не брыкались...

Однажды вечеромъ мать сидѣла у стола, вязала носки, а хохоль читалъ вслухъ книгу о возстаніи римскихъ рабовъ, кто-то сильно постучался и когда хохоль отперъ дверь, вошелъ Вѣсовщиковъ съ узелкомъ подъ мышкой, въ шапкѣ, сдвинутой на затылокъ, по колѣна забрызганный грязью.

— Иду—вижу у васъ огонь. Зашелъ поздороваться. Прямо изъ тюрьмы! — объявилъ онъ страннымъ голосомъ и, схвативъ руку Власовой, сильно потрясъ ее, говоря:

— Павелъ кланяется...

Потомъ, нерѣшительно опустившись на стулъ, обвелъ комнату сумрачнымъ, подозрительнымъ взглядомъ.

Онъ не нравился матери, въ его угловатой, стриженной головѣ, въ маленькихъ глазахъ было что-то

всегда пугавшее ее, но теперь она обрадовалась и вся ласковая, вся улыбаясь, оживленно говорила:

— Осунулся ты... Давайте, Андрюша, напоимъ его чаемъ...

— А я уже ставлю самовары! — отозвался хохоль изъ кухни.

— Ну, какъ Павель-то?.. Еще кого выпустили или только тебя?

Николай опустилъ голову и отвѣтилъ.

— Павель сидить... терпитъ! Выпустили одного меня! Онъ поднялъ глаза въ лицо матери и медленно, сквозь зубы, проговорилъ:

— Я имъ сказалъ—будеть, пустите меня на волю... А то я тутъ убью кого-нибудь... и себя тоже. Выпустили.

— М-м-да-а!—сказала мать, отодвигаясь отъ него, и невольно мигнула, когда взглядъ ея встрѣтился съ его узкими, острыми глазами.

— А какъ Федя Мазинъ?—крикнулъ хохоль изъ кухни.—Стихи пишетъ?

— Пишетъ. Я этого не понимаю! — покачавъ головой сказалъ Николай.—Что онъ—чижъ? Посадили въ клѣтку... поеть... Я вотъ одно понимаю — домой мнѣ идти не хочется...

— Да вѣдь что тамъ, дома-то, у тебя?—задумчиво сказала мать.—Пусто, печь нетоплена, настыло все...

Онъ помолчалъ, прищутивъ глаза. Вынулъ изъ кармана коробку папиросъ, не торопясь закурилъ и глядя на сѣрый клубъ дыма, таявшій передъ его лицомъ, усмѣхнулся усмѣшкой большой угрюмой собаки.

— Да, холодно, должно быть... На полу мерзлые тараканы валяются... и мыши тоже померзли... Ты, Пелагея Ниловна, позволь мнѣ у тебя ночевать... можно?—глухо спросилъ онъ, не глядя на нее.

— А, конечно, батюшка, не надо и спрашивать! — быстро сказала мать. Ей было неловко, неудобно съ

нимъ, она не знала о чемъ говорить. Но Николай заговорилъ самъ, страшно ломающимся голосомъ.

— Теперь такое время, что дѣти стыдятся родителей своихъ...

— Чего?—вздрыгнувъ спросила мать.

Онъ взглянулъ на нее, закрылъ глаза и его рябое лицо стало слѣпымъ.

— Дѣти начали стыдиться родителей, говорю! — повторилъ онъ и шумно вздохнулъ.—Ты не бойся, это не для тебя. Тебя Павелъ не постыдится никогда... А я вотъ стыжусь отца... И въ домъ этотъ его... не пойду я больше. Нѣтъ у меня отца... и дома нѣтъ! Теперь отдали меня подъ надзоръ полиціи... а то я ушелъ бы въ Сибирь... Я думаю въ Сибири человѣкъ, который себя не будетъ жалѣть, много можетъ сдѣлать... Я бы тамъ ссыльныхъ освобождалъ, устраивалъ бы побѣги имъ...

Чуткимъ сердцемъ мать понимала, что этому человѣку тяжело, но его боль не возбуждала въ ней состраданія.

— Да, конечно... ужъ если такъ... то лучше уйти!—говорила она, чтобы не обидѣть его молчаніемъ.

Изъ кухни вышелъ Андрей и смѣясь сказалъ:

— Что ты проповѣдуешь, а?

Мать встала, говоря:

— Надо поѣсть чего-нибудь приготовить...

Вѣсовщиковъ пристально посмотрѣлъ на хохла и вдругъ заявилъ:

— Я такъ полагаю, что нѣкоторыхъ людей надо убивать...

— Угу! А для чего?—спросилъ хохолъ.

— Чтобы ихъ не было...

— А у тебя есть право изъ живыхъ людей покойниковъ дѣлать?

— Есть.

— Гдѣ взялъ?

— Люди дали...

Хохолъ, высокій и сухой, покачиваясь на ногахъ,

стоялъ среди комнаты и смотрѣлъ на Николая сверху внизъ, сунувъ руки въ карманы, а Николай крѣпко сидѣлъ на стулѣ, окруженный облаками дыма и на его сѣромъ лицѣ выступили красныя пятна.

— Люди, люди!—повторилъ онъ, сжимая кулакъ.— Ежели они дадутъ мнѣ пинки, значить, и я имѣю право бить ихъ... по мордамъ... по глазамъ... подлымъ... Не тронь меня и я не трону. Дай мнѣ жить... какъ я хочу, я буду жить тихо, я никого не задѣну, ей Богу. Я, можетъ, желаю въ лѣсу жить. Выстрою себѣ хижину въ оврагѣ надъ ручьемъ и буду въ ней сидѣть... вообще—буду жить одинъ...

— Да иди и живи себѣ!—сказалъ хохоль, пожимая плечами.

— Теперь?—спросилъ Николай. Онъ отрицательно покачалъ головой и отвѣтилъ, ударивъ кулакомъ по колѣну.—Теперь ужъ—нельзя!

— Кто же мѣшаетъ?

— Люди! — отвѣтилъ Вѣсовщиковъ. — Я съ ними связанъ вплоть до смерти... они мнѣ сердце ненавистью оплели... и зломъ привязали меня къ себѣ... это крѣпко! Я ненавижу ихъ и никуда не пойду... буду мѣшать имъ жить. Они мнѣ мѣшаютъ, а я имъ. Я за себя отвѣчаю, только за себя... а больше ни за кого не могу отвѣтить... И если мой отецъ воръ...

— Ага!—тихо сказалъ хохоль, подвигаясь къ Николаю.

— А Исаю Горбову я башку оторву... увидишь.

— За что?—спросилъ хохоль.

— Не шпионъ, не доноси. Черезъ него отецъ погибъ... и черезъ него онъ теперь въ сыщики мѣтитъ... съ угрюмой враждебностью глядя на Андрея, говорилъ Вѣсовщиковъ.

— Вотъ оно что!—воскликнулъ хохоль. — Но тебя за это кто обвинить? Дураки!...

— И дураки и умники—однимъ миромъ мазапы!—

твердо сказалъ Николай. — Вотъ ты умникъ и Павелъ тоже... а я для васъ развѣ такой - же человѣкъ, какъ Федька Мазинъ или Самойловъ, или оба вы другъ для друга? Не ври, я не повѣрю, все равно... и всѣ вы отодвигаете меня въ сторону, на отдѣльное мѣсто...

— Болить у тебя душа, Николай! — тихо и ласково сказалъ хохоль, садясь рядомъ съ нимъ.

— Болить. И у васъ болить... но ваши болячки кажутся вамъ благороднѣе моихъ... Всѣ мы сволочи другъ другу, вотъ, что я скажу... А что ты мнѣ можешь сказать? Ну-ка?

Онъ уставился острыми глазами въ лицо Андрея и ждалъ, оскаливъ зубы. Его пестрое лицо было неподвижно, а по толстымъ губамъ пробѣгала дрожь, точно онъ ожегъ ихъ чѣмъ-то горячимъ и жгучая боль сводить тѣло судорогами.

— Ничего я тебѣ не скажу! — заговорилъ хохоль, тепло лаская враждебный взглядъ Вѣсовщикова свѣтлой и грустной улыбкой голубыхъ глазъ. — Я знаю — спорить съ человѣкомъ въ такой часъ, когда у него въ сердцѣ всѣ царапины кровью сочатся — это только обижать его... я знаю, братъ!

— Со мной нельзя спорить, я не умѣю! — пробормоталъ Николай, опуская глаза.

— Я думаю, — продолжалъ хохоль, — каждый изъ насъ ходилъ голыми ногами по битому стеклу, каждый въ свой темный часъ дышалъ вотъ такъ, какъ ты...

— Ничего ты не можешь мнѣ сказать! — медленно проговорилъ Вѣсовщиковъ. — Ничего! У меня душа вѣлкомъ воетъ!..

— И не хочу! Только я знаю — это пройдетъ у тебя. Можетъ не совсѣмъ, а пройдетъ!

Онъ усмѣхнулся и продолжалъ, хлопнувъ Николая по плечу.

— Это, братъ, дѣтская болѣзнь... вродѣ кори... Всѣ

мы ею болѣемъ... сильные-поменьше, слабые-побольше... Она тогда одолѣваетъ нашего брата, когда человѣкъ себя найдетъ, а жизни и своего мѣста—еще не понимаетъ... А когда мѣста своего не видишь и оцѣнить себя не можешь,—кажется тебѣ, что ты одинъ на землѣ такой хорошій огурчикъ и никто тебя не хочетъ ни взвѣсить ни смѣрить, а всѣ только съѣсть тебя хотятъ. Потомъ, пройдетъ немного времени, увидишь ты, что хорошій кусокъ твоей души и въ другихъ грудяхъ не хуже—тебѣ станетъ легче. И немножко совѣстно—зачѣмъ на колокольню лѣзъ, когда твой колокольчикъ такой маленькій, что и не слышно его во время праздничнаго звона? Дальше увидишь, что твой звонъ въ хору слышенъ, а въ одиночку—старые колокола топятъ его въ своемъ гулѣ, какъ муху въ маслѣ... Ты понимаешь, что я говорю?

— Можетъ быть—понимаю!—кивнувъ головой сказалъ Николай.—Только я—не вѣрю!

Хохоль засмѣялся, вскочилъ на ноги, шумно забѣгалъ.

— Вотъ и я тоже не вѣрилъ... Ахъ ты... возъ!

— Почему—возъ?—сумрачно усмѣхнулся Николай, глядя на хохла.

— А—похожъ!

Вдругъ Вѣсовщиковъ, широко открывъ ротъ, громко засмѣялся.

— Что ты?—удивленно спросилъ хохоль, остановившись противъ него.

— А я подумалъ—вотъ дуракъ будетъ тотъ, кто тебя обидитъ!—заявилъ Николай, двигая головой.

— Да чѣмъ меня обидишь?—произнесъ хохоль, пожимая плечами.

— Я не знаю!—сказалъ Вѣсовщиковъ, добродушно или снисходительно оскаливая зубы.—Я только про то, что очень ужъ совѣстно должно быть человѣку, послѣ того, какъ онъ обидитъ тебя.

— Вотъ куда тебя бросило!—смѣясь сказалъ хохоль.

— Андрюша! — позвала мать изъ кухни. — Несите самоваръ, готовъ.

Андрей ушелъ.

Оставшись одинъ, Вѣсовщиковъ оглянулся, вытянулъ ногу, одѣтую въ тяжелый сапогъ, посмотрѣлъ на нее, наклонился, пощупалъ руками толстую икру. Поднялъ руку къ лицу, внимательно оглядѣлъ ладонь, потомъ повернулъ тыломъ. Рука была толстая, съ короткими пальцами и покрыта желтой шерстью. Онъ помахалъ ею въ воздухъ, всталъ.

Когда Андрей внесъ самоваръ, Вѣсовщиковъ стоялъ передъ зеркаломъ и встрѣтилъ его такими словами.

— Давно я рожу своей не видалъ...

Ухмыльнулся и, качая головой, добавилъ:

— Скверная у меня рожа!

— А что тебѣ до этого? — спросилъ Андрей, любопытно взглянувъ на него.

— А вотъ Сашенька говорить — лицо зеркало души!—медленно выговорилъ Николай.

— И не вѣрно!—воскликнулъ хохоль.—У нея носъ—крючкомъ, скулы—ножницами,—а душа—какъ звѣзда!

Сѣли пить чай.

Вѣсовщиковъ взялъ большую картофелину, круто посодилъ кусокъ хлѣба и спокойно, медленно, какъ воль, началъ жевать.

— А какъ тутъ дѣла?—спросилъ онъ, съ набитымъ ртомъ.

И когда Андрей весело разсказалъ ему о ростѣ пропаганды социализма на фабрикѣ, онъ, снова сумрачный, глухо замѣтилъ:

— Долго все это, долго! Скорѣе надо...

Мать посмотрѣла на него и въ ея груди тихо пошевелилось враждебное чувство къ этому человѣку.

— Жизнь не лошадь, ее кнутомъ не побьешь!—сказалъ Андрей.

Вѣсовщиковъ упрямо тряхнулъ головой.

— Долго! Не хватаетъ у меня терпѣнья... Что мнѣ дѣлать?

Онъ безпомощно развелъ руками, глядя въ лицо хохла и замолчалъ, ожидая отвѣта.

— Всѣмъ намъ нужно учиться и учить другихъ, вотъ наше дѣло!—проговорилъ Андрей, опуская голову.

Вѣсовщиковъ спросилъ.

— А когда драться будемъ?

— До того времени насъ не однажды побьютъ, это я знаю!—усмѣхаясь отвѣтилъ хохоль.—А когда намъ придется воевать—не знаю! Прежде, видишь ты, надо голову вооружить, а потомъ руки, думаю я...

Николай замолчалъ и снова началъ ѣсть. Мать исподлобья незамѣтно разсматривала его широкое лицо, стараясь найти въ немъ что-нибудь, что помирило - бы ее съ тяжелой, квадратной фигурой Вѣсовщикова.

И встрѣчая колющій взглядъ маленькихъ глазъ, она двигала бровями. Андрей хватался за голову и вообще велъ себя безпокойно—вдругъ начиналъ говорить, смѣялся и, внезапно обрывая рѣчь, свисталъ.

Матери казалось, что она понимаетъ его тревогу. А Николай сидѣлъ молча, и когда хохоль спрашивалъ его о чемъ-либо, онъ отвѣчалъ кратко, съ явной неохотой.

Въ маленькой комнаткѣ двумъ ея жителямъ становилось душно, тѣсно и они, то одна, то другой, мелькомъ взглядывали на гостя.

Наконецъ онъ сказалъ, вставая:

— Я-бы спать легъ... А то сидѣлъ, сидѣлъ... вдругъ пустили, пошелъ... Усталъ...

Когда онъ ушелъ въ кухню и, повозившись немного, вдругъ точно умеръ тамъ, мать, прислушавшись къ тишинѣ, шепнула Андрею:

— О страшномъ онъ думаетъ...

— Тяжелый парены! — согласился хохоль, качая головой. — Но это пройдет! Это у меня было... Когда не ярко въ сердцѣ горить — много сажу въ немъ накопляется. Ну, вы, ненько, ложитесь, а я посижу, прочитаю еще.

Она ушла въ уголь, гдѣ стояла кровать, закрытая ситцевымъ пологомъ и Андрей, сидя у стола, долго слышалъ теплый шелестъ ея молитвъ и вздоховъ. Быстро перекидывая страницы книги, онъ возбужденно потиралъ лобъ, крутилъ усы длинными пальцами, шаркалъ ногами. Стучалъ маятникъ часовъ, за окномъ вдыхалъ, скользя по стекламъ, вѣтеръ.

Раздался тихій голосъ матери.

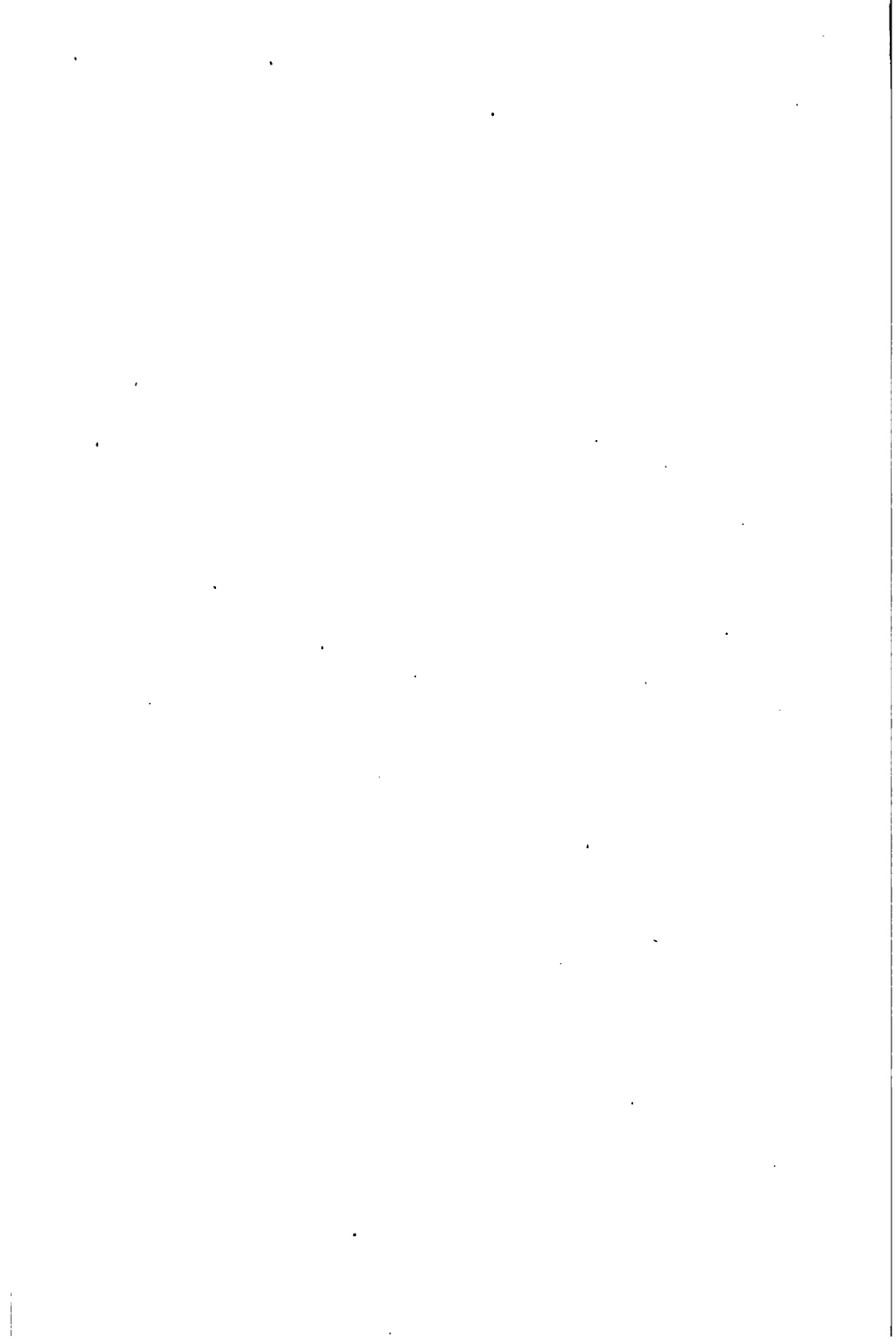
— О, Господи! Сколько людей на свѣтѣ... и всякъ по своему стонетъ... а гдѣ-же тѣ, которымъ радостно?

— Есть уже и такіе, есть! И скоро — много будетъ ихъ... эхъ, много! — отозвался хохоль.

(Продолженіе въ слѣдующемъ сборникѣ).

А. ЧЕРЕМНОВЪ.

СТИХОТВОРЕНІЯ.



I.

Пѣсня о бѣдномъ Макарѣ.

Ни витязей славныхъ, ни знатныхъ бояръ
Для пѣсни простой намъ не надо!
Споемъ про тебя мы, убогій Макаръ...
Ой, ладо, ой, ладушко-ладо!

Какъ жилъ да гулялъ ты, убогій Макаръ,
Въ исконномъ російскомъ порядкѣ,
Отъ Вѣлаго моря до крымскихъ татаръ,
Отъ Польши до самой Камчатки.

Француза, и шведа, и турка побилъ,
И жарилъ въ китайца изъ пушки,
Почету и славы премного добылъ,
Но жилъ себѣ въ бѣдной избушкѣ.

Насквозь продувала избушку мятель,
Морозецъ заглядывалъ въ щели;
А возлѣ стояла высокая ель:
На ели сидѣли Емели.

Какъ станетъ Макара морозъ донимать,
Аль голодъ закручивать кишки,—
Емели Макара давай утѣшать:
Бросають еловыя шишки.

И такъ-то ли ладно Макаръ проживалъ!..
Да бѣса взяла, вишь, досада,
И бѣсъ искушенье Макару послалъ...
Ой, ладо, ой, ладушко-ладо!

Оставилъ веселья Макаръ и пиры
Отъ глупой своей отъ кручины;
Не хочетъ онъ больше дубовой коры,
Не хочетъ и вкусной мякны.

Далась же задача его простотѣ!
Все пуще его забираетъ!
Не хочетъ Макаръ проживать въ темнотѣ,
Наукамъ учиться желаетъ!

Емели съ Макаромъ и эдакъ и такъ;
Сулятъ ему множество шишекъ.
Бормочетъ въ отвѣтъ имъ упрямый чудакъ,
Что шишекъ давно-молъ излишекъ.

Бормочеть-лопочеть, анъ, глядь да поглядь—
И вовсе почаль упираться:
Не хочетъ языцей Макарь покорять,
За Лидзы и Пудзы сражаться!

И столь помутилась его голова,
Что брешетъ Макарь безъ пардону:
Нужны-де ему и суды, и права,
И жить-моль пора по закону.

Надула-ль тѣ мысли Макару мятель,
Сверчки-ли въ избушкѣ напѣли?—
Загадка большая для умныхъ Емель.
Слѣзаютъ сердешные съ ели:

— „Макарушка-свѣтикъ! На кой тебѣ чортъ
Сдалися крамольныя рѣчи?
Извѣчно ты былъ въ послушаніи твердъ,
Зато и прославленъ далече.

— „Народы и чуждыхъ и ближнихъ земель
Честятъ тебя многою честью!
Послушай, кормилецъ, разумныхъ Емель:
Опутанъ ты дьявольской лестью!

— „Смутили тебя—укуси ихъ комаръ!—

Лихіе враги—супостаты!

Ты—русскій Макаръ, православный Макаръ,

Они же отъ Бога прокляты.

— „Гони ты ихъ въ шею скорѣй отъ себя

Куда не гонялъ свое стадо,

Не то—вотъ те крестъ!—одурачатъ тебя!

Ой, ладо, ой, ладушко-ладо!

— „Безъ насъ ты, убогій, въ конецъ пропадешь

Тебѣ во спасенье мы мелемъ!

Неужто ты вѣры теперь не даешь

Исконнымъ россійскимъ Емелямъ?

— „Вѣдь мы-то, Емели, не даромъ всегда

Живемъ при тебѣ, при Макарѣ!

Нужны мы, нужны, какъ во ржи лебеда,

Нужны мы, какъ мыши въ амбарѣ!

— „Твоей ради пользы на шею твою,

Какъ мельничныи жерновъ, повисли!..

Ступай же, кормилецъ, въ избушку свою,

Гони ты къ нечистому мысли!

— „Начальству отъ Бога здоровья проси,
Живи потихоньку, какъ надо;
Своихъ самобытныхъ телятокъ паси!..
Ой, ладо, ой, ладушко-ладо“!..—

На сладкія рѣчи премудрыхъ Емель
На ихъ на пріятныя пѣсни
Отвѣта Макара не знаемъ досель,
Повѣдать не можемъ,—хоть тресни!

Вишь, тучи въ ту пору по небу зашли,
И вѣтеръ отъ сѣвера дунуль..
Мы слова Макара слыхать не могли,
А только видали, что плюнуль.

На землю, аль въ рожу кому изъ Емель—
Не знаемъ,—такая досада!..
Ой, люшеньки-люли! Ой, лель-диди-лель!
Ой, ладо, ой, ладушко-ладо!..

П.

Баллада о гордомъ графѣ.

Вернулся въ замокъ гордый графъ
Изъ долгаго похода.
Потѣшилъ графъ свирѣпый нравъ,
Смиривъ мятежъ народа.

На сѣла, нивы и поля
Онъ ринулся, какъ лава,
Во имя Бога, короля
И рыцарскаго права.

Рубилъ онъ блѣдныхъ матерей
И старцевъ посѣдѣлыхъ;
Топталъ копытами коней
Дѣтей осиротѣлыхъ.

Вернулся.—Гдѣ же мой дуракъ?
Пускай насъ позабавить!—
И шутъ, кривляясь такъ и сякъ,
Побѣды графа славить.

— А гдѣ красавица моя?
Пускай меня потѣшитъ!—
И дѣва, слезы затая,
Героя кудри чешетъ.

Герой опять въ ладоши—хлопъ;
Весь дворъ пришелъ въ движенъе.
— А гдѣ же попъ? Скорѣе, попъ,
Давай мнѣ отпущенье!—

И служить жирный духовникъ
Молебень покаянный,
И вторить силъ небесныхъ ликъ,
Весельемъ обуянный,

И херувимовъ свѣтлый рой,
Надувъ усердно губы,
Трубить побѣдно надъ землей
Въ серебряныя трубы.

III.

Безмолвный Гнѣвъ.

На трупахъ трупы. Слепая злоба
На пиръ кровавый ведетъ полки.
Орудій грохотъ—какъ голосъ гроба;
Какъ взоры смерти, горять штыки.

Ихъ мучить голодъ. Они готовы,
Какъ змѣи, впиться—сильнѣй, сильнѣй
И глубже, глубже!.. Для нихъ не новы
Ни груди женщинъ, ни кровь дѣтей...

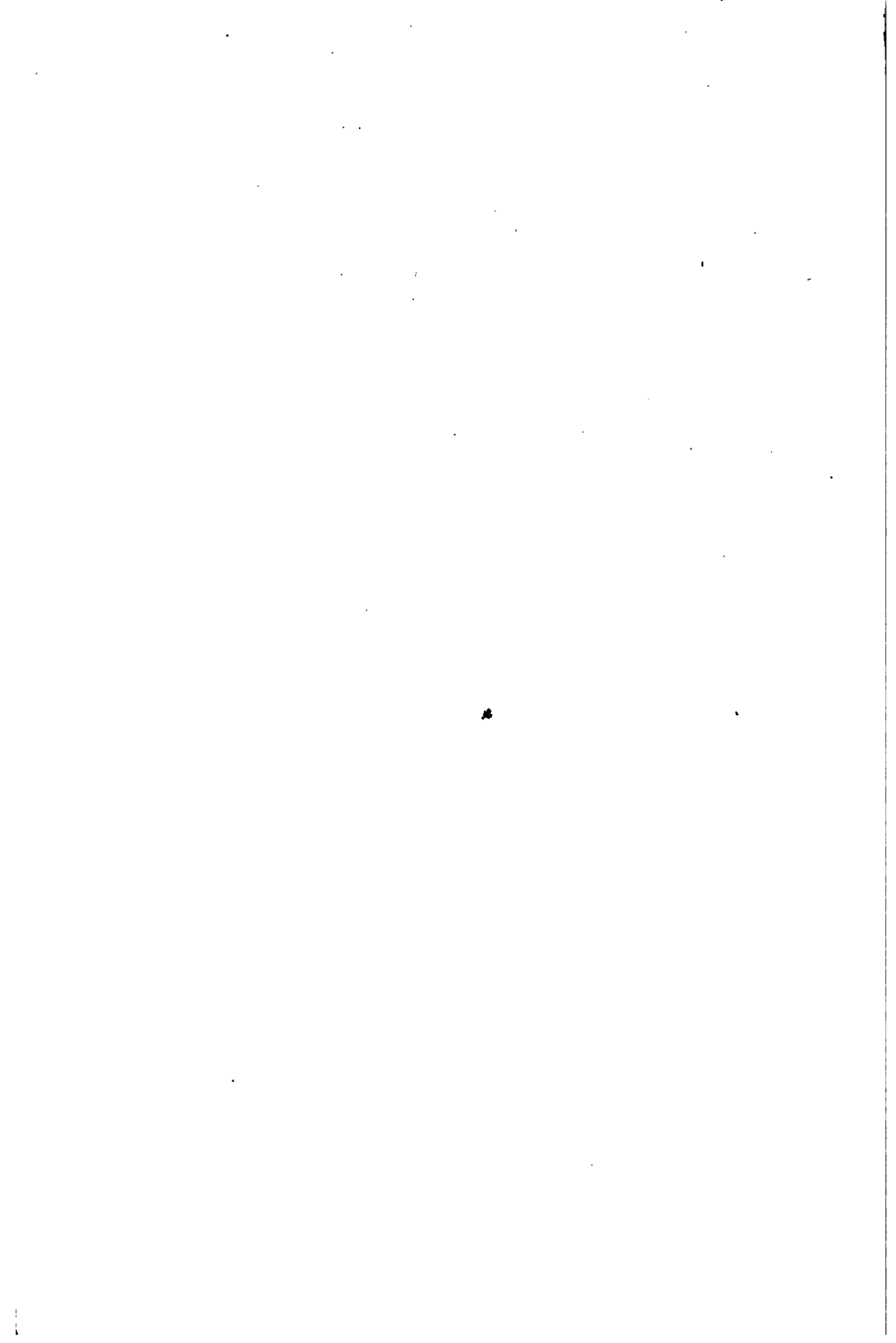
Мятежъ подавленъ. Въ объятья гроба
За жертвой жертву несетъ палачъ.
На полѣ битвы пируетъ злоба,
И въ бездны неба уходитъ плачъ...

И вдругъ—затишье... И надъ гробами
Смолкаютъ стоны, утихъ напѣвъ...
По грудамъ труповъ, скрипя зубами,
Идетъ незрячій Безмолвный Гнѣвъ.

Изъ тихой дали, отъ мирныхъ пашень
Его дорога лежитъ въ огняхъ.
Святыни храмовъ, твердыни башенъ—
Онъ все повергнетъ во тьму и прахъ.

И сердце славить его удары
И сердце вѣрить, что эта кровь,
Что это мщенье, что эти кары—
За Человѣка и за Любовь.

●



НА ВОЙНЪ.

ЗАПИСКИ В. ВЕРЕСАЕВА.



ОГЛАВЛЕНІЕ.

- I. ДОМА.
- II. ВЪ ПУТИ.
- III. ВЪ МУКДЕНЪ.
- IV. ВОЙ НА ШАХЕ.
- V. ВЕЛИКОЕ СТОЯНІЕ: ОКТЯБРЬ—НОЯВРЬ.
- VI. ВЕЛИКОЕ СТОЯНІЕ: ДЕКАБРЬ—ФЕВРАЛЬ.
- VII. МУКДЕНСКІЙ ВОИ.
- VIII. НА МАНДАРИНСКОЙ ДОРОГЪ.
- IX. СКИТАНІЯ.
- X. ВЪ ОЖИДАНИИ МИРА.
- XI. МИРЪ.
- XII. ДОМОЙ.

Дома.

Японія прервала дипломатическія сношенія съ Россіей. Въ портъ-артурскомъ рейдѣ, темною ночью, среди мирно спавшихъ боевыхъ судовъ загремѣли взрывы японскихъ минъ. Въ далекомъ Чемульпо, послѣ титанической борьбы съ цѣлою эскадрою, погибли одинокіе „Варягъ“ и „Кореецъ“... Война началась.

Изъ-за чего эта война? Никто не зналъ. Полгода тянулись чуждые всѣмъ переговоры объ очищеніи русскими Манчжуріи, тучи скоплялись все гуще, пахло грозой. Наши правители съ дразнящею медлительностью колебали на вѣсахъ чаши войны и мира. И вотъ Японія рѣшительно бросила свой жребій на чашу войны.

Русскія патріотическія газеты закипѣли воинственнымъ жаромъ. Онѣ кричали объ адскомъ вѣроломствѣ и азіатскомъ коварствѣ японцевъ, напавшихъ на насъ безъ объявленія войны. Во всѣхъ крупныхъ городахъ происходили манифестаціи. Толпы народа расхаживали по улицамъ съ царскими портретами, кричали „ура!“, пѣли „Боже, царя храни!“ Въ театрахъ, какъ сообщали газеты, публика настойчиво и единодушно требовала исполненія національнаго гимна. Уходившія на востокъ

войска поражали газетных писателей своимъ бодрымъ видомъ и рвались въ бой. Было похоже, будто вся Россія сверху до низу охвачена однимъ могучимъ порывомъ одушевленія и негодованія.

Война была вызвана, конечно, не Японіей, война всѣмъ была непонятна своею ненужностью,—что до того? Если у каждой клѣточки живого тѣла есть свое отдѣльное, маленькое сознаніе, то клѣточки не станутъ спрашивать, для чего тѣло вдругъ вскочило, напрягается, борется; кровяныя тѣльца будутъ бѣгать по сосудамъ, мускульныя волокна будутъ сокращаться, каждая клѣточка будетъ дѣлать, что ей предназначено; а для чего борьба, куда наносятся удары,—это дѣло верховнаго мозга. Такое впечатлѣніе производила и Россія: война была ей ненужна, непонятна, но весь ея огромный организмъ трепеталъ отъ охватившаго его могучаго подъема.

Такъ казалось издали. Но вблизи это выглядѣло иначе. Кругомъ, въ интеллигенціи, было враждебное раздраженіе отнюдь не противъ японцевъ. Вопросъ объ исходѣ войны не волновалъ, вражды къ японцамъ не было и слѣда, наши неуспѣхи не угнетали; напротивъ, рядомъ съ болью за безумно-ненужныя жертвы, было почти злорадство. Многіе прямо заявляли, что для Россіи полезнѣе всего было бы пораженіе. При взглядѣ со стороны, при взглядѣ непонимающими глазами, происходило что-то невѣроятное: страна борется, а внутри страны ея умственный цвѣтъ слѣдитъ за борьбой съ враждебно-выжидающимъ вниманіемъ. Иностранцевъ это поражало, „патріотовъ“ возмущало до дна души, они говорили о „гнилой, беспочвенной, космополитической русской интеллигенціи“. Но у большинства это вовсе не было истиннымъ, широкимъ космополитизмомъ, способнымъ сказать и родной странѣ: „ты не права, а правъ твой врагъ“; это не было также

органическимъ отвращеніемъ къ кровавому способу рѣшенія международныхъ споровъ. Что тутъ, дѣйствительно, могло поражать, что теперь съ особенною яркостью бросалось въ глаза,—это та невидано-глубокая, всеобщая вражда, которая была къ начавшимъ войну правителямъ страны: они вели на борьбу съ врагомъ, а сами были для всѣхъ самыми чуждыми, самыми ненавистными врагами.

Также и широкія массы переживали не совсѣмъ то, что имъ приписывали патріотическія газеты. Нѣкоторый подъемъ въ самомъ началѣ былъ,—безсознательный подъемъ неразумяющей клѣточки, охваченной жаромъ загорѣвшагося борьбою организма. Но подъемъ былъ поверхностный и слабый, а отъ назойливо шумѣвшихъ на сценѣ фигуръ ясно тянулись за кулисы толстыя нити, и видны были направляющія руки.

Въ то время я жилъ въ Москвѣ. На масленицѣ мнѣ пришлось быть въ Большомъ театрѣ на „Риголетто“. Передъ увертюрою сверху и снизу раздались отдѣльные голоса, требовавшіе гимна. Занавѣсъ взвился, хоръ на сценѣ спѣлъ гимнъ, раздалось „bis!“—спѣли во второй разъ и въ третій. Приступили къ оперѣ. Передъ послѣднимъ актомъ, когда всѣ уже сидѣли на мѣстахъ, вдругъ съ разныхъ концовъ опять раздались одиночные голоса: „гимнъ! гимнъ!“ Моментально взвился занавѣсъ. На сценѣ стоялъ полукругомъ хоръ въ оперныхъ костюмахъ, и снова казенные три раза онъ пропѣлъ гимнъ. Но странно было вотъ что: въ послѣднемъ дѣйствіи „Риголетто“ хоръ, какъ извѣстно, не участвуетъ; почему же хористы не переодѣлись и не разошлись по домамъ? Какъ они могли предчувствовать ростъ патріотическаго одушевленія публики, почему заблаговременно выстроились на сценѣ, гдѣ имъ въ то время совсѣмъ не полагалось быть?.. На завтра газеты писали: „Въ обществѣ замѣчается все большій

подъемъ патриотическихъ чувствъ; вчера во всѣхъ театрахъ публика дружно требовала исполненія гимна не только въ началѣ спектакля, но и передъ послѣднимъ актомъ.“

Въ манифестировавшихъ на улицахъ толпахъ тоже наблюдалось что-то подозрительное. Толпы были немногочисленны, наполовину состояли изъ уличныхъ ребятъ; въ руководителяхъ манифестацій узнавали перодѣтныхъ околоточныхъ и городскихъ. Настроеніе толпы было задирающее и грозно-приглядывающееся; отъ прохожихъ требовали, чтобъ они снимали шапки; кто этого не дѣлалъ, того избивали. Когда толпа увеличилась, происходили непредвидѣнные осложненія. Въ ресторанѣ „Эрмитажъ“ толпа чуть не произвела полного разгрома; на Страстной площади конные городовые нагайками разогнали манифестантовъ, слишкомъ пылко проявившихъ свои патриотическіе восторги.

Генераль-губернаторъ выпустилъ воззваніе. Благодаря жителей за выраженные ими чувства, онъ предлагалъ прекратить манифестаціи и мирно приступить къ своимъ занятіямъ. Одновременно подобныя же воззванія были выпущены начальниками другихъ городовъ,—и повсюду манифестаціи мгновенно прекратились. Было трогательно то примѣрное послушаніе, съ какимъ населеніе соразмѣряло высоту своего душевнаго подъема съ мановеніями горячо любимаго начальства... Скоро, скоро улицы російскихъ городовъ должны были покрыться другими толпами, спаянными дѣйствительнымъ общимъ подъемомъ,—и противъ *этого* подъема оказались безсильными не только отеческія мановенія начальства, но даже его нагайки, пашки и пули.

Въ витринахъ магазиновъ ярко пестрѣли лубочныя картины удивительно-хамскаго содержанія. На одной огромный казакъ съ свирѣпо-ухмыляющею рожею

сѣкъ нагайкою маленькаго, испуганно вопящаго японца; на другой картинкѣ живописалось, „какъ русскій матросъ разбилъ японцу носъ“,—по плачущему лицу японца текла кровь, зубы дождемъ сыпались въ синія волны. Маленькіе „макаки“ извивались подъ сапожниками лохматаго чудовища съ кровожадною рожею, и это чудовище олицетворяло Россію. Какъ будто художники только и могли почерпнуть вдохновеніе, что въ кроваво-пьяномъ угарѣ кабацкой драки, съ трескомъ сворачиваемыхъ скулъ и выбиваемыхъ зубовъ. Тѣмъ временемъ патріотическія газеты и журналы писали о глубоко-народномъ и глубоко-христіанскомъ характерѣ войны, о начинающейся великой борьбѣ Георгія-Побѣдоносца съ дракономъ...

А успѣхи японцевъ шли за успѣхами. Одинъ за другимъ выбывали изъ строя наши броненосцы, въ Корей японцы продвигались все дальше. Уѣхали на Дальній Востокъ Макаровъ и Куропаткинъ, увозя съ собою горы поднесенныхъ иконъ. Куропаткинъ сказалъ свое знаменитое: „терпѣніе, терпѣніе и терпѣніе“... Въ концѣ марта погибъ съ „Петропавловскомъ“ слѣпохрабрый Макаровъ, ловко пойманный на удочку адмираломъ Того. Японцы перешли черезъ рѣку Ялу. Какъ громъ, прокатилось извѣстіе объ ихъ высадкѣ въ Бицыво. Портъ-Артуръ былъ отрѣзанъ.

Оказывалось, на насъ шли не смѣшныя толпы презрѣнныхъ „макаковъ“,—на насъ наступали стройные ряды грозныхъ воиновъ, безумно-храбрыхъ, охваченныхъ великимъ душевнымъ подъемомъ. Ихъ выдержка и организованность внушали изумленіе. Въ промежуткахъ между извѣщеніями о крупныхъ успѣхахъ японцевъ телеграммы сообщали о лихихъ развѣдкахъ сотника Х. или поручика У., молодецки переколовшихъ японскую заставу въ десять человѣкъ. Но впечатлѣніе не уравнивалось. Довѣріе падало.

Идетъ по улицѣ мальчуганъ-газетчикъ, у воротъ сидятъ мастеровые.

— Послѣднія телеграммы съ театра войны! Наши побили японца!

— Ладно, проходи, Нашли гдѣ въ канавѣ пьянаго японца и побили! Знаемъ!

Бои становились чаще, кровопролитнѣе; кровавый туманъ окутывалъ далекую Маньчжурію. Взоры, огненные дожди изъ снарядовъ, волчьи ямы и проволочныя загражденія, трупы, трупы, трупы,—за тысячи верстъ черезъ газетные листы какъ будто доносился запахъ растерзаннаго и обожженнаго человѣческаго мяса, призракъ какой-то огромной, еще невиданой въ мірѣ бойни.

Въ апрѣлѣ я уѣхалъ изъ Москвы въ городъ М., оттуда въ деревню. Вездѣ жадно хватались за газеты, жадно читали и расспрашивали. Мужики печально говорили:

— Теперь еще больше пойдутъ податей брать!

Въ концѣ апрѣля по нашей губерніи была объявлена мобилизація. О ней глухо говорили, ея ждали уже недѣли три, но все хранилось въ глубочайшемъ секретѣ. И вдругъ, какъ ураганъ, она ударила по губерніи. Въ деревняхъ людей брали прямо съ поля, отъ сохи. Въ городѣ полиція глухою ночью звонилась въ квартиры, вручала призываемымъ билеты и приказывала *немедленно* явиться въ участокъ. У одного знакомаго инженера взяли одновременно всю его прислугу,—лакея, кучера и повара. Самъ онъ въ это время былъ въ отлучкѣ,—полиція взломала его столъ, достала паспорта призванныхъ и всѣхъ ихъ увела.

Было что-то равнодушно-свирѣпое въ этой непонятной торопливости. Людей выхватывали изъ дѣла на

полномъ его ходу, не давали времени ни устроить его, ни ликвидировать. Людей брали, а за ними оставались бессмысленно разоренныя хозяйства и разрушенныя благополучія.

На-утро мнѣ пришлось быть въ воинскомъ присутствіи,—нужно было дать свой деревенскій адресъ на случай призыва меня изъ запаса. На большомъ дворѣ присутствія, у заборовъ, стояли телѣги съ лошадьми, на телѣгахъ и на землѣ сидѣли бабы, ребята, старики. Вокругъ крыльца присутствія тѣснилась большая толпа мужиковъ. Солдатъ стоялъ передъ дверью крыльца и гналъ мужиковъ прочь. Онъ сердито кричалъ:

— Сказано вамъ, въ понедѣльникъ приходи!.. Ступай, расходись!

— Да какъ же это такъ въ понедѣльникъ?.. Забрали насъ, гнали-гнали: „скорѣй! Чтобъ сейчасъ-же явиться!“.

— Ну вотъ, въ понедѣльникъ и являйся!

— Въ понедѣльникъ!—Мужики отходили, разводя руками. — Подняли ночью, забрали безъ разговоровъ. Ничего справить не успѣли, гнали сюда за тридцать верстъ, а тутъ—„приходи въ понедѣльникъ“. А нынче суббота.

— Намъ къ понедѣльнику и самимъ бы было споспѣше... А теперь гдѣ-жъ намъ тутъ до понедѣльника ждать?

По всему городу стояли плачь и стоны. Здѣсь и тамъ вспыхивали короткія, быстрыя драмы. У одного призваннаго заводскаго рабочаго была жена съ порокомъ сердца и пятеро ребятъ; когда пришла повѣстка о призывѣ, съ женою отъ волненія и горя сдѣлался параличъ сердца, и она тутъ-же умерла; мужъ поглядѣлъ на трупъ, на ребятъ, пошелъ въ сарай и повѣсилъ. Другой призванный, вдовецъ съ тремя дѣтьми, плакалъ и кричалъ въ присутствіи:

— А съ ребятами что мнѣ дѣлать? Научите, по-

кажите!.. Вѣдь они тутъ безъ меня съ голоду передохнутъ!

Онъ былъ, какъ сумасшедшій, вопилъ и трясъ въ воздухъ кулаками. Потомъ вдругъ замолкъ, ушелъ домой, зарубилъ топоромъ своихъ дѣтей и воротился.

— Ну, теперь берите! Свои дѣла я справилъ.

Его арестовали.

Телеграммы съ театра войны снова и снова приносили извѣстія о крупныхъ успѣхахъ японцевъ и о лихихъ развѣдкахъ хорунжаго Иванова или корнета Петрова. Газеты писали, что побѣды японцевъ на морѣ неудивительны,—японцы природные моряки; но теперь, когда война перешла на сушу, дѣло пойдетъ совсѣмъ иначе. Сообщалось, что у японцевъ нѣтъ больше ни денегъ, ни людей, что подъ ружье призваны шестнадцатилѣтніе мальчишки и старики. Куропаткинъ спокойно и грозно заявилъ, что миръ будетъ заключенъ только въ Токио.

Въ маѣ, передъ уходомъ корпуса на Дальній Востокъ, запасныхъ отпустили на недѣлю по домамъ. Я ѣхалъ со станціи въ деревню, когда они возвращались назадъ въ городъ. Былъ сѣрый, хмурый, бездождный вечеръ. По дорогамъ къ станціи шли и ѣхали солдаты. Необычно было видѣть этихъ немолодыхъ, бородатыхъ мужиковъ въ солдатскихъ шинеляхъ. Одни шли пьяные и горлавили пѣсни, другіе, трезвые, плелись хмуро и печально. Бабы выли. Низенькій солдатъ съ лохматой бородою, съ крѣпко поджатыми губами, посмотрѣлъ на меня.

— Благословите на Дальній Востокъ!..

Странное прошло по душѣ: голосъ какъ будто вырвался изъ груди идущаго на казнь.

Проѣхалъ въ телѣгѣ Алексѣй Софроньевъ, штукатуръ изъ нашей деревни. Шинель мѣшкомъ сидѣла на узкой, понурой спинѣ, глаза неподвижно смотрѣли

въ одну точку. Молчаливая жена съ заплаканными глазами правила.

Темнѣло. Хмурое небо, тоскливыя поля. И въ сумеркахъ, какъ сѣрые призраки, все шли понуряя фигуры обреченныхъ.

Въ началѣ іюня я получилъ въ деревнѣ телеграмму съ требованіемъ немедленно явиться въ воинское присутствіе.

Тамъ мнѣ объявили, что я призванъ на дѣйствительную службу и долженъ явиться въ городъ NN. въ штабъ ** пѣхотной дивизіи. По закону полагалось два дня на устройство домашнихъ дѣлъ и три дня на обмундированіе. Началась спѣшка, — шилась форма, закупались вещи. Чтѣ именно шить изъ формы, чтѣ покупать, сколько вещей можно съ собою взять, — никто не зналъ. Сшить полное обмундированіе въ пять дней было трудно; пришлось торопить портныхъ, платить втридорога за работу днемъ и ночью. Всетаки форма на день запоздала, и я поспѣшно, съ первымъ же поѣздомъ, выѣхалъ въ NN.

Пріѣхалъ я туда ночью. Всѣ гостиницы были биткомъ набиты призванными офицерами и врачами, я долго ѣздилъ по городу, пока въ грязныхъ меблированныхъ комнатахъ на окраинѣ города нашелъ свободный номеръ, дорогой и скверный.

Утромъ я пошелъ въ штабъ дивизіи. Необычно было чувствовать себя въ военной формѣ, необычно было, что встрѣчные солдаты и городовые дѣлаютъ тебѣ подъ козырекъ. Ноги путались въ болтавшейся на боку пашкѣ.

Длинные, низкія комнаты штаба были уставлены столами, вездѣ сидѣли и писали офицеры, врачи, сол-

даты-писаря. Меня направили къ помощнику дивизионаго врача.

— Какъ ваша фамилія?

Я сказалъ.

— Вы у насъ въ мобилизаціонномъ планѣ не значитесь,—удивленно возразилъ онъ.

— Я ужъ не знаю. Я вызванъ сюда, въ городъ NN. съ предписаніемъ явиться въ штабъ ** пѣхотной дивизіи. Вотъ бумага.

Помощникъ дивизионаго врача посмотрѣлъ мою бумагу, пожалъ плечами. Пошелъ куда-то, поговорилъ съ какимъ-то другимъ врачомъ, оба долго копались въ спискахъ.

— Нѣтъ, нигдѣ рѣшительно вы у насъ не значитесь!—объявилъ онъ мнѣ.

— Значить, я могу ѣхать обратно?—съ улыбкою спросилъ я.

— Подождите тутъ немного, я еще посмотрю.

Я сталъ ждать. Были здѣсь и другіе врачи, призванные изъ запаса,—одни еще въ статскомъ платьѣ, другіе, какъ я, въ новенькихъ сюртукахъ съ блестящими погонами. Перезнакомились. Они рассказывали мнѣ о невообразимой путаницѣ, которая здѣсь царствуетъ,—никто ничего не знаетъ, ни отъ кого ничего не добьешься.

— Вста-ать!!—вдругъ повелительно прокатился по комнатѣ звонкій голосъ.

Всѣ встали, поспѣшно оправляясь. Молодцевато вошелъ старикъ-генералъ въ очкахъ и шутливо гаркнулъ:

— Здравія желаю!

Въ отвѣтъ раздался привѣтственный гулъ. Генералъ прошелъ въ слѣдующую комнату.

Ко мнѣ подошелъ помощникъ дивизионаго врача.

— Ну, наконецъ нашли! Въ ** полевомъ подвиж-

номъ госпиталѣ не хватаетъ одного младшаго ординатора, присутствіе признало его больнымъ. Вы вызваны на его мѣсто... Вотъ какъ разъ вашъ главный врачъ, представьтесь ему.

Въ канцелярію торопливо входилъ невысокій, худощавый старикъ въ заношенномъ сюртукѣ, съ почернѣвшими погонами коллежскаго совѣтника. Я подошелъ, представился. Спрашиваю, куда мнѣ нужно ходить, что дѣлать.

— Что дѣлать?.. Да дѣлать нечего. Дайте въ канцелярію свой адресъ, больше ничего.

Вышелъ я изъ штаба съ страннымъ чувствомъ. Грозно и категорически призывныя правила предписывали мнѣ черезъ пять дней послѣ призыва выѣхать на мѣсто назначенія, я бросилъ неустроенными свои личныя дѣла, летѣлъ сюда, какъ на пожаръ,—а здѣсь увидѣлъ, что никому я не нуженъ, что торопиться было совсѣмъ не къ чему. Я могъ пріѣхать на недѣлю, на двѣ позже,—никто бы этого даже и не замѣтилъ.

День за днемъ шелъ безъ дѣла. Нашъ корпусъ выступалъ на Дальній Востокъ только черезъ два мѣсяца. Мы, врачи, подновляли свои знанія по хирургіи, ходили въ мѣстную городскую больницу, присутствовали при операціяхъ, работали на трупахъ.

Среди призванныхъ изъ запаса товарищей-врачей были специалисты по самымъ разнообразнымъ отраслямъ,—были психіатры, гигиенисты, дѣтскіе врачи, акушеры. Насъ распредѣлили по госпиталямъ, по лазаретамъ, по полкамъ, руководясь мобилизаціонными списками и совершенно не интересуясь нашими спеціальностями. Были врачи, давно уже бросившіе практику; одинъ изъ нихъ лѣтъ восемь назадъ, тотчасъ-же по окончаніи университета, поступилъ въ акцизъ и за

всю свою жизнь самостоятельно не прописалъ ни одного рецепта.

Былъ еще одинъ врачъ, сѣдой и лысый, лѣтъ подь шестьдесятъ. Какъ такой старикъ могъ попасть въ призывъ? Оказалось, дѣло вотъ въ чемъ. По окончаніи курса врачъ, подлежащій отбыванію воинской повинности, зачисляется въ запасъ на восемнадцать лѣтъ,—разумѣется, совершенно помимо того, желаетъ-ли онъ этого. Казалось бы, когда восемнадцать лѣтъ минуютъ, врачъ уже свободенъ? Нѣтъ. Онъ тогда долженъ заявить о своемъ желаніи выйти изъ запаса, въ противномъ случаѣ онъ не вычеркивается изъ списковъ, а продолжаетъ числиться *въ добровольномъ запасѣ*. Нашъ старикъ отбылъ срокъ запаса лѣтъ двѣнадцать назадъ, но, какъ настоящій русскій человекъ, конечно, забылъ заявить о выходѣ — и вотъ, неожиданно для самого себя, оказался „въ добровольномъ запасѣ“. А разъ война ужъ объявлена, то дѣло кончено, выйти изъ запаса нельзя. И старика призвали, и онъ долженъ былъ отправляться на войну.

Я былъ назначенъ въ полевой подвижной госпиталь. Къ каждой дивизіи въ военное время придается по два такихъ госпиталя. Въ госпиталь — главный врачъ, одинъ старшій ординаторъ и три младшихъ. Низшія должности были замѣщены врачами, призванными изъ запаса, высшія — военными врачами.

Нашего главного врача, д-ра Давыдова, я видѣлъ рѣдко: онъ былъ занятъ формированіемъ госпиталя, кромѣ того имѣлъ въ городѣ обширную практику и постоянно куда-нибудь торопился. Въ штабѣ я познакомился съ главнымъ врачомъ другого госпиталя нашей дивизіи, д-ромъ Мутинымъ. До мобилизациі онъ былъ младшимъ врачомъ мѣстнаго полка. Жилъ онъ еще въ лагерѣ полка, вмѣстѣ съ женою. Я провелъ у него вечеръ, встрѣтилъ тамъ младшихъ ординаторовъ

его госпиталя. Всѣ они уже перезнакомились и сошлись другъ съ другомъ, отношенія съ Мутинымъ установились чисто-товарищескія. Было весело, семейно и уютно. Я жалѣлъ и завидовалъ, что не попалъ въ ихъ госпиталь.

Черезъ нѣсколько дней въ штабъ дивизіи неожиданно пришла изъ Москвы телеграмма: д-ру Мутину предписывалось сдать свой госпиталь какому-то д-ру Султанову, а самому немедленно ѣхать въ Харбинъ и приступить тамъ къ формированію запасного госпиталя. Назначеніе было неожиданное и непонятное: Мутинъ ужъ сформировалъ здѣсь свой госпиталь, все устроилъ,— и вдругъ это перемѣщеніе. Но, конечно, приходилось покориться. Мутинъ утѣшался тѣмъ, что теперь ему придется ѣхать на Дальній Востокъ не съ эшелономъ, и, слѣдовательно, онъ получитъ прогоны,— около тысячи рублей. Но еще черезъ нѣсколько дней пришла новая телеграмма: въ Харбинъ Мутину не ѣхать, онъ снова назначается младшимъ врачомъ своего полка, каковой и долженъ сопровождать на Дальній Востокъ; по пріѣздѣ-же съ эшелономъ въ Харбинъ ему предписывалось приступить къ формированію запасного госпиталя. Такимъ образомъ, ухнули и прогоны.

Обида была жестокая и незаслуженная. Мутинъ возмущался и волновался, осунулся, говорилъ, что послѣ такого служебнаго оскорбленія ему остается только пустить себѣ пулю въ лобъ. Онъ взялъ отпускъ и поѣхалъ въ Москву искать правды. У него были кое-какія связи, но добиться ему ничего не удалось: въ Москвѣ Мутину дали понять, что въ дѣло замѣшана большая рука, противъ которой ничего нельзя подѣлать.

Мутинъ воротился къ своему разбитому корыту,— полковому околотку, а черезъ нѣсколько дней изъ Москвы пріѣхалъ его преемникъ по госпиталю, д-ръ Султановъ. Былъ это стройный господинъ лѣтъ за сорокъ,

съ бородкою клинышкомъ и сѣдѣющими волосами, съ умнымъ, насмѣшливымъ лицомъ. Онъ умѣлъ легко заговаривать и разговаривать, вездѣ сразу становился центромъ вниманія и лѣнливымъ, серьезнымъ голосомъ ронялъ остроты, отъ которыхъ всѣ смѣялись. Султановъ побылъ въ городѣ нѣсколько дней и уѣхалъ назадъ въ Москву. Всѣ заботы по дальнѣйшему устройству госпиталя онъ предоставилъ старшему ординатору.

Вскорѣ стало извѣстно, что изъ четырехъ сестеръ милосердія, приглашенныхъ въ госпиталь изъ мѣстной общины Краснаго Креста, оставлена въ госпиталѣ только одна. Д-ръ Султановъ заявилъ, что остальныхъ трехъ онъ замѣститъ самъ. Шли слухи, что Султановъ—большой пріятель нашего корпуснаго командира, что въ его госпиталѣ, въ качествѣ сестеръ милосердія, ѣдутъ на театръ военныхъ дѣйствій московскія дамы, хорошія знакомыя корпуснаго командира.

Городъ былъ полонъ войсками. Повсюду мелькали красные генеральскіе отвороты, золотые и серебряные приборы офицеровъ, желто-коричневые рубашки нижнихъ чиновъ. Всѣ козыряли, вытягивались другъ передъ другомъ. Все казалось страннымъ и чуждымъ.

На моей одеждѣ были серебряныя пуговицы, на плечахъ—мишурныя серебряныя полосы. На этомъ основаніи всякій солдатъ былъ обязанъ почтительно вытягиваться передо мною и говорить какія-то особенныя, нигдѣ больше непринятые слова: „такъ точно!“ „никакъ нѣтъ!“ „радъ стараться!“ На этомъ же основаніи самъ я былъ обязанъ проявлять глубокое почтеніе ко всякому старику, если его шинель была съ красною подкладкою и вдоль штановъ тянулись красные лампасы.

Я узналъ, что въ присутствіи генерала я не имѣю права курить, безъ его разрѣшенія не имѣю права сѣсть. Я узналъ, что любой генераль можетъ самолично властью посадить меня на мѣсяцъ подъ арестъ, мой главный врачъ имѣетъ право посадить меня подъ арестъ на недѣлю. И это безъ всякаго права апелляціи, даже безъ права потребовать объясненія по поводу ареста. Самъ я имѣлъ подобную же власть надъ подчиненными мнѣ нижними чинами. Создавалась какая-то особая атмосфера, видно было, какъ люди пьянѣли отъ власти надъ людьми, какъ ихъ души настраивались на необычный, вызывавшій улыбку ладъ.

Любопытно, какъ эта одурманивающая атмосфера подѣйствовала на слабую голову одного товарища-врача, призваннаго изъ запаса. Это былъ д-ръ Васильевъ, тотъ самый старшій ординаторъ, которому предоставилъ устраивать свой госпиталь уѣхавшій въ Москву д-ръ Султановъ. Психически неуравновѣшенный, съ болѣзненно-вздутымъ самолюбіемъ, Васильевъ прямо ошалѣлъ отъ власти и почета, которыми вдругъ оказался окруженнымъ.

Однажды входитъ онъ въ канцелярію своего госпиталя. Когда главный врачъ (пользующійся правами командира части) входилъ въ канцелярію, офицеръ-смотритель обыкновенно командовалъ сидящимъ писарямъ: „встать!“ Когда вошелъ Васильевъ, смотритель этого не сдѣлалъ.

Васильевъ нахмурился, отозвалъ смотрителя въ сторону и грозно спросилъ, почему онъ не командовалъ писарямъ встать. Смотритель пожалъ плечами.

— Это—только проявленіе извѣстной вѣжливости, которую я воленъ вамъ оказывать, воленъ итъ.

— Извините-съ! Разъ я исправляю должность главнаго врача, вы это по закону *обязаны* дѣлать!

— Я такого закона не знаю.

— Ну, постарайтесь узнать, а пока отправляйтесь на двое суток подъ арестъ.

Офицеръ обратился къ начальнику дивизіи и разсказалъ ему, какъ было дѣло. Пригласили д-ра Васильева. Генераль, начальникъ его штаба и два штабъ-офицера разобрали дѣло и порѣшили: смотритель былъ обязанъ крикнуть: „встать!“ Отъ ареста его освободили, но перевели изъ госпиталя въ строй.

Когда смотритель ушелъ, начальникъ дивизіи сказалъ д-ру Васильеву:

— Вы видите, я генераль. Я служу ужъ почти сорокъ лѣтъ, посѣдѣлъ на службѣ,—и до сихъ поръ *ни разу* еще не посадилъ офицера подъ арестъ. Вы только что попали на военную службу, временно, на нѣсколько дней, получили власть,—и ужъ воспѣшили использовать эту власть въ полномъ ея объемѣ...

Въ мирное время нашего корпуса не существовало. При мобилизаціи онъ былъ развернутъ изъ одной бригады и почти цѣликомъ состоялъ изъ запасныхъ. Солдаты были отвыкшіе отъ дисциплины, удрученные думами о своихъ семьяхъ, многіе даже не знали обращенія съ винтовками новаго образца. Они шли на войну, а въ Россіи оставались войска молодыя, свѣжія, состоявшія изъ кадровыхъ солдатъ. Разсказывали, что военный министръ Сахаровъ сильно враждуетъ съ Куропаткинымъ и нарочно, чтобъ вредить ему, посылаетъ на Дальній Востокъ самыя плохія войска. Слухи были очень настойчивы, и Сахарову въ бесѣдахъ съ корреспондентами приходилось усиленно оправдываться въ своемъ непонятномъ образѣ дѣйствій.

Я познакомился въ штабѣ съ мѣстнымъ дивизионнымъ врачомъ; онъ по болѣзни уходилъ въ отставку и дослуживалъ свои послѣдніе дни. Былъ это очень милый и добродушный старичокъ,—жалкій какой-то, жестоко поклеванный жизнью. Я изъ любопытства по-

ѣхалъ съ нимъ въ мѣстный военный лазаретъ на засѣданіе комиссіи, которая осматривала солдатъ, заявившихся больными. Мобилизованы были и запасные самыхъ раннихъ призывовъ; передъ глазами безконечно вереницею проходили ревматики, эмфизематики, беззубые, съ растяженіями ножныхъ венъ. Предсѣдатель комиссіи, бравый кавалерійскій полковникъ, морщился и жаловался, что очень много „протестованныхъ“. Меня, напротивъ, удивляло, сколькихъ явно больныхъ засѣдавшіе здѣсь военные врачи не „протестуютъ“. По окончаніи засѣданія къ моему знакомцу обратился одинъ изъ врачей комиссіи:

— Мы тутъ безъ васъ признали одного негоднымъ къ службѣ. Посмотрите,—можно его освободить? Сильнѣйшее varicosele.

Ввели солдата.

— Спусти штаны!—рѣзко, какимъ-то особеннымъ, подзрѣвающимъ голосомъ сказалъ дивизионный врачъ.— Эге!.. Это-то? Пу-устыки! Нѣтъ, нѣтъ, освободить нельзя!

— Ваше высокородіе, я совсѣмъ ходить не могу,—угрюмо заявилъ солдатъ.

Старичокъ вдругъ вскипѣлъ.

— Врешь! Притворяешься! Великолѣпно можешь ходить!.. У меня, братъ, у самого еще больше, а вотъ кожу!.. Да это пустякъ, помилуйте!—обратился онъ къ врачу.— Это у большинства такъ... Мерзавецъ какой! Сукинъ сынъ!

Солдатъ одѣвался, съ ненавистью глядя исподлобья на дивизионнаго врача. Одѣлся и медленно пошелъ къ двери, разставляя ноги.

— Иди, какъ слѣдуетъ!—заоралъ старичокъ, бѣшено затопавъ ногами.— Чего раскорячился? Прямо ступай! Меня, братъ, не надуешь!

Они обмѣнялись взглядами, полными ненависти. Солдатъ вышелъ.

Въ полкахъ старшіе врачи, военные, твердили младшимъ, призваннымъ изъ запаса:

— Вы незнакомы съ условіями военной службы. Относитесь къ солдатамъ построже, имѣйте въ виду, что это не обычный паціентъ. Всѣ они удивительные лодыри и симулянты.

Одинъ солдатъ обратился къ старшему врачу полка съ жалобой на боли въ ногахъ, мѣшающія ходить. Наружныхъ признаковъ не было, врачъ раскричался на солдата и прогналъ его. Младшій полковой врачъ пошелъ слѣдомъ за солдатомъ, тщательно осмотрѣлъ его и нашелъ типическую, рѣзко-выраженную плоскую стопу. Солдатъ былъ освобожденъ. Черезъ нѣсколько дней этотъ-же младшій врачъ присутствовалъ въ качествѣ дежурнаго на стрѣльбѣ. Солдаты возвращаются, одинъ сильно отсталъ, какъ-то странно припадаетъ на ноги. Врачъ спросилъ, что съ нимъ.

— Ноги болятъ. Только болѣзнь нутряная, снаружи не видно,—сдержанно и угрюмо отвѣтилъ солдатъ.

Врачъ изслѣдовалъ, — оказалось полное отсутствіе колѣнныхъ рефлексовъ. Разумѣется, освободили и этого солдата.

Вотъ-они, лодыри! И освобождены они были только потому, что молодой врачъ „не былъ знакомъ съ условіями военной службы“.

Нечего говорить, какъ жестоко было отправлять на войну всю эту немощную, болѣющую, стариковскую силу. Но прежде всего это было даже прямо неравсчитливо. Проѣхавъ семь тысячъ верстъ на Дальній Востокъ, эти солдаты послѣ перваго-же перехода сваливались. Они заполняли госпитали, этапы, слабосильныя команды, и черезъ пару мѣсяцевъ,—сами никуда ужъ негодные, не принесшіе никакой пользы и дорого обошедшіеся казнѣ,—эвакуировались обратно въ Россію.

Городъ все время жилъ въ страхѣ и трепетѣ. Буй-

ныя толпы призванныхъ солдатъ шатались по городу, грабили прохожихъ и разносили казенныя винныя лавки. Они говорили: „пускай подь судъ отдають, — все равно, помирать!“ Вечеромъ за лагерями солдаты напали на пятьдесятъ возвращавшихся съ кирпичнаго завода бабъ и изнасиловали ихъ. На базарѣ шли глухіе слухи, что готовится большой бунтъ запасныхъ.

Съ востока приходили все новыя извѣстія о крупныхъ успѣхахъ японцевъ и о лихихъ развѣдкахъ русскихъ сотниковъ и поручиковъ. Газеты писали, что побѣды японцевъ въ горахъ неудивительны,—они природные горные жители; но война переходитъ на равнину, мы можемъ развернуть нашу кавалерію, и дѣло теперь пойдетъ совсѣмъ иначе. Сообщалось, что у японцевъ совсѣмъ уже нѣтъ ни денегъ, ни людей, что убыль въ солдатахъ пополняется четырнадцатилѣтними мальчиками и дряхлыми стариками. Куропаткинъ, исполняя свой никому невѣдомый планъ, отступалъ къ грозно укрѣпленному Ляояну. Военные обозрѣватели писали: „Лукъ согнулся, тетива напряглась до крайности,—и скоро смертоносная стрѣла съ страшною силою полетитъ въ самое сердце врага“.

Наши офицеры смотрѣли на будущее радостно. Они говорили, что въ войнѣ наступаетъ переломъ, побѣда русскихъ несомнѣнна, и нашему корпусу наврядъ-ли даже придется быть въ дѣлѣ: мы тамъ нужны только, какъ сорокъ тысячъ лишнихъ штыковъ при заключеніи мира.

Въ началѣ августа пошли на Дальній Востокъ эшелоны нашего корпуса. Одинъ офицеръ, передъ самымъ отходомъ своего эшелона, застрѣлился въ гостинницѣ. На Старомъ Базарѣ въ булочную зашелъ солдатъ, купилъ фунтъ ситнаго хлѣба, попросилъ дать ему ножъ нарѣзать хлѣбъ и этимъ ножомъ полоснулъ себя по горлу. Другой солдатъ застрѣлился за лагеремъ изъ винтовки.

Однажды зашелъ я на вокзалъ, когда уходилъ эшелонъ. Было много публики, были представители отъ города. Начальникъ дивизіи напутствовалъ уходящихъ рѣчью; онъ говорилъ, что прежде всего нужно почитать Бога, что мы съ Богомъ начали войну, съ Богомъ ее и кончимъ. Раздался звонокъ, пошло прощаніе. Въ воздухѣ стоялъ плачъ и вой женщинъ, пьяные солдаты размѣшались въ вагонахъ, публика совала отъѣзжающимъ деньги, мыло, папиросы.

Около вагона младшій унтеръ-офицеръ прощался съ женою и плакалъ, какъ маленькій мальчикъ; усатое, загорѣлое лицо было залито слезами, губы кривились и распускались отъ плача. Жена была тоже загорѣлая, скуластая и ужасно безобразная. На ея рукѣ сидѣлъ грудной ребенокъ въ шапочкѣ изъ яркоцвѣтныхъ лоскутовъ, баба качалась отъ рыданій, и ребенокъ на ея рукѣ качался, какъ листокъ подъ вѣтромъ. Мужъ рыдалъ и цѣловалъ безобразное лицо бабы, цѣловалъ въ губы, въ глаза, ребенокъ на ея рукѣ качался. Странно было, что можно такъ рыдать отъ любви къ этой уродливой женщинѣ, и къ горлу подступали слезы отъ несшихся отовсюду рыданій и всхлипывающихъ вздоховъ. И глаза жадно останавливались на набитыхъ въ вагоны людяхъ: сколько изъ нихъ воротится? Сколько ляжетъ трупами на далекихъ, залитыхъ кровью поляхъ?

— Ну, садись, полѣзай въ вагонъ!—торопили унтеръ-офицера. Его подхватили подъ-руки и подняли въ вагонъ. Онъ, рыдая, рвался наружу, къ рыдающей бабѣ съ качающимся на рукѣ ребенкомъ.

— Развѣ солдатъ можетъ плакать?—строго и упрекающе говорилъ фельдфебель.

— Ма-атушка ты моя ро-одненькая!..—тоскливо выли бабьи голоса.

— Отходи, отходи!—повторяли жандармы и оттѣсняли толпу отъ вагоновъ. Но толпа сейчасъ-же опять прилиwała назадъ, и жандармы опять тѣснили ее.

— Чего стараетесь, продажныя души? Аль не жалко вамъ?—съ негодованіемъ говорили изъ толпы.

— Не жалко? Нешто не жалко?—поучающе возражалъ жандармъ. — А только такъ-то вотъ люди и рѣжутся, и рѣжутъ. И подъ колеса бросаются. Нужно смотрѣть.

Поѣздъ двинулся. Вой бабъ сталъ громче. Жандармы оттѣсняли толпу. Изъ нея выскочилъ солдатъ, быстро перебѣжалъ платформу и протянулъ уѣзжавшимъ бутылку водки. Вдругъ, какъ изъ земли, передъ солдатомъ выросъ комендантъ. Онъ вырвалъ у солдата бутылку и ударилъ ее о плиты. Бутылка разлетѣлась вдребезги. Въ публикѣ и въ двигавшихся вагонахъ раздался угрожающій ропотъ. Солдатъ вспыхнулъ и злобно закусилъ губу.

— Не имѣешь права бутылку разбивать!—крикнулъ онъ на офицера.

— Что-о?

Комендантъ размахнулся и изо всей силы ударилъ солдата по лицу. Неизвѣстно, откуда, вдругъ появилась стража съ ружьями и окружила солдата.

Вагоны двигались все скорѣе, пьяные солдаты и публика кричали „ура!“ Безобразная жена унтеръ-офицера покачнулась и, роняя ребенка, безъ чувствъ повалилась на-земь. Сосѣдка подхватила ребенка.

Поѣздъ исчезалъ вдали. По перрону къ арестованному солдату шелъ начальникъ дивизіи.

— Ты что это, голубчикъ, съ офицерами вздумалъ ругаться, а?—сказалъ онъ.

Солдатъ стоялъ блѣдный, сдерживая бушевавшую въ немъ ярость.

— Ваше превосходительство! Лучше бы онъ у меня столько крови пролилъ, сколько водки... Вѣдь намъ въ водкѣ только и жизнь, ваше превосходительство!

Публика тѣснилась вокругъ.

— Его самого офицеръ по лицу ударилъ. Позвольте, генералъ, узнать,—есть такой законъ?

Начальникъ дивизіи какъ будто не слышалъ. Онъ сквозь очки взглянулъ на солдата и раздѣльно произнесъ:

— Подъ судъ, въ разрядъ штрафованныхъ—и порка!.. Увести его!

Генералъ пошелъ прочь, повторивъ еще разъ медленно и раздѣльно:

— Подъ судъ, въ разрядъ штрафованныхъ—и порка!

II.

Въ пути.

Отходилъ нашъ эшелонъ.

Поѣздъ стоялъ далеко отъ платформы, на запасномъ пути. Вокругъ вагоновъ толпились солдаты, мужики, мастеровые и бабы. Монопольки ужъ двѣ недѣли не торговали, но почти всѣ солдаты были пьяны. Сквозь тягуче-скорбный вой женщинъ прорѣзывались бойкіе переборы гармоникки, шутки и смѣхъ. У электрическаго фонаря, прислонившись спиною къ его подножью, сидѣлъ мужикъ съ провалившимся носомъ, въ рваномъ зипунѣ, и жевалъ хлѣбъ.

Нашъ смотритель,—поручикъ, призванный изъ запаса, — въ новомъ кителѣ и блестящихъ погонахъ, слегка взволнованный, расхаживалъ вдоль поѣзда.

— По ваго-онамъ!—раздался его надменно-повелительный голосъ.

Толпа спѣшно всколыхнулась. Стали прощаться. Шатающійся, пьяный солдатъ впился губами въ губы старухи въ черномъ платочкѣ, приникъ къ нимъ долго, крѣпко; больно было смотрѣть, казалось, онъ выдавить ей зубы; наконецъ, оторвался, ринулся цѣловаться съ блаженно улыбающимся, широко-бородымъ мужикомъ. Въ воздухъ, какъ завыванія вьюги, тоскливо переливался вой женщинъ, онъ обрывался всхлипывающими передышками, ослабѣвалъ и снова усиливался.

— Бабы! Прочь отъ вагоновъ! — грозно крикнулъ поручикъ, идя вдоль поѣзда.

Изъ вагона трезвыми и суровыми глазами на поручика смотрѣлъ солдатъ съ русою бородкою.

— Бабъ нашихъ, ваше благородіе, вы гнать не смѣете!—рѣзко сказалъ онъ.—Вамъ надъ нами власть дадена, на насъ и кричите. А бабъ нашихъ не трогайте.

— Вѣрно! Надъ бабами вамъ власти нѣту!—зароптали другіе голоса.

Смотритель покраснѣлъ, но притворился, что не слышитъ, и болѣе мягкимъ голосомъ сказалъ:

— Запирай двери, поѣздъ сейчасъ пойдетъ!

Раздался кондукторскій свистокъ, поѣздъ дрогнулъ и началъ двигаться.

— Ура!—загремѣло въ вагонахъ и въ толпѣ.

Среди рыдающихъ, безсильно склонившихся женъ, поддерживаемыхъ мужчинами, мелькнуло безносое лицо мужика въ рваномъ зипунѣ; изъ красныхъ глазъ мимо дыры носа текли слезы и губы дергались.

— Ур-ра-а!!—гремѣло въ воздухѣ подъ учащавшійся грохотъ колесъ. Въ переднемъ вагонѣ хоръ солдатъ нестройно запѣлъ: „Отче нашъ“. Вдоль пути, отставая отъ поѣзда, быстро шелъ широкобородый мужикъ съ блаженнымъ, краснымъ лицомъ; онъ размахивалъ руками и, широко открывая темный ротъ, кричалъ „ура“!

Навстрѣчу кучками шли изъ мастерскихъ желѣзнодорожные рабочіе въ синихъ блузахъ.

— Вертайтесь, братцы, здоровы!—крикнулъ одинъ. Другой взбросилъ фуражку высоко въ воздухъ.

— Ура!—раздалось въ отвѣтъ изъ вагоновъ.

Поѣздъ грохоталъ и мчался вдаль. Пьяный солдатъ, высунувшись по поясъ изъ высоко поставленнаго, маленькаго оконца товарнаго вагона, непрерывно все кричалъ „ура“, его профиль съ раскрытымъ ртомъ темнѣлъ на фонѣ синяго неба. Люди и зданія остались

назади, онъ махалъ фуражкой телеграфнымъ столбамъ и продолжалъ кричать „ура“.

Въ наше купе вошелъ смотритель. Онъ былъ смущенъ и взволнованъ.

— Вы слышали? Мнѣ сейчасъ рассказывали на вокзалѣ офицеры: говорятъ, вчера солдаты убили въ дорогѣ полковника Лукашова. Они пьяные стали стрѣлять изъ вагоновъ въ проходившее стадо, онъ началъ ихъ останавливать, они его застрѣлили.

— Я это иначе слышалъ,—возразилъ я.—Онъ очень грубо и жестоко обращался съ солдатами, они еще тутъ говорили, что убьютъ его въ дорогѣ.

— Да-а...—Смотритель помолчалъ, широко открытыми глазами глядя передъ собою. — Однако, нужно быть съ ними поосторожнѣе...

Въ солдатскихъ вагонахъ шло непрерывное пьянство. Гдѣ, какъ доставали солдаты водку, никто не зналъ, но водки у нихъ было, сколько угодно. Днемъ и ночью изъ вагоновъ неслись пѣсни, пьяный говоръ, смѣхъ. При отходѣ поѣзда отъ станціи солдаты нестройно и пьяно, съ вялымъ надсадомъ, кричали „ура“, а привыкшая къ проходящимъ эшелонамъ публика молча и равнодушно смотрѣла на нихъ.

Тотъ же вялый надсадъ чувствовался и въ солдатскомъ веселѣ. Хотѣлось веселиться во всю, веселиться все время, но это не удавалось. Было пьяно, и все-таки скучно. Ефрейторъ Сучковъ, бывшій сапожникъ, упорно и дѣловито плясалъ на каждой остановкѣ. Какъ будто службу какую-то исполнялъ. Солдаты толпились вокругъ.

Длинный и вихрастый, въ ситцевой рубашкѣ, заправленной въ брюки, Сучковъ станеть, хлопнетъ въ ладоши и, присѣвъ, пойдетъ подъ гармонику. Движенія медленныя и раздражающе-вялыя, тѣло мякло извивается, какъ будто оно безъ костей, ноги, болтаясь,

вылетаютъ впередъ. Потомъ онъ захватить руками носокъ сапога и продолжаетъ плясать на одной ногѣ, тѣло все такъ же извивается, и странно, — какъ онъ, насквозь пьяный, удерживается на одной ногѣ? А Сучковъ вдругъ подпрыгнуть, затопаетъ ногами, — и опять вылетаютъ впередъ болтающіяся ноги, и надоѣдливо-вяло извивается словно безкостное тѣло.

Кругомъ посмѣиваются.

— Ты бы, дядя, повеселѣе!

— Слышь, землякъ! Ступай за ворота, наплачься раньше, а потомъ пляши!

— Есть одно колѣно, его только и показываетъ! — махнувъ рукою, говоритъ ротный фельдшеръ и отходить прочь.

Какъ будто и самого Сучкова начинаетъ выводить изъ себя вялость его движеній, безсильныхъ разразиться лихою пляскою. Онъ вдругъ остановится, топнетъ ногою и яростно заколотить себя кулаками въ грудь.

— Ну-ка, еще по грудѣ стукни, что у тебя тамъ звенѣло?—смѣется фельдфебель.

— Буде плясать, оставь назавтра,—сурово говорятъ солдаты и лѣзутъ обратно въ вагоны.

Но иногда,—нечаянно, сама собою,—вдругъ на какомъ-нибудь полустанкѣ вспыхивала бѣшеная пляска. Помость трещалъ подъ каблуками, сильныя тѣла изгибались, присѣдали, подпрыгивали, какъ мячики, и въ выжженную солнцемъ степь неслись безумно-веселыя уханья и присвисты.

На Самаро-Златоустовской дорогѣ насъ нагналъ командиръ нашего корпуса; онъ ѣхалъ въ отдѣльномъ вагонѣ со скорымъ поѣздомъ. Поднялась суета, блѣдный смотритель взволнованно выстраивалъ передъ вагонами команду, „кто въ чемъ есть“,—такъ приказалъ корпусный. Самыхъ пьяныхъ убрали въ дальніе вагоны.

Генераль перешелъ черезъ рельсы на четвертый путь, гдѣ стоялъ нашъ эшелонъ, и пошелъ вдоль вы-

строившихся солдатъ. Къ нѣкоторымъ онъ обращался съ вопросами, тѣ отвѣчали связно, но старались не дышать на генерала. Онъ молча пошелъ назадъ.

Увы! На перронѣ, недалеко отъ вагона корпуснаго командира, среди толпы зрителей плясалъ Сучковъ!.. Онъ плясалъ и вызывалъ плясать съ собою кокетливую, полногрудую горничную.

— Ты что-жъ, вареной колбасы хочешь? Что не пляшешь?

Горничная, посмѣиваясь, ушла въ толпу, Сучковъ бросился за нею.

— Ну, чертовка, ты у меня смотри! Я тебя замѣтилъ!.. Смотритель обомлѣлъ.

— Убрать его! — грозно прошипѣлъ онъ другимъ солдатамъ.

Солдаты подхватили Сучкова и потащили прочь. Сучковъ ругался, кричалъ и упирался. Корпусный и начальникъ штаба молча смотрѣли со стороны.

Черезъ минуту главный врачъ стоялъ передъ корпуснымъ командиромъ, вытянувшись и приложивъ руку къ козырьку. Генералъ сурово сказалъ ему что-то и вмѣстѣ съ начальникомъ штаба ушелъ въ свой вагонъ.

Начальникъ штаба вышелъ обратно. Похлопывая изящнымъ стикомъ по лакированному сапогу, онъ направился къ главному врачу и смотрителю.

— Его высокопревосходительство объявляетъ вамъ строгій выговоръ. Мы обогнали много эшелоновъ, всѣ представлялись въ полномъ порядкѣ, только у васъ вся команда пьяна.

— Г. полковникъ, ничего нельзя съ ними подѣлать!

— Вы бы имъ давали книжки религіозно-нравственнаго содержанія.

— Не помогаетъ. Читаютъ и все-таки пьютъ.

— Ну, а тогда... — Полковникъ выразительно мах-

нуль по воздуху стикомъ.—Попробуйте... Это великолѣпно помогаетъ.

Быль этотъ разговоръ не позже, какъ черезъ двѣ недѣли послѣ Высочайшаго манифеста о полной отмены тѣлесныхъ наказаній.

Мы „перевалили черезъ Уралъ“. Кругомъ пошли степи. Эшелоны медленно ползли одинъ за другимъ, стоянки на станціяхъ были безконечны. За сутки мы пробѣжали всего полтора-дваста верстъ.

Во всѣхъ эшелонахъ шло такое же пьянство, какъ и въ нашемъ. Солдаты буйствовали, громили железнодорожные буфеты и поселки. Дисциплины было мало, и поддерживать ее было очень нелегко. Она цѣликомъ опиралась на устрашеніе,—но люди знали, что ѣдутъ умирать; чѣмъ же ихъ можно было утѣшить? Смерть,—такъ вѣдь и безъ того смерть; другое наказаніе,—какое ни будь, все-таки-же оно лучше смерти. И происходили такія сцены.

Начальникъ эшелона подходитъ къ выстроившимся у поѣзда солдатамъ. На флангѣ стоитъ унтеръ-офицеръ и... курить папирску.

— Это что такое?! Ты,—унтеръ-офицеръ!—не знаешь, что въ строю нельзя курить?

— Отчего же... пфф! пфф!.. отчего же это мнѣ не курить? — спокойно спрашиваетъ унтеръ-офицеръ, попыхивая папироскою. И ясно, онъ именно добивается, чтобъ его отдали подъ судъ.

У насъ въ вагонѣ шла своя однообразная и размѣренная жизнь. Мы, четверо „младшихъ“ врачей, ѣхали въ двухъ сосѣднихъ купе: старшій ординаторъ Гречихинъ, младшіе ординаторы Селюковъ, Шанцеръ и я. Люди все были славные, мы хорошо сошлись. Читали, спорили, играли въ шахматы.

Иногда къ намъ заходилъ изъ своего отдѣльнаго

купе нашъ главный врачъ Давыдовъ. Онъ много и охотно рассказывалъ намъ объ условіяхъ службы военнаго врача, о царящихъ въ военномъ вѣдомствѣ порядкахъ; рассказывалъ о своихъ столкновѣніяхъ съ начальствомъ и о томъ, какъ благородно и независимо онъ держался въ этихъ столкновѣніяхъ. Въ рассказахъ его чувствовалась хвастливость и желаніе подладиться подъ наши взгляды. Интеллигентнаго въ немъ было мало, шутки его были циничны, мнѣнія пошлы и банальны.

За Давыдовымъ по пятамъ всюду слѣдовалъ смотритель, офицеръ—поручикъ, взятый изъ запаса. До призыва онъ служилъ земскимъ начальникомъ. Рассказывали, что, благодаря большой протекціи, ему удалось избѣжать строя и попасть въ смотрители госпиталя. Былъ это полный, красивый мужчина лѣтъ подь-тридцать,—туповатый, заносчивый и самовлюбленный, на рѣдкость лѣнивый и нераспорядительный. Отношенія съ главнымъ врачомъ у него были великолѣпныя. На будущее онъ смотрѣлъ мрачно и грустно.

— Я знаю, съ войны я не ворочусь. Я страшно много пью воды, а вода тамъ плохал, непременно заражусь тифомъ или дизентеріей. А то подь хунхузскую пулю попаду. Вообще, воротиться домой я не рассчитываю.

Вѣхали съ нами еще аптекаръ, священникъ, два заурядъ-чиновника и четыре сестры милосердія. Сестры были простыя, мало интеллигентныя дѣвушки. Онѣ говорили „колидоръ“, „милосливый государь“, обиженно дулись на наши невинныя шутки и сконфуженно смѣялись на двусмысленныя шутки главнаго врача и смотрителя.

На большихъ остановкахъ насъ нагонялъ эшелонъ, въ которомъ вѣхалъ другой госпиталь нашей дивизіи. Изъ вагона своею красивою, лѣниво-развалистою походкою выходилъ стройный д-ръ Султановъ, ведя подь руку изящно-одѣтую, высокую барышню. Это, какъ

разсказывали,—его племянница. И другія сестры были одѣты очень изящно, говорили по-французски, вокругъ нихъ увивались штабные офицеры.

До своего госпиталя Султанову было мало дѣла. Люди его голодали, лошади тоже. Однажды, рано утромъ, во время остановки, нашъ главный врачъ съѣздилъ въ городъ, купилъ сѣна, овса. Фуражъ привезли и сложили на платформѣ между нашимъ эшелономъ и эшелономъ Султанова. Изъ окна выглянулъ только что проснувшійся Султановъ. По платформѣ суетливо шелъ Давыдовъ. Султановъ торжествующе указалъ ему на фуражъ.

— А у меня вотъ ужъ есть овесъ!—сказалъ онъ.

— Та-акъ!—иронически отозвался Давыдовъ.

— Видите? И сѣно.

— И сѣно? Великолѣпно!.. Только я все это прикажу сейчасъ грузить въ мои вагоны.

— Какъ это такъ?

— Такъ. Потому что это я купилъ.

— А-а... А я думалъ, мой смотритель!...—Султановъ лѣниво зѣвнулъ и обратился къ стоявшей рядомъ племянницѣ:—Ну, что-жъ, пойдѣмъ на вокзалъ кофе пить!

Сотни верстъ за сотнями. Мѣстность ровная, какъ столъ, мелкіе перелѣски, кустарникъ. Пашень почти не видно, одни луга. Зеленѣютъ выкошенные поляны, темнѣютъ копны и небольшіе стожки. Но больше луговъ нескошенныхъ; рыжая, высохшая на корню трава клонится подъ вѣтромъ и шуршитъ сѣменами въ сухихъ сѣменныхъ коробочкахъ. Одинъ перегонъ въ нашемъ эшелонѣ ѣхалъ мѣстный крестьянскій начальникъ, онъ разсказывалъ: рабочихъ рукъ нѣтъ, всѣхъ взрослыхъ мужчинъ, включая ополченцевъ, угнали на войну; луга гибнуть, пашни необработаны.

Однажды подъ вечеръ, гдѣ-то подъ Каинскомъ, нашъ

поѣздъ вдругъ сталъ давать тревожные свистки и круто остановился среди поля. Въѣжалъ деньщикъ и оживленно сообщилъ, что сейчасъ мы чуть-чуть не столкнулись съ встрѣчнымъ поѣздомъ. Подобныя тревоги случались то и дѣло: дорожные служащіе были переутомлены сверхъ всякой мѣры, уходить имъ не позволялось подъ страхомъ военнаго суда, вагоны были старые, изношенные; то загоралась ось, то отрывались вагоны, то поѣздъ проскакивалъ мимо стрѣлки.

Мы вышли наружу. Впереди передъ нашимъ поѣздомъ видѣлся другой поѣздъ. Паровозы стояли, выпучивъ другъ на друга свои круглые фонари, какъ два врага, встрѣтившіеся на узкой тропинкѣ. Въ сторону тянулась кочковатая, заросшая осокою поляна; вдали, межъ кустовъ, темнѣли копны сѣна.

Встрѣчный поѣздъ заднимъ ходомъ двинулся обратно. Даль свистокъ и нашъ поѣздъ. Вдругъ вижу,—отъ кустовъ бѣжитъ черезъ поляну къ вагонамъ нѣсколько нашихъ солдатъ, и у каждого въ рукахъ огромная охапка сѣна.

— Эй! Бросьте сѣно!—крикнулъ я.

Они продолжали бѣжать къ поѣзду. Изъ солдатскихъ вагоновъ слышались поощрительныя замѣчанія.

— Нѣтъ ужъ! Добѣжали,—теперь сѣно наше!

Изъ окна вагона съ любопытствомъ смотрѣли главный врачъ и смотритель.

— Сейчасъ же бросить сѣно, слышите?!—грозно заоралъ я.

Солдаты побросали охапки на откосъ и съ недовольнымъ ворчаніемъ полѣзли въ двинувшійся поѣздъ. Я, возмущенный, вошелъ въ вагонъ.

— Чортъ знаетъ, что такое! Здѣсь ужъ, у своихъ, начинается мародерство! И какъ безцеремонно,—у всѣхъ на глазахъ!

— Да вѣдь тутъ сѣну цѣна грошъ, оно все равно сгніетъ въ копнахъ,—неохотно возразилъ главный врачъ

Я удивился.

— То-есть, какъ это? Позвольте! Вы же вчера только слышали, что рассказывалъ крестьянскій начальникъ: сѣно, напротивъ, очень дорого, косить его некому, интендантство платить по сорокъ копѣекъ за пудъ. А главное, вѣдь это же *мародерство*, этого въ принципѣ нельзя допускать!

— Ну, да! Ну, да, конечно! Кто-жъ объ этомъ спорить?—поспѣшно согласился главный врачъ.

Разговоръ оставилъ во мнѣ странное впечатлѣніе. Я ждалъ, что главный врачъ и смотритель возмутятся, что они соберутъ команду, строго и рѣшительно запретятъ ей мародерствовать. Но они отнеслись къ происшедшему съ глубочайшимъ равнодушіемъ. Деньщикъ, слышавшій нашъ разговоръ, съ сдержанною усмѣшкой замѣтилъ мнѣ:

— Для кого солдаты тащить? Для лошадей. Начальству же лучше,—за сѣно не платить.

Тогда мнѣ вдругъ стало понятно и то, что меня немножко удивило три дня назадъ: главный врачъ на одной маленькой станціи купилъ тысячу пудовъ овса по очень дешевой цѣнѣ; онъ воротился въ вагонъ довольный и сіяющій.

— Купилъ сейчасъ овесъ по сорокъ пять копѣекъ!—съ торжествомъ сообщилъ онъ.

Меня удивило, — неужели онъ такъ радуется, что сберегъ для казны нѣсколько сотъ рублей? Теперь его восторгъ становился мнѣ болѣе понятнымъ.

На каждой станціи солдаты тащили все, что попадало подъ руку. Часто нельзя было даже понять, для чего это имъ. Попадется собака, — они подхватываютъ ее и водворяютъ на вагонъ-платформъ между фурами; черезъ день-другой собака убѣгаетъ, солдаты ловятъ новую. Какъ-то заглянулъ я на одну изъ платформъ: въ сѣнѣ были сложены красная деревянная миска, небольшой чугунный котелъ, два топора, табуретка, шайки.

Это все была добыча. На одномъ разѣздѣ вышелъ я походить. У откоса стоитъ ржавая чугунная печка; вокругъ нея подозрительно толкуются наши солдаты, поглядываютъ на меня и посмѣиваются. Я поднялся въ свой вагонъ, они встрепонулись. Черезъ нѣсколько минутъ я вышелъ опять. Печки на откосѣ нѣтъ, солдаты ныряютъ подъ вагоны, въ одномъ изъ вагоновъ съ грохотомъ передвигается что-то тяжелое.

— Живого человѣка стащутъ и спрячутъ!—весело говоритъ мнѣ сидящій на откосѣ солдатъ.

Какъ-то вечеромъ, на станціи Хилокъ, я вышелъ изъ поѣзда, спрашиваю мальчика, нельзя ли гдѣ купить здѣсь хлѣба.

— Тамъ на горѣ еврей торгуешь, да онъ заперся.

— Отчего?

— Боятся.

— Чего же боятся?

Мальчикъ промолчалъ. Мимо шель солдатъ съ чайникомъ кипятку.

— Если днемъ тащимъ все, то ночью лавку вмѣстѣ съ жидомъ самимъ тащимъ! — на ходу объяснилъ онъ мнѣ.

На большихъ остановкахъ солдаты разводили костры и то варили супъ изъ куръ, взявшихся неизвѣстно откуда, то палили свинью, будто бы задавленную нашимъ поѣздомъ.

Часто они разыгрывали свои реквизиціи по очень тонкимъ и хитрымъ планамъ. Однажды мы долго стояли у небольшой станціи. Худой, высокій и испитой холхоль Кучеренко, острякъ нашей команды, дурачился на полянкѣ у поѣзда. Онъ напялил на себя какую-то рогожу, шатался, изображая пьянаго. Солдатъ, смѣясь, столкнулъ его въ канаву. Кучеренко повозился тамъ и полѣзъ назадъ; за собою онъ сосредоточенно тащилъ погнутой и ржавый желѣзный цилиндръ изъ-подъ печки.

— Каспада, сичасъ путить мусика!.. Пашалста, нэ мѣшайтъ! — объявилъ онъ, изображая изъ себя иностранца.

Вокругъ толпились солдаты и обитатели станціоннаго поселка. Кучеренко, съ рогожею на плечахъ, во-зился надъ своимъ цилиндромъ, какъ медвѣдь надъ чурбаномъ. Съ величественно-серьезнымъ видомъ онъ задвигалъ около цилиндра рукою, какъ будто вертѣлъ воображаемую ручку шарманки, и хрипло запѣлъ:

Зачѣмъ ты, безумная... Трр... Трр... Уу-о!..
Того, кто... у-э! Трр... Трр... завлекся... Трррр...

Кучеренко изображалъ испорченную шарманку до того великолѣпно, что всѣ кругомъ хохотали,—станціонные жители, солдаты, мы. Снявъ фуражку, онъ сталъ обходить публику.

— Каспада, пашалуйтэ пѣдному тальянскому мусиканту за труды!..

Унтеръ-офицеръ Сметанниковъ сунулъ ему въ руку камень. Кучеренко въ недоумѣніи покрутилъ надъ камнемъ головою и швырнулъ его въ спину убѣгавшему Сметанникову.

— По вагонамъ!—раздалась команда. Поѣздъ свистнулъ, солдаты стремглавъ бросились къ вагонамъ.

На слѣдующей остановкѣ они варили на кострѣ супъ; въ котлѣ густо плавали куры и утки. Подошли двѣ нашихъ сестры.

— Не желаете-ли, сестрицы, курятинки?—предложили солдаты.

— Откуда она у васъ?

Солдаты лукаво посмѣивались.

— Музыканту нашему за труды подали!

Оказалось,—пока Кучеренко отвлекалъ на себя вниманіе жителей поселка, другіе солдаты очищали ихъ дворы отъ птичьей живности. Сестры начали стыдить солдатъ, говорили, что воровать нехорошо.

— Ничего нехорошаго! Мы на царской службѣ, что жъ намъ ѣсть? Вонъ, три для ужъ горячей пищи не даютъ, на станціяхъ ничего не купишь, хлѣбъ невыпеченный. Съ голоду, что-ли, издыхать?

— Мы что!—замѣтилъ другой.—А вонъ к—овцы, такъ тѣ цѣдыхъ двѣ коровы стащили!

— Ну, вотъ представь себѣ: у тебя, скажемъ, дома одна корова; и вдругъ свои же, православные, возьмутъ ее и сведутъ! Развѣ бы не обидно было тебѣ? То же вотъ и здѣсь: можетъ быть, послѣднюю корову свели у мужика, онъ теперь убивается съ горя.

— Э!..—Солдаты махнулъ рукою.—А у насъ нешто мало плачутъ? Вездѣ плачутъ.

Когда мы были подъ Красноярскомъ, стали приходить вѣсти о Ляоянскомъ боѣ. Сначала, по обычаю, телеграммы извѣщали о близкой побѣдѣ, объ отступающихъ японцахъ, о захваченныхъ орудіяхъ. Потомъ пошли телеграммы съ смутными, зловѣщими недоумовками, и наконецъ—обычное сообщеніе объ отступленіи „въ полномъ порядкѣ“. Жадно всѣ хватались за газеты, вчитывались въ телеграммы,—дѣло было ясно: мы разбиты и въ этомъ бою, неприступный Ляоянь взять, „смертоносная стрѣла“ съ „туго натянутой тетивы“ безсильно упала на землю, и мы опять бѣжимъ.

Настроеніе въ эшелонахъ было мрачное и подавленное.

Вечеромъ мы сидѣли въ маленькомъ залѣ небольшой станціи, ѣли скверныя, десятокъ разъ подогрѣтыя щи. Скопилось нѣсколько эшелоновъ, залъ былъ полонъ офицерами. Противъ насъ сидѣлъ высокій, съ впалыми щеками штабсъ-капитанъ, рядомъ съ нимъ молчаливый подполковникъ.

Штабсъ-капитанъ громко, на всю залу говорилъ:

— Японскіе офицеры отказались отъ своего содержанія въ пользу казны, а сами перешли на солдатскій

пакетъ. Министръ народнаго просвѣщенія, чтобы послужить родинѣ, пошелъ на войну простымъ рядовымъ. Жизнью своею никто не дорожитъ, каждый готовъ все отдать за родину. Почему? Потому что у нихъ есть идея. Потому что они знаютъ, за что сражаются. И всѣ они образованные, всѣ солдаты грамотные. У каждаго солдата компасъ, планъ, каждый даетъ себѣ отчетъ въ заданной задачѣ. И отъ маршала до послѣдняго рядового, всѣ думаютъ только о побѣдѣ надъ врагомъ. И интендантство думаетъ объ этомъ же.

Штабсъ-капитанъ говорилъ то, что всѣ знали изъ газетъ, но говорилъ такъ, какъ будто онъ все это спеціально изучилъ, а никто кругомъ этого не знаетъ. У буфета шумѣлъ и о чемъ-то препирался съ буфетчикомъ необъятно-толстый, пьяный капитанъ.

— А у насъ что?—продолжалъ штабсъ-капитанъ.— Кто изъ насъ знаетъ, зачѣмъ война? Кто изъ насъ воодушевленъ? Только и разговоровъ, что о прогонахъ да о подъемныхъ. Гонять насъ всѣхъ, какъ барановъ. Генералы наши то и знаютъ, что ссорятся межъ собою. Интендантство воруетъ. Посмотрите на сапоги нашихъ солдатъ,—въ два мѣсяца совсѣмъ истрепались. А вѣдь принимали сапоги двадцать пять комиссій!

— И забраковать нельзя,—поддержалъ его нашъ главный врачъ.—Товаръ не перегорѣлый, не гнилой.

— Да. А въ первый же дождь подошва подъ ногою разѣзжается... Ну-ка, скажите мнѣ, пожалуйста,—можетъ такой солдатъ побѣдить или нѣтъ?

Онъ громко говорилъ на всю залу, и всѣ сочувственно слушали. Нашъ смотритель опасливо поглядывалъ по сторонамъ. Онъ почувствовалъ себя неловко отъ этихъ громкихъ, небоящихся рѣчей и сталъ возражать: вся суть въ томъ, какъ сшить сапогъ, а товаръ интендантства прекрасный, онъ самъ его видѣлъ и можетъ засвидѣтельствовать.

— И какъ хотите, господа,—своимъ полнымъ, са-

моувѣреннымъ голосомъ заявилъ смотритель.—Дѣло вовсе не въ сапогахъ, а въ духѣ арміи. Хорошъ духъ,—и во всякихъ сапогахъ разобьешь врага.

— Босой, съ ногами въ язвахъ, не разобьешь,—возразилъ штабсъ-капитанъ.

— А духъ хорошъ?—съ любопытствомъ спросилъ подполковникъ.

— Мы сами виноваты, что нехорошъ!—горячо заговорилъ смотритель.—Мы не сумѣли воспитать солдата. Видите ли, ему *идея* нужна! Идея,—скажите, пожалуйста! И насъ, и солдатъ долженъ вести воинскій долгъ, а не идея. Не дѣло военного говорить объ идеяхъ, его дѣло безъ разговоровъ идти и умирать.

Подошелъ шумѣвшій у буфета толстый капитанъ. Онъ молча стоялъ, качался на ногахъ и пучилъ глаза на говорившихъ.

— Нѣтъ, господа, вы мнѣ вотъ что скажите,—вдругъ вмѣшался онъ.—Ну, какъ,—какъ я буду брать соку!?

Онъ разводилъ руками и съ недоумѣніемъ оглядывалъ свой огромный животъ.

Назади остались степи, мѣстность становилась гористою. Вмѣсто маленькихъ, корявыхъ березокъ кругомъ высились могучіе, сплошные лѣса. Таежныя сосны сурово и сухо шумѣли подъ вѣтромъ, и осина, красавица осени, сверкала средь темныхъ хвой нѣжнымъ золотомъ, пурпуромъ и багрянцемъ. У желѣзнодорожныхъ мостиковъ и на каждой верстѣ стояли охранники-часовые, въ сумеркахъ ихъ одинокія фигуры темнѣли среди глухой чащи тайги. По ночамъ имъ приходится выдерживать схватки съ медвѣдями; незадолго до насъ подъ Красноярскомъ нашли у полотна мертвого часового въ объятіяхъ заколотого имъ медвѣдя. Медвѣдей масса; намъ рассказывали, что ночью они выходятъ на рельсы и схватываются съ поѣздами, которые ихъ давятъ.

Проѣхали мы Красноярскъ, Иркутскъ, поздно ночью прибыли на станцію Байкаль. Насъ встрѣтилъ помощникъ коменданта, приказано было немедленно вывести изъ вагоновъ людей и лошадей; платформы съ повозками должны были идти на ледоколъ неразгруженными.

До трехъ часовъ ночи мы сидѣли въ маленькомъ тѣсномъ залѣцѣ станціи. Въ буфетѣ нельзя было ничего получить, кромѣ чаю и водки, потому что въ кухнѣ шелъ ремонтъ. На платформахъ и въ багажномъ залѣцѣ въ повалку спали наши солдаты. Пришелъ еще эшелонъ; онъ долженъ былъ переправляться на ледоколъ вмѣстѣ съ нами. Эшелонъ былъ громадный, въ тысячу двѣсти человекъ; въ немъ шли на пополненіе частей запасные изъ Уфимской, Казанской и Самарской губерній; были здѣсь русскіе, татары, мордвины, все больше пожилые, почти старые люди.

Уже въ пути мы примѣтили этотъ злосчастный эшелонъ. У солдатъ были малиновые погоны безъ всякихъ цифръ и знаковъ, и мы прозвали ихъ „малиновой командой“. Команду велъ одинъ поручикъ. Чтобъ не заботиться о довольствіи солдатъ, онъ выдавалъ имъ на руки казенныя 21 копейку и предоставлялъ имъ питаться, какъ хотятъ. На каждой станціи солдаты рыскали по платформѣ и окрестнымъ лавочкамъ, раздобывая себѣ пищи. Но на такую массу людей припасовъ не хватало. На эту массу не хватало не только припасовъ,—не хватало кипятку. Поѣздъ останавливался, изъ вагоновъ спѣшно выскакивали съ чайниками приземистыя, скуластыя фигуры и бѣжали къ будочкѣ, на которой красовалась большая вывѣска: „кипятокъ бесплатно“.

— Давай кипятку!

— Кипятку нѣту. Грѣютъ. Эшелоны весь разобрали.

Одни вяло возвращались обратно, другіе, съ сосредоточенными лицами, длинной вереницей стояли и ждали. Иногда дождутся, чаще нѣтъ, и съ пустыми чайниками бѣгутъ къ отходящимъ вагонамъ. Пѣли

опи на остановкахъ и пѣсни, пѣли скрипучими, жидкими тенорами, и странно: пѣсни все были арестантскія, однообразно-тягучія, тупо-равнодушныя, и это удивительно подходило ко всему впечатлѣнію отъ нихъ.

Напрасно, напрасно въ тюрьмѣ я сижу,

Напрасно на волю святую гляжу.

Погибъ я, мальчишка, погибъ навсегда!

Годы за годами проходятъ лѣта...

Въ третьемъ часу ночи въ черной мглѣ озера загудѣлъ протяжный свистокъ, ледаколъ „Байкалъ“ подошелъ къ берегу. По безконечной платформѣ мы пошли вдоль рельсовъ къ пристани. Было холодно. Возлѣ шпаль тянулась выстроенная попарно „малиновая команда“. Обвѣшанные мѣшками, съ винтовками къ ногѣ, солдаты неподвижно стояли съ угрюмыми, сосредоточенными лицами; слышался незнакомый, гортанный говоръ.

Мы поднялись по сходнямъ на какіе-то мостки, повернули вправо, потомъ влѣво—и незамѣтно вдругъ очутились на верхней палубѣ парохода; было непонятно, гдѣ же она началась. На пристани ярко сіяли электрическіе фонари, вдали мрачно чернѣла сырая темь озера. По сходнямъ солдаты взводили волнующихся, нервно-вздрагивающихъ лошадей, внизу, отрывисто посвистывая, паровозы вкатывали въ парходъ вагоны и платформы. Потомъ двинулись солдаты.

Они шли безконечною вереницею, въ сѣрыхъ, неуклюжихъ шинеляхъ, обвѣшанные мѣшками, держа въ рукахъ винтовки прикладами къ землѣ. Въ узкомъ входѣ на палубу солдаты сбивались въ кучу и оставались. Сбоку на возвышеніи стоялъ какой-то инженеръ и, выходя изъ себя, кричалъ:

— Да не задерживай! Чего толчетесь?.. Ахъ, с-сукны дѣти! Иди впередъ, чего стоишь?!

И солдаты, съ понуренными головами, напирали. И

слѣдомъ шли, шли все новыя,—однообразныя, сѣрыя, угрюмыя, какъ будто стадо овецъ.

Все было погружено, прогудѣлъ третій свистокъ. Пароходъ дрогнулъ и сталъ медленно подаваться назадъ. Въ громадномъ, неясномъ сооруженіи съ высокими помостами образовался ровный овальный вырѣзъ,—и сразу стало понятно, гдѣ кончались помосты и начиналось тѣло парохода. Плавню подрагивая, мы понесли въ темноту.

Въ пароходномъ залѣ перваго класса было ярко, тепло и просторно; пахло паровымъ отопленіемъ; и каюты были уютныя, теплыя. Пришелъ поручикъ въ фуражкѣ съ бѣлымъ околышемъ, ведшій малиновую команду. Познакомились. Онъ оказался очень милымъ господиномъ. Мы вмѣстѣ поужинали, вмѣстѣ гуляли по палубѣ. Капитанъ парохода рассказывалъ намъ о положеніи дѣлъ съ переправою войскъ черезъ Байкалъ: въ газетахъ писали, что движеніе эшелоновъ сильно задерживается переправою, что по этой причинѣ спѣшно приступлено къ постройкѣ Кругобайкальской желѣзной дороги. Капитанъ рѣшительно утверждалъ, что никакой задержки Байкалъ не дѣлаетъ, въ сутки черезъ него легко можно переправить восемь тысячъ человѣкъ. Постройку же Кругобайкальской дороги онъ объяснялъ желаніемъ одной высокой особы получить звѣзду за энергичную дѣятельность.

Мы легли спать, кто въ каютахъ, кто въ столовой. На зарѣ меня разбудилъ товарищъ Шанцеръ.

— В. В.—чѣ, вставайте! Не пожалѣйте! Давно васъ хотѣлъ разбудить. Теперь, все равно, черезъ двадцать минутъ приходимъ.

Я вскочилъ, умылся. Въ столовой было тепло. Въ окно виднѣлся лежавшій на палубѣ солдатъ; онъ спалъ, привалившись головою къ мѣшку, скорчившись подъ шинелью, съ посинѣвшимъ отъ стужи лицомъ.

Мы вышли на палубу. Свѣтало. Тускляя, сѣрыя

волны мрачно и медленно вздымались, водная гладь казалась выпуклою. По ту сторону озера нѣжно голубѣли далекія горы. На пристани, къ которой мы подплывали, еще горѣли огни, а кругомъ къ берегу тѣснились заросшія лѣсомъ горы, мрачныя, какъ тоска. Въ отрогахъ и на вершинахъ бѣлѣлъ снѣгъ. Черныя горы эти казались густо закопченными, и боры на нихъ—шершавою, взлохмаченною сажею, какая бываетъ въ долго нечищенныхъ печныхъ трубахъ. Было удивительно, какъ черны эти горы и боры.

Поручикъ громко и восторженно восхищался. Солдаты, сидя у паровой трубы, кутались въ шинели и угрюмо слушали. И вездѣ, по всей палубѣ, лежали скорчившіеся подъ шинелями солдаты, тѣсно прижимаясь другъ къ другу. Было очень холодно, вѣтеръ пронизывалъ, какъ сквознякъ. Всю ночь солдаты мерзли подъ вѣтромъ, жались къ трубамъ и выступаютъ, бѣгали по палубѣ, чтобъ согрѣться.

Ледоколъ медленно подплылъ къ пристани, вошелъ въ высокое сооруженіе съ овальнымъ вырѣзомъ и опять слился съ запутанными помостами и сходнями, и опять нельзя было понять, гдѣ кончается пароходъ и начинаются мостки. Явился помощникъ коменданта и обратился къ начальникамъ эшелоновъ съ обычными вопросами.

Конюхи сводили по сходнямъ фыркающихъ лошадей, внизу подходили паровозы и брали съ нижней палубы вагоны. Двинулись команды. Опять, выходя изъ себя, свирѣпо кричали на солдатъ помощникъ коменданта и любезный, милый поручикъ съ бѣлымъ околышемъ. Опять солдаты толклись угрюмо и сосредоточенно, въ мѣшкахъ, держа прикладами къ землѣ винтовки съ привинченными остріемъ внизъ штыками.

— Ахъ, подлецы! Чего они толкутся?.. Да идите вы, сукины дѣти, (такъ-то васъ и такъ-то)! Чего стали?..

Эй, ты! Куда ящикъ съ патронами несешь? Сюда съ патронами!

Медленною, безконечною вереницею мимо двигались солдаты. Прошелъ, внимательно глядя впередъ пожилой татаринъ съ слегка отвисшею губою и опущенными внизъ углами губъ; прошелъ скуластый, бородатый пермякъ съ изрытымъ оспою лицомъ. Всѣ выглядѣли совсѣмъ, какъ мужики, и странно было видѣть въ ихъ рукахъ винтовки. И они шли, шли, лица смѣнялись, и на всѣхъ была та же ушедшая въ себя, какъ будто застывшая подъ холоднымъ вѣтромъ, дума. Никто не оглядывался на крики и ругательства офицеровъ, словно это было чѣмъ-то такимъ же стихійнымъ, какъ рвавшійся съ озера ледяной вѣтеръ.

Совсѣмъ разсвѣло. Надъ тусклымъ озеромъ бѣжали тяжелыя, свинцовыя тучи. Отъ пристани мы перешли на станцію. По путямъ, угрожающе посвистывая, маневрировали паровозы. Было ужасно холодно. Ноги стыли. Обогрѣться было негдѣ. Солдаты стояли и сидѣли, прижавшись другъ къ другу, съ тѣми же угрюмыми, ушедшими въ себя, готовыми на муку лицами.

Я ходилъ по платформѣ съ нашимъ аптекаремъ. Въ огромной, косматой папахѣ, съ орлинымъ носомъ на худощавомъ лицѣ, онъ выглядѣлъ, не какъ смирный провизоръ, а совсѣмъ, какъ лихой казакъ.

— Вы откуда, ребята?—спросилъ онъ солдатъ, сидѣвшихъ кучкою у фундамента станціи.

— Казанскіе... Есть уфимскіе, самарскіе...—неохотно отвѣтилъ маленькій, бѣлобрысый солдатъ. На его груди, изъ-подъ повязаннаго черезъ плечо полотнища палатки, торчалъ огромный ситный хлѣбъ.

— Изъ Тимохинской волости есть, Казанской губерніи?

Солдатъ просіялъ.

— Да мы тимохинскіе!

— Да, ну?

— Ей Богу!.. Вотъ тоже онъ тимохинскій!

— Каменку знаете?

— Н-нѣтъ... Никакъ нѣтъ!—поправился солдатъ.

— А Левашово?

— А какъ же! Мы туда на базаръ ѣздимъ!—съ радостнымъ удивленіемъ отозвался солдатъ.

И съ любовнымъ, связывающимъ другъ друга чувствомъ они заговорили о родныхъ мѣстахъ, перебирали окрестныя деревни. И здѣсь, въ далекой сторонѣ, на порогѣ кроваво-смертнаго царства, они радовались именамъ знакомыхъ деревень и тому, что и другой произносилъ эти имена, какъ знакомыя.

Въ залѣ третьяго класса стояли шумъ и споры. Иззябшіе солдаты требовали отъ сторожа, чтобы онъ затопилъ печку. Сторожъ отказывался, — не имѣетъ права взять дровъ. Его корили и ругали.

— Ну, и Сибирь ваша проклятая!—въ негодованіи говорили солдаты.—Глаза мнѣ завяжи, я съ завязанными глазами пѣшкомъ домой бы пошелъ!

— Какая это моя Сибирь, я самъ изъ Россіи, — огрызнулся заруганный сторожъ.

— Что на него смотрѣть? Вонъ сколько дровъ наложено. Возьмемъ, да и затопимъ!

Но они не рѣшились. Мы пошли къ коменданту попросить дровъ, чтобы вытопить станцію: солдатамъ предстояло ждать здѣсь еще часовъ пять. Оказалось, выдать дрова совершенно невозможно, никакъ невозможно: топить полагается только съ 1-го октября, теперь же начало сентября. А дрова кругомъ лежали горами.

Подали нашъ поѣздъ. Въ вагонѣ было морозно, зубъ не попадалъ на зубъ, руки и ноги обратились въ настоящія ледяшки. Къ коменданту пошелъ самъ главный врачъ требовать, чтобы протопили вагонъ. Это тоже оказалось никакъ невозможно: и вагоны полагается топить только съ 1-го октября.

— Скажите мнѣ, пожалуйста, отъ кого же это зависить разрѣшить протопить вагонъ теперь? — въ негодованіи спросилъ главный врачъ.

— Пошлите телеграмму главному начальнику тяги. Если онъ разрѣшитъ, я прикажу истопить.

— Виноватъ, вы, кажется, обмолвились? Не министр-ли путей сообщенія нужно послать телеграмму? А можетъ быть, телеграмму нужно послать на Высочайшее имя?

— Что-жъ, пошлите на Высочайшее имя! — любезно усмѣхнулся комендантъ и повернулъ спину.

Нашъ поѣздъ двинулся. Въ студеныхъ солдатскихъ вагонахъ не слышно было обычныхъ пѣсень, всѣ жались другъ къ другу въ своихъ холодныхъ шинеляхъ, съ мрачными посинѣлыми лицами. А мимо двигавшагоса поѣзда мелькали огромные кубы дровъ; на запасныхъ путяхъ стояли ряды вагоновъ-теплушекъ; но ихъ теперь по закону тоже не полагалось давать.

До Байкала мы ѣхали медленно, съ долгими остановками. Теперь, по Забайкальской дорогѣ, мы почти все время стояли. Стояли по пяти, по шести часовъ на каждомъ разѣздѣ; проѣдемъ десятокъ верстъ, — и опять стоимъ часами. Такъ привыкли стоять, что, когда вагонъ начиналъ колыхаться и грохотать колесами, являлось ощущеніе чего-то необычнаго; спохватиться, — ужъ опять стоимъ. Впереди, около станціи Карымской, произошло три обвала пути, и дорога оказалась загражденною.

Было попрежнему студено, солдаты мерзли въ холодныхъ вагонахъ. На станціяхъ ничего нельзя было достать, — ни мяса, ни яицъ, ни молока. Отъ одного продовольственнаго пункта до другого ѣхали въ теченіе трехъ-четырехъ сутокъ. Эшелоны по два, по три дня оставались совсѣмъ безъ пищи. Солдаты изъ своихъ

денегъ платили на станціяхъ за фунтъ чернаго хлѣба по девять, по десять копѣекъ. Но хлѣба не хватало даже на большихъ станціяхъ. Пекарни, распродавъ товаръ, закрывались одна за другою. Солдаты рыскали по мѣстечку и Христа-ради просили жителей *продать* имъ хлѣба.

На одной станціи мы нагнали шедшій передъ нами эшелонъ съ строевыми солдатами. Въ проходѣ между ихъ и нашимъ поѣздомъ толпа солдатъ окружила подполковника, начальника эшелона. Подполковникъ былъ слегка блѣденъ, видимо, подбадривалъ себя изнутри, говорилъ громкимъ, командующимъ голосомъ. Передъ нимъ стоялъ молодой солдатъ, тоже блѣдный.

— Какъ тебя звать?—угрожающе спросилъ подполковникъ.

— Лебедевъ.

— Второй роты?

— Такъ точно!

— Хорошо, ты у меня узнаешь... На каждой остановкѣ галдежь! Я вамъ вчера говорилъ, берегите хлѣбъ, а вы, что не доѣли, въ окошко кидали... Кто виновать? Нѣтъ хлѣба, сказано вамъ. Гдѣ-жъ я вамъ возьму?

— Это мы понимаемъ, что тутъ хлѣба нельзя достать,—возразилъ солдатъ.—А мы вчера ваше высокоблагородіе просили, можно было на два дня взять... Вѣдь знали, сколько на каждомъ разъѣздѣ стоимъ.

— Молчать!—гаркнулъ подполковникъ.—Еще слово скажешь, велю тебя арестовать!.. По вагонамъ! Маршъ!

И онъ ушелъ. Солдаты угрюмо полѣзли въ вагоны.

— Издыхай, значить, съ голоду! — весело сказалъ одинъ.

Ихъ поѣздъ двинулся. Замелькали лица солдатъ,—блѣдныя, озлобленно-задумчивыя.

Чаще стали встрѣчныя санитарныя поѣзда. На остановкахъ всѣ жадно обступали раненыхъ, спрашивали ихъ. Въ окна видѣлись лежавшіе на койкахъ тяжело-

раненные,—съ восковыми лицами, покрытые повязками. Ощущалось вѣяніе того ужаснаго и грознаго, что творилось тамъ.

Спросилъ я одного раненаго офицера, — правда-ли, что японцы добиваютъ нашихъ раненыхъ? Офицеръ удивленно вскинулъ на меня глаза и пожалъ плечами.

— А наши не добиваютъ? Сколько угодно! Особенно казаки. Попадись имъ японецъ,—по волоску всю голову выщиплютъ.

На приступочкѣ солдатскаго вагона сидѣлъ сибирскій казакъ съ отрѣзанною ногою, съ Георгіемъ на халатѣ. У него было широкое, добродушное мужицкое лицо. Онъ участвовалъ въ знаменитой стычкѣ у Юзятуня, подъ Вафангоу, когда двѣ сотни сибирскихъ казаковъ обрушились лавою на японскій эскадронъ и весь его перекололи пиками.

— Кони у нихъ добрые,—разсказывалъ казакъ.—А вооруженіе плохое, никуда не годже, однѣ пашки да револьверы. Какъ налетѣли мы съ пиками,—они все равно, что безоружные, ничего съ нами не могли подѣлать.

— Ты сколькихъ закололъ?

— Трехъ.

Онъ, съ его славнымъ, добродушнымъ лицомъ, — онъ былъ участникомъ этой чудовищной битвы кентавровъ!.. Я спросилъ:

— Ну, а какъ, когда кололъ,—ничего въ душѣ не чувствовалъ?

— Перваго неловко какъ-то было. Боязно было въ живого человѣка колоть. А какъ прокололъ его, онъ свалился, — распалилась душа, еще бы радъ десятокъ заколотъ.

— А небось жалѣешь, что раненъ? Радъ бы еще съ япошкой подраться, а? — спросилъ нашъ письмоводитель, заурядъ-чиновникъ.

— Нѣтъ, теперь о томъ думать, какъ ребятишекъ прокормить...

И мужицкое лицо казака омрачилось, глаза покраснѣли и налились слезами.

На одной изъ слѣдующихъ станцій, когда отходить шедшій передъ нами эшелонъ, солдаты, на команду „по вагонамъ!“, остались стоять.

— По вагонамъ, слышите?!—грозно крикнулъ дежурный по эшелону.

Солдаты стояли. Нѣкоторые полѣзли-было въ вагоны, но товарищи стащили ихъ назадъ.

— Не поѣдемъ дальше. Будетъ!

Явился начальникъ эшелона, комендантъ. Сначала они стали кричать, потомъ начали разспрашивать, въ чемъ дѣло, почему солдаты не хотятъ ѣхать. Солдаты никакихъ претензій не предъявили, а твердили одно:

— Не желаемъ дальше ѣхать!—Ихъ увѣщевали, говорили о послушаніи, о начальствѣ.—Солдаты отвѣчали: съ начальствомъ нашимъ, дай срокъ, мы еще раздѣлаемся!

Восьмерыхъ арестовали. Остальные сѣли въ вагоны и поѣхали дальше.

Поѣздъ шелъ мимо дикихъ, угрюмыхъ горъ, пробираясь вдоль русла рѣки. Надъ поѣздомъ нависали огромныя глыбы, тянулись вверхъ зыбкіе откосы изъ мелкаго щебня. Казалось, кашляни,—и все это рухнетъ на поѣздъ. Лунною ночью мы проѣхали за станціей Карымскою мимо обвала. Поѣздъ шелъ по наскоро сдѣланному новому пути. Онъ шелъ тихо-тихо, словно крадучись, словно боясь задѣть за нависшія сверху глыбы, почти касавшіяся поѣзда. Ветхіе вагоны поскрипывали, паровозъ пыхтѣлъ рѣдко, какъ будто задерживалъ дыханіе. По правую сторону изъ холодной, быстрой рѣки торчали свалившіяся каменные глыбы и кучи щебня.

Здѣсь подѣрядъ произошло три обвала. Почему три, почему не десять, не двадцать? Смотрѣлъ я на этотъ на-скоро, кое-какъ пробитый въ горахъ путь, сравнивалъ его съ желѣзными дорогами въ Швейцаріи, Тироли, Италіи, и становилось понятнымъ, что будетъ и десять, и двадцать обваловъ. И вспоминались колоссальныя цифры стоимости этой первобытно-убогой, какъ будто дикарями проложенной дороги.

Вечеромъ на небольшой станціи опять скопилось много эшелоновъ. Я ходилъ по платформѣ. Въ головѣ стояли рассказы встрѣчныхъ раненыхъ, оживали и одѣвались плотью кровавые ужасы, творившіеся *тамъ*. Было темно, по небу шли высокія тучи, порывами дулъ сильный, сухой вѣтеръ. Огромныя сосны на откосѣ глухо шумѣли подъ вѣтромъ, ихъ стволы поскрипывали. Межъ сосенъ горѣлъ костеръ, и пламя металось въ черной тьмѣ.

Вытянувшись другъ возлѣ друга, стояли эшелоны. Подъ тусклымъ свѣтомъ фонарей на нарахъ двигались и копошились стриженные головы солдатъ. Въ вагонахъ пѣли. Съ разныхъ сторонъ неслись разныя пѣсни, голоса сливались, въ воздухѣ дрожало что-то могучее и широкое.

Вы спите, милые герои,
Друзья, подъ бурю ревущей.
Вась завтра гласъ разбудить мой,
На славу и на смерть зовущій...

Я ходилъ по платформѣ. Протяжные, мужественные звуки „Ермака“ слабѣли, ихъ покрыла однообразная, тягуче-унылая арестантская пѣсня изъ другого вагона.

Взгляну, взгляну въ эту миску,
Двѣ капустинки плывутъ,
А за ними поочередно
Плыветъ стадо черваковъ...

Изъ оставшагося назади вагона протяжно и грустно донеслось:

За Русь святую погибая...

А тягучая арестантская пѣсенка рубила свое:

Брошу ложку, самъ заплачу,
Стану хлѣба хоть глотать.
Арестантъ вѣдь не собака,
Онъ такой-же человѣкъ!

Черезъ два вагона впередъ вдругъ какъ будто кто-то крикнулъ отъ сильнаго удара въ спину, и съ удалымъ вскрикомъ въ тьму рванулись буйно веселящія „Сѣни“. Звуки крутились, свивались съ уханьями и присвистами; въ могучихъ мужскихъ голосахъ, какъ быстрая змѣйка, бился частый, drobный, серебристо-стеклянный звонъ,—кто-то акомпанировалъ на стаканѣ. Притоптывали ноги, и пѣсня бѣшено-веселымъ вихремъ неслась навстрѣчу суровому вѣтру.

Шелъ я назадъ,—и опять, какъ медленные волны, вадьмались протяжные, мрачно-величественные звуки „Ермака“. Пришелъ встрѣчный товарный поѣздъ, остановился. Эшелонъ съ пѣвцами двинулся. Гулко отдаваясь въ промежуткѣ между поѣздами, пѣсня звучала могуче и сильно, какъ гимнъ.

Сибирь царю покорена,
И мы не даромъ въ свѣтѣ жили...

Поѣзда остались назади,—и вдругъ словно что-то надломилось въ могучемъ гимнѣ, пѣсня зазвучала тускло и развѣялась въ холодной, вѣтряной тьмѣ.

Утромъ просыпаюсь,—слышу за окномъ вагона дѣтски радостный голосъ солдата:

— Тепло!

Небо ясно, солнце печетъ. Во всѣ стороны тускнѣетъ просторная степь, подъ теплымъ вѣтеркомъ колыхнется сухая, порыжѣлая трава. Вдали отлогіе холмы, по степи маячутъ одинокіе всадники-буряты, виднѣются стада овецъ и двугорбыхъ верблюдовъ. Деньщикъ смотрителя, башкиръ Мохамедка, жадно смотреть въ окно съ

улыбкою, расплывшеюся по плоскому лицу съ приплюснутымъ носомъ.

— Мохамедъ, чего это ты?

— Вэрблудъ!—радостно и конфузливо отвѣчаетъ онъ, охваченный родными воспоминаніями.

И тепло, тепло. Не вѣрится, что всѣ эти дни было такъ тяжело, и холодно, и мрачно. Вездѣ слышны веселые голоса, вездѣ звучать пѣсни...

Всѣ обвалы мы миновали, но ѣхали такъ-же медленно, съ такими-же долгими остановками. По маршруту мы давно должны были быть въ Харбинѣ, но все еще ѣхали по Забакайкалю.

Китайская граница была уже недалеко. И въ памяти оживало то, что мы читали въ газетахъ о хунхузахъ, объ ихъ звѣрино-холодной жестокости, о невѣроятныхъ мукахъ, которымъ они подвергаютъ захваченныхъ русскихъ. Вообще, съ самаго моего призыва наиболѣе страшное, что мнѣ представлялось впереди, были эти хунхузы. При мысли о нихъ по душѣ проходилъ холодный ужасъ.

На одномъ разѣздѣ нашъ поѣздъ стоялъ очень долго. Невдалекѣ виднѣлось бурятское кочевье. Мы пошли его посмотреть. Насъ съ любопытствомъ обступили косоглазые люди съ плоскими, коричневыми лицами. По землѣ ползали голые, бронзовые ребята, женщины въ хитрыхъ прическахъ курили длинные чубуки. У юрты была привязана къ колышку грязнобѣлая овца съ небольшимъ курдюкомъ. Главный врачъ сторговалъ эту овцу у бурятовъ и велѣлъ имъ сейчасъ-же ее зарѣзать.

Овцу отвязали, повалили на спину, на животъ ей сѣлъ молодой бурятъ съ одутловатымъ лицомъ и большимъ ртомъ. Кругомъ стояли другіе буряты, но всѣ мялись и застѣнчиво поглядывали на насъ.

— Чего они ждуть? Скажи, чтобъ поскорѣй рѣзали,

а то нашъ поѣздъ уйдеть!—обратился главный врачъ къ станціонному сторожу, понимавшему по бурятски.

— Они, ваше благородіе, конфузятся. По русски, говорятъ, не умѣемъ рѣзать, а по бурятски конфузятся.

— Не все ли намъ равно! Пусть рѣжутъ, какъ хотять, только поскорѣе.

Буряты встрепнулись. Они прижали къ землѣ ноги и голову овцы, молодой бурятъ разрѣзалъ ножомъ живой овцѣ верхнюю часть брюха и запустилъ руку въ разрѣзъ. Овца забилая, ея ясные, глупые глаза заворочались, мимо руки бурята ползали изъ живота вздутыя, бѣлыя внутренности. Бурятъ копался рукою подъ ребрами, пузыри внутренностей хлюпали отъ порывистаго дыханія овцы, она задергалась сильнѣе и хрипло заблеяла. Старый бурятъ съ безстрастнымъ лицомъ, сидѣвшій на корточкахъ, покосился на насъ и сжалъ рукою узкую, мягкую морду овцы. Молодой бурятъ сдавилъ сквозь грудобрюшную преграду сердце овцы, овца въ послѣдній разъ дернулась, ея ворочавшіеся, свѣтлые глаза остановились. Буряты поспѣшно стали снимать шкуру.

Чуждыя, плоскія лица были глубоко безстрастны и равнодушны, женщины смотрѣли и сосали чубуки, сплевывая наземь. И у меня мелькнула мысль: вотъ совсѣмъ такъ хунгузы будутъ вспарывать животы и намъ, равнодушно, попыхивая трубочками, даже не замѣчая нашихъ страданій. Я, улыбаясь, сказаль это товарищамъ. Всѣ нервно повели плечами, у всѣхъ какъ будто тоже ужъ мелькнула эта мысль.

Всего ужаснѣе казалось именно это глубокое безразличіе. Въ свирѣпомъ сладострастіи баши-бузукъ, упивающемся муками, все-таки есть что-то человѣческое и понятное. Но эти маленькіе, полусонные глаза, равнодушно смотрящіе изъ косыхъ расщелинъ на твои безмѣрные муки,—смотрящіе и невидящіе... Брр!..

Наконецъ мы прибыли на станцію Маньчжурія. Здѣсь была пересадка. Нашъ госпиталь соединили въ одинъ эшелонъ съ султановскимъ госпиталемъ, и дальше мы поѣхали вмѣстѣ. Въ приказѣ по госпиталю было объявлено, что мы „перешли границу Россійской Имперіи и вступили въ предѣлы Имперіи Китайской“.

Тянулись все тѣ же сухія степи, то ровныя, то холмистыя, поросшія рыжею травой. Но на каждой станціи высилась сѣрая кирпичная башня съ бойницами, рядомъ съ нею длинный сигнальный шестъ, обвитый соломой; на пригоркѣ—сторожевая вышка на высокихъ столбахъ. Эшелоны предупреждались относительно хунхузовъ. Командѣ были розданы боевые патроны, на паровозѣ и на платформахъ дежурили часовые. Мы всѣ повинимали изъ чемодановъ револьверы.

На станціи Угуноръ, какъ разъ во время нашей остановки, приближалъ изъ степи монголъ и сообщилъ, что хунхузы перерѣзали въ степи сторожевую постъ изъ семи солдатъ. Офицеръ и девять пограничниковъ съ винтовками за плечами, поскакали въ степь.

Въ Маньчжуріи намъ дали новый маршрутъ, и теперь мы ѣхали точно по этому маршруту; поѣздъ стоялъ на станціяхъ положенное число минутъ и шелъ дальше. Мы ужъ совсѣмъ отвыкли отъ такой аккуратной ѣзды.

Ѣхали мы теперь вмѣстѣ съ султановскимъ госпиталемъ. Одинъ классный вагонъ занимали мы, врачи, и сестры, другой — хозяйственный персоналъ. Врачи султановскаго госпиталя рассказывали намъ про своего шефа, доктора Султанова. Онъ всѣхъ очаровывалъ своимъ остроуміемъ и любезностью, а временами поражалъ наивно-циничною откровенностью. Сообщилъ онъ своимъ врачамъ, что на военную службу поступилъ совсѣмъ недавно, по предложенію нашего корпуснаго командира; служба была удобная: онъ числился младшимъ врачомъ полка, но то и дѣло получалъ продол-

жительныя и очень выгодныя командировки; исполнить порученіе можно было въ недѣлю, командировка же давалась на шесть недѣль; онъ получить прогоны, точныя, и живетъ себѣ на мѣстѣ, не ходя на службу; а потомъ въ недѣлю исполнить порученіе. Воротится, нѣсколько дней походить на службу,—и новая командировка... А другіе врачи полка, значить, все время работали за него!

Султановъ больше сидѣлъ въ своемъ купе съ племянницей Новицкой, высокой, стройной и молчаливой барышней. Она окружала Султанова восторженнымъ обожаніемъ и уходомъ, весь госпиталь въ ея глазахъ какъ будто существовалъ только для того, чтобы заботиться объ удобствахъ Алексѣя Леонидовича, чтобы ему во-время поспѣло кофе, и чтобы ему были къ бульону пирожки. Когда Султановъ выходилъ изъ купе, онъ сейчасъ же завладѣвалъ разговоромъ, говорилъ лѣнливымъ, серьезнымъ голосомъ, насмѣшливые глаза смѣялись, и всѣ вокругъ смѣялись отъ его остротъ и разсказовъ.

Двѣ другія сестры султановскаго госпиталя сразу стали центрами, вокругъ которыхъ группировались мужчины. Одна изъ нихъ, Зинаида Аркадьевна, была изящная и стройная барышня лѣтъ тридцати, пріятельница султановской племянницы. Красиво-тягучимъ голосомъ она говорила о Баттистини, Собиновѣ, о знакомыхъ графахъ и баронахъ. Было совершенно непонятно, что понесло ее на войну. Про другую сестру, Вѣру Николаевну, говорили, что она невѣста одного изъ офицеровъ нашей дивизіи. Отъ султановской компаніи она держалась въ сторонѣ. Была она очень хороша, съ глазами русалки, съ двумя толстыми, близко другъ къ другу заплетенными косами. Видимо, она привыкла къ постояннымъ ухаживаніямъ, и привыкла смѣяться надъ ухаживателями; въ ней чувствовался бѣсенокъ. Солдаты ее очень любили, она всѣхъ ихъ знала и въ доро-

гѣ ухаживала за заболѣвшими. Наши сестры совсѣмъ ступевались передъ блестящими султановскими се-страми и поглядывали на нихъ съ скрытою враждою.

На станціяхъ появились китайцы. Въ синихъ курткахъ и штанахъ, они сидѣли на корточкахъ передъ корзинами и продавали сѣмячки, орѣхи, китайскія печенія и лепешки.

— Э, нада, капытанъ? Съемячка нада?

— Липьѣска, пять копѣкъ десѣятка! Шибко салатка!—свирѣпо вопилъ бронзовый, голый по поясъ китаецъ, выкатывая разбойничьи глаза.

Передъ офицерскими вагонами плясали маленькіе китайчата, потомъ прикладывали руку къ виску, подражая нашему отданію „чести“, кланялись и ждали подачки. Кучка китайцевъ, оскаливъ сверкающіе зубы, неподвижно и пристально смотрѣла на румяную Вѣру Николаевну.

— Шанго (хорошо)?—съ гордостью спрашивали мы, указывая на сестру.

— Эге! Шибко шанго!... Карсиво!—поспѣшно отвѣчали китайцы, кивая головами.

Подходила Зинаида Аркадьевна. Своимъ кокетливымъ, красиво-тягучимъ голосомъ она, смѣясь, начала объяснять китайцу, что хотѣла бы выйти замужъ за ихъ дзянь-дзюня. Китаецъ вслушивался, долго не могъ понять, только вѣжливо кивалъ головою и улыбался. Наконецъ понялъ.

— Дзянь-дзюнь?.. Дзянь-дзюнь?.. Твоя хочю мадама дзянь-дзюнь?! Не-е, это дѣло не брыкается!

На одной станціи я былъ свидѣтелемъ короткой, но очень изящной сцены. Къ вагону съ строевыми солдатами лѣнливою походкою подошелъ офицеръ и крикнулъ:

— Эй, вы, черти! Пошлите ко мнѣ ваводнаго!

— Не черти, а люди!—сурово раздался изъ глубины вагона спокойный голосъ.

Стало тихо. Офицеръ остолбенѣлъ:

— Кто это сказалъ?!—грозно крикнулъ онъ.

Изъ сумрака вагона выдвинулся молодой солдатъ. Приложивъ руку къ околышу, глядя на офицера небоящимися глазами, онъ отвѣтилъ медленно и спокойно:

— Виноватъ, ваше благородіе! Я думалъ, что это солдатъ ругается, а не ваше благородіе!

Офицеръ, слегка покраснѣвъ, для поддержанія престижа выругался и ушелъ, притворяясь, что не сконфуженъ.

Однажды вечеромъ въ нашъ поѣздъ вошелъ подполковникъ пограничной стражи и попросилъ разрѣшенія проѣхать въ нашемъ вагонѣ нѣсколько перегоновъ. Разумѣется, разрѣшили. Въ узкомъ куне съ поднятыми верхними сидѣніями, за маленькимъ столикомъ, играли въ винтъ. Кругомъ стояли и смотрѣли.

Подполковникъ подсѣлъ и тоже сталъ смотрѣть.

— Скажите, пожалуйста,—въ Харбинѣ мы пріѣдемъ во время, по маршруту?—спросилъ его д-ръ Шанцеръ.

Подполковникъ удивленно поднялъ брови.

— Во время?.. Нѣтъ! Дня на три, по крайней мѣрѣ, запоздаете.

— Почему? Со станціи Маньчжурія мы ѣдемъ очень аккуратно.

— Ну, вотъ скоро сами увидите! Подъ Харбиномъ и въ Харбинѣ стоятъ тридцать семь эшелоновъ и не могутъ ѣхать дальше. Два пути заняты поѣздами Алексѣева, да еще одинъ—поѣздомъ Флуга. Маневрированіе поѣздовъ совершенно невозможно. Кромѣ того, намѣстнику мѣшаютъ спать свистки и грохотъ поѣздовъ, и ихъ запрещено по ночамъ пропускать мимо. Все и стоитъ... Что тамъ только дѣлается! Лучше ужъ не говорить.

Онъ рѣзко оборвалъ себя и сталъ крутить папиросу.

— Что-же дѣлается?

Подполковникъ помолчалъ и глубоко вздохнулъ.

— Видѣть на дняхъ самъ, собственными глазами: въ маленькомъ, тѣсномъ залѣцѣ, какъ сельди въ бочкѣ, толкутся офицеры, врачи; истомленные сестры спятъ на своихъ чемоданахъ. А въ большой, великолѣпный залъ новаго вокзала никого не пускаютъ, потому что генераль-квартирмейстеръ Флугъ совершаетъ тамъ свой послѣбобѣденный моціонъ! Изволите видѣть, намѣстнику понравился новый вокзалъ, и онъ поселилъ въ немъ свой штабъ, а всѣ пріѣзжіе жмутся въ маленькомъ, грязномъ и вонючемъ старомъ вокзалѣ!

Подполковникъ сталъ рассказывать. Видимо, у него много накупѣло въ душѣ. Онъ рассказывалъ о глубокомъ равнодушіи начальства къ дѣлу, о царящемъ повсюду хаосѣ, о бумагахъ, которая душитъ все живое, все, желающее работать. Въ его словахъ бурлило негодованіе и ненавидящая злоба.

— Есть у меня пріятель, корнетъ приморскаго драгунскаго полка. Дѣльный, храбрый офицеръ, имѣетъ Георгія за дѣйствительно-лихое дѣло. Больше мѣсяца пробылъ онъ на развѣдкахъ, пріѣзжаетъ въ Ляоянь, обращается въ интендантство за ячменемъ для лошадей. „Безъ требовательной вѣдомости мы не можемъ выдать!“ А требовательная вѣдомость должна быть за подписью командира полка! Онъ говоритъ: „помилуйте, да я ужъ почти два мѣсяца и полка своего не видѣлъ, у меня ни гроша нѣтъ, чтобъ заплатить вамъ!“ Такъ и не дали. А черезъ недѣлю очищаютъ Ляоянь и этотъ-же корнетъ съ своими драгунами жжетъ громадныя запасы ячменя!.. Или подъ Дашичао: солдаты три дня голодали, отъ интендантства на всѣ запросы былъ одинъ отвѣтъ: „нѣтъ ничего!“ А при отступленіи раскрываютъ магазины и каждому солдату даютъ нести

по ящику съ консервами, сахаромъ, чаемъ! Озлобленіе у солдатъ страшное, ропотъ непрерывный. Ходятъ голодные, оборванные... Одинъ мой пріятель, ротный командиръ, глядя на свою роту, заплакалъ!.. Японцы прямо кричатъ: „эй, вы, босяки! Удирайте!..“ Что изъ всего этого выйдетъ, прямо подумать страшно. У Куропаткина одна только надежда,—чтобъ возсталъ Китай.

— Китай? Что-же это поможетъ?

— Какъ что? *Идея будетъ!..* Господа, вѣдь идеи у насъ никакой нѣтъ въ этой войнѣ, вотъ въ чемъ главный ужасъ! За что мы деремся, за что льемъ кровь? Ни я не понимаю, ни вы, ни тѣмъ болѣе солдаты. Какъ-же при этомъ можно переносить все то, что солдаты переносить?.. А возстанетъ Китай,—тогда все сразу станетъ понятно. Объясните, что армія обращается въ казачество маньчжурской области, что каждый получить здѣсь надѣлъ,—и солдаты обратятся въ львовъ. Идея появится!.. А теперь что? Полная душевная вялость, цѣлые полки бѣгутъ!.. А мы—мы заранее торжественно объявили, что Маньчжуріи мы не помогаемъ, что дѣлать намъ въ ней нечего!.. Влѣзли въ чужую страну, неизвѣстно, для чего, да еще миндальничаемъ. Разъ ужъ начали подлость, то нужно дѣлать ее во всю, тогда въ подлости будетъ хоть поэзія. Вотъ какъ англичане: возьмутся за что,—все подъ ними запищитъ!

Въ узкомъ купе одиноко горѣла свѣчка на карточномъ столикѣ и освѣщала внимательныя лица. Валомаченные усы подполковника, съ торчащими кверху кончиками, сердито топорщились и шевелились. Наптъ смотритель опять коробился отъ этихъ громкихъ, не боящихся рѣчей и опасно косясь по сторонамъ.

— Кто побѣждаетъ въ бою?—продолжалъ подполковникъ.—Господа, вѣдь это азбука: побѣждаютъ сплоченные между собою люди, зажженные идеей. Идеи у насъ нѣтъ и не можетъ быть. А правительство съ своей

стороны сдѣлало все, чтобъ уничтожить и сплоченность. Какъ у насъ составлены полки? Выхвачено изъ разныхъ полковъ по пяти-шести офицеровъ, по сотнѣ другой солдатъ, и готово,—получилась „боевая единица“. Мы, видите-ли, хотѣли передъ Европою яичницу сварить въ цилиндрѣ: вотъ, дескать, всѣ корпуса на мѣстѣ, а здѣсь сама собою выросла цѣлая армія.. А какъ у насъ раздаются здѣсь ордена! Все направлено къ тому, чтобъ убить всякое уваженіе къ подвигу, чтобъ вызвать къ русскимъ орденамъ полное презрѣніе. Лежать въ госпиталѣ раненные офицеры, они прошли страду цѣлаго ряда боевъ. Среди нихъ ходитъ ординарецъ намѣстника (ихъ у него девяносто восемь человѣкъ!) и раздаетъ бѣлье. А въ петлицѣ у него—Владиміръ съ мечами! Его спрашиваютъ: „вы за что это Владимира получили, за раздачу бѣлья?..“ Господа, это несомнѣнно: противъ Россіи *тамъ*,—подполковникъ черезъ плечо указалъ большимъ пальцемъ назадъ,—тамъ составленъ какой-то громадный заговоръ, и выходъ теперь только одинъ: Куропаткинъ долженъ объявить себя диктаторомъ, арестовать всѣхъ этихъ Алексѣевыхъ, Флуговъ, Штапельберговъ, собственною властью заключить миръ съ Японіей и во главѣ арміи двинуться на Петербургъ.

Когда подполковникъ ушелъ, всѣ долго молчали.

— Во всякомъ случаѣ, характерно! — замѣтилъ Шанцеръ.

— И вралъ-же онъ, Боже ты мой!—съ лѣнливою усмѣшкою сказалъ Султановъ.—Всего вѣроятно, намѣстникъ обошелъ его самого какимъ-нибудь орденомъ.

— Что много вралъ, это несомнѣнно,—согласился Шанцеръ.—Хотя бы даже ужъ въ этомъ: если въ Харбинѣ задерживаются десятки поѣздовъ, какъ бы мы могли ѣхать такъ аккуратно?

Назавтра проснулись мы, — нашъ поѣздъ стоитъ. Давно стоитъ? Ужъ часа четыре. Стало смѣшно: не-

ужели такъ быстро начинаетъ сбываться предсказаніе пограничника?

Оно сбылось. Опять на каждой станціи, на каждомъ разъѣздѣ пошли безконечныя остановки. Не хватало ни кипятку для людей, ни холодной воды для лошадей, негдѣ было купить хлѣба. Люди голодали, лошади стояли въ душныхъ вагонахъ не поенныя... Когда по маршруту мы должны были быть уже въ Харбинѣ, мы еще не доѣхали до Цицикара.

Говорилъ я съ машинистомъ нашего поѣзда. Онъ объяснилъ наше запозданіе такъ-же, какъ пограничникъ: поѣзда намѣстника загораживаютъ въ Харбинѣ пути, намѣстникъ запретилъ свистѣть по ночамъ паровозамъ, потому что свистки мѣшаютъ ему спать. Машинистъ говорилъ о намѣстникѣ Алексѣевѣ тоже со злобою и насмѣшкою.

— Живетъ онъ въ новомъ вокзалѣ, поближе къ своему поѣзду. Поѣздъ его всегда наготовѣ, чтобъ, въ случаѣ чего, первымъ удрать.

Дни тянулись, мы медленно ползли впередъ. Вечеромъ поѣздъ остановился на разъѣздѣ верстъ за шестьдесятъ отъ Харбина. Но машинистъ утверждалъ, что приѣдемъ мы въ Харбинъ только послѣзавтра. Было тихо. неподвижно покоилась ровная степь, почти пустыня. Въ небѣ стоялъ слегка мутный мѣсяцъ, воздухъ сухо серебрился. Надъ Харбиномъ громоздились темныя тучи, поблескивали зарницы.

И тишина, тишина кругомъ... Въ поѣздѣ спятъ. Кажется, и самъ поѣздъ спитъ въ этомъ тускломъ сумракѣ, и все, все спитъ спокойно и равнодушно. И хочется кому-то сказать: какъ можно спать, когда тамъ тебя ждутъ такъ жадно и страстно!

Ночью я нѣсколько разъ просыпался. Изрѣдка слышалось сквозь сонъ напряженное колыханіе вагона, и опять все затихало. Какъ будто поѣздъ судорожно корчился, старался прорваться впередъ и не могъ.

Назавтра въ полдень мы были еще за сорокъ верстъ отъ Харбина.

Наконецъ пріѣхали въ Харбинъ. Нашъ главный врачъ справился у коменданта, сколько времени мы простои́мъ.

— Не больше двухъ часовъ! Вы безъ пересадки ѣдете прямо въ Мукденъ.

А мы собирались кое-что закупить въ Харбинѣ, справиться о письмахъ и телеграммахъ, съѣздить въ баню... Черезъ два часа намъ сказали, что мы поѣдемъ около двѣнадцати часовъ ночи, потому, — что не раньше шести часовъ утра. Встрѣтили мы адъютанта изъ штаба нашего корпуса. Онъ сообщилъ, что всѣ нути сильно загромождены эшелонами, и мы выѣдемъ не раньше, какъ послѣзавтра.

И почти вездѣ въ дорогѣ коменданты поступали точно такъ-же, какъ въ Харбинѣ. Рѣшительнѣйшимъ и точнѣйшимъ образомъ они опредѣляли самый короткий срокъ до отхода поѣзда, а мы послѣ этого срока стояли на мѣстѣ десятками часовъ и сутками. Какъ будто, за невозможностью проявить хоть какой-нибудь порядокъ на дѣлѣ, имъ нравилось ослѣплять проѣзжихъ строгою, несомнѣваемою въ себѣ сказкою о томъ, что все идетъ, какъ нужно.

Просторный новый вокзалъ блѣдно-зеленаго цвѣта, въ стилѣ модернъ, былъ, дѣйствительно, занятъ намѣстникомъ и его штабомъ. Въ маленькомъ, грязномъ старомъ вокзалѣ стояла толчея. Трудно было пробраться сквозь густую толпу офицеровъ, врачей, инженеровъ, подрядчиковъ. Цѣны на все были бѣшенныя, столъ отвратительный. Мы хотѣли отдать выстирать бѣлье, сходить въ баню, — обратиться за справками было не къ кому. При любомъ научномъ съѣздѣ, гдѣ собирается всего одна-двѣ тысячи людей, обязательно устраивается справочное бюро, дающее пріѣжающему какія-угодно ука-

занія и справки. Здѣсь-же, въ тыловомъ центрѣ полумилліонной арміи, пріѣзжимъ предоставлялось наводить справки у станціонныхъ сторожей, жандармовъ и извозчиковъ.

Поражало отсутствіе элементарной заботливости власти объ этой массѣ людей, заброшенныхъ сюда этою-же властью. Если не ошибаюсь, даже „офицерскіе этапы“, лишенные самыхъ простыхъ удобствъ, всегда переполненные, были учреждены уже много поздиѣе. Въ гостиницахъ за жалкій чуланъ платили въ сутки по 4—5 рублей, и далеко не всегда можно было раздобыть номеръ; по рублю. по два платили за право переночевать въ коридорѣ. Въ Телинѣ находилось главное полевоевоенно-медицинскоеуправленіе. Пріѣзжало много врачей, вызванныхъ изъ запаса „въ распоряженіе полевого военно-медицинскаго инспектора“. Врачи являлись, подавали рапортъ о прибытіи,—и дѣвайся, куда знаешь. Приходилось ночевать на полу въ госпиталяхъ, между койками больныхъ.

Въ Харбинѣ мнѣ пришлось бесѣдовать со многими офицерами разнаго рода оружія. О Куропаткинѣ отзывались хорошо. Онъ импонировалъ. Говорили только, что онъ связанъ по рукамъ и по ногамъ, что у него нѣтъ свободы дѣйствій. Было непонятно, какъ скольконибудь самостоятельный и сильный человѣкъ можетъ позволить связать себя и продолжать руководить дѣломъ. Объ намѣстникѣ всѣ отзывались съ удивительно единодушнымъ негодованіемъ. Ни отъ кого я не слышалъ добраго слова о немъ. Среди неслыханно-тяжкой страды русской арміи онъ заботился лишь объ одномъ,—о собственныхъ удобствахъ. Къ Куропаткину, по общимъ отзывамъ, онъ питалъ сильнѣйшую вражду, во всемъ ставилъ ему препятствія, во всемъ дѣйствовалъ наперекоръ. Эта вражда сказывалась даже въ самыхъ ничтожныхъ мелочахъ. Куропаткинъ ввелъ для лѣта рубашки и кители цвѣта хаки,—намѣстникъ преслѣ-

доваль ихъ и требоваль, чтобъ въ Харбинѣ офицеры ходили въ бѣлыхъ кителяхъ.

Особенно же всѣ возмущались Штакельбергомъ. Рассказывали о его знаменитой коровѣ и спаржѣ, о томъ, какъ въ бою подъ Вафангоу массу раненыхъ пришлось бросить на полѣ сраженія, потому что Штакельбергъ загородилъ своимъ поѣздомъ дорогу санитарнымъ поѣздамъ; двѣ роты солдатъ заняты были въ бою тѣмъ, что непрерывно поливали водою брезентъ, натянутый надъ генеральскимъ поѣздомъ, — въ поѣздѣ находилась супруга барона Штакельберга, и ей было жарко.

— Въ концѣ концовъ, какіе же у насъ тутъ есть талантливые вожди? — спрашиваль я офицеровъ.

— Какіе... Вотъ, Мищенко развѣ.. Да нѣтъ, что онъ! Кавалеристъ по недоразумѣнію... А вотъ, вотъ: Стессель! Говорятъ, львомъ держится въ Артурѣ.

Шли слухи, что готовится новый бой. Въ Харбинѣ стоялъ тяжелый, чадный разгуль; шампанское лилось рѣками, кокотки дѣлали великолѣпныя дѣла. Процентъ выбывавшихъ въ бою офицеровъ былъ такъ великъ, что каждый ждалъ почти вѣрной смерти. И въ дикопиршественномъ размахѣ они прощались съ жизнью.

Черезъ двое сутокъ мы двинулись дальше на югъ.

Кругомъ тянулись тщательно обработанныя поля съ каоляномъ и чумизою. Шла жатва. Вездѣ видѣлись синія фигуры работающихъ китайцевъ. У деревень на перекресткахъ дорогъ сѣрѣли кумирни-часовенки, издали похожія на ульи.

Была вѣроятность, что насъ прямо изъ вагоновъ двинутъ въ бой. Офицеры и солдаты становились серьезнѣе. Всѣ какъ будто подтянулись, проводить дисциплину стало легче. То грозное и зловѣщее, что издали охватывало душу трепетомъ ужаса, теперь сдѣлалось близкимъ, поэтому менѣе ужаснымъ, несущимъ строгое, торжественное настроеніе.

III.

Въ Мукденѣ *).

Приѣхали. Конецъ пути!.. По маршруту мы должны были прибыть въ девять утра, но приѣхали во второмъ часу дня. Поѣздъ нашъ поставили на запасный путь, станціонное начальство стало торопить съ разгрузкой.

Застоявшіяся, исхудалыя лошади выходили изъ вагоновъ, бояливо ступая на шаткія сходни. Команда копошилась на платформахъ, скатывая на рукахъ фуры и двуколки. Разгружались часа три. Мы тѣмъ временемъ пообѣдали на станціи, въ тѣсномъ, людномъ и грязномъ буфетномъ залѣ. Невидано-густыя тучи мухъ шумѣли въ воздухѣ, мухи сыпались въ щи, попадали въ ротъ. На нихъ съ веселымъ щебетаніемъ охотились ласточки, несившіяся вдоль стѣнъ зала.

За оградю перрона наши солдаты складывали на землю мѣшки съ овсомъ; главный врачъ стоялъ около и считалъ мѣшки. Къ нему быстро подошелъ офицеръ, ординарецъ штаба нашей дивизіи.

— Здравствуйте, докторъ!.. Приѣхали?

— Приѣхали. Гдѣ намъ прикажете стать?

— А вотъ я васъ поведу. Для этого и выѣхалъ.

*) Эта глава была уже напечатана въ „Образованіи“ (1906. № 6). Здѣсь она помѣщается въ исправленномъ и дополненномъ видѣ.

Часамъ къ пяти все было выгружено, налажено, лошади впряжены въ повозки, и мы двинулись въ путь. Обѣхали вокзалъ и повернули вправо. Повсюду проходили пѣхотныя колонны, тяжело громыхала артиллерія. Вдали синѣлъ городъ, кругомъ на бивакахъ курились дымки.

Мы проѣхали версты три.

Навстрѣчу, въ сопровожденіи вѣстового, скакалъ смотритель султановскаго госпиталя.

— Господа, назадъ!

— Какъ назадъ? Что за пустяки! Намъ ординарецъ изъ штаба сказалъ,—сюда.

Подѣхали нашъ смотритель и ординарецъ.

— Въ чемъ дѣло?.. Сюда, сюда, господа,—успокоительно произнесъ ординарецъ.

— Мнѣ въ штабѣ старшій адъютантъ сказалъ,—назадъ, къ вокзалу,—возразилъ смотритель султановскаго госпиталя.

— Что за чортъ! Не можетъ быть!

Ординарецъ съ нашимъ смотрителемъ поскакали впередъ, въ штабъ. Наши обозы остановились. Солдаты, не вѣвшие со вчерашняго вечера, угрюмо сидѣли на краю дороги и курили. Дулъ сильный, холодный вѣтеръ.

Смотритель воротился одинъ.

— Да, говорить: назадъ, въ Мукденъ,—сообщилъ онъ.—Тамъ полевой медицинскій инспекторъ укажетъ, гдѣ стать.

— Можетъ быть, опять придется возвращаться. Подождемъ тутъ,—рѣшилъ главный врачъ.—А вы съѣздите къ медицинскому инспектору, спросите, — обратился онъ къ помощнику смотрителя.

Тотъ помчался въ городъ.

— Начинается безтолочь... Что? Я вамъ не говорилъ?—зловѣще произнесъ товарищъ Селюковъ, и онъ какъ будто даже былъ радъ, что его предсказаніе сбывается.

Длинный, тощій и близорукій, онъ сидѣлъ на висоухомъ конѣ, сгорбившись и держа въ воздухѣ поводъ обѣими руками. Смирная животина завидѣла на повозкѣ охапку сѣна и потянулась къ ней. Селюковъ испуганно и неумѣло натянулъ поводья.

— Тпру-у-у!!—угрожающе протянулъ онъ, тараща чрезъ очки близорукіе глаза. Но лошадь все-таки пошла къ повозкѣ, отдернула поводья и стала ѣсть.

Шаяцерь, вѣчно веселый и оживленный, разсмѣялся.

— Смотрю я на васъ, Алексѣй Ивановичъ... Что вы будете дѣлать, когда намъ придется удирать отъ японцевъ?—спросилъ онъ Селюкова.

— Чортъ ее, не слушается почему-то лошадь,—въ недоумѣніи сказалъ Селюковъ. Потомъ его губы, обнажая десны, изогнулись въ сконфуженную улыбку.— Что буду дѣлать! Какъ увижу, что близко японцы,—слѣзу съ лошади и побѣгу, больше ничего.

Солнце садилось, мы все стояли. Вдали, на желѣзно-дорожной вѣткѣ, темнѣлъ роскошный поѣздъ Куропаткина, по платформѣ у вагоновъ расхаживали часовые. Наши солдаты, злые и иззябшіе, сидѣли у дороги и, у кого былъ, жевали хлѣбъ.

Наконецъ, помощникъ смотрителя пріѣхалъ.

— Медицинскій инспекторъ говорить, что ничего не знаетъ.

— А, черти бы ихъ всѣхъ взяли!—сердито выругался главный врачъ.—Пойдемъ назадъ къ вокзалу и станемъ тамъ бивакомъ. Что намъ всю ночь здѣсь въ полѣ мерзнуть?

Обозы двинулись назадъ. Навстрѣчу намъ въ широкой коляскѣ ѣхалъ съ адъютантомъ начальникъ нашей дивизіи. Прищуривъ старческіе глаза, генералъ сквозь очки оглядѣлъ команду.

— Здорово, дѣтки!—весело крикнулъ онъ.

— Здра... жла... ваш... сди...ство!!—гаркнула команда.

Коляска, мягко качаясь на рессорахъ, покатила дальше. Селюковъ вздохнулъ.

— „Дѣтки“... Лучше бы позаботился, чтобы дѣткамъ не мотаться безъ толку цѣлый день.

Вдоль прямой дороги, шедшей отъ вокзала къ городу, тянулись сѣрые каменные зданія казеннаго вида. Передъ ними, по эту сторону дороги, было большое поле. На утопанныхъ бороздахъ валялись сухіе стебли коалына, подъ развѣсистыми ветлами чернѣла вокругъ колодца мокрая, развороченная копытами земля. Нашъ обозъ остановился близъ колодца. Отпрягали лошадей, солдаты разводили костры и кипятили въ котелкахъ воду. Главный врачъ поѣхалъ разузнавать самъ, куда намъ двигаться или что дѣлать.

Темнѣло, было холодно и непріятно. Солдаты разбивали палатки. Селюковъ, — иззябшій, съ краснымъ носомъ и щеками, — неподвижно стоялъ, засунувъ руки въ рукава шинели.

— Эхъ, хорошо бы теперь въ Москвѣ быть, — вздохнулъ онъ. — Напиться бы чайку, поѣхать на „Евгенія Онѣгина“.

Главный врачъ воротился.

— Завтра мы развертываемся, — объявилъ онъ. — Вотъ за дорогою два каменныхъ барака. Сейчасъ тамъ стоятъ госпитали ** дивизіи, завтра они снимаются, а мы становимся на ихъ мѣсто.

И онъ пошелъ къ обозу.

— Что намъ здѣсь дѣлать? Пойдемте, господа, туда, познакомимся съ врачами, — предложилъ Шанцеръ.

Мы пошли къ баракамъ. Въ небольшомъ каменномъ флигелькѣ сидѣло за чаемъ человекъ восемь врачей. Познакомились. Сообщили имъ, между прочимъ, что завтра смѣняемъ ихъ.

У нихъ вытянулись лица.

— Вотъ такъ-такъ!.. А мы только что начали устраиваться, думали, останемся надолго.

— А вы давно здѣсь?

— Какое давно! Всего четыре дня назадъ приняли бараки.

Высокій и плотный врачъ, въ кожаной курткѣ съ погонами, разочарованно свистнулъ.

— Нѣтъ, господа, позвольте, а мы-то теперь какъ же?—спросилъ онъ.—Вы понимаете, при насъ это будетъ ужъ пятая смѣна за мѣсяцъ!

— Вы, товарищъ, развѣ не этого госпиталя?

Онъ поднялъ ладонь и пожалъ плечами.

— Какое тамъ! Это бы счастье было! Мы,—я и вотъ трое товарищей,—мы занимаемъ идеальнѣйше-собачью должность. „Командированные въ распоряженіе полевого военно-медицинскаго инспектора“. Вотъ нами и распоряжаются. Работалъ я въ сводномъ госпиталѣ, въ Харбинѣ, завѣдывалъ палатою въ девяносто коекъ. Вдругъ, съ мѣсяцъ назадъ, получаю отъ полевого медицинскаго инспектора Горбацевича предписаніе,—немедленно ѣхать въ Янтай. Говорить мнѣ: „Возьмите съ собою всего одну смѣну бѣлья, вы ѣдете только на четыре, на пять дней“. Поѣхалъ, приѣзжаю въ Мукденъ,—оказывается, Янтай ужъ отданъ японцамъ. Оставили меня здѣсь, въ Мукденѣ, при этомъ зданіи, тоже вотъ и трехъ товарищей,—и дѣлаемъ мы ввосьмеромъ работу, для которой довольно трехъ-четырехъ врачей. Госпитали каждую недѣлю смѣняются, а мы остаемся; такъ что, можно сказать, прикомандированы къ этому зданію,—засмѣялся онъ.

— Но что же вы, заявляли о вашемъ положеніи?

— Конечно, заявляли. И инспектору госпиталей, и Горбацевичу. „Вы здѣсь нужны, подождите!“ А у меня одна смѣна бѣлья; вотъ кожаная куртка, и даже шинели нѣтъ: мѣсяцъ назадъ какія жары стояли! А теперь по ночамъ морозъ! Просился у Горбацевича хоть сѣздить въ Харбинъ за своими вещами, напоминалъ ему, что изъ-за него же сижу здѣсь раздѣтый. „Нѣтъ,

нѣтъ, нелзя! Вы здѣсь нужны!“ Заставилъ бы я его самого пощеголять въ одной курткѣ!

Ночь мы промерзли въ палаткахъ. Дулъ сильный вѣтеръ, изъ-подъ полотнищъ несло холодомъ и пылью. Утромъ напились чаю и пошли къ баракамъ.

Возлѣ бараконъ ужъ расхаживали, въ сопровожденіи главныхъ врачей, два генерала; одинъ, военный, былъ начальникъ санитарной части Ѳ. Ѳ. Треповъ, другой генераль, врачъ,—полевой военно-медицинскій инспекторъ Горбачевъ.

— Чтобъ сегодня же оба госпиталя были сданы, слышите?—властно и настойчиво сказалъ военный генераль.

— Слушаю-съ, ваше превосходительство!

Я вошелъ въ баракъ. Въ немъ все стояло вверхъ дномъ. Госпитальные солдаты увязывали вещи въ тюки и выносили ихъ къ повозкамъ, отъ бивака подѣзжалъ нашъ обозъ.

— А вы теперь куда? — спросилъ я врачей, которыхъ мы смѣняли.

— Гдѣ-то за городомъ, въ трехъ верстахъ, приказано стать въ фанзахъ.

Огромный каменный баракъ съ большими окнами былъ густо уставленъ деревянными койками, и на всѣхъ лежали больные солдаты. И вотъ при такомъ-то положеніи дѣла происходила смѣна. И какая смѣна! Смѣна *всего*, кромѣ стѣнъ, коекъ и... больныхъ! Съ больныхъ снимали бѣлье, изъ-подъ нихъ вытаскивали матрацы; сняли со стѣнъ рукомойники, забрали полотенца, всю посуду, ложки. Мы одновременно доставали свои мѣшки для матрацовъ, но набить ихъ было нечѣмъ. Послали помощника смотрителя купить чумизной соломы, а больные остались пока лежать на голыхъ доскахъ. Обѣдъ для больныхъ варился,—этотъ обѣдъ мы *кутили* у уходящаго госпиталя.

Вошелъ одинъ изъ врачей, „прикомандированныхъ къ зданію“, и озабоченно сказалъ:

— Господа, вы торопите съ обѣдомъ, къ часу эвакуируемые больные должны быть на вокзалѣ.

— Скажите, въ чемъ тутъ вообще будетъ заключаться наше дѣло?

— Видите, съ позицій и изъ окрестныхъ частей сюда направляютъ больныхъ и раненыхъ, вы ихъ осматриваете. Очень легкихъ, которые выздоравливаютъ въ одинъ-два дня, оставляете, а остальныхъ эвакуируете на санитарные поѣзда вотъ съ такими билетиками. Тутъ имя, званіе больного, діагнозъ... Да, господа, самое важное!—спохватился онъ, и его глаза юмористически засмѣялись. — Предупреждаю васъ, начальство терпѣть не можетъ, когда врачи ставятъ діагнозы „легкомысленно“. По своему легкомыслію вы, навѣрное, большинству больныхъ будете ставить діагнозы „дизентерія“ и „брюшной тифъ“. Имѣйте въ виду, что „санитарное состояніе арміи великолѣпно“, что дизентеріи у насъ совсѣмъ нѣтъ, а есть „энтероколитъ“; брюшной тифъ возможенъ, какъ исключеніе, а вообще все—„инфлуэнца“.

— Хорошая это болѣзнь—инфлуэнца,—весело засмѣялся Шанцеръ. — Памятникъ бы нужно поставить тому, кто ее изобрѣлъ!

— Спасительная болѣзнь... Вначалѣ совѣстно было передъ врачами санитарныхъ поѣздовъ; ну, потомъ мы имъ объяснили, чтобы они всерьезъ нашихъ діагнозовъ не принимали, что брюшной тифъ мы распознать умѣемъ, а только...

Пришли другіе прикомандированные врачи. Было половина перваго.

— Что жъ вы, господа, не собираете больныхъ для эвакуаціи? Къ часу они обязательно должны быть на вокзалѣ.

— Запоздали съ обѣдомъ. Когда поѣздъ уходитъ?

— Уходить-то онъ въ шесть вечера, а только Треповъ сердится, если опоздають хоть на четверть часа... Скорѣй, скорѣй, ребята, кончай обѣдь! Кто пѣшкомъ на вокзалъ назначенъ, собирайся къ выходу!

Больные жадно доѣдали обѣдь, а врачъ усиленно торопилъ ихъ. Наши солдаты выносили на носилкахъ слабыхъ больныхъ.

Наконецъ, эвакуируемая партія была отправлена. Привезли солому, начали набивать матрацы. Въ двери постоянно ходили, окна плохо закрывались; по огромной палатѣ носился холодный сквознякъ. На койкахъ безъ матрацовъ лежали худые, изможденные солдаты и кутались въ шинели.

Изъ угла съ злобною, сосредоточенною ненавистью на меня смотрѣли изъ-подъ шинели черные, блестящіе глаза. Я подошелъ. На койкѣ у стѣны лежалъ солдатъ съ черною бородою и глубоко ввалившимися щеками.

— Тебѣ нужно что-нибудь?—спросилъ я.

— Часъ цѣлый прошу воды попить!—ожесточенно отвѣтилъ онъ.

Я сказалъ проходившей сестрѣ милосердія. Она развела руками.

— Онъ ужъ давно просить. Я и главному врачу говорила, и смотрителю. Сырой воды нельзя давать,—кругомъ дизентерія, а кипяченой нѣту. Въ кухнѣ были вмазаны котлы, но они принадлежали тому госпиталю, онъ ихъ вынулъ и увезъ. А у насъ еще не купили.

Въ пріемную прибывали все новыя партіи больныхъ. Солдаты были изможденные, оборванные, во вшахъ: нѣкоторые заявляли, что не ѣли нѣсколько дней. Шла непрерывная толчея, некогда и негдѣ было присѣсть.

Пообѣдалъ я на вокзалѣ. Воротился, прохожу черезъ пріемную мимо перевязочной. Тамъ лежитъ на носилкахъ охающій солдатъ-артиллеристъ. Одна нога

въ сапогѣ, другая—въ шерстяномъ чулкѣ, налитанномъ черною кровью; разрѣзанный сапогъ лежитъ рядомъ.

— Ваше благородіе, явите милость, перевяжите!.. Полчаса здѣсь лежу.

— А что съ тобою?

— Ногу переѣхало заряднымъ ящикомъ, какъ разѣ на камнѣ.

Вошелъ нашъ старшій ординаторъ Гречихинъ съ сестрою милосердія, которая несла перевязочные матеріалы. Онъ былъ невысокій и полный, съ медленною, добродушною улыбкою, и военная тужурка странно сидѣла на его сутулой фигурѣ земскаго врача.

— Вотъ, придется пока хоть такъ перевязать, — вполголоса обратился онъ ко мнѣ, беспомощно пожавъ плечами. — Обмытъ нечѣмъ: аптекарь не можетъ приготовить раствора сулемы, — воды нѣтъ кипяченой... Чортъ знаетъ, что такое!..

Я вышелъ. Навстрѣчу мнѣ шли два прикомандированныхъ врача.

— Сегодня вы дежурите? — спросилъ меня одинъ.

— Я.

Онъ, поднявъ брови, съ улыбкою оглядѣлъ меня и покачалъ головою.

— Ну, смотрите! Налетите на Трепова, можетъ выйти неприятность. Какъ же это вы безъ пашки?

Что такое? Безъ пашки? Ребяческимъ шутовствомъ пахнуло отъ вопроса о какой-то пашкѣ среди этой всеобщей безтолочи и неурядицы.

— А какъ-же! Вы находитесь при исполненіи обязанностей, должны быть при пашкѣ.

— Ну, нѣтъ, онъ теперь этого ужъ не требуетъ, — примирительно замѣтилъ другой. — Понялъ, что врачу пашка мѣшаетъ при перевязкахъ.

— Не знаю... Меня онъ пригрозилъ посадить подъ арестъ за то, что я былъ безъ пашки.

А кругомъ шло все то же. Приходили сестры, заявляли, что нѣтъ мыла, нѣтъ подкладныхъ суденъ для слабыхъ больныхъ.

— Такъ скажите же смотрителю.

— Говорили нѣсколько разъ. Но вѣдь вы знаете, какой онъ. „Спросите у аптекаря, а если у него нѣтъ,— у каптенармуса“. Аптекарь говоритъ, — у него нѣту, каптенармусъ—то же.

Отыскалъ я смотрителя. Онъ стоялъ у входа въ бакъ съ главнымъ врачомъ. Главный врачъ только что воротился откуда-то и съ оживленнымъ, довольнымъ лицомъ говорилъ смотрителю:

— Сейчасъ узнавалъ, — справочная цѣна здѣсь на овесъ—1 р. 85 к.!

Увидѣвъ меня, главный врачъ замолчалъ. Но мы всѣ давно ужъ знали его исторію съ овсомъ. По дорогѣ, въ Сибири, онъ купилъ около тысячи пудовъ овса по сорокъ пять копеекъ, привезъ ихъ въ своемъ эшелонѣ сюда и теперь собирался помѣтить этотъ овесъ купленнымъ для госпиталя здѣсь, въ Мукденѣ. Такимъ образомъ онъ сразу наживалъ больше тысячи рублей.

Я сказалъ смотрителю о мылѣ и объ остальномъ.

— Я не знаю, спросите у аптекаря,—отвѣтилъ онъ равнодушно и даже какъ будто удивляясь.

— У аптекаря нѣтъ, это должно быть у васъ.

— Нѣтъ, у меня нѣту.

— Слушайте, Аркадіи Николаевичъ, я не разъ убѣждался, — аптекарь прекрасно знаетъ все, что у него есть, а вы о своемъ ничего не знаете.

Смотритель вспыхнулъ и заволновался.

— Можетъ быть!.. Но, господа, я не могу! Откровенно сознаюсь,—не могу и не знаю!

— Какъ же это узнать?

— Нужно пересмотрѣть всѣ укладочныя книжки, найти, въ какой повозкѣ что лежитъ... Идите, просмотрите, если угодно!

Я взглянулъ на главнаго врача. Онъ притворился, что не слышитъ нашего разговора.

— Григорій Яковлевичъ! Скажите, пожалуйста, чье это дѣло?—обратился я къ нему.

Главный врачъ забѣгалъ глазами.

— Въ чемъ дѣло?.. Конечно, у врача своей работы много. Вы, Аркадій Николаевичъ, пойдите тамъ, распорядитесь.

Вечерѣло. Сестры, въ бѣлыхъ фартукахъ съ красными крестами, раздавали больнымъ чай. Онѣ заботливо подкладывали имъ хлѣба, мягко и любовно поили слабыхъ. И казалось, эти славныя дѣвушки—совсѣмъ не тѣ скучныя, неинтересныя сестры, какими онѣ были въ дорогѣ.

— В. В-чъ, вы одного сейчасъ черкеса приняли?—спросила меня сестра.

— Одного.

— А съ нимъ легъ его товарищъ и не уходитъ.

На койкѣ лежали рядомъ два дагестанца. Одинъ изъ нихъ, втянувъ голову въ плечи, черными, горящими глазами смотрѣлъ на меня.

— Ты боленъ?—спросилъ я его.

— Нѣ болѣнъ!—вызывающе отвѣтилъ онъ, сверкнувъ бѣлками.

— Тогда тебѣ нельзя тутъ лежать, уходи.

— Нѣ пойду!

Я пожалъ плечами.

— Чего это онъ? Ну, пускай пока полежитъ... Ложись на эту койку, пока она не занята, а тутъ ты мѣшаешь своему товарищу.

Сестра подала ему кружку съ чаемъ и большой ломоть бѣлаго хлѣба. Дагестанецъ совершенно растерялся и неувѣренно протянулъ руку. Онъ жадно выпилъ чай, до послѣдней крошки съѣлъ хлѣбъ. Потомъ вдругъ всталъ и низко поклонился сестрѣ.

— Спасибо тебѣ, сестрыца! Два дня нычево не ѣлъ!

Накинулъ на плечи свой алый башлыкъ и ушелъ. Кончился день. Въ огромномъ темномъ баракѣ тускло свѣтилось нѣсколько фонарей, отъ плохо заправшихся огромныхъ оконъ тянуло холоднымъ сквознякомъ. Больные солдаты спали, закутавшись въ шинели. Въ углу барака, гдѣ лежали больные офицеры, горѣли у изголовій свѣчки; одни офицеры лежа читали, другіе разговаривали и играли въ карты.

Въ боковой комнатѣ наши пили чай. Я сказалъ главному врачу, что необходимо исправить въ баракѣ незакрывающіяся окна. Онъ засмѣялся.

— А вы думаете, это такъ легко сдѣлать? Эхъ, не военный вы человѣкъ! У насъ нѣтъ суммъ на ремонтъ помѣщеній, намъ полагаются шатры. Можно было бы, взять изъ экономическихъ суммъ, но ихъ у насъ нѣтъ, госпиталь только что сформированъ. Надо подавать рапортъ по начальству о разрѣшеніи ассигновки...

И онъ сталъ рассказывать о волокитѣ, съ какою связано всякое требованіе денегъ, о постоянно висящей грозѣ „начетовъ“; сообщалъ прямо невѣроятные по своей нелѣпости случаи, но здѣсь всему приходилось вѣрить...

Въ одиннадцатомъ часу ночи въ баракъ зашелъ командиръ нашего корпуса. Весь вечеръ онъ просидѣлъ въ султановскомъ госпиталѣ, который развернулся въ сосѣднемъ баракѣ. Видимо, корпусный считъ нужнымъ для приличія заглянуть кстати и въ нашъ баракъ.

Генералъ прошелся по бараку, останавливался передъ не спящими больными и равнодушно спрашивалъ: „чѣмъ боленъ?“ Главный врачъ и смотритель почтиительно слѣдовали за нимъ. Уходя, генералъ сказалъ:

— Очень холодно въ баракѣ и сквознякъ.

— Ни двери, ни окна плотно не закрываются, ваше высокопревосходительство!—отвѣтилъ главный врачъ.

— Велите исправить.

— Слушаю-съ, ваше высокопревосходительство!

Когда генераль ушелъ, главный врачъ разсмѣялся.

— А если начеть сдѣлають, онъ, что ли, будетъ за меня платить?

Слѣдующіе дни была все та же неурядица. Дизентерии ходили подъ себя, пачкали матрацы, а приспособленій для стирки не было. Шаговъ за пятьдесятъ отъ барака стояло четыре отхожихъ мѣста, они обслуживали всѣ окрестныя зданія, въ томъ числѣ и наше. (До Ляоянскаго боя оно служило, кажется, казармою для пограничниковъ). Внутри отхожихъ мѣстъ была грязь, стульчаки сплошь были загажены кровавою слизью дизентериковъ, а сюда ходили и больные, и здоровые. Никто этихъ отхожихъ мѣстъ не чистилъ: они обслуживали всѣ окружающія зданія, и завѣдующіе никакъ не могли столковаться, кто ихъ обязанъ чистить.

Прибывали новые больные, прежнихъ мы эвакуировали на санитарные поѣзда. Много являлось офицеровъ; жалобы большинства были странны и неопредѣленны, объективныхъ симптомовъ установить не удавалось. Въ баракъ они держались весело, и никто бы не подумалъ, что это больные. И всѣ настойчиво просили эвакуировать ихъ въ Харбинъ. Ходили слухи, что надняхъ предстоитъ новый бой, и становилось понятнымъ, чѣмъ именно болѣны эти войны. И еще болѣе это становилось понятнымъ, когда они много и скромно начинали рассказывать намъ и другъ другу о своихъ подвигахъ въ минувшихъ бояхъ.

А рядомъ—совсѣмъ противоположное. Пришелъ одинъ сотникъ уссуриецъ, молодой, загорѣлый красавецъ съ черными усиками. У него была сильная дизентерія, нужно было его эвакуировать.

— Ни за что!.. Нѣтъ, докторъ, вы ужъ, пожалуйста, какъ-нибудь подправьте меня здѣсь.

— Здѣсь неудобно,—ни діѣты нельзя провести подходящей, и помѣщеніе неважное.

— Ну, ужъ я какъ-нибудь. А то скоро бой, товарищи идутъ въ дѣло, а я вдругъ уйду... Нѣтъ, лучше я ужъ здѣсь.

Быль вечеръ. Въ баракъ быстро вошелъ сухощавый генераль съ рыжею бородкою. Дежурилъ докторъ Селюковъ; пуча близорукіе глаза въ очкахъ, онъ медленно расхаживалъ по бараку своими журавлиными ногами.

— Сколько у васъ больныхъ?—сухо и рѣзко спросилъ его генераль.

— Сейчасъ около девяноста.

Генераль молча оглядѣлъ его съ ногъ до головы.

— Скажите, вы не знаете, что разъ я здѣсь безъ фуражки, то вы не смѣете быть въ ней?

— Не зналъ... Я изъ запаса.

— Ахъ, вы изъ запаса! Вотъ я засажу васъ на недѣлю подъ арестъ, тогда не будете изъ запаса! Вы знаете, кто я?

— Нѣтъ.

— Я инспекторъ госпиталей. Гдѣ вашъ главный врачъ?

— Онъ уѣхалъ въ городъ.

— Ну, такъ старшій ординаторъ, что ли... Кто тутъ его замѣняетъ?

Сестры побѣждали за Гречихинымъ и шепнули ему, чтобъ онъ снялъ фуражку. Къ генералу подлетѣлъ одинъ изъ прикомандированныхъ и, вытянувшись въ струнку, отпортовалъ:

— Ваше превосходительство! Въ ** полевомъ подвижномъ госпиталѣ состоитъ 98 больныхъ, изъ нихъ 14 офицеровъ, 84 нижнихъ чина!..

Генераль удовлетворенно кивнулъ головою и обратился къ подходившему Гречихину:

— Что у васъ тутъ за безобразіе! Больные лежатъ въ шапкахъ, сами врачи въ шапкахъ разгуливаютъ... Не видите, что тутъ иконы?

Гречихинъ оглядѣлся и кротко возразилъ:

— Иконъ нѣтъ.

— Какъ нѣтъ?— возмутился генераль.— Почему пѣтъ? Что это за безпорядокъ!.. И вы тоже, подполковникъ!— обратился онъ къ одному изъ больныхъ офицеровъ.— Вы должны бы показывать примѣръ солдатамъ, а сами тоже лежите въ фуражкѣ!.. Почему ружья и мѣшки солдатъ при нихъ?— снова накинулся онъ на Гречихина.

— Нѣтъ цейхгауза.

— Это безпорядокъ!.. Вещи вездѣ навалены, винтовки,—не госпиталь, а толкучка какая-то!..

Генераль шелъ дальше, сопровождаемый врачами, и гнѣвныя, безтолково-распекающія рѣчи сыпались непрерывно.

При выходѣ онъ встрѣтился съ входившимъ къ намъ корпуснымъ командиромъ.

— Завтра я беру у васъ оба мои госпиталя,—сообщилъ корпусный, здороваясь съ нимъ.

— Какъ же, ваше высокопревосходительство, мы здѣсь останемся безъ нихъ?—совсѣмъ новымъ, скромнымъ и мягкимъ голосомъ возразилъ инспекторъ: онъ былъ только генераль-майоръ, а корпусный — полный генераль.

— Я ужъ не знаю. Но полевые госпитали должны быть съ нами, а мы завтра уходимъ на позиціи.

Послѣ долгихъ переговоровъ корпусный согласился дать инспектору подвижные госпитали другой своей дивизіи, которые должны были пріѣхать въ Мукденъ завтра.

Генералы ушли. Мы стояли, возмущенные: какъ все было безтолково и нелѣпо, какъ все направлялось не туда, куда нужно! Въ важномъ, серьезномъ дѣлѣ помощи больнымъ какъ будто намѣренно отбрасывалась суть дѣла, и все вниманіе обращалось на выдержанность и стильность бутафорской обстановки... Прикомандированные, глядя на насъ, посмѣивались.

— Странные вы люди! Вѣдь на то и начальство, чтобъ кричать. Что же ему безъ этого дѣлать, въ чемъ другомъ проявлять свою дѣятельность?

— Въ чемъ? Чтобъ больные не мерзли подъ сквознякомъ, чтобъ не было того, что позавчера творилось здѣсь цѣлый день.

— Вы слышали? Завтра будетъ то же самое!—вздыхнулъ прикомандированный.

Пришли два врача изъ султановскаго госпиталя. Одинъ былъ сконфуженъ и золъ, другой посмѣивался. Оказывается, и тамъ инспекторъ распеку всѣхъ, и тамъ пригрозилъ дежурному врачу арестомъ. Дежурный сталъ ему рапортовать: „Имѣю честь сообщить вашему превосходительству...“—Что?! Какое вы мнѣ имѣете право сообщать? Вы мнѣ должны рапортовать, а не „сообщать“! Я васъ на недѣлю подъ арестъ!

Налетѣвшій на наши госпитали инспекторъ госпиталей былъ генералъ-маіоръ Езерскій. До войны онъ служилъ при московскомъ интендантствѣ, а раньше былъ... иркутскимъ полиціймейстеромъ! Въ той мрачной, трагической юмористикѣ, которою насквозь была пропитана минувшая война, чернымъ брилліантомъ сіялъ составъ высшаго медицинскаго управленія арміи. Мнѣ много еще придется говорить о немъ, теперь же отмѣчу только: главное руководство всѣмъ санитарнымъ дѣломъ въ нашей огромной арміи принадлежало бывшему губернатору, — человѣку, совершенно невѣжественному въ медицинѣ и нарѣдкость нераспорядительному; инспекторомъ госпиталей былъ бывший полиціймейстеръ, — и что удивительнаго, если врачебныя учрежденія онъ инспектировалъ такъ же, какъ, вѣроятно, раньше „инспектировалъ“ улицы и трактиры города Иркутска?

Назавтра утромъ сижу у себя, слышу снаружи высокомѣрный голосъ:

— Послушайте, вы! Передайте вашему смотрителю,

чтобы передъ госпиталемъ были вывѣшены флаги. Сегодня прѣзжаетъ намѣстникъ.

Мимо оконъ суетливо промелькнуло генеральское пальто съ красными отворотами. Я высунулся изъ окна: къ сосѣднему барaku взволнованно шель медицинскій инспекторъ Горбацевичъ. Селюковъ стоялъ у крыльца и растерянно оглядывался.

— Это онъ къ вамъ такъ обращался? — удивился я.

— Ко мнѣ... Чортъ ее, такъ былъ пораженъ, даже не нашелся, что отвѣтить.

Селюковъ хмуро пошелъ къ пріемной.

Вокругъ барака закипѣла работа. Солдаты мели улицу передъ зданіемъ, посыпали ее пескомъ, у подъѣзда водружали шесть съ флагами краснаго креста и національнымъ. Смотритель находился здѣсь, онъ былъ теперь дѣятеленъ, энергиченъ, и отлично зналъ, гдѣ что достать.

Въ комнату вошелъ Селюковъ и сѣлъ на свою кровать.

— Ну, и начальства же тутъ, — какъ нерѣзанныхъ собакъ! Чуть выйдешь, сейчасъ налетишь на кого-нибудь... И не различишь ихъ. Вхожу въ пріемную, вижу, какой-то фертъ стоитъ въ красныхъ лампасахъ, я было хотѣлъ къ нему съ рапортомъ, смотрю, — онъ передо мною вытягивается, честь отдаетъ... Казакъ, что-ли, какой-то...

Онъ тяжело вздохнулъ.

— Нѣтъ, я лучше ужъ согласенъ мерзнуть въ палаткахъ. А тутъ, видно, начальства больше, чѣмъ насъ.

Вошелъ Шавцеръ, немножко сконфуженный, задумчивый. Онъ былъ сегодня дежурнымъ.

— Не знаю, какъ поступить... Я велѣлъ убрать съ коекъ два матраца, — совсѣмъ загажены, на нихъ лежали дизентерики. Пришелъ главный врачъ: „Оставить, не смѣнять! Другихъ матрацовъ нѣтъ“. Я ему говорю: все равно, пусть новый больной ужъ лучше ляжетъ

на доски; придетъ, можетъ быть, просто истомленный голодомъ и усталостью, а у насъ заразится дизентеріей. Главный врачъ отвернулся отъ меня, обращается къ палатнымъ служителямъ: „Не смѣть матрацовъ смѣнять, поняли?“—и ушелъ... Боится,—прѣдетъ намѣстникъ, вдругъ увидитъ, что двое больныхъ лежатъ безъ матрацовъ.

А вокругъ барака и въ баракѣ все шла усиленная чистка. Мерзко было въ душѣ. Вышелъ я наружу, пошелъ въ поле. Вдали сѣрѣлъ нашъ баракъ,—чистенькій, принарядившійся, съ развѣвающимися флагами; а внутри—дрожащіе подъ сквознякомъ больные, загрязненные, пропитанные заразою матрацы... Скверная, на-румяненная мѣщанка въ нарядномъ платьѣ и въ грязномъ, вонючемъ бѣльѣ.

Второй день у насъ не было эвакуаціи, такъ какъ санитарные поѣзда не ходили. Намѣстникъ ѣхалъ изъ Харбина, какъ царь, больше, чѣмъ какъ царь: все движеніе на желѣзной дорогѣ было для него остановлено; стояли санитарные поѣзда съ больными, стояли поѣзда съ войсками и снарядами, спѣшившіе на югъ къ предстоявшему бою. Больные прибывали къ намъ безъ конца; заняты были всѣ койки, всѣ носилки, не хватило и носилокъ; больныхъ стали класть на полъ.

Вечеромъ привезли съ позицій 15 раненыхъ дагестанцевъ. Это были первые раненые, которыхъ мы принимали. Въ буркахъ и алыхъ башлыкахъ, они сидѣли и лежали съ смотрящими исподлобья черными, горящими глазами. И среди наполнявшихъ пріемную больныхъ солдатъ,—сѣрыхъ, скучныхъ и унылыхъ,—яркимъ, тянущимъ къ себѣ пятномъ выдѣлялась эта кучка окровавленныхъ людей, обвѣянныхъ воздухомъ боя и опасности.

Привезли и ихъ офицера, сотника, раненаго въ руку. Оживленный, съ нервно-блестящими глазами, сотникъ рассказывалъ, какъ они приняли японцевъ за своихъ,

подѣхали близко и попали подѣ пулеметы, потеряли семнадцать людей и тридцать лошадей. „Но мы имѣ за это тоже лихо отплатили!“—прибавилъ онѣ съ гордою усмѣшкою.

Всѣ толпились вокругъ и разспрашивали,—врачи, сестры, больные офицеры. Разспрашивали любовно, съ жаднымъ интересомъ, и опять всѣ кругомъ, всѣ эти *больные*, казались такими тусклыми рядомъ съ нимъ, окруженнымъ ореоломъ борьбы и опасности. И вдругъ мнѣ сталъ понятенъ красавецъ-уссуриецъ, такъ упорно не хотѣвшій уѣзжать съ дизентеріей.

Пришелъ отъ намѣстника адъютантъ справиться о здоровьѣ раненаго. Пришли изъ госпиталя Краснаго Креста и усиленно стали предлагать офицеру перейти къ нимъ. Офицеръ согласился, и его унесли отъ насъ въ Красный Крестъ, который все время брезгливо отказывалъ намъ въ пріемъ *больныхъ*.

Больные... Въ арміи больные—это паріи. Такъ же они несли тяжелую службу, такъ же пострадали, — можетъ быть, гораздо тяжелѣе и непоправимѣе, чѣмъ иной раненый. Но всѣ относятся къ нимъ пренебрежительно и даже какъ будто свысока: они такіе неинтересные, закулисные, такъ мало подходятъ къ яркимъ декораціямъ войны. Когда госпиталь полонъ ранеными, высшее начальство очень усердно посѣщаетъ его; когда въ госпиталѣ больные, оно почти совсѣмъ не заглядываетъ. Санитарные поѣзда, принадлежащіе не военному вѣдомству, всѣми силами отбояриваются отъ больныхъ; нерѣдко бывали случаи,—стоитъ такой поѣздъ недѣлю, другую и все ждетъ раненныхъ; раненныхъ нѣтъ, и онѣ стоитъ, занимая путь; а принять больныхъ, хотя бы даже незаразныхъ, упорно отказывается.

Рядомъ съ нами, въ сосѣднемъ баракѣ, работалъ султановскій госпиталь. Старшею сестрою Султановъ

назначилъ свою племянницу, Новицкую. Врачамъ онъ сказалъ:

— Вы, господа, Аглаю Алексѣевну не назначайте на дежурство. Пусть дежурятъ три младшія сестры.

Работы сестрамъ было очень много: съ утра до вечера онѣ возились съ больными. Новицкая лишь изрѣдка появлялась въ баракѣ; изящная, хрупкая, она безучастно проходила по палатамъ и возвращалась назадъ въ комнату Султанова, гдѣ сидѣла съ утра до ночи.

Зинаида Аркадьевна сначала очень рьяно взялась за дѣло. Щеголяя краснымъ крестомъ и бѣлизною своего фартука, она обходила больныхъ, поила ихъ чаемъ, оправляла подушки. Но скоро остыла. Какъ-то вечеромъ зашелъ я къ нимъ въ баракъ. Зинаида Аркадьевна сидѣла на табуреткѣ у стола, уронивъ руки на колѣни, и красиво-усталымъ голосомъ говорила:

— Измаялась я!... Весь-то день на ногахъ!... А температура у меня повышенная, сейчасъ мѣрила—тридцать восемь. Боюсь, не тифъ-ли начинается... А я сегодня дежурная. Старшій ординаторъ рѣшительно запретилъ мнѣ дежурить, такой строгій! Придется за меня подежурить бѣдненькой Настасьѣ Петровнѣ.

Настасья Петровна была четвертая сестра ихъ госпиталя, смиренная и простая дѣвушка, взятая изъ общины Краснаго Креста. Она осталась дежурить, а Зинаида Аркадьевна поѣхала съ Султановымъ и Новицкою на ужинъ къ корпусному командиру.

Красавица-русалка Вѣра Николаевна работала молодцомъ. Вся работа по госпиталю легла на нее и на смиренную Настасью Петровну. Больные офицеры удивлялись, почему въ этомъ госпиталѣ всего двѣ сестры. Вскорѣ Вѣра Николаевна захворала, нѣсколько дней перемогалась, но наконецъ слегла съ температурою въ 40°. Осталась работать одна Настасья Петровна. Она было запротестовала и заявила старшему ординатору, что не въ силахъ одна справляться. Старшій ордина-

торъ былъ тотъ самый д-ръ Васильевъ, который еще въ Россіи чуть не засадилъ подъ арестъ офицера-смотрителя, и который надняхъ такъ „строго“ запретилъ дежурить Зинаидѣ Аркадьевнѣ. На Настасью Петровну опъ раскричался, какъ на горничную, и сказалъ ей, что если она хочетъ бить баклуши, то незачѣмъ было сюда ѣхать.

Въ нашемъ госпиталѣ къ четыремъ штатнымъ сестрамъ прибавилось еще двѣ сверхштатныхъ. Одна была жена офицера нашей дивизіи. Она сѣла въ нашъ эшелонъ въ Харбинѣ, все время плакала, была полна горемъ и думами о своемъ мужѣ. Другая работала въ одномъ изъ тыловыхъ госпиталей и перевелась къ намъ, узнавъ, что мы идемъ на передовыя позиціи. Ее тянуло побывать подъ огнемъ, для этого она отказалась отъ жалованія, перешла въ сверхштатныя сестры, хлопотала долго и настойчиво, пока не добилась своего. Была она широкоплечая дѣвушка лѣтъ двадцати пяти, стриженная, съ низкимъ голосомъ, съ большимъ мужскимъ шагомъ. Когда она шла, сѣрая юбка некрасиво и чуждо трепалась вокругъ ея сильныхъ, широко шагающихъ ногъ.

Изъ штаба нашего корпуса пришелъ приказъ: обоимъ госпиталямъ немедленно свернуться и завтра утромъ идти въ деревню Сахотаза, гдѣ ждать дальнѣйшихъ приказаній. А какъ же быть съ больными, на кого ихъ бросить? На смѣну намъ должны были прійти госпитали другой дивизіи нашего корпуса, но поѣздъ намѣсника остановилъ на желѣзной дорогѣ все движеніе, и было неизвѣстно, когда они придутъ. А намъ приказано завтра уходить!..

Опять все въ баракѣ стало вверхъ дномъ. Снимали умывальники, упаковывали аптеку; собирались выламывать въ кухнѣ котлы.

— Позвольте, какъ же это?—удивился Гречихинъ.— Мы не можемъ бросить больныхъ на произволъ судьбы.

— Я долженъ исполнить приказаніе своего непосредственнаго начальства,—возразилъ главный врачъ, глядя въ сторону.

— Обязательно! Какой тутъ даже можетъ быть разговоръ!—пылко вмѣшался смотритель.—Мы приданы къ дивизіи, всѣ учрежденія дивизіи уже ушли. Какъ мы смѣемъ не исполнить приказанія корпуснаго командира? Онь нашъ главный начальникъ.

— А больныхъ такъ прямо и бросить?

— Мы за это не отвѣчаемъ. Это дѣло здѣшняго начальства. У насъ вотъ приказъ, и въ немъ ясно сказано, что завтра утромъ мы должны выступить.

— Ну, какъ бы тамъ ни было, а мы больныхъ здѣсь не бросимъ,—заявили мы.

Главный врачъ долго колебался, но, наконецъ, рѣшилъ остаться и ждать прихода госпиталей; къ тому же, Езерскій рѣшительно заявилъ, что не выпуститъ насъ, пока насъ кто-нибудь не смѣнитъ.

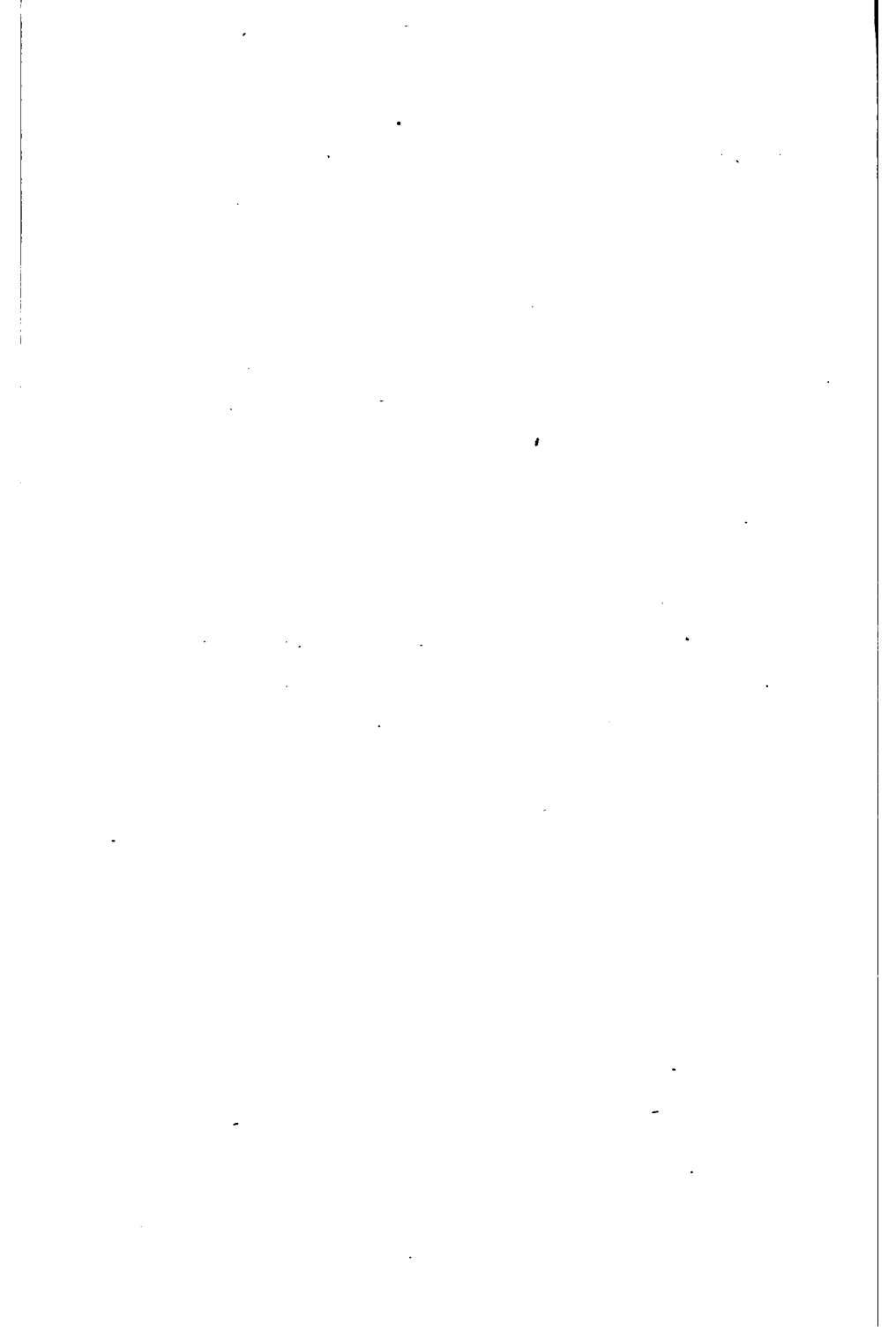
Возникалъ вопросъ: для чего опять пойдетъ вся эта ломка, выламываніе котловъ, вытаскиваніе матрацовъ изъ-подъ больныхъ? Разъ нашъ корпусъ можетъ обойтись двумя госпиталями вмѣсто четырехъ, то развѣ не проще намъ остаться здѣсь, а прибывающимъ госпиталямъ прямо идти съ корпусомъ на югъ? Но всѣ понимали, что этого сдѣлать невозможно: въ сосѣднемъ госпиталѣ былъ докторъ Султановъ, была сестра Новицкая; съ ними нашъ корпусный командиръ вовсе не желалъ разставаться; пусть ужъ лучше больная „святая скотинка“ поваливается сутки на голыхъ доскахъ, не пивши, безъ врачебной помощи.

Но вотъ чего совершенно невозможно было понять: уже въ теченіе мѣсяца Мукденъ былъ центромъ всей нашей арміи; госпиталями и врачами армія была снабжена даже въ чрезмѣрномъ изобиліи; и тѣмъ не менѣе санитарное начальство никакъ не умѣло или не хотѣло устроить въ Мукденѣ постоянного госпиталя; оно до-

вольствовалося тѣмъ, что хватало за полы проѣзжіе госпитали и водворяло ихъ въ свои бараки впродъ до случайнаго появленія въ его кругозоръ новыхъ госпиталей. Неужели же все это нельзя было устроить иначе?

Черезъ двое сутокъ пришли въ Мукденъ ожидаемые госпитали, мы сдали имъ бараки, а сами двинулись на югъ. На душѣ было странно и смутно. Передъ нами работала огромная, сложная машина; въ ней открылась щелочка, мы заглянули въ нее и увидѣли: колесики, валики, шестерни, все дѣятельно и сердито вертится, суетится, но—другъ за друга не цѣпляется, а вертится безъ толку и безъ цѣли. Что это—случайная порча механизма въ томъ мѣстѣ, гдѣ мы въ него заглянули, или... или и вся эта громоздкая машина шумить и стучить только для видимости, а на работу неспособна?

На югъ тяжелыми раскатами непрерывно грохотали пушки. Начинаясь бой на Шахе.



IV.

Бой на Шахе.

Изъ Мукдена мы выступили рано утромъ походнымъ порядкомъ. Вечеромъ шелъ дождь, дороги блестѣли легкою, скользкою грязью, солнце свѣтило сквозь прозрачно-мутное небо. Была теплынь и тишина. Далеко на югъ глухо и непрерывно перекатывался громъ пушекъ.

Мы ѣхали верхомъ, команда шла пѣшкомъ. Скрипѣли зеленныя фуры и двуколки. Въ неуклюжей четырехконной лазаретной фурѣ бѣлѣли апостольники и фартуки сестеръ. Стриженная сверхштатная сестра ѣхала не съ сестрами, а тоже верхомъ. Она была одѣта по-мужски, въ сѣрыхъ брюкахъ и высокихъ сапогахъ, въ барашковой шапкѣ. Въ юбкѣ она производила отвратительное впечатлѣніе,—въ мужскомъ костюмѣ выглядѣла прелестнымъ мальчикомъ; теперь были хороши и ея широкія плечи, и большой мужской шагъ. Верхомъ она ѣздила прекрасно. Солдаты прозвали ее „сестра-мальчикъ“.

Главный врачъ спросилъ встрѣчнаго казака, какъ проѣхать въ деревню Сахотаза, тотъ показалъ. Мы добрались до рѣки Хуньхе, перешли черезъ мостъ, пошли влѣво. Было странно: по плану наша деревня лежала на юго-западъ отъ Мукдена, а мы шли на юго-востокъ. Сказали мы это главному врачу, стали убѣждать

его ваять китайца-проводника. Упрямый, самоувѣренный и скупой, Давыдовъ отвѣтилъ, что доведетъ насъ самъ лучше всякаго китайца. Прошли мы три версты по берегу рѣки на востокъ, — наконецъ Давыдовъ и самъ сообразилъ, что идетъ не туда, и по другому мосту перешелъ черезъ рѣку обратно.

Всѣмъ ужъ стало ясно, что заѣхали мы чортъ знаетъ, куда. Главный врачъ величественно и угрюмо сидѣлъ на своемъ конѣ, отрывисто отдавалъ приказанія и ни съ кѣмъ не разговаривалъ. Солдаты вяло тащили ноги по грязи и враждебно посмѣивались. Вдали снова показался мостъ, по которому мы два часа назадъ перешли на ту сторону.

— Теперь какъ, ваше благородіе, опять на этотъ мостъ своротимъ?—иронически спрашивали насъ солдаты.

Главный врачъ подумалъ надъ планомъ и рѣшительно повелъ насъ на западъ.

То и дѣло происходили остановки. Несъѣзженные лошади рвались въ стороны, опрокидывали повозки; въ одной фурѣ переломилось дышло, въ другой сломался валекъ. Останавливались, чинили.

А на югѣ непрерывно все грохотали пушки, какъ будто вдали вяло и лѣниво перекатывался глухой громъ; странно было думать, что тамъ теперь адъ и смерть. На душѣ щемило, было одиноко и стыдно; тамъ кипитъ бой; валятся раненые, тамъ такая въ насъ нужда,—а мы вяло и безъ толку кружимся здѣсь по полямъ.

Посмотрѣлъ я на компасъ,—мы шли на сѣверо-западъ. Всѣ знали, что идутъ не туда, куда нужно, и всетаки всѣ должны были идти, потому что упрямый старикъ не хотѣлъ показать, что видитъ свою неправоту.

Къ вечеру вдали показались очертанія китайскаго города, изогнутыя крыши башенъ и кумиренъ. Влѣво

види́лся рядъ казенныхъ зданій, бѣлѣли дымки поѣздовъ. Среди солдатъ раздался сдержанный, враждебный смѣхъ: это былъ Мукденъ!.. Послѣ цѣлаго дня пути мы воротились опять къ нашимъ каменнымъ баракамъ.

Главный врачъ обогнулъ ихъ и остановился на ночевку въ подгородной китайской деревнѣ.

Солдаты разбивали палатки, жгли костры изъ каоляна и кипятили въ котелкахъ воду. Мы помѣстились въ просторной и чистой каменной фанзѣ. Вѣжливо улыбающійся хозяинъ-китаецъ въ шелковой юбкѣ водилъ насъ по своей усадьбѣ, показывалъ хозяйство. Усадьба была обнесена высокимъ глинянымъ заборомъ и обсажена развѣсистыми тополями; желтѣли скирды каоляна, чумизы и риса, на гладкомъ току шла молотба. Хозяинъ рассказывалъ, что въ Мукденъ у него есть лавка, что свою семью, — жену и дочерей, — онъ увезъ туда: здѣсь онѣ въ постоянной опасности отъ проходящихъ солдатъ и казаковъ. Его мать, пятидесятилѣтнюю старуху, недѣлю назадъ похитили и увезли съ собою дагестанцы.

На створкахъ дверей пестрѣли двѣ ярко-раскрашенныхъ фигуры въ фантастическихъ одеждахъ, съ косыми глазами. Тянулась длинная вертикальная полоска съ китайскими іероглифами. Я спросилъ, что на ней написано. Хозяинъ отвѣтилъ:

— „Хорошо говорить“.

„Хорошо говорить“... Надпись на входныхъ дверяхъ съ дверными богами. Было страшно, и, глядя на тиховѣжливаго хозяина, становилось понятно.

Мы поднялись съ зарею. На востокъ тянулись мутно-красныя полосы, деревья туманились. Вдали ужъ грохотали пушки. Солдаты съ озябшими лицами угрюмо запрягали лошадей: былъ морозъ, они подъ холодными шинелями ночевали въ палаткахъ и всю ночь бѣгали, чтобъ согрѣться.

Главный врач встрѣтилъ знакомаго офицера, разспросилъ его насчетъ пути и опять повелъ насъ самъ, не беря проводника. Опять мы обивались съ дороги, ѣхали Богъ-вѣсть куда. Опять ломались дышла, и несѣзженные лошади опрокидывали возы. Подходя къ Сахотаѣ, мы нагнали нашъ дивизионный обозъ. Начальникъ обоза показалъ намъ новый приказъ, по которому мы должны были идти на станцію Суятунь.

Двинулись разыскивать станцію. Переѣхали по pontонному мосту рѣку, проѣзжали деревни, переходили въ бродъ вадувшіяся отъ дождя рѣчки. Солдаты, по поясъ въ водѣ, помогали лошадямъ вытаскивать увязшіе возы.

Потянулись поля. На жнивьяхъ по обѣ стороны темнѣли густыя копны косяна и чумизы. Я ѣхалъ верхомъ позади обоза. И видно было, какъ отъ повозокъ отбѣгали въ поле солдаты, хватали снопы и бѣжали назадъ къ повозкамъ. И еще бѣжали, и еще, на глазахъ у всѣхъ. Меня нагналъ главный врачъ. Я угрюмо спросилъ его:

— Скажите, пожалуйста, это дѣлается съ вашего разрѣшенія?

Онъ какъ будто не понялъ.

— То-есть, что именно?

— Вотъ это тасканіе сноповъ съ китайскихъ полей.

— Ишь, подлецы!—равнодушно возмутился Давыдовъ и лѣниво сказалъ фельдфебелю: — Неждановъ, скажи имъ, чтобъ перестали!.. Вы, пожалуйста, В. В— чь, слѣдите, чтобъ этого мародерства не было,—обратился онъ ко мнѣ тономъ плохого актера.

— Такъ вы отдайте объ этомъ солдатамъ строгій приказъ. А то посмотрите, они нисколько васъ даже не стѣсняются.

Впереди все выбѣгали въ поле солдаты и хватали снопы. Главный врачъ тихою рысцою поѣхалъ прочь. Воротился посланный впередъ фельдфебель.

— Что раньше забрали, то былъ комплектъ, а это ужъ сверхъ комплекта!—улыбаясь, объяснилъ онъ за-
прещеніе главнаго врача. На верху каждаго воза свѣт-
лѣло по кучкѣ золотистыхъ сноповъ чумизы.

Около меня шагали наши солдаты. Они слышали мой разговоръ съ главнымъ врачомъ.

— Обязательно нужно брать, о чемъ тутъ разго-
варивать! Съ чего-же это лошадямъ голодать?—гово-
рили они.

— Лошади вовсе не должны голодать,—возражалъ я.—
На ихъ содержаніе казна отпускаетъ деньги.

— Да, „отпускаетъ“!.. Чего русскія деньги тратить?
Китаевъ этихъ, что-ли, жалѣть?

— А это и въ писаніи сказано, что можно брать,—
замѣтилъ Бастрыкинъ, приземистый солдатъ съ плуто-
ватою рожею.

— Гдѣ-же это въ писаніи сказано? Покажи мнѣ. Я
тамъ ничего такого не видалъ.

— У меня библія порвалась,—смѣющимся голосомъ
отвѣтилъ Бастрыкинъ.

— Больно много читалъ ея! — объяснилъ другой
солдатъ.

Къ вечеру мы пришли къ станціи Суятунъ и стали
бивакомъ по восточную сторону отъ полотна. Пушки
гремѣли теперь близко, слышенъ былъ свистъ снаря-
довъ. На сѣверъ проходили санитарные поѣзда. Въ су-
меркахъ на югѣ замелькали вдали огоньки рвавшихся
шрапнелей. Съ жуткимъ, поднимающимъ чувствомъ мы
вглядывались въ вспыхивавшіе огоньки и думали: вотъ,
теперь начинается настоящее...

На-завтра намъ приказано было перейти на другую
сторону желѣзной дороги и стать въ деревнѣ Сяо-Кіи-
Шинпу, за полверсты отъ станціи.

Когда мы вступали въ деревню, изъ дворовъ по-
спѣшно выѣзжали нагруженные скарбомъ китайскія
арбы. На верху возовъ, пряча отъ насъ лица, сидѣли

китайки. Шелъ китаецъ съ гибкимъ коромысломъ черезъ плечо, на концахъ коромысла въ круглыхъ корзинахъ качалось по китайченку: ребята были полные, круглые, съ черными косичками на темени, они сидѣли, свернувъ подъ собою ноги, какъ ихъ божки. Китаецъ шелъ, угрюмо опустивъ лицо къ землѣ, а ребята въ качающихся корзинахъ съ веселымъ любопытствомъ поглядывали на насъ своими черными глазенками.

Нашъ обозъ сталъ на большомъ, квадратномъ огорождѣ, обсаженномъ высокими ветлами. Разбили палатки. Госпиталь д-ра Султанова находился въ этой-же деревнѣ; они пришли еще вчера и стали бивакомъ недалеко отъ того мѣста, гдѣ устраивались мы.

При выѣздѣ изъ Мукдена у доктора Султанова произошло жестокое столкновение съ его врачами. Для вещей четырехъ младшихъ врачей и смотрителя съ его помощникомъ полагается отдѣльная казенная повозка; главному-же врачу выдаются деньги на приобретение собственной повозки и двухъ упряжныхъ лошадей. Повозки и лошадей Султановъ себѣ не купилъ, деньги положилъ въ карманъ, а вещи свои велѣлъ уложить на повозку врачей. Врачи запротестовали и заставили смотрителя снять съ повозки вещи главнаго врача. Доложили Султанову. Онъ вышелъ изъ себя, кричалъ на врачей и смотрителя, какъ на деньщиковъ, топалъ ногами, грозилъ посадить всѣхъ подъ арестъ и велѣлъ сейчасъ-же положить свои вещи обратно на повозку. Врачи были страшно возмущены, собирались писать на главнаго врача рапортъ. Но къ кому онъ пойдетъ, этотъ рапортъ? Сначала—къ начальнику дивизіи, покладистому старику, не желающему ссориться съ сильными, а дальше—къ командиру корпуса, покровителю Султанова. И,—русскіе люди,—врачи удовольствовались тѣмъ, что поворчали и повозмутились „промежъ себя.“

Вообще Султановъ рѣзко измѣнился. Въ вагонѣ онъ

былъ неизмѣнно милъ, остроуменъ и веселъ; теперь, въ походѣ, былъ золъ и свирѣпъ. Онъ ѣхалъ на своемъ конѣ, сердито глядя по сторонамъ, и никто не смѣлъ съ нимъ заговаривать. Такъ тянулось до вечера. Приходили на стоянку. Первымъ долгомъ отыскивалась удобная, чистая фанза для главнаго врача и сестеръ, ставился самоваръ, готовился обѣдъ. Султановъ обѣдалъ, пилъ чай—и опять становился милымъ, изящнымъ и остроумнымъ.

Нашъ главный врачъ и смотритель, какъ ни какъ, заботились о командѣ. Правда, солдаты ночевали на морозѣ подъ лѣтними шинелями, но полушубковъ нигдѣ еще въ арміи не было. Солдаты наши, по крайней мѣрѣ, были сыты, и для этого дѣлалось все. Въ султановскомъ-же госпиталѣ о командѣ никто не заботился. Весь составъ какъ будто существовалъ только для того, чтобы холить и лелѣять д-ра Султанова съ сестрами. Команда зябла, голодала; ей предоставлялось жить, какъ угодно. Она роптала, но Султановъ относился къ этому съ наивно-циничнымъ добродушіемъ. Однажды старшій ординаторъ Васильевъ обратился къ нему съ жалобой на одного солдата команды; онъ, Васильевъ, отдалъ какое-то распоряженіе, а солдатъ въ лицо ему отвѣтилъ:

— Только распоряжаться умѣютъ! Кормить не кормятъ, ночь дрожи на морозѣ, а распоряженія исполняй!

Султановъ брезгливо поморщился. Дѣло случилось вечеромъ, когда онъ пообѣдалъ и былъ въ хорошемъ расположеніи духа.

— Э, оставьте вы ихъ, Богъ съ ними!.. Вѣдь, въ сущности, они совершенно правы. Мы ѣдемъ верхомъ, они идутъ пѣшкомъ. Приѣдемъ, — первымъ дѣломъ отыщемъ *себѣ* фанзу, закажемъ себѣ обѣдъ и самоваръ. А они устали и голодны. Вотъ послалъ имъ мяса искать,—не нашли ничего, а намъ на бифштексы уда-

лось достать... Если бы мы вмѣстѣ съ ними шли пѣшкомъ, голодали и зябли, тогда бы они и приказанія наши исполняли...

Прошелъ день, другой, третій. Мы были въ полномъ недоумѣніи. По всему фронту бѣшено грохотали пушки, мимо насъ проходили транспорты съ ранеными. А приказа развернуться наши госпитали не получали; шатры, инструменты и перевязочные матеріалы мирно лежали, упакованные въ повозкахъ. На желѣзнодорожныхъ разъѣздахъ стояли другіе госпитали, большею частью тоже неразвернутые. Что все это значить? Шли слухи, что изъ строя выбыло ужъ двадцать тысячъ человѣкъ, что рѣчка Шахе алѣетъ отъ крови, а мы кругомъ, десятки врачей, сидѣли сложа руки, безъ всякаго дѣла.

Бой былъ въ разгарѣ и шелъ очень недалеко отъ насъ. То и дѣло доносились спѣшная ружейная трескотня. По дорогамъ двигались пѣхотныя части и артиллерійскіе парки, сновали запыленные казаки. Дѣлалось какое-то огромное, общее, близкое всѣмъ дѣло, всѣ были заняты, торопились, только мы одни были бездѣятельны и чужды всему. Мы ѣздили на позиціи, наблюдали изблизи бой, испытывали острое ощущеніе пребыванія подѣ огнемъ; но и это ощущеніе несло съ собою оскоминовый, противный привкусъ, потому что глупо было лѣзть въ опасность изъ-за ничего.

Наша команда недоумѣвала. Какъ и мы, она испытывала то же сиротливое ощущеніе вынужденнаго бездѣльности. Солдаты ходили за околицу смотрѣть на бой, жадно разспрашивали проѣзжихъ казаковъ, оживленно и взволнованно сообщали намъ слухи о ходѣ боя.

Однажды къ омотрителю пришли три солдата изъ нашей команды и заявили, что желаютъ перейти въ строй. Главный врачъ и смотритель изумились: они

нерѣдко грозили въ дорогѣ провинившимся солдатамъ переводомъ въ строй, они видѣли въ этомъ ужаснѣйшую угрозу,—и вдругъ солдаты просятся сами!..

Всѣ трое были молодые, brave молодцы. Какъ я уже писалъ, въ полкахъ нашего корпуса находилось очень много пожилыхъ людей, удрученныхъ старческими немощами и думами о своихъ многочисленныхъ семьяхъ. Наши-же госпитальныя команды больше, чѣмъ на половину, состояли изъ молодыхъ, крѣпкихъ и бодрыхъ солдатъ, исполнявшихъ сравнительно далеко не тяжкія обязанности конюховъ, палатныхъ надзирателей и деньщиковъ. Распредѣленіе шло на бумагѣ, а на бумагѣ всѣ эти Ивановы, Петровы и Антоновы были совсѣмъ одинаковые.

Смотритель пробовалъ отговорить солдатъ, потомъ сказалъ, что передать ихъ просьбу въ штабъ. Особенно изумлялся ихъ желанію нашъ писмоводитель, военный заурядъ-чиновникъ Брукъ, хорошенькій и поразительно-трусливый мальчикъ.

— Вѣдь тутъ-же гораздо спокойнѣе!—доказывалъ онъ.—А тамъ что? Убьютъ тебя, семья останется.

— Чего тамъ! У меня всего жена только. Убьютъ,—за другого выйдеть.

Говорилъ стройный паренъ съ сиплымъ, застуженнымъ голосомъ, бывшій гренадеръ. Лицо у него было строгое и ушедшее въ себя, какъ будто онъ вглядывался во что-то въ своей душѣ,—во что-то большое и важное.

— А если ранять тебя? Оторветъ тебѣ обѣ ноги, останешься на всю жизнь калѣкою?

— Ну, что-жъ!..—Онъ помолчалъ и медленно прибавилъ:—Можетъ быть, я желаю пострадать.

Брукъ съ недоумѣніемъ взглянулъ на него.

— Строй—святое дѣло!—замѣтилъ другой солдатъ.

— А наше дѣло еще святѣе!—фальшивымъ голосомъ возразилъ Брукъ.—Помогать раненымъ братьямъ, облегчать уходомъ и ласкою ихъ ужасныя страданія...

— Нѣтъ, тутъ что! Одна канитель! Вонъ, тамъ стрѣльба, другіе дерутся, а мы что? Никому на насъ и смотрѣть не охота. Даже на смотрахъ,—генералъ какой, али и самъ царь: „ну, это нестроещина!“—и ѣдутъ мимо.

29 сентября пальба особенно усилилась. Пушки гремѣли непрерывно, вдоль позицій какъ будто съ грохотомъ валились другъ на друга огромные шкапы. Снаряды со свистомъ уносились вдаль, свисты сливались и выли, какъ вьюга. Непрерывно трещалъ ружейный огонь. Шли слухи, что японцы обошли наше правое крыло и готовы прорвать центръ. Къ намъ подъѣзжали конные солдаты - ординарцы, спрашивали, не знаемъ-ли мы, гдѣ такой-то штабъ. Мы не знали. Солдатъ въ унылой задумчивости пожималъ плечами.

— Какъ-же быть теперь? Съ спѣшнымъ донесеніемъ посланъ отъ командира, съ утра ѣзжу, и никто не можетъ сказать.

И онъ вяло ѣхалъ дальше, не зная, куда.

Подъ вечеръ мы получили изъ штаба корпуса приказъ: обоимъ госпиталямъ *немедленно* двинуться на югъ, стать и развернуться у станціи Шахе. Спѣшно увязывались фуры; запрягались лошади. Солнце садилось; на югъ, всего за версту отъ насъ, роями вспыхивали огоньки японскихъ шраннелей, перекатывалась ружейная трескотня. Намъ предстояло идти прямо туда.

Султановъ, сердитый и растерянный, сидѣлъ у себя въ фанзѣ и искалъ на картѣ станцію Шахе; это была слѣдующая станція по линіи желѣзной дороги, но отъ волненія Султановъ не могъ ея найти. Онъ злобно ругался на начальство.

— Это чортъ знаетъ, что такое! По закону полевые подвижные госпитали должны стоять за восемь верстъ отъ позицій, а насъ посылаютъ въ самый огонь!

Было, дѣйствительно, непонятно, что могутъ дѣлать

наши госпитали въ томъ аду, который сверкалъ и грохоталъ вдали. Мы, врачи, дали другъ другу свои домашніе адреса, чтобы, въ случаѣ смерти, извѣстить близкихъ.

Рвались снаряды, трещала ружейная перестрѣлка. На душѣ было жутко и радостно, какъ будто выросли крылья, и вдругъ стали близко-понятны солдаты, прошившіеся въ строй. „Сестра-мальчикъ“ сидѣла верхомъ на лошади, съ одѣяломъ, вмѣсто сѣдла, и жадными, хищными глазами вглядывалась въ меркнувшую даль, гдѣ все ярче вспыхивали прапнели.

— Неужели мы опять будемъ плутать и не попадемъ, куда нужно?—волновалась она.—Господа, убѣдите главнаго врача, чтобы онъ нанялъ проводника.

— Днемъ плутали,—то-ли еще будетъ ночью!—ало-вѣще произнесъ Селюковъ и вздохнулъ.—А лошади несъѣзженныя, пугливыя. Первый снарядъ упадетъ, онѣ весь обозъ разнесутъ вдребезги.

Мы двинулись къ желѣзной дорогѣ и пошли вдоль пути на югъ. Валялись разбитые въ щепы телеграфные столбы, по землѣ тянулась исковерканная проволока. Насъ нагналъ казакъ и вручилъ обоимъ главнымъ врачамъ по пакету. Это былъ приказъ изъ корпуса. Въ немъ госпиталямъ предписывалось немедленно свернуться, уйти со станціи Шахе (предполагалось, что мы ужъ тамъ) и воротиться на прежнее мѣсто стоянки къ станціи Суятунь.

Оживленно и весело всѣ поворотили назадъ. Только сестра-мальчикъ была огорчена и готова плакать отъ досады; она все обертывалась назадъ и горящими, жалѣющими глазами поглядывала въ шумѣвшую боемъ даль.

Мы разбили палатки, поужинали. Вечеръ былъ теплый и тихій-тихій. Темная дымка окутывала небосклонъ, звѣзды мутно свѣтились. Бой не замолкалъ. Ночью разразилась гроза. Яростно гремѣлъ громъ, воздухъ

рѣзали молніи. А снаряды по-прежнему со свистомъ неслись въ темную даль; грохотали пушки, перебиваясь съ грохотомъ грома; лихорадочно трещалъ ружейный огонь пачками. Небо и земля свились и крутились въ грохочущемъ, сверкающемъ безуміи. Подъ проливнымъ дождемъ по дорогѣ шли впередъ темныя колонны солдатъ, и штыки струистыми огнями вспыхивали подѣ молніями.

И опять прошелъ день, и другой, и третій. Бой продолжался, а мы все стояли неразвернутыми. Что же это, наконецъ, забыли о насъ, что ли? Но нѣтъ. На станціи Угольной, на разѣздахъ,—ездѣ стояли полевые госпитали и тоже не разворачивались. Врачи зѣвали, изнывали отъ скуки, играли въ винтъ...

Пошли дожди, мы перебравшись изъ палатокъ въ китайскую фанзу. Жили тѣсно и неудобно, здѣсь же въ уголкѣ помѣщались сестры; на ночь онѣ завѣшивались отъ насъ платками. Заходили изъ султановскаго госпиталя врачи и сестры, кромѣ племянницы Султанова Новицкой: она безвыходно сидѣла въ своей фанзѣ. За то очень часто забѣгала Зинаида Аркадьевна. Изящно одѣтая, кокетничая своимъ бѣлоснѣжнымъ фартукомъ съ краснымъ крестомъ, она рассказывала, что тогда-то у нихъ обѣдалъ начальникъ такой-то дивизіи, тогда-то заѣзжалъ „нашъ милый Сергѣй Павловичъ (корпусный командиръ)“. Зинаида Аркадьевна вспоминала о Москвѣ и глубоко вздыхала.

— Господи, съ какимъ бы я сейчасъ удовольствіемъ поѣла папшета изъ куръ!—говорила она своимъ изученно-красивымъ, протяжнымъ голосомъ.—Такъ безумно хочется ѣсть!

Селюковъ мрачно возражалъ:

— Ну, это пока не такъ страшно. Вотъ когда вамъ безумно захочется чернаго хлѣба, это такъ.

— Да, паштета. Паштета и шампанскаго,—мечтательно говорила Зинаида Аркадьевна.

Заходилъ разговоръ, что, по слухамъ, госпитальныхъ врачей и сестеръ собираются командировать на перевязочные пункты.

— Ну, вы меня не испугаете: я фаталистка!—замѣчала Зинаида Аркадьевна. Но еще вчера наши сестры со смѣхомъ рассказывали, какъ разволновались при этихъ слухахъ Зинаида Аркадьевна и Новицкая, какъ заявили, что пусть не воображаютъ,—съ какой стати онѣ поѣдутъ подь снаряцы?

Зинаида Аркадьевна прощается и уходитъ. Въ уголкѣ, въ полумракѣ, сидитъ наша старшая сестра.

— Ахъ, я съ вами и не здоровалась, здравствуйте!—любезно восклицаетъ Зинаида Аркадьевна.

— Мы люди маленькіе, насъ можно не замѣтить,—сдержанно отвѣчаетъ сестра.

— Напротивъ! Вы такъ всегда одѣты по формѣ, въ апостольникахъ, въ форменныхъ платьяхъ, васъ сразу можно замѣтить. Не то, что мы, революціонерки,—мило возражаетъ Зинаида Аркадьевна.

Въ нашей деревнѣ и вокругъ деревни шелъ широкій грабежъ. Съ полей забирали копны каоляна, чумизы и масляныхъ бобовъ, солдаты тащили у китайцевъ все, что попадало подь руку. То и дѣло къ намъ прибѣгали взволнованные китайцы и просили заступиться. Что могли, мы дѣлали, но, конечно, это была капля въ морѣ. Ни на комъ не лежало обязанности охранять китайцевъ, сами китайцы были беззащитны, а безнаказанность грабежа пьянила и туманила головы.

Однажды утромъ, проснувшись, я услышала за окнами русскіе и китайскіе крики, главный врачъ то-ропливо кричалъ:

— Держи, держи ихъ!

Я выскочилъ наружу. Смотритель стоялъ у воротъ и возмущенно повторялъ:

— Чортъ знаетъ, чортъ знаетъ, что такое!

Наискосокъ, по градамъ каоляна, бѣжали куда-то главный врачъ, нѣсколько нашихъ солдатъ, китайцы и старая китаянка, хозяйка нашей фанзы. Я пошелъ за ними.

Отъ китайскихъ могилокъ скакали прочь два казака, вкладывая на скаку шашки въ ножны. Наши солдаты держали за руки блѣднаго артиллериста, передъ нимъ стоялъ главный врачъ. У конической могилы тяжело хрипѣла худая, черная свинья; изъ-подъ лѣвой лопатки текла чернѣющая кровь.

— Ахъ ты, с-сукинъ сынъ!—возмущенно говорилъ главный врачъ.—Арестовать его!

Двинулись назадъ. Китайцы понесли издыхающую свинью. Подошелъ смотритель, столпилась наша команда.

— Ты какой части?—строго спросилъ главный врачъ.

— *.* артиллерійской бригады,—отвѣтилъ арестованный.—На испуганномъ, поблѣднѣвшемъ лицѣ рыжѣли усики и обильныя веснушки, пола шинели была въ крови.—Ваше высокоблагородіе, позвольте вамъ доложить: это не я, я только мимо шелъ... Вотъ, извольте посмотрѣть!—Онъ вынулъ изъ ноженъ и показалъ свою шашку.—Изволите видѣть, крови нѣту.

— А откуда на ней глина? Ты зачѣмъ шашку вынималъ?

— Они просили подсобить.

— Кто они такіе?

— Не могу знать.

— Ну, одинъ подъ судъ и пойдешь... Арестовать его! Аркадій Николаевичъ, напишите о немъ бу-магу,—обратился Давыдовъ къ смотрителю.

— Ваше высокоблагородіе, прикажите идти, меня ихъ благородіе капитанъ Веревкинъ ждутъ!

— Подождетъ. Это онъ, что-ли, воровать тебя посылалъ?.. Подлецы этакіе! Хуже разбойниковъ! Не знаете,

что китайцы мирное населеніе, что ихъ запрещено грабить?

Зарѣзанная свинья лежала у воротъ, вокругъ толпились наши солдаты.

— Э, сухая какая! Стоило возиться!—протянулъ Кучеренко.—Кабы сытая была!

Всѣ съ сочувствіемъ поглядывали на арестованнаго. Его увели. Солдаты расходились.

— Великолѣпно, такъ и надо!—нарочно громко говорилъ я.—Другимъ наука будетъ!

— „Наука“... А какъ намъ не воровать?—угрюмо возразилъ солдатъ-конюхъ.—Всѣ бы лошади съ голоду подошли, костра бы не изъ чего было развести. Вѣдь, вонъ лошади рисовую солому ѣдятъ,—все это ворованное. Лошадямъ по два гарнца овса выдаютъ, развѣ лошадь съ этого будетъ сыта? Всѣ передохнуть.

— И пускай передохнуть!—сказалъ я.—Вамъ-то что? Это дѣло начальства. Ваше дѣло только кормить лошадей, а не добывать фуражъ.

Солдатъ усмѣхнулся.

— Да-а!.. А вонъ, когда въ походѣ возы въ рѣкѣ застряли, насъ всѣхъ въ воду погнали лошадямъ подсоблять. Сколько народу лихорадку получили! Почему? Силы у лошадей не было!.. Нѣтъ, ваше благородіе, это вы все неправильно. Не побрѣешь,—не поѣшь.

— Вонъ, старшій врачъ антилеристу грозитъ, подѣ судъ отдамъ,—замѣтилъ другой.—А намъ что говорилъ? Тащите, говорить, ребята, что хотите, только чтобы я не видѣлъ. Почему же это онъ насъ не грозитъ подѣ судъ отдать?

— Ему прямой расчетъ, чтобы мы воровали... А попадись-ка я, напр., вонъ тому капитану, который антилериста послалъ. Тоже сейчасъ скажетъ: ахъ, ты, разбойникъ, сукинъ сынъ! Не знаешь, что это мирные жители?.. Подѣ судъ!

Солдаты засмѣялись, а я молчалъ, потому что они были правы.

Нашъ хозяинъ, молодой китаецъ съ красивымъ, загорѣлымъ лицомъ, горячо благодарилъ главнаго врача за заступничество, принесъ ему въ подарокъ пару роскошно вышитыхъ китайскихъ туфель. Давыдовъ смѣялся, хлопалъ китайца по плечу, говорилъ: „шанго (хорошо)!“—а вечеромъ, какъ намъ разсказалъ письмоводитель, попросилъ хозяина подписать свою фамилію подъ одною бумажкою; въ бумажкѣ было написано, что нижеподписавшійся продалъ нашему госпиталю столько-то пудовъ каоляноваго зерна и рисовой соломы, деньги, такую-то сумму, получилъ сполна. Китаецъ побоялся и сталъ отказываться.

— Ну, ты не свою фамилію напиши, а какую-нибудь другую, это все равно,—сказалъ главный врачъ.

На это китаецъ согласился и получилъ въ награду рубль, а канцелярія наша обогатилась „оправдательнымъ документомъ“ на 617 р. 35 к. (круглыхъ цифръ фальшивые документы не любятъ).

Съ каждымъ днемъ грабежъ въ нашей деревнѣ развѣртывался шире. Солдаты и казаки уносили изъ кумирни подсвѣчники и курильницы, вдребезги разбивали глиняныхъ боговъ; ходили слухи, что у боговъ сердца сдѣланы изъ золота, и солдаты разыскивали эти золотыя сердца. Изъ фанзъ и дворовъ они тащили на костры рамы, ящики, плуги, двери. Китайцы на все махнули рукою, ужъ не бѣжали за защитою, не запирали воротъ. Какъ бронзовыя изваянія, они молча стояли у дверей и смотрѣли на входящихъ и выходящихъ грабителей.

Съ позицій въ нашу деревню привели трехъ „хунхузовъ“. На утренней зарѣ драгуны посрубали имъ за огородами головы. Нашъ хозяинъ сообщилъ намъ, что эти три китайца вовсе не хунхузы, что они мужики изъ сосѣдней деревни и „шибко корошіе“ люди. Казнь

ихъ очень подѣйствовала на китайцевъ. Лица ихъ стали еще болѣе безстрастными, еще болѣе неподвижными, а наутро всѣ китайцы исчезли изъ деревни. Ушелъ и нашъ хозяинъ съ старухою-матерью. Жена и дѣти еще до нашего прихода были имъ отправлены въ Мукденъ.

Прощаясь, онъ по всегдашнему вѣжливо и предупредительно улыбался, вслушиваясь и стараясь понять, что ему говорятъ. Ушелъ онъ со старухою пѣшкомъ, захвативъ лишь самое цѣнное. И раньше ихъ ухода наши солдаты уже шарили въ половинѣ, которую они занимали. Когда-же китайцы ушли, солдатъ набилось въ фанзу, какъ мухъ въ стаканъ изъ-подъ квасу. На наши заявленія смотритель отвѣтилъ, что онъ вовсе не обязанъ охранять имущества ушедшихъ, что они ему ничего не сдавали, и что у него нѣтъ часовыхъ для охраны. И возразить на это было рѣшительно нечего.

Весь день солдаты копошились въ фанзѣ. Въ сѣняхъ, между глиняными бочками,—„канхами“—валялся бредень, чашечки, топорикъ какой-то странной формы. На полу фанзы лежали взломанные солдатами сундуки и шкапы, красѣлъ узорчатый кіотецъ изъ-подъ божковъ, сорванный со стѣны.

Заглянулъ въ фанзу смѣнившійся съ часовъ солдатъ охранной роты, въ китайскомъ ватномъ халатѣ поверхъ шинели; эти халаты замѣняли полушубки, которыхъ въ арміи все еще не было.

— Вы, ребята, подъ землею ищите, по погребамъ,—посовѣтовалъ онъ нашимъ солдатамъ и, увидѣвъ меня, строго прибавилъ: — можетъ, у нихъ тамъ оружіе прячется!

Съ чердака весело спустился солдатъ и бросилъ на полъ цѣлую кипу китайскихъ туфель. Солдаты стали ихъ разбирать. Другіе вышли на дворъ, разрыли насыпанную у забора кучу земли, нашли дверь въ по-

гребъ, вытащили оттуда какую-то сѣчку, лопату, и поспѣшно стали забрасывать дверь землею.

— Больше ничего нѣту!—нарочно-громкими голосами говорили они, и видно было, что они рѣшили прійти потомъ, чтобъ пошарить въ погребѣ не стѣняясь.

Въ сумеркахъ я опять зашелъ въ фанзу. Никого уже не было. Глиняныя бочки были для чего-то опрокинуты и разбиты, въ сѣняхъ стояли пролитыя густыя лужи квашенаго каоляна; повсюду бѣлѣлись черепки побитой посуды; съ перемета свѣшивался порванный бредень. Грустно, грустно было смотрѣть: всему этому хламу цѣна грошъ, а какъ его трудно было создать, какъ легко уничтожить, и какъ трудно будетъ создать снова...

Чисто было небо, на западѣ ярко сіяла Венера. Высокіе, стройные тополи поднимались надъ заборомъ. Сверчокъ тихо трещалъ въ черной ямѣ печки, изъ которой былъ выломанъ котель. Въ полѣ были бездомныя собаки. Кругомъ была тишина, опустошеніе и задумчивое умираніе. Воздухъ начиналъ серебриться отъ мѣсяца, неподвижно стояли тополя. И представлялось, какъ жили тутъ своею тихою жизнью выгнанные нами люди. На створкахъ дверей пестрѣли странныя фигуры дверныхъ боговъ, тянулись вертикальныя полосы бумаги съ непонятными надписями. Вспомнилось, какъ въ походѣ китаецъ объяснилъ мнѣ подобную надпись:

„Хорошо говорить...“

Перваго октября мы получили приказъ спѣшно развернуться и приготовиться къ приему раненныхъ. Весь день шла работа. Устанавливались три огромныхъ шатра, набивались соломой матрасы, устраивалась операціонная, аптека.

На-завтра подѣ-вечерѣ, подѣ проливнымъ дождемъ, привезли первый транспортъ раненныхъ. Промокшихъ, дрожащихъ и окровавленныхъ, ихъ вынимали изъ тряскихъ двуколокъ и переносили въ шатры. Наши солдаты, истомившіеся бездѣльемъ, работали горячо и радостно. Они любовно поднимали раненныхъ, укладывали въ носилки и переносили въ шатры.

Внесли солдата, раненнаго шимозою; его лицо было, какъ маска изъ кроваваго мяса, были раздроблены обѣ руки, обожжено все тѣло. Стонали раненные въ животъ. Лежалъ на соломѣ молодой солдатикъ съ дѣтскимъ лицомъ, съ перебитою голенью; когда его трогали, онъ начиналъ жалобно и капризно плакать, какъ маленькій ребенокъ. Въ углу сидѣлъ пробитый тремя пулями унтеръ-офицеръ; онъ три дня провалялся въ полѣ и его только сегодня подобрали. Блестя глазами, унтеръ-офицеръ оживленно рассказывалъ, какъ ихъ полкъ шелъ въ атаку на японскую деревню.

— Изъ деревни стрѣльбы не слышать. Командиръ полка говоритъ: „ну, ребята, струсиль япошка, удрали изъ деревни! Идемъ ее занимать.“ Пошли цѣпами, командиры матюкаются,—„равняйся, подлецы! Не забѣгай впередъ!“ Ученье устроили; крикъ, шумъ, на насъ холоду нагнали. А онъ подпустилъ на постоянный прицѣлъ, да какъ пошелъ жарить... Пыль кругомъ забила, народъ валится. Полковникъ поднималъ голову, этакъ водить очками, а оттуда сыплуть! „Ну, ребята, въ атаку!“—а самъ повернулъ коня и ускакалъ...

Наши солдаты жадно слушали и ахали.

— Бѣгутъ всѣ кругомъ, я упалъ... Рядомъ землякъ лежить. Попробуетъ подняться, — опять падаетъ... „Братъ, — говоритъ, — подними меня!“ — „Что-же мнѣ дѣлать? я и самъ валяюсь“...

Въ шатрахъ стоялъ полумракъ, тускло горѣли фонари. Отовсюду шли стоны и оханья. Сестры поили раненныхъ чаемъ. Мы подбинтовывали промокнувша кровью

повязки; гдѣ было нужно, накладывали новыя. Бинты вышли. Я послалъ за бинтами въ аптеку палатнаго надзирателя; онъ воротился и доложилъ, что аптекарь безъ требованія не отпускаетъ. Я попросилъ сходить въ аптеку сестру и сказать, что требованіе я напишу потомъ, а чтобъ сейчасъ поскорѣе отпустили бинтовъ. Сестра сходила и, удивленно пожавъ плечами, сообщила, что безъ требованія аптекарь отказывается выдать.

Что такое?... Нашъ аптекарь былъ человѣкъ рѣдко-неинтеллигентный, пьянчужка, но производилъ впечатлѣніе очень милаго и добродушнаго парня. Что съ нимъ такое случилось?... Впослѣдствіи мы узнали его ближе: аптека была для него какъ будто центральнымъ механизмомъ міра, въ ея священномъ ходѣ ничего нельзя было измѣнить ни на волосъ. Обыкновенно смиренный и угодливый, въ аптекѣ Михайлъ Михайловичъ пьянѣлъ отъ высоты своего положенія; а когда онъ былъ пьянъ, — все равно, отъ водки или отъ сознанія важности своей аптеки, — онъ становился заносчивъ и величественъ. Я пошелъ къ нему самъ.

— Михайлъ Михайловичъ, голубчикъ, что это вы тутъ бунтуете? Пожалуйста, отпустите скорѣй бинтовъ, тамъ раненые истекаютъ кровью.

— Потрудитесь написать требованіе, — сухо отвѣтилъ онъ, поджавъ губы.

— Да что вамъ, не все равно, когда требованіе будетъ написано, сейчасъ или потомъ? Третій разъ къ вамъ приходится обращаться за однимъ и тѣмъ-же!

— Я ничего не знаю. Я могу что-либо отпускать изъ аптеки только по требованію. — И въ его голосъ звучало холодное злорадство русскаго чиновника, чувствующаго за собою право сдѣлать пакость.

— Тыфу ты, чорты! Ну, дайте поскорѣе бумаги, я сейчасъ напишу.

— Лишней бумаги у меня нѣтъ, возьмите у старшаго ординатора. Я самъ получаю бумагу по требова-

нѣю, я обязанъ давать въ ней отчетъ... Да-съ, теперь шутки кончены!...

Пришлось прибѣгнуть къ помощи главнаго врача, чтобъ умѣрить его слишкомъ серьезное отношеніе къ дѣлу.

До поздней ночи мы возились съ ранеными. Сдѣлали двѣ ампутаціи. У одного артиллериста извлекли изъ крестцадистанціонную трубку шрапнели,—широкій мѣдный конусъ, разбившій крестецъ и разорвавшій прямую кишку. Ночью подошелъ новый транспортъ раненыхъ. Вдали грохотали пушки, темное небо, какъ зарницами, вспыхивало отсвѣтами отъ выстрѣловъ. Вездѣ кругомъ стонали окровавленные, иззябшіе люди. Солдаты, которому пуля пробила щеки и челюсти, сидѣлъ съ черною отъ крови бородой и отхаркивалъ тянущуюся, кровавую слюну. Надъ головою наклонившагося врача равномерно тряслись скрюченные пальцы дрожащихъ отъ боли рукъ, слышались протяжныя всхлипыванія.

— Ой, кормильцы мои!...

А вдали все блистали отсвѣты грохочущихъ выстрѣловъ, и странно было вспомнить, какъ тянулась душа къ грозной красотѣ того, что творилось тамъ. Не было тамъ красоты, все было мерзко, кроваво-грязно и преступно.

Утромъ пришло распоряженіе,—всѣхъ раненыхъ немедленно эвакуировать на санитарные поѣзда. Для чего это? Мы недоумѣвали. Немало было раненыхъ въ животъ, въ голову, для нихъ самое важное, самое необходимое—покой. Пришлось ихъ поднимать, нагружать на тряскія двуколки, везти полверсты до станціи, тамъ опять разгружать, переносить на санитарный поѣздъ...

Наши госпитали начали работать. И была наша работа еще бессмысленнѣе, чѣмъ прежнее бездѣлье.

Съ перевязочныхъ пунктовъ привозили раненыхъ. Мы клали ихъ въ шатры, подбинтовывали тѣхъ, у кого повязки промокли; смотря по времени дня, кормили обѣдомъ или поили чаемъ, къ вечеру нагружали всѣхъ на двуколки и отвозили на станцію. Для чего была нужна эта остановка у насъ за полверсты отъ станціи для раненыхъ, уже проѣхавшихъ пять-шесть верстъ? Часто бывало, что мы только осматривали привезенныхъ раненыхъ въ ихъ двуколкахъ и своею властью въ тѣхъ же двуколкахъ отправляли дальше на станцію. Главный врачъ не возражалъ противъ этого, только усиленно требовалъ, чтобъ провозимые раненые записывались у насъ въ книги и отправлялись дальше съ нашими билетиками.

На станціи мы грузили раненыхъ въ санитарные поѣзда.

Подходилъ поѣздъ, сверкавшій царскимъ великолѣпіемъ. Длинные бѣлые вагоны, зеркальныя стекла; внутри весело, чисто и уютно; раненые, въ бѣлоснѣжномъ бѣльѣ, лежатъ на мягкихъ, пружинныхъ матрасахъ; вездѣ сестры, врачи; въ отдѣльныхъ вагонахъ—операционная, кухня, прачешная... Отходилъ этотъ поѣздъ, безшумно качаясь на мягкихъ рессорахъ,—и ему на смѣну съ неуклюжимъ грохотомъ становился другой, сплошь состоявшій изъ простыхъ товарныхъ вагоновъ. Откатывались двери, раненыхъ съ трудомъ втаскивали въ высокіе, безъ всякихъ лѣстничекъ, вагоны и клали на полъ, только что очищенный отъ навоза. Не было печей, не было отхожихъ мѣстъ; въ вагонахъ стояли холодъ и вонь. Тяжелые больные ходили подъ себя; тѣ, кто могъ, вылѣзали изъ вагона и ковылялъ къ отхожему мѣсту станціи. Поѣздъ давалъ свистокъ и, дернувъ изо всей силы вагоны, начиналъ двигаться. Раненые тряслись на полу, корчились, стонали и проклинали. Сообщенія между вагонами не было; если открывалось кровотеченіе, раненый истекалъ

кровью, раньше чѣмъ на остановкѣ къ нему могъ по-
пасть врачъ поѣзда*).

Вотъ что рассказываетъ въ „Русскомъ Врачѣ“ (1905, № 5) д-ръ Б. Козловскій объ эвакуаціи раненныхъ во время боя на Шахе:

„Эвакуируемые жестоко страдали отъ холода, тѣмъ болѣе, что они также не были еще снабжены никакой теплой одеждой и только нѣкоторые изъ нихъ могли получить въ Мукденѣ теплыя китайскія одѣяла и халаты, далеко, впрочемъ, недостаточныя. Чтобы согрѣться, эвакуируемые въ нѣкоторыхъ вагонахъ раскладывали костры (подложивъ кирпичи и т. п.); но это, разумѣется, было исключеніемъ. Поѣзда большею частью отправлялись совершенно необорудованные, безъ кухонь, безъ свѣчей, безо всякой сортировки больныхъ и почти безъ медицинскаго персонала. Такъ, одинъ поѣздъ пришелъ въ Харбинъ только съ комендантомъ (офицеромъ) и *одной сестрой*. Были поѣзда, шедшіе всѣ ночи во мракѣ вслѣдствіе недостатка свѣчей и слѣдовавшіе нѣсколько станцій безъ всякаго медицинскаго персонала, который назначенъ былъ только въ Телинѣ. Не лучше было и съ питаніемъ больныхъ. Приходилось кормить эвакуируемыхъ въ пути на военно-продовольственныхъ пунктахъ, но здѣсь происходилъ цѣлый рядъ недоразумѣній: то неопытный комендантъ не отправлялъ во-время телеграммы, то поѣздъ опаздывалъ на много часовъ, а въ результатѣ больные нерѣдко по двое сутокъ не получали горячей пищи и голодали въ холодныхъ, нетопленыхъ вагонахъ. Чѣмъ ближе къ Харбину, тѣмъ больше усиливалась закупорка пути и тѣмъ больше мерзли и голодали эвакуируемые“.

Въ томъ-же „Русскомъ Врачѣ“ (№ 14) приведенъ

*) По произведеннымъ подсчетамъ, во время боя на Шахе въ санитарныхъ поѣздахъ было перевезено около *трехъ* тысячъ раненныхъ, въ теплушкахъ около *тридцати* тысячъ.

разсказъ одного врача, относящійся ко времени Ляоянскаго боя: „Ночью онъ услыхалъ раздававшіеся изъ одного закрытаго наглухо вагона стоны. Открывъ вагонъ, онъ увидалъ тамъ раненаго въ голову (въ безсознательномъ состояніи), сорвавшаго съ себя повязку; раненый стоялъ у форточки товарнаго вагона, доставалъ изъ раны пальцами кусочки разможенного мозга и разсматривалъ ихъ при свѣтѣ луны, а на полу въ темнотѣ лежали раненные въ животъ съ начавшимся уже воспаленіемъ брюшины и на каждый толчокъ вагона отвѣчали громкими стонами и проклятіями. Отъ испражнений, дѣлаемыхъ подъ себя, въ вагонѣ стояла вонь; духота и жажда усиливали страданія несчастныхъ. По видимому, стоны эвакуируемыхъ донеслись и до Петербурга: въ двадцатыхъ числахъ августа проѣхали лица, собиравшіе матеріалъ объ эвакуаціи, *и въ результатъ явились докладъ и попытки улучшить эвакуацію*“.

Ко времени боя на Шахе, какъ мы видѣли, „попытки“ эти еще не увѣнчались успѣхомъ, все шло попрежнему. А вотъ что происходило въ засѣданіи Телинскаго Медицинскаго Общества уже въ январѣ 1905 года, незадолго до Мукденскаго боя:

„Было выслушано сообщеніе Н. В. Рено о перевозкѣ раненныхъ и больныхъ въ теплушечныхъ поѣздахъ. Докладчица въ яркихъ краскахъ описала мытарства, испытываемыя перевозимыми въ этихъ поѣздахъ больными и указала не угнетающее положеніе сопровождающаго эти поѣзда медицинскаго персонала, почти безсильнаго въ борьбѣ съ той массой неустройствъ, которыя представляютъ эти поѣзда въ настоящемъ своемъ видѣ.—При обмѣнѣ мнѣній, въ которомъ приняли участіе и инженеры, выяснилось, что, не смотря на годъ войны, для улучшенія этихъ поѣздовъ почти ничего не сдѣлано, *хотя улучшения эти возможны при неособенно большихъ затратахъ и мѣстными средствами железнодорожныхъ мастерскихъ*. Для всесторон-

ного обсужденія мѣропріятій, необходимыхъ въ цѣляхъ удовлетворительнаго оборудованія приспособленія теплушечныхъ санитарныхъ поѣздовъ, общество избрало комиссію, въ работахъ которой любезно согласились принять участіе и инженеры. Собранный комиссіей фактический матеріалъ, а также составленный инж. Савкевичемъ проектъ передѣлки вагона были, по постановленію общества, пересланы главному начальнику санитарной части арміи. *На неожиданныхъ результатахъ этого представленія*,—добавляетъ референтъ,—*я нахожу неудобнымъ здѣсь останавливаться* („Русскій Врачъ,“ 1905, № 25).

Результатъ же былъ очень простой. Отъ начальника санитарной части, генерала Ѳ. Ѳ. Трепова, въ отвѣтъ пришелъ запросъ,—*на какомъ основаніи существуетъ Телинское медицинское общество?* Отвѣтили, что на основаніи устава, утвержденнаго начальникомъ тыла, генераломъ Надаровымъ, для Харбинскаго Медицинскаго Общества, Телинское же представляетъ собою его филиальное отдѣленіе. (Замѣчу, что о существованіи Телинскаго Общества Трепову было извѣстно давно: Общество уже раньше писало ему о необходимости устроить въ Телинѣ изоляціонное помѣщеніе для заразныхъ больныхъ, но отвѣта не удостоилось). Послѣдовала вторая бумага отъ начальника санитарной части: *власть генерала Надарова на Телинѣ не распространяется*. Этимъ дѣло и закончилось.

Вокругъ насъ,—у станцій, у разъѣздовъ,—вездѣ стояли полевые госпитали. Одни изъ нихъ все еще не получали приказа развернуться. Другіе, какъ и наши, были развернуты. Издалека бѣлѣлись огромные парусиновые шатры съ свѣтло-зелеными гребнями, флаги съ краснымъ крестомъ призывно трепыхались подъ вѣтромъ.

— Вы что, собственно, дѣлаете?—спрашивалъ я врачей этихъ госпиталей.

— Что дѣлаемъ? *Записываемъ проѣзжающихъ раненыхъ*,—съ усмѣшкою отвѣчали врачи.—То идѣло телеграммы: „немедленно всѣхъ эвакуировать“... Записанные ставятся на довольствіе. А на довольствіе каждого нижняго чина полагается *шестьдесятъ копѣекъ* въ сутки, на довольствіе офицера—*рубль двадцать копѣекъ*. Смотрители ходятъ и потираютъ руки.

Такъ работали госпитали въ нашей мѣстности. А въ мукденскихъ каменныхъ баракахъ, которые мы сдали госпиталямъ другой дивизіи нашего корпуса, въ это время происходило вотъ что.

Въ бараки непрерывно прибывали раненные. Какъ будто прорвало какую-то плотину. Везли, везли. Шли пѣшкомъ. Приходили пѣшкомъ раненные въ животь. Во всѣ двери валили люди въ окровавленныхъ повязкахъ. Въ одномъ изъ бараконъ было триста мѣстъ, въ другомъ—сто восемьдесятъ. Теперь въ каждый изъ нихъ набилось больше тысячи раненыхъ. Не хватало не только коекъ,—давно ужъ не хватало соломы и цыновокъ, не хватало мѣста подъ кровлю. Раненные лежали на полу между коекъ, лежали въ проходахъ и сѣняхъ бараконъ, наполняли разбитые около бараконъ госпитальные шатры. И всетаки мѣста всѣмъ не хватало. Они лежали подъ открытымъ небомъ, подъ дождемъ и холоднымъ вѣтромъ, окровавленные, трясушіеся и промокшіе, и въ воздухѣ стоялъ какой-то дрожащій, сплошной стонъ отъ холода.

„Прикомандированные“ врачи, которые при насъ безъ дѣла толклись въ баракахъ, теперь всѣ были разосланы Горбацевичемъ по полкамъ; они уѣхали въ однихъ шведскихъ курткахъ, безъ шинелей: Горбацевичъ такъ и не позволилъ имъ сѣздить въ Харбинъ за ихъ вещами. Всю громадную работу въ обоихъ мукденскихъ баракахъ дѣлали теперь восемь штатныхъ ординаторовъ. Они безсмѣнно работали день и ночь,

еле стоя на ногахъ. А раненыхъ все подносили и подвозили.

На кухняхъ не хватало котловъ. Сколько ихъ было, во всѣхъ наварили супу, рассчитывая, что проголодавшиеся раненные будутъ хотѣть ѣсть. Но большинство прибывшихъ просило пить, а не ѣсть; они отворачивались отъ теплаго, соленого супа и просили воды. Воды не было: кипяченой негдѣ было приготовить, а сырой не рѣшались давать, потому что кругомъ свирѣпствовали дизентерія и брюшной тифъ.

Что же дѣлали эти мукденскіе бараки?

Они—они тоже „эвакуировали“, и только. И было это еще курьезнѣе, чѣмъ у насъ. Эвакуировали они не только раненыхъ, привезенныхъ непосредственно съ позицій. Шедшіе съ юга санитарные теплушечные поѣзда останавливались въ Мукденѣ, раненыхъ выгружали, переносили въ бараки, а на завтра снова тащили на вокзалъ, грузили въ теплушки и отправляли дальше на сѣверъ. Можно было бы думать, что какой-то злобный дьяволъ нарочно устраиваетъ все это, чтобы повеселиться надъ безмѣрными людскими муками. Но нѣтъ, дьяволъ былъ не злобный и не имѣлъ охоты веселиться; былъ онъ съ сухою, безстрастною бумажною душою, съ дѣловито-суетливымъ взглядомъ, и полагалъ, что дѣлаетъ самое настоящее дѣло.

То и дѣло въ бараки приходили телеграммы отъ военно-медицинскаго начальства: немедленно эвакуировать четыреста человѣкъ, немедленно эвакуировать семьсотъ человѣкъ... Охваченное какимъ-то непонятнымъ, безумнымъ бредомъ, начальство думало только объ одномъ: поскорѣе забросить раненыхъ какъ можно дальше отъ позицій. Бой на Шахе не кончился отступленіемъ арміи,—все равно! Онъ могъ кончиться отступленіемъ,—и вотъ тяжко раненыхъ, которымъ нужнѣе всего былъ покой, цѣлыми днями нагружали, выгружали,

таскали съ мѣста на мѣсто, трясли и перетряхивали въ двуколкахъ и теплушкахъ.

По окончаніи боя Куропаткинъ съ чувствомъ большого удовлетворенія телеграфировалъ военному министру для доклада царю:

„Во время боевъ съ 25 сентября по 8 октября изъ района боевыхъ дѣйствій маньчжурской арміи вывезено въ Мукденъ, а отсюда эвакуировано въ тылъ: раненыхъ и больныхъ офицеровъ 945, нижнихъ чиновъ—31.111. Эвакуація столь значительнаго числа раненыхъ исполнена въ такой короткій срокъ, благодаря энергіи, распорядительности и совмѣстной дружной работѣ чиновъ санитарнаго и медицинскаго вѣдомства“.

Всѣ раненые въ одинъ голосъ заявляли, что ужасны не столько раны, сколько перевозка въ этихъ адскихъ двуколкахъ и теплушкахъ. Больные съ полостными ранами гибли въ нихъ, какъ мухи. Счастливы были тотъ раненый въ животъ, который дня три-четыре провалялся на полѣ сраженія неподобреннымъ: онъ лежалъ тамъ безпомощный и одинокій, жаждалъ и мерзнулъ, его каждую минуту могли загрызть стаи голодныхъ собакъ,—но у него былъ столь нужный для него *покой*; когда его подбирали, брюшныя раны до извѣстной степени уже склеились, и онъ *былъ* въ опасности.

Нарушая прямые приказы начальства, врачи мукденскихъ бараконъ на свой рискъ отдѣлили часть барака подъ полостныхъ раненыхъ и не эвакуировали ихъ. Результатъ получился поразительный: *всѣ они*, двадцать четыре человѣка, выздоровѣли, только одинъ получилъ ограниченный перитонитъ, одинъ—гнойный плевритъ, и оба поправились.

Подъ конецъ боя бараки посѣтилъ намѣстникъ и раздавалъ раненымъ солдатамъ георгіевъ. По уходѣ намѣстника всѣ хохотали, а его адъютанты сконфуженно разводили руками и признавались, что, соб-

ственно говоря, всѣхъ этихъ георгіевъ слѣдовало бы отобрать обратно.

Идетъ намѣстникъ, за нимъ свита. На койкѣ лежитъ блѣдный солдатъ, надъ его животомъ огромный обручъ, на животѣ ледъ.

— Ты какъ раненъ?

— Значить, иду я, ваше высокопревосходительство, вдругъ ка-акъ она меня саданетъ, прямо въ животъ! Не помню, какъ, не помню, что...

Намѣстникъ вѣшаетъ ему георгія. Но кто же была эта она? Шимоза? О, нѣтъ: обозная фура. Она опрокинулась на косогорѣ и придавила солдата-конюха. Порохового дыма онъ и не нюхалъ.

Получили георгія солдаты, раненные въ спину и въ задъ во время бѣгства. Получили больше тѣ, которые лежали на виду, у прохода. Лежавшіе дальше, къ стѣнамъ, остались ненагражденными. Впрочемъ, одинъ изъ нихъ напелся; онъ ужъ поправлялся, и ему сказали, что на дняхъ его выпишутъ въ часть. Солдатъ пробрался межъ раненныхъ къ проходу, вытянулся передъ намѣстникомъ и заявилъ:

— Ваше высокопревосходительство! Прикажете выписать меня въ строй. Желая еще послужить царю и отечеству.

Намѣстникъ благосклонно оглядѣлъ его.

— Это пусть доктора рѣшаютъ, когда тебя выписать. А пока—вотъ тебѣ.

И онъ повѣсилъ ему на халатъ георгія.

Теперь пришлось повѣрить и слышаннымъ мною раньше рассказамъ о томъ, какъ раздавалъ намѣстникъ георгіевъ; получилъ георгія солдатъ, который въ пьяномъ видѣ упалъ подъ поѣздъ и потерялъ обѣ ноги; получилъ солдатъ, которому его товарищъ разбилъ въ дракѣ голову бутылкою. И многіе въ такомъ родѣ.

Въ теченіе боя, какъ я ужъ говорилъ, въ каждомъ изъ бараконъ работало всего по четыре штатныхъ орди-

натора. Кончился бой, схлынула волна раненых,—и изъ Харбина на помощь врачамъ прибыло *пятнадцать* врачей изъ резерва. Дѣлать теперь имъ было рѣшительно нечего.

Начальство за время боя въ бараки не заглядывало,—теперь снова оно зачастило. Снова пошли распеканія, угрозы арестомъ и безтолковья, противорѣчащія другъ другу приказанія.

Является Горбацевичъ.

— Что это такое?! Шинели больныхъ валяются на кроватяхъ!

— Нѣтъ цейхауза, ваше превосходительство.

— Такъ вбейте гвоздики надъ каждою кроватью, пусть висятъ на гвоздикахъ.

Вбили. Является Треповъ.

— Что это тутъ за цейхаузъ? Чего вы этихъ шинелей понавѣшали? Загородили весь свѣтъ, набиваете пыль и заразу!

— Такъ приказалъ г. полевой медицинскій инспекторъ.

— Сейчасъ же убрать!

Инспекторъ госпиталей Езерскій,—у этого было свое дѣло. Дежурить только что призванный изъ запаса молодой врачъ. Онъ сидитъ въ пріемной за столомъ и читаетъ газету. Вошелъ Езерскій, прошелся по палатамъ разъ, другой. Врачъ посмотрѣлъ на него и продолжаетъ читать. Езерскій подходитъ и спрашиваетъ:

— Сколько у васъ больныхъ?

— Больныхъ?.. Можно сейчасъ посмотрѣть,—благодарно заявляетъ врачъ и тянется къ книгѣ, куда записываютъ больныхъ.

— Скажите, пожалуйста: вы вотъ видите, по палатамъ ходитъ совсѣмъ чужой человѣкъ. А вы на это даже не обращаете вниманія и продолжаете читать газету. Можетъ быть, я сумасшедшій?

Врачъ поднялъ брови, оглядѣлъ генерала и чуть

пожалъ плечомъ: дескать, на видъ какъ будто незна-
мѣнно.

Генераль разсвирѣпѣлъ, сталъ кричать. Врачъ со-
образилъ, что передъ нимъ какое-то начальство, всталъ
и вытянулся.

— Подъ арестъ на семь сутокъ!

Вошелъ ординаторъ; съ рукою къ козырьку, гово-
рить генералу:

— Простите, ваше превосходительство, въ этомъ
виноваты мы. Товарищъ только что прибылъ изъ за-
паса, военныхъ правилъ не знаетъ, а мы его не обучили.

— Что? Заступаться? Подъ арестъ на трое сутокъ!

Въ Мукденѣ шла описанная толчея. А мы въ своей
деревнѣ не спѣша принимали и отправляли транспорты
съ ранеными. Къ счастью раненыхъ, транспорты за-
ѣзжали къ намъ все рѣже. Опять всѣ бездѣльничали
и изнывали отъ скуки. На югѣ попрежнему гремѣли
пушки, часто доносились ружейная трескотня. Нѣ-
сколько разъ японскіе снаряды начинали ложиться и
рваться близъ самой нашей деревни.

У насъ расхворалась одна изъ штатныхъ сестеръ,
за нею слѣдомъ—сверхштатная, жена офицера. Въ сул-
тановскомъ госпиталѣ заболѣла красавица Вѣра Нико-
лаевна. У всѣхъ трехъ оказался брюшной тифъ; онѣ
захватили его въ Мукденѣ, ухаживая за больными. За-
болѣвшихъ сестеръ эвакуировали на санитарномъ по-
ѣздѣ въ Харбинъ.

Въ нашей деревнѣ стоялъ также штабъ одной пѣ-
хотной дивизіи. Въ штабъ то и дѣло приводили подъ
конвоемъ съ позицій китайцевъ, связанныхъ между
собою за косы. Тутъ же, за околицею деревни, имъ ру-
били головы. Отовсюду шли смутные, волнующіе слухи
о предательствахъ китайцевъ. Рассказывали, что они
снуютъ между позиціями, сигнализируютъ японцамъ
съ крышъ, деревьевъ и сопокъ, обстрѣливаютъ наши

транспорты съ ранеными и отступающія войска; невидимо и неуловимо, то и дѣло въ самыхъ важныхъ мѣстахъ прерывались наши телеграфныя и телефонныя сообщенія.

Въ этихъ разсказахъ было много справедливаго: китайцевъ-сигнальщиковъ нерѣдко ловили на мѣстѣ преступленія; подъ китайскою одеждою бродячаго фокусника оказывался японскій шпионъ съ привязанною косою; японцы съ поразительною точностью знали расположение всѣхъ нашихъ частей, знали о всѣхъ нашихъ передвиженіяхъ. Создавалось ощущеніе тихо скользящаго кругомъ тайнаго, повсемѣстнаго предательства, каждый китаецъ вызывалъ подозрѣніе. А изъ этого выросло что-то чудовищное, что было бы смѣшнымъ, если бы не было ужаснымъ.

Въ сосѣдней деревнѣ китаецъ влѣзъ съ снопомъ каоляна на крышу своей фанзы, чтобы задрѣзать въ ней дыру. Снопъ замелькалъ въ воздухѣ. Увидѣлъ это казакъ,—и китаецъ, пробитый пулею, покатился съ крыши. Верстахъ въ трехъ впереди насъ скрытно стояла за рощею наша мортирная батарея; японцы никакъ не могли ее нащупать, не подозрѣвая, что она стоитъ такъ близко къ нимъ. Случайно мимо батареи прошло нѣсколько китайцевъ, пробиравшихся изъ Мукдена въ свою деревню за припасами. Ихъ всѣхъ перехватили и порубили. Въ нашъ госпиталь приносили съ позицій раненыхъ нанятые китайцы; для обратнаго возвращенія они просили у насъ „пиши-пиши“ (записки): а то солдаты скажутъ, что хунхуа, и сдѣлаютъ „кантрами“ *). Дѣйствительно, и на Шахе, и подъ Ляояномъ немало

*) *Кантрами* или *кантами* значить „голову долой“. Но это не китайское слово. Въ сношеніяхъ съ китайцами мы употребляли цѣлый рядъ словъ, относительно которыхъ происходило курьезнѣйшее недоразумѣніе: мы думали, что эти слова—китайскія, а китайцы думали, что эти слова—русскія. Таковы *кантрами* (по китайски *кханноуде*), *шанго* (хорошо, по китайски—*жао*) и др.

китайцевъ, нанятыхъ русскими для переноски раненыхъ, русскими же были перебиты, какъ шпионы.

Не одинъ китаецъ палъ жертвою... гелиографа! Большинство нашихъ солдатъ рѣшительно ничего не знало о гелиографѣ и объ его употребленіи въ русской арміи. Вдали, гдѣ тянутся туманно-голубыя горы, на сопкѣ ярко и таинственно начинаетъ свѣтиться какой то мелькающій огонекъ. Помелькаетъ минуты двѣ-три и исчезнетъ. Въ сосѣдней деревнѣ, надъ крышами, вдругъ тоже ослѣпительно-ярко блеснетъ межъ деревьевъ прерывистый свѣтъ, и снова въ отвѣтъ ему зловѣще замерцаетъ огонекъ на далекой голубой сопкѣ. И всѣхъ охватываетъ волнующее ощущеніе тайны и предательства, желаніе что-то сдѣлать, предупредить...

Я ѣхалъ какъ-то верхомъ съ однимъ знакомымъ офицеромъ. На крышѣ китайской фанзы работали два сапера-гелиографиста. Мы остановились посмотриѣть. Вдругъ съ дерева посыпались перебитыя вѣточки, въ воздухъ зажужжали пули, а саперы кубаремъ скатились съ крыши. Въ деревню во весь карьеръ влетѣли казаки.

— Сейчасъ на крышѣ два китайца давали сигналы зеркалами. Одного мы подстрѣлили, а другой соскочилъ и убѣжалъ. Не видали ли вы, куда онъ побѣгъ?

— Подлецы вы, сукины дѣти! Аль вамъ глаза запылило? Это вы по насъ стрѣляли!—накинулись саперы на сконфуженныхъ казаковъ.

Саперные офицеры рассказывали мнѣ, что отъ солдатъ и казаковъ не разъ жестоко попадало китайцамъ деревень, въ которыхъ работалъ гелиографъ.

И повсюду, по самымъ разнымъ поводамъ, происходили горькія ошибки, которыхъ ужъ нельзя было поправить. Однажды командиръ нашего корпуса проѣзжалъ черезъ китайскую деревню. Изъ-за угла глинянаго забора по генералу раздалось подрядъ два выстрѣла. Конвойные казаки бросились за уголъ, изрубили шаш-

ками двухъ китайцевъ, захватили еще пятерыхъ. Черезъ нѣсколько дней захваченныхъ казнили и закопали на берегу рѣчки. Дожди размыли край берега, изъ глины торчали ноги въ синихъ штанахъ и черныхъ туфляхъ на бѣлыхъ подверткахъ. А много позднѣе отъ одного изъ штабныхъ офицеровъ я узналъ подъ строжайшимъ секретомъ вотъ что: уже послѣ казни китайцевъ оказалось, что стрѣляли вовсе не они, и стрѣляли не по генералу; въ деревню заѣхали два казака и стали охотиться на китайскую свинью; свинья перебѣжала дорогу, казаки стали по ней стрѣлять и второпяхъ не замѣтили приближавшейся изъ-за угла коляски съ генераломъ; они увидѣли, что попали въ исторію, и ускакали, а за нихъ поплатились мѣстные китайскіе мужики. Потомъ эти казаки сами рассказали обо всемъ конвойнымъ казакамъ. Генераль строжайше приказалъ всѣмъ молчать о случившемся недоразумѣніи.

Когда кругомъ темно, когда въ душѣ—чутко-насторожившееся подозрѣніе, ошибки такъ легки! Ошибки горькія, ужасныя. И къ этимъ ошибкамъ всѣ относились съ безтрепетнымъ равнодушіемъ: что же дѣлать! Кто ихъ тамъ разберетъ! Есть время возиться съ ними!.. Среди стриженныхъ людей съ бѣлыми лицами были желтолицыя люди съ длинными косами. И жизнь этихъ желтолицыхъ людей стала дешевле взмаха руки. Никто не требовалъ отчета отъ убійцъ желтаго человѣка. У него можно было отнять жизнь по ошибкѣ, по неохотѣ разобрать дѣло, просто потому, что хочется размахнуться шашкою. Кровавый туманъ поднимался, окутывалъ и опьянялъ души, беззащитность, какъ нагая женщина съ связанными руками, тянула къ себѣ и будила желанія. Вотъ, передъ тобою человѣкъ, что-то драгоценное и запретное; а тутъ захотѣлъ,—ударь его шашкою, выстрѣли въ него изъ винтовки.

На правомъ флангѣ въ китайскую деревню заѣхалъ

отрядъ черкесовъ. Китайцы окружили ихъ и стали глазѣть на невиданую форму. Вдругъ черкесы выхватили пашки и стали рубить толпу,—мужчинъ, женщинъ, дѣтей. За что? Объяснили они очень просто:

— Мѣшалы ѣхать!

Казакамъ поручали отвести захваченныхъ на позиціи китайцевъ въ штабъ. Если китайцевъ отправляли при бумагахъ, казаки доставляли ихъ на мѣсто; если бумаги не было, то поступали проще. „Вотъ еще, полдня съ ними канителиться!“ Заведутъ въ каолянъ, изрубятъ пашками и закидаютъ трупы каоляномъ.

Если у солдатъ, стоявшихъ по деревнямъ, происходило недоразумѣніе съ хозяиномъ-китайцемъ, солдаты грозились китайцу:

— Ты у насъ поговори!.. Пойдемъ, скажемъ ротному, что ты на солдата ножомъ замахнулся, — тебѣ кантрами одѣлаютъ!

Однажды ѣхалъ я верхомъ; въ канавѣ возлѣ дороги валялись два только что убитыхъ китайца; оба окровавленные, одинъ еще дышалъ тяжело и медленно. Проѣзжіе останавливались, смотрѣли и равнодушно ѣхали дальше. Лошади, тѣ настораживали уши, дико храпѣли и шарахались въ сторону. Люди смотрѣли съ чуждымъ любопытствомъ зѣвакъ, въ душахъ не было смятенія, не было извѣчнаго ужаса передъ уничтоженіемъ жизни: жизнь длинноволосаго желтаго человѣка уже перестала чувствоваться, какъ жизнь.

Вскорѣ все еще больше замѣшалось. И въ глубинѣ Россіи уже одинаково бѣлолицые люди перестали чувствовать жизнь одинъ въ другомъ.

Наша деревня съ каждымъ днемъ разрушалась. Фанзы стояли безъ дверей и окованныхъ рамъ, со многихъ уже сняты были крыши; глиняныя стѣны поднимались среди опустошенныхъ дворовъ, усѣянныхъ

осколками битой посуды. Китайцевъ въ деревнѣ уже не было. Собаки уходили со дворовъ, гдѣ жили теперь чужіе люди, и,—голодные, одичалые,—большими стаями бѣгали по полямъ.

Въ сосѣдней деревушкѣ, въ убогой глиняной лачугѣ, лежала больная старуха-китаянка; при ней остался ея сынъ. Увести ее онъ не могъ: казаки угнали муловъ. Окна были выломаны на костры, двери сняты, мебель пожжена, всѣ запасы отобраны. Голодные, они мерзли въ разрушенной фанзѣ. И вдругъ до насъ дошла страшная вѣсть: сынъ своими руками зарѣзалъ больную мать и ушелъ изъ деревни.

Воротился изъ Мукдена нашъ хозяинъ. Увидѣлъ онъ свою разграбленную фанзу, ахнулъ, покачалъ головою. Съ своею ужасною, любезно-вѣжливою улыбкою подошелъ къ вывороченной двери погреба, спустился, посмотрѣлъ и вылѣзъ обратно. Неподвижное лицо не выражало ничего.

Подъ вечеръ китаецъ сидѣлъ съ фельдшеромъ на стволѣ дерева, срубленнаго нами на его огородѣ. Любопытствующимъ голосомъ онъ спрашивалъ фельдшера:

— Ходя (пріятель), твоя мадама ю (у тебя жена есть)?

— Ю (есть),—отвѣчалъ фельдшеръ.

— Маленька ю?—спрашивалъ китаецъ и показывалъ рукою на полъ-аршина отъ земли.

— И ребята есть.

Фельдшеръ вздохнулъ и задумался. А китаецъ тихимъ, безстрастнымъ голосомъ рассказывалъ, что у него тоже есть „мадама“ и трое ребятъ, что всѣ они живутъ въ Мукденѣ. А Мукденъ, какъ мухами, набитъ китайцами, бѣжавшими и выселенными изъ занятыхъ русскими деревень. Все очень вздорожало, за уголь фанзы требуютъ по десять рублей въ мѣсяцъ, „палка“ луку стоитъ копейку, пудъ каоляна — полтора рубля. А денегъ взять негдѣ.

Онъ сидѣлъ понурившись, исхудалый, съ ровно-смуглымъ, молодымъ цвѣтомъ кожи на красивомъ лицѣ. Фельдшеръ далъ ему кусокъ чернаго хлѣба. Китаецъ жадно закусилъ хлѣбъ своими кривыми зубами.

Отъ колодца прошелъ нашъ кашеваръ съ четырех-угольнымъ чернымъ ведромъ въ рукахъ.

— А, ходя! Здравствуй!—весело крикнулъ онъ китайцу.

Китаецъ привѣтливо кивнулъ въ отвѣтъ.

— Дліастъ!—И съ вѣжливо-любезною улыбкою онъ указалъ рукою на ведро.

— Что? Твое ведро?

— Моя!—улыбнулся китаецъ.

— Какъ это ты, ходя, сюда въ деревню пробрался?—спросилъ фельдшеръ.—У насъ тутъ всѣхъ китаевъ выселили. Пойдешь назадъ, попадешься казакамъ,—кантрами тебѣ сдѣлають.

— Моя не боиса!—равнодушно отвѣтилъ китаецъ.

На вечерней зарѣ онъ ушелъ изъ деревни, и больше мы его ужъ не видѣли.

За ужиномъ главный врачъ, вздыхая, ораторствовалъ:

— Да! Если мы на томъ свѣтѣ будемъ горѣть, то мнѣ придется попасть на очень горячую сковороду. Вотъ, приходилъ сегодня нашъ хозяинъ. Должно быть, онъ хотѣлъ взять три мѣшка рису, которые зарылъ въ погребъ; а ихъ ужъ раньше откопала наша команда. Онъ, можетъ быть, только на нихъ и рассчитывалъ, чтобъ не помереть съ голоду, а поѣли рисъ наши солдаты.

— Позвольте! Вы это знали,—какъ-же вы это могли допустить?—спросили мы.

Главный врачъ забѣгалъ глазами.

— Я это только что самъ узналъ.

— Только вы одинъ во всемъ этомъ и виноваты,—рѣзко сказалъ Селюковъ. — Вотъ, недалеко отъ насъ

дивизионный лазаретъ: смотритель собралъ команду и объявилъ, что перваго-же, кто попадется въ мародерствѣ, онъ отдастъ подъ судъ. И мародерства нѣтъ. Но, конечно, онъ при этомъ покупаетъ солдатамъ и припасы, и дрова.

Воцарилось „неловкое молчаніе“. Деньщики съ неподвижными лицами стояли у дверей, но глаза ихъ смѣялись.

— Вообще, нѣтъ ничего болѣе позорнаго и безобразнаго, чѣмъ война!—вдохнулъ главный врачъ.

Всѣ молчали.

— Я вѣрю, что со временемъ Европа получитъ отъ Востока жестокое возмездіе, — продолжалъ главный врачъ.

Деликатный Шанцеръ не выдержалъ и заговорилъ о желтой опасности, объ извѣстной картинѣ германскаго императора.

Послѣ ужина деньщики, посмѣиваясь, сообщили намъ, что про мѣшки съ рисомъ главный врачъ знаетъ съ самаго начала; солдатамъ, откопавшимъ рисъ, онъ далъ по двугривенному, а рисомъ этимъ кормить теперь команду.

Тотъ дивизионный лазаретъ, о которомъ упомянулъ Селюковъ, представлялъ собою какой-то удивительный, свѣтлый оазисъ среди бездушно-черной пустыни нашего хозяйничанія въ Маньчжуріи. И причиною этого чрезвычайнаго явленія было только то, что начальникъ лазарета и смотритель были элементарно - честными людьми и не хотѣли наживаться насчетъ китайцевъ. Мнѣ пришлось быть въ деревнѣ, гдѣ стоялъ этотъ лазаретъ. Деревня имѣла необычайный, невѣроятный видъ: фанзы и дворы стояли нетронутые, съ цѣльными дверями и окнами, съ скирдами хлѣба на гумнахъ; по улицамъ рѣзвились китайскіе ребятишки, безъ страха ходили женщины, у мужчинъ были веселыя лица. Кумирня охранялась часовымъ. По улицамъ днемъ и

ночью расхаживали патрули и, къ великому изумленію забиравшихся въ деревню чужихъ солдатъ и казаковъ, безпощадно арестовывали мародеровъ.

И какое-же зато было тамъ у китайцевъ отношеніе къ русскимъ! Мы часто цѣлыми днями сидѣли безъ самаго необходимаго, — тамъ былъ полный избытокъ во всемъ: китайцы, какъ изъ-подъ земли, доставали русскимъ рѣшительно все, что они спрашивали. Никто тамъ не боялся хунхузовъ, глухою ночью всѣ ходили по деревнѣ безоружные.

О, эти хунхузы, шпионы, сигнальщики! Какъ бы ихъ было ничтожно-мало, какъ бы легко было съ ними справиться, если бы русская армія хоть въ отдаленной мѣрѣ была тою внѣшне и морально дисциплинированной арміей, какою ее изображали въ газетахъ живые корреспонденты-патріоты...

Бой постепенно, незамѣтно затихалъ. Двѣ огромныя волны раскатились, сшиблись и теперь медленно оттекали обратно. Обѣ арміи за небольшими измѣненіями остались на своихъ мѣстахъ. Рѣже и глуше грохотали пушки, все меньше шло раненыхъ. Русскіе и японцы сидѣли другъ противъ друга въ залитыхъ дождями окопахъ, шагахъ въ трехстахъ разстоянія, и стыли по колѣно въ водѣ, скорчившись за брустверами. Кто неосторожно выглядывалъ, сейчасъ-же получалъ въ голову пулю. Въ госпиталя теперь повалили больные съ бронхитами, ревматизмами и лихорадками.

Къ намъ забѣжала оживленная Зинаида Аркадьевна и сообщила, что отобраніе у японцевъ шестнадцати орудій и взятіе сопки съ деревомъ рѣшено раздуть въ грандіозную побѣду и приступить къ переговорамъ о мирѣ. Слухъ этотъ сталъ распространяться. Нѣкоторые офицеры сдержанно замѣчали:

— Самый благопріятный моментъ для мира. Пози-

ціи мы удержали, къ переговорамъ приступимъ не какъ побѣжденные...

Другіе возмущались.

— Какъ? Вполнѣ ясно, въ войнѣ наступаетъ переломъ! До сихъ поръ мы все отступали, теперь удержались на мѣстѣ. Въ слѣдующій бой разобьемъ япошекъ. А ихъ только разъ разбить,—тогда такъ и побѣгутъ до самаго моря. Главная работа будетъ ужъ казакамъ... Войскъ у нихъ больше нѣтъ, а къ намъ подходятъ все новыя... Наступаетъ зима, а японцы привыкли къ жаркому климату. Вотъ увидите, какъ они у насъ тутъ зимою запищатъ!

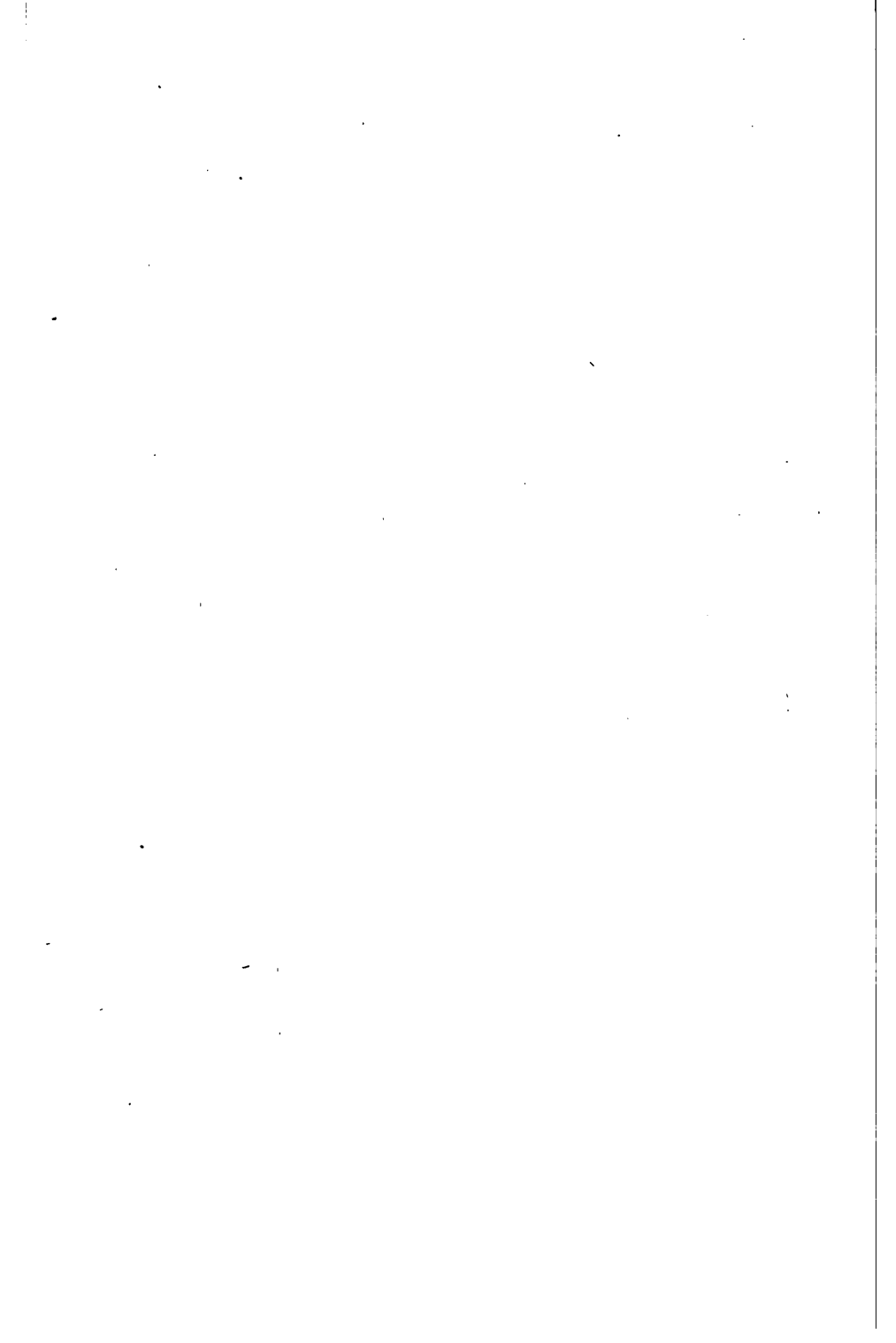
Большинство офицеровъ насчетъ зимы соглашалось, но въ общемъ молчало и не высказывалось.

Отъ бывшихъ на войнѣ съ самаго ея начала я не разъ впослѣдствіи слышалъ, что наибольшей высоты всеобщее настроеніе достигло во время Ляоянскаго боя. Тогда у всѣхъ была вѣра въ побѣду, и всѣ вѣрили, не обманывая себя; тогда „рвались въ бой“ даже тѣ офицеры, которые черезъ нѣсколько мѣсяцевъ толпами устремлялись въ госпитали при первыхъ слухахъ о боѣ. Я этого подъема уже не засталъ. При мнѣ все время, изъ мѣсяца въ мѣсяцъ, настроеніе медленно и непрерывно падало. Люди хватались за первый намекъ, чтобъ удержать остатокъ вѣры.

Раньше говорили, что японцы—природные моряки, что мы ихъ будемъ бить на сушѣ; потомъ стали говорить, что японцы привыкли къ горамъ, что мы ихъ будемъ бить на равнинѣ. Теперь говорили, что японцы привыкли къ лѣту, и мы будемъ ихъ бить зимою. И всѣ старались вѣрить въ зиму.

Н. ГАРИНЪ.

ИНЖЕНЕРЫ.



I.

—„Довольно!“

И освѣтились вдругъ весь этотъ громадный залъ въ два свѣта, экзаменаціонные зеленые столы, черныя доски. И это онъ, Карташовъ, стоялъ и это ему говорилъ профессоръ, пробѣжавъ глазами исписанную доску:

—Довольно!

Тамъ въ открытыхъ окнахъ былъ май, легкій вѣтерокъ качалъ занавѣски, доносился аромат распускающихся деревьевъ, сверкало солнце, грохотали мостовыя. Карташовъ кладетъ въ послѣдній разъ въ жизни этотъ мѣлъ и повторяетъ мысленно „довольно“, стараясь какъ можно сознательно пережить это мгновение. Итакъ довольно, онъ—инженеръ. То, къ чему четырнадцать лѣтъ стремился съ многотысячнымъ рискомъ сорваться—достигнуто.

Какимъ недостижимымъ еще вчера казалось это счастье и отчего теперь, когда цѣль достигнута, безумная радость не охватываетъ его неудержимымъ порывомъ, отчего онъ чувствуетъ только, что усталъ, что хочетъ спать и что то, къ чему онъ стремился теперь, когда это достигнуто, кажется ему такимъ ничтожнымъ, нестоящимъ...

И потомъ, положивъ мѣлъ и отойдя вглубь залы, Карташовъ продолжалъ ощущать все ту же охватив-

шую его пустоту, въ которой какъ будто вдругъ потерялъ себя.

Ему казалось, что нѣтъ больше ни его, ни всѣхъ этихъ людей здѣсь стоявшихъ, волновавшихся. Что всѣ они только тѣни, быстро, быстро проносящіяся въ пространствахъ времени.

И что всѣ эти радости, горе? Что вѣчно среди этого измѣняющагося, равнодушнаго, неудержимо несущагося впередъ?

Двадцать пять лѣтъ его жизни казались ему теперь только однимъ промчавшимся мгновеньемъ, въ которомъ такъ ярко помнилъ онъ все, всякую мелочь. И въ то же время такъ скучно, такъ ничтожно, такъ прозаично это все. И все-таки хорошъ этотъ день, этотъ ясный радостный май, въ открытыхъ окнахъ эти ароматные вздохи вѣтерка, тянущаго съ собой привѣтъ полей, лѣсовъ. Онъ поѣдетъ скоро туда, опять увидитъ свою Новороссію, ея степи неподвижныя, безмолвныя съ угрюмыми скирдами сѣна на горизонтѣ, ясную тихую рѣчку въ камышахъ съ далекою далью селъ, церквей, бѣлыхъ хатокъ, высокихъ и стройныхъ тополей. И спать это все тамъ теперь въ яркомъ сіяньи веселаго дня, молодой весны, радостныхъ надеждъ.

Правда, тамъ нѣтъ лѣсовъ. Здѣсь подъ Петербургомъ онъ только узналъ эти лѣса, полянки среди нихъ, здѣсь подъ Петербургомъ только узналъ онъ и аромат этихъ распускающихся лѣсовъ и мощное пробужденіе ихъ сразу отъ зимней спячки. Осень на югѣ, весна на сѣверѣ. А эти ночи свѣтлыя, бѣлыя,—дни во снѣ, молчаливыя, свѣтлыя, ароматныя. Этотъ аромат распускающихся душистыхъ тополей и сейчасъ несется съ острововъ. Ахъ, эти острова, ихъ сочная зелень, близость ихъ другъ къ другу, голубыя полосы окружающей ихъ со всѣхъ сторонъ воды. Карташовъ вдохнулъ всей грудью. Вездѣ прекрасна природа и жизнь ея и красивѣе, и законнѣе людской жизни. Радость ея—ра-

дось всѣхъ, а радость одного человѣка—всегда горе для другихъ.

Вотъ онъ, Карташовъ, радуется, что кончилъ курсъ, что инженеръ онъ теперь. А основа этой радости? Кончилъ за счетъ тысячъ другихъ обездоленныхъ. Кончилъ и обезпеченъ и будетъ сытъ все за тотъ же счетъ другихъ голодныхъ.

А можно какъ-нибудь измѣнить все это?

Карташовъ поднялъ голову и слѣдилъ въ окно за птичкой, нырявшей въ радостной синевѣ безмятежнаго неба.

Когда-то въ гимназіи онъ думалъ съ другими, что можно. Теперь, когда онъ узналъ жизнь... Теперь онъ думалъ, что нельзя? Теперь онъ ничего не думаетъ. Ему показалось вдругъ, что онъ совсѣмъ еще маленький въ своемъ саду, Тема—котораго мама ведетъ за руку по дорожкамъ душистаго сада въ такой же ясный день, а онъ идетъ лѣнивый, безпечный и не хочетъ даже и думать, куда ведетъ его мама, зачѣмъ ведетъ: умытъ-ли, ногти остричь или почитать съ нимъ что-нибудь.

Къ Карташову подошелъ его товарищъ, Володька Шуманъ-толстый, веселый, добродушный.

— Ну, поздравляю.

Шуманъ еще вчера выдержалъ свой послѣдній экзамень. Онъ пожалъ руку Карташову и продолжалъ:

— Ну-съ? Я вчера тоже такъ.—Ничего: пройдетъ. Выспишься... Сегодня проснулся и первая мысль, что никогда больше ни одного экзамена держать не надо. Хорошо!

Онъ спохватился и, весело раздувая ноздри, сказалъ шопотомъ:

— Однако, пожалуй, на прощанье выведутъ.

Онъ еще потоптался на мѣстѣ и спросилъ:

— Ты что сегодня думаешь дѣлать?

И, не ожидая отвѣта, сказалъ:

—Хочешь, поѣдемъ на острова, потомъ куда-нибудь еще закатимся... Ты вотъ что: иди пообѣдай теперь, потомъ выпишь и часамъ къ семи приѣзжай ко мнѣ. Идешь?

— Идешь.

Шуманъ озабоченно пожалъ руку Карташова и сказалъ:

— А теперь я пошелъ.

Смѣшно переваливаясь мелкими быстрыми шагами, пошелъ къ двери.

И Карташовъ двинулся за нимъ, въ послѣдній разъ обводя экзаменаціонный залъ и все стараясь отдать себѣ ясный отчетъ въ переживаемомъ мгновеніи. Но ничего и изъ этого не выходило. Все было сѣро, буднично и обыкновенно.

Онъ устало, лѣнливо шагаль по лѣстницѣ и думаль: „самое пріятное, конечно, что больше никогда не будетъ экзаменовъ“.

И сейчасъ же подумаль:

„А можетъ быть что-нибудь будетъ гораздо худшее, во сто тысячъ разъ худшее, чѣмъ экзамены?“

Онъ тревожно сталъ рыться въ головѣ, что худшаго могло бы съ нимъ случиться? Умереть жена, дѣти, когда онъ женится? Но онъ никогда не женится. Что еще? Онъ приобрѣтетъ состояніе и потомъ потеряетъ его? Ему смѣшно стало. У него-то состояніе? Никогда у него ничего кромѣ долговъ не было и, конечно, никогда ничего другого и не будетъ. И на что это состояніе? Имѣть развѣ рублей тысячу... Онъ увидѣлъ швейцара Онуфріева, красное лицо котораго теперь расплылось отъ радости и сверкало какъ красный мѣдный шаръ.

— Съ окончаніемъ! Потрудились и наградишь Господь.

Это онъ-то, Карташовъ, потрудился? Ему стало совсѣмъ стыдно и онъ смущенно заговорилъ:

— Не можете ли, Онуфріевъ, дать мнѣ еще двадцать пять рублей?

Мысль эта у Карташова мелькнула вдругъ и надо было согласиться, что моментъ былъ выбранъ удачный. Расчувствовавшемуся Онуфріеву не удалось принять его обычный настороженный и даже неприступный видъ.

Онъ только нерѣшительно сказалъ:

— Не много-ли будетъ? Вѣдь триста съ хвостикомъ уже.

— Въ послѣдній разъ,—ласково просительно отвѣтилъ Карташовъ.

Онуфріевъ полѣзъ въ карманъ и, доставая изъ кожанаго кошелька точно для случая приготовленную двадцатипятирублевку, отдуваясь, обиженно проговорилъ, отдавая ее Карташову:

— Какъ тутъ вамъ откажешь? Только уже, пожалуйста, Артемій Николаевичъ,—продолжалъ Онуфріевъ, вынимая перо, чернила и бумагу для расписки,—вы уже не обидьте.

Ну, что, Богъ съ вами, Онуфріевъ,—усмѣхнулся Карташовъ.

Когда расписка была написана и спрятана, Онуфріевъ, подавая Карташову фуражку, добродушно говорилъ:

— Согрешить меня заставили, Артемій Николаевичъ,—вѣдь послѣ тѣхъ троекъ я на образа крестился, что больше вамъ не дамъ.

Да, это была глупая исторія съ этими тремя тройками тогда ночью, когда вдругъ онъ одинъ остался на нихъ среди ночи съ порученіями рассчитать ихъ, потому что всѣ деньги, какія были у компаніи, пошли на ужинъ, а такъ какъ онъ за ужинъ не платилъ, то ему и поручили, передавъ остатокъ въ 12 руб., рассчитаться съ этими тройками. Въ такомъ отчаянномъ положеніи онъ и поѣхалъ тогда къ Онуфріеву, поднявъ его съ кровати, а на попытку Онуфріева отказаться, сказалъ:

— Какіе пустяки вы говорите, Онуфріевъ, пока вы не заплатите, я не уйду отъ васъ, потому что ямщики меня убьютъ.

Это было такъ убѣдительно, что тутъ же повернувшись къ большому кіоту съ лампадкой, заставленному образами, взбѣшенный Онуфріевъ въ бѣлыхъ подштанникахъ, бѣлой рубахѣ, босой, красный, сіяющій гнѣвомъ, сказалъ, крестясь:

— Образами клянусь, что это въ послѣдній разъ и больше отъ меня не получите ни копѣйки.

Местъ этимъ не ограничилась. Надѣвъ галоши и пальто, онъ самъ пошелъ разсчитывать ямщиковъ, выражая этимъ подрывъ всякаго довѣрія. Это было, конечно, обидно, но дѣло сдѣлано и ямщики получили свои деньги и у него въ карманѣ еще осталось двѣнадцать рублей, которыхъ до поѣздки не было.

Было и еще кое-что, отчего Онуфріевъ охладѣлъ.

Какъ-то разъ Онуфріевъ позвалъ Карташова къ себѣ въ гости.

Приглашеніе было необычное. Карташовъ поблагодарилъ и пришелъ.

На столѣ стоялъ самоваръ, варенье, бутылка съ водкой, другая какая-то, ветчина.

За столомъ сидѣла худенькая тоненькая, почти подростокъ, свѣтлая блондинка съ маленькимъ птичьимъ личикомъ, смѣшно, точно въ миньятюрѣ, снятымъ съ лица самаго Онуфріева. И хотя первое впечатлѣніе и было далеко не въ пользу дѣвушки, но Карташовъ съ свойственной ему въ этомъ отношеніи добросовѣстностью уже нащупывалъ тѣ стороны, если не тѣла, то души ея, которыя вызвали бы и въ немъ симпатію. Было, конечно, некрасиво смотрѣть, какъ она прямо съ общаго блюдечка брала своей ложечкой варенье, съѣдала его, облизывала ложечку и опять брала ея варенье, какъ-то сгибая такъ пальцы, какъ будто бы шила. Но при всемъ томъ въ ней не чувствовалось

увѣренности, что такъ и надо было дѣлать. Напротивъ — робость, нерѣшительность, она какъ будто искала опоры и навѣрно, если бы Карташовъ сказалъ ей, какъ надо дѣлать, она и дѣлала бы все, что надо, не хуже всѣхъ другихъ.

Послѣ чаю Онуфриевъ, сказавъ дочери сухо „уйди“, наклонился довѣрчиво къ Карташову и заговорилъ, понижая голосъ:

— Спасибо вамъ, Артемій Николаевичъ, что не брезгали и зашли. Очень полюбилъ я васъ. Простите за слово, какъ отецъ сына... Тридцатый годъ доходить, что я швейцаромъ въ институтъ, а добрѣе васъ и не видѣлъ. Очень много въ васъ этой доброты и льнуть къ ней люди, какъ мухи къ меду. Только вѣдь и пропасть такъ легко отъ этой самой доброты. Солнышко и то всѣхъ не обогрѣетъ. А вѣдь для всякаго рады, а не можете, а беретесь. Вѣдь я вотъ вижу, черезъ мои же руки всѣ повѣстки проходятъ, сколько вы получаете, сколько каждый годъ привозите, сколько у меня и другихъ, можетъ быть, перехватываете,—по-царски жить бы можно, а вы въ двугривенномъ всегда нуждаетесь. А отчего? Все людямъ...

Карташовъ энергично замоталъ головой.

— Нѣтъ, нѣтъ, Онуфриевъ. Это только такъ кажется: просто я не умѣю обращаться съ деньгами. Когда у меня въ карманѣ деньги есть, мнѣ кажется, что онѣ и всегда будутъ.

— И потому ихъ и нѣтъ у васъ. Ну, да извѣстно, ваше дѣло барское и маменька оставить и сами станете зарабатывать...

— Отъ матери я ничего не получу: все пойдетъ сестрамъ...

— Ну, это ужъ ваша вполне воля, а я къ тому, что я-то жилъ не по барски и всю жизнь копѣйками собиралъ. И все думалъ: какъ жить, какъ жить. Была жена у меня, мать вотъ Лизы, теперь только Лиза

одна на весь свѣтъ Божій. Для нея живу, для нея и работаю. Кто врагъ своему дѣтищу, хотѣлъ бы я, чтобы хоть по мужу, если не по отцу вышла бы она изъ хамскаго сословія,—хотѣлъ бы, а какъ Богъ велить, какъ люди побрезгаютъ, нѣтъ-ли?

Карташовъ оживленно и горячо началъ доказывать, что времена теперь уже другія, что никакой давно уже разницы нѣтъ между сословіями, что его Лиза такое прелестное дитя, что онъ лично не сомнѣвается въ томъ, что она достойна высшаго счастья на землѣ.

— Ваша бы воля—перебилъ его Онуфріевъ, усмѣхнувшись. Все въ рукахъ Божіихъ: только одно, что Лиза моя тоже не съ совсѣмъ пустыми руками въ люди поидетъ. Вотъ я и хотѣлъ объ этомъ съ вами посоветоваться. Я такъ вамъ, какъ на духу откроюсь: скопиль я тридцать семь тысячъ, вотъ вы мнѣ и посоветуйте теперь: въ какихъ бумагахъ мнѣ ихъ лучше держать? Онуфріевъ уставился въ Карташова совсѣмъ близко своими рачьими глазами. Карташову казалось, что онъ какъ въ лупу смотритъ въ красную расширенную кожу его лица, гдѣ каждая пора рельефно обрисовывалась впадиной и гдѣ такъ много было какихъ-то бѣлыхъ пупырышковъ.

„Какъ въ швейцарскомъ сырѣ“, подумалъ Карташовъ и ему показалось, что отъ лица Онуфріева и пахнетъ какъ отъ швейцарскаго сыра. Онъ быстро подавилъ въ себѣ непріятное ощущеніе и ласково-смушенно отвѣтилъ.

— Видите, Онуфріевъ, я совершенно ничего не понимаю въ бумагахъ.

— А какъ же... Вѣдь у маменьки вашей навѣрно же деньги въ бумагахъ?

Карташовъ отлично зналъ, что у матери его никакихъ бумагъ нѣтъ, что и домъ и деревня заложены, но отвѣтилъ:

— Конечно, вѣроятно въ бумагахъ, но она мнѣ объ

этомъ никогда ничего не говорила. Домъ есть, деревня есть... Если хотите, я напишу матери и спрошу...

— Ахъ, пожалуйста...

Послѣ этого Карташовъ сталъ прощаться, обѣщалъ заходить, нѣсколько разъ Онуфріевъ напоминалъ ему.

— Непремѣнно, непременно, — отвѣчалъ озабоченно Карташовъ.

Какъ-то Онуфріевъ спросилъ:

— А что отъ маменьки нѣтъ еще отвѣта?

— Вѣроятно, скоро будетъ.

— Вотъ съ этимъ отвѣтомъ можетъ зашли бы. Обрадовали бы старика и дочка все про васъ спрашиваетъ...

— Ваша дочка такая милая...

— Простая дѣвушка.

— Слушай, Володька, — говорилъ Карташовъ, идя съ Шуманомъ послѣ этого разговора изъ института, — помоги ради Бога, можетъ быть, ты знаешь, какія бумаги считаются самыми доходными?

— Тебѣ на что? Покупать хочешь?

Карташовъ разсказалъ ему въ чемъ дѣло.

— Тридцать семь тысячъ?! Однако твоихъ сколько тамъ?

— Что моихъ? Я каждую осень дарю ему сто рублей.

— Хорошенькій процентъ за триста и за неполный годъ. Очевидно, такихъ дураковъ не ты одинъ.

— Навѣрно одинъ. Онъ самъ говорилъ, что за тридцать лѣтъ другого такого онъ не зналъ.

— Откуда же у него деньги?

Карташовъ пожалъ плечами.

— Кого-нибудь убилъ, обокралъ? — спросилъ Шуманъ, — впрочемъ, я отчасти догадываюсь, я кое-что слыхалъ, онъ даетъ свои деньги инженерамъ-подрядчикамъ и участвуетъ въ прибыляхъ.

— Ну, а на счетъ бумагъ?

— Все это глупости: онъ лучше тебя знаетъ толкъ въ бумагахъ. Онъ просто хочетъ женить свою дочку на тебѣ и такимъ путемъ показываетъ тебѣ свое состояніе.

— Его дочь очень симпатичная...

— И ты, конечно, уже не прочь жениться?

— Я не женюсь, потому что рѣшилъ никогда не жениться...

— И самое лучшее, что ты могъ бы сдѣлать и чего, конечно, не сдѣлаешь. Десять разъ женишься...

— И по закону можно только три всего...

— Ну, законъ,—махнулъ рукой Шуманъ.

— Все-таки, чтожъ мнѣ ему сказать на счетъ бумагъ?

— На счетъ бумагъ? Много хорошихъ есть бумагъ: Брянскія. Ты вотъ что ему посоветуй: Харьковскаго Строительнаго общества. Это новое дѣло и общается очень много.

— Отлично!

На другой день Карташовъ такъ и сообщилъ Онуфриеву. Тѣмъ и кончился разговоръ у нихъ о деньгахъ и такъ больше и не былъ Карташовъ въ гостяхъ у Онуфриева, если не считать его визитъ тогда только за деньгами для троекъ.

Все это быстро вспомнилось теперь Карташову, когда онъ шелъ по улицѣ въ свою кухмистерскую.

Время было еще раннее и въ кухмистерской, кромѣ одного молодого студента, никого не было. Студентъ усердно читалъ какую-то книгу и ѣлъ, или вѣрнѣе, пожиралъ ломти сѣраго ароматнаго хлѣба, въ ожиданіи, пока подадутъ обѣдъ.

Все также стояли бѣлые столы и каждый столъ принадлежалъ другой дѣвушкѣ. Въ дверяхъ появилась Ефросинья. Тоже свѣтлое накрахмаленное платье, черная бархатка на шеѣ.

— Сегодня рано пришли.

Карташовъ сегодня какъ-то ближе взглядѣлся въ Ефросинью и съ грустью замѣтилъ слѣды времени на ея лицѣ: какъ-то уменьшилось лицо, выдвинулся подбородокъ, сморщилась и сбѣжалась мѣстами кожа и не бѣлизну шеи, а желтизну ея подчеркивала уже бархатка.

Пять лѣтъ назадъ это была свѣжая еще красивая женщина. И рѣзче подчеркивалась эта перемѣна, потому что въ раскрытыя окна смотрѣлъ ясный майскій день, радостный, молодой, лѣтний.

— Какъ поживаетъ ваша дочка?

Точно кто дернулъ за невидимый шнурокъ и лицо Ефросиньи сбѣжалось такъ, что слезы вотъ-вотъ готовы были брызнуть изъ глазъ. Она только махнула безнадежно рукой и ушла за новымъ блюдомъ. Умерла, что-нибудь случилось? Карташовъ не рѣшился больше спрашивать.

Когда онъ кончилъ, народу набралось уже много. Все это были молодые, незнакомые, чужіе. Теперь уже совсѣмъ чужіе. Ефросинья кивнула ему головой и равнодушно бросила:

— Прощайте.

Да, все это чужое уже.

II.

Карташовъ пришелъ домой и легъ спать.

— Агаша, будите меня въ пять часовъ. Крѣпко только будите, а то я двѣ ночи не спалъ и легко и до завтра просплю, а мнѣ необходимо...

Отдавъ это распоряженіе, Карташовъ съ удовольствіемъ вытянулся на кровати.

Кончена одна часть жизни. Странная кочевая изодня въ день жизни. Только бы сегодня какъ-нибудь.

И сколько не пробовалъ Карташовъ выбиться изъ этого сегодня, какъ-нибудь наладиться, такъ ничего

никогда не выходило изъ этого. Жизнь точно въ гостинницѣ, куда пріѣхалъ на нѣсколько дней. И такъ шесть лѣтъ день за днемъ. Что сдѣлано?

Ахъ, рѣшительно ничего. Никакихъ знаній не пріобрѣтено. Какимъ-то только чудомъ сохранилась жизнь и возвратилось здоровье.

Возвратилось-ли еще? Черезъ десять, двадцать лѣтъ все это еще можетъ сказаться. Въ сущности, если серьезно вдуматься, жизнь уже разбита. Развѣ можно, напримѣръ, при такихъ условіяхъ...

Если серьезно вдуматься...

III.

Долго будила Агаша Карташова. Были минуты, когда Карташовъ окончательно рѣшалъ продолжать спать до слѣдующаго утра. Но все-таки проснулся и въ шесть часовъ въ штатскомъ пальто и въ студенческой фуражкѣ вышелъ на улицу.

Ради такого торжественнаго случая онъ рѣшилъ, благо деньги были, взять лихача.

— О-го,—сказалъ Шуманъ, выходя и увидѣвъ лихача.—Прежде всего, вотъ что надо сдѣлать: купить кокарды на шапки.

— Слѣдовало бы и шапки новыя.

— Сойдетъ: даже лучше такъ,—какъ будто старыя уже инженеры съ постройки пріѣхали.

И конецъ дня былъ такой же ясный, какъ и весь день. Вѣяло прохладой отъ Невы, заходящее солнце такъ безмятежно золотило ея гладь, такимъ покоемъ, такой радостью вѣяло отъ воды, отъ зелени, отъ деревьевъ, такой чудный свѣжій аромат проникалъ весь воздухъ.

Вотъ Петербургская сторона, вотъ Александровскій паркъ, вотъ домъ, гдѣ когда-то онъ, Карташовъ, жилъ. Тамъ и Марья Ивановна жила. Какъ безумно тогда

онъ любилъ ее. Потомъ разлюбилъ. Другую полюбилъ. Какъ ее звали? Да, Анна Александровна. Она жила противъ Петровскаго парка. Онъ какъ сейчасъ помнить подъѣздъ этого дома, переднюю, гдѣ однажды, стоя на колъѣняхъ, онъ надѣвалъ на ея ботинки галоши. Вотъ Большой проспектъ. Какъ часто онъ гулялъ здѣсь подъ вечеръ съ ней. Что-то было тогда очень хорошее. Такое хорошее, что и теперъ стало Карташову весело и легко.

— Все-таки хорошо, Володька?

— А? Что? Да ничего.

— О чемъ ты думалъ?

— О чемъ думалъ? Думалъ, что надо съ завтрашняго дня начать шляться по разнымъ переднимъ: служить надо начинать.

— Давай вмѣстѣ шляться?

— Гм... Давай, пожалуй.

— Чортъ возьми, денегъ вѣдь дадутъ, Володька.

— Ну, подождешь еще: нынче съ мѣстами не такъ просто. Тѣ времена, когда со скамьи, да чуть-ли не въ главные инженеры прямо—прошли. Теперъ, ой-ой, какъ горбъ набьешь, пока дослужишься до чего-нибудь.

— Тебѣ хорошо, — ты всѣ пять лѣтъ бывалъ на практикѣ и все на постройкѣ, а я вѣдь только кочегаромъ ѣздилъ.

— Да, трудно будетъ. Придется учиться у десятниковъ. Ты сразу начальство изъ себя не торопись разыгрывать, а то дурака сваляешь. Сперва тише воды, ниже травы, учись, а тамъ черезъ нѣсколько мѣсяцевъ, какъ подучишься, и валяй.

— Трудно строить?

— Трудно сапоги шить? Научишься, ничего труднаго и не будетъ.

— Что собственно изъ нашихъ институтскихъ познаній пригодится?

— Для практическаго инженера? Ничего. Практи-

чески-то, что знаетъ хорошо десятникъ, мы такъ никогда и знать не будемъ.

— А теорію вѣдь мы тоже не знаемъ.

— Научились рыться въ справочныхъ книжкахъ,— на все вѣдь готовые формулы есть...

— Проживемъ?

Шуманъ только рукой махнулъ.

— Эхъ, Темка, Темка,—вздыхнулъ Шуманъ, — бить тебя некому.

А что?

— Да вотъ я думаю. Ну я? Ну и Богъ мнѣ велитъ. А вѣдь ты... вѣдь ты такой талантливый.

— Я-то талантливый?

— Такой способный... самый способный между нами... Самую чуточку занимался бы и блестящимъ былъ бы инженеромъ. Я не хочу тебѣ никакихъ комплиментовъ говорить, но вѣдь занимались же мы съ тобой и видѣлъ я, какъ тебѣ все безъ всякаго труда дается.

— Въ этомъ-то и несчастье мое. Лучше было бы, если бы я зналъ, что мнѣ дается съ трудомъ, тогда бы я трудился.

— А безъ труда тоже нельзя,—пустой ракетой пролетишь... А могъ бы... Куда поѣдемъ? На Крестовскій что-ли?

— Покатаемся еще и на Крестовскій.

Вотъ и Стрѣлка. Плоская даль воды. Красный дискъ на горизонтѣ, вереница экипажей, гуляющихъ на Стрѣлкѣ.

— Охъ, сколько и здѣсь воспоминаній. Наташа... Сколько ихъ однако было? Съ Наташей большой кусочекъ жизни ушелъ. Хорошій? Такъ недавно все это было еще. Болитъ и до сихъ поръ, лучше и не думать: прошло и не воротится. Тогда зимой на этомъ озерѣ онъ ходилъ съ ней, это было въ первые дни знакомства, онъ до сихъ поръ помнить ощущеніе при-

косновенія къ ея рукѣ въ перчаткѣ. Точно міръ весь онъ принималъ тогда отъ нея, замирая отъ восторга.

Оттуда поѣхали на Крестовскій. И Шуманъ и Карташовъ слонялись, скучая въ густой толпѣ собравшейся публики, то слушая исполнителей открытой сцены, то гуляя по аллеямъ.

— Скучно, — сказалъ Шуманъ, — ѣдемъ домой, съ завтрашняго дня надо приниматься за исканіе дѣла, пока еще не всё кончили свои экзамены. Завтра въ девять часовъ буду готовъ: я зайду за тобой.

— Такъ рано?

— Рано! Порядочный инженеръ въ девять часовъ второй разъ спать ложится.

— Ну, значить, я буду плохой инженеръ, потому что больше всего на свѣтѣ люблю спать.

IV.

Въ девять часовъ точно на другой день Шуманъ былъ у Карташова.

Карташовъ, конечно, не только не былъ готовъ, но и съ кровати еще не вставалъ.

— Даю тебѣ четверть часа сроку, — сказалъ дѣловито Шуманъ, — если не будешь готовъ, пойду одинъ, Онъ вынулъ изъ кармана газету и сѣлъ ее читать.

— И разговаривать не хочешь?

— Не хочу.

— Ну, и чортъ съ тобой.

Карташовъ началъ быстро одѣваться.

— Стаканъ чаю можно выпить?

— Пей. А потомъ садись и пиши вотъ такое прошеніе.

— Это что?

— Это прошеніе въ министерство о зачисленіи на службу. Это не мѣшаетъ частной службѣ, а по мини-

стерству будешь числиться. Будутъ идти чины, эмеритура, пенсія...

— Господи, о чемъ онъ думаетъ?

— Все, другъ мой, въ свое время придетъ. На старости лѣтъ, когда разобьетъ параличъ и кромѣ исполнительныхъ листовъ ничего за душой не будетъ, полтора, двѣсти рублей въ мѣсяцъ — ихъ, какъ пригодятся! Будетъ на что нанять комнату, человѣка, который будетъ тебя по носу щелкать.

— Купить, наконецъ, револьверъ, чтобы покончить съ собою, вмѣсто того, чтобы вести такую гнусную жизнь.

— Кончаютъ единицы, — наставительно отвѣтилъ Шуманъ, — а остальные миллионы съ жизнью разстанутся только по неволѣ.

Карташовъ написалъ такое же прошеніе, какъ и Шуманъ, и пріятели отправились въ министерство. По дорогѣ они оба купили себѣ по маленькому инженерному значку и вдѣли въ борты своихъ сюртуковъ.

Справились у швейцара, доложились дежурному чиновнику, а тотъ привелъ ихъ въ пріемную директора департамента общихъ дѣлъ.

Пришлось ждать долго. Наконецъ, вышелъ плотный низко стриженный господинъ и отрывочно спросилъ:

— Чѣмъ могу служить?

Шуманъ и Карташовъ молча подали свои прошенія.

— Вы, собственно, куда же хотите поступить?

Карташовъ и Шуманъ переглянулись. Куда они хотѣли бы поступить?

Они хотѣли бы поступить на постройку какой-нибудь желѣзной дороги.

— Непремѣнно на постройку?

— Непремѣнно.

— Въ департаментъ шоссеиныхъ, водяныхъ не желаете?

Не только не желаютъ, но Карташовъ объяснилъ и причины. И на шоссе и въ водяныхъ берутъ взятки, а такъ какъ они этого не желаютъ, то и хотятъ идти на постройку.

— А на постройкѣ взятки не берутъ?

— Тамъ платятъ такое жалованье, что люди могутъ и безъ взятки жить.

— Гм... Очень жалко, господа, что ничѣмъ вамъ не могу быть полезнымъ, такъ какъ въ моемъ распоряженіи мѣста только по общему департаменту, гдѣ этого,—онъ дотронулся рукой до значка Карташова,—не надо. Но, если хотите, свободныя мѣста у меня есть.

— А съ этимъ что дѣлать? спросилъ Карташовъ, показывая на свой значокъ.

— Снять.

— Очень жаль, что пять лѣтъ тому назадъ мы не догадались придти къ вамъ, теперь, вѣроятно, мы бы уже дослужились...

— Чѣмъ еще могу служить?—рѣзко перебилъ его директоръ и, не дождавшись отвѣта, скрылся за дверь.

Карташовъ и Шуманъ залились веселымъ смѣхомъ.

— Нѣтъ, какая свинья... — началъ было Карташовъ.

Но въ это время дверь снова отворилась и въ ней опять показалась фигура директора. Карташовъ и Шуманъ бросились въ корридоръ.

— Ну, здѣсь ловко устроились, — говорилъ полусмѣло, полусердито Шуманъ Карташову, шагая съ нимъ по панели и, если такъ же успѣшно дальше пойдетъ, мы скоро себѣ составимъ блестящую карьеру. Послушай: такъ нельзя!

Его маленькія ноздри раздулись.

— Мы бы еще весь курсъ съ собой прихватили и такъ и шлялись бы. Надо ходить каждому отдѣльно.

Шуманъ вынулъ изъ кармана записную книжку и сказалъ:

— Вотъ запиши себѣ, куда идти.

У Карташова не было ни карандаша, ни бумаги.

— Ну, какой ты къ чорту инженеръ, если у тебя нѣтъ записной книжки. Карточки есть?

— И карточекъ нѣтъ.

Шуманъ пожалъ плечами, вырвалъ листокъ изъ своей книжки и записалъ нѣсколько адресовъ.

— Сегодня иди вотъ къ этимъ, а завтра къ этимъ. Не перепутай, смотри, а то будемъ встрѣчаться. Если еще что-нибудь подвернется, буду нюхать и скажу тебѣ. А теперь прощай. Прежде всего ступай и купи себѣ книжечку съ карандашемъ, еще лучше техническій календарь, а то вдругъ спросятъ, сколько будетъ дважды два, такъ безъ календаря, пожалуй, и не отвѣтишь. Потомъ закажи себѣ карточки, а внизу инженеръ путей сообщенія. И не будь нахаленъ при отвѣтахъ. Все-таки съ директоромъ можно было бы разговариваться: можетъ быть, въ концѣ концовъ и узнали бы отъ него что-нибудь. А вѣдь прошенія наши все-таки взяли.

— Чтожъ съ этого толку?

— Зачислять по крайней мѣрѣ по министерству. Ну, прощай.

Друзья разстались. Карташовъ заказалъ себѣ карточки, купилъ техническій календарь, обошелъ всѣ правленія по записаннымъ адресамъ, но толку изъ этого никакого не вышло. Вездѣ болѣе или менѣе вѣжливо отвѣчали, что мѣстъ никакихъ нѣтъ. Иногда вскользь спрашивали, бывалъ ли онъ на практикѣ и на отрицательный отвѣтъ повторяли опять, что никакихъ мѣстъ нѣтъ.

Выяснилось и чувствовалось, что ходи онъ такъ и всю остальную жизнь, все только бы и выслушивалъ онъ на разные лады тотъ же отвѣтъ. Шуманъ почти

пропалъ изъ виду. Исчезли какъ-то съ горизонта и остальные товарищи. Кончились экзамены и въ институтъ и прежде широко раскрытыя его двери теперь были заперты.

Точно карточный домикъ, развалилось вдругъ все связывающее его съ товарищами, институтомъ.

Кончилъ и все надо было опять начинать откуда-то сначала, надо было опять взбираться на какую-то неприступную безъ лѣстницы башню жизни.

Карташовъ тоскливо ходилъ кругомъ этой башни и не видѣлъ ни входа, ни выхода.

Что толку, что онъ инженеръ теперь? Никогда на самомъ дѣлѣ онъ не будетъ инженеромъ, никогда ни одной дороги не выстроить. Но что-же дѣлать, какъ жить дальше?

— Идти на шоссе, или въ водяные?

Лучше совсѣмъ распрощаться съ инженерствомъ.

„Сдѣлаюсь учителемъ математики“—думалъ Карташовъ и тутъ же думалъ:

„Какой же я учитель, когда я не знаю никакой математики. Любой гимназистъ сконфузить меня, какъ захочетъ.“

Поступить развѣ опять въ университетъ на математическій факультетъ, чтобы стать настоящимъ учителемъ? Тогда ужъ лучше на юридическій опять? Чтобы быть лучшимъ юристомъ между инженерами, лучшимъ инженеромъ между юристами.

— Ну, въ акцизъ поступлю,—думалъ Карташовъ,—тамъ теперь тоже взятки нѣтъ. Какъ-нибудь проживу же.

Рѣдкія встрѣчи съ товарищами и даже съ Шуманомъ оставляли еще болѣе тяжелое впечатлѣніе. Всякій боялся проговориться, всякій таинственно отвѣчалъ на вопросы, что онъ думаетъ дѣлать:

— Еще ничего неизвѣстно...

Всѣ эгоисты, всѣ думаютъ только о себѣ,—горько жаловался самъ себѣ Карташовъ.

За то изъ дому слали ему безъ счета радостныя поздравительныя письма и телеграммы. Энергично звали его домой.

Конечно, пріятнѣе было бы пріѣхать уже настоящимъ инженеромъ-строителемъ, съ мѣстомъ, съ бумажникомъ, наполненнымъ деньгами. Но и безъ этого тянуло туда, гдѣ любятъ и ждутъ.

— Поѣду,—рѣшилъ Карташовъ.

Зашелъ къ Шуману, по обыкновенію, не засталъ его дома и оставилъ ему записку, что завтра съ почтовымъ уѣзжаетъ.

Шуманъ не задолго до отхода почтового поѣзда пріѣхалъ на вокзалъ.

— Ну, что, какъ твои дѣла?—спрашивалъ его Карташовъ.

— Ключетъ,—отвѣтилъ уклончиво Шуманъ.

— А у меня ничего не выгорѣло,—пожаловался Карташовъ.

— Гм...—промычалъ въ отвѣтъ Шуманъ.

Передъ послѣднимъ звонкомъ появился Шацкій.

Въ злополучный годъ болѣзни Карташова и его, Шацкій отсталъ на одинъ годъ и съ тѣхъ поръ бывшіе друзья теперь почти не видѣлись.

Шацкій остался Шацкимъ. Ломаясь, изображая изъ себя героя того романа изъ иностранной жизни, который послѣдній прочелъ, онъ церемонно и галантно, едва дотрагиваясь до протянутой руки Карташова, проговорилъ:

— Узналъ, что уѣзжаешь и счелъ долгомъ проводить тебя.

— Ну, а я пошелъ,—сказалъ Шуманъ.—Прощай.

Онъ запыхтѣлъ, покраснѣлъ и трижды поцѣловался съ Карташовымъ.

— Ну, всего лучшаго.

Шуманъ неуклюжей проворной походкой, смущенно кивнувъ Шацкому, направился къ выходнымъ дверямъ.

Шацкій сейчасъ же послѣ ухода Шумана сбросилъ съ себя шутовской видъ и заговорилъ простымъ языкомъ.

— Ты грустенъ? Не могу ли я быть чѣмъ-нибудь полезнымъ? Можетъ быть денегъ?

— Нѣтъ, спасибо. Да, невесело. Вотъ кончилъ и рѣшительно не знаю, что съ собою дѣлать.

— Очень все это глупо организовано у насъ. У однихъ всѣ пять лѣтъ практики, у другихъ ни разу. И моя судьба такая же будетъ. И въ этомъ году опять никакой практики.

— Иди хоть въ кочегары—посовѣтоваль Карташовъ. Шацкій только досадливо дернулъ плечомъ.

— Чтожъ ты будешь дѣлать? Домой поѣдешь?

— Ну, вотъ еще. Я уже третій годъ домой не ѣзжу. Я вѣдь постоянно на практикѣ, а съ практики я ѣду прямо на лекціи, потому что я остепенился и вотъ уже три года, какъ у меня нѣтъ ни одного потеряннаго дня. Что дня? Часа потеряннаго нѣтъ.

— И это, конечно, стоитъ денегъ?

— Не будемъ говорить объ этомъ. Меньше во всякомъ случаѣ, чѣмъ служба моего брата въ гусарахъ.

— Онъ кѣмъ тамъ?

— Солдатомъ, топ снэг, но это стоитъ десятка полтора тысячъ въ годъ. Держить, между прочимъ, своихъ лошадей для скачекъ. Теперь какъ разъ скачки и онъ зоветъ къ себѣ въ Варшаву. Старикъ въ восторгѣ: высылаетъ ему и лошадей и деньги.

— Это тотъ твой братъ, который поступалъ, когда мы кончали?

— Тотъ самый. Въ высшее заведеніе не пошелъ и, повѣрь, что сдѣлаетъ лучшую, чѣмъ мы съ тобой, карьеру. Этотъ мальчишкѣ имѣетъ нюхъ и поставленъ не по нашему. А мы съ тобой... старики уже... Еще живы, еще не въ могилѣ, но...

„Суждены намъ благіе порывы,
Но свершить ничего не дано“...

— Тряпки, топ сгег. Третій звонокъ, прощай и, если когда-нибудь вспомнишь стараго друга, какихъ теперь ужъ нѣтъ и быть не можетъ...

Шацкій опять впалъ въ свой обычный тонъ и махалъ стоявшему въ окнѣ вагона Карташову. Вагоны медленно двигались, Шацкій еще разъ махнулъ, повернулся спиной, постоялъ мгновение и, карикатурно раскачиваясь, быстро, толкая публику, помчался прочь.

Карташовъ уныло провожалъ его глазами.

Скучныя мысли ползли ему въ голову.

Быстро пронеслось время. Давно ли подѣзжалъ онъ впервые шесть лѣтъ тому назадъ къ этому Петербургу. Шесть лѣтъ промелькнули, какъ шесть страницъ прочитанной книги. Онъ вѣхалъ тогда и мечталъ, что въ эти шесть лѣтъ онъ приобрѣтетъ знаніе, которое дастъ ему прочную возможность независимо стоять въ жизни. Но знанія нѣтъ. Давно еще въ гимназіи потерялъ аппетитъ къ работѣ и, если кто-нибудь не сжалится и не дастъ ему кусокъ хлѣба, то онъ пропалъ.

Ахъ, можетъ быть и будетъ этотъ кусокъ хлѣба, но такъ тоскливо, такъ пусто на душѣ. Назадъ бы опять, къ началу этихъ шести лѣтъ, за работу.

Все быстрѣе и быстрѣе мчался поѣздъ по зеленымъ кочкамъ и болотамъ.

Карташовъ печально смотрѣлъ въ окно.

V.

Приѣздъ домой не освѣжилъ Карташова. По крайней мѣрѣ на первое время. Дома какъ будто все осунилось, уменьшилось.

Мать постарѣла, волосы ея побѣлѣли еще съ болѣзнію Карташова. Давно и эта болѣзнь была забыта и отно-

шенія установились какъ будто прежнія, но что-то изъ прежняго оставалось все-таки и навсегда легло между матерью и Карташовымъ. Въ той бывшей борьбѣ слишкомъ уже обнаружилось какъ-то все и было такъ неприкрашено, что всякое воспоминаніе и съ той и съ другой стороны о томъ времени вызывало прозу и горечь. А отсюда постоянное опасеніе какъ-нибудь коснуться этого прошлаго, этого больного. Опасеніе коснуться не только на словахъ, но и въ воспоминаніи.

Наташу часто вспоминали еще и сильнѣе тогда вставало въ памяти пережитое.

Зина по-прежнему была замужемъ за Неручевымъ, но дѣла ихъ шли все хуже и хуже. Мужъ ея отчаянно кутилъ, а Зина толстѣла и ходила съ опухшими глазами.

Аня кончала гимназію, религіозная, влюбленная въ мать. Кончалъ гимназію и младшій братъ и, хлопая покровительственно старшаго брата по плечу, говорилъ, горбясь:

—Такъ то, батюшка, черезъ годикъ и мы студентами уже будемъ.

— Ну, что васъ донимають въ гимназіи?

— Кого донимають, а кого и нѣтъ. Вездѣ надо съ умомъ. Съ умомъ проживешь, а безъ ума не выжи. — Мы тоже кое-что маракуемъ и на вершокъ сътей наплетемъ два.

— Не совсѣмъ понимаю, въ чемъ дѣло.

— Не совсѣмъ это и просто,—отвѣчалъ многозначительно младшій братъ,—а въ общемъ, какъ видишь, живемъ, хлѣбъ жуемъ.

— Политикой занимаетесь?

— Что политика? Ерунда... Что мы, гимназисты, можемъ значить въ какой бы то ни было политикѣ? Надо быть ужъ совсѣмъ мальчишкой...

— Но все-таки такіе мальчишки у васъ въ классѣ есть?

Младшій братъ горбился по-стариковски, дѣлая ироническое лицо и говорилъ:

— Есть и такіе... Всякаго жита по лопатѣ, но суть не въ нихъ.

— Суть въ такихъ, какъ ты?

— Я вижу—отвѣчалъ младшій братъ,—ты хочешь, кажется, начать иронизировать,—ну что-жъ, на здоровье. Но, если хочешь говорить серьезно, то я отвѣчу, что суть дѣйствительно въ такихъ, какъ я. Мы ничѣмъ себя не воображаемъ, звѣздъ съ неба не хватаемъ, вершить судьбы любезныхъ согражданъ не собираемся, но свое дѣло, которое подъ ногой, исполняемъ, и въ будущемъ надѣемся будемъ также исполнять. Не въ обиду тебѣ будь сказано,—вѣдь кое-какая память о васъ сохранилась,—вы всѣ были чуть ли не геніи, когда кончали гимназію, а знали-то вы, вѣроятно, охъ, какъ мало. Не знаю, что узналъ ты за это время въ своемъ институтѣ.

— Ничего не узналъ.

— Ну, что-жъ сознаніе вины—половина исправленія, говорятъ, а все-таки...

— Водку пьете, въ театръ ходите, собираетесь вы?

— Водку иногда для ухарства пьемъ, въ театръ ходимъ мало, въ карты маненько маракуемъ.

— Въ какія игры?

— Больше въ винтъ, иногда въ макашку.

— Влюбляетесь?

— И не безъ этого, бо homo sum.

— Читаетесь?

— Какъ тебѣ сказать? Попадется подъ руки, прочтешь, конечно. Но постоянно читать—времени нѣтъ. Если заниматься, какъ слѣдуетъ, то когда же читать? Вы, конечно, въ этомъ отношеніи счастливѣе насъ были: вы считали возможнымъ игнорировать занятія. Вы геніи за то, а мы бѣдные ремесленники: куда пойдешь безъ знаній?

Увидѣвъ огорченіе на лицѣ старшаго брата, младшій сказалъ:

— Ты не обижайся. Геніи вы не потому только, что тамъ способности у васъ что-ли больше, чѣмъ у насъ, а и по своему положенію, какъ старшіе въ семьѣ, — ты, Королевъ, Рыльскій, всѣ вы вѣдь первенцы, на васъ все вниманіе, а мы подростки, мы всегда въ тѣни,—книги отъ брата, костюмы отъ брата и это черезъ все само собой проходить. И въ результатъ вамъ императорскую корону, вамъ все можно, и вы все можете, а намъ зась, мы только вашего величества братья, мы обречены жить и прозябать только въ тѣни вашихъ лавровъ. Вы старшіе, словомъ, съѣли наши доли, такъ ужъ, гдѣ же намъ смѣть и на что больше можемъ мы надѣяться, какъ не на свои усиленные труды.

— Однако... Ты, любимый братецъ, лѣтъ на десять старше, прозаичнѣе и скучнѣе меня... Передъ тобой, какъ говаривалъ Королевъ, я просто мальчишка и щенокъ.

— Ну, ну, уничиженіе паче гордости.

— Въ Бога ты вѣришь?

— Осмѣлюсь доложить, что вѣрю. А ваше величество?

— Нѣтъ.

— Но въ душѣ это вамъ не мѣшаетъ креститься на каждую церковь и молиться на ночь?

— На церковь я не крещусь, а на ночь молюсь. Но это не молитва: это привычка, благодаря которой я вспоминаю каждый день всѣхъ близкихъ мнѣ. Точно также я люблю всѣ обряды Рождества, Пасхи, потому что они связываютъ меня съ прошлымъ, и безъ этого жизнь была бы скучна.

— Носишь образокъ на шеѣ?

— Виситъ и ношу. Куда же мнѣ его дѣтъ?

— Видишь ты,—наставительно заговорилъ младшій братъ,—я не люблю дѣлать что-нибудь машинально,

я люблю давать себѣ во всемъ отчетъ. Я не вѣрю въ невѣрующихъ людей. Я думаю, что предразсудками ли, поколѣніями ли, дѣйствительной ли своей силой, но вѣра такъ связана со всѣмъ нашимъ существомъ, что, отрѣшаясь отъ нея на словахъ, попадаешь въ очень унизительное положеніе передъ самимъ собой. По существу отъ нея не отдѣлаться, а снаружи отречься: ложь и фальшь. Такъ чѣмъ такъ, я лучше буду на виду у всѣхъ крестить себѣ лобъ.

— Неужели ты не можешь допустить мысли, что существуютъ искренно невѣрующіе люди?

— Охотно допускаю. Я самъ начну вдумываться, разсуждать и всегда приду къ тому, что ничего нѣтъ и быть не можетъ. Вся эта сказка вочеловѣченія, вознесенія на какое-то небо, когда мы теперь уже знаемъ, что это за небо—все это, конечно, устарѣлая сказка и тѣмъ не менѣе всѣ эти разсужденія, какъ спичка въ темнотѣ—пока горитъ,—свѣтло и видишь, что ничего дѣйствительно нѣтъ, а потухла и опять охватываетъ мракъ и образы мрака опять таинственно что-то шепчуть, шевелятъ душу, трогаютъ.

— Да ты безсонницей что-ли страдаешь, галлюцинаціями?

— И не думаю, сплю, какъ убитый, но я знаю, что я человѣкъ моей обстановки и никуда отъ нея не дѣнусь: и не важно это: вѣрю я тамъ, или не вѣрю. Больше скажу тебѣ: если-бъ я даже дѣйствительно пересталъ вѣрить, я больше бы гордился тѣмъ, что все-таки я крещусь, а не стыдился бы того, что вотъ я крещусь.

Вошла мать, положила младшему сыну руку на голову и сказала:

— Умница: это мой сынъ и всѣ они не вашему поколѣнію чета.

— Тамъ умница или не умница—это особъ статья,

а думать такъ, какъ мнѣ думается, это я считаю своимъ правомъ.

— Да это, конечно, хорошо,— согласился старшій Карташовъ,—но чтобъ думать правильно, нужна гарантія для этого. Гарантія же въ развитіи, чтеніи, въ знакомствѣ съ мыслями другихъ. Да и этого мало, необходимо руководство. Знаній такъ много, что безъ руководства запутаешься въ нихъ и никогда на торную дорогу не выйдешь.

— А на что тебѣ торная дорога?

— Потому что въ томъ и жизнь, что наступаетъ мгновеніе и требуетъ для него рѣшенія,—безъ подготовки и рѣшенія никакого быть не можетъ.

— А по моему сознаніе является *post factum* и всякое рѣшеніе для дѣйствующихъ лицъ всегда является безсознательнымъ. Осмысливаютъ его уже потомъ историки, ученые, филологи.

— Ты умный,—улыбнулся старшій Карташовъ.

— Вумный,—поправилъ младшій братъ.

— Умный съ воздухомъ, какъ и я, какъ всякій русскій,—палецъ приложилъ ко лбу и поѣхалъ: выходитъ гладко, но торныхъ дорогъ мышленія нѣтъ, нѣтъ степени, нѣтъ направленія, а потому всѣ мы только разсуждающія балды, очень щепетильно отстаивающія свое право быть такими независимыми балдами.

— Ишь, какъ у тебя сильна закваска стараго, — усмѣхнулся младшій братъ.—Ну, поживешь еще, провѣтришь и остатки.

— А его мысли вѣдь зрѣлѣе твоихъ, — кольнула мать старшаго сына.

— Я и то говорю, что онъ на десять лѣтъ старше, скучнѣе и прозаичнѣе меня.

— Ишь сердится, — отвѣтилъ покровительственно младшій братъ,—другъ Гораціо, ты сердишься, потому что ты не правъ.

— Да ну тебя къ чорту,—полушутя, полураздраженно сказалъ Карташовъ,—надоѣлъ.

— Идите лучше черешни ѣсть.

— Вотъ это вѣрно, согласился младшій братъ.

И, взявъ подъ руку старшаго, сказалъ все тѣмъ же покровительственнымъ добродушнымъ тономъ:

— Идемъ, голубчикъ мой, черешни ѣсть и чортъ съ ней съ философіей, бо морочная даже эта наука!

— Ахъ, Сережа, я вѣдь не отрицаю, что я профанъ и невѣжда, но вѣдь сомнѣніе безъ знаній—это вѣдь совсѣмъ ужъ безнадежное профанство.

— Ну, и будемъ безнадежными профанами, но оставимъ другъ друга въ покоѣ: ты думай такъ, я буду по своему, а черешни будемъ ѣсть вмѣстѣ.

— Такъ, такъ, такъ, — согласился старшій Карташовъ.

Больше другихъ жизнь въ семью вносила Маня.

Тюрьма на нее не имѣла никакого вліянія: она по-прежнему смѣло, вызываяще смотрѣла своими прекрасными глазами, густые вьющіеся отъ природы волосы ея были всегда въ безпорядкѣ, она любила смѣяться, въ ней было много юмора, задора, душа на распашку; она всегда была быстра на рѣшенія и дѣйствія.

Во время суда въ ней большое участіе принималъ предсѣдатель военнаго суда Истоминъ. Онъ и послѣ въ тюрьмѣ навѣщалъ ее, черезъ нее же познакомились семьями.

Предсѣдатель былъ уже старикъ, женатый на совсѣмъ молодой и у нихъ была прелестная трехлѣтняя дочка. Обѣ семьи очень сошлись между собой и въ концѣ концовъ поселились въ одномъ домѣ.—Истоминъ вверху, Карташовы—внизу. Въ обѣихъ квартирахъ были большія террасы и такъ какъ дома стояли на возвышеніи, то съ этихъ террасъ открывался далекій

видъ на городъ и на море и на всю кипучую пристанскую жизнь.

Истомины ждали къ себѣ сестру жены, молодую дѣвушку, кончившую за границей гимназическій курсъ и теперь возвращавшуюся домой. Она ѣхала моремъ и, прежде свиданія съ отцомъ, рѣшила прогостить нѣсколько дней у сестры.

Сестра ея, жена Истомина, Евгенія Борисовна, молодая красивая шатенка, немного картавила, говорила съ увѣренностью и непогрѣшимостью молодости и вся была поглощена воспитаніемъ своей трехлѣтней дочки Али.

Маня была очень дружна съ Евгеніей Борисовной, а Аня сторонилась ее за воспитаніе Али.

— Мнѣ жаль бѣдную дѣвочку,—говорила Ася, — она не воспитывается, а дрессируетъ ее, какъ собаченку. Такъ и слышится: пиль, апортъ, тубо!

И Аня такъ комично подражала командорскому голосу Евгеніи Борисовны, такъ воспринимала ея манеру, что всѣ смѣялись.

Съ Темой Истомины познакомились еще въ прошломъ году, когда онъ ѣздили кочегаромъ и Евгенія Борисовна относилась къ нему съ своей обычной покровительственной манерой, въ общемъ очень хорошо.

Эта покровительственность, строгость, дрессировка нравились Карташову и онъ поддавался ея вліянію и это въ свою очередь вызывало къ нему еще большую симпатію.

Но генераль Евграфъ Пантелеймоновичъ, мужъ Евгеніи Борисовны, былъ съ нимъ какъ-то на-сторожѣ и даже сухъ.

Въ мундирѣ генераль былъ еще бравый старикъ, но дома онъ ходилъ въ халатѣ, носилъ туфли, за поясомъ ключи отъ кладовыхъ.

Все хозяйство было на его рукахъ, и Евгенія Борисовна демонстративно ни во что не вмѣшивалась.

— Зачѣмъ намъ ссориться,—уклончиво говорила она Аглаидѣ Васильевнѣ,—онъ такъ привыкъ, у него сложившіеся вкусы, взгляды. •

Истомины поженились четыре года тому назадъ
Ему было тогда 54 года, ей двадцать лѣтъ.

Истоминъ былъ товарищемъ по корпусу отца Евгѣніи Борисовны. Истоминъ уже командовалъ полкомъ, входилъ съ нимъ въ тотъ городъ, гдѣ въ тотъ день появилась на свѣтъ Евгѣнія Борисовна.

Какъ не противился отецъ этой свадьбѣ, Евгѣнія Борисовна настояла.

Съ своей обычной непоколебимостью она категорически заявила:

— Или я выйду замужъ за Евграфа Тимофѣевича, или уйду въ монастырь.

Въ первое время они очень любили другъ друга. Любили и теперь, но уже болѣе спокойнымъ остывшимъ чувствомъ. На горизонтѣ ихъ семейной жизни собирались тучки: привычки стараго холостяка, аккуратника, педанта давали себя чувствовать. Обижали Евгѣнію Борисовну и халатъ и туфли мужа и весь тотъ непреклонный режимъ, который онъ велъ и требовалъ отъ жены.

Она и сама была непреклонная и между ними все чаще происходили столкновѣнія. Но объ этомъ ни прислуга и никто изъ постороннихъ и не догадывались. Со стороны все было благодушно, патріархально и гладко. Мужъ уходилъ часовъ въ одиннадцать на службу, а жена съ Алей и бонной ходила гулять, играла на фортепіано, вела дневникъ и читала. Читала романы, почти всегда иностранные, такъ какъ тоже воспитывалась за границей, читала все, что можно было прочесть по воспитанію, и прежде всего, конечно, Жанъ-Жака Руссо.

Выглядѣла она вполне уравновѣшеннымъ, спокойнымъ и довольнымъ своей судьбой человѣкомъ.

Со времени извѣстія о прѣздѣ къ ней сестры ея Аделаиды или Адели, какъ называла ее Евгенія Борисовна,—Евгенія Борисовна и Маня еще больше сошлись. Маня постоянно бѣгала на-верхъ и возвращалась оттуда веселая, задорная и, проходя мимо Темы, ерошила ему волосы по дорогѣ и ласково бросала что-нибудь вродѣ:

— Ахъ, ты, Темка, уроды!

И Евгенія Борисовна еще больше покровительственно смотрѣла на Карташова и говорила съ нимъ какъ-то загадочно и даже какъ-будто лукаво.

Она не была кокеткой, Карташовъ не относилъ это лично къ себѣ и еще болѣе смущался отъ всего этого.

Иногда вдругъ Маня принималась хохотать какъ сумасшедшая. Карташовъ смотрѣлъ на нее, на улыбавшуюся Евгенію Борисовну и ему становилось и самому весело, а особенно когда и Евграфъ Пантелеймоновичъ тоже начиналъ улыбаться. Прежде онъ почти никогда не улыбался Карташову, и Карташовъ въ этомъ видѣлъ, что начинаетъ пріобрѣтать симпатіи даже и суроваго генерала, прежде относившагося къ нему съ недовѣріемъ, а теперь все болѣе и болѣе расположеннаго къ нему. И это Карташову было очень пріятно.

Онъ любилъ, чтобы къ нему хорошо относились, любилъ и умѣлъ добиваться этого.

— Вѣроятно—рѣшилъ Карташовъ,—онъ думалъ, что я буду ухаживать за его женой и, убѣдившись, что не ухаживаю, перемѣнилъ свое обращеніе со мной.

Однажды подъ вечеръ Карташовъ пошелъ прогуляться къ морю и возвратился домой, когда уже были сумерки.

Прозрачныя, ласкающія окна ихъ квартиры были раскрыты, и Карташовъ услышалъ игру на роялѣ. Игра была нѣжная, мягкая, звуки точно лились—и прямо въ душу.

Кто это такъ игралъ? Игра Мани была бурная, звуч-

ная; правда у Зины было тоже очень мягкое туше, но Зина—въ деревнѣ.

Парадные двери были не заперты, и Карташовъ вошелъ въ гостиную. За роялью сидѣла незнакомая худенькая женская фигурка съ закрученной на головѣ косой. У рояля сидѣла лицомъ къ нему Маша и задумчиво, подъ впечатлѣніемъ музыки, смотрѣла въ полъ.

Шумъ отворявшейся двери остановилъ игру. Незнакомая дѣвушка оглянулась на Карташова, перестала играть и смущенно смотрѣла на Маню.

— Мой братъ,—сказала Маня и назвала брату свою гостью:

— Аделаида Борисовна Воронова.

И такъ какъ лицо Карташова ничего не выражало, то она прибавила:

— Сестра Евгеніи Борисовны.

— А!—радостно сказалъ Карташовъ—сестра Евгеніи Борисовны уже другъ и семьи и его, а особенно такая чудная музыкантша, такая изящная, такая скромная, такая застѣнчивая.

И сколько достоинства, сколько прелести въ этой маленькой фигуркѣ, выглядывающей почти еще дѣвочкой.

Обыкновенно первые шаги знакомства—самые тяжелые. Люди натянуты, хотятъ что-то изобразить изъ себя необычное. Такъ по крайней мѣрѣ всегда бывало съ Карташовымъ. А тутъ произошло совсѣмъ обратное: Карташовъ сразу почувствовалъ себя въ своей тарелкѣ, сталъ восторгаться ея игрой, просилъ ее еще играть. Карташовъ развеселился, началъ рассказывать разныя глупости, отъ которыхъ и онъ самъ, и Маня, и Аделаида Борисовна чуть не до упаду смѣялись.

Потомъ пришли Ася, Сережа. Приѣхала изъ города Аглаида Васильевна, пришла Евгенія Борисовна, пили чай, сидѣли на террасѣ и вечеръ прошелъ незамѣтно и быстро.

Весь подь настроеніемъ Карташовъ провожалъ Аделаиду Борисовну и сестру ея на-верхъ, помогъ ей надѣтъ шотландскую накидку, несъ ея шкатулочку изъ розоваго дерева, въ которой лежало ея шитье.

И накидка, и шкатулочка, и она вся, когда уже ушла, стояли передъ нимъ и, возвратившись, онъ въ какомъ-то очарованіи слушалъ рассказы о ней своихъ домашнихъ.

Всѣхъ очаровала Аделаида Борисовна.

Даже Аня сказала:

— Вотъ это—человѣкъ, настоящій, хорошій человѣкъ.

— Ласковая какая, мягкая, а глаза, глаза,—восхищалась Маня.

— Сережа сказалъ:

— И при этомъ она вѣдь и совсѣмъ некрасива.

— А, ну, что такое красота?—досадливо воскликнула Маня.—Кукла красивая, а что съ нея толку?

— Въ ней именно удивительная человѣческая красота,—начала головой Аглаида Васильевна.—Я много видала дѣвушекъ на своемъ вѣку,—и Аглаида Васильевна точно опять пересматривала ихъ всѣхъ въ своей памяти,—но такой воспитанной, такой скромной, такой обаятельной...

— А сколько достоинства въ то же время?—сказала горячо Маня и добродушно, вызываяще обратилась къ старшему брату.—А ты что молчишь? Ты что очумѣлъ, или отъ природы такой чурбанъ безчувственный?

— Маня!—сказала Аглаида Васильевна.

— Да, чтожъ онъ, мама, сидитъ, сидитъ, какъ не живой между нами. Ну? Говори...

Карташовъ съ наслажденіемъ слушалъ похвалы, расточаемыя Аделаидѣ Борисовнѣ, готовъ былъ отъ себя еще столько же прибавить, но, когда Маня обратилась къ нему, онъ потянулся и нехотя сказалъ:

— Дѣвушка, какъ дѣвушка: симпатичная...

— Что?!—взвизгнула Маня.—Ахъ, ты, свинтусъ, ахъ, ты, оболтусъ, ахъ, ты, Вахромей!

— Маня, Маня!—звала ее Аглаида Васильевна.

Но Маня не слушала. Ея волосы рассыпались, глаза сверкали, какъ брилліанты, она наступала на Тему и визжала:

— Да я тебѣ, негодному, всѣ глаза твои выпарапаю, своими рука́ми задущу негодяя...

— Я ухожу,—въ отчаяніи сказала Аглаида Васильевна.

— Хорошо, я больше не буду, но я такъ зла, такъ зла..

Она быстро то сжимала, то разжимала пальцы рукъ и проговорила комично:

— Хоть бы кошка мнѣ, что-ли, попалась, чтобъ разорвать ее въ мелкіе клочки.

Всѣ смѣялись, Карташовъ довольно улыбался, а Маня продолжала:

— Нѣтъ, какъ вамъ нравится? Можно сказать, ангель сошелъ на землю, а онъ, чучело..

— Маня, что за манеры?!

— Манеры? Развѣ съ этакимъ господиномъ хватить какихъ-нибудь манеръ?! Ну, хорошо же! Только ты ее и видѣлъ! На колѣняхъ будешь умолять, ручки мнѣ цѣловать—никогда!

Она ходила передъ Карташовымъ и твердила:

— Помни, помни—никогда! И заруби это себѣ хорошенько на своемъ носу—лопатѣ!

Она остановилась передъ братомъ, взялась въ бока и сказала:

— Ну! Повтори теперь еще разъ, что ты сказалъ?

— Сказалъ, что она очень симпатичная и милая...

— Дальше, дальше.

— Что-жъ дальше?

— Ну, ужъ говори прямо, что влюбился,—сказалъ Сережа.—Я, по крайней мѣрѣ,—готовъ.

— Молодецъ, Сережка! Вотъ настоящій мужчина, а не такой кисляй, какъ ты.

— А нога у нея некрасивая: длинная, на низкомъ каблукѣ, — замѣтилъ Тема.

— Смотрите, смотрите, успѣлъ ужъ и подъ платье заглянуть...

— Маня!

— Дуракъ ты, дуракъ,—продолжала Маня: нога ея въ великолѣпномъ, самомъ модномъ, лѣтнемъ ботинкѣ. И всякую ногу одѣнь въ такой ботинокъ, она будетъ длинная и узкая, какъ у обезьяны. И черезъ полъ-года ты и не увидишь другого фасона. И слава Богу, потому, что нѣтъ ничего ужаснѣе этого полутора-аршиннаго каблука, торчащаго на серединѣ подошвы. И въ такомъ ботинкѣ и нога слона и та будетъ ножкой, а такіе, ничего не понимающіе, какъ ты, будутъ только вздыхать отъ восторга: ахъ! ахъ! Ну, а играетъ она какъ?

— Играетъ прелестно, и если Сережа уже влюбился въ нее, то я тоже влюбился въ ея музыку.

— Не безпокойся, чортъ полосатый, влюбишься и въ нее.

— Маня! То-есть послѣ тюрьмы у тебя такія стали ужасныя манеры, замашки, выраженія...

— Однимъ словомъ, извѣстно, осторожная, пропавшій человѣкъ и конецъ.

И Маня хлопнула по плечу старшаго брата.

— Ну, ты совсѣмъ ужъ разошлась,—сказала мать— идемъ лучше спать. Но Маня, проходя черезъ гостиную, присѣла къ роялю и долго еще сперва шумная, а потомъ тихая музыка разносилась по дому. Подъ окномъ кто-то кашлянулъ. Маня остановилась, прислушалась и встала.

Теперь лицо ея было совершенно другое, напряженное, немного испуганное.

Оглянувшись и увидѣвъ на креслѣ старшаго брата,

она быстро приняла свой обычный вызывающій видъ.

— Ты что здѣсь дѣлаешь? — накинулась она на него — пора спать.

— Ну, спать, такъ спать, — согласился Карташовъ и пошелъ въ свою комнату.

А Маня дразнила его въ догонку.

— А-га, а-га! хочется поговорить, заслужи сначала! Ты думаешь, — такое сокровище даромъ даютъ. Надо стоять ее.

— Оставь себѣ это сокровище, — повернулся къ сестрѣ въ дверяхъ Карташовъ и, не дожидаясь отвѣта, затворилъ за собою дверь.

Маня не двигалась, пока не затихли его шаги, затѣмъ торопливо подошла къ окну и кашлянула.

Когда раздался отвѣтный кашель, она наклонилась въ окно и тихо спросила:

— Кто?

— Воргановъ.

— Проходите черезъ парадную дверь на террасу. И подождавъ еще, она пошла на террасу.

Тамъ стоялъ молодой человѣкъ, свѣтлый блондинъ, въ пиджакѣ.

Маня и молодой человѣкъ крѣпко пожали другъ другу руки.

— Благополучно? — спросила Маня.

— Вполнѣ.

— Давно пріѣхали?

— Сегодня.

— Долго пробудете?

— Нѣсколько дней, вѣроятно.

Молодой человѣкъ усмѣхнулся.

— Жизнь коротка..

— Да, коротка! — вздохнула Маня.

— Жалко, что вы киснете здѣсь.

— Кисну?..

— Какъ у васъ съ матерью?

— Мать уже прошлое. Какую-то сказку, — я помню, читала про страшного волшебника, который жилъ на днѣ моря, которому на завтракъ было мало кита, а въ концѣ концовъ отъ старости онъ сталъ такимъ маленькимъ, что самая маленькая рыбка его проглотила и не замѣтила даже.

— Такъ и во всемъ нашемъ дѣлѣ будетъ.

— Будетъ-то будетъ, доживемъ ли только мы съ вами до чего-нибудь хорошенкаго?

— Доживемъ. Особенно нашъ періодъ будетъ чреватый. Собственно организованной работѣ въ деревнѣ конецъ: урядники, смертные приговоры за агитацію ставятъ партію въ безвыходное положеніе и волей не волей поворачиваютъ на путь политической борьбы, пропаганды путемъ нелегальной печати, политическаго убійства. Сочувствіе со стороны общества во всякомъ случаѣ большое. Главный симптомъ—деньги, приливъ небывалый.

— Въ университетъ назадъ не думаете?

— Пока работа есть — нѣтъ. Вы знаете, что завтра у насъ собраніе?

— Знаю и буду. Опять шпиона выслѣдили?

Маня сдѣлала брезгливую гримасу.

— Не люблю этихъ дѣлъ. Доказательствъ всегда такъ мало, а ужъ одно подозрѣніе навсегда вычеркиваетъ человѣка изъ списка порядочныхъ. Вотъ Ахматова: у меня положительно впечатлѣніе, что она невинна.. И если она дѣйствительно невинна, тогда что? Что будетъ она переживать всю остальную свою жизнь? А мы съ такимъ легкимъ сердцемъ готовы кого угодно заподозрить, забросать грязью. Бр... Маня вздрогнула.

Дверь на террасу отворилась и Аглаида Васильевна угрюмо спросила:

— Кто тутъ?

Маня отвѣтила:

— Я.

— Ты одна?

— Нѣтъ.

Послѣ нѣкотораго молчанія Аглаида Васильевна очев недовольнымъ голосомъ спросила:

— Спать скоро пойдешь?

— Скоро.

Дверь затворилась.

Когда черезъ часъ Маня провожала своего гостя, онъ спросилъ ее:

— Не влюбились?

Маня равнодушно махнула рукой.

— Я слишкомъ ненавижу, чтобъ было еще мѣсто для любви.

— Звонко сказано! — усмѣхнулся молодой чело-вѣкъ.

— А я вотъ все мучаюсь и отъ того и отъ дру-гого!

— И на здоровье! Дай Богъ только поменьше удачъ въ любви и побольше въ ненависти. *

Маня захлопнула дверь, заперла ее и пошла къ себѣ.

Какъ ни тихо проходила она корридоромъ, сонный голосъ изъ спальни окликнулъ ее:

— Ты, Маня?

— Я.

И Маня быстро шмыгнула въ свою комнату, пока опять не заговорила Аглаида Васильевна.

— Маня, зайди ко мнѣ.—Послѣ молчанія она опять сказала:

— Маня!

Никто не отвѣчалъ.

— Ушла къ себѣ!—Гнѣвъ охватилъ Аглаиду Васильевну и первымъ побужденіемъ было встать и грозно идти къ Манѣ. Но она продолжала лежать въ какомъ-то безсиліи. Она только плотнѣе прижала свою бѣлую голову къ подушкѣ и очень скоро опять заснула.

VI.

Въ пять часовъ утра Аглаида Васильевна была уже на ногахъ. Она долго стояла на колѣняхъ передъ своимъ большимъ кіотомъ, уставленнымъ образами. Были тутъ и старыя и новыя, были и въ золотыхъ и серебряныхъ ризахъ, были и маленькія безъ всякихъ ризъ, совершенно темныя. Висѣли крестики, ладонки, лежали пасхальныя яйца, одно маленькое, красненькое, десятки лѣтъ уже лежавшее, совершенно высохшее и только во время тряски издававшее тихій звукъ отъ засохшаго комка внутри.

Каждую Пасху Аглаида Васильевна брала яйцо въ руки и погружалась на нѣсколько мгновеній въ соприкосновеніе съ тѣмъ, что было когда-то.

— Мама, что это за яичко?

— Вамъ это знать не надо.

Былъ канунъ Троицы. Аглаида Васильевна ждала сегодня Зину съ внуками и внучками.

Она молилась больше часу. Вставъ, утомленными тихими шагами она прошла въ столовую, взяла спиртоварительную кастрюльку, кофейникъ, кофе, сливки, просфору и вышла на террасу.

Радостное, свѣтлое утро ослѣпило ее.

Въ сосѣднемъ монастырѣ уже звонилъ колоколъ.

— Хорошій знакъ!—подумала Аглаида Васильевна.

Она положила всѣ предметы на столъ и медленно, удовлетворенно три раза перекрестилась. Затѣмъ она сѣла въ соломенное кресло и нѣкоторое время отдавалась охватившему ощущенію красоты картины.

На террасѣ была тѣнь, была прохлада, а тамъ на морѣ, на горахъ солнце уже ярко сверкало.

Какъ будто насталъ уже великій праздникъ и природа въ сознаніи его замерла, охваченная восторгомъ, счастьемъ, сознаніемъ своей жизни, бытія.

Только люди густой муравьиной толпою на пристаняхъ копошились и глухой гулъ толпы несся оттуда.

Аглаида Васильевна отыскала глазами куполь собора, опять трижды перекрестилась. Затѣмъ она начала варить себѣ кофе.

Эти часы были лучшими въ ея жизни. Потомъ проснутся дѣти, ворвутся, шумъ и заботы дня у каждого свои, многосложные, перепутанные; пріѣдетъ Зина съ дѣтьми, а теперь часы отдыха, часы, когда она только съ Богомъ, когда она набирается силъ для всего предстоящаго дня.

А чтобъ ихъ имѣть достаточно, прежде всего мудрое правило—довлѣетъ дневи злоба его—и другое—на все Его Святая Воля.—Думала въ эти часы Аглаида Васильевна только о пріятномъ..

Вотъ сынъ кончилъ и пріѣхалъ. Пережить съ нимъ пришлось больше, чѣмъ со всѣми остальными вмѣстѣ взятыми дѣтьми. Буквально былъ вырванъ изъ объятій смерти, изъ объятій ужасной болѣзни.

Самого его заслуга, конечно, большая, но еще большая Наташи, которая свою жизнь отдала за него. А еще большая, конечно, святого Пантелеймона, которому умирающаго тогда сына передала Аглаида Васильевна. Надо сегодня отслужить ему молебенъ, надо на Афонъ изъ перваго жалованья сына отправить двѣсти рублей.. И непременно заказать образъ со святыми Артеміемъ и Пантелеймономъ. Конечно, величайшая ея мечта, чтобъ къ концу жизни ея Тема, прошедшій уже весь тяжелый путь искупленья, въ созерцаніи познанной жизни, послѣднія свои минуты провелъ уже подъ схиемой, принявъ имя подарившаго ему жизнь — Пантелеймона.

И еще объ одной мечтѣ своей подумала и вздохнула Аглаида Васильевна. Чтобъ на этомъ образѣ была и та святая, имя которой будетъ носить подруга жизни ея сына.

— Аделаида—гдѣ-то въ самыхъ тайникахъ сознанія пронеслось это имя, но Аглаида Васильевна отогнала это какъ суетное пока и, крестясь, громко сказала...

— Во всемъ будетъ Твоя Святая Воля!

Было много и непріятнаго, что хотя и гнала отъ себя Аглаида Васильевна, но все-таки прокрадывалось въ голову: Маня и ея отношенія къ революціонной партіи! За одно была спокойна только Аглаида Васильевна, что здѣсь ни о какихъ любовныхъ похожденияхъ не могло быть и рѣчи.

Всѣ ея дочери въ этомъ отношеніи больше чѣмъ застрахованы. Она сумѣла внушить имъ не только ужасъ, но даже полное отвращеніе ко всему, что не освящено бракомъ, традиціями.

Даже и при такихъ условіяхъ, эта сторона жизни не удовлетворяла ихъ. Примѣръ Зина. Всѣ ссоры и раздоры ея съ мужемъ, разгулъ мужа, все разстройство его дѣлъ—причиной всему было отношеніе къ нему его жены. Эту сторону жизни Зина называла животной и говорила о ней съ раздраженіемъ, бѣшенствомъ и тоской.

— Я не могу, не могу выносить его ласки, когда его лицо дѣлается животнымъ, бессмысленнымъ, это такъ отвратительно, такъ невыносимо ужасно!

И прежде Наташа, а теперь и Маня и Ася слушали и сочувствовали ей всѣми тайниками своего существа. И даже въ дѣтяхъ Зина не находила утѣшенія, потому что и они были порожденіемъ того же омерзительнаго грѣховнаго и тѣхъ мгновеній, когда и она сама была унижена.

Въ послѣднее время особенно обострились отношенія между Зиной и ея мужемъ. Она не хотѣла больше дѣтей и единственный способъ настоять на своемъ видѣла въ прекращеніи супружескихъ отношеній. Мужъ ея рвалъ, металъ, пьянствовалъ, развратничалъ и все больше запускалъ дѣла. Изъ послѣдняго займа въ

пятьдесятъ тысячъ подъ будущій посѣвъ, онъ привезъ домой только пятнадцать. Это уже знала Аглаида Васильевна изъ письма. Что-то у нихъ тамъ теперь? Какъ внуки? Сердце Аглаиды Васильевны радостно забилося. Эти внуки были ей теперь дороже, чѣмъ собственныя дѣти, ихъ любовь, ихъ вѣра въ ея силы. Слово—баба—съ которымъ они постоянно обращались къ ней, чувствуя въ ней и защиту и высшій авторитетъ, звучало въ ея ушахъ, какъ лучшая музыка въ мірѣ.

Когда всѣ проснулись и пили чай и кофе на террасѣ, Аглаида Васильевна вышла уже одѣтая въ обычное черное платье, съ черной кружевной косынкой на головѣ и сказала:

— Тема, я не касаюсь твоихъ религіозныхъ убѣжденій и не для тебя, а для себя, я прошу тебя и даже требую, чтобы ты пошелъ со мною въ церковь отслужить молебенъ святому Пантелеймону.

Карташовъ смотрѣлъ на мать и все еще никакъ не могъ свыкнуться съ перемѣной въ ея лицѣ отъ выпавшихъ зубовъ. Лицо ея стало отъ этого приплюснутымъ снизу. Какъ-то было жалко и смѣшно смотрѣть на всю ея и вызывающую и неувѣренную въ то же время фигурку.

— Я ничего не имѣю противъ — отвѣтилъ Карташовъ.

Всѣ облегченно вздохнули, насторожившись было, какъ-бы Тема не сдѣлалъ изъ этого министерскаго вопроса. Въ церковь пошли только мать и сынъ. Въ ближайшую монастырскую церковь. Надо было только повернуть за уголъ и передъ глазами уже вставали бѣлыя монастырскія стѣны съ большими воротами посреди. Изъ-за стѣны выглядывали большія деревья густого тѣнистаго сада. Въ воротахъ съ кружкой стояла пожилая, полная, благочинная монахиня, которая радостно кланялась пояснымъ поклонами Аглаидѣ Ва-

сильевнѣ. Подойдя, Аглаида Васильевна поцѣловалась съ монахиней и, показывая на сына, сказала:

— Вотъ позвольте вамъ, мать Наталія, представить моего первенца. Приѣхалъ изъ Петербурга, кончилъ курсъ, инженеръ.

Мать Наталія кланяется, кланяется и Карташовъ.

— Идемъ молебенъ отслужить святому Пантелеймону, я вамъ рассказывала...

— Какъ-же, какъ-же помню, помню! Радостно видѣть своими глазами чудо Господне, Его Святого Пантелеймона и нашего покровителя молитвами содѣянное.

— Святой Пантелеймонъ — пояснила мать сыну — покровитель этого монастыря.

Карташовъ первый годъ жилъ на этой квартирѣ и раньше никогда не бывалъ въ монастырѣ.

Когда Аглаида Васильевна проходила дальше, монахиня ласково-просительно сказала:

— А ужъ послѣ молебна не откажите съ сыномъ въ келейку нашу испить чашечку чаю.

— Не побрезгуйте—поклонилась она и Карташову—мы вашу матушку чтимъ, какъ нашу мать родную, а васъ, какъ брата нашего общаго отца и покровителя святого Пантелеймона. Вы образъ его на воротахъ примѣтили?

— Какъ-же, какъ-же!

Карташовъ поклонился монахинѣ и, идя съ матерью по мощнымъ плитамъ монастырскаго двора, сказалъ:

-- Очень симпатичная и не глупая.

— О, очень не глупая. Она всѣмъ монастыремъ управляетъ собственно, но и самая смиренная, какъ видишь, не пренебрегаетъ никакимъ трудомъ, никогда послушницѣ не позволяетъ прибрать у себя, все рѣшительно сама дѣлаетъ.

Церковь, охваченная съ трехъ сторонъ деревьями, сверкала своими бѣлыми фронтонами.

— Смотри, какъ радостно, точно машутъ намъ деревья,—сказала мать.

— Очень уютно и очень чисто—отвѣтилъ сынъ.

Когда они входили подъ своды церкви, женскій хоръ гдѣ-то на хорахъ звонко пѣлъ, а священникъ, благословляя рѣдкую толпу, говорилъ:

— Благословеніе Господне на васъ.

Мать радостно, тихо шепнула сыну:

— Въ какой моментъ вошли—чудный знакъ!

— У васъ вѣдь плохихъ нѣтъ,—такъ-же тихо отвѣтилъ ей сынъ.

Мать встала на колѣни и погрузилась въ молитву.

Обѣдня кончилась, мать пошептала съ діакономъ и сейчасъ же начался молебенъ.

Мать весь молебенъ прослушала на колѣняхъ. Въ одномъ мѣстѣ молебна она дернула сына за ногу и показала на полъ. Онъ тоже всталъ на одно колѣно и наклонилъ голову, думая, долго ли надо ему такъ стоять. Ноги его затекли, и онъ опять поднялся на ноги, думая, какъ это мать можетъ стоять такъ долго.

Когда молебенъ кончился, онъ сказалъ это матери.

— А завтра три часа придется стоять такъ!

— Почему?

— Первый день Троицы, весь акафистъ Святой Троицы—всѣ на колѣняхъ.

— Хорошо, что предупредили—усмѣхнулся Карташовъ.

— Глупенькій, это твое дѣло, мнѣ важно было сегодняшнее. Ты мнѣ такой праздникъ сегодня сдѣлалъ... Больше, чѣмъ окончаніе курса.

И священнику и діакону мать представила сына.

Священникъ покровительственно смотрѣлъ на Карташова и говорилъ:

— Ну, стройте, стройте намъ дороги, да покрѣпче, чтобъ костоломками не были. Мѣсто уже имѣете?

— Нѣтъ еще.

— Ну, все въ свое время. Довлѣетъ днѣви злоба его.

— Вотъ, вотъ, батюшка — сказала Аглаида Васильевна—золотыми буквами въ сердцѣ всякаго должны быть написаны эти слова.

— А безъ этого какъ жить? Развѣ чирикали бы такъ беззаботно птички, была бы вся эта Божья благодать?

И священникъ указалъ кругомъ. Въ открытыя окна церкви заглядывали зеленныя деревья, бѣлыя и розовыя кисти цвѣтущихъ акацій, сверкало тамъ за окнами солнце еще болѣе яркое, отъ прохлады въ церкви. Уже вносили траву для завтрашняго дня и этотъ ароматъ свѣжихъ травъ, настой мяты, васильковъ и другихъ полевыхъ цвѣтовъ слился съ свѣжимъ и сильнымъ запахомъ бѣлой акаціи, сирени.

Они повернулись къ выходу и Карташовъ вдругъ увидѣлъ у одной изъ колоннъ скромную фигурку Аделаиды Борисовны.

Аглаида Васильевна такъ и рванулась къ ней и, горячо цѣлуя, сказала:

— Голубка моя стоитъ здѣсь... Вы были на молебнѣ?

— Да.

— Я никогда вамъ этого не забуду! Сегодня такой для меня праздникъ...

Аделаида Борисовна покраснѣла, какъ краснѣютъ дѣвушки ея возраста—до корня волосъ, до слезъ.

Карташовъ съ несознаваемымъ восторгомъ смотрѣлъ на нее.

Но при выходѣ Аделаидѣ Борисовнѣ пришлось еще разъ покраснѣть и даже совсѣмъ сгорѣть отъ стыда.

У притвора стоялъ нищій, высокій старикъ, угрюмый, державшій себя съ большимъ достоинствомъ.

Аглаида Васильевна остановилась и подала ему.

Аделаида Борисовна достала маленькій изящный кошелекъ, вынула оттуда серебряную монетку и тоже подала.

Старикъ посмотрѣлъ на нее и сказалъ:

— Да пошлетъ тебѣ Господь хорошаго мужа! Святому Артемію молись.

Выходившая уже Аглайда Васильевна остановилась, какъ пораженная громомъ. Она такъ и стояла, пропустивъ впередъ сына и Аделаиду Борисовну, а затѣмъ, повернувшись къ церкви, перекрестилась и положила земной поклонъ. Послѣ этого она подошла къ нищему и, подавая ему трехрублевую бумажку, сказала:

— Молись, угодный Богу человекъ, чтобъ пророчество твое сбылось! И совсѣмъ шопотомъ прибавила:

Молись, за Артемія и Аделаиду!

И Аглайда Васильевна вышла на полянку, гдѣ ждали ее сынъ, Аделаида Борисовна, мать Наталія и другая монахиня, тоже пожилая, маленькая, полная.

— Милости просимъ!

— Позвольте прежде всего, дорогія мои, сказала Аглайда Васильевна—познакомить васъ съ этой дорогой моей барышней. Она сестра Евгеніи Борисовны.

— А-а!—воскликнули монахини и жали руку Аделаиды Борисовны.

— Ну, тогда и васъ ужъ тоже позвольте просить для знакомства на чашечку чаю.

Мать Наталія, махнувъ рукой и добродушно прищурившись, сказала:

— Ужъ все равно заводить знакомство, чѣмъ съ однимъ—она посмотрѣла на Карташова—такъ вдвоемъ еще веселѣе.

Она скользнула по Аделаидѣ Борисовнѣ и, низко кланяясь, протягивая рукой впередъ, кончила:

— Милости просимъ, милости просимъ, и да благословить вашъ приходъ Господь Богъ и Святой Пантелеймонъ нашъ! Мать Наталія и мать Ефросинія, впередъ дорогу показывайте!

— Ну, или такъ—мать Наталія впередъ, а я сзади, чтобъ не разбѣжались!—сказала вторая монахиня.

— И я съ вами!—сказала ей Аглаида Васильевна.

Такъ они и шли подъ боковой колоннадой, и шаги ихъ звонко отдавались по плитамъ, — впереди мать Наталія, потомъ Аделаида Борисовна и Карташовъ, а сзади Аглаида Васильевна съ матерью Ефросиніей.

Потомъ пошли длиннымъ желтымъ коридоромъ съ такими же каменными плитами, темными, блестящими и звонкими. Въ окна коридора лилъ яркій свѣтъ, по другую сторону коридора шелъ рядъ дверей въ кельи. Иногда такая дверь отворялась, и оттуда выглядывала голова монашки. Увидѣвъ Аглаиду Васильевну, монашки радостно цѣловались, а Аглаида Васильевна знакомила ихъ съ ея сыномъ и Аделаидой Борисовной.

— А вотъ и наша хата! — сказала мать Наталія, широко распахивая дверь своей кельи и низко кланяясь.

— Не побрезгуйте, Христа-ради!

Всѣ вошли въ низкую продолговатую и узкую келью съ маленькимъ окошечкомъ въ тѣнистую часть сада. Въ кельѣ пахло кипарисомъ, мятой и еще какими-то пахучими травами или маслами.

Вдоль одной стѣны ближе къ окну стояла застланная нара, противъ нея вдоль противоположной стѣны стѣнной шкафъ со множествомъ полочекъ и ящичковъ.

Ближе къ двери простой деревянный столъ, покрытый цвѣтной скатертью. Принесли еще два табурета, и всѣ сѣли.

Молодая монахиня внесла мѣдный ярко блестящій самоваръ. Самоваръ кипѣлъ, пышно разбрасывая вокругъ себя струи бѣлаго пара.

Молодая монахиня поставила самоваръ и ждала приказанія. Это была стройная, красивая, съ живымъ взглядомъ черныхъ глазъ дѣвушка.

— Вотъ, позвольте васъ познакомить,—сказала, вставая, мать Наталія:—наша молодая послушница Марія, во Христѣ.

— Мы знакомы, — привѣтливо отвѣтила Аглаида Васильевна и поцѣловалась съ молодой монахиней.

Молодая Марія прильнула къ Аглаидѣ Васильевнѣ, такъ же радостно прильнула и къ Аделаидѣ Борисовнѣ и, потупясь, протянула руку Карташову.

— А теперь, дорогая Марія, — сказала мать Наталія, — принеси намъ хлѣбушка, икорки, балычка, грибовъ.

Марія бросилась было къ дверямъ.

— Да, постой! — спохватилась мать Наталія, — принеси и сливочекъ. И, обращаясь къ Аглаидѣ Васильевнѣ, прибавила:

— Что-жъ намъ неволить ихъ? — Она показала на молодежь. — Придетъ еще время имъ поститься.

— Какая красавица ваша Марія! — качала головой Аглаида Васильевна, — и какая молодая! Невольно страшно за нее: вдругъ — пожалѣть.

— Господь спаси и помилуй, — перекрестилась мать Наталія, — у насъ въ болгарскомъ монастырѣ былъ такой случай... Марія вѣдь тоже болгарка; еще дѣвочкой со мной была! Охъ, и перестрадали мы!

Разговоръ перешелъ на болгарскіе монастыри, на Болгарію, откуда мать Наталія только въ прошломъ году пріѣхала. Начавшаяся война вызвала особый интересъ къ странѣ, за которую лилась теперь кровь.

Принесли просфоры, хлѣбъ, икру, балыкъ, грибки и сливки.

Всѣ, не исключая и послушницы, сѣли около стола. Мать Наталія рассказывала, не торопясь, толково и умно.

— И красивы же болгарки. Такихъ красивыхъ женщинъ, я думаю, нигдѣ въ мірѣ въ другомъ мѣстѣ нѣтъ. Видала я Библию съ рисунками. Такъ вотъ тамъ только такія лица. И лицомъ, и складомъ, и поступью — всѣмъ взяли — каждая царица. А мужики у нихъ маленькіе, кривоногіе и, прости Господи, есть такіе уроды, что во снѣ увидишь — и испугаешься.

И когда всё смѣялись, мать Наталія смотрѣла, кивала головой и добродушно повторяла:

— Уроды, уроды..

— Есть и красивые! — сказала послушница и покраснѣла.

— Старыми глазами, можетъ, и проглядѣла, — отвѣтила сдержанно мать Наталія и заговорила о своей предстоящей поѣздкѣ въ сосѣдній монастырь.

Напившись чаю, гости встали и, приглашая монахинь, попрощались съ ними.

На обратномъ пути въ коридоръ высыпалъ весь монастырь. Были тутъ и старухи, и молодыя. Всѣ онѣ ласково кивали головами, иногда крестили и по проходѣ о чемъ-то шушукались.

Аглайда Васильевна услышала одинъ этотъ возгласъ:

— Въ добрый часъ!

И наклонивъ голову, перекрестилась.

Прямо изъ монастыря Аглайда Васильевна поѣхала по дѣламъ въ городъ, а въ это время мать Наталія крикнула Аделаидѣ Борисовнѣ и Карташову:

— А въ садикъ нашемъ и не побывали; зайдите посмотрѣть!

Карташовъ посмотрѣлъ на Аделаиду Борисовну; та нерѣшительно на него, мать Наталія настаивала, и оба они возвратились назадъ въ монастырь.

Аглайда Васильевна уже съ извозчика оглянулась, но у воротъ стояла только мать Наталія, которая и показала ей широкимъ взмахомъ на монастырь, крикнувъ:

— Заманила опять вашихъ голубковъ!

— Постой!

Аглайда Васильевна сошла съ извозчика, и къ ней быстро подошла мать Наталія.

— Вѣдь знаете, мать Наталія, я только сейчасъ вспомнила свой сегодняшний сонъ! Стою я будто у окна,

и вдругъ бѣлая голубка опустилась ко мнѣ на плечо и такъ воркуетъ, такъ ласкается...

— Божій сонъ—въ руку сонъ! Чтобъ не сглазить. Да не сглажу—глаза голубые вѣдь у меня... Сколько живу, сглазу не было... Давай Богъ, давай Богъ.

Обѣ женщины еще разъ поцѣловались, и мать Наталія, вдругъ отяжелѣвъ, слегка прихрамывая, пошла въ монастырь.

Во дворѣ ужъ никого не было. Еще на улицѣ она слышала радостный возгласъ:

— Пожалуйте, пожалуйте!

Теперь она слышала веселый говоръ въ саду.

Мать Наталія, подумавъ—„и безъ меня тамъ справятся“,—пошла по хозяйству.

VII.

Дома ждала телеграмма отъ Зины: „Если Тѣма можетъ пріѣхать за мной, то на Троицу пріѣду съ дѣтьми“.

Карташовъ въ тотъ же день выѣхалъ за сестрой въ имѣніе Неручевыхъ „Добрый Даръ“.

„Добрый Даръ“ находился въ сѣверо-западной части Новороссійскаго края, гдѣ мѣстность уже теряла свой исключительно степной характеръ.

И здѣсь также открывались передъ глазами необъятныя степи, но мѣстами попадалась и взволнованная мѣстность, изрытая крутыми оврагами, подымались тутъ и тамъ высокіе холмы, а иногда торчали скалы, обнаженныя, угрюмыя, на которыхъ вѣли свои гнѣзда сильныя орлы, называемыя беркутами.

Подъ вечеръ сверкнула передъ нимъ красная крыша господскаго дома, и онъ опять увидѣлъ знакомыя мѣста. Вспомнилъ еврейку и нарочно по дорогѣ заѣхалъ въ корчму узнать, какъ она поживаетъ. Но старый ев-

рей Лейба съ большой бѣлой бородой, почтенный, солидный, на вопросъ Карташова ничего не отвѣтилъ и даже совсѣмъ ушелъ.

Какая-то дѣвчина наймичка, съ высоко заткнутой за поясъ сподницей, изъ-подъ которой обнажались до колѣнъ ея голыя ноги, съ большими грудями, болтавшимися подъ рубахой, торопливо рассказала Карташову, что дочь Лейбы убѣждала съ сосѣднимъ бариномъ и теперь въ монастырѣ, гдѣ приметъ христіанство и выйдетъ за барина замужъ. А старикъ Лейба послѣ бесполезныхъ хлопотъ проклялъ дочь и никогда объ ней больше не говорить.

Весь охваченный воспоминаніями, въѣзжалъ Карташовъ въ знакомый дворъ усадьбы.

Вотъ каретникъ, гдѣ когда-то произошла смѣшная сцена съ нимъ и Корневымъ.

Тогда пара любимыхъ Неручевымъ лошадей, когда ихъ запрягли, вдругъ заартачилась и долго не хотѣла ваять съ мѣста.

Неручевъ тогда рвалъ и металъ, и его громовой голосъ несея по двору, и все и вся дрожало отъ страха, когда вдругъ Неручевъ упавшимъ голосомъ, какъ-то по-дѣтски, сказалъ:

— Ну, давайте ножи, будемъ рѣзать лошадей!

Этотъ переходъ, хотя и обычный, бывалъ всегда такъ смѣшонъ, что Карташовъ и Корневъ, стоявшіе сзади коляски, фыркнули и присѣли за коляску, чтобъ ихъ не увидѣлъ Неручевъ.

Но какъ разъ въ это время кони рванули, наконецъ, умчались, и остались сидяще на корточкахъ Карташовъ и Корневъ, а передъ ними Неручевъ, отлично понимавшій, что смѣялись надъ нимъ. На этотъ разъ, такъ какъ взрывъ уже прошелъ, Неручевъ новымъ не разразился и, молча повернувшись, пошелъ отъ нихъ прочь

На крыльцо выбѣжали встрѣчать дѣти, Зина, бонна. Не было только Неручева.

Зина горячо нѣсколько разъ обнимала брата.

Какая-то переменна была въ ней: она стала ласковая, мягкая, со взглядомъ человѣка, который видитъ то, чего другіе еще не видятъ и не знаютъ.

Она избѣгала говорить о себѣ, о своихъ дѣлахъ и съ любовью и интересомъ, трогавшими Карташова, разспрашивала его объ его дѣлахъ.

— Постой!...— сказала она, и лицо ея освѣтилось радостью.

Они сидѣли на скамьѣ въ саду, въ широкой и длинной аллеѣ. Она встала и ушла въ домъ, а Карташовъ въ это время сталъ раздавать дѣтямъ подарки.

Зина скоро вернулась съ маленькимъ ящичкомъ. Въ немъ былъ академическій значокъ, выполненный въ Парижѣ по особому заказу Зины ручнымъ способомъ.

Работа была удивительная.

— Пусть этотъ знакъ будетъ всегда съ тобой и напоминаетъ тебѣ меня.

Голосъ Зины дрогнулъ, и она вдругъ заплакала.

— Мама плачетъ!—крикнулъ встревоженный старшій мальчикъ и, бросивъ игрушки, кинулся къ матери; за нимъ побѣжала и маленькая лучезарная Маруся, но второй, черноглазый трехлѣтній Ло, не двинулся съ мѣста и только впился въ мать своими угрюмыми черными глазенками.

Но Зина уже смѣялась, вытирала слезы, цѣловала дѣтей, Тѣму.

Потомъ всѣ пошли обѣдать. И за обѣдомъ не было Неручева. Зина вскользь сказала, что онъ возвратится къ ночи.

На вопросъ Карташова, какъ дѣла, Зина только безразлично махнула рукой.

Послѣ обѣда Зина играла и пѣла.

Вечеромъ они сидѣли на террасѣ и прислушивались къ тишинѣ деревенскаго вечера, съ особымъ сухимъ и ароматнымъ воздухомъ степей.

Гдѣ-то въ горахъ сверкалъ ярко, какъ свѣчка, огонекъ костра, неслась далекая пѣсня, мелодичная, печальная, хватающая за сердце.

— Ну, ты усталъ, а потомъ завтра опять дорога, ложись спать.

Карташова положили въ той же комнатѣ, гдѣ когда-то они спали съ Корневымъ, и опять воспоминанія нахлынули на него.

Такъ среди нихъ онъ и заснулъ крѣпкимъ молодымъ сномъ.

Проснувшись и одѣвшись, онъ вышелъ на террасу, гдѣ уже былъ приготовленъ чайный приборъ, но никого не было. Онъ спустился по ступенькамъ въ садъ. Прямо отъ террасы крутымъ спускомъ шла аллея внизъ, къ пруду.

Прудъ сверкалъ и искрился въ лучахъ солнца, окруженный высокими холмами, а мѣстами обнажившимися скалами, угрюмо нависшими надъ прудомъ.

У той скалы ловили они съ Корневымъ раковъ, на томъ выступѣ жарили лягушекъ и ѣли, въ то время, какъ Наташа, Маня и Аня съ ужасомъ смотрѣли на нихъ.

Несмотря на іюнь, было прохладно, и уже покраснѣвшая трава на холмахъ говорила еще сильнѣе объ осени, придавая всему особый колоритъ и особую прелесть.

И небо было сине-голубое, какое бываетъ только осенью.

Карташовъ медленно возвращался назадъ къ дому и былъ уже недалеко, когда двери дома вдругъ распахнулись, и изъ нихъ вылетѣла въ бѣломъ пенюарѣ съ распущенными волосами Зина, а за ней взбѣшен- ный, растерянный Неручевъ.

Зина пронеслась мимо Карташова, бросивъ ему угрюмо, равнодушно:

— Спаси меня отъ этого звѣря!

Лучшаго слова нельзя было подобрать. Съ оскаленными зубами, страшными глазами, онъ уже наступалъ жену.

Онъ очень измѣнился съ тѣхъ поръ, какъ не видѣлъ его Карташовъ. Пополнѣлъ, обрюзгъ, съ большимъ животомъ.

Худой и тощій Карташовъ, въ сравненіи съ нимъ, массивнымъ, коренастымъ, представлялъ изъ себя ничтожное сопротивленіе. Чтобы увеличить его, Карташовъ успѣлъ схватиться одной рукой за вѣтку дерева и, пригнувшись, другой обхватилъ Неручева и тоже схватился за вѣтку, и такимъ образомъ Неручевъ очутился въ объятіяхъ между Карташовымъ и вѣткой.

Карташовъ обхватилъ его вокругъ живота, и ему казалось, что большой жирный и мягкій животъ Неручева переливается черезъ его руки и вотъ-вотъ лопнетъ.

— Пустите!—прохрипѣлъ Неручевъ, безумными глазами впиваясь въ Карташова.

— Пустите, а то плохо будетъ!

И Неручевъ поднималъ надъ головой Карташова свои страшные кулаки.

— Я знаю, что плохо, потому обѣ руки мои заняты, и я въ вашей власти. Но, дорогой Викторъ Антоновичъ,—заговорилъ Карташовъ: — бейте меня и даже убейте, не могу же я не удержать васъ отъ того позорнаго, что неизгладимымъ пятномъ ляжетъ на васъ. Вѣдь это же—женщина.

— А, женщина! — бѣшено закричалъ Неручевъ.— Вы знаете, что эта женщина сдѣлала со мною? Она дала мнѣ пощечину.

— Это ужасно, конечно,—заговорилъ Карташовъ, продолжая крѣпко держать Неручева:—это даетъ вамъ

право прогнать ее, развестись съ ней, но ради Бога же не унижайте себя, не губите себя, меня...

— Пустите меня,—сказаль Неручевъ уже другимъ обезсилѣвшимъ голосомъ, напоминавшимъ Карташову тотъ голосъ, когда онъ говорилъ:

— Ну, давайте ножи, будемъ ихъ рѣзать!

Карташовъ выпустилъ его, и тутъ же на скамейкѣ Неручевъ началъ плакать, жалобно причитая:

— Господи, Господи, кто же когда въ моемъ роду былъ бить, и кто не убилъ бы тутъ же на мѣстѣ за такое оскорбленіе!

Результатомъ этой сцены было то, что Зина съ дѣтьми въ этотъ же день подъ вечеръ выѣхала съ Карташовымъ, не повидавшись больше съ мужемъ.

Впереди въ маленькой коляскѣ ѣхали Зина и Карташовъ, сзади въ большомъ фэатонѣ дѣти.

Дорога изъ усадьбы спускалась къ плотинѣ, а потомъ уже на другой сторонѣ вдоль пруда поднималась опять въ гору.

Къ вечеру еще похолодѣло, и сильнѣе пахло осенью.

Садилось солнце. И изъ-за тучъ какими-то густыми, съ красноватымъ отблескомъ, лучами освѣщало и прудъ, и садъ, и всю, на виду теперь, усадьбу.

Было что-то безконечно-грустное въ этихъ тонахъ заката, въ безмолвіи, холодно сверкавшемъ прудѣ, окруженномъ скалами, надъ которыми взвивались и кричали орлы.

Зина сидѣла и съ горечью смотрѣла на усадьбу, зная, что она никогда ужъ не увидитъ въ жизни этого уголка, и думала, зачѣмъ она его видѣла, зачѣмъ здѣсь жила, зачѣмъ погибли шесть лучшихъ лѣтъ ея жизни, похороненные здѣсь въ этой могилѣ, и не только могилѣ шести этихъ лѣтъ, но и всѣхъ радостей ея жизни, всѣхъ иллюзій, всѣхъ надеждъ.

Она страстно и горько сказала брату:

— Будь все это проклято, будь проклять виновникъ моей разбитой жизни!

Она замолчала; молчалъ и Карташовъ. Сѣло солнце, и заволакиваемая сумерками и угрюмо, точно въ тонъ мыслямъ, молчала округа.

Зина прервала молчаніе.

— Боже мой, какая нелѣпая жизнь! И зачѣмъ надо было меня выдавать замужъ?

Она еще помолчала.

— Если бы не ты, онъ убилъ бы ужъ меня сегодня... и я ничего бы не испытывала больше!

Въ голосѣ ея какъ-будто звучало сожалѣніе.

— Что произошло у васъ?

— Э, онъ сталъ совершенно невозможнымъ человѣкомъ. Весь родъ его такой выродившійся... Ты себѣ представить не можешь, какой это ужасный, какой извращенный человѣкъ!.. Какой адъ я переживала съ нимъ! Онъ всегда меня упрекалъ въ холодности. Онъ судилъ по своей развращенной натурѣ и не допускалъ мысли, что я такова по природѣ. Въ его развратномъ разстроенномъ воображеніи всегда гнѣзятся самыя ужасныя предположенія... Онъ мнѣ въ глаза клялся, что поѣздка, напримѣръ, къ мамѣ—предлогъ для того, чтобы въ большомъ городѣ отдаваться самому ужасному разврату. Это я-то. Онъ рассказывалъ, что у него тамъ есть онѣ, которыя ему и доносятъ всю эту ерунду. Наконецъ, что иногда онъ самъ, переодѣтый, слѣдитъ за мной и знаетъ все отлично. Наконецъ, сегодня утромъ дошелъ до того, что... а... сталъ упрекать меня въ связи съ какимъ-то мужикомъ здѣшнимъ... Вытирашилъ свои сумасшедшіе глаза и кричалъ мнѣ на весь домъ: „я самъ своими глазами видѣлъ и пускай весь міръ провалится, пусть самъ Богъ придетъ и скажетъ, что вѣтъ, я и ему не повѣрю“. Отъ этого гнуснаго оскорбленія у меня въ глазахъ потемнѣло, и я даже не знаю, какъ я его ударила... Но, слава Богу, слава

Богу, теперь конецъ... Еще раньше я получила отъ него заграничный паспортъ... Онъ твердо убѣжденъ, что и заграница мнѣ нужна исключительно для удовлетворенія моихъ всепожирающихъ страстей и въ періодъ самоуниженія жалобно твердить: „я со всѣмъ мирюсь и прошу только объ одномъ, чтобы не на глазахъ“. Вѣдь онъ, негодай, ѣздитъ ко всѣмъ и рассказывалъ всѣ свои клеветы, изображая себя жертвой... Прекрасный человекъ, несущій терпѣливо свой крестъ. Его знакомыхъ я видѣть не могу, потому что знаю, что онъ имъ наклеветалъ все, что можно... И какъ клевететь! Какія комедіи разыгрываетъ! Боже мой, отъ одной мысли, что это ужасное свое свойство онъ передалъ и дѣтямъ, я начинаю ихъ ненавидѣть, и моя жизнь такая ужасная, такая ужасная!

Изъ опасенія, чтобы не было погони, ѣхали безъ остановки. Когда подѣхали, наконецъ, на разсвѣтъ къ станціи, все та же пара прекрасныхъ лошадей, когда-то гордость Неручева, дрожала отъ утомленія, и кучеръ Петръ съ грустью говорилъ:

— Пропали кони, загнали коней.

Поѣздъ, съ которымъ ждали Неручеву съ дѣтьми, приходитъ въ шесть часовъ.

Выѣхали встрѣчать Зину всѣ.

Ее увидали ужъ въ окошко, и Маня, Аня и Сережа побѣжали съ крикомъ.

— Зина, Зина!

Красивое суровое лицо Зины смѣялось; она улыбалась и кивала головой.

Когда остановился поѣздъ и появилась Зина, и дѣтки съ бонной и няней—на нихъ накнулись и стали цѣловать сразу по два—одинъ въ одну щеку, другой въ другую.

Пока старшій шестилѣтній мальчикъ радостно подставлялъ свои щечки, младшій трехлѣтній Ло, кличку котораго далъ ему его старшій братъ, не обнаружи-

валъ никакой радости, началъ огорченно и озабоченно рассказывать Манѣ о своихъ невзгодахъ,

Маня завизжала отъ восторга, вслушивалась въ его воркотню, и только отмахивалась отъ остальныхъ, крича:

— Пойдите, пойдите!

Мальчикъ удивительно чисто и гладко, совершенно ровнымъ и какъ падающая дробь голосомъ, рассказывалъ, какъ онъ себя ѣхалъ и никого не трогалъ и какъ, тѣмъ не менѣе, къ нему приставали и одинъ пузатый и одинъ лохматый, и одна женщина его поцѣловала.

— И у нея губы были толстыя и мокрыя, и она замочила мнѣ лобъ и теперь у меня лобъ мокрый!—Ло съ чудными черными глазенками, типъ малоросса, снялъ свою шляпу и, окруженный восторженными лицами своихъ тетей и дядей и близкихъ, усердно теръ рученкой свой лобъ.

— Ахъ, ты мой бѣдненькій, ахъ, мой миленькій,—умирала надъ нимъ Маня, въ то время, какъ Зина, пренебрежительно махнувъ рукой, сказала:

— Вотъ ужъ не мазанная арба—вѣчныя жалобы и всё виноваты!

Ихъ сестра, двухлѣтняя Маруся, маленькая красавица съ остановившимися сіяющими глазенками, восторженно смотрѣла на всѣхъ, на Ло, няню, бонну, мать.

— Дядя Тѣма, а помнишь въ прошломъ году ты обѣщалъ мнѣ...

— Май!—возмущенно перебила его мать.

— Помню, помню!—отвѣчалъ Карташовъ,—ивотъ что: я съ тобой сейчасъ же и пойду прямо къ игрушкамъ.

— Ну, ради Бога!—взмолилась-было Зина.

Но Карташовъ настоялъ. Ло тоже пожелалъ съ ними ѣхать. Ло Карташовъ посадилъ къ себѣ на колѣни. Май сѣлъ рядомъ, и они поѣхали.

Ихъ не ждали и пообѣдали безъ нихъ.

Наконецъ, появились и они, нагруженные игрушками.

Май, не снимая шапки, присѣлъ на стулъ, скучающими глазами обвелъ комнату и спросилъ:

— А теперича куда?

— Что, куда, голубчикъ? — нахлопилась къ нему Маня.

— Куда опять поѣдемъ?

Всѣ разсмѣялись, а Зина говорила:

— Вѣдь мы все время изъ имѣнія въ имѣніе, съ желѣзной дороги въ экипажъ, изъ экипажа на желѣзную дорогу—совсѣмъ разбѣштались.

— Теперича, голубчикъ, никуда больше, теперича вы кушать будете!—объяснила ему Маня.

Май ѣлъ съ аппетитомъ, широко раскрывая ротъ и громко чавкая, и въ это время его раскошенные слегка глазки закрывались нѣжными, почти прозрачными, вѣками и во всемъ лицѣ, во всей фигуркѣ чувствовалось что-то безпомощное, слабое.

Аглайда Васильевна сидѣла надъ нимъ, гладила его тонкіе, какъ шелковинки, каштановые волосы и приговаривала:

— Голубчикъ мой, шутка сказать, два воспаленія мозга перенести.

— А дифтерить еще, баба!—напомнилъ Май.

— Да, да и дифтерить.

Ло сидѣлъ, сдвинувъ черныя брови, и въ упоръ куда-то смотрѣлъ острыми глазенками.

Маруся переходила съ рукъ на руки, съ восторгомъ принималась опять и опять цѣловаться и радостно, неподвижно смотрѣла на всякаго новаго, кто бралъ ее.

— Солнышко!—говорилъ Сережа. — Будь и всегда такой: грѣй, свѣти, кружи головы. Богъ дастъ и я еще поухаживаю за тобой. А тотъ,—онъ показывалъ на своего брата, — тотъ ужъ нѣтъ, тотъ и теперь старый.

Плюнь на него и разотри. Вотъ такъ,—Сереза плевалъ, и Маня, нагнувшись, тоже плевала.

— А теперь вотъ такъ ножкой разотри.

Ло слѣзь никѣмъ не замѣченный со стула и важно направился на террасу.

Маня первая схватила его и бросилась за нимъ.

Ло уже успѣлъ въ это время перелѣзть черезъ ограду и расхаживалъ по плоской желѣзной крышѣ подвального навѣса. До земли было больше сажени, и каждое мгновеніе Ло могъ полетѣть внизъ.

Маня такъ и замерла, увидѣвъ это.

Она заговорила жалобно:

— Ло, миленькій, иди назадъ.

Но Ло даже не отвѣтилъ, дѣлая видъ, что не замѣчаетъ ее.

Маня продолжала упрашивать его, а сама незамѣтно подвигалась къ периламъ. Но какъ только она хотѣла тоже перелѣзть на крышу, Ло встрепенулся и быстро побѣжалъ къ противоположному краю крыши.

Совсѣмъ жалобно, замирая отъ ужаса, она быстро заговорила:

— Не полѣзу, не полѣзу, вотъ—даже отойду!

Она отошла и стала ломать голову, какъ уговорить упряма возвратиться на балконъ.

— Я къ вамъ больше никогда не пріѣду,—началъ самъ Ло переговоры.

— А почему, голубчикъ?—робко спросила Маня.

— А потому, что вы никто со мной не хотите разговаривать, вы любите только Мая и Марусю, а меня не любите. Никто меня не любитъ, ни мама, ни вы, никто...

— Ой, голубчикъ, я тебя такъ люблю, такъ люблю!

— Нѣтъ, нѣтъ, не любишь, а я знаю одну пѣсенку и умѣю играть ее.

— Сыграй же мнѣ, мой миленькій, дорогой.

Ло еще подумалъ и отвѣтилъ безнадежнымъ голосомъ:

— Нѣтъ!

— Ну, хотя отойди отъ края!

Ло еще подумаль и, уставившись въ свою тетю потухшими глазенками, отвѣтилъ еще безнадежнѣе:

— Нѣтъ.

— Почему же все нѣтъ, золото мое?

— А зачѣмъ ты ко мнѣ пристаешь все?

Въ это время на террасу вышелъ Сережа. Маня прошептала ему:

— Спаси его, я сейчасъ въ обморокъ упаду.

Сережа съ напускной суровостью накинулъ на Маню:

— Зачѣмъ ты пристаешь къ Ло? Зачѣмъ ты обижаешь его? Постой же, я сейчасъ выброшу тебя черезъ перила!

И Карташовъ потащилъ Маню къ периламъ.

— Ло, голубчикъ, спаси меня!—закричала Маня.

Ло бросился, мгновенно перелѣзъ перила и съ отчаяньемъ ухватился за фалды Сережи.

— Ахъ, ты не хочешь, чтобъ я ее бросилъ! Ну, Богъ съ тобой—держи ее!

— Ахъ, онъ спасъ меня, спасъ!—обнимала и цѣловала Маня Ло.—Ты знаешь, Сережа, онъ знаетъ новую пѣсенку и умѣетъ ее играть.

— Да не можетъ быть!

— Онъ тебѣ не вѣритъ, сыграй ему!

Ло снисходительно усмѣхнулся и пошелъ въ комнаты. За нимъ пошли Маня и Сережа.

Ло подошелъ къ роялю, вскарабкался на стулъ и, пока собирался, Маня уже успѣла шопотомъ рассказать, что было.

— Надо сейчасъ же запереть дверь на террасу.

Аглайда Васильевна вскочила сама и быстро повернула ключъ.

Ло уже началъ играть и пѣть.

Слухъ и голосъ у него были удивительные. По-временамъ онъ торжествующе вскидывалъ глазенки на

Серезу. Кончивъ, онъ быстро, никого не удостоивая взглядомъ, прошелъ прямо къ террасѣ.

Ему никто не мѣшалъ, но когда дверь оказалась запертой,—онъ на мгновеніе замеръ. А мать сурово сказала:

— Хозяинъ дома видѣлъ, какъ ты ходилъ по крышѣ, пришелъ и заперъ дверь.

Ло слушалъ, стоя спиной ко всѣмъ, но въ слѣдующее мгновеніе, прежде чѣмъ кто-либо успѣлъ помѣшатель, вспрыгнулъ на окно, а оттуда на террасу. Но сейчасъ же тѣмъ же путемъ полетѣлъ туда Сереза, а въ растворившіяся двери—всѣ.

Ло барахтался въ рукахъ Серези. Смѣялся Сереза, смѣялся Ло, смѣялись всѣ.

— Вотъ такъ огонь!—говорилъ Сереза.

— Пойдите, я съ нимъ поговорю!—сказала Аглаида Васильевна.—На каждого ребенка надо смотрѣть, какъ на совершенно взрослаго, и—дѣйствовать только логикой.

Аглаида Васильевна занялась съ Ло, а Зина начала рассказывать Тѣмъ о своемъ житьѣ-бытьѣ, о томъ, какой несносный человѣкъ сталъ ея мужъ, какъ между ними не стало ничего общаго.

— Послѣднее наше столкновеніе началось тѣмъ, что онъ, напившись пьянымъ, въ такомъ видѣ полѣзъ—было ко мнѣ. Этого еще никогда не бывало. Когда я ему крикнула „вонъ“, онъ грубо схватилъ меня за лѣвую руку и сталъ кричать: „да ты что себѣ думаешь, да я тебя избью“. Я правой рукой какъ размахнусь и изо всей силы его ударила по лицу. Онъ растерялся, выпустилъ мою руку; тогда я бросилась, схватила револьверъ, направила на него и сказала: „я считаю до трехъ, и если вы не уйдете, я васъ убью.“ Онъ смотрѣлъ на меня широко раскрытыми глазами и, ничего не сказавъ, шатаясь, вышелъ. Я сейчасъ же дверь на замокъ, а на другой день выѣхала съ дѣтьми сюда. Утромъ было объясне-

нѣ; я настаивала, чтобъ онъ далъ мнѣ двухгодичный заграничный паспортъ, и двѣ тысячи денегъ.

Уже было извѣстно, что Зина оставляетъ дѣтей у Аглаиды Васильевны и ѣдетъ за границу, можетъ, черезъ Константинополь.

— Въ общемъ ты что же рѣшила?

— Я ничего не рѣшила, ничего еще не знаю. Знаю только, что такъ жить нельзя. Я убью и его и себя; мнѣ противно все, я хочу прежде всего успокоиться немного, забытья.

Растройство нервной системы и раздраженіе Зины бросалось сразу въ глаза, и тяжелѣе всего отзывалось на дѣтяхъ. Неровность обращенія взвинчивала и дѣтей, дѣлала ихъ несчастными, и даже уравновѣшенная маленькая Маруся на рукахъ у матери, какъ только та раздраженно скажетъ:—ахъ, да сиди же ты спокойно, Маруся!—начинаетъ обиженно собирать губки, а затѣмъ кричать, заливаясь слезами.

— Дай ее!—скажетъ кто-нибудь.

— Ахъ, да берите—убирайся, гадкая, капризная дѣвочка!

И на рукахъ у другихъ Маруся мгновенно успокаивалась. Личико ея сіяло счастьемъ, глазенки радостно, блаженно смотрѣли, а слезки сверкали, какъ роса на солнцѣ.

Пришли Евгенія и Аделаида Борисовны.

Обѣ были въ восторгѣ отъ дѣтокъ.

— Каждый изъ нихъ,—авторитетно говорила Евгенія Борисовна—красавецъ въ своемъ родѣ: Май—это Андрей Бульба, Ло—Остапъ, Маруся—красавица паненка.

Аделаида Борисовна только пѣжно смотрѣла на дѣтей, хотѣла поцѣловать ихъ и нерѣшалась, пока Маруся сама не забралась къ ней на колѣни и начала ее обнимать и цѣловать.

Когда Аделаида Борисовна заиграла, Зина, сама хоро-

шая музыкантша, пришла въ восторгъ и упрасивала ее играть еще и еще.

Потомъ заставили и Зину играть.

Игра Зины была грустная до слезъ, нѣжная и грубокая.

— Какъ это чудно! — прошептала Аделаида Борисовна. — Что это?

— Такъ, мое! — нехотя отвѣтила Зина и заиграла новое.

Вопросъ застылъ въ глазахъ, во всей напряженной фигуркѣ Аделаиды Борисовны: такъ и сидѣла она пораженная, слушая удивительную игру Зины.

Это была, дѣйствительно, какая-то особенная игра. Казалось, что пѣла невиданная красавица, вся усыпанная драгоценными камнями. И горѣли на ней голубыми и всѣми огнями эти камни и сверкала она вся неземной красотой, но столько безконечной грусти и тоски было въ этой красавицѣ, въ ея красотѣ, въ камняхъ драгоценныхъ, въ ея пѣннн, что хотѣлось плакать, такъ хотѣлось плакать. Аделаида Борисовна, едва успѣвъ вынуть платокъ, уткнулась въ него и заплакала. И она была такая безпомощная, одинокая, такъ вздрагивало ея худое тѣло.

Когда Зина замѣтила, наконецъ, какое впечатлѣніе произвела ея музыка, она бросилась къ Аделаидѣ Борисовнѣ, а та, въ свою очередь, обнявъ ее, еще горше разрыдалась. Она шептала, всхлипывая, Зинѣ:

— Мнѣ такъ совѣстно, такъ совѣстно, такъ жалко васъ стало... и не знаю почему... Вы такая красавица... Дѣти ваши такъ прекрасны... А я... я... я такъ некрасива.

Она камнемъ прижалась къ Зинѣ, и слезы ея сразу протекли сквозь платье на Зинину грудь.

Всѣ остальные вышли на террасу.

— Милая моя, дорогая дѣвочка, — ласкала плакавшую Зина, — развѣ въ этомъ счастье? Что можетъ быть лучше,

прекраснѣ весны, ея аромата, а вы—весна и такая же нѣжная и такая же прекрасная. Вы не красивы? Я не знаю, что такое красота, но прекраснѣ васъ я никого еще не видѣла, и если вы располагаете даромъ сразу привязывать къ себѣ всѣ сердца, какъ мое, то что еще вамъ надо въ жизни? И васъ будутъ любить, и вы будете любить и узнаете то счастье, котораго у меня никогда не было и не будетъ.

Зина заплакала.

И долго онѣ обѣ не показывались. А когда вышли, наконецъ, то точно подѣлили между собой все, что имѣли—красоту, ласку, смиреніе и даже увѣренность.

Взглядъ Аделаиды Борисовны былъ глубже, увѣреннѣе, какъ у человѣка, который что-то вдругъ узналъ или позналъ и многое понялъ. А у Зины чувствовался покой удовлетворенія человѣка, выплакавашаго, наконецъ, то, что камнемъ лежало на душѣ.

И весь остальной вечеръ лицо Аделаиды Борисовны точно свѣтилось, когда робкая, сосредоточенная она останавливала свой взглядъ на Зинѣ.

На слѣдующій день была Троица. Всѣ, кромѣ Тѣмы, были въ церкви. Служба такъ затянулась, что Тѣма, соскучившись, пошелъ тоже въ монастырь.

Онѣ обогнулъ церковь и прошелъ прямо въ садъ. Народу вездѣ было много. Нарядной, одѣтой по-лѣтнему, толпой была биткомъ набита церковь, притворъ, весь подѣздъ, всѣ дорожки сада.

Въ открытыя окна церкви несло пѣніе двухъ женскихъ хоровъ, струился синій дымокъ отъ кадилъ. Вездѣ былъ сильный запахъ увядшей травы.

Карташовъ углублялся въ садъ, отыскивая уединенія, когда на одной изъ скамеекъ увидѣлъ Маню Корневу.

Онѣ еще не успѣлъ побывать у нихъ и ничего не зналъ о томъ, гдѣ ея братъ, кончившій въ прошломъ году медицинскую академію. Онѣ смущенно и радостно подошелъ къ Корневой. Она уже не была той распу-

скавшейся дѣвушкой, въ которую когда-то онъ былъ такъ влюбленъ. Но кожа ея была такъ же бѣла и нѣжна, было что-то прежнее въ карихъ глазахъ, связь прошлаго скоро возстановилась и они весело заговорили между собой.

Карташовъ совершенно не чувствовалъ прежняго смущенія передъ Маней и даже заговорилъ о прежнемъ своемъ чувствѣ къ ней.

— Вѣдь теперь можно уже говорить, теперь это уже такое прошлое... говорилъ онъ.

— Но когда же, когда это было?

— Господи, когда! Да тогда вы и Рыльскій оба съ ума сходили; когда я былъ вашимъ повѣреннымъ, когда спиной своей закрывалъ васъ, чтобы дать вамъ возможность поцѣловаться.

Маня не потеряла свою прежнюю способность вспыхивать и точно загораться краской. Кожа ея еще нѣжнѣе становилась, а глаза сдѣлались мягкіе и влажные, и грудь, сквозившая изъ-подъ батистоваго платья, неровно дышала. Она ближе наклонилась и, понижая голосъ, повторяла:

— Не можетъ быть! Но отчего-же вы молчали? Отчего хотъ какимъ-нибудь жестомъ не дали понять? Хотъ такъ?

Она показала какъ—мизинцемъ своей красивой длинной руки—и весело разсмѣялась. И смѣхъ былъ тотъ же—разсыпающагося серебра.

Служба кончилась, наконецъ, и толпа повалила изъ церкви.

— Ну, надо маму идти искать,—сказала Маня: слушайте, приходите же!

Она такъ довѣрчиво и ласково кивала головой.

— Ахъ, Господи, Господи!.. еслибъ я знала тогда... Слушайте...—Она смущенно разсмѣялась.—Вѣдь сперва я... ну, да вѣдь прошлое же... вѣдь я же въ васъ влюбилась сперва, но вы были такъ грубы... Ахъ!

Они шли черезъ толпу и оба были взволнованы, оба были охвачены прошлымъ. По-прежнему надъ ними цвѣла акація и ароматъ ея проникалъ ихъ, и, казалось, ничего не измѣнилось съ тѣхъ поръ.

Карташовъ увидѣлъ мать, сестеръ, Аделаиду Борисовну; онъ раскланялся съ ней и пошелъ дальше съ Маней Корневой, отыскивая ея мать.

Аглаида Васильевна сдержанно отвѣтила на поклонъ Мани.

Когда нашли мать Корневой, та сдѣлала свою любимую пренебрежительную гримасу и сказала:

— О то, бачите, видкиль взялось оно!

А пока Карташовъ цѣловалъ ея руку, она нѣсколько разъ поцѣловала его въ лобъ.

— О, самый мой любимый, самый коханный, солнышко мое ясное...

Карташовъ проводилъ ихъ до угла и затѣмъ нагналъ подходившихъ уже къ дому своихъ.

Зина осталась въ монастырѣ обѣдать съ монахинями. Она возвратилась только подъ вечеръ, когда во дворѣ, подъ музыку трехъ странствующихъ музыкантовъ-чеховъ,—одной дамы и двухъ мужчинъ,—танцевали дѣти.

Танцевали Оля, Маруся, Роли,—маленькая дѣвочка, дочь дворника, и маленькій мальчикъ, сынъ хозяина.

Семья Карташовыхъ присутствовала тутъ же, сидя на стульяхъ.

Дѣвочки были въ вѣнкахъ изъ васильковъ. Оля смѣшно выставляла свои толстенькія ножки, сохраняя серьезное лицо. Маруся не въ тактъ, но легко перебирала ножками, безпредѣльно радостно смотря своими свѣтящимися глазками. Роли танцевала, снисходительно сгорбившись. Но отъ общихъ танцевъ отказался наотрѣзъ, заявивъ, что танцуетъ только казачка.

Еще что-то заиграли и, наконецъ, сыграли то, что требовалъ Ло.

И здѣсь Ло выступилъ не сразу, но когда началъ

танцевать, то привелъ сразу всѣхъ въ восторгъ, такъ комиченъ былъ его танецъ, такъ легко и искусно выдѣлывалъ онъ ногами па и забирая нога за ногу, и присѣдая.

Уже самое начало, когда онъ легкимъ аллюромъ пошелъ по кругу съ поднятой рученкой, вызвало бурю аплодисментовъ.

Танцуя, онъ все время посматривалъ со спокойнымъ любопытствомъ, какое впечатлѣніе производитъ его танецъ.

Торжество его было полное по окончаніи танца, но лицо его сохраняло по-прежнему презрительно-спокойное выраженіе. Зина подошла въ разгаръ танцевъ, въ обществѣ нѣсколькихъ монахинь во главѣ съ матерью Наталіей.

— И красота же какая!—восторгалась мать Наталія на дѣтей въ вѣнчкахъ, — какъ херувимчики. Ай миленькія, ай хорошенькія!

Рѣзко бросалась въ глаза Зина среди этихъ монахинь, что-то общее появилось у нея съ ними.

Несмотря на праздникъ, она была въ такомъ же черномъ платьѣ, съ черной накидкой сверху, какъ и монахини. Даже шляпа ея, тоже черная, остроконечная, напоминала не то монашескую камилавку, не то старинный головной уборъ при шлемѣ. Лицо Зины становилось еще строже и еще красивѣе подчеркивалась ея холодная красота.

— Что это у тебя за шляпа?—спросила Аглайда Васильевна, всматриваясь.

Монахини переглянулись между собою и усмѣхнулись.

— А вотъ,—отвѣтила мать Наталія,—пожелала Зинаида Николаевна, и общими трудами погрѣшили противъ праздника и смастерили что-то такое на манеръ нашего...

Аглайда Васильевна недовольно покачала головой.

— Балуете вы мнѣ моихъ дѣтей! Не идетъ тебѣ это! Затѣмъ она встала и пригласила гостей въ комнаты.

Тамъ матушекъ угощали чаемъ, вареньемъ, имъ играли на фортепьяно. Зина пѣла имъ церковные мотивы, затѣмъ пѣли хоромъ.

Матушки принесли съ собой запахъ кипариса, ласково улыбались и постоянно кланялись всѣмъ, а когда пришелъ генераль—встали и долго не рѣшались опять сѣсть.

Мать Наталія иногда глубоко вздыхала и съ какой-то тревогой посматривала на Зину. А потомъ останавливала взглядъ на дѣтяхъ и опять вздыхала.

Такая тревога чувствовалась и во взглядахъ Аделаиды Борисовны.

Когда монахини ушли, оставшіеся почувствовали себя сплоченнѣе, ближе и слово за словомъ по поводу того, что на время отъѣзда Зины дѣти зададутъ хлопотъ Аглаидѣ Васильевнѣ, былъ предложенъ Сережей проектъ старшимъ сѣздить въ деревню. А Маня предложила ѣхать съ ними и Евгеніи Борисовнѣ и Аглаидѣ Борисовнѣ.

Евгенія Борисовна сперва сдѣлала удивленное лицо, но мужъ ея неожиданно поддержалъ это предложеніе.

— Что-жъ, поѣзжайте,—сказалъ онъ,—а мы съ Аглаидой Васильевной останемся на хозяйствѣ.

— Но какъ же такъ?—возражала Евгенія Борисовна. Я вѣдь безъ Оли же не могу ѣхать!

— Бери и Олю!

— Что для меня,—сказала Аглаида Васильевна,—то я согласна съ удовольствіемъ. Съ радостью я займусь моими дорогими внуками, приведу ихъ и все хозяйство въ порядокъ. Очень рада, поѣзжайте!

Евгенія Борисовна говорила:

— Да какъ же такъ сразу?.. Надо обдумать.

Но остальные энергично настаивали, чтобъ ѣхать. Сдалась и она.

— Только одно условіе,—сказала Аглаида Васильевна,—во всемъ слушаться Евгенію Борисовну...

— И меня!—перебилъ Сережа.

— Всю свою власть я передаю Евгеніи Борисовнѣ.

— И я буду строгая власть,—съ обычной авторитетностью объявила Евгенія Борисовна.

— Я уже дрожу!—сказалъ Сережа и сталъ корчить рожи.

Рѣшено было ѣхать, проводивъ Зину. Она уѣзжала на третій день въ два часа дня, а въ деревню рѣшено было ѣхать вечеромъ съ почтовымъ.

Ѣхали Евгенія и Аделаида Борисовны, Тѣма, Маня и Сережа.

Аня оставалась, потому что экзамены не кончились у нея.

Зина тоже очень сочувствовала поѣздкѣ. Она обняла Аделамду Борисовну и сказала ей:

— Вы увидите чудныя мѣста, гдѣ прошло все наше дѣтство. Тѣма, покажи ей все, все...

— Почему Тѣма, а не я?—вступился Сережа.

— Потому что мое дѣтство прошло съ нимъ и Наташей, а не съ тобой!

— Ну, а со мной, можетъ быть, пройдетъ твоя старость!

— Дай Богъ!—загадочно отвѣтила Зина.

— Ого, ты уже говоришь какъ пионеръ!—подчеркнулъ Сережа.

Провожать Зину, кромѣ своихъ, собрались и нѣсколько монахинь.

— О-хо-хо!—то и дѣло тяжело вздыхали онѣ.

— Чего эти вороны собрались тутъ и каркаютъ?—ворчалъ на ухо брату Сережа.—Давай, возьмемъ дробовики и шуганемъ ихъ.

Присутствіе и, главное, тяжелые вздохи монахинь дѣйствовали и на Аглаиду Васильевну; казалось, и въ ея глазахъ былъ вопросъ:

— Что онъ тутъ?

Въ концѣ-концовъ создалось какое-то тоскливое настроеніе.

Сейчасъ же послѣ завтрака начали одѣваться.

Зина уже одѣла свою остроконечную шапку, опустила вуаль на лицо, когда подошла къ роялю со словами:

— Ну, въ послѣдній разъ!

Она заиграла импровизацію, но эта импровизація была исключительная по силѣ, по скорби. Мѣстами бурная, страстная, доходящая до вопля души, она закончилась глубокими аккордами этой замершей боли. Столько страданія, столько покорности было въ этихъ звукахъ! Слышался въ нихъ точно отдѣльный звонъ и точно сперва удары разбушевавшагося моря, а затѣмъ плескъ тихаго прибоя того же, но уже успокоившагося, точно засыпающаго, моря. Всѣ сидѣли, какъ пригвожденные на своихъ мѣстахъ, послѣ того, какъ кончила Зина.

— Ради Бога! научите меня этой мелодіи!—прошептала Аделаида Борисовна.

— Идите!

Черезъ четверть часа на мѣстѣ Зины сидѣла уже Аделаида Борисовна и тѣ же звуки полились по клавишамъ.

Слабѣе была сила страсти и крики души, но еще нѣжнѣе, еще мягче замерли далекій звонъ и волны смирившагося моря. Зина стояла, и, при послѣднихъ аккордахъ, слезы вдругъ съ силой брызнули изъ ея глазъ, смочили вуаль и потекли по щекамъ.

Аделаида Борисовна встала и бросилась къ ней: у нея по щекамъ текли слезы.

— Въ память обо мнѣ играйте!—шептала Зина,—и горше плакала.

Плакали и всѣ монашки.

Аглаида Васильевна недоумѣвала, точно угадывая

что-то, смотрѣла, точно желая провидѣть будущее, съ тревогой и недовѣріемъ спросила:

— Ты что это, Зина, точно навѣкъ прощаешься?..

Зина быстро вытерла слезы и, смѣясь, плачущимъ голосомъ отвѣтила:

— Ахъ, мама, вѣдь вы знаете, что мои нервы никуда не годны, а глаза у насъ, у Карташовыхъ, у всѣхъ на мокромъ мѣстѣ. А тутъ еще я вмѣсто Наташи Делю полюбила.

И Зина уже совсѣмъ весело обратилась ко всѣмъ:

— Деля—можно такъ васъ звать?—моя сестра, и горе тому, кто ее обидитъ!

На послѣднемъ она остановила свой взглядъ на Тѣмѣ и сказала ему:

— Ну, прощай и да хранить тебя Богъ!

Она горячо поцѣловалась съ нимъ и прибавила:

— Охъ, и твоя жизнь будетъ все время среди бурь. Бери себѣ надежнаго кормчаго,—тогда никакая буря не страшна.

— Нѣтъ, нѣтъ, сперва сядемъ по обычаю, — сказала Аглаида Васильевна, — а потомъ уже прощаться.

И всѣ стали разсаживаться. Марусѣ не хватило стула.

— Иди, дорогая моя, къ бабѣ на колѣни.

— Ну, теперь пора,—сказала Аглаида Васильевна и начала креститься на образъ въ углу.

Всѣ стали креститься и всѣ встали на колѣни.

— Отчего все это торжественно такъ сегодня выходить?—спросилъ Сережа.—Ужъ кого, кого, а не Зинну ли мы привыкли провожать чуть не по сто разъ въ годъ.

Монахини пошли провожать и на пароходъ.

Пароходъ, уже совсѣмъ готовый, стоялъ у самого выхода.

На пароходѣ было чисто, свѣжо, ярко. Совершенно

спокойное море сверкало лучами, прохладой и манило вдаль.

— Эхъ, хорошо бы!..—говорилъ Сережа, показывая рукою.

Вотъ и послѣдній звонокъ, свистокъ, послѣдняя команда:

— Отдай, кормовой!

И заработалъ винтъ, и забрызгалъ, и заиграла, шипя и сверкая подъ нимъ, свѣтлая, яркая, бирюзовая полоса.

На кормѣ у борта стояла Зина. Ей махали десятки платковъ, но она не отвѣчала, стояла неподвижно, какъ статуя, широко раскрывъ глаза и неподвижно глядя на оставшихся.

VIII.

Въ тотъ же вечеръ выѣхали тѣ, которые предполагали выѣхать въ деревню.

Опять передъ глазами сверкала вѣчно праздничная высь и вся ея даль съ бѣлыми хатками, колокольнями, садиками и камышами съ высокими тополями.

Все тотъ же непередаваемый ароматъ прозрачнаго воздуха, цвѣтъ голубого неба, печать вѣчнаго покоя и красоты.

Та же звонкая и нѣжная пѣснь подъ вечеръ, тѣ же стройныя дѣвчата, всегда независимые и всегда склонные къ задору паробки.

Среди нихъ много сверстниковъ Сережиныхъ, но ужъ никого нѣтъ изъ Тѣминыхъ.

Тѣмины уже давно поженились, переродились и теперь покорно тянутъ лямку общественныхъ и супружескихъ своихъ обязанностей.

— Ей, панычу,—говорили Тѣмѣ изъ такихъ остепенившихся,—та вже пора и вамъ жениться, бо вже стары становытесь; якъ бы лихо не збылось.

Аделаида Борисовна первый разъ была въ малоросійской деревнѣ. И деревня, и садъ, и домъ очаровали ее.

Она умѣла рисовать и привезла съ собой сухія акварельныя краски, кромѣ того, она вела дневникъ, въ большой тетради, записавшейся на замочекъ.

Любимымъ ея мѣстомъ въ саду стало то, гдѣ садъ соприкасался съ старенькой, точно вросставшей въ землю, церковью.

Тѣма училъ ее ѣздить верхомъ и часто они ѣздили въ полѣ.

Евгенія Борисовна и Маня въ экипажѣ, Аделаида Борисовна, Тѣма и Сережа верхомъ.

Въ полѣ пахали и начался сѣнокосъ. Пахло травой, на горизонтѣ выростали новыя скирды сѣна и около нихъ уже гуляли стада дрохвъ.

Лѣто было дождливое, мелкія озера не пересыхали, и степь была полна жизни: крикали утки, кричали, остро ныряя въ прозрачномъ воздухѣ, чайки, нѣжно пѣли вверху жаворонки, а въ травѣ—перепела.

А то вдругъ гикнетъ дружная пѣснь и польются по степи мелодичные звуки.

Однажды на сѣнокосѣ катающихся захватила буря и дождь.

Какъ разъ въ то время, какъ Тѣма косилъ, а Аделаида Борисовна училась подгребать накошенное.

Въ мягкомъ влажномъ воздухѣ клубами налетѣли мокрыя тучи, быстро сливаясь въ безпросвѣтно-сизотемный покровъ, тамъ на горизонтѣ, и черно-сѣрый, точно дымившійся, надъ головой. Страшный громъ раскатился, на мгновеніе промелькнула змѣй отъ края до края молнія, стало тихо, совсѣмъ стемнѣло, упало нѣсколько передовыхъ крупныхъ капель и сразу пошелъ, какъ изъ ведра, ароматный дождь.

Съ веселымъ визгомъ побѣждали работницы и работники подъ копы собраннаго уже сѣна.

Подъ одну изъ такихъ копнъ забились и Аделаида Борисовна съ Тёмой.

Имъ пришлось сидѣть, плотно прижавшись другъ другу, въ ароматѣ дождя и сѣна. Сѣно мало предохраняло ихъ, но объ этомъ они и не заботились. Имъ было такъ же весело, какъ и всѣмъ остальнымъ, и Аделаида Борисовна радостно говорила:

— Боже мой, какая прекрасная картина.

Мутно-сѣрая даль отъ сплошного дождя прояснялась. Все словно двигалось кругомъ и въ небѣ и на землѣ. Земля клубилась волнами пара и казалось, что сорвавшаяся нечаянно туча теперь опять торопилась подняться кверху; въ просвѣтѣ этихъ волнъ вырисовывались въ фантастическихъ очертаніяхъ скирды, воза, копны, и вдругъ яркая отъ края до края радуга уперлась въ два края степи. А еще мгновение—и стала рваться темная завѣса неба и пятномъ засверкало между ними умытое, нѣжно-голубое небо. Выглянуло на западѣ и солнце—яркое, свѣтлое,—и миллионами искръ засверкало по землѣ.

Природа жила, дышала и, казалось, упивалась радостью. Точно двери какого-то чуднаго храма раскрылись и Аделаида Борисовна вдругъ увидѣла на мгновение непередаваемо-прекрасное.

И это она—счастливая. Они оба сидѣли въ этомъ храмѣ, смотрѣли и видѣли, смотрѣли другъ другу въ глаза и все это: и эта чайка, и это небо, и даль, и блескъ, и все это—въ ней и въ нихъ, это—они.

Крики чайки точно разбудили ее. Она провела рукой по глазамъ и тихо сказала:

— Какъ будто во снѣ, какъ будто гдѣ-то, когда-то я уже переживала и видѣла это...

Приближался вечеръ и работа не возобновлялась больше.

Мокрые, но довольные, потянулись рабочіе домой и запѣли пѣсни.

За ними тихо ѣхали Аделаида Борисовна и Карташовъ, слушая пѣсни и наслаждаясь окружающимъ.

Небо еще было загроможено тучами, а тамъ, на западѣ, онѣ еще плотнѣе темными массами насѣдали на солнце.

Изъ-подъ нихъ оно сверкало огненнымъ глазомъ, и лучи его короткими красными брызгами разсыпались по степи.

Вечеромъ собрались на террасѣ и Тѣма громко читалъ „Записки провинціала“ Щедрина. Онъ самъ хоталъ, какъ сумасшедшій, и всѣ смѣялись. Иногда чтеніе прерывалось и всѣ отдавались очарованію ночи.

Деревья, какъ живыя, казалось, таинственно шептались между собой. Ихъ вершины уходили далеко въ темно-синюю даль неба тамъ, гдѣ крупныя звѣзды, точно запутавшіяся въ ихъ листьѣ, ярко сверкали.

Маня запѣвала пѣсню, Сережа вторилъ и, казалось, и звѣзды, и небо, и деревья и темный садъ надвигались ближе, трепещущіе, очарованные.

У Тѣмы съ прїѣздомъ въ деревню обнаружился талантъ: онъ началъ писать стихи и всѣ, а особенно Аделаида Борисовна, одобряли ихъ.

Но Карташовъ, прочитавъ ихъ, рвалъ и бросалъ.

Онъ и сегодня набросалъ ихъ по случаю дождя. Карташовъ долго не хотѣлъ читать ихъ, но, прочитавъ, разорвалъ и бросилъ.

Аделаида Борисовна огорченно спрашивала:

— Почему же вы такъ поступаете?

— Потому что все это ничего не стоитъ!

— Оставьте другимъ судить!

— Я горькимъ опытомъ уже убѣдился, что никакого литературнаго дарованія у меня нѣтъ.

— Но то, что вы пишете, то, что васъ тянетъ—уже доказательство таланта.

— Меня тянетъ, постоянно тянетъ. Но это просто пунктикъ моего помѣшательства.

— Я думаю, — отвѣтила, улыбаясь, Аделаида Борисовна, — что пунктикъ помѣшательства у васъ именно въ томъ, что у васъ нѣтъ таланта.

— Видите, — сказалъ Карташовъ, — я дѣлалъ попытки и носилъ свои вещи по редакціямъ. Одинъ очень талантливый писатель сдѣлалъ мнѣ такую оцѣнку, что я бросилъ навсегда всякую надежду когда-нибудь сдѣлаться писателемъ. Ужъ на что мать, родные и тѣ писанія моего не признаютъ; вотъ, спросите Маню.

Маня подергала носомъ и отвѣтила, неохотно отрываясь отъ чтенія:

— Да, не важно, стихи, впрочемъ, не дурны.

— А что вы дѣлаете съ вашимъ писаніемъ? — спросила Аделаида Борисовна.

— Рву или жгу. Тогда, послѣ приговора, я сразу сжегъ все, что копилъ и смотрѣлъ, какъ въ печкѣ огонь въ послѣдній разъ перечитывалъ исписанныя страницы.

Однажды Карташовъ подошелъ къ Аделаидѣ Борисовнѣ, когда та, сидя у церкви, рисовала кустъ.

— Можно у васъ попросить этотъ рисунокъ?

Аделаида Борисовна посмотрѣла на него смѣющимися глазами.

— А можно васъ въ свою очередь попросить то, что вы пишете и что вамъ не нравится дарить мнѣ?

— Если вы хотите... На что вамъ этотъ хламъ? Вы, единственная во всемъ свѣтѣ, признаете мои писанія, потому что я даже самъ ихъ не признаю.

Аделаида Борисовна въ отвѣтъ протянула ему руку и на этотъ разъ съ необходимымъ спокойствіемъ сказала:

— Благодарю васъ.

— Ахъ, какъ я бы былъ счастливъ, еслибъ могъ вамъ дать что-нибудь стоящее этого василька.

— Давайте, что можете! — смущенно отвѣтила Аделаида Борисовна.

Для робкой и застѣнчивой Аделаиды Борисовны было слишкомъ много сказано и она покраснѣла, какъ мать.

Въ первый разъ въ жизни Карташовъ увлекся дѣвушкой, не ухаживая.

Ему очень нравилась Аделаида Борисовна, ему было хорошо съ ней. Онъ часто думалъ — хорошо было бы на такой жениться, — но обычное ухаживаніе считалъ профанаціей.

Разъ онъ надѣлъ-было свое золотое пенснэ.

— Вы близоруки?

Карташовъ разсмѣялся.

— Отлично вижу.

— Зачѣмъ же вы носите?—съ огорченіемъ спросила Аделаида Борисовна.

Въ другой разъ онъ убавилъ свои лѣта на годъ.

Маня не спустила.

— Врешь, врешь—тебѣ двадцать пять уже!

И опять на лицѣ Аделаиды Борисовны промелькнуло огорченное чувство.

— Не все ли равно?—спросила она.

— Если все равно,—отвѣтила Маня,—то пусть и говоритъ правду.

— Я и говорю всегда правду.

— Ну ужъ...

— Аделаида Борисовна, развѣ я лгу?

— Я вамъ вѣрю во всемъ!—отвѣтила просто Аделаида Борисовна.

— Пожалуйста, не вѣрьте, потому что какъ разъ обманеть.

— Аделаиду Борисовну?—Никогда!

Это вырвалось такъ горячо, что всѣ и даже Маня смутились.

Карташову было пріятно, что въ глазахъ Аделаиды Борисовны онъ является авторитетнымъ.—Она внимательно его слушала и довѣрчиво, ласково смотрѣла

въ его глаза. Онъ очень дорожилъ этимъ и старался заслужить еще больше ея довѣрія.

Десять дней быстро протекли, и Евгенія Борисовна стала настаивать на отъѣздѣ.

Какъ ни упрашивали ее, она не согласилась и въ назначенный день всѣ, кромѣ Сережи, выѣхали обратно въ городъ.

— Праздники кончились!—сказала Маня, сидя уже въ вагонѣ и смотря на озабоченныя лица всѣхъ.

Евгенія Борисовна опять думала о своихъ все обострившихся отношеніяхъ съ мужемъ.

Аделаида Борисовна на другой день послѣ возвращенія собиралась ѣхать къ отцу и жалѣла о пролетѣвшемъ въ деревнѣ времени.

Манѣ предстояла опять надоѣвшая ей работа по печатанью прокламацій.

Карташовъ тоже жалѣлъ о времени въ деревнѣ и думалъ о томъ, что онъ сидитъ безъ дѣла, и казалось ему, что такъ онъ всю жизнь просидитъ.

Онъ смотрѣлъ на Аделаиду Борисовну и думалъ:

— Вотъ, если бы у меня была служба, я сдѣлалъ бы ей предложеніе.

Но въ слѣдующее мгновеніе онъ думалъ:

— Развѣ такая пойдетъ за него замужъ? Маня Корнева—еще такъ... А то даже какая-нибудь кухарка. А самое лучшее никогда ни на комъ не жениться.

И Карташовъ тяжело вздыхалъ.

Дома скоро все вошло въ свою колею.

Наканунѣ отъѣзда поѣхали въ театръ и взяли съ собой Ло, такъ какъ шла опера, а Ло любилъ всякую музыку и пѣніе.

Былъ дебютъ новой примадонны и успѣхъ ея былъ неопредѣленный до второго дѣйствія, въ которомъ Ло окончательно рѣшилъ ея судьбу.

Артистка взяла напряженно-высокую и при томъ фальшивую ноту. Музыкальное ухо Ло не выдержало,

и онъ взвизгнуть на весь театръ, безсознательно, но въ тонъ подчеркивая фальшь.

Отвѣтомъ было—общій хохотъ и полный провалъ дебютантки.

Бѣдная артистка такъ и уѣхала изъ города съ убѣжденіемъ, что все это было умышленно устроено ея врагами.

Уѣхала Аделаида Борисовна и прощаніе ея съ Карташовымъ было натянутое и холодное.

— Эхъ,—думалъ Карташовъ—надо было и мнѣ, какъ Сережѣ, остаться въ деревнѣ, тогда бы иначе попрощались! Съ Сережей даже поцѣловалась тогда на прощанье...

IX.

Послѣ отъѣзда Аделаиды Борисовны, Карташовъ скучалъ и томился. Однажды Маня, сидя съ нимъ на террасѣ, спросила съ обычной вызывающей бойкостью, но съ нѣкоторымъ внутреннимъ страхомъ:

— Говорить по душамъ хочешь?

Карташовъ помолчалъ и, поборовъ себя, неувѣренно отвѣтилъ:

— Говори.

— Мы влюблены? То есть—не влюблены, но нами владѣетъ то сильное и глубокое чувство, которое единственно гарантируетъ правильную супружескую жизнь. Мы глубоко симпатизируемъ, мы уважаемъ; отсутствіе дорогого существа для насъ—тяжелое лишеніе, и мы сознаемъ, что она, конечно, была бы лучшимъ украшеніемъ нашей жизни. Помни, что быть искреннимъ—главное достоинство и, поѣтому, или отвѣчай искренно, или не унижай себя и лучше молчи.

— Я буду отвѣчать искренно,—серьезно и подавлено отвѣтилъ братъ.—Несомнѣнно, сознаю, что луч-

шимъ украшеніемъ жизни была бы она. Я не рѣшился бы формулировать свои чувства, но мнѣ кажется, что, узнавъ ее, никогда другую уже не захочешь знать. И я не буду знать: ни другую, ни ее. Для меня она недосыгаема по множеству причинъ. Она чиста, какъ ангелъ, я—грязь земли. Мало этого: я прокаженный, потому что, что бы ни говорили доктора, но твердой увѣренности нѣтъ, что болѣзнь прошла. Если не во мнѣ, то въ дѣтяхъ она можетъ проявиться. Дальше: она богата, а у меня ничего нѣтъ, потому что отъ наслѣдства я отказался, воровать не буду, а при моемъ характерѣ, даже при хорошемъ жалованьи, ни о какихъ остаткахъ и рѣчи быть не можетъ. При такихъ условіяхъ я — бревно, негодное въ стройку, въ лучшемъ случаѣ—годное на лучины, чтобы въ извѣстныя мгновенья посвѣтить при случаѣ кому-нибудь изъ васъ. И все-таки я очень благодаренъ Аделаидѣ Борисовнѣ, потому что ея образъ настолько засѣлъ во мнѣ, что она отгонитъ всѣхъ другихъ, и я тверже теперь пойду по тому пути, по которому долженъ идти.

Маня сидѣла, слушала и—чѣмъ ближе къ концу—она пренебрежительнѣе кивала головой.

— Ты такъ же знаешь себя, какъ я китайскаго императора. Запомни хорошенько: прежде всего ты—эгоистъ и одинъ изъ самыхъ ужасныхъ эгоистовъ, котораго природа одѣла въ красивыя перья, надѣлила лаской, виѣшней, какъ будто беззащитностью. И съ этимъ качествомъ ты многое выманишь у жизни. У тебя и хорошія есть стороны: ты хорошо и искренно сознался, что ты—грязь, а она—ангелъ. И эта искренность, которая въ тебѣ, несомнѣнно, есть и хотъ *post factum*, но всегда явится и можетъ сослужить тебѣ службу...

Маня затруднялась въ выраженіяхъ.

— Ну, хотъ въ смыслѣ познанія, что такое чело-вѣкъ, изъ какихъ противоположностей онъ созданъ. На этой почвѣ я даже допускаю мысль, что изъ тебя

могъ бы выработаться и писатель. Но только не скоро, очень не скоро. Когда перебурлить, когда вся грязь сойдетъ, когда мишура жизни будетъ признана, а честолюбіе—у тебя его бездна,—все-таки останется. И вотъ тогда, можетъ быть, твоимъ идеаломъ и явится Жанъ Жакъ Руссо. И то, впрочемъ, если твоя жизнь сложится такъ, что будетъ молотомъ, дробящимъ эту мишуру, а то такъ и расплывется въ ней безъ остатка. И тогда ты будешь окончательная дрянь, которую въ свое время и отвезутъ, какъ падалъ, на кладбище тѣ, которые къ этому дѣлу приставлены.

При всемъ своемъ невѣріи, будешь и крестъ цѣловать, словомъ, можешь, какъ сложится жизнь, превратиться, полностью превратиться въ одну изъ тѣхъ гадинъ, которыя неуклонно, каждая съ своей стороны, охраняютъ существующую каторгу всей нашей жизни. Вся надежда, повторяю, на твою искренность, которая, просыпаясь отъ поры до времени, будетъ, помимо, можетъ быть, и твоей воли, разрушать то, что уже будетъ создано тобой. А, можетъ быть, я и ошибаюсь. Во всякомъ случаѣ, я теперь посылаю Аделандѣ Борисовнѣ книги и пишу ей; отъ тебя кланяться?

— Кланяйся, конечно. Но умоляю тебя, не затѣвай ничего изъ области неисполнимаго. Понимаешь?

— Понимаю, понимаю. Съ чего ты взялъ, что я хочу быть свахой? Если ты самъ не хочешь...

— Не не хочу, а не могу.

— Ну, не можешь... Во всякомъ случаѣ можешь быть увѣренъ, что ужъ меня-то ты никогда не прицислишь къ людямъ, исполняющимъ твои желанья, помогающимъ тебѣ жить, какъ ты хочешь... Дудки-съ...

Маня сдѣлала брату носъ и ушла.

Она писала въ тотъ день, между прочимъ, Аделандѣ Борисовнѣ:

„Тема у насъ ходитъ грустный, пустой и занимается самобичеваніемъ. Сегодня мы съ нимъ говорили о тебѣ.

Онъ говорилъ, что ты ангелъ, а онъ грязь. А я ему еще прибавила. Теперь онъ сидитъ на террасѣ и безнадежно смотритъ въ небо. Кромѣ того, что тебя нѣтъ, его убиваетъ, что онъ до сихъ поръ безъ дѣла и съ горя хочетъ ѣхать на войну, въ качествѣ уполномоченнаго дяди Мити по поставкѣ какихъ-то транспортныхъ, подводъ, быковъ, лошадей. И пускай ѣдетъ: съ чего ни начинать, лишь бы началъ, а въ Римъ всѣ дороги ведутъ“.

Карташовъ, дѣйствительно, послѣ нѣкоторыхъ колебаній принялъ предложеніе дяди быть его представителемъ.

Дядя Карташова взялъ на себя поставку двухъ тысячъ подводъ. Изъ нихъ: его собственныхъ—четыреста, Неручева—600, а остальные—тысячу—они получаютъ.

Сдача подводъ назначалась въ Бендерахъ, а затѣмъ Карташовъ съ этими подводами долженъ былъ отправляться, подъ наблюденіемъ интендантскихъ чиновниковъ, въ Букарештъ и далѣе на театръ военныхъ дѣйствій.

Самымъ непріятнымъ въ этомъ дѣлѣ были сношенія съ интендантствомъ.

— Ты долженъ будешь,—пояснялъ ему дядя,—ихъ кормить и поить, сколько захотятъ. Затѣмъ, за каждую подводу, за соотвѣтственное количество дней они тебѣ будутъ выдавать квитанцію, при чемъ въ ихъ пользу они удерживаютъ съ каждой подводы по два рубля.

— Но вѣдь это значить взятки давать?

— Тебѣ какое дѣло? Никакихъ взятокъ давать ты не будешь. Будетъ у тебя квитанція, скажемъ, на десять тысячъ рублей, ты и распишешься, что получилъ десять, а получишь восемь. Вотъ и все... Вѣдь это же коммерческое дѣло: не мы же что-нибудь незаконное дѣлаемъ. Такъ всегда и вездѣ дѣлается: даютъ цѣну хорошую, отдѣлить два рубля можно, а не отдѣлишь—все дѣло погибнетъ.

— Я боюсь, что я вамъ не буду годиться для этого дѣла.

— Именно ты и будешь годиться, потому что тутъ расходы, которыхъ нельзя учесть и единственное—это выборъ надежнаго человѣка, который меня не обманетъ. Жалованье я тебѣ назначаю 500 р. въ мѣсяцъ, содержаніе мое. Двѣ тысячи тебѣ дано на экипировку и 10 % отъ чистой пользы. Это можетъ составить двадцать и даже тридцать тысячъ.

— Да, но вотъ эта ужасная сторона съ интендантствомъ.

— Да ничего, ей-Богу, ужаснаго нѣтъ, по крайней мѣрѣ, жизнь узнаешь. И интендантовъ много знакомыхъ: въ транспортахъ почти исключительно все наши помѣщики.

Дядя называетъ фамиліи.

— И неужели они-таки будутъ брать?

— А, дитя мое! Да, слава Богу, что берутъ. Слава Богу, что Василій Петровичъ, тотъ, конечно, брать не будетъ,—и зачѣмъ только лѣзетъ,—не въ транспортахъ. Едва уговорили его не идти въ транспортъ и не портить дѣла...

Василій Петровичъ Шишковъ былъ сосѣдъ и даже далекій родственникъ Карташовыхъ, когда-то очень богатый человѣкъ, но теперь очень обѣднѣвшій, съ однимъ имѣніемъ, заложенымъ по нѣсколькимъ закладнымъ. Всегда чудакъ и оригиналь.

— Ахъ, какая все-таки гадость,—удрученно повторялъ Карташовъ.

— Да никакой же гадости, сердце мое, нѣтъ,—повторялъ дядя.—Я хочу заработать деньги, тридцать тысячъ. Гадость это?

— Вы подрядчикъ и, если вы выполните вашъ подрядъ... Хотя тоже...

— Ну, что тоже? Вѣдь и желѣзная дорога тоже подрядчиками строится—концессионеръ, жидовскій приказчикъ, значитъ, и дорогу тебѣ строить нельзя. Куда

же ты дѣнешься? Въ монастырь? Такъ всѣ дѣвочки изъ вашей семьи и такъ туда тянуть... Теперь слушай дальше: всѣ они такіе же помѣщики, какъ и я, всѣ также пострадали отъ освобожденія крестьянъ, отъ новыхъ условій, всѣ въ долгу, какъ въ шелку: почему мнѣ не подѣлиться съ ними, если у меня осталось настолько больше, что я могу, а они не могутъ стать такими же подрядчиками? Считаю, наконецъ, что они такіе же подрядчики на мое имя.

— Тогда зачѣмъ же они жалованье получаютъ?

— Да, что это за жалованье? Двѣ тысячи четыреста въ годъ? Ну, они изъ своего заработка это двадцатую, тридцатую часть и отдадутъ назадъ государству, тѣмъ же бѣднымъ, кому хочешь. Но изъ этого ты уже видишь, что все это сводится къ формѣ, а не къ существу дѣла. А если мы возьмемъ по существу, то или жить—или въ гробъ живымъ ложиться? Ты же не мальчикъ уже и всѣ дѣтскія бредни въ багажѣ взрослога человека вызовутъ только смѣхъ и серьезные люди съ тобой дѣла имѣть не будутъ.

Карташовъ не хотѣлъ быть мальчикомъ, еще меньше хотѣлъ быть смѣшнымъ въ глазахъ серьезныхъ людей.

Да и бредней-то въ багажѣ его никакихъ почти не оставалось. Онъ и не думалъ перестраивать міръ, давно бросилъ всѣ фантазіи, относящіяся еще къ гимназической жизни. Словомъ, онъ мирился со всѣмъ существовавшимъ положеніемъ вещей и только не хотѣлъ... или, вѣрнѣе, хотѣлъ, чтобы вся эта, можетъ быть, и неизбежная грязь жизни протекала какъ-нибудь такъ, чтобы не задѣвать его.

До сихъ поръ онъ твердо вѣрилъ, что всегда и можно такъ устроить свою жизнь, чтобы уберечь себя отъ этой грязи.

Теперь эта вѣра пошатнулась и инстинктъ подсказывалъ ему, что чѣмъ дальше въ лѣсъ, тѣмъ больше дровъ будетъ.

И тоска разбирала его сильнѣе отъ этого и чувствовалъ онъ себя совсѣмъ хуже прежняго парализованнымъ всѣми этими новыми для него перспективами жизни. Даже физически онъ чувствовалъ себя разслабленнымъ и разбитымъ.

Маня говорила:

— Тѣма ходить такимъ развареннымъ, точно уже сто лѣтъ варится.

Передъ отъѣздомъ въ Бендеры было получено письмо отъ Зины изъ Іерусалима.

Въ немъ она объявляла, что такъ жить больше не можетъ, а иначе жить, какъ хотѣла бы, не видитъ возможности, и потому и отказывается совершенно отъ жизни и поступила въ монахини. Монашеское имя ея—Наталья, и она проситъ въ письмахъ иначе и не обращаться къ ней. Дѣтей она поручала Аглаидѣ Васильевнѣ и умоляла мужа согласиться на это.

Письмо произвело впечатлѣніе ошеломляющее на всѣхъ и больше всего—на Аглаиду Васильевну.

Ея сердце сжалось тоской и какимъ-то ужасомъ. Судьба преслѣдовала ее и точно задалась цѣлью неумолимо доказывать ей, что не ея волей будетъ идти жизнь и ужасъ охватилъ Аглаиду Васильевну отъ мысли, гдѣ предѣлъ этой неумолимости. Въ первый разъ Аглаида Васильевна захотѣла умереть и съ мольбой и тоской смотрѣла на образъ, а по щекамъ ея текли обильныя слезы.

Въ это время Лю, у котораго движенія обиды и любви всегда чередовались, войдя въ комнату и увидѣвъ, что происходитъ съ бабушкой, пошелъ къ ней и, пригнувшись къ ея колѣнямъ, угрюмо проворчалъ:

— Скажи мнѣ, баба, кто тебя обидѣлъ, и я убью того.

И когда Аглаида Васильевна продолжала плакать, не замѣчая его, онъ тоже заплакалъ, уткнувшись въ ея колѣни.

Когда Аглаида Васильевна, наконецъ, замѣтивъ,

нагнулась къ нему и спросила, о чемъ онъ плачетъ, и онъ отвѣтилъ, что ему жаль ее, она съ воплемъ: О, бѣдный мальчикъ!—схватила его и осыпала горячими поцѣлуями.

Кризисъ прошелъ. Ло вырвалъ ее сразу изъ объятій отчаянія въ свѣтъ. Аглайда Васильевна уже плакала слезами радости и говорила:

— Его Святая воля: у меня прибавилось еще трое дѣтей.

Въ это время къ дверямъ подошла кухарка съ своимъ младенцемъ, которому вдругъ что-то не понравилось, и онъ закричалъ благимъ матомъ. Кухарка начала его шлепать, а Аглайда Васильевна горячо сказала:

— Развѣ такъ можно обращаться съ дѣтьми? Дай сюда его.

И, дѣйствительно, маленькій бутузъ на рукахъ у Аглаиды Васильевны мгновенно успокоился.

А Сережа сказалъ:

— У васъ, мама, не трое дѣтей прибавилось, потому что этотъ тоже вѣдь вашъ, и пока вы будете жить, вашъ домъ будетъ всегда какой-то киндеръ-фабрикой.

Маня присѣла къ роялю и заиграла импровизацію сестры, послѣднюю передъ ея отъѣздомъ.

Торжественно замирали стихающіе аккорды морского прибоя, колокольнаго звона монастыря, куда уже ушла и навѣки теперь скрылась Зина.

И сильнѣе плакали и Аглайда Васильевна, и Аня, и у Мани текли слезы.

Всѣ вечера говорили о Зинѣ, вспоминали многое изъ прошлаго, всѣ мелочи изъ ея послѣдняго пребыванія, и теперь всѣмъ ясно было, что она исполнила все, что, очевидно, уже давно задумывала.

Пришла мать Наталья и съ сокрушеннымъ покаяніемъ подтвердила это.

— Мучилась я, мучилась,—говорила мать Наталья,—но вѣдь наложила она на меня, прежде чѣмъ повидала,

обѣтъ молчанья, и должна была молчать, только мучилась, да вздыхала. Все-таки ложь была, ну и то, какъ написано, ложь во спасеніе... Въ вѣчное спасеніе.

И опять плакали всѣ, и съ ними мать Наталья, вспоминая свой когда-то уходъ изъ дому и пережитыя съ нимъ страданья.

Въ письмѣ Зины, теперешней уже матери Натальи, было обращеніе и къ брату.

„Тѣма,—писала сестра,—сутки состоятъ изъ дня и ночи,—вѣчно бодрствовать одному нельзя. Жизнь—это море, и пока мы въ жизни, каждый капитанъ на своемъ кораблѣ. Весь успѣхъ зависитъ отъ надежнаго помощника. Переищи весь міръ, и лучше Дели не найдешь. Возьми ее себѣ, благословляю тебя и предсказываю тебѣ великое счастье съ ней“.

Карташовъ, раздвоенный, подавленный, въ душѣ завидовалъ смѣлому Зинину выходу изъ жизни. Приглашеніе ея жениться на Аделаидѣ Борисовнѣ еще болѣзненнѣй подчеркнуло его душевный разладъ. Теперь, когда и онъ, съ цѣлой стайей разныхъ обирателей, потянется въ хвостъ арміи, чтобы служить только мамонтъ, контрастъ между выборомъ Зины и его становился еще ярче и оскорбительнѣе.

О женитьбѣ въ первый разъ было сказано открыто и, насторожившись, всѣ ждали, какъ отзовется Карташовъ на призывъ сестры.

— Я никогда, если бы даже она согласилась,—заговорилъ угрюмо и взволнованно Карташовъ,—не женюсь на Аделаидѣ Борисовнѣ. Свои совѣты Зина могла бы оставить при себѣ. Если бы когда-нибудь я и вздумалъ жениться, я не спросилъ бы ничьего совѣта, ничьего согласія, ничьего разрѣшенія. Женюсь, на комъ захочу...

Голосъ Карташова былъ раздраженный, вызывающій, хотя онъ и не смотрѣлъ на мать.

— И, вѣроятно же всего, женюсь на кухаркѣ,—съ дѣтскимъ упрямствомъ и упавшимъ тономъ закончилъ Карташовъ и посмотрѣлъ на мать.

На мать смотрѣли и Маня, и Аня, и Сережа.

Вмѣсто сцены, которой ожидалъ Карташовъ, мать, стоявшая у перилъ террасы, сдѣлала ему церемонный реверансъ и отвѣтила:

— А я впередъ благословляю. И если ты хотѣлъ меня удивить, то—напрасный трудъ,—жизнь уже столько удивляла меня, что ужъ теперь трудно удивить меня чѣмъ бы то ни было.

— Дуракъ ты, дуракъ,—сказала Маня.

— И дуракъ, и подлецъ,—отвѣтилъ дрожащимъ отъ слезъ голосомъ Карташовъ и быстро ушелъ съ террасы.

Х.

Бендеры—маленькій городокъ, съ маленькой одноэтажной гостиницей съ деревянной сѣрой крышей и большимъ садомъ, былъ похожъ на село.

Въ этой гостиницѣ, съ коридорами, какъ въ казармахъ, съ большими висячими замками на номерахъ, толпилась масса всевозможнаго штатскаго и военнаго народа. Военные большею частью интенданты, штатскіе—евреи—поставщики арміи. Большинство изъ нихъ молодые, энергичные, съ жгучимъ взглядомъ людей, идущихъ, не сомнѣваясь, къ своей цѣли.

Въ этомъ, будущемъ обществѣ Карташова, онъ чувствовалъ себя подавленнымъ, раздвоеннымъ, жалкимъ. Дядя знакомилъ его съ интендантами, его будущимъ начальствомъ и они покровительственно говорили ему: „молодой человѣкъ“, хлопали по плечу и приглашали выпить.

Высокій, начавшій уже жирѣть, бритый, съ сѣдыми усами штабъ-ротмистръ, не стѣсняясь, громко и ци-

нично говорилъ, сидя за столикомъ, незамѣтно глотая рюмку-за-рюмкой, вытаскивая] пальцами падавшихъ мухъ, что одереть шкуры съ своихъ подрядчиковъ.

— Что!? Онъ, подлецъ, миллионъ себѣ въ карманъ положить, а я своимъ дѣтямъ голоднымъ, вмѣсто хлѣба, камень въ глотку засуну, и въ этомъ будетъ моя совѣсть и честь?! Врешь, на вотъ тебѣ, выкуси,—и онъ толстыми пальцами складывалъ шишъ и тыкалъ имъ въ воздухъ,—свою гордость и честь я буду видѣть въ томъ, чтобы заставить тебя подѣлиться со мной половиною-на-половину, а иначе и ты, подлецъ, безъ такихъ же, какъ и я, штановъ будешь. На тебѣ! Ты миллионъ себѣ засунешь въ карманъ, а чтобы потомъ моему сыну, когда онъ будетъ у тебя милостыню просить, сунуть ему пятакъ и чувствовать себя порядочнымъ человѣкомъ, который имѣетъ право сказать сыну моему: „твой отецъ дуракъ былъ, кто же ему виноватъ?“ Нѣтъ, врешь, мерзавецъ, когда я выдерну у тебя твою половину, ты тогда самъ скажешь: „ой, ой, какой умный, сдѣлалъ и безъ капитала то, что я съ капиталомъ“. И шапку еще снимешь, да низко поклонись... Да, да,—довольно, братъ, съ насъ этихъ шкуръ. Довели до разоренья, до нищеты. Охотниковъ разорять, отнимать послѣднее—конца свѣту нѣтъ: и государство, и мужики, и проклятыя газеты и книги, и, если самъ себѣ не поможешь, то и иди къ нимъ съ протянутой Христа ради рукой. И если я самъ себѣ не помогу, кто мнѣ поможетъ?! Дуракъ и подлецъ я буду, если и этимъ случаемъ не воспользуюсь спасти свое имѣнiе, спасти дѣтей отъ голодной смерти. Нѣтъ, дудки, старого воробья на мякинь больше не проведешь: разъ свалялъ дурака, благодаря этому благодѣтелю,—онъ ткнулъ толстымъ пальцемъ въ Василя Петровича,—отпустилъ на даровой надѣлъ неблагодарное мужичье,—весь уѣздъ тогда одѣлъ, а теперь и самъ не лучше нашего кончилъ, такой же интендантъ. И главное и тутъ еще собирается

дурака валять: валяй на здоровье, но ужь будь спокоенъ, за собой никого не поведешь...

Василій Петровичъ Шишковъ всей своей фигурой рѣзко отличался отъ остальныхъ интендантовъ и, хотя онъ тоже бодрился, неопредѣленно отшучиваясь отъ фамиллярнаго панибратства своихъ коллегъ, но Карташовъ сразу почувствовалъ въ немъ свояка по положенію и прильнулъ къ нему всей душой.

Василій Петровичъ увелъ его въ гостиничный садъ и, забравшись въ глухую аллею, спросилъ Карташова:

— Вы что, съума что ли сошли? Ну, я старикъ, жизнь моя разбита, имѣніе не спасти, дѣти съ голоду умираютъ, я самъ ничего не знаю и никуда не гожусь, но вы... вы... вѣдь вы же инженеръ, передъ вами широкая дорога, а вы хотите замарать себя въ самомъ ея началѣ такъ, что потомъ вамъ всѣ двери же будутъ закрыты. И намъ нашъ позоръ уже не долго нести—десять лѣтъ и въ могилу, а волочить его черезъ всю жизнь...

— Но куда же мнѣ дѣваться?—съ отчаяніемъ отвѣтилъ Карташовъ.—Я искалъ инженернаго мѣста—нѣтъ. Да и инженеръ я вѣдь только потому, что у меня дипломъ, но я вѣдь ничего, рѣшительно ничего не знаю.—Василій Петровичъ ходилъ рядомъ съ Карташовымъ и, молча, слушалъ.

— Послушайте,—перебилъ онъ вдругъ Карташова,—знаете что? Вы слышали, что сюда вчера пріѣхалъ инженеръ строить дорогу на Галацъ?

— Нѣтъ, не слыхалъ. Да и пріѣхаль-то онъ, вѣроятно, уже съ набраннымъ штатомъ.

— Кого-нибудь изъ инженеровъ вы знаете?

— Ни одного человѣка, кромѣ своихъ товарищей по выпуску.

— Пойдите, па всякій случай, къ главному инженеру.

— Нѣтъ, не пойду. Если бы вы знали, какъ это унижительно—идти просить и получить, навѣрно, отказъ...

— Плохо, плохо,—говорилъ огорченно Василій Петровичъ.—Съ такими задатками пассивно плыть по теченію, затаянетъ васъ въ такую тину жизни...

Онъ нетерпѣливо вздохнулъ.

— Эхъ, русская нація! голыми руками бери и вей какія хочешь веревки... И кто говорить?—Я...

Василій Петровичъ, съ добродушнымъ комизмомъ, ткнулъ себя въ грудь и посмотрѣлъ на часы.

— Ну, а все-таки, хоть и на проклятую службу, а время идти...

Были сумерки. Дядя ушелъ еще и еще толковать съ интендантами, а Карташовъ лежалъ на своей кровати и смотрѣлъ въ полусвѣтъ окна, выходявшаго въ садъ.

Дверь номера отворилась и раздался голосъ Василія Петровича:

— Кто-нибудь есть?

— Я,—отвѣтилъ Карташовъ.

— Васъ мнѣ и надо. Ну, я познакомился и переговорилъ съ главнымъ инженеромъ,—онъ васъ просилъ придти къ нему.

— Когда?—испуганно поднялся съ кровати Карташовъ.

— Сейчасъ.

— Ну? Надо одѣться.

Карташовъ зажегъ свѣчу и началъ быстро одѣваться въ самое парадное свое платье.

Одѣваясь, онъ спрашивалъ Василія Петровича, какъ же все это вышло.

— Да просто пришлось обѣдать за однимъ столомъ, познакомились, разговорились, я сказалъ, что у меня есть здѣсь одинъ знакомый инженеръ, онъ сказалъ сначала, что всѣ мѣста уже заняты, а потомъ подумалъ и сказалъ: „пускай придетъ ко мнѣ“.

Карташовъ радостно слушалъ и вѣрилъ.

Въ дѣйствительности же Василій Петровичъ еще утромъ, говоря съ Карташовымъ, задумалъ и привелъ въ исполненіе свой планъ. Послѣ службы, надѣвъ мундиръ, онъ отправился въ номеръ, гдѣ жилъ главный инженеръ, представился ему и, съ просьбой не выдавать его, рассказалъ о фальшивомъ положеніи Карташова.

Главный инженеръ отвѣтилъ ему:

— Мѣста всѣ заняты... Я могъ бы его взять, дѣло можетъ быть развернется, но на первое время ему придется помириться съ очень скромной ролью.

Карташовъ торопливо причесывался и взволнованно отдавался радостному чувству: неужели онъ все-таки будетъ инженеромъ, неужели онъ опять инженеръ?

— А вы не пойдете со мной?—спросилъ въ послѣднее мгновеніе Карташовъ, держа въ рукахъ свидѣтельство объ окончаніи курса.

Василій Петровичъ только разсмѣялся и махнулъ рукой.

— Ну, идите...

Карташовъ, прежде чѣмъ выйти, розыскалъ коридорнаго и просилъ его доложить о немъ главному инженеру.

Загнанный, сбитый съ ногъ коридорный долго не могъ понять, чего хочетъ отъ него Карташовъ и все повторялъ ему съ хохлацкимъ выговоромъ:

— Ну, когда надо, такъ и идите, чѣмъ же я тутъ могу помочь? Осъ и дверь не заперта.

И въ доказательство коридорный дѣйствительно пріотворилъ дверь.

— Кто тамъ?—раздался густой голосъ.

Карташову ничего не оставалось больше, какъ, скрѣпя свое сильно бившееся сердце, перешагнуть порогъ и остановиться съ разинутымъ ртомъ. На полу, передъ нимъ, лежало два человѣка. Одинъ толстый, въ рубахѣ съ растегнутымъ воротомъ, изъ-за котораго выгляды-

вала волосатая грудь, уже пожилой, другой болѣе молодой, худой, нервный, бритый, съ черными усами, съ строгимъ лицомъ и недружелюбнымъ взглядомъ своихъ черныхъ, мечущихъ искры глазъ. Оба лежали на картѣ, толстый водилъ по ней краснымъ карандашомъ, а худой внимательно слѣдилъ.

Въ отворенной двери нѣсколько мгновений постоялъ и коридорный, тоже чѣмъ-то какъ будто вдругъ заинтересовавшійся, но, вспомнивъ, вѣроятно, о своихъ текущихъ дѣлахъ, побѣжалъ дальше, затворивъ за собой двери.

При входѣ Карташова худой только недовольно покосился на него, а толстый продолжалъ вести карандашомъ линію по картѣ.

— Здѣсь, — сказалъ толстый, — перевальная выемка будетъ, вѣроятно, двѣ—двѣ съ половиной сажени. Тутъ пойдутъ нули, нули... Тутъ косогоромъ подходъ къ Пруту, затѣмъ по берегу Дуная, а послѣднія пятнадцать верстъ уже прямо разливомъ Дуная съ насыпью, вѣроятно, что-нибудь въ родѣ сажени.

Карташовъ сообразилъ, что идетъ намѣтка будущей линіи, подвинулся ближе и черезъ головы слѣдилъ за карандашомъ.

— Въ общемъ, — кладя карандашъ, сказалъ толстый, — тысячи двѣ кубовъ на версту все-таки выйдетъ.

Онъ сѣлъ лицомъ къ Карташову и сказалъ, сидя на полу:

— Здравствуйте. Вы инженеръ Карташовъ?

— Да.

— Видите, мѣста у меня теперь нѣтъ, пока-что я могу взять васъ на затычку. Вы въ этомъ году курсъ кончили?

— Да.

— На практикахъ бывали?

— Только кочегаромъ ѣздили.

— Ну, это... гдѣ ѣздили?

Карташовъ назвадь дорогу.

— На углѣ?

— Да.

— Какой уголь?

— Брикеты изъ Кардифа, а сверху Нью-Кестль.

— На паровозѣ двое было: машинистъ и вы, или еще кочегаръ?

— Нѣтъ, только машинистъ и я.

— Долго были?

— Пять мѣсяцевъ.

— Значить, выносливость приобрѣли?

— Я думаю.

— На изысканіяхъ не были никогда?

— Никогда.

— Теорію знаете хорошо?

— Плохо.

— Но проектировать можете все-таки, напримѣръ, мосты?

— Составлялъ проекты въ институтѣ,—нехотя отвѣтилъ Карташовъ.

— Составляли или заказывали?

— Больше заказывалъ.

— Ну, какой самый большой проектъ деревяннаго моста несложной системы?

Карташовъ подумалъ и отвѣтилъ:

— Три сажени.

— Значить, и по проектировкѣ не годитесь—сказалъ раздумчиво главный инженеръ.

Онъ еще подумалъ и сказалъ:

— Я право не знаю, что мнѣ съ вами дѣлать. Намъ нужны люди, но знающіе, а вѣдь вы первокурсникъ студентъ по знаніямъ. Я могу васъ взять только практикантомъ.

— Я согласенъ.

— Жалованье 35 рублей въ мѣсяць.

— Я согласенъ.

— Ну, кормить будемъ.

— Объ этомъ нечего говорить,—отвѣтилъ Карташовъ. Съ моими знаніями я никакого жалованья не стою.

— Вы возьмете его въ свою партію?—спросилъ толстый худого.

Худой свирѣпо сдвинулъ брови и, сверкнувъ на Карташова своими глазами, угрюмо сказалъ:

— Въ такомъ случаѣ завтра въ пять утра выходите на площадь передъ гостиницей.

А толстый, протягивая руку, сказалъ:

— Ну, а теперь прощайте.

Карташовъ пожалъ руку толстому, поклонился худому и пошелъ къ двери. Уже у двери онъ остановился и сказалъ:

— Я постараюсь оправдать ваше довѣріе.

И выскочивъ въ корридоръ, онъ подумалъ: „какъ это все глупо вышло и какимъ я дуракомъ вышелъ въ ихъ глазахъ... Ну, и отлично, а все-таки начало сдѣлано, переживу еще много тяжелыхъ униженій, но сразу все пройду отъ изысканій до постройки“...

— Ну?!—встрѣтилъ его Василій Петровичъ.

— Съ большимъ скандаломъ, но принялъ,—смущенно и радостно отвѣтилъ Карташовъ.—Вы знаете, уже завтра въ пять часовъ утра...

— Съ мѣста въ карьеръ: отлично.

— И въ поле на изысканія. Я такъ боялся, что меня засадятъ за проекты, но Богъ мнѣ помогъ по поводу проектовъ такую чушь сморозить, что сразу рѣшили, что я никуда не гожусь. Вотъ теперь не знаю только, какъ съ дядей быть?

— Дядю вашего я беру на себя. Теперь сидите, я пойду къ нему, а потомъ вмѣстѣ ужинавать будемъ.

Уже сгорбленная фигура Василя Петровича скрылась за дверью, когда спохватился Карташовъ и подумалъ:

— „Эхъ, забылъ поблагодарить“.

Карташовъ напрасно беспокоился относительно дяди. Дядя уже и самъ тяготился своимъ выборомъ, бранилъ въ душѣ племянника кисляемъ и, основательно опасаясь за результатъ своего громаднаго дѣла, подыскалъ ему молодого энергичнаго помощника Абрамсона. Теперь этотъ Абрамсонъ, племянникъ главы фирмы, которой дядя Карташова продавалъ свой ежегодный урожай, становился во главѣ дѣла.

Увѣренность этого красиваго, съ строгимъ римскимъ оваломъ лица, въ золотомъ пенснэ, Абрамсона была такова, какъ будто съ рожденія, всегда онъ былъ во главѣ большихъ дѣлъ. Съ интендантами онъ держалъ себя покровительственно, какъ съ маленькими людьми, и запугиванія Конева на него мало дѣйствовали.

За ужиномъ, гдѣ присутствовалъ и Карташовъ, и присутствовалъ даже съ удовольствіемъ, такъ какъ это уже была чужая, уже посторонняя для него компанія, гдѣ онъ только наблюдалъ,—пьяный Коневъ приставалъ къ Абрамсону:

— Если ты мнѣ не дашь заработать, чистоганомъ сто тысячъ,—сто! Ни копѣйки меньше, то пиши духовное завѣщаніе.

— Я не помню, когда мы пили брудершафтъ, — отвѣтилъ съ достоинствомъ Абрамсонъ.—Что касается заработка, то можно и двѣсти заработать, было бы за что...

— Конечно, не даромъ.

— Прежде всего надо дѣйствовать съ умомъ...

— Я всегда съ умомъ...

— И поэтому надо прежде всего молчать, а когда придетъ время, тогда и поговоримъ...

Абрамсонъ многозначительно смотрѣлъ въ глаза Коневу, другимъ интендантамъ, Коневъ впивался въ его глаза и, обращаясь къ дядѣ Карташова, говорилъ съ восторгомъ:

— Вотъ это шельма! Это выборъ! Даромъ, что молодко у него на губахъ еще не обсохло, я знаю впередъ, что онъ и тебѣ дастъ кусокъ хлѣба—и намъ, и себя не забудетъ. Чортъ съ тобой, хоть и жидъ ты, а давай брудершафтъ пить, потому что у тебя голова золотая. А на меня надѣйся... Мнѣ твоего даромъ не надо. Хочешь тебѣ сейчасъ квитанцію на сто паръ павшихъ быковъ выдамъ, да на сто паръ сейчасъ же вновь купленныхъ, ну-ка, чѣмъ пахнетъ, что дашь? Говори?!

Коневъ такъ оралъ, что съ сосѣднихъ столиковъ на него оглядывались, и сидѣвшіе съ нимъ за столомъ напрасно уговаривали его.

— Что вы мнѣ тутъ толкуете,—кричалъ онъ.—Развѣ я своими глазами не видѣлъ сегодня этихъ павшихъ быковъ. Ступайте на сваи, они и сейчасъ еще лежатъ тамъ, а сколько ихъ лежитъ во всю дорогу до Адрианополя. Что?!

Онъ лукаво и пьяно подмигивалъ компаніи и говорилъ:

— Бывали въ передрягахъ! Только развѣ во чревѣ китовомъ не побывалъ еще, а въ остальныхъ—всѣ входы и выходы во какъ знаемъ! И кому какое дѣло? Моя голова, я подъ судъ пойду, если ужъ на то пошло! И никого не выдамъ! Наливай! Я, братецъ, изъ коммерческаго училища: тамъ товарищество—ой-ой-ой! Только выдай!

Коневъ сжималъ свой волосистый громадный кулакъ, и, потрясая имъ надъ головой компаніи, кричалъ:

— Такъ задутетенять и плакать не позволяютъ! Разъ мы въ училищѣ забрались подъ пьяную руку въ извѣстный домъ...

Слѣдовалъ рассказъ о жестокости надъ женщиной, отвратительный, совершенно неудобный для передачи. Результатъ былъ тотъ, что, не смотря на всю свисходительность нравовъ училища, пятерыхъ исключили изъ него и въ томъ числѣ Конева.

— Ну и что-жь?—закончилъ Коневъ,—человѣкомъ, какъ видишь, все-таки остался. Годомъ позже быть произведенъ, а въ глаза каждому могу смотрѣть: все-таки никого не выдамъ и не выдамъ! А, вотъ, что Артемій Николаевичъ съ нами не ѣдетъ—это умно. Что умно, то умно, — гусь свинѣ не товарищъ, — нѣтъ, нѣтъ! Выпьемъ за его здоровье и пусть онъ себѣ остается и получаетъ свои тридцать пять рублей съ полтиной и харчи!

Благодушный и пьяный комизмъ Конева смѣшилъ всѣхъ и Карташова и всѣ снисходительно и доброжелательно чокались съ нимъ.

Возвратившись въ номеръ, дядя заявилъ Карташову, когда тотъ приступилъ къ денежному вопросу:

— Ни копѣйки отъ тебя назадъ не возьму. Теперь у меня деньги есть, и выданныя тебѣ двѣ тысячи—капля для меня въ морѣ теперь. Можетъ быть, придетъ другое время, а тогда ты будешь уже на ногахъ, не мнѣ, такъ дѣтямъ моимъ: жизнь—колесо,— что сегодня внизу,— завтра наверху и наоборотъ.

— Ну, дядя! Тѣ деньги, которыя я истратилъ, ну, уже такъ и быть...

— Да, что ты, ей Богу! Съ кѣмъ ты торгуешься? Мнѣ мать твоя не сестра, что-ли? Не одна грудь насъ кормила? Не одна мы семья и до сихъ поръ? Мы никогда въ жизни съ твоей мамой не поссорились. Наташу мнѣ кто посваталъ? Была первая и по красотѣ и по богатству невѣста. И если бы не мама, я могъ бы жениться? Мама твоя такой министръ, какого не было еще и не будетъ. Будешь еще ты торговаться со мной. Садись лучше и пиши мамѣ письмо...

— Нѣтъ, я ужъ завтра.

— И думать нечего! Не дамъ спать, пока не напишешь? Знаемъ мы ваше завтра. Вотъ головой тебѣ отвѣчаю, что за все лѣто это будетъ первое и послѣднее письмо... Садись, садись...

Карташовъ нехотя сѣлъ:

— Всѣ мысли въ разбродѣ. Диктуйте мнѣ...

— Пиши, голубчикъ, — отвѣтилъ дядя, укладывая что-то въ чемоданъ, — пиши: дорогая мама, доживъ до 25-ти лѣтъ, я, слава Богу, научился писать подъ диктовку, лѣтъ въ сорокъ научусь и самъ писать письма...

Дядя диктовалъ совершенно серьезно, а Карташовъ смѣялся.

— Ну, пиши же, сердце. Ты думаешь, ей не будетъ радость, что ты опять инженеръ? Охо-хо, какая радость. Только молчала она, а ужъ видѣлъ я, какія кошки скребли ее...

Карташовъ, наконецъ, вдохновился и засѣлъ за письмо.

Дядя успѣлъ заснуть и опять проснулся.

— О, дурный! То не уговоришь, то не оторвешь! Два часа, а въ четыре вставать. Бросай писать, спи!

— Кончаю.

(Продолженіе въ слѣдующемъ сборникѣ)

Изданіе товарищества „ЗНАНІЕ“ (Спб., Невскій, 92).

XVIII.

СБОРНИКЪ

ТОВАРИЩЕСТВА „ЗНАНІЕ“ ЗА 1907 ГОДЪ.

КНИГА ВОСЕМНАДЦАТАЯ.

СОДЕРЖАНІЕ:

М. Горькій: Мать.

Записки В. Вересаева. На войнѣ.

Н. Гаринъ. Инженеры.

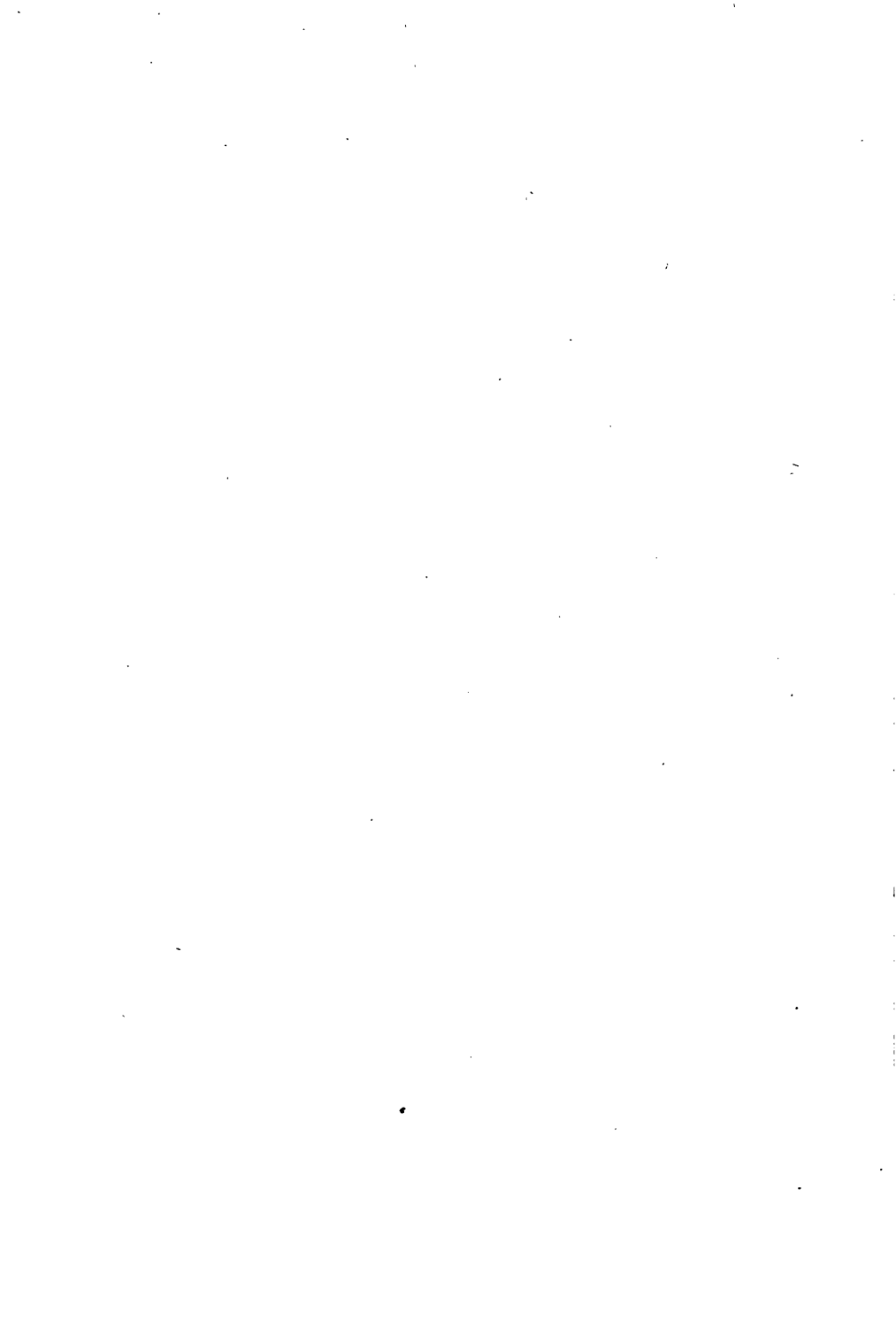
Цѣна 1 рубль.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

1907.

СОДЕРЖАНІЕ:

	СТРАН.
М. Горькій. Мать.	1
Записки В. Вересаева. На войнѣ.	73
Н. Гаринъ. Инженеры	175



М. ГОРЬКІЙ.

МАТЬ.

(Продолженіе).

М. Горькій. Мать.

За англійскимъ изданіемъ этой повѣсти, выпущеннымъ фирмой

Appleton and Company,

436 Fifth Avenue, New-York,

или ея уполномоченными,

закрѣплены всѣ права оригинала. Оно пользуется защитой законовъ объ авторскихъ правахъ въ Соединенныхъ Штатахъ Америки, въ Великобританіи и другихъ странахъ, гдѣ говорятъ по-англійски.

Во избѣжаніе недоразумѣній, гг. переводчиковъ просить предварительно обращаться къ указанной фирмѣ, или къ представителю автора внѣ Россіи, Ив. Павл. Ладыжникову, адресъ котораго:

*Berlin W, 15, Uhlandstrasse. 145;
„Bühnen-und-Buch Verlag russischer Autoren
I. Ladyschnikow“.*

XVII.

Жизнь текла быстро, дни были пестры, разнолицы. Каждый приносилъ съ собой что-нибудь новое, и оно уже не тревожило мать. Все чаще по вечерамъ являлись незнакомые люди; они озабоченно, вполголоса бѣсѣдовали съ Андреемъ и поздно ночью, поднявъ воротники, надвигая шапки низко на глаза, уходили во тьму, осторожные, безшумные. Въ каждомъ чувствовалось сдержанное возбужденіе; казалось, всѣ хотятъ пѣть, и смѣяться, но имъ было некогда, они всегда торопились. Одни насмѣшливые и серьезные, другіе открыто веселые, сверкающіе силой юности, третьи задумчиво тихіе—всѣ они имѣли въ глазахъ матери что-то одинаково настойчивое, увѣренное, и хотя у cadaго было свое лицо, для нея всѣ лица сливались въ одно—худое, спокойно рѣшительное, ясное лицо съ глубокимъ взглядомъ темныхъ глазъ, ласковымъ и строгимъ, точно взглядъ Христа на пути въ Эммаусъ.

Мать считала ихъ, мысленно собирая толпой вокругъ Павла,—въ этой толпѣ онъ становился незамѣтнымъ для глазъ враговъ.

Однажды изъ города явилась бойкая, кудрявая дѣвушка; она принесла для Андрея какой-то свертокъ и, уходя, сказала Власовой, блестя веселыми глазами:

— До свиданья, товарищъ!

— Прощайте!—сдержавъ улыбку, отвѣтила мать.

А проводивъ дѣвочку, подошла къ окну и смѣясь смотрѣла, какъ по улицѣ, часто сѣменя маленькими ножками, шелъ ея товарищъ, свѣжій, какъ весенній цвѣтокъ, и легкій, какъ бабочка.

— Товарищъ!—сказала мать, когда гостя исчезла.— Эхъ ты, милая! Дай тебѣ Господи товарища честнаго на всю твою жизнь.

Она часто замѣчала во всѣхъ людяхъ изъ города что-то дѣтское и снисходительно усмѣхалась, но, въ то же время, ее трогала и радостно удивляла ихъ вѣра, глубину которой она чувствовала все яснѣе, ее ласкали и грѣли ихъ мечты о торжествѣ справедливости, слушающая которыя, она невольно вздыхала, въ невѣдомой печали. Но особенно трогала ее въ людяхъ простота и красивая, щедрая небрежность къ самимъ себѣ.

Она уже многое понимала изъ того, что говорили они о жизни, чувствовала, что они открыли вѣрный источникъ несчастія всѣхъ людей, и привыкла соглашаться съ ихъ мыслями. Но въ глубинѣ души она не вѣрила, что они могутъ перестроить всю жизнь по-своему и что хватить у нихъ силы привлечь на свой огонь весь рабочій народъ. Каждый хочетъ быть сытымъ сегодня, и никто не желаетъ отложить свой обѣдъ даже на недѣлю, если можетъ съѣсть его сейчасъ. Не многіе пойдутъ этой дальней и трудной дорогой, не всѣ глаза увидятъ въ концѣ ея сказочное царство братства людей. Вотъ почему всѣ они, эти хорошие люди, несмотря на ихъ бороды и, порою, усталыя лица, казались ей дѣтьми.

-- Милые вы мои!—думала она, покачивая головой.

Но всѣ они уже теперь жили хорошей, серьезной и умной жизнью, всѣ говорили о добромъ и, желая научить людей тому, что знали, дѣлали это, не щадя себя. Она понимала, что такую жизнь можно любить, несмотря на ея опасность, и, вздыхая, оглядывалась на-

зadъ, гдѣ темной и узкой полосой плоско тянулось ея прошлое. У нея незамѣтно сложилось спокойное сознаніе своей надобности для этой новой жизни,—раньше она никогда не чувствовала себя нужной кому-нибудь, а теперь ясно видѣла, что нужна многимъ; это было ново, пріятно и приподняло ей голову...

Она аккуратно носила на фабрику книжки, смотрѣла на это, какъ на свою обязанность, и уже выработала себѣ много ловкихъ пріемовъ, стала привычной для сыщиковъ, примелькалась имъ. Нѣсколько разъ ее обыскивали, но всегда на другой день послѣ того, какъ листки появлялись на фабрикѣ. Когда съ нею ничего не было, она умѣла возбудить подозрѣніе сыщиковъ и сторожей; они хватили ее, обшаривали, она притворялась обиженной, спорила съ ними и, пристыдивъ, уходила, гордая своей ловкостью. Ей начинала нравиться эта игра.

Вѣсовщикова на фабрику не приняли; онъ поступилъ въ работники къ торговцу лѣсомъ и цѣлые дни возилъ по слободкѣ бревна, тесъ и дрова. Мать почти каждый день видѣла его: круто упираясь дрожащими отъ натуги ногами въ землю, шла пара вороныхъ лошадей; обѣ онѣ были старыя, костлявыя, головы ихъ устало и печально качались, тусклые глаза измученно мигали; за ними вдрагивая тянулось длинное, мокрое бревно или груда досокъ, громко хлопая концами, а сбоку, опустивъ возжи, шагаль Николай, оборванный, грязный, въ тяжелыхъ сапогахъ, въ шапкѣ на затылокъ, неуклюжій, точно пень, только-что вывороченный изъ земли. Онъ тоже качаетъ головой, смотреть себѣ подъ ноги и ничего не хочетъ видѣть. Его лошади слѣпо наѣзжаютъ на встрѣчныя телѣги, на людей, около него вьются, какъ шмели, сердитыя ругательства, рѣжутъ воздухъ злые окрики. Онъ, не поднимая головы, не отвѣчая имъ, свиститъ рѣзкимъ, оглушающимъ свистомъ и глухо бормочетъ лошадямъ:

— Ну, бери, бери...

Каждый разъ, когда у Андрея собирались товарищи на чтеніе новаго номера заграничной газеты или брошюры, приходилъ и Николай, садился въ уголь и молча слушалъ часть, два. Кончивъ чтеніе, молодежь долго спорила, но Вѣсовщиковъ не принималъ участія въ спорахъ. Онъ оставался дольше всѣхъ и, одинъ на одинъ съ Андреемъ, ставилъ ему угрюмый вопросъ:

— А кто всѣхъ виноватѣе?

— Виноватъ, видишь-ли, тотъ, кто первый сказалъ: это мое! Человѣкъ этотъ померъ нѣсколько тысячъ лѣтъ тому назадъ, и на него сердиться не стоитъ!—шутя говорилъ хохоль, но глаза его смотрѣли безпокойно.

— А богатые? А тѣ, которые за нихъ стоятъ? Они правы?

Хохоль хватался за голову, дергалъ усы и долго говорилъ простыми словами о жизни и людяхъ. Но у него всегда выходило такъ, какъ будто виноваты всѣ люди вообще, и это не удовлетворяло Николая. Плотнo сжавъ толстыя губы, онъ отрицательно качалъ головой и, недовѣрчиво заявляя, что это не такъ, что онъ этого не понимаетъ, уходилъ недовольный и мрачный.

Однажды онъ сказалъ:

— Нѣтъ, виноватые должны быть... они тутъ! Я тебѣ скажу: намъ надо всю жизнь перепахать, какъ сорное поле... безъ пощады!

— Вотъ такъ однажды Исая табельщикъ про васъ говорилъ!—вспомнила мать.

— Исая?—спросилъ Вѣсовщиковъ, помолчавъ.

— Да. Злой человѣкъ! Подсматриваетъ за всѣми, выспрашиваетъ... по нашей улицѣ сталъ ходить и въ окна къ намъ заглядывать...

— Заглядываетъ?—повторилъ Николай.

Мать уже лежала въ постели и не видѣла его лица. Но она поняла, что сказала что-то лишнее, потому что хохоль торопливо и примирительно заговорилъ:

— А пускай его ходить и заглядывает! Есть у него свободное время, онъ и гуляетъ...

— Нѣтъ, погоди! — глухо сказалъ Николай. — Вотъ онъ, виноватый!

— Въ чемъ? — быстро спросилъ хохоль. — Что онъ глупъ?

Но Вѣсовщиковъ не сталъ отвѣчать ему и ушелъ.

Хохоль медленно и устало зашагалъ по комнатѣ, тихо шаркая тонкими, паучьими ногами. Сапоги онъ снялъ, всегда дѣлая это, чтобы не стучать и не беспокоить Власову. Но она не спала и, когда Николай ушелъ, сказала тревожно:

— Боюсь я его! Онъ—точно печь, жарко натопленная: не грѣетъ, а жжетъ...

— Да-а!...—медленно протянулъ хохоль.—Мальчишкѣ сердитый. Вы, ненько, про Исая съ нимъ не говорите... этотъ Исая дѣйствительно шпионить... и даже деньги за это беретъ!

— Что мудренаго? У него кумъ жандармъ! — замѣтила мать.

— Пожалуй, поколотить его Николай! — съ опасеніемъ продолжалъ хохоль. — Вотъ, видите, какія чувства воспитали господа командиры нашей жизни у нижнихъ чиновъ? Когда такіе люди, какъ Николай, почувствуютъ свою обиду и вырвутся изъ терпѣнья... что это будетъ? Небо кровью забрызгаютъ, и земля въ ней, какъ мыло, вспѣнится...

— Страшно, Андрюша!—тихо воскликнула мать.

— Не глотали бы мухъ, такъ не вырвало бы! — помолчавъ, сказалъ Андрей.—И, все-таки, ненько, каждая капля ихъ крови заранѣе омыта озерами народныхъ слезъ...

Онъ вдругъ тихо засмѣялся и добавилъ:

— Это справедливо... ну—не утѣшаетъ!

...Однажды въ праздникъ мать пришла изъ лавки, отворила дверь и встала на порогъ, вся вдругъ обли-

тая радостью, точно теплымъ, лѣтнимъ дождемъ: въ комнатѣ звучалъ крѣпкій голосъ Павла.

— Вотъ она!—крикнулъ хохоль.

Мать видѣла, какъ быстро обернулся Павелъ, и видѣла, что его лицо вспыхнуло чувствомъ, обѣщавшимъ что-то большое для нея.

— Вотъ и пришелъ... и дома... — забормотала она, растерявшись отъ неожиданности, и сѣла.

Онъ наклонился къ ней, блѣдный, въ углахъ его глазъ свѣтло засверкали маленькія слезинки, и губы вздрагивали. Секунду онъ молчалъ, мать смотрѣла на него тоже молча.

Хохоль, тихо насвистывая, прошелъ мимо нихъ, опустивъ голову, и вышелъ на дворъ.

— Спасибо, мама! — глубокимъ, низкимъ голосомъ заговорилъ Павелъ, тиская ея руку вздрагивающими пальцами.—Спасибо, родная!

Радостно потрясенная выраженіемъ лица и звукомъ голоса сына, она гладила его голову и, сдерживая біеніе сердца, тихонько говорила:

— Христось съ тобой!.. За что... зачѣмъ?

— За то, что помогаешь великому нашему дѣлу. спасибо!—говорилъ онъ.—Когда человѣкъ можетъ называть мать свою и по духу родной, это рѣдкое счастье!

Она молча жадно глотала его слова открытымъ сердцемъ и любовалась сыномъ,—онъ стоялъ передъ нею такой свѣтлый и такъ близкій.

— Я молчалъ, мама... я видѣлъ: многое въ моей жизни задѣваетъ тебя... жалко мнѣ было душу твою, а сдѣлать я ничего не могъ, не умѣлъ! Думалъ, — никогда ты не помиришься съ нами, не примешь наши мысли, какъ свои... а только молча будешь терпѣть, какъ всю жизнь терпѣла. Это тяжело было!..

— Андрюша очень много далъ мнѣ понять!—встала она, повинувась желанію напомнить сыну о товарищѣ.

— Онъ мнѣ рассказывалъ про тебя! — смѣясь, сказала Павелъ.

— Егоръ тоже. Мы съ нимъ земляки... Андрюша даже грамотѣ хотѣлъ учить...

— А ты сконфузилась и сама потихоньку стала учиться?..

— Ужъ онъ подглядѣлъ! — смущенно воскликнула она. И, обезпокоенная обиліемъ радости, наполнявшей ея грудь, снова предложила Павлу:

— Позвать бы его! Нарочно ушелъ, чтобы не мѣшать. У него—матери нѣтъ...

— Андрей!.. — крикнулъ Павелъ, отворяя дверь въ сѣни.—Ты гдѣ?

— Здѣсь. Дрова колоть хочу...

— Время!.. Иди сюда!

— Иду...

Но онъ пришелъ не сразу, а, войдя въ кухню, хозяйственно заговорилъ:

— Надо сказать Николаю, чтобы дровъ привезъ: мало дровъ у насъ. Вы видите, ненько, какой онъ, Павелъ? Въмѣсто того, чтобы наказывать, начальство только откармливаетъ бунтарей...

Мать засмѣялась. У нея еще сладко замирало сердце, она была опьянена радостью, но уже что-то скупое и осторожное вызывало въ ней желаніе видѣть сына спокойнымъ, такимъ, какъ всегда. Было слишкомъ хорошо въ душѣ, и она хотѣла, чтобы первая радость ея жизни сразу и навсегда сложилась въ сердцѣ такой живой и сильной, какъ пришла. И опасаясь, какъ бы не убавилось счастья, она торопилась скорѣе прикрыть его, точно птицеловъ—случайно пойманную имъ рѣдкую птицу.

— Давайте обѣдать!.. Ты, Паша, вѣдь не ѣлъ еще?—суетливо предложила она.

— Нѣтъ. Я вчера узналъ отъ надзирателя, что меня рѣшили выпустить, и сегодня—не пилося, не ѣлось...

Перваго встрѣтилъ я здѣсь старика Сизова... Увидалъ онъ меня, перешелъ дорогу, здоровается. Я ему говорю: вы теперь осторожнѣе со мной,—я человѣкъ опасный, нахожусь подъ надзоромъ полиціи. „Ничего,“ говоритъ. И знаешь, какъ онъ спросилъ о племянникѣ? „Что,“ говоритъ, „Федоръ хорошо себя велъ?“ Что значить—хорошо себя вести въ тюрьмѣ? „Ну,“ говоритъ, „лишняго чего не болталъ ли противъ товарищей?“ И когда я сказалъ, что Федя человѣкъ честный и умница, онъ погладилъ бороду и гордо такъ заявилъ: „мы, Сизовы, въ своей семьѣ плохихъ людей не имѣемъ...“

— Онъ старикъ съ мозгомъ!—сказалъ хохоль, кивая головой.—Мы съ нимъ часто разговариваемъ, хорошій мужикъ. Скоро Федю выпустятъ?

— Всѣхъ выпустятъ, я думаю! У нихъ ничего нѣтъ, кромѣ показаній Исае, а онъ что же могъ сказать?

Мать ходила взадъ и впередъ и смотрѣла на сына. Андрей, слушая его рассказы, стоялъ у окна, заложивъ руки за спину. Павелъ расказывалъ по комнатѣ. У него отросла борода, мелкія кольца тонкихъ, темныхъ волосъ густо вились на щекахъ, смягчая смуглый цвѣтъ лица. Потемнѣвшіе глаза смотрѣли строго.

— Садитесь!—предложила мать, подавая на столъ горячее.

За обѣдомъ Андрей разсказалъ о Рыбинѣ. И когда онъ кончилъ, Павелъ съ сожалѣніемъ воскликнулъ:

— Будь я дома, я бы не отпустилъ его такъ! Что онъ понесъ съ собой? Большое чувство возмущенія и путаницу въ головѣ.

— Ну,—сказалъ хохоль, усмѣхаясь,—когда чело-вѣку сорокъ лѣтъ, да онъ самъ долго боролся съ мед-вѣдами въ своей душѣ, трудно его передѣлать...

Завязался одинъ изъ тѣхъ споровъ, когда люди начинали говорить словами, непонятными для матери. Кончили обѣдать, а все еще ожесточенно осыпали

другъ друга трескучимъ градомъ мудреныхъ словъ. Иногда говорили просто.

— Мы должны идти нашей дорогой, ни на шагъ не отступая въ сторону!—твердо заявлялъ Павелъ.

— И наткнуться въ пути на нѣсколько десятковъ миллионовъ людей, которые встрѣтятъ насъ, какъ враговъ...

Мать прислушивалась къ спору и понимала, что Павелъ не любитъ крестьянъ, а хохоль заступаетъ за нихъ, доказывая, что и мужиковъ добру учить надо. Она больше понимала Андрея, и онъ казался ей правымъ, но всякій разъ, когда онъ говорилъ Павлу что-нибудь, она, насторожась и задерживая дыханіе, ждала отвѣта сына, чтобы скорѣе узнать, не обидѣлъ ли его хохоль. Но они кричали другъ на друга, не обижаясь.

Иногда мать спрашивала сына:

— Такъ ли, Паша?

Улыбаясь, онъ отвѣчалъ:

— Такъ!

— Вы, господинъ,—съ ласковымъ ехидствомъ говорилъ хохоль,—сыто поѣли, да плохо жевали, и у васъ въ горлѣ кусокъ стоитъ... Прополощите горлышко...

— Не дури!..—посоветовалъ Павелъ.

— Да я какъ на панихидѣ!..

Мать, тихо посмѣиваясь, качала головой...

XVIII.

Приближалась весна, таялъ снѣгъ, обнажая грязь и копотъ фабричныхъ трубъ, скрытую въ его глубинѣ. Съ каждымъ днемъ грязь настойчиво лѣзла въ глаза, и вся слободка казалась одѣтой въ лохмотья, неумытой. Днемъ капало съ крышъ, устало и потно дымились сѣрыя стѣны домовъ, а къ ночи вездѣ смутно бѣлѣли ледяныя сосульки. Все чаще на небѣ являлось солнце. И, нерѣшительно, тихо начинали журчать ручьи,

сбѣгая къ болоту. Въ полдень надъ слободкой ласково дрожала трепетная пѣсня вешнихъ надеждъ.

Готовились праздновать первое Мая.

На фабрику и по слободку летали листки, объяснявшіе значеніе этого праздника, и даже незадѣтая пропагандой молодежь говорила, читая ихъ:

— Это надо устроить!

Вѣсовщиковъ, угрюмо усмѣхаясь, восклицалъ:

— Пора! Будетъ ужъ въ прятки играть!

Радовался Федя Мазинъ. Сильно похудѣвшій, онъ сталъ похожъ на жаворонка въ клѣткѣ, нервнымъ трепетомъ своихъ движеній и рѣчей. Его всегда сопровождалъ молчаливый и не по годамъ серьезный Яковъ Сомовъ, работавшій теперъ въ городѣ. Самойловъ, еще болѣе порыжѣвшій въ тюрьмѣ, Василій Гусевъ, Букинъ, Драгуновъ и еще нѣкоторые доказывали необходимость идти съ оружіемъ, но Павелъ, хохоль, Сомовъ и другіе спорили съ ними.

Являлся Егоръ, всегда усталый, потный, задыхающійся, и шутить:

— Работа по измѣненію существующаго строя—великая работа, товарищи, но для того, чтобы она шла успѣшнѣе, я долженъ купить себѣ новые сапоги!—говорилъ онъ, указывая на свои рваные и мокрые ботинки.—Галоши у меня тоже неизлечимо разорвались, и каждый день я промачиваю себѣ ноги. Я не хочу переѣхать въ нѣдра земли ранѣе, чѣмъ мы отречемся отъ стараго міра публично и явно, а потому, отклоняя предложеніе товарища Самойлова о вооруженной демонстраціи, предлагаю вооружить меня крѣпкими сапогами, ибо глубоко убѣжденъ, что это полезнѣе для торжества социализма, чѣмъ даже очень большое мордобитіе!..

Такимъ же вычурнымъ языкомъ онъ рассказывалъ рабочимъ исторіи о томъ, какъ въ разныхъ странахъ народъ пытался облегчить свою жизнь. Мать любила

слушать его рѣчи и она вынесла изъ нихъ странное впечатлѣніе: самыми хитрыми врагами народа, которые наиболѣе жестоко и часто обманывали его, были маленькіе, пузатые, краснорожіе человѣчки, безсовѣстные и жадные, хитрые и жестокіе. Когда имъ жилось трудно подъ властью царей, они науськивали чернѣйшій народъ на царскую власть, а когда народъ поднимался и вырывалъ эту власть изъ рукъ короля, человѣчки обманомъ забирали ее въ свои руки и разгоняли народъ по конурамъ; если же онъ спорилъ съ ними, избивали его сотнями и тысячами.

Однажды, собравшись съ духомъ, она рассказала ему эту картину жизни, созданную его рѣчами, и, смущенно смѣясь, спросила:

— Такъ ли, Егоръ Ивановичъ?

Онъ хохоталъ, закатывая глазки, задыхался, растиралъ грудь руками.

— Воистину такъ, бабуля! Вы схватили за рога коренного быка исторіи... На этомъ желтенькомъ фонѣ есть нѣкоторые орнаменты, т.-е. вышивки, но они дѣла не мѣняютъ! Именно толстенькіе человѣчки—главные грѣховодники и самыя ядовитыя насѣкомыя, кусающія народъ. Французы удачно называютъ ихъ буржуа. Запомните, милая бабуля, бур-жуа. Жуютъ они насъ, жуютъ и высасываютъ...

— Богатые, значитъ?—спросила мать.

— Вотъ именно! Въ этомъ ихъ несчастіе. Если, видите вы, въ пищу ребенка прибавлять понемногу мѣди, это задерживаетъ ростъ его костей и онъ будетъ карликомъ, а если смолоду отравлять человѣка золотомъ, душа у него становится маленькая, мертвенная и сѣрая, совсѣмъ какъ резиновый мячъ, цѣною въ пять копѣекъ...

Однажды, говоря объ Егорѣ, Павелъ сказалъ:

— А знаешь, Андрей, всего больше тѣ люди шутятъ, у которыхъ всегда сердце ноетъ...

Хохоль помолчалъ и, прищутивъ глаза, отвѣтилъ:

— Это не такъ! Будь твоя правда, вся Россія со смѣху помирала бы...

Появилась Наташа; она тоже сидѣла въ тюрьмѣ, гдѣ-то въ другомъ городѣ, но это не измѣнило ее. Мать замѣтила, что при ней хохоль становился веселѣе, сыпалъ шутками, задиравъ всѣхъ своимъ мягкимъ ехидствомъ, возбуждая у нея веселый смѣхъ. Но когда она уходила, онъ начиналъ грустно насвистывать свои безконечныя пѣсни и долго расхаживалъ по комнатѣ, уныло шаркая ногами.

Часто прибѣгала Саша, всегда нахмуренная, всегда торопливая и почему-то все болѣе угловатая, рѣзкая.

Какъ-то разъ, когда Павелъ вышелъ въ сѣни провозжать ее и не затворилъ дверь за собой, мать услышала быстрый разговоръ:

— Вы понесете знамя?—тихо спросила дѣвушка.

— Я.

— Это рѣшено?

— Да. Это мое право.

— Снова тюрьма?!

Павелъ молчалъ.

— Вы не могли бы...—начала она и остановилась.

— Что?—спросилъ Павелъ.

— Уступить другому...

— Нѣтъ!—громко сказалъ онъ.

— Подумайте... вы такой вліятельный... васъ любають... вы и Находка первые здѣсь... сколько можете сдѣлать на свободѣ... подумайте! А вѣдь за это васъ сошлютъ... далеко... надолго!

Матери показалось, что въ голосѣ дѣвушки звучать знакомыя чувства—тоска и страхъ. И слова Саши стали падать на сердце ей, точно крупныя капли ледяной воды.

— Нѣтъ, я рѣшилъ!—сказалъ Павелъ.—Отъ этого я не откажусь ни за что.

— Даже если я буду просить... если я...

Павель вдругъ заговорилъ быстро и какъ-то особенно строго:

— Вы не должны такъ говорить... что вы? Вы не должны!..

— Я человѣкъ!—тихонько сказала она.

— Хорошій человѣкъ!—тоже тихо, но такъ, точно онъ задышался, говорилъ Павель.—Дорогой мнѣ человѣкъ... да! И поэтому... поэтому не надо такъ говорить...

— Прощай!—сказала дѣвушка.

По стуку ея каблуковъ, мать поняла, что она пошла быстро, почти побѣжала. Павель ушелъ за ней во дворъ.

Тяжелый, давящій испугъ обнялъ грудь матери. Она не понимала, о чемъ говорилось, но чувствовала, что впереди ее ждетъ новое горе, большое и мрачное. И мысль ея остановилась на вопросѣ:

— Что онъ хочетъ дѣлать?

Остановилась и замерла, войдя въ мозгъ, точно гвоздь.

Павель вошелъ со двора вмѣстѣ съ Андреемъ; хохль, качая головой, бормоталъ:

— Эхъ, Исайка, Исайка... что съ нимъ дѣлать?

— Надо посовѣтовать ему, чтобы онъ оставилъ своихъ затѣи!—хмуро сказалъ Павель.

— Паша, что ты хочешь дѣлать?—спросила мать, опустивъ голову.

— Когда? Сейчасъ?

— Перваго... перваго Мая...

— Ага!—воскликнулъ Павель, понизивъ голосъ.— Я понесу знамя наше... пойду съ нимъ впереди всѣхъ. За это меня, вѣроятно, снова посадятъ въ тюрьму.

Глазамъ матери стало горячо, и во рту у нея явилась непріятная сухость. Онъ взялъ ея руку, погладилъ.

— Это мнѣ нужно, пойми!

— Я ничего не говорю!—сказала она, медленно поднявъ голову. И когда глаза ея встрѣтились съ упрямымъ блескомъ его глазъ, снова согнула шею.

Онъ выпустилъ ея руку, вздохнулъ и заговорилъ съ упрекомъ:

— Не горевать тебѣ, а радоваться надо бы... Когда будутъ матери, которыя и на смерть пошлютъ своихъ дѣтей съ радостью?...

— Гопъ, гопъ!.. — заворчалъ хохоль. — Поскакалъ нашъ панъ, подоткнувъ кафтанъ!..

— Развѣ я говорю что-нибудь?—повторила мать.— Я тебѣ не мѣшаю... А если жалко мнѣ тебя... это ужъ материнское!..

Онъ отступилъ отъ нея, и она услышала жесткія, острые слова:

— Есть любовь, которая мѣшаетъ человѣку жить...

Вздрогнувъ, боясь, что онъ скажетъ еще что-нибудь, отталкивающее ея сердце, она быстро заговорила:

— Не надо, Паша! Я понимаю... иначе тебѣ нельзя... для товарищей...

— Нѣтъ!—сказалъ онъ. — Я это для себя... Можно не идти, но я хочу и пойду!

Въ дверяхъ всталъ Андрей; онъ былъ выше двери и теперь, стоя въ ней, какъ въ рамѣ, странно подогнулъ колѣни, опираясь однимъ плечомъ о косякъ, а другое, шею и голову выставивъ впередъ.

— Вы бы перестали балакать, господинъ!—сказалъ онъ, угрюмо остановивъ на лицѣ Павла свои выпуклые глаза. Онъ былъ похожъ на ящерицу въ щели камня.

Матери хотѣлось плакать. Не желая, чтобы сынъ видѣлъ ея слезы, она вдругъ забормотала:

— Ай, батюшки... забыла я...

И вышла въ сѣни. Тамъ, ткнувшись головой въ уголъ, она дала просторъ слезамъ своей обиды и плакала молча, беззвучно, слабѣя отъ слезъ такъ, какъ будто вмѣстѣ съ ними вытекала кровь изъ сердца ея.

А сквозь неплотно закрытую дверь на нее ползли глухие звуки спора.

— Ты, что-жь, любишь себя, мучая ее? — спрашивал хохоль.

— Ты не имѣешь права такъ говорить! — крикнулъ Павелъ.

— Хорошо былъ бы я товарищъ тебѣ, если бы молчалъ, видя твои глупые, козлиные прыжки!.. Ты зачѣмъ это сказалъ? Понимаешь?

— Нужно всегда твердо говорить и да, и нѣтъ!

— Это ей?

— Всѣмъ! Не хочу ни любви, ни дружбы, которая цѣпляется за ноги, удерживаетъ...

— Герой! Утри носъ! Утри и — пойди, скажи все это Сашенькѣ... Это ей надо было сказать...

— Я сказалъ!..

— Такъ? Врешь! Ей ты говорилъ ласково, ей говорилъ нѣжно... я не слыхалъ, а — знаю!.. А передъ матерью выявилъ героизмъ... какъ же! Но пойми, козель, — героизмъ твой стоитъ грошъ!

Власова начала быстро стирать слезы со своихъ щекъ. Она испугалась, что хохоль обидитъ Павла, поспѣшно отворила дверь и, входя въ кухню, вся дрожащая, полная горя и страха, громко заговорила:

— У-у... холодно! А весна...

Безцѣльно перекладывая въ кухнѣ съ мѣста на мѣсто разныя вещи, стараясь заглушить пониженные голоса въ комнатѣ, она продолжала громче:

— Все переѣнилось... люди стали горячѣе, погода холоднѣе... Бывало, въ это время тепло стоитъ, небо ясное, солнышко...

Въ комнатѣ замолчали. Она остановилась среди кухни, ожидая.

— Слышалъ? — раздался тихій вопросъ хохла. — Это надо понять... чортъ! Тутъ — богаче, чѣмъ у тебя...

— Чайку попьете? — вздрагивающимъ голосомъ спро-

сила она. И, не ожидая отвѣта, чтобы скрыть эту дрожь, воскликнула:

— Что это, какъ озябла я!

Къ ней медленно вышелъ Павелъ. Онъ смотрѣлъ исподлобья, съ улыбкой, виновато дрожавшей на его губахъ.

— Прости меня, мать!— негромко сказалъ онъ. — Я еще мальчишка... дуракъ...

— Не тронь ты меня!— тоскливо крикнула она, прижимая его голову къ своей груди. — Не говори ничего... Господь съ тобой: твоя жизнь—твое дѣло! Но не задѣвай сердца! Развѣ можетъ мать не жалѣть? Не можетъ... всѣхъ жалко мнѣ... Ахъ, всѣ вы—родные... всѣ—достойные!.. И кто пожалѣетъ васъ, кромѣ меня?.. Ты идешь, за тобой—другіе... все бросили, пошли... пошли, Папа!

Билась въ груди ея большая, горячая мысль, окрыляла ей сердце вдохновеннымъ чувствомъ тоскливой, страдальческой радости, но мать не находила словъ и въ мукѣ своей нѣмоты, взмахивая рукой, смотрѣла въ лицо сына глазами, горѣвшими яркой и острой болью...

— Ладно, мама! Прости... вижу я!— тихо пробормоталъ онъ, опуская голову, и, съ улыбкой мелькомъ взглянувъ на нее, прибавилъ, отвернувшись, смущенный, но обрадованный:

— Этого я не забуду... честное слово!

Она отстранила его отъ себя и, заглядывая въ комнату, сказала Андрею просительно-ласково:

— Андрюша! Вы не кричите на него... Вы, конечно, старше... вы ужъ...

Стоя спиной къ ней и не двигаясь, хохолъ странно и смѣшно зарычалъ:

— У-у-у... Буду орать на него!.. Да еще и бить буду!

Она медленно шла къ нему, протягивая руку, и говорила:

— Милый вы мой человѣкъ...

Хохоль обернулся, наклонилъ голову, точно быкъ, и, стиснувъ за спиной руки, прошелъ мимо нея въ кухню. Оттуда раздался его голосъ, сумрачно насмѣшливый:

— Уйди, Павелъ, чтобы я тебѣ голову не откусилъ! Это я шучу, ненько, вы не вѣрьте! Вотъ я поставлю самоваръ. Да! Угли же у насъ... сырые, ко всѣмъ чертямъ ихъ!

Онъ замолчалъ. Когда мать вышла въ кухню, онъ сидѣлъ на полу, раздувая самоваръ. Не глядя на нее, хохоль началъ снова:

— Вы, не бойтесь, я его не трону! Я вѣдь добрый и мягкій... какъ пареная рѣпа! И я... эй, ты, герой, не слушай, — я его люблю! Но я жилетку его не люблю... Онъ, видите, надѣлъ новую жилетку, и она ему очень нравится; вотъ онъ ходитъ, выпуча животъ, и всѣхъ толкаетъ: а посмотрите, какая у меня жилетка! Она хорошая, вѣрно, но зачѣмъ толкаться? И безъ того тѣсно.

Павелъ, усмѣхнувшись, спросилъ:

— Долго будешь ворчать? Далъ мнѣ одну трепку... довольно бы!

Сидя на полу, хохоль вытянулъ ноги по обѣ стороны самовара и смотрѣлъ на него. Мать стояла у двери, ласково и грустно остановивъ глаза на кругломъ затылкѣ Андрея и длинной, согнутой шеѣ его. Онъ откинулъ корпусъ назадъ, уперся руками въ полъ, взглянулъ на мать и сына немного покраснѣвшими глазами и, мигая, негромко сказалъ:

— Хорошіе вы человѣки... да!

Павелъ наклонился, схватилъ его руку.

— Не дергай! — глухо сказалъ хохоль. — Такъ ты меня уронишь...

— Что стѣсняетесь? — грустно сказала мать. — Поцѣловались бы... обнялись бы крѣпко, крѣпко...

— Хочешь? — спросилъ Павелъ.

— Можно! — отвѣтилъ хохоль, поднимаясь.

А Павелъ опустился на колѣни, и, крѣпко обнявшись, они на секунду замерли—два тѣла—одна душа, горячо и ровно горѣвшая глубокимъ чувствомъ дружбы.

По лицу матери текли слезы, но уже легкія. Отирая ихъ, она смущенно сказала:

— Любить баба плакать... съ горя плачетъ, съ радости—плачетъ!..

Хохоль оттолкнулъ Павла мягкимъ движеніемъ и, тоже вытирая глаза пальцами, заговорилъ:

— Будетъ! Порѣзвились телята, пора въ жареное... Ну и чортовы же угли! Раздуваль, раздуваль... засорилъ себѣ глаза...

Павелъ, опустивъ голову, сѣлъ къ окну и тихо сказалъ:

— Такихъ слезъ не стыдно...

Мать подошла къ нему, сѣла рядомъ. Ея сердце тепло и мягко одѣлось бодримъ чувствомъ. Было грустно ей, но пріятно и спокойно.

— Все равно,—думала она, тихо глядя руку сына.— Иначе нельзя... такъ нужно!

И еще какія-то обыденныя, давно привычныя слова вертѣлись въ ея памяти, но они не обнимали собою того, что переживала она въ эти минуты.

— Я соберу посуду... вы себѣ сидите, ненько!—сказалъ хохоль, поднимаясь съ пола и уходя въ комнату.— Отдыхайте! Натолкали вамъ грудь...

И въ комнатѣ раздался его пѣвучій, повышенный голосъ:

— Не хорошо это—хвастаться, а, все же, славно почувствовали мы жизнь сейчасъ... настоящую, человѣческую, любовную жизнь!..

— Да!—сказалъ Павелъ, взглянувъ на мать.

— Все другое стало!—отозвалась она.— Горе другое, радость—другая... Я ужъ и не знаю... не понимаю того, чѣмъ живу... и словами не могу сказать ничего!

— Все другое... Да такъ и должно быть!—говорилъ

хохолъ:—потому что растетъ новое сердце, ненько моя милая, новое сердце въ жизни растетъ. Всѣ сердца разбиты разностью интересовъ, всѣ обглоданы слѣпой жадностью, покусаны завистью, избиты, изранены и сочатся гноемъ... ложью, трусостью... Всѣ люди больные, жить боятся, ходятъ какъ въ туманѣ... каждый знаетъ только, какъ его зубъ болить. Но вотъ идетъ человѣкъ, освѣщаетъ жизнь огнемъ разума и кричитъ, зоветъ: „эй, вы, тараканы заблудшіе! Пора уже понять вамъ, что у всѣхъ одинъ интересъ, всѣмъ жить надо, всѣ расти хотятъ!“ Одинъ онъ, этотъ человѣкъ зовущій, и потому кричитъ громко, ему друзей надо, ему пусто одному-то, пусто и холодно! И, по зову его, всѣ сердца здоровыми своими кусками слагаются въ одно, огромное сердце, сильное, глубокое, чуткое, какъ серебряный колоколь... котораго еще не было отлито! Вотъ онъ благовѣститъ намъ, этотъ колоколь: соединяйтесь, люди всѣхъ странъ, въ одну семью! Любовь — мать жизни, а не алоба!.. Я, братья мои, слышу этотъ звонъ въ мірѣ!

— Я—тоже!—громко сказалъ Павелъ.

Мать плотно сжимала губы, чтобы онѣ не дрожали, и крѣпко закрыла глаза, чтобы не плакали они.

— Лежу я ночью или иду куда-нибудь одинъ, — отовсюду слышу этотъ звонъ... и хорошо мнѣ! Знаю: устала земля отъ неправды и горя... и тоже гудитъ вся, точно колоколь, отзывается на этотъ благовѣсть... сладко вздрагиваетъ встрѣчу новому солнцу, восходящему въ человѣкѣ, въ груди его!

Павелъ всталъ; онъ поднялъ руку, хотѣлъ что-то сказать, но мать взяла его за другую руку и, потянувъ ее внизъ, прошептала:

— Не мѣшай ему...

— Знаете?—сказалъ хохолъ, стоя въ двери и свѣтло блестя глазами.—Много горя впереди у людей, много еще крови выжмутъ изъ нихъ жадныя руки... но все это, все горе и кровь моя—малая цѣна за то, что уже

есть въ груди у меня, въ мозгу моемъ... въ мозгъ моихъ костей! Я уже богатъ, какъ звѣзда лучами... я все снесу, все вытерплю... потому что есть во мнѣ радость, которой никто, ничто, никогда не убьетъ! Въ этой радости—сила!

Пили чай, сидѣли за столомъ до полуночи, ведя задушевную и тихо стройную бесѣду о жизни, о людяхъ, о будущемъ.

И когда мысль была ясна ей, мать, вздохнувъ, брала изъ прошлаго своего что-нибудь, всегда тяжелое и грубое, и этимъ камнемъ со своего сердца подкрѣпляла мысль.

Въ тепломъ потокѣ задушевной бесѣды, страхъ ея растаялъ, исчезъ; теперь она чувствовала себя такъ, какъ въ тотъ день, когда отецъ ея сурово сказалъ ей:

— Нечего рожу кривить! Нашелся дуракъ, беретъ тебя замужъ,—иди! Всѣ дѣвки замужъ выходятъ, всѣ бабы дѣтей родятъ, всѣмъ родителямъ дѣти—горе! Ты что—не человѣкъ?

Послѣ этихъ словъ она увидѣла передъ собой неизбежную тропу, которая безотвѣтно тянулась вокругъ пустого, темнаго мѣста. И неизбежность идти этой тропой наполнила ея грудь слѣпымъ покоемъ. Такъ и теперь. Но, чувствуя приходъ новаго горя, она внутри себя говорила кому-то:

— На-те, возьмите!

Это облегчало тихую боль ея сердца, которая, вздрагивая, пѣла въ груди ея, какъ тугая струна.

И въ глубинѣ ея души, взволнованной печалью ожиданія, не сильно, но не угасая, теплилась надежда, что всего у нея не возьмутъ, не вырвутъ... Что-то остается...

XIX.

Рано утромъ, едва только Павелъ и Андрей ушли, въ окно тревожно постучала Корсунова и торопливо крикнула:

— Исаю убили! Идемъ смотрѣть...

Мать вздрогнула,—въ умъ ея искрой мелькнуло имя убійцы.

— Кто?—коротко спросила она, накидывая на плечи шаль.

— Онъ не сидитъ тамъ, надъ Исаемъ-то... кокнулъ, да и ушелъ!..—отвѣтила Марья.

На улицѣ она сказала:

— Теперь опять начнутъ рыться, виноватаго искать. Хорошо, что твои ночью дома были—я этому свидѣтельница... Послѣ полночи мимо шла, въ окно къ вамъ заглянула, всѣ вы за столомъ сидѣли...

— Что ты, Марья? Развѣ на нихъ можно подумать?—испуганно воскликнула мать.

— А кто его убилъ? Ужъ навѣрно ваши!—убѣжденно сказала Корсунова.—Извѣстно всѣмъ, что выслѣживалъ онъ ихъ...

Мать остановилась, задыхаясь, приложила руку къ груди.

— Да ты что? Ты не бойся!.. По дѣломъ вору и мука... Идемъ скорѣе, а то увезутъ его!..

Мать шагала, не спрашивая себя, зачѣмъ она идетъ, и ее пошатывала, толкая, темная, тяжелая мысль о Вѣсовщиковѣ.

— Вотъ... дошелъ!—тупо думала она.

Недалеко отъ стѣнъ фабрики, на мѣстѣ недавно сгорѣвшаго дома, растапывая ногами угли и вздымая пепелъ, стояла толпа народа и гудѣла, точно рой шмелей. Было много женщинъ, еще больше дѣтей, лавочники, половые изъ трактира, полицейскіе и жандармы

Петлинь, высокій старикъ съ пушистой серебряной бородой и съ медалями на груди.

Исай полулежалъ на землѣ, прислонясь спиной къ обгорѣлымъ бревнамъ и свѣсивъ обнаженную голову на правое плечо. Правая рука была засунута въ карманъ брюкъ, а пальцами лѣвой онъ вцѣпился въ рыхлую землю.

Мать взглянула въ лицо ему: одинъ глазъ Исай тускло смотрѣлъ въ шапку, лежавшую между устало раскинутыхъ ногъ, ротъ былъ изумленно полуоткрытъ, его рыжая бородка торчала вбокъ. Худое тѣло съ острой головой и костлявымъ лицомъ въ веснушкахъ стало еще меньше, сжатое смертью. Мать перекрестилась, вздохнувъ. Живой, онъ былъ противенъ ей, а теперь будилъ тихую жалость.

— Крови нѣтъ! — замѣтилъ кто-то вполголоса. — Видно, кулакомъ стукнули...

Толстая женщина, дернувъ жандарма за рукавъ, спросила:

— Можетъ, живой еще, а?

— Пошла прочь! — негромко крикнулъ жандармъ, отдергивая руку.

— Докторъ былъ... сказалъ — готово! — отвѣтилъ кто-то.

Сухой и злой голосъ громко произнесъ:

— Заткнули ротъ ябеднику... Такъ и надо!

Жандармъ встрепенулся и, раздвигая руками плотно окружающихъ его женщинъ, угрожающе спросилъ:

— Это кто разсуждаетъ, а?

Люди разсыпались подъ его толчками. Нѣкоторые быстро побѣжали прочь. Кто-то засмѣялся злораднымъ смѣхомъ.

Мать пошла домой.

— Никто не жалѣеть! — думала она.

А передъ нею стояла, точно тѣнь, широкая фигура

Николая; его узкіе глаза смотрѣли холодно, жестко, и правая рука качалась, точно онъ ушибъ ее...

Когда сынъ и Андрей пришли обѣдать, она прежде всего спросила ихъ:

— Ну, что? Никого не арестовали... за Исаю?

— Не слышно! — отозвался хохоль.

Она видѣла, что они оба подавлены, оба угрюмы.

— () Николаѣвиче не говорятъ? — тихо освѣдомилась мать.

Строгіе глаза сына остановились на ея лицѣ, и онъ внятно сказалъ:

— Не говорятъ. И едва ли думаютъ. Его нѣтъ. Онъ вчера въ полдень уѣхалъ и еще не вернулся. Я спрашивалъ о немъ...

— Ну, слава Богу! — облегченно вздохнувъ, сказала мать. — Слава Богу!

Хохоль взглянулъ на нее и опустилъ голову.

— Лежитъ онъ, — задумчиво рассказывала мать, — и точно удивляется... такое у него лицо. И никто его не жалѣетъ, никто добрымъ словомъ не прикрылъ его. Маленькій такой, невидный... точно обломокъ... отломился отъ чего-то, упалъ и лежитъ...

За обѣдомъ Павелъ вдругъ бросилъ ложку и воскликнулъ:

— Этого я не понимаю!

— Чего? — спросилъ хохоль, печальный и молчаливый.

— Убить животное только потому, что надо ѣсть... и это уже скверно... Убить звѣря, хищника... это понятно! Я думаю — я самъ могъ бы убить человѣка, который сталъ звѣремъ для людей. Но убить такого противнаго, жалкаго — не понимаю... какъ могла размахнуться рука?..

Хохоль поднималъ плечи и опустилъ ихъ. Потомъ сказалъ:

— Онъ былъ вреденъ не меньше звѣря...

— Я знаю.

— Комаръ выпьетъ немножко нашей крови—мы его бьемъ!—тихо добавилъ хохолъ.

— Ну, да... Я не про то... Я говорю—противно!

— Что подѣлаешь?—отозвался Андрей, снова пожимая плечами.

— Ты могъ бы убить такого?—задумчиво спросилъ Павелъ послѣ долгаго молчанья.

Хохолъ посмотрѣлъ на него своими круглыми глазами, мелькомъ взглянулъ на мать и съ грустью, но твердо отвѣтилъ:

— За себя—никого не трону! За товарищей, за дѣло—я все могу! И убью. Хоть сына...

— Ой, Андрюша!—тихо воскликнула мать.

Онъ улыбнулся ей и сказалъ:

— Нельзя иначе! Такая жизнь!..

— Да-а!.. — медленно протянулъ Павелъ. — Такая жизнь...

Внезапно возбужденный, какъ бы толчкомъ изнутри, Андрей всталъ, взмахнулъ руками и заговорилъ:

— Что вы сдѣлаете? Нужно уничтожить того, кто мѣшаетъ ходу жизни, кто продаетъ людей за деньги, чтобы купить на нихъ покой или почетъ себѣ. Если на пути честныхъ стоитъ Іуда, ждетъ ихъ предать, я буду самъ Іуда, когда не уничтожу его!.. Грѣшно? Я не имѣю права? А они, эти хозяева наши, они имѣютъ право держать солдатъ и палачей, публичные дома и тюрьмы, каторгу и все это, поганое, что охраняетъ ихъ покой, ихъ уютъ?.. Порой мнѣ приходится брать въ руки ихъ палку... Что-жъ дѣлать? Я возьму, не откажусь. Они насъ убиваютъ десятками и сотнями... это даетъ мнѣ право поднять руку и опустить ее на одну изъ вражьихъ головъ... на врага, который ближе другихъ подошелъ ко мнѣ и вреднѣе другихъ для дѣла моей жизни. Такая логика! Противъ

нея я и иду, ее я и не хочу. Я знаю: ихъ кровью ничего не создается, она не плодотворна, ихъ кровь!.. Хорошо растетъ правда, когда наша кровь кропитъ землю частымъ дождемъ, а ихъ, гнилая, пропадаетъ безъ слѣда, я это знаю! Но я приму грѣхъ на себя, убью, если увижу—надо! Я вѣдь только за себя говорю... Мой грѣхъ со мной умретъ, онъ не ляжетъ пятномъ на будущее, никого не замазаетъ онъ, кромѣ меня... никого!

Онъ ходилъ по комнатѣ, взмахивая рукой передъ своимъ лицомъ, и какъ бы рубилъ что-то въ воздухѣ, отсѣкалъ отъ самого себя. Мать смотрѣла на него съ грустью и тревогой; она чувствовала, что въ немъ надломилось что-то и больно ему. Темныя, опасныя мысли объ убійствѣ оставили ее. Если убилъ не Въсовщиковъ, никто изъ товарищей Павла не могъ сдѣлать этого,—думала она. Павелъ, опустивъ голову, слушалъ хохла, а тотъ настойчиво и сильно говорилъ:

— По дорогѣ впередъ и противъ самого себя идти приходится. Надо умѣть все отдать, все сердце... Жизнь отдать, умереть за дѣло—это просто! Отдай—больше, и то, что тебѣ дороже твоей жизни,—отдай... Тогда сильно взростетъ и самое дорогое твое, правда твоя!..

Онъ остановился среди комнаты и, поблѣднѣвшій, полузакрывъ глаза, торжественно обѣщая, проговорилъ, поднявъ руку:

— Я знаю, будетъ время, когда люди станутъ любить другъ друга, когда каждый будетъ—какъ звѣзда предъ другимъ, и будетъ каждый слушать другого, какъ музыку! Будутъ ходить по землѣ люди вольные, люди великіе свободой своей; всѣ пойдутъ съ открытыми сердцами, и сердце cadaго чисто будетъ отъ зависти и жадности, и поэтому беззлобны будутъ всѣ... Тогда не жизнь будетъ, а служеніе человѣку: образъ его вознесется высоко,—для свободныхъ всѣ высоты достигаемы! Тогда будутъ жить въ правдѣ и свободѣ

для красоты, и лучшими будутъ считаться тѣ, которые шире обнимутъ сердцемъ міръ, которые глубже полюбятъ его... лучшими будутъ свободнѣйшіе: въ нихъ наибольше красоты! Тогда будетъ жизнь великая, и велики будутъ люди этой жизни...

Онъ замолчалъ, выпрямился, качнулся, какъ языкъ въ колоколѣ, и сказалъ гулко, всею грудью:

— Такъ ради этой жизни—я на все пойду... Вырву сердце, если надо, и самъ растопчу ногами сердце овое!

Его лицо вздрогнуло и застыло, возбужденное, свѣтлое, а изъ глазъ текли слезы одна за другой, крупныя и тяжелыя.

Павелъ поднялъ голову и смотрѣлъ на него, блѣдный, широко раскрывъ глаза; мать привстала со стула, чувствуя, какъ растеть, надвигается на нее темная тревога.

— Что съ тобой, Андрей?—тихо спросилъ Павелъ.

Хохоль тряхнулъ головой, вытянулся, какъ струна, и сказалъ, глядя на мать:

— Я видѣлъ... Знаю...

Она встала и быстро подошла къ нему, вся вздрагивая, схватила руки его; онъ пробовалъ выдернуть правую, но она цѣпко держалась за нее и шептала горячимъ шопотомъ:

— Голубчикъ мой, тише! Родной мой... ничего это... ничего... Это ничего, Паша!

— Подождите!—глухо бормоталъ хохоль.—Я скажу вамъ, какъ оно было...

— Не надо! — шептала она со слезами, глядя на него.—Не надо, Андрюша...

Павелъ медленно подошелъ, глядя на товарища влажными глазами. Былъ онъ блѣденъ и, усмѣхаясь, сказалъ негромко, медленно:

— Мать боится, что это ты...

— Я не боюсь... Не вѣрю! Видѣла-бы—не повѣрила!

— Подождите!—говорилъ хохоль, не глядя на нихъ, мотая головой и все освобождая руку.—Это не я... но я могъ не позволить...

— Оставь, Андрей!—сказалъ Павелъ.

Одной рукой сжимая его руку, онъ положилъ другую на плечо хохла, какъ-бы желая остановить дрожь въ его тѣлѣ. Хохоль наклонилъ къ нимъ голову и тихо, прерывисто заговорилъ:

— Я не хотѣлъ этого... ты вѣдь знаешь, Павелъ. Случилось такъ: когда ты ушелъ впередъ, а я остановился на углу съ Драгуновымъ, Исай вышелъ изъ-за угла... сталъ въ сторонѣ... смотреть на насъ, усмѣхается... Драгуновъ сказалъ: видишь? Это онъ за мной слѣдить, всю ночь... Я изобью его.—И ушелъ... Я думалъ—домой... А Исай подошелъ ко мнѣ...

Хохоль вздохнулъ.

— Никто меня не обижалъ такъ скверно, какъ онъ, собака.

Мать молча тянула его за руку къ столу и, наконецъ, ей удалось посадить Андрея на стулъ. А сама она сѣла рядомъ съ нимъ, плечо къ плечу. Павелъ-же стоялъ передъ нимъ, угрюмо пощипывая бороду.

— Онъ говорилъ мнѣ, что всѣхъ насъ знаютъ, всѣ мы у жандармовъ на счету и что выловятъ всѣхъ передъ маемъ. Я не отвѣчалъ, смѣялся, а сердце закипало. Онъ сталъ говорить, что я умный парень, и не надо мнѣ идти такимъ путемъ, а лучше...

Онъ остановился, отеръ лицо лѣвой рукой, глаза его сухо сверкнули.

— Я понимаю!—сказалъ Павелъ.

— Да. Лучше, говорить, поступить на службу закона, а?

Хохоль взмахнулъ рукой и потрясъ сжатымъ кулакомъ.

— Закона... проклятая его душа!—сквозь зубы сказалъ онъ. — Лучше-бы онъ по щеку меня ударилъ...

легче было-бы мнѣ... и ему, можетъ быть. Но такъ, когда онъ плюнулъ въ сердце мнѣ вонючей слюной своей, я не стерпѣлъ.

Андрей судорожно выдергивалъ свою руку изъ руки Павла и глуше, съ отвращеніемъ говорилъ:

— Я ударилъ его по щекѣ и пошелъ... Слышу, — сзади Драгуновъ тихо такъ говорить: попался?—Онъ стоялъ за угломъ, должно быть...

Помолчавъ, хохолъ сказалъ:

— Я не обернулся... хотя чувствовалъ... понималъ возможность... слышалъ ударъ... такой тяжелый... сильный... Упалъ Исай... Иду себѣ... спокойно, какъ будто жабу пнулъ ногой... Всталъ на работу, кричатъ: „Исая убили!“ Не вѣрилось... Но рука заняла... и неловко мнѣ владѣть ею... не больно, но какъ будто короче стала она...

Онъ искоса взглянулъ на руку и сказалъ:

— Всю жизнь, навѣрно, не смою я теперь поганого пятна этого...

— Было-бы сердце твое чисто... голубчикъ мой! — тихо заплакавъ, сказала мать.

— Я не виню себя... нѣтъ! — твердо сказалъ хохолъ. — Но противно-же мнѣ это! Противно!... Такая грязь внутри... въ груди нехорошо! Лишнее это для меня.

— Что ты думаешь дѣлать?—подозрительно взглянувъ на него, спросилъ Павелъ.

— Что? — хохолъ задумался, опустивъ голову, и, поднявъ ее, съ усмѣшкой молвилъ:

— Сказать, что я его ударилъ... я не боюсь, конечно. Но—стыдно мнѣ сказать это...

Онъ развелъ руками, всталъ и повторилъ:

— Не могу. Стыдно..

— Я плохо понимаю тебя! — сказалъ Павелъ, пожавъ плечами.—Убилъ не ты, но если-бъ даже...

— Братъ, это былъ, все-таки, человѣкъ... убивать—

противно... знать, что убиваютъ, и не помѣшать... это, можетъ быть, гадкая трусость...

Павель твердо сказалъ:

— Я этого совсѣмъ не понимаю...

И, подумавъ, прибавилъ:

— То-есть, понять могу, но почувствовать—нѣтъ.

Запѣлъ гудокъ. Хохоль склонилъ голову на-бокъ, прослушалъ этотъ властный ревъ и, встряхнувшись, сказалъ:

— Не пойду работать...

— Я тоже...—отозвался Павель.

— Пойду въ баню!—усмѣхаясь, проговорилъ хохоль и, быстро, молча собравшись, ушелъ, угрюмый.

Мать, проводивъ его сострадательнымъ взглядомъ, сказала сыну:

— Какъ хочешь, Паша... Знаю, — грѣшно убить человѣка... а не считаю никого виноватымъ... Жалко Исая, такой онъ гвоздикъ маленькій... поглядѣла я на него, вспомнила, какъ онъ грозился повѣсить тебя... и ни злобы къ нему, ни радости, что померъ онъ... а такъ просто жалко стало... А теперь даже и не жалко...

Она замолчала, подумала и, удивленно улыбаясь, замятилась:

— Господи Иисусе... слышишь, Паша, что говорю я?..

Павель, должно быть, не слышалъ. Медленно расхаживая по комнатѣ, опустивъ голову, онъ вдумчиво и хмуро сказалъ:

— Вотъ она жизнь, мама! Видишь, какъ поставлены люди другъ противъ друга? Не хочешь, а—бей! И кого? Такого-же безправнаго человѣка... Онъ еще несчастнѣе тебя, потому что—глупъ... Полиція, жандармы, шпионы—все это наши враги... а всѣ они такіе же люди, какъ мы, такъ же сосутъ изъ нихъ кровь и такъ же не считаютъ ихъ за людей. Все—такъ-же! А вотъ поставили однихъ противъ другихъ, ослѣпили глупостью и стра-

хомъ, всѣхъ связали по рукамъ и по ногамъ, стиснули и сосутъ ихъ, давятъ и бьютъ однихъ другими. Обращали людей въ ружья, въ палки, въ камни и говорятъ: это культура! Это—государство!...

Онъ подошелъ ближе къ матери.

— Это — преступленіе, мать! Гнуснѣйшее убійство миллионовъ людей... убійство душъ... Понимаешь, — душу убиваютъ! Видишь разницу между нами и ими: ударилъ человѣкъ, и ему противно, стыдно, больно... Противно, вотъ главное! А тѣ — убиваютъ тысячами спокойно, безъ жалости, безъ содроганія сердца, съ удовольствіемъ убиваютъ, да, съ радостью! И только для того давятъ на-смерть всѣхъ и все, чтобы сохранить дерево домовъ и мебели своей, серебро, золото, ничтожныя бумажки, всю эту жалкую дрянъ, которая даетъ имъ власть надъ людьми. Подумай: не себя оберегаютъ люди, защищаясь убійствомъ народа, искажая души людей, не ради себя дѣлаютъ это, а ради имущества своего... Не изнутри берегутъ себя, а извнѣ...

Онъ взялъ руки ея, наклонился и, встряхивая ихъ, сказалъ:

— Если-бы ты почувствовала всю эту мерзость и позорную гниль, ты поняла-бы нашу правду... увидала-бы, какъ она велика и свѣтла!..

Мать поднялась взволнованная, полная желанія слить свое сердце съ сердцемъ сына въ одинъ огонь.

— Подожди, Паша... подожди! — задыхаясь, пробормотала она. — Я — человѣкъ! Я — чувствую... ты — подожди!..

Въ снѣгахъ кто-то громко завозился. Они оба, вздрогнувъ, взглянули другъ на друга.

Дверь отворилась медленно, и въ нее грузно вошелъ Рыбинъ.

— Вотъ! — поднявъ голову и улыбаясь, сказала онъ. — Нашего Оому тянетъ ко всему — ко хлѣбу и къ вину, кланяйтесь ему!..

Онъ былъ одѣтъ въ полушубокъ, весь залитый дегтемъ, въ лапти: за поясомъ у него торчали черныя рукавицы, мохнатая шапка на головѣ.

— Здоровы-ли? Выпустили тебя, Павелъ? Такъ. Каково живешь, Ниловна?—Онъ широко улыбался, показывая свои бѣлые зубы, голосъ его звучалъ мягче, чѣмъ раньше, и лицо еще гуще заросло бородой.

Мать обрадовалась, подошла къ нему, жала его большую, черную руку и, вдыхая здоровый, крѣпкій запахъ дегтя, говорила:

— Ахъ, ты... ну, я рада... ну, что?

Павелъ улыбался, разглядывая Рыбна.

— Хорошъ мужичокъ!..

Медленно раздваясь, Рыбинъ говорилъ:

— Да, опять мужикомъ сдѣлался... Вы въ господа помаленьку выходите, а я—назадъ обращаюсь... вотъ!

Одергивая пестрядиную рубаху, онъ прошелъ въ комнату, окинулъ ее внимательнымъ взглядомъ и заявилъ:

— Имущества не прибавилось у васъ, видать, а книжекъ больше стало... такъ. Это самое дорогое имущество теперь, книжки-то... вѣрно! Ну, рассказывайте, какъ дѣла?

Сѣлъ, широко разставивъ ноги, уперся въ колѣна ладонями и, вопросительно ощупывая Павла темными глазами, довольный, весь какой-то посвѣжѣвшій, добродушно улыбаясь, ждалъ отвѣта.

— Дѣла идутъ бойко!—сказалъ Павелъ.

— Пашемъ да сѣмъ, хвастать не умѣмъ, а урожай соберемъ,—сваримъ бражку, всѣ ляжемъ въ лежку. Такъ? Ну, и хорошо. И очень хорошо, скажу еще разокъ!—говорилъ Рыбинъ.

— Чайку попьешь?—спросила мать.

— И чайку выпью, и водочки хлебну... поѣсть дадите, тоже не откажусь. Радъ я увидаться съ вами... вотъ.

— Какъ вы живете, Михайло Ивановичъ?—спросилъ Павелъ, садясь противъ него.

— Ничего. Ладно живу. Въ Едильгѣвѣ приостановился, слышали — Едильгѣво? Хорошее село. Двѣ ярмарки въ году, жителей больше двухъ тысячъ — злой народъ! Земли нѣтъ, въ удѣлѣ арендуютъ, плохая землишка. Порядился я въ батраки къ одному міроѣду — тамъ ихъ у насъ, какъ мухъ на мертвомъ тѣлѣ. Деготь гонимъ, уголь жгемъ. Получаю за работу вчетверо меньше, а спину ломаю вдвое больше, чѣмъ здѣсь... вотъ. Семеро насъ у него, у міроѣда... Ничего, народъ все молодой, всѣ тамошніе, кромѣ меня... грамотные все... одинъ парень, Ефимъ, такой ярый, бѣда!

— Вы, что же, бесѣдуете съ ними?—спросилъ Павелъ оживленно.

— Не молчу. У меня съ собой захвачены всѣ здѣшніе листочки — тридцать четыре ихъ. Но я больше Библией дѣйствую: тамъ есть, что взять, книга толстая, казенная, синодъ печаталъ, ей вѣрить можно.

Онъ подмигнулъ Павлу и, усмѣхаясь, продолжалъ:

— Только этого мало. Я къ тебѣ за книжками явился. Мы тутъ вдвоемъ, Ефимъ этотъ со мной... деготь возили, ну, дали крюку, заѣхали вотъ къ тебѣ... Ты меня снабди книжками, покуда Ефимъ не пришелъ... ему лишнее много знать...

Мать смотрѣла на Рыбина, и ей казалось, что вмѣстѣ съ пиджакомъ онъ снялъ съ себя еще что-то: сталъ менѣе солиденъ, и глаза у него смотрѣли хитрѣе, не такъ открыто, какъ раньше.

— Мама, — сказалъ Павелъ, — вы сходите, принесите книгъ. Тамъ знаютъ, что дать... скажите — для деревни.

— Хорошо! — сказала мать. — Вотъ самоваръ поспѣетъ, я и схожу.

— И ты по этимъ дѣламъ пошла, Ниловна? — усмѣхаясь, спросилъ Рыбинъ. — Такъ. Охотниковъ до книжекъ у насъ много тамъ. Учитель пріохочиваетъ... Го-

ворятъ, парень хорошій, хотя изъ духовнаго званія. Учителька тоже есть, верстахъ въ семи... Ну, они за-прешеной книгой не дѣйствуютъ: народъ казенный, боятся. А мнѣ требуется запрещеная, острая книга... я подъ ихъ руку буду подкладывать... Коли становой или попъ увидятъ, что книга-то запрещеная, подумаютъ--это учителя сѣють! А я въ сторонкѣ, до времени, останусь.

И, довольный своей жесткой мудростью, онъ весело оскалилъ зубы.

— Ишь ты!—подумала мать.—Смотришь медвѣдемъ, а живешь лисой...

— Павелъ всталъ и, шагая по комнатѣ ровными шагами, укоризненно заговорилъ:

— Книгъ мы вамъ дадимъ... но нехорошо вы собираетесь дѣйствовать, Михаилъ Ивановичъ...

— Чѣмъ нехорошо?—спросилъ Рыбинъ, широко отъкрывъ глаза.

— За то, что вы дѣлаете, вы сами должны отвѣчать... А ставить дѣло такъ, чтобы за васъ отвѣчали другіе—нехорошо!—Голосъ Павла звучалъ сурово, съ упрекомъ.

Рыбинъ посмотрѣлъ въ полъ, тряхнулъ головой и сказалъ:

— Непонятно говоришь.

— Какъ вы думаете,—спросилъ Павелъ, остановясь передъ нимъ,—если заподозрять учителей въ томъ, что они нелегальныя книги раздаютъ, посадятъ въ острогъ за это?

— Посадятъ... а что?—спросилъ Рыбинъ.

— Да вѣдь вы давали книжки, а не они! Вамъ и въ острогъ идти...

— Чудакъ!—усмѣхнулся Рыбинъ, хлопая рукой по колѣну.—Кто на меня подумаетъ? Простой мужикъ, а этакимъ дѣломъ занимается, развѣ это бываетъ? Книга дѣло господское, имъ за нее и отвѣчать...

Мать чувствовала, что Павелъ не понимаетъ Рыбина, и видѣла, что онъ прищурилъ глаза, значить, сердится. Она осторожно и мягко сказала:

— Михаилъ Ивановичъ такъ хочетъ, чтобы онъ дѣло дѣлалъ, а на расправу за него другіе шли...

— Вотъ!—сказалъ Рыбинъ, глядя бороду.

— Мама!—сухо окликнулъ Павелъ.—Если кто-нибудь изъ нашихъ, Андрей, примѣрно, сдѣлаетъ что-нибудь подъ мою руку, а меня въ тюрьму посадятъ,—ты что скажешь?

Мать вздрогнула, недоумѣнно взглянула на сына и сказала, отрицательно качая головой:

— Развѣ можно противъ товарища такъ поступить?

— Ага-а!—протянулъ Рыбинъ.—Понялъ я тебя, Павелъ!

Насмѣшливо подмигнувъ, онъ обратился къ матери:

— Тутъ, мать, дѣло тонкое.

И снова, поучительно, къ Павлу:

— Зелено ты думаешь, братъ. Въ тайномъ дѣлѣ чести нѣтъ. Разсуди: первое, въ тюрьму посадятъ прежде того парня, у котораго книгу найдутъ, а не учителей, разъ. Второе, хотя учителя даютъ и разрѣшенную книгу, но суть въ ней та же, что и въ запрещенной, только слова другія, правды меньше, два. Значить, они того же хотятъ, что и я, только идутъ проселкомъ, а я большой дорогой... но передъ начальствомъ мы одинаково виноваты, вѣрно? А третье, мнѣ, братъ, до нихъ дѣла нѣтъ,—пѣшій конному не товарищъ. Противъ мужика я такъ, можетъ, и не захочу сдѣлать. А они — одинъ попovichъ, другая помѣщикова дочь, и зачѣмъ имъ надо народъ поднять, я не знаю. Ихъ господскія мысли мнѣ, мужику, невѣдомы. Что самъ я дѣлаю, я знаю, а чего они хотятъ — это мнѣ неизвѣстно. Тысячу лѣтъ люди аккуратно господами были и съ мужика шкуру драли, а вдругъ проснулись и давай мужику глаза протирать... Я, братъ, до сказокъ не охот-

викъ, а это вродѣ сказки. Отъ меня всякіе господа далеко... ѣдешь зимой полемъ, впереди что-то живое мельтепшить, а что оно? волкъ, лиса или просто собака,—я не вижу! Далеко.

Мать взглянула на сына. Лицо у него было грустное.

А глаза Рыбина блестя темнымъ блескомъ; онъ смотрѣлъ на Павла самодовольно и, возбужденно расчесывая пальцами бороду, говорилъ:

— Любезничать мнѣ время нѣтъ. Жизнь смотреть строго, на псарнѣ—не въ овчарнѣ, всякая стая по-своему лаесть...

— Есть господа,—заговорила мать, вспомнивъ знакомыя лица,—которые убиваютъ себя за народъ, всю жизнь въ тюрьмахъ мучаются...

— Имъ и счетъ особый, и почетъ другой!—сказалъ Рыбинъ.—Мужикъ богатѣетъ, въ баре претъ; баринъ бѣднѣетъ—къ мужику идетъ. Поневолѣ душа чиста, коли мощна пуста... Помнишь, Павелъ, ты мнѣ объяснялъ, что кто какъ живетъ, такъ и думаетъ, и ежели рабочій говорить—да, хозяинъ долженъ сказать—нѣтъ, а ежели рабочій говорить—нѣтъ, такъ хозяинъ, по природѣ своей, обязательно кричить—да! Такъ вотъ и у мужика съ бариномъ разныя природы. Коли мужикъ сытъ, баринъ ночь не спитъ. Конечно, во всякомъ званиіи есть свой сукинъ сынъ, и всѣхъ мужиковъ я защищать не согласенъ...

Онъ поднялся на ноги, темный и сильный. Лицо его потускнѣло, борода вздрогнула, точно онъ неслышно шелкнулъ зубами, и продолжалъ пониженнымъ голосомъ:

— Прошлялся я по фабрикамъ пять лѣтъ, отвыкъ отъ деревни, вотъ. Пришелъ туда, поглядѣлъ, вижу, не могу я такъ жить! Понимаешь? Не могу! Вы тутъ живете—вы голода не знаете... обидѣ такихъ не видите... А тамъ—голодъ всю жизнь за человѣкомъ тѣнью ползетъ, и нѣтъ надежды на хлѣбъ, нѣту! Го-

лодь души сожралъ, лики человѣческіе стеръ, и не живутъ люди, а гніють въ неизбывной нуждѣ... И кругомъ, какъ воронье, начальство сторожить, нѣтъ-ли лишняго куска у тебя?.. Увидить, вывереть, въ харю тебѣ дастъ...

Рыбинъ оглянулся, наклонился къ Павлу, опираясь рукой на столъ.

— Мнѣ даже томно стало... и тошно, какъ взглянулъ я снова на эту жизнь... Вижу, не могу! Однако, преоборолъ себя,—нѣтъ, думаю, шалишь, душа! Я здѣсь останусь... Я вамъ хлѣба не достану, а кашу заварю... я, братъ, заварю ее! Несу въ себѣ обиду за людей и на людей... Она у меня ножомъ въ сердцѣ стоитъ и качается.

У него вспотѣлъ лобъ; онъ, медленно надвигаясь на Павла, положилъ ему руку на плечо. Рука вздрагивала.

— Давай помощь мнѣ! Давай книгъ, да такихъ, чтобы, прочитавъ, человѣкъ покою себѣ не находилъ. Ежа подъ черепъ посадить надо, ежа колючаго. Скажи своимъ городскимъ, которые для васъ пишутъ: для деревни тоже писали бы! Пусть валяютъ такъ, чтобы деревню варомъ обдало... чтобы народъ на смерть полѣзъ!

Онъ поднялъ руку и, раздѣльно произнося каждое слово, глухо сказалъ:

— Смертію смерть поправъ—вотъ! Значить—умри, чтобы люди воскресли. И пусть умрутъ тысячи, чтобы воскресли тмы народа по всей землѣ! Вотъ. Умереть легко. Воскресли бы! Поднялись бы люди!

Мать внесла самоваръ, искоса глядя на Рыбина. Его слова, тяжелыя и сильныя, подавляли ее. И было въ немъ что-то напоминавшее ей мужа ея: и тотъ такъ же оскаливалъ зубы, двигалъ руками, засучивая рукава, и въ томъ жила такая же нетерпѣливая злоба, нетерпѣливая, но нѣмая. Этотъ говорилъ. И былъ менѣе страшенъ.

— Это надо!—сказалъ Павель, тряхнувъ головой.—

Нужно и для деревни газету... Давайте намъ матеріаль, мы будемъ вамъ печатать газету...

Мать поглядѣла на сына, покачала головой и, молча одѣвшись, ушла изъ дома.

— Дѣлай! Все доставимъ. Пишите проще, чтобы даже телята понимали!—выкрикивалъ Рыбинъ.

Въ кухнѣ отворилась дверь: кто-то вошелъ.

— Это Ефимъ, — сказалъ Рыбинъ, заглядывая въ кухню. — Иди сюда, Ефимъ. Вотъ—Ефимъ... а этого чело-
вѣка зовутъ—Павелъ.... я тебѣ говорилъ про него.

Передъ Павломъ всталъ, держа въ рукахъ шапку и глядя на него исподлобья сѣрыми глазами, русоволо-
сый, широколицый парень въ короткомъ полушубкѣ, стройный и, должно быть, сильный.

— Добраго здоровья!—сиповато сказалъ онъ и, по-
жавъ руку Павла, пригладилъ обѣими руками прямые
волосы. Оглянувшись въ комнату, тотчасъ же медленно,
точно подкрадываясь, пошелъ къ полкѣ съ книгами.

— Увидаль!—сказалъ Рыбинъ, подмигнувъ Павлу.
Ефимъ повернулся, взглянулъ на него и сталъ раз-
сматривать книги, говоря:

— Сколько чтенія-то у васъ! А читать, вѣрно, не-
когда. Въ деревнѣ больше время для этого дѣла...

— А охоты меньше?—спросилъ Павелъ.

— Зачѣмъ? И охота есть!—отвѣтилъ парень, поти-
рая подбородокъ. — Теперь такое время пришло, что
надо думать, а не хочешь—ложись да помирай. Поми-
рать народу не хочется, вотъ онъ и началъ пошеве-
ливать мозгой. „Геологія“... это про что?

Павелъ объяснилъ.

— Намъ не требуется!—сказалъ парень, ставя книгу
на полку.

Рыбинъ шумно вздохнулъ и замѣтилъ:

— Мужику не то интересно, откуда земля явилась,
а какъ она по рукамъ разошлась, какъ землю изъ-подъ
ногъ у народа господа выдернули! Стоитъ она или

вертится, это не важно: ты ее хоть на веревкѣ повѣсь,—давала бы ѣсть; хоть гвоздемъ къ небу прибей,—кормила бы людей!..

— „Исторія рабства,“ — снова прочиталъ Ефимъ и спросилъ Павла:

— Про насъ?

— Есть и о крѣпостномъ правѣ!—сказалъ Павелъ, давая ему другую книгу. Ефимъ взялъ ее, повертѣлъ въ рукахъ и, отложивъ въ сторону, спокойно сказалъ:

— Это—прошло!

— Вы сами—имѣете надѣль?—освѣдомился Павелъ.

— Мы? Имѣемъ! Трое насъ братьевъ, а надѣла—четыре десятины... все песочекъ; мѣдь имъ чистить хорошо, а для хлѣба—неспособная земля!..

Помолчавъ, онъ продолжалъ:

— Я отъ земли освободился,—что она? Кормить не кормить, а руки вяжетъ. Четвертый годъ въ батраки хожу. А осенью мнѣ въ солдаты идти. Дядя Михайло говоритъ: „не ходи! Теперь,—говоритъ,—солдатъ посылають народъ бить“. А я думаю идти. Войско и при Степанѣ Тимофеевичѣ Разинѣ народъ било, и при Пугачевѣ. Пора это прекратить... Какъ по-вашему?—спросилъ онъ, пристально глядя на Павла.

— Пора! — съ улыбкой отвѣтилъ тотъ. — Только трудно! Надо знать, что говорить солдатамъ и какъ сказать...

— Поучимся—съумѣемъ!—сказалъ Ефимъ.

— А если начальство на этомъ поймаетъ, разстрѣлять можетъ!—закончилъ Павелъ, съ любопытствомъ глядя на Ефима.

— Оно не помилуетъ!—спокойно согласился парень и снова началъ разсматривать книги.

— Пей чай, Ефимъ, скоро ѣхать! — замѣтилъ Рыбинъ.

— Сейчасъ!—отозвался парень и снова спросилъ:

— Революція—бунтъ?

Пришелъ Андрей, красный, распаренный и угрюмый. Молча пожалъ руку Ефима, сѣлъ рядомъ съ Рыбинымъ и, оглянувъ его, усмѣхнулся.

— Что' не весело смотришь?—спросилъ Рыбинъ,—ударивъ его ладонью по колѣну.

— Да такъ...—отвѣтилъ хохоль.

— Тоже рабочій?—спросилъ Ефимъ, кивая головой на Андрея.

— Тоже!—отвѣтилъ Андрей.—А что?

— Онъ въ первый разъ фабричныхъ видитъ!—объяснилъ Рыбинъ.—Народъ, говоритъ, особенный...

— Чѣмъ?—спросилъ Павелъ.

Ефимъ внимательно осмотрѣлъ Андрея и сказалъ:

— Кость у васъ острая. Мужикъ круглѣе костью...

— Мужикъ спокойнѣе на ногахъ стоитъ!—добавилъ Рыбинъ.—Онъ подъ собой землю чувствуетъ, хоть и нѣтъ ея у него, но онъ чувствуетъ—земля! А фабричный—вродѣ птицы: родины нѣтъ, дома нѣтъ, сегодня—здѣсь, завтра тамъ! Его и баба къ мѣсту не привязываетъ: чуть что—прощай, милая, въ бокъ тебѣ вилами! И пошелъ искать, гдѣ лучше. А мужикъ вокругъ себя хочетъ сдѣлать лучше, не сходя съ мѣста... Ага, вонъ мать пришла!

И Рыбинъ вышелъ въ кухню. Ефимъ подошелъ къ Павлу и, конфузясь, спросилъ:

— Можетъ, дадите мнѣ книжку какую-нибудь?

— Пожалуйста!—охотно отозвался Павелъ.

Глаза парня жадно вспыхнули, и онъ быстро заговорилъ:

— Я ворочу! Наши тутъ по близости деготь возятъ, они и привезутъ. Вотъ, спасибо! Теперь книжка, какъ свѣча ночью...

Воротился Рыбинъ, уже одѣтый, туго подпоясанный, и сказалъ Ефиму:

— Ъдемъ, пора!

— Вотъ почитаю я!—воскликнулъ Ефимъ, указывая на книги и широко улыбаясь.

Когда они ушли, Павелъ оживленно воскликнулъ, обращаясь къ Андрею:

— Видѣль чертей?..

— Да-а!—медленно протянулъ хохоль.—Какъ тучи на закатѣ... густыя, темныя, двигаются медленно...

— Михайло-то!—воскликнула мать.—Будто и не жилъ на фабрикѣ, совсѣмъ опять мужикомъ сталъ!.. И какой страшный!

— Жаль, не было тебя!—сказалъ Павелъ Андрею, который хмуро смотрѣлъ въ свой стаканъ чая, сидя у стола.—Вотъ посмотрѣлъ бы ты на игру сердца, ты все о сердцѣ говоришь! Тутъ Рыбинъ такихъ паровъ нагналъ... опрокинулъ меня, задавилъ!.. Я ему и возражать не могъ... Сколько въ немъ недовѣрія къ людямъ... и какъ онъ ихъ дешево цѣнитъ!.. И, вѣрно говоритъ мать, страшную силу несетъ въ себѣ этотъ чловѣкъ!..

— Это я видѣлъ!—угрюмо сказалъ хохоль.—Отравили людей! Когда они поднимутся, они будутъ все опрокидывать, подрядъ! Имъ нужно голую землю... и они оголятъ ее, все сорвуть!

Онъ говорилъ медленно, и было видно, что думаетъ онъ о другомъ. Мать осторожно дотронулась до него.

— Ты бы встряхнулся, Андрюша!

— Подождите, ненько, родная моя!—тихо и ласково попросилъ хохоль.—Это вѣдь все же—скверно... хоть и не желалъ я этого! Подождите!

И вдругъ возбуждаясь, онъ заговорилъ, ударивъ рукой по столу:

— Да, Павелъ, мужикъ обнажить землю себѣ, если онъ встанетъ на ноги! Какъ послѣ чумы—онъ все пожетъ, чтобы всѣ слѣды обидѣ своихъ пепломъ развѣять...

— А потомъ встанеть намъ на дорогѣ!—тихо замѣтилъ Павелъ.

— Наше дѣло не допустить этого! Наше дѣло, Павелъ, сдержатъ его! Мы къ нему всѣхъ ближе... намъ онъ повѣритъ... за нами поидеть!

— Знаешь, Рыбинъ предлагаетъ намъ издавать газету для деревни!—сообщилъ Павелъ.

— И надо!.. Скорѣе!

Павелъ усмѣхнулся и сказалъ:

— Обидно мнѣ, что я не поспорилъ съ нимъ!

Хохолъ, потирая голову, спокойно замѣтилъ:

— Еще поспоримъ! Ты себѣ играй на своей сопѣлкѣ: у кого ноги веселыя, да въ землю не вросли, тѣ подъ твою музыку танцовать будутъ! Онъ, Рыбинъ, вѣрно сказалъ,—мы подъ собой земли не чувствуемъ, да и не должны, потому на насъ и положено раскаты ея... Покачнемъ разъ, люди оторвутся, покачнемъ два—и еще!..

Мать, усмѣхаясь, молвила:

— Для тебя, Андрюша, все просто!

— Ну, да!—сказалъ хохолъ.—Просто!

И угрюмо прибавилъ:

— Какъ жизнь!

Черезъ нѣсколько минутъ онъ сказалъ:

— Я пойду въ поле, похожу...

— Послѣ бани-то? Вѣтрено, продуеть тебя!—предупредила мать.

— Вотъ и надо, чтобы продуло!—отвѣтилъ онъ.

— Смотри, простудишься!—ласково сказалъ Павелъ.—Лучше лягъ, попробуй уснуть!

— Нѣтъ, я пойду!

И, одѣвшись, молча ушелъ...

— Тяжело ему!—замѣтила мать, вздохнувъ.

— Знаешь что,—сказалъ ей Павелъ,—хорошо ты сдѣлала, что послѣ этого стала съ нимъ на ты говорить!

Она удивленно взглянула на него и, подумавъ, отвѣтила:

— Да я и не замѣтила, какъ это вышло... это ужъ нечаянно! Онъ для меня такой близкій сталъ... я и не знаю, какъ сказать!

— Хорошее у тебя сердце, мама!—тихо проговорилъ Павелъ.

— Коли такъ, я рада! Только бы тебѣ... и всѣмъ вамъ... хоть какъ-нибудь помогла я! Съумѣла бы!..

— Не бойся ничего, съумѣешь!..

Она тихонько засмѣялась, говоря:

— А вотъ не бояться-то я и не умѣю! Но за доброе слово спасибо, сынокъ!

— Ладно, мама! Молчимъ!—сказалъ Павелъ.—Знай: я тебя люблю... и крѣпко, крѣпко благодарю!

Она ушла въ кухню, чтобы не смущать его своими слезами.

Хохолъ воротился поздно вечеромъ, усталый, и тотчасъ же легъ спать, сказавъ:

— Верстъ десять пробѣжалъ, я думаю...

— Помогло?—спросилъ Павелъ.

— Не знаю... Не мѣшай, спать буду!

И онъ замолчалъ, точно умеръ.

Спустя нѣсколько времени пришелъ Вѣсовщиковъ, оборванный, грязный и недовольный, какъ всегда.

— Не слыхалъ, кто Исайку убилъ?—спросилъ онъ Павла, неуклюже шагая по комнатѣ.

— Нѣтъ!—кратко отозвался Павелъ.

— Нашелся человѣкъ, не побрезговать! А я все собирался самъ его задавить. Мое это дѣло... самое подходящее мнѣ!

— Брось ты, Николай, такія рѣчи! — дружелюбно сказалъ ему Павелъ.

— Что это, въ самомъ дѣлѣ!—ласково подхватила мать.—Сердце мягкое, а самъ рычить... Зачѣмъ это?

Въ эту минуту ей было пріятно видѣть Николая, и

даже его рябое лицо показалось красивѣе. И было жалко его, какъ никогда...

— Да не гожусь я ни для чего, кромѣ какъ для такихъ дѣловъ!—глухо сказалъ Николай, пожимая плечами. — Думаю, думаю, гдѣ мое мѣсто? Нѣту мѣста мнѣ! Надо говорить съ людьми, а я—не умѣю!.. Вижу я все... всѣ обиды людскія чувствую... а сказать не могу! Нѣмая душа у меня...

Онъ подошелъ къ Павлу и, опустивъ голову, ковыряя пальцемъ столъ, сказалъ тоскливо и какъ-то подѣтски, не похоже на него, жалобно:

— Дайте вы мнѣ какую-нибудь тяжелую работу, братцы! Не могу я такъ, безъ толку жить... Вы всѣ въ дѣлѣ... и вижу я,—ростетъ оно... а я—въ сторонѣ! Вожу бревна, доски... Развѣ можно для этого жить? Дайте тяжелую работу!

Павель взялъ его за руку и потянулъ къ себѣ. — Дадимъ!..

Но изъ-за полога раздался голосъ хохла:

— Я тебя, Николай, выучу набирать буквы, и ты будешь наборщикомъ у насъ... ладно?

Николай пошелъ къ нему, говоря:

— Научишь. если, я тебѣ за это ножъ подарю...

— Убирайся къ чорту съ ножомъ! — крикнулъ хохлъ и вдругъ засмѣялся.

— Хорошій ножъ! — настаивалъ Николай. Павель тоже засмѣялся.

Тогда Вѣсовщиковъ остановился среди комнаты и спросилъ:

— Это вы надо мной?

— Ну, да!—отвѣтилъ хохолъ, спрыгнувъ съ постели.—Вотъ что: идемте въ поле, гулять. Ночь лунная, хорошая. Идемъ?

— Хорошо!—сказалъ Павель.

— И я пойду!—заявилъ Николай. — Я люблю, хохолъ, когда ты смѣешься...

— А я, когда ты подарки общаешь!—отвѣтилъ холъ, усмѣхаясь.

Когда онъ одѣвался въ кухнѣ, мать сказала ему ворчливо:

— Теплѣ одѣнься...

А когда они ушли всѣ трое, она, посмотрѣвъ на нихъ въ окно, взглянула на образа и тихо сказала:

— Господи, помоги имъ...

XX.

... Дни полетѣли одинъ за другимъ съ быстротой, не позволявшей матери думать о первомъ Мая; только по ночамъ, когда, усталая отъ шумной, волнующей суеты дня, она ложилась въ постель, сердце ея тихо ныло...

— Скорѣе-бы...

На разсвѣтѣ вылъ фабричный гудокъ; сынъ и Андрей наскоро пили чай, закусывали и уходили, оставляя матери десятокъ мелкихъ порученій. И цѣлый день она кружилась, какъ бѣлка въ колесѣ, варила обѣдъ, лиловый студень для прокламацій и клей для нихъ; приходили какіе-то люди, совали записки, для передачи Павлу, и исчезали, заражая ее своимъ возбужденіемъ.

Листки, призывавшіе рабочихъ праздновать первое Мая, каждую ночь наклеивали на заборахъ, они являлись даже на дверяхъ полицейскаго правленія, ихъ каждый день находили на фабрикѣ. По утрамъ полиція, ругаясь, ходила по слободѣ, срывая и соскабливая лиловыя бумажки съ заборовъ, а въ обѣдъ они снова летали на улицѣ, подкатываясь подъ ноги прохожихъ. Изъ города прислали сыщиковъ, и они, стоя на углахъ, щупали глазами рабочихъ, весело и оживленно проходившихъ съ фабрики на обѣдъ и обратно. Всѣмъ нравилось видѣть безсиліе полиціи, и даже пожилые рабочие, усмѣхаясь, говорили другъ другу:

— Что дѣлають, а?

И всюду собирались кучки людей, горячо обсуждая волнующій призывъ.

Жизнь вскипала; она въ эту весну для всѣхъ была интереснѣе, всѣмъ несла что-то новое: однимъ—еще причину раздражаться, злобно ругая крамольниковъ, другимъ—смутную тревогу и надежду, а третьимъ,—ихъ было меньшинство,—острую радость сознанія, что это они являются силой, которая будить всѣхъ.

Павелъ и Андрей почти не спали по ночамъ, являлись домой уже передъ гудкомъ, оба усталые, охрипшіе, блѣдные. Мать знала, что они устраиваютъ собранія въ лѣсу, на болотѣ, ей было извѣстно, что вокругъ слободы по ночамъ рыскають развѣзды конной полиціи, ползають сыщики, хватая и обыскивая отдѣльных рабочихъ, разгоняя группы и порою арестуя того или другого. Она понимала, что и сына съ Андреемъ могутъ арестовать каждую ночь. Порою ей казалось, что это было-бы лучше для нихъ.

Дѣло объ убійствѣ табельщика странно заглохло. Два дня мѣстная полиція спрашивала людей по этому поводу и, допросивъ человѣкъ десять, утратила интересъ къ убійству.

Марья Корсунова въ разговорѣ съ матерью, сказала ей, отражая въ своихъ словахъ мнѣніе полиціи, съ которою она жила дружно, какъ со всѣми людьми:

— Развѣ тутъ найдешь виноватаго? Въ то утро, можетъ, сто человѣкъ Исаю видѣли, и девяносто, коли не больше, могли ему плюху дать... За семь лѣтъ онъ всѣмъ насолилъ...

Хохоль замѣтно измѣнился. У него осунулось лицо и отяжелѣли вѣки, опустившіеся на выпуклые глаза, полузакрывая ихъ. Улыбался онъ рѣже, тонкая морщина легла на лицѣ его отъ ноздрей къ угламъ губъ. Онъ сталъ меньше говорить о вещахъ и дѣлахъ обычныхъ, но все чаще вспыхивалъ, впадалъ въ хмѣльной и опья-

нявшій всѣхъ восторгъ, говоря о будущемъ, о прекрасномъ, свѣтломъ праздникъ торжества свободы и разума.

Когда дѣло о смерти Исае заглохло, онъ сказалъ, брезгливо и печально усмѣхаясь:

— Не только народъ, но и тѣ люди, которыми они, какъ собаками, травятъ насъ—не дороги имъ... Не Іуду вѣрнаго своего жалѣютъ, а сребренники... только ихъ одни!..

И, угрюмо помолчавъ, прибавилъ:

— А мнѣ вотъ жалко становится того человѣка, чѣмъ больше я думаю о немъ. Не хотѣлъ я, чтобы убили его, не хотѣлъ!

— Будетъ, Андрей! — твердо сказалъ Павелъ. Мать тихо добавила:

— Толкнули гнилушку—разсыпалась!..

— Справедливо, ну — не утѣшаетъ! — угрюмо отозвался хохоль.

Онъ часто говорилъ эти слова, и въ его устахъ они принимали какой-то особый, всеобнимающій смыслъ, горькій и ѣдкій...

...И вотъ онъ пришелъ, этотъ день -- первое Мая.

Гудокъ заревѣлъ, какъ всегда, требовательно и властно. Мать, не уснувшая ночью ни на минуту, вскочила съ постели, сунула огня въ самоваръ, приготовленный съ вечера, хотѣла, какъ всегда, постучать въ дверь къ сыну и Андрею, но, подумавъ, махнула рукой и сѣла подъ окно, приложивъ руку къ лицу такъ, точно у нея болѣли зубы.

По небу, блѣдно-голубому, быстро плыла бѣлая и розовая стая легкихъ облаковъ, точно большія птицы летѣли, испуганныя гулкимъ ревомъ пара. Мать смотрѣла на облака и прислушивалась къ себѣ. Голова у нея была тяжелая, и глаза, воспаленные бессонной ночью, сухи. Странное спокойствіе было въ груди.

сердце билось ровно, и думалось ей о простых вещах...

— Рано я самоваръ поставила, выкипить! Пускай они подольше поспятъ сегодня. Замучились оба...

Въ окно, весело играя, заглядывалъ юный солнечный лучъ; она подставила ему руку, и когда онъ, свѣтлый, легъ на кожу ея руки, другой рукой она тихо погладила его, улыбаясь задумчиво и ласково... Потомъ встала, сняла трубу съ самовара, стараясь не шумѣть, умылась и начала молиться, истово крестясь и безмолвно двигая губами. Лицо у нея свѣтлѣло, а правая бровь то медленно поднималась кверху, то вдругъ опускалась...

Второй гудокъ закричалъ тише, не такъ увѣренно, съ дрожью въ звукѣ, густомъ и влажномъ. Матери показалось, что сегодня онъ кричитъ дольше, чѣмъ всегда.

Въ комнатѣ раздался гулкій и ясный голосъ хохла:

— Павелъ! Слышишь? Зоветь...

Кто-то изъ нихъ шлепнулъ босыми ногами о полъ, кто-то сладко зѣвнулъ...

— Самоваръ готовъ!—крикнула мать.

— Встаемъ!—отвѣтилъ Павелъ весело.

— Восходитъ солнце!—говорилъ хохолъ.—И облака бѣгутъ. Это лишнее сегодня, облака...

И вышелъ въ кухню, растрепанный, измятый сномъ, но веселый.

— Доброе утро, ненько моя. Какъ спали?

Мать подошла къ нему и тихо сказала:

— Ужъ ты, Андрюша, рядомъ съ нимъ иди!

— А конечно-же!—прошепталъ хохолъ.— Пока мы вмѣстѣ, мы всюду пойдемъ рядомъ... такъ и знайте!

— Вы что тамъ шепчетесь?—спросилъ Павелъ.

— Мы ничего, Паша!

— Она говоритъ мнѣ: чище умывайся! Дѣвицы будутъ смотрѣть!—отвѣтилъ хохолъ, выходя въ сѣни мыться.

— Вставай, поднимайся, рабочій народъ! — тихо запѣлъ Павелъ.

День становился все болѣе яснымъ, облака уходили выше, гонимыя вѣтромъ. Мать собирала посуду для чая и думала о томъ, какъ все странно шутятъ они оба, улыбаются въ это утро, а въ полдень ждетъ ихъ — кто знаетъ — что? И ей самой почему-то спокойно, почти радостно.

Чай пили долго, стараясь сократить ожиданіе. Павелъ, какъ всегда, медленно и тщательно размѣшивалъ ложкой сахаръ въ стаканѣ, аккуратно посыпалъ соль на кусокъ хлѣба, — горбушку, любимую имъ. Холъ двигалъ подъ столомъ ногами, — онъ никогда не могъ сразу поставить свои ноги удобно, — и, глядя, какъ на потолокъ и стѣны бѣгаетъ отраженный влагой солнечный лучъ, рассказывалъ:

— Когда былъ я мальчишкой лѣтъ десяти, то захотѣлось мнѣ поймать солнце стаканомъ. Вотъ взялъ я стаканъ, подкрался и — хлопъ по стѣнѣ! Руку разрѣзалъ себѣ, и побили меня за это. А какъ побили, я вышелъ на дворъ, увидалъ солнце въ лужѣ и давай топтать его ногами... Обрызгался весь грязью, меня еще побили... Что мнѣ дѣлать? Такъ я давай кричать солнцу: „а мнѣ не больно, рыжій чортъ, не больно“! И все языкъ ему показывалъ... Это утѣшало.

— Почему оно тебѣ рыжимъ казалось? — спросилъ Павелъ, смѣясь.

— А напротивъ насъ кузнецъ былъ, краснорожій такой и съ рыжей бородой, веселый и добрый мужикъ, такъ солнце, по-моему, на него было похоже...

Не стерпѣвъ, мать сказала:

— Вы бы о томъ поговорили, какъ пойдете!

— Все сказано! — отвѣтилъ Павелъ.

— О рѣшенномъ говорить, только путать! — мягко замѣтилъ хохоль. — Въ случаѣ, если насъ всѣхъ заберутъ, ненько, къ вамъ Николай Ивановичъ придетъ и

онъ вамъ скажетъ, какъ быть. Онъ во всемъ вамъ поможетъ...

— Хорошо!—вздохнувъ, сказала мать.

— На улицу бы пойти! — мечтательно проговорилъ Павелъ.

— Нѣтъ, лучше дома посиди пока!—отозвался Андрей.—Зачѣмъ напрасно глаза мозолить полиціи? Ты ей довольно хорошо извѣстенъ!

Прибѣжалъ Федя Мазинъ, весь сверкающій, съ красными пятнами на щекахъ. Полный трепета радости, онъ разогналъ скуку ожиданія.

— Началось! —заговорилъ онъ.— Зашевелился народъ!.. Лѣзетъ на улицу, рожи у всѣхъ, какъ топоры... У воротъ фабрики все время Вѣсовщиковъ съ Гусевымъ Васей и Самойловымъ стояли, рѣчи говорили... Множество народа вернули домой!.. Идемте, пора! Уже десять часовъ!..

— Я пойду!—рѣшительно сказалъ Павелъ.

— Вотъ увидите,—обѣщалъ Федя: — послѣ обѣда встанетъ вся фабрика!

И убѣжалъ.

— Горитъ, какъ восковая свѣчечка на вѣтру!—проводила его мать тихими словами, встала и вышла на кухню, начала одѣваться.

— Куда вы, ненько?

— Съ вами!—сказала она.

Андрей взглянулъ на Павла, дергая себя за усы. Павелъ быстрымъ жестомъ поправилъ волосы на головѣ и вышелъ къ ней.

— Я тебѣ, мама, ничего не скажу... и ты мнѣ ничего не говори! Ладно, родная?

— Ладно, ладно... Христось съ вами!—пробормотала она.

Когда она вышла на улицу и услышала въ воздухѣ праздничный гулъ людскихъ голосовъ, гулъ тревожный и ожидающій, когда увидала вездѣ въ окнахъ до-

мовъ и у воротъ группы людей, провожавшія ея сына и Андрея любопытными взглядами, въ глазахъ у нея встало туманное пятно и заколыхалось, мѣняя цвѣта, то прозрачно-зеленое, то мутно-сѣрое.

Съ ними здоровались, и въ привѣтствіяхъ было что-то особенное. Слухъ ея ловилъ отрывистыя, негромкія замѣчанія.

— Вотъ они, воеводы...

— Намъ неизвѣстно, кто воевода...

— Да вѣдь я ничего худого не говорю!..

Въ другомъ мѣстѣ на дворѣ кто-то кричалъ раздраженно:

— Переловить ихъ полиція... они и пропадутъ!..

— Ловила!

Воюющій голосъ женщины испуганно прыгалъ изъ окна на улицу.

— Опомнись, что ты холостой, что-ли? Они холостые, имъ все равно...

Когда проходили мимо дома безногаго Зосимова, который получалъ съ фабрики за свое увѣще ежесѣчное пособіе, онъ, высунувъ голову изъ окна, закричалъ:

— Пашка! Свернуть тебѣ голову, подлецу, за твои дѣла, дождешься!

Магъ вздрогнула, остановилась. Этотъ крикъ вызвалъ въ ней острое чувство злобы. Она взглянула въ опухшее, толстое лицо калѣки; онъ спряталъ голову, ругаясь. Тогда она, ускоривъ шагъ, догнала сына и, стараясь не отставать отъ него, пошла слѣдомъ.

Онъ и Андрей, казалось, не замѣчали ничего, не слышали возгласовъ, которые провожали ихъ. Шли спокойно, не торопясь, и громко говорили о простыхъ вещахъ. Вотъ ихъ остановилъ Мироновъ, пожилой и скромный человѣкъ, всѣми уважаемый за свою трезвую, чистую жизнь.

— Тоже не работаете, Данило Ивановичъ? — спросилъ Павелъ.

— У меня жена на сносяхъ... ну, и день такой... безпокойный! — объяснилъ Мироновъ, пристально разглядывая товарищей, и негромко спросилъ:

— Вы, ребята, говорятъ, скандалъ директору хотите дѣлать, стекла бить ему?

— Развѣ мы пьяные?—воскликнулъ Павелъ.

— Мы просто пройдемъ по улицѣ съ флагами и пѣсни будемъ пѣть! — сказалъ хохоль. — Вотъ послушайте наши пѣсни, въ нихъ наша вѣра!

— Вѣру вашу я знаю! — задумчиво сказалъ Мироновъ.—Бумаги ваши читаль... Ба, Ниловна! — воскликнулъ онъ, улыбаясь матери умными глазами. — И ты бунтовать пошла?

— Надо хоть передъ смертью рядомъ съ правдой погулять!

— Ишь ты!—сказалъ Мироновъ.—Видно, вѣрно про тебя говорятъ, что ты на фабрику запрещенные листки носила!

— Кто это говорить?—спросилъ Павелъ.

— Да ужъ говорятъ! Ну, прощайте... держитесь солиднѣе!..

Мать тихо смѣялась, ей было пріятно, что про нее такъ говорятъ. Павелъ сказалъ ей, усмѣхаясь:

— Будешь ты въ тюрьмѣ, мама!

— Не откажусь!—молвила она.

Солнце поднималось все выше, вливая свое тепло въ бодрую свѣжесть вешняго дня. Облака плыли медленнѣе, тѣни ихъ стали тоньше, прозрачнѣе... Они мягко ползли по улицѣ и по крышамъ домовъ, окутывали людей и точно чистили слободу, стирая грязь и пыль со стѣнъ и крышъ, скуку съ лицъ. Становилось веселѣе, голоса звучали громче, заглушая дальній шумъ возни машинъ и вздохи фабрики.

Снова въ уши матери отовсюду, изъ оконъ, со дво-

ровъ, ползли и летѣли слова, тревожныя и злыя, вдумчивыя и веселыя. Но теперь ей хотѣлось возражать, благодарити, объяснять, хотѣлось вмѣшаться въ странно пеструю жизнь этого дня.

За угломъ улицы, въ узкомъ переулкѣ собралась толпа, человекъ во сто, и въ глубинѣ ея раздавался голосъ Вѣсовщикова.

— Изъ насъ жмутъ кровь, какъ сокъ изъ клюквы! — падали на головы людей неуклюжія слова.

— Вѣрно! — отвѣтило нѣсколько голосовъ сразу гулкимъ звукомъ.

— Старается хлопецъ! — сказалъ хохолъ. — А ну, пойду, помогу ему!..

Онъ изогнулся и, прежде чѣмъ Павелъ успѣлъ остановить его, ввернулъ въ толпу, какъ штопоръ въ пробку, свое длинное, гибкое тѣло. Раздался его пѣвучій голосъ:

— Товарищи! Говорятъ, на землѣ разные народы живутъ — евреи и нѣмцы, англичане и татары. А я — въ это не вѣрю! Есть только два народа, два племени непримиримыхъ — богатые и бѣдные! Люди разно одѣваются и разно говорятъ, а поглядите, какъ богатые французы, нѣмцы, англичане обращаются съ рабочимъ народомъ, такъ и увидите, что всѣ они для рабочаго — башибузуки, кость имъ въ горло!

Въ толпѣ засмѣялись.

— А съ другого бока взглянемъ, такъ увидимъ, что и французъ рабочій, и татаринъ, и турокъ — такой же собачьей жизнью живутъ, какъ и мы, русскій рабочій народъ!

Съ улицы все больше подходило народа, и одинъ за другимъ люди молча, вытягивая шеи, поднимаясь на носки, втискивались въ переулокъ.

Андрей поднялъ голосъ выше.

— Заграницей рабочіе уже поняли эту простую истину и сегодня, въ свѣтлый день перваго Мая...

— Полиція!—крикнулъ кто-то.

Съ улицы въ проулкъ, прямо на людей, ѣхали, помахивая плетками, четверо конныхъ полицейскихъ и кричали:

— Разойдись!

— Какіе тутъ разговоры?

— Который говорить?

Люди хмурились, неохотно уступая дорогу лошадямъ. Нѣкоторые влѣзали на заборы. Завучали насмѣшки.

— Посадили свиней на лошадей, а они хрюкають: вотъ и мы воеводы! — кричалъ чей-то звонкій, задорный голосъ.

Хохоль остался одинъ посрединѣ проулка; на него, мотая головами, наступали двѣ лошади. Онъ подался въ сторону, и въ то-же время мать, схвативъ его за руку, потащила за собой.

— Обѣщалъ вмѣстѣ съ Пашей, а самъ лѣзетъ на рожонъ одинъ!

— Виноватъ! — сказалъ хохоль, улыбаясь Павлу. — Ухъ, сколько этой полиціи на землѣ!

— Ладно!—ворчала мать.

Ею овладѣла тревожная, разламывающая усталость, она поднималась изнутри и кружила голову, странно чередуя въ сердцѣ печаль и радость. Хотѣлось, чтобы скорѣй закричалъ обѣдненный гудокъ.

Вышли на площадь, среди которой стояла церковь. Вокругъ нея, въ церковной оградѣ густо стоялъ и сидѣлъ народъ; здѣсь было сотенъ пять веселой молодежи, озабоченныхъ женщинъ, ребятишекъ. Толпа колыхалась, люди безпокойно поднимали головы кверху и заглядывали вдаль, во всѣ стороны, нетерпѣливо ожидая. Чувствовалось что-то повышенное; нѣкоторые смотрѣли растерянно, другіе вели себя съ показнымъ удалствомъ. Тихо звучали подавленные голоса женщинъ, мужчины съ досадою отвертывались отъ нихъ,

порою раздавалось негромкое ругательство. Рѣшенное и рѣшившееся сталкивалось съ недоумѣвающимъ и боязливымъ. Глухой шумъ враждебнаго тренія обнималъ пеструю толпу.

— Митенька! — тихо дрожалъ женскій голосъ. — Пожалѣй себя!..

— Отстань! — прозвенѣло въ отвѣтъ.

А степенный голосъ Сизова говорилъ спокойно, убѣдительно:

— Нѣтъ, намъ молодыхъ бросать не надо! Они стали разумнѣе насъ, они живутъ смѣлѣе! Кто болотную копѣйку отстоялъ? Они! Это нужно помнить. Ихъ за это по тюрьмамъ таскали... а выиграли отъ того всѣ!..

Заревѣлъ гудокъ, поглотивъ своимъ чернымъ звукомъ людской говоръ. Толпа дрогнула, сидѣвшіе встали, на минуту все замерло, насторожилось, и много лицъ поблѣднѣло.

— Товарищи! — раздался голосъ Павла, звучный и крѣпкій. Сухой, горячій туманъ ожегъ глаза матери, и она однимъ движеніемъ вдругъ окрѣпшаго тѣла, встала сзади сына. Всѣ обернулись къ Павлу, окружая его, точно крупинки желѣза кусокъ магнита.

— Братья! Вотъ пришелъ часъ нашего отреченія отъ этой жизни, полной жадности, злобы и тьмы, отъ этой жизни насилія надъ людьми, отъ жизни, въ которой нѣтъ намъ мѣста, гдѣ мы — не люди!

Онъ замолчалъ, и всѣ молчали, плотнѣй и гуще сливаясь около него. Мать смотрѣла въ лицо ему и видѣла только глаза, гордые и смѣлые, жгучіе...

— Товарищи! Мы рѣшили открыто заявить сегодня, кто мы, мы поднимаемъ сегодня наше знамя, знамя разума, правды, свободы. И вотъ я — поднимаю его!

Древко, бѣлое и длинное, мелькнуло въ воздухѣ, наклонилось, разрѣзало толпу, скрылось въ ней, и черезъ минуту надъ поднятыми кверху лицами людей

взметнулось красной птицей широкое полотно знамени рабочего народа...

Павель поднялъ руку кверху, древко покачнулось. Тогда десятокъ рукъ схватили бѣлое гладкое дерево, и среди нихъ была рука его матери.

— Да здравствуетъ рабочій народъ!—крикнулъ онъ.

Сотни голосовъ отозвались ему гулкимъ крикомъ.

— Да здравствуетъ социаль-демократическая рабочая партія, наша партія, товарищи, наша духовная родина!

Толпа кипѣла; сквозь нее пробивались ко знамени тѣ, кто понялъ его значеніе; рядомъ съ Павломъ становились Мазинъ, Самойловъ, Гусевы; наклонивъ голову расталкивалъ людей Николай, и еще какіе-то незнакомые матери люди, молодые, съ горящими глазами, отталкивали ее.

— Да здравствуютъ рабочіе люди всѣхъ странъ!—крикнулъ Павель. И, все увеличиваясь въ силѣ и въ радости, ему отвѣтило тысячеустое эхо, потрясающимъ душу звукомъ.

Мать схватила руку Николая и еще чью-то, она задышалась отъ слезъ, но не плакала, у нея дрожали ноги, и трясущимися губами она говорила:

— Родные... это правда...

По рябому лицу Николая расплылась широкая улыбка, онъ смотрѣлъ на знамя и мычалъ что-то, протягивая къ нему руку, а потомъ вдругъ охватилъ мать этой рукой за шею, поцѣловалъ ее и засмѣялся.

— Товарищи! — запѣлъ хохолъ, покрывая своимъ мягкимъ голосомъ гулъ толпы.—Мы пошли теперь крестнымъ ходомъ во имя Бога новаго, Бога свѣта и правды, Бога разума и добра! Крестнымъ ходомъ мы идемъ, товарищи, долгимъ, труднымъ путемъ для человѣка. Далеко отъ насъ наша цѣль, терновые вѣтви—близко! Кто не вѣритъ въ силу правды, въ комъ нѣтъ смѣлости до смерти стоять за нее, кто не вѣритъ въ

себя и бойтсѣ страданій,—отходи отъ насъ въ сторону! Мы зовемъ за собой тѣхъ, кто вѣруеть въ побѣду нашу; тѣ, которымъ не видна наша цѣль—пусть не идутъ съ нами,—такихъ ждетъ только горе. Въ ряды, товарищи! Да здравствуетъ праздникъ свободныхъ людей!

Толпа слилась плотнѣе. Павелъ махнулъ знаменемъ, оно распласталось въ воздухѣ и поплыло впередъ, озаренное солнцемъ, красно и широко улыбаясь...

Отречемся отъ стараго міра...

раздался звонкій голосъ Федѣ Мазина, и десятки голосовъ подхватили мягкой, сильной волной:

Отрясемъ его прахъ съ нашихъ ногъ!..

Мать съ горячей улыбкой на губахъ шла сзади Мазина и черезъ голову его смотрѣла на сына и на знамя. Вокругъ нея мелькали радостныя лица, разноцвѣтные глаза; впереди всѣхъ шелъ ея сынъ и Андрей. Она слышала ихъ голоса,—мягкій и влажный голосъ Андрея дружно сливался въ одинъ звукъ съ голосомъ сына ея, густымъ и басовитымъ.

Вставай, подымайся, рабочій народъ,
Вставай на борьбу, людъ голодный...

И народъ бѣжалъ встрѣчу красному знамени, онъ что-то кричалъ, сливался съ толпой и шелъ съ нею обратно, и крики его гасли въ звукахъ пѣсни, той пѣсни, которую дома пѣли тише другихъ; на улицѣ она текла ровно, прямо, со страшной силой. Въ ней звучало желѣзное мужество, и, призывая людей въ далекую дорогу къ будущему, она честно говорила о тяжестяхъ пути. Въ ея большомъ, спокойномъ пламени плавился темный шлакъ пережитого, тяжелый комъ привычныхъ чувствъ, и сгорала въ пепель проклятая боязнь новаго...

Мы пойдемъ къ нашимъ страждущимъ братьямъ...

.. лилась пѣсня, обнимая людей.

Чье-то лицо, испуганное и радостное, качалось рядомъ съ матерью, и дрожащій голосъ, всхлипывая, восклицалъ:

— Митя! Куда ты?

Мать, не останавливаясь, заговорила:

— Пусть идетъ... вы не беспокойтесь. Я тоже очень боялась... мой впереди всѣхъ. Который несетъ знамя— это мой сынъ!

— Разбойники! Куда вы? Солдаты тамъ!

И вдругъ схвативъ руку матери костлявой рукой, женщина, высокая и худая, воскликнула:

— Милая вы моя... поють-то какъ... И Митя поеть...

— Вы не беспокойтесь!—бормотала мать.— Это святое дѣло... Вы подумайте: вѣдь и Христа не было бы, если бы ради Его люди не погибали.

Эта мысль вдругъ вспыхнула въ ея головѣ и поразила ее своей ясной простой правдой. Она взглянула въ лицо женщины, крѣпко державшей ея руку, и повторила, удивленно улыбаясь:

— Не было бы Христа-то, если бы люди не погибли Его, Господа, ради!

Рядомъ съ нею явился Сизовъ. Онъ снялъ шапку, махалъ ею въ тактъ пѣснѣ и говорилъ:

— Открыто пошли, мать, а? Пѣсню придумали... Какая пѣсня, мать, а?

Царю нужны для войска солдаты...

Отдавайте ему сыновей...

— Ничего не бояться!—говорилъ Сизовъ.—А мой сынокъ въ могилѣ... задавила его фабрика... да!

Сердце матери забилося слишкомъ сильно, и она начала отставать. Ее быстро оттолкнули въ сторону, притиснули къ забору, и мимо нея, колыхаясь, потекла густая волна людей. Она видѣла,—ихъ было много, и это радовало ее.

Вставай, подымайся, рабочий народъ!..

Казалось, въ воздухѣ поетъ огромная, мѣдная труба, поетъ и будить людей, вызывая въ одной груди готовность къ бою, въ другой неясную радость, предчувствіе чего-то новаго, жгучее любопытство, тамъ—возбуждая смутный трепетъ надеждъ, здѣсь—открывая выходъ ѣдкому потоку годами накопленной злобы. Всѣ заглядывали впередъ, гдѣ качалось и рѣяло въ воздухѣ красное знамя.

— Хоромъ пошли! — ревѣлъ чей-то восторженный голосъ.—Славно; ребята!

И, видимо, чувствуя что-то большое, чего не могъ выразить обычными словами, человѣкъ ругался крѣпкой руганью.

Но и злоба, темная, слѣпая злоба раба, горячо лилась сквозь зубы его, шипѣла змѣей, извиваясь въ злыхъ словахъ, встревоженная свѣтомъ, упавшимъ на нее.

— Еретики!—грозя кулакомъ изъ окна, кричалъ кто-то надорваннымъ голосомъ.

И назойливо лѣзъ въ уши матери чей-то сверлящій визгъ:

— Противъ Государь-Императора, противъ Его Величества-Царя? Бунтовать? Нѣтъ... нѣ-тъ...

Мимо матери мелькали смятенныя лица, подпрыгивая пробѣгали мужчины, женщины, лился народъ темной лавой, влекомый этой пѣсней, которая напоромъ звуковъ, казалось, опрокидывала передъ собой все, расчищая дорогу. И въ груди матери властно росло желаніе закричать людямъ:

— Родные!

Глядя на красное знамя вдали, она — не видя—видѣла лицо сына, его бронзовый лобъ и глаза, горѣвшіе яркимъ огнемъ вѣры.

Но вотъ она—въ хвостѣ толпы, среди людей, кото-

рые шли не торопясь, равнодушно заглядывая впередъ, съ холоднымъ любопытствомъ зрителей, которымъ заранее извѣстенъ конецъ зрѣлища. Шли и говорили негромко, увѣренно.

— Одна рота у школы стоять, а другая у фабрики...

— Губернаторъ пріѣхалъ...

— Вѣрно?

— Самъ видѣлъ... пріѣхалъ...

Кто-то радостно выругался и сказалъ:

— Все-таки бояться стали нашего брата!.. И войско, и губернаторъ.

— Родные!—билось въ груди матери.

Но слова вокругъ нея звучали мертво и холодно. Она ускорила шагъ, чтобы уйти отъ этихъ людей, и ей легко было обогнать ихъ медленный, лѣнивый ходъ.

И вдругъ голова толпы точно ударилась обо что-то, тѣло ея, не останавливаясь, покачнулось назадъ съ тревожнымъ тихимъ гуломъ. Пѣсня тоже вздрогнула, потомъ полилась быстрее, громче. И снова густая волна звуковъ опустилась, поползла назадъ. Голоса выпадали изъ хора одинъ за другимъ, раздавались отдѣльные возгласы, старавшіеся поднять пѣсню на прежнюю высоту, толкнуть ее впередъ.

Вставай, подымайся, рабочій народъ!

Иди на врага, людъ голодный!..

Но не было въ этомъ зовѣ общей, слитной увѣренности, и уже трепетала въ немъ тревога.

Не видя ничего, не зная, что случилось впереди, но догадываясь, мать расталкивала толпу, быстро двигаясь впередъ, а навстрѣчу ей задомъ пятились люди, одни — наклонивъ головы и нахмутивъ брови, другіе — конфузливо улыбаясь, третьи — насмѣшливо свистя. Она тоскливо осматривала ихъ лица, ея глаза молча спрашивали, просили, звали...

— Товарищи! — раздался голосъ Павла. — Солдаты

такіе же люди, какъ мы. Они не будутъ бить насъ. За что бить? За то, что мы несемъ правду, нужную всѣмъ? Вѣдь эта наша правда и для нихъ нужна... Пока они не понимаютъ этого, но уже близко время, когда они встанутъ рядомъ съ нами, когда они пойдутъ подъ нашимъ знаменемъ свободы и добра. И для того, чтобы они поняли нашу правду скорѣе, мы должны идти впередъ. Впередъ, товарищи! Всегда—впередъ!

Голосъ Павла звучалъ твердо, слова звенѣли въ воздухѣ четко и ясно, но толпа разваливалась, люди одинъ за другимъ отходили вправо и влево къ домамъ, прислонялись къ заборамъ. Теперь толпа имѣла форму клина, а остриемъ ея былъ Павелъ, и надъ его головой краснѣ горѣло знамя рабочаго народа. И еще толпа походила на черную птицу: широко раскинувъ свои крылья, она насторожилась, готовая подняться и летѣть, а Павелъ былъ ея клювомъ...

Въ концѣ улицы, видѣла мать, закрывая выходъ на площадь, стояла низкая, сѣрая стѣна однообразныхъ людей безъ лицъ. Надъ плечомъ у каждого изъ нихъ холодно и тонко блестѣли острые полоски штыковъ. И отъ всей этой стѣны, молчаливой, неподвижной, на рабочихъ вѣяло холодомъ; онъ упирался въ грудь матери и проникалъ ей въ сердце.

Она втиснулась въ толпу, туда, гдѣ знакомые ей люди, стоявшіе впереди у знамени сливались съ незнакомыми, какъ бы опираясь на нихъ. Она плотно прижалась бокомъ къ высокому бритому человѣку; онъ былъ кривой и, чтобы посмотреть на нее, круто повернулъ голову.

— Ты что?.. Ты чья?...—спросилъ онъ.

— Мать Павла Власова! — отвѣтила она, чувствуя, что у нея дрожить подъ колѣнами и нижняя губа невольно опускается.

— Ага!—сказалъ кривой.

— Товарищи!—говорилъ Павелъ.—Всю жизнь впередъ: намъ нѣтъ иной дороги! Пойте!

Стало тихо, чутко. Знамя поднялось, качнулось и, задумчиво рѣя надъ головами людей, плавно двинулось къ сѣрой стѣнѣ солдатъ. Мать вздрогнула, закрыла глаза и ахнула: Павелъ, Андрей, Самойловъ и Мазинъ только четверо оторвались отъ толпы.

Но въ воздухѣ медленно задрожалъ свѣтлый голосъ Феди Мазина:

Вы жертвою пали...

запѣлъ онъ.

Въ борьбѣ... роковой...

двумя тяжелыми вздохами отозвались густые пониженные голоса. Люди шагнули впередъ, мелко ударивъ ногами землю. И потекла новая пѣсня, рѣшительная и рѣшившаяся.

Вы отдали все, что могли, за него...

яркой лентой извивался голосъ Феди...

За свободу...

дружно пѣли товарищи.

— Ага-а!—злорадно крикнулъ кто-то въ сторонѣ.— Панихиду запѣли, сукины дѣти...

— Бей его!—раздался гнѣвный возгласъ.

Мать схватила руками за грудь, оглянулась и увидѣла, что толпа, раньше такъ густо наполнявшая улицу, стоитъ нерѣшительно, мнется и смотритъ, какъ отъ нея уходятъ люди со знаменемъ. За ними шло нѣсколько десятковъ, и каждый шагъ впередъ заставлялъ кого-нибудь отскакивать въ сторону, точно путь посреди улицы былъ раскаленъ и жегъ подошвы.

Падеть произволь...

пророчила пѣсня, въ устахъ Феди...

И возстанетъ народъ!

увѣренно и грозно вторилъ ему хоръ сильныхъ голо-
совъ.

Но сквозь стройное теченіе ея пробивались тихія
слова:

— Командуетъ...

— На руку!—раздался рѣзкій крикъ впереди.

Въ воздухѣ извилисто качнулись штыки, упали и
вытянулись встрѣчу знамени, хитро улыбаясь.

— Ма-аршъ!

— Пошли!—сказалъ кривой и, сунувъ руки въ кар-
маны, широко шагнулъ въ сторону.

Мать не мигая смотрѣла. Сѣрая волна солдатъ ко-
лыхнулась и, растянувшись во всю ширину улицы,
ровно, холодно двинулась, неся впереди себя рѣзкій
гребень серебристо сверкающихъ зубьевъ стали. Она,
широко шагая, встала ближе къ сыну, видѣла, какъ
Андрей тоже шагнулъ впередъ Павла и загородилъ
его своимъ длиннымъ тѣломъ.

— Иди рядомъ, товарищъ!—рѣзко крикнулъ Па-
вель.

Андрей пѣлъ, руки у него были сложены за спи-
ной, голову онъ поднималъ вверхъ. Павель толкнулъ
его плечомъ и снова крикнулъ:

— Рядомъ! Не имѣешь права! Впереди—знамя!

— Ра-азойтись! — тонкимъ голосомъ кричалъ ма-
ленькій офицерикъ, размахивая бѣлой саблей. Ноги
онъ поднималъ высоко и, не сгибая въ колѣняхъ, за-
дорно стучалъ подошвами о землю. Въ глаза матери
бросились его ярко начищенные сапоги.

А сбоку и немного сзади него тяжело шелъ рос-
лый бритый человѣкъ, съ толстыми сѣдыми усами, въ
длинномъ сѣромъ пальто на красной подкладкѣ и съ
желтыми лампасами на широкихъ штанахъ. Онъ тоже,
какъ хохолъ, держалъ руки за спиной, высоко под-
нималъ густыя сѣдые брови и смотрѣлъ на Павла.

Мать видѣла необъятно много, въ груди ея непод-

вижно стоялъ громкій крикъ, готовый съ каждымъ вдохомъ вырваться на волю; онъ душилъ ее, но она, почему-то, сдерживала его, хватаясь руками за грудь. Ее толкали, она качалась на ногахъ и шла впередъ безъ мысли, почти безъ сознанія. Она чувствовала, что людей сзади нея становится все меньше, холодный валь шелъ имъ навстрѣчу и разносилъ ихъ.

Все ближе сдвигались люди краснаго знамени и плотная цѣпь сѣрыхъ людей; ясно было видно лицо солдата—широкое, во всю улицу, уродливо приплюснутое въ грязно-желтую узкую полосу; въ нее были неровно вкраплены разноцвѣтные глаза, а передъ нею жестко сверкали тонкія острія штыковъ. Направляясь въ груди людей, они, еще не коснувшись ихъ, отрѣзали и откалывали одного за другимъ отъ толпы, разрушая ее.

Мать слышала сзади себя топотъ бѣгущихъ. Подавленные, тревожные голоса кричали:

— Расходись, ребята!..

— Власовъ, бѣги!..

— Назадъ, Павлуха!

— Бросай знамя, Павелъ!—угрюмо сказалъ Вѣсовщиковъ.—Дай сюда, я спрячу!

Онъ схватилъ рукой древко, знамя покачнулось назадъ.

— Оставь!—крикнулъ Павелъ.

Николай отдернулъ руку, точно ее обожгло. Пѣсня погасла. Люди остановились, плотно окружая Павла, но онъ пробился впередъ. Наступило молчаніе, вдругъ, сразу, точно оно невидимо опустилось сверху и обняло людей прозрачнымъ облакомъ.

Подъ знаменемъ стояло человѣкъ двадцать, не болѣе, но они стояли твердо, притягивая мать къ себѣ чувствомъ страха за нихъ и смутнымъ желаніемъ что-то сказать имъ...

— Возьмите у него, поручикъ... это!—раздался ровный голосъ высокаго старика.

Протянувъ руку, онъ указалъ на знамя.

Къ Павлу подскочилъ маленькій офицерикъ, схватился рукой за древко, визгливо крикнулъ:

— Брось!

— Прочь руки!—громко сказалъ Павелъ.

Знамя дрожало въ воздухѣ, наклоняясь вправо и влево, и снова встало прямо; офицерикъ отскочилъ, сѣлъ на землю. Мимо матери несвойственно быстро скользнулъ Николай, неся передъ собой вытянутую руку со сжатымъ кулакомъ.

— Ваять ихъ!—рявкнулъ старикъ, топнувъ въ землю ногой.

Нѣсколько солдатъ выскочило впередъ. Одинъ изъ нихъ взмахнулъ прикладомъ, знамя вздрогнуло, наклонилось и исчезло въ сѣрой кучкѣ солдатъ.

— Э-эхъ!—тоскливо крикнулъ кто-то.

И мать закричала звѣринимъ, воющимъ звукомъ. Но въ отвѣтъ ей изъ толпы солдатъ раздался ясный голосъ Павла:

— До свиданья, мама! До свиданья, родная...

— Живь! Вспомнилъ!—дважды ударило въ сердца матери.

— До свиданья, ненько моя!

Поднимаясь на носки, взмахивая руками, она старалась увидѣть ихъ и видѣла надъ головами солдатъ круглое лицо Андрея. Оно улыбалось.

— Родные мои... Андрюша!.. Паша!..—кричала она.

— До свиданья, товарищи! — крикнули изъ толпы солдатъ.

Имъ отвѣтило многократное, разорванное эхо. Оно отозвалось изъ оконъ, откуда-то сверху, съ крышъ.

Ее толкнули въ грудь. Сквозь туманъ въ глазахъ, она видѣла передъ собой офицера, лицо у него было красное, натужное, и онъ кричалъ ей:

— Прочь, старуха!

Она взглянула на него сверху внизъ, увидала у

ногъ его древко знамени, разломанное на двѣ части, на одной изъ нихъ уцѣлѣлъ кусокъ красной матеріи. Наклонясь, она подняла его. Офицеръ вырвалъ палку изъ ея рукъ, бросилъ ее въ сто рону и, топая ногами, кричалъ:

— Прочь, говорю!..

Среди солдатъ вспыхнула и полилась пѣсня:

Вставай, подымайся, рабочій народъ...

Все кружилось, качалось, вздрагивало. Въ воздухѣ стоялъ густой тревожный шумъ, подобный матовому шуму телеграфныхъ проволокъ. Офицеръ отскочилъ, раздраженно визжа:

— Прекратить пѣніе! Фельдфебель Краиновъ...

Мать шатаясь подошла къ обломку древка, брошеннаго имъ, и снова подняла его.

— Заткнуть имъ глотки!..

Пѣсня сбилась, задрожала, разорвалась, погасла. Кто-то взялъ мать за плечи, повернулъ ее, толкнулъ въ спину...

— Иди, иди...

— Очистить улицу!—кричалъ офицеръ.

Мать видѣла въ десяткѣ шаговъ отъ себя снова густую толпу людей. Они рычали, ворчали, свистѣли и, медленно отступая вглубь улицы, разливались во дворы.

— Иди, дьяволъ!—крикнулъ прямо въ ухо матери молодой усатый солдатъ, равняясь съ нею, и толкнулъ ее на тротуаръ.

Она пошла, опираясь на древко, а ноги у нея гнулись. Чтобы не упасть, она цѣплялась другой рукой за стѣны и заборы. Передъ нею пятились люди, рядомъ съ нею и сзади нея шли солдаты, покрикивая:

— Иди, иди...

Солдаты обогнали ее, она остановилась, оглянулась. Въ концѣ улицы рѣдкою цѣпью стояли они же, сол-

даты, заграждая выходъ на площадь. Площадь была пуста. Впереди тоже качались сѣрыя фигуры, медленно двигаясь на людей...

Она хотѣла повернуть назадъ, но безотчетно снова пошла впередъ и, дойдя до переулка, свернула въ него, узкій и пустынный.

Снова остановилась. Тяжко вздохнула, прислушалась. Гдѣ-то впереди гудѣлъ народъ.

Опираясь на древко, она зашагала дальше, двигая бровями, вдругъ вспотѣвшая, полная криковъ, шевеля губами, размахивая рукой, и въ сердцѣ ея искрами вспыхивали какія-то слова, вспыхивали, тѣснились, зажигая въ ней настойчивое, властное желаніе сказать ихъ, прокричать...

Переулокъ круто поворачивалъ влѣво, и, за угломъ мать увидала большую, тѣсную кучу людей; чей-то голосъ сильно и громко говорилъ:

— Ради озорства, братцы, на пытки не лѣзутъ!

— Ка-акъ они, а? Идутъ на нихъ—стоятъ! Стоять, братцы мои, безъ страха...

— Да-а...

— Вотъ-те и Паша Власовъ!..

— А хохоль?

— Руки за спиной, улыбается, чортъ...

— Голубчики! — крикнула мать, втискиваясь въ толпу. Передъ нею уважительно разступались. Кто-то засмѣялся:

— Гляди, съ флагомъ! Въ рукѣ-то—флагъ!

— Молчи!—сурово сказалъ другой голосъ.

Мать широко развела руками...

— Послушайте... ради Христа! Всѣ вы—родные... всѣ вы—сердечные... откройтесь, поглядите безъ боязни... безъ страха... что случилось? Идутъ въ міръ дѣти... Идутъ дѣти наши, кровь наша, идутъ за правдой... честно открываютъ дорогу на новую дорогу... на прямой, широкій путь—для всѣхъ! Для всѣхъ васъ,

для младенцевъ вашихъ обрекли себя на крестный путь... ищутъ солнца новаго, дней всегда свѣтлыхъ... Хотятъ другой жизни—въ правдѣ, въ справедливости... добра хотятъ для всѣхъ!

У нея рвалось сердце, въ груди было тѣсно, въ горлѣ сухо и горячо. Глубоко внутри ея рождались слова большой, все и всѣхъ обнимающей любви и жгли языкъ ея, двигая его все сильнѣй, все свободнѣе.

Она видѣла—слушаютъ ее, всѣ молчатъ, она чувствовала—думаютъ люди, тѣсно окружая ее, и въ ней все росло желаніе, теперь уже ясное для нея, желаніе толкнуть людей туда, за сыномъ, за Андреемъ, за всѣми, кого отдали въ руки солдатъ, за всѣми, кого оставили тамъ однихъ, отъ кого отошли.

Оглядывая хмурыя, внимательныя лица вокругъ она продолжала съ мягкой силой:

— Идутъ въ мірѣ дѣти наши къ радости, пошли они ради всѣхъ и Христовой правды ради—противъ всего, чѣмъ полонили, связали, задавили насъ злые наши, фальшивые, жадные наши! Сердечные мои, вѣдь это за весь народъ поднялась молодая кровь наша, за весь міръ, за всѣ люди рабочіе пошли они... Не отходите же отъ нихъ, не отрекайтесь, не оставляйте дѣтей своихъ на одинокомъ пути: они для того пошли, чтобы всѣмъ намъ указать дорогу къ правдѣ, вывести на нее... Пожалѣйте себя... полюбите ихъ... поймите сердце дѣтское, повѣрьте сыновнимъ сердцамъ—они правду родили, въ ней горятъ, ради ея погибаютъ. Повѣрьте имъ!

У нея порвался голосъ, она покачнулась, обезсиленная, кто-то подхватилъ ее подъ руки...

— Божье говорить!—взволнованно и глухо выкрикнулъ кто-то.—Божье, люди добрые!

Другой пожалѣлъ:

— Эхъ, какъ убивается!

Ему возразили съ упрекомъ:

— Не убивается она, а насъ, дураковъ, бьетъ... пойми! Взвился надъ толпой высокій трепетный голосъ.

— Православные! Митя мой—душа чистая... что онъ сдѣлалъ? Онъ за товарищами пошелъ, за любимыми... Вѣрно говорить она—за что мы дѣтей бросаемъ? Что намъ худого сдѣлали они?

Мать задрожала отъ этихъ словъ и откликнулась тихими слезами.

— Иди домой, Ниловна! Иди, мать! Замучилась!—громко сказалъ Сизовъ.

Былъ онъ блѣденъ, борода у него растрепалась и тряслась. Вдругъ, нахмутивъ брови, онъ окинулъ всѣхъ строгими глазами, весь выпрямился и внятно сказалъ:

— Задавило на фабрикѣ сына моего Матвѣя... вы знаете. Но если бы живъ былъ онъ, самъ я послалъ бы его въ рядъ съ ними, съ тѣми... самъ сказалъ бы: иди и ты, Матвѣй! Иди, это—вѣрно... это—честное!

Онъ оборвался, замолчалъ, и всѣ угрюмо молчали, властно объятые чѣмъ-то огромнымъ, новымъ, но уже не пугавшимъ ихъ. Сизовъ поднялъ руку, потрясъ ею и продолжалъ:

— Старикъ говорить... вы меня знаете. Тридцать девять лѣтъ работаю здѣсь... пятьдесятъ три года на землѣ живу. Племянника моего, мальчонку чистаго, умницу, опять забрали сегодня... Тоже впереди шель рядомъ съ Власовымъ... около самаго знамя...

Онъ махнулъ рукой, съежился и, взявъ руку матери, сказалъ:

— Женщина эта правду сказала... Дѣти наши по чести жить хотятъ, по разуму, а мы вотъ бросили ихъ... ушли, да! Иди, Ниловна...

— Родные вы мои!—сказала она, окидывая всѣхъ заплаканными глазами.—Для дѣтей—жизнь, для нихъ—земля!..

— Иди, Ниловна! На, палку-то, возьми...—говорилъ Сизовъ, подавая ей обломокъ дровка.

На мать смотрѣли съ грустью, съ уваженіемъ, и гуль сочувствія провожалъ ее. Сизовъ молчаливо отстранялъ людей съ дороги, они молча сторонились и, повинуваясь неясной силѣ, тянувшей ихъ за матерью, не торопясь шли за нею, вполголоса перекидываясь краткими словами.

У воротъ своего дома она обернулась къ нимъ, опираясь на обломокъ знамени, поклонилась и благодарно, тихо сказала:

— Спасибо вамъ...

И снова вспомнивъ свою мысль,—новую мысль, которую, казалось ей, родило ея сердце,—она проговорила:

— Господа нашего Иисуса Христа не было бы, если бы люди не погибли во славу Его...

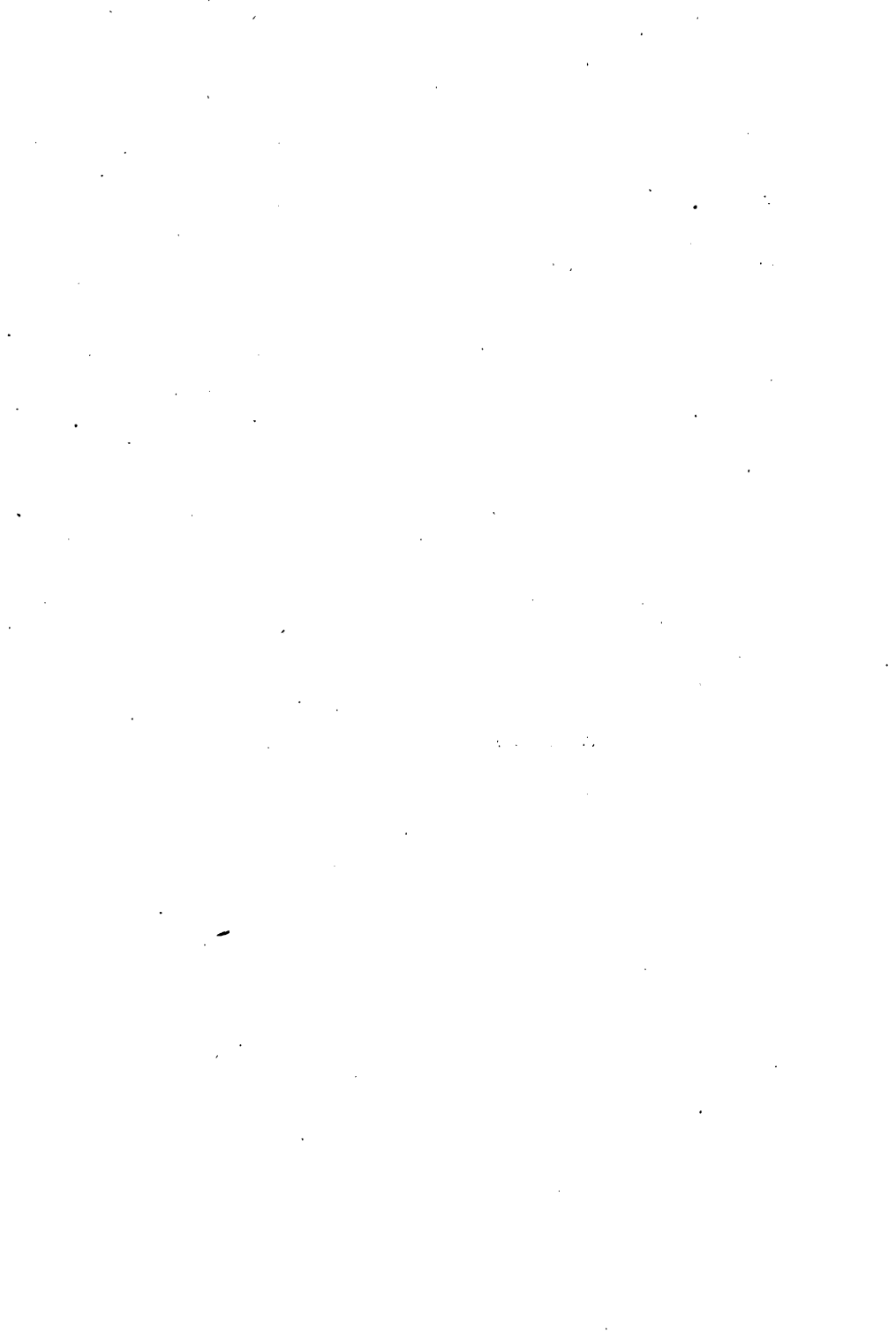
Толпа молча смотрѣла на нее.

Она еще поклонилась людямъ и вошла въ свой домъ, а Сизовъ, нагнувъ голову, вошелъ съ нею.

Люди у воротъ говорили о чемъ-то.

И расходились, не торопясь.

(Продолженіе въ слѣдующемъ сборникѣ).



НА ВОЙНѢ.

ЗАПИСКИ В. ВЕРЕСАЕВА.

(Продолженіе).

ОГЛАВЛЕНІЕ:

- I. ДОМА.
- II. ВЪ ПУТИ.
- III. ВЪ МУКДЕНЪ.
- IV. БОЙ НА ШАХЕ.
- V. ВЕЛИКОЕ СТОЯНІЕ: ОКТЯБРЬ—НОЯБРЬ.
- VI. ВЕЛИКОЕ СТОЯНІЕ: ДЕКАБРЬ—ФЕВРАЛЬ.
- VII. МУКДЕНСКІЙ БОЙ.
- VIII. НА МАНДАРИНСКОЙ ДОРОГЪ.
- IX. СКИТАНІЯ.
- X. ВЪ ОЖИДАНІИ МИРА.
- XI. МИРЪ.
- XII. ДОМОЙ.



Великое стояніе: октябрь—ноябрь.

Однажды вечеромъ оба наши госпиталя получили изъ штаба корпуса приказъ: немедленно передвинуться изъ деревни Сяо-Ки-Шинпу на западъ, въ деревню Бейтайцзеинъ. Когда этотъ приказъ былъ полученъ, племянница Султанова, Новицкая, почему-то чрезъ вычайно обрадовалась. У нихъ сидѣлъ адъютантъ изъ штаба корпуса; провожая его, она вся сіяла и просила передать корпусному командиру ея „большое, большое спасибо“.

Деревня Бейтайцзеинъ была всего за двѣ версты отъ деревни, гдѣ мы стояли. На-утро нашъ госпиталь двинулся. Въ султановскомъ госпиталѣ только еще начинали укладываться; Султановъ пилъ въ постели кофе.

Нашъ главный врачъ забралъ съ собой изъ фанзы все, что можно было уложить на воза, — два стола, табуретки, четыре изящныхъ красныхъ шкапчика; въ сѣняхъ велѣлъ выломать изъ печки большой котель. На наши протесты онъ заявилъ:

— Здѣсь, все равно, все разграбятъ. А я имъ потомъ возвращу.

Пріѣхали мы въ Бейтайцзеинъ. Деревня была большая, въ двѣ длинныхъ улицы, но совершенно опустошенная; фанзы стояли безъ крышъ, глиняныя стѣны зіяли черными квадратами выломанныхъ на топку

оконъ и дверей. Только на одной изъ улицъ тянулся рядъ большихъ, богатыхъ каменныхъ фанзъ, совершенно нетронутыхъ. У воротъ каждой фанзы стояло по часовому.

— Эти фанзы заняты кѣмъ-нибудь?—спросилъ часового главный врачъ.

— Такъ точно!

— Кто въ нихъ стоитъ?

— Штабъ корпуса стоялъ. Вчера онъ перешелъ вонъ въ ту деревню, теперь будетъ стоять** полевой подвижной госпиталь (султановскій).

— А отъ кого-же этотъ караулъ поставленъ?

— Отъ штаба корпуса.

Такъ... Дѣло начинало выясняться. Мы обходили всю деревню. Послѣ долгихъ поисковъ помощникъ смотрителя нашелъ на одномъ дворѣ, рядомъ съ султановскими фанзами, двѣ убогихъ, тѣсныхъ и грязныхъ лачуги. Больше помѣститься было негдѣ. Солдаты располагались бивакомъ на огородахъ, наши денщики чистили и выметали лачуги, заклеивали бумагою прорванныя окна.

Мы пошли посмотрѣть фанзы, охранявшіяся для Султанова. Помѣщенія были чистыя, просторныя и роскошныя. Караульные рассказали намъ, что передъ въѣздомъ сюда корпуснаго командира цѣлая рота саперовъ три дня отдѣлывала эти помѣщенія. Теперь стало понятно, почему такъ обрадовалась Новицкая полученному приказу, за что передавала она благодарность командиру корпуса; и стало также понятно это бессмысленное передвиженіе госпиталей всего за двѣ версты. Въ прежней деревнѣ весь персоналъ султановскаго госпиталя тѣснился, какъ и мы, въ одной фанзѣ, и это, конечно, не могло нравиться Новицкой. Возникалъ невѣроятный вопросъ,—неужели сотни людей такъ легко перебрасываются съ мѣста на мѣсто по мановенію одного тонкаго бѣлаго пальчика сестры Новицкой? Впослѣд-

ствѣи мы не разъ имѣли случай убѣдиться, какая волшебна-огромная сила заключалась въ этомъ пальчикѣ.

Денщики ввели возъ съ нашими вещами во дворикъ и стали вносить въ вычищенные ими фанзы вещи. Къ сосѣднимъ фанзамъ подъѣхалъ султановскій обозъ. Въ воротахъ нашего двора показалась стройная фигура Султанова верхомъ на бѣлой лошади.

— Послушайте, это чьи тутъ вещи, ваши?—крикнулъ онъ д-ру Гречихину.

— Да.

— Потрудитесь убрать ихъ. Это все наши фанзы.

— Ваши вонъ-онѣ фанзы. Намъ никто не говорилъ, что эти заняты.

— Ну, вотъ я вамъ и говорю... Эй, вы! Не вносить вещей!—крикнулъ Султановъ нашимъ денщикамъ.

Мы съ Шанцеромъ стояли у воротъ. Шанцеръ, всегда удивительно-равнодушный къ тому, какъ устроиться, съ веселымъ любопытствомъ оглядывалъ Султанова. Къ воротамъ поспѣшно подошли Новицкая и Зинаида Аркадьевна.

Новицкая, злая и взволнованная, накинулась на Шанцера:

— Это наши фанзы, вы не имѣли права ихъ занимать; генералъ намъ ихъ оставилъ, тутъ стоялъ нашъ карауль... Вы думали, что раньше прѣѣхали, такъ все можете захватить!..

Она взволнованно сыпала словами; слышалось только быстрое; злобное: „те-те-те-те-те!“ И вдругъ въ ней исчезла вся ея изящная медленность, передъ глазами суетливо металось противное вульгарное существо, съ маленькою головкою и злобнымъ, индюшечьимъ лицомъ.

— Что вы ко мнѣ обращаетесь? Мнѣ до всего этого нѣтъ рѣшительно никакого дѣла, —брезгливо отвѣтилъ Шанцеръ, пожавъ плечомъ.

— Въдь правда, Лапочка, при чемъ же тутъ Монсей Григорьевичъ?—сдержанно замѣтила Зинаида Аркадьевна.

Новицкая осѣклась, и обѣ онѣ поспѣшили къ своимъ фанзамъ.

Пришелъ нашъ главный врачъ. Онъ приказалъ денщикамъ продолжать вносить вещи въ фанзу. Султановъ своимъ лѣнивымъ небрежнымъ голосомъ обратился къ нему:

— Гораздо лучше, подѣлимъ деревню пополамъ. Намъ эта улица, вамъ,—та.

— Покорно васъ благодарю! Не хотите-ли наоборотъ?—отвѣтилъ Давыдовъ, еле сдерживая негодованіе.—Въ тѣхъ фанзахъ я-бы, по крайней мѣрѣ, постѣснился помѣстить даже собакъ!

Наконецъ, все какъ будто уладилось. Мы устраивались въ своей фанзѣ, распаковывали вещи. Вдругъ на нашемъ дворѣ появилась Зинаида Аркадьевна съ унтеръ-офицеромъ, начальникомъ караула. Она суетливо ходила по двору и все осматривала.

— Здѣсь былъ полевой телеграфъ? Такъ эта фанза тоже наша! Какъ же ты имъ не сказалъ?

— Мнѣ, барышня, было приказано охранять только тѣ фанзы.

— Нѣтъ, и эту, не выдумывай, пожалуйста! Мнѣ самъ генералъ сказалъ, самъ все показывалъ... Какой же ты начальникъ караула? Я на тебя пожалуюсь корпусному командиру!

Она ушла съ нимъ въ калитку къ своимъ фанзамъ. Черезъ минуту унтеръ-офицеръ, приложивъ руку къ козырьку, подошелъ къ Давыдову, слѣдившему за водруженіемъ госпитальныхъ шатровъ.

— Ваше высокоблагородіе, прикажите очистить ваши фанзы,—почтительно сказалъ онъ.—А то я буду отвѣчать передъ ихъ высокопревосходительствомъ.

Главный врачъ вспыхнулъ, какъ зарево.

— Скажи твоему высокопревосходительству,—произнесъ онъ рѣзко и раздѣльно,—что я насильно занялъ эти фанзы. Пошелъ прочь!

Отъ Султанова . прибѣжалъ другой солдатъ и заявилъ, что вышло недоразумѣніе, что Султанову довольно его фанзъ. Шанцеръ былъ въ восхищеніи отъ отвѣта нашего главнаго врача.

— Великолѣпно! Великолѣпно!—повторялъ онъ.—За этотъ отвѣтъ ему можно многое простить!

Султановцы устроились съ полнымъ комфортомъ. Самъ Султановъ, Новицкая и Зинаида Аркадьевна взяли себѣ по отдѣльному просторному помѣщенію; отдѣльное помѣщеніе получили четыре младшихъ врача, отдѣльное—хозяйственный персоналъ. Мы всѣ вповалку размѣстились на глиняныхъ лежанкахъ двухъ нашихъ тѣсныхъ грязныхъ фанзъ.

Вечеромъ передъ султановскими воротами стояла коляска корпуснаго командира и шарабанъ его адъютанта, привезшаго Султанову приглашеніе на ужинъ къ корпусному. Вышелъ Султановъ, вышли разрядившіяся, надушенные, Новицкая и Зинаида Аркадьевна; онѣ сѣли въ коляску и покатали въ сосѣднюю деревню,

На дворѣ стоялъ подъ ружьемъ солдатъ-поварь, испортившій къ султановскому обѣду пирожное.

Для больныхъ у насъ разбили шатры. Но по ночамъ бывало ужъ очень холодно. Главный врачъ отыскалъ нѣсколько фанзъ, попорченныхъ меньше, чѣмъ другія, и сталъ отдѣлывать ихъ подъ больныхъ. Три дня надъ фанзами работали плотники и штукатуры нашей команды.

Помѣщенія были готовы, мы собирались перевести въ нихъ больныхъ изъ шатровъ. Вдругъ новый приказъ: всѣхъ больныхъ немедленно эвакуировать на санитарный поѣздъ, госпиталямъ свернуться и идти—

намъ въ деревню Суятунъ, султановскому госпиталю-- въ другую деревню. Всѣ мы облегченно вздохнули: Слава Богу! будемъ стоять отдѣльно отъ Султана!

Утромъ на зарѣ мы двинулись. Весь нашъ корпусъ переводился съ праваго фланга въ центръ. По дорогамъ сплошными массами тянулись пѣхотныя колонны, обозы, батареи и парки. То и дѣло происходили остановки.

Во время одной такой остановки насъ нагнала кучка китайцевъ, связанныхъ между собою за косы. Кругомъ шли солдаты съ винтовками, въ фуражкахъ съ бѣлыми околышами. Они присѣли на бугорокъ отдохнуть.

— Это что за китайцы?—спросили мы конвойныхъ.

— Извѣстно, кто,—хунхузы!

Китайцы сидѣли молча; при движеніи ихъ связанные косы туго натягивались. Одинъ, совсѣмъ молодой, съ любопытствомъ смотрѣлъ по сторонамъ; у другого нижняя губа угрюмо отвисла; третій сидѣлъ съ равнодушнымъ, сосредоточеннымъ лицомъ.

Подошли два артиллериста.

— А-а, шибко знакомъ!—воскликнули они, кивая сѣдому китайцу.

У старика была жидкая косичка и рѣдкая, сѣдая борода клиномъ; тусклые глаза съ красными вѣками слезились, подъ носомъ было мокро. Онъ сидѣлъ на корточкахъ, оскаливъ сжеванные зубы, и щурился отъ солнца; казалось, будто онъ улыбается.

— Вы его знаете?—спросилъ я артиллеристовъ.

— Да какъ-же! Онъ изъ той деревни, гдѣ мы стояли. Ихъ всѣхъ, китаевъ, приказано было выселить, а у него только-что старуха померла. Онъ потихоньку назадъ пришелъ съ двумя сынами, старуху хоронить. Мы имъ сколько разъ хлѣба давали.

— Стали его съ сынами ловить, еще шестерыхъ нашли,—вздохнуть одинъ изъ конвойныхъ.—Ротный

велѣлъ въ штабъ дивизіи отвѣсть, а гдѣ его теперь отыщешь, штабъ-то? Никто не знаетъ.

Мы пришли въ деревню Суятунъ. Она лежала за четверть версты на востокъ отъ станціи. Деревня, по обычному, была полуразрушена, но китайцевъ еще не выселили. Надъ низкими глиняными заборами повсюду мелькали плоскіе цѣпы и обмотанныя черными косами головы: китайцы спѣшно обмолачивали каолянъ и чумизу.

Намъ, младшимъ врачамъ, удалось найти маленькую, брошенную китайцами фанзу, гдѣ мы поселились отдѣльно. Это было, какъ свѣтлое избавленіе, — не видѣть передъ собою постоянно главнаго врача и смотрителя.

Къ вечеру съ восточной стороны въ деревню вошла кучка связанныхъ за косы китайцевъ; кругомъ шли солдаты съ винтовками, въ фуражкахъ съ бѣлыми околышами.

— Ваше благородіе, не знаете, гдѣ штабъ ** дивизіи?

— Не знаю... Это мы съ вами сегодня утромъ разговаривали за желѣзною дорогою?

Солдаты узнали меня.

— Такъ точно!

— Это вы съ тѣхъ поръ все ходите?!

— Съ пяти часовъ утра ходимъ... Кого ни спросишь, никто не знаетъ.

У солдатъ были голодные, измученные и озлобленные лица. Китайцы смотрѣли равнодушно и безстрастно: близко-связанные косы мѣшали имъ ворочать головами; чтобъ было по-свободнѣе, они старались стать другъ къ другу затылками.

Мы напоили всѣхъ чаемъ съ хлѣбомъ, и въ сумеркахъ они побрели дальше, не зная, куда.

Къ ночи пошелъ дождь, стало очень холодно. Мы попробовали затопить *кханы*, — широкія лежанки, тя-

нувшіяся вдоль стѣнъ фанзы. Тѣдкій дымъ каоляновыхъ стеблей валилъ изъ трещинъ лежанокъ, валилъ назадъ изъ топки; отъ вмазаннаго въ сѣняхъ котла шелъ жирный чадъ и мѣшался съ дымомъ. Болѣла голова. Дождь хлесталъ въ рваныя бумажныя окна, лужи собирались на грязныхъ подоконникахъ и стекали на кханы.

У насъ сидѣлъ заблудившійся офицеръ-стрѣлокъ, застигнутый ночью и непогодой. Онъ пилъ чай съ ромомъ и рассказывалъ, что слухи о мирѣ оказались невѣрными, что рѣшено воевать дальше. А идетъ суровая зима, а полушубковъ все не высылаютъ. Стрѣлки у нихъ рады ужъ тому, что недавно получили назадъ шинели: лѣтомъ, въ виду ихъ тяжести и стоящихъ жаровъ, шинели были отобраны. Въ арміи нѣтъ ни снарядовъ, ни припасовъ. Харбинскій складъ снарядовъ весь истерпанъ, приходится разсчитывать только на подвозъ изъ Россіи. Страна опустошена, фанзы разрушены; черезъ пару мѣсяцевъ не будетъ ни жилищъ, ни дровъ, ни фуражу. Повторится двѣнадцатый годъ, только мы будемъ въ роли французовъ.

Вѣтеръ билъ дождемъ въ рваныя бумажныя окна, было холодно, сыро и угарно.

Китайцы упорно сосредоточенно продолжали работать на своихъ опустошенныхъ дворахъ. Они льстиво заговаривали съ нами, заявляли, что „русска капитана шибко шанго (очень хорошіе)“ а „русска солдата хунхуза (разбойники)“, показывали намъ свои разграбленныя фанзы—и опять принимались за работу, молотили и вѣяли. И всю ночь напролетъ слышенъ былъ стукъ ихъ плоскихъ цѣповъ.

Кругомъ, по всей широкой мукденской равнинѣ, по полямъ и деревнямъ, шелъ огромный, организованный, равнодушно-бездушный разбой. На поляхъ всюду зе-

ленѣли ряды фуръ, грузившія копны каоляна и чумизы, груженныя фуры вереницами двигались по дорогамъ. Въ интендантствахъ выросли гигантскіе, въ десятки сажень длиною, ометы каоляновой, чумизной и рисовой соломы. Я спрашивалъ наблюдавшихъ за сборомъ фуража офицеровъ и чиновниковъ, платятъ-ли они за забираемый фуражъ.

Одни уклончиво отвѣчали, что, разумѣется, платятъ, если находится хозяинъ; но только большая часть китайцевъ уже разбѣжалась; при томъ, всѣ эти китайцы удивительные подлецы: на каждую копну и каждое дерево заявляется по десятку хозяевъ, цѣны запрашиваютъ нахальнѣйшія.

Другіе чиновники и офицеры, болѣе откровенные, лукаво смѣялись на мой вопросъ и отвѣчали:

— Платимъ, да: „по справочной цѣнѣ“...

„По справочной цѣнѣ“—это стало общеупотребительнымъ въ арміи терминомъ для обозначенія дарового пріобрѣтенія.

Отъ насъ также то и дѣло выѣзжалъ на фуражировку обозный унтеръ-офицеръ съ шестью-восемью фурами. Близъ нашей обозной стоянки постепенно выросли стожки и ометы фуража. Однажды солдаты воротились съ фуражировки смущенные, испуганные, и сообщили, что по нимъ стрѣляли хунхузы: они заѣхали въ деревню, гдѣ не было русскихъ войскъ; въ то время, какъ солдаты грузили чумизную солому, по нимъ раздалось два выстрѣла. Наши сообщили проѣзжавшимъ казакамъ, тѣ поскакали въ деревню, китайцы разбѣжались и попрятались. Казаки поймали мальчика, стали бить его нагайками, чтобы онъ указалъ, кто стрѣлялъ, но ничего не добились. Смотритель поднесъ фуражирамъ водки. Съ этой поры они стали выѣзжать съ винтовками.

Въ нашей деревнѣ по обычному шныряли по фанзамъ солдаты всевозможныхъ частей, тащили все, что

приглянется. Шли къ работающимъ китайцамъ, на ихъ глазахъ насыпали въ ведра намолоченныя, отвѣянные зерна и уносили. Китайцы вопили, размахивали руками, бѣжали жаловаться къ проходящимъ и проѣзжающимъ „капитанамъ“. Одни „капитаны“ возмущались, отбирали у солдатъ зерно, грозили отдать ихъ подъ судъ. Другіе съ лѣнливою усмѣшкою совѣтовали солдатамъ-мароде-рамъ:

— Дайте ему, братцы, по мордѣ, тогда успокоится.

А черезъ полчаса надъ низкими глиняными ограда-ми опять мелькали въ воздухѣ плоскіе цѣпы, и равномерно двигались желтолицыя головы съ обмотанными во-кругъ черными косами. И было раздражающе-непо-нятно, для чего они продолжаютъ, почему не бро-сать?

Но неужели-же высшее начальство ничего не знало о творившемся и не принимало никакихъ мѣръ? О, нѣтъ. Оно принимало очень опредѣленные и рѣшитель-ныя мѣры. Въ нашей деревнѣ, напр., на глиняной стѣнѣ красовалось крупно отпечатанное объявленіе слѣду-ющаго содержанія:

Тыловой районъ * * армейскаго корпуса.

(Приказаніе войскамъ маньчжурской арміи 17 октября 1904 года,
№ 34)

„Разрушеніе построекъ и уносъ утвари строго воспрещается. Виновиные въ нарушеніи этого требованія будутъ арестованы и подвергнуты законной отвѣтственности.“

Солдаты, проходя мимо съ награбленными вещами, охотно останавливались передъ этимъ объявленіемъ и для упражненія въ грамотѣ перечитывали его съ боль-шимъ стараніемъ.

Самъ Куропаткинъ всѣми силами старался укротить бушевавшій грабежъ и усердно выпускалъ бумажку

за бумажкою. Впрочемъ, винилъ онъ во всемъ однихъ только нижнихъ чиновъ.

Въ приказаніи отъ 7 сентября 1904 года, за № 547, Куропаткинъ писалъ:

„До свѣдѣнія командующаго Арміею доходить, что, съ движеніемъ Арміи на сѣверъ, стали появляться случаи самоуправства и незаконныхъ дѣйствій воинскихъ нижнихъ чиновъ въ отношеніи жителей и ихъ имущества, чѣмъ населеніе озлобляется, и портятся добрыя между жителями и войсками отношенія, съ большимъ трудомъ уже много лѣтъ и до сего времени поддерживаемыя; населеніе покидаетъ свои деревни и разбѣгается по окрестностямъ. Командующій Арміею съ чрезвычайнымъ огорченіемъ принимаетъ эти сообщенія, которыя готовы колебать его бывшее до сего времени спокойное сознаніе того, что войска, ввѣренныя его командованію, своимъ отличнымъ и правильнымъ поведеніемъ непоколебимо всегда поддержать ту прекрасную репутацію, которую они уже установили въ числѣ всѣхъ (?)“

Въ приказаніи отъ 22 сентября 1904 г. (№ 614) предписывается немедленно уплачивать жителямъ за порченныя поля и строенія, а въ случаѣ отсутствія владѣльцевъ составлять акты о размѣрахъ причиненныхъ убытковъ.

Приказаніе отъ 8 октября 1904 г. (№ 640):

„До командующаго Арміею доходятъ свѣдѣнія, что проходящіе эшелоны, фуражиры, артельщики и команды войскъ, забирая фуражъ и продукты у жителей, или вовсе не платятъ денегъ, или даютъ крайне недостаточную плату; при этомъ нижніе чины, чтобы не быть узванными, снимаютъ погоны съ рубахъ.—Командующій Арміею вновь приказалъ подтвердить начальникамъ всѣхъ степеней принять самыя энергичныя и дѣйствительныя мѣры къ наблюденію за людьми и поддержанію въ частяхъ самага строгаго внутренняго порядка“.

Но начальники съ принятіемъ „энергичныхъ и дѣйствительныхъ мѣръ“ не торопились. 2 февраля 1905 года главнокомандующій писалъ генералу А. А. Бильдерлингу, временно командовавшему третьей арміей (№ 1441):

„Неоднократно въ приказахъ моихъ и отдѣльныхъ предписаніяхъ я обращалъ вниманіе начальствующихъ лицъ на необходимость привить войскамъ строго-законное отношеніе къ мѣстному населенію и его имуществу. Доброе отношеніе войскъ къ мѣстному населенію, существовавшее въ первое время кампаніи, засимъ, къ сожалѣнію, сильно измѣнилось. Въмѣсто правильныхъ фуражировокъ съ точнымъ учетомъ забраннаго для немедленной расплаты либо съ жителями, либо, въ случаѣ ихъ отсутствія, съ китайской администраціей, войска хищнически относятся къ имуществу населенія, отправляясь на фуражировки произвольно, безъ вѣдома ближайшаго начальства, забирая продукты безъ всякаго контроля. Многое изъ забраннаго непронзводительно уничтожается, берется все то, что въ данную минуту подъ рукой, и сами селенія въ нѣсколько дней обращаются въ развалины. Помимо того, что, при подобныхъ условіяхъ, край, занятый нами, даетъ намъ лишь ничтожную долю того, что могъ бы дать, если бы дѣло эксплуатаціи его было поставлено сколько-нибудь правильно, отношеніе мѣстнаго населенія къ намъ становится все хуже и хуже.“

Вотъ что творилось на мѣстѣ, вотъ что писалъ Куропаткинъ, — а вотъ что сообщали русской публикѣ корреспонденты:

„Изъ Мукдена *Руси* телеграфируютъ: Русскія власти аккуратно платятъ убытки, причиненные китайцамъ войсками. Русское правительство платитъ китайцамъ рѣшительно за всѣ убытки, давая цѣну около 45 рублей за десятину потравы. Платимъ мы и за попорченныя фанзы и другія постройки“ (*Русс. Вѣд.* 1904, № 288).

Здѣсь, читая подобныя сообщенія, всѣ хотали, а я, причастный къ писательству, краснѣлъ за безстыдство русскихъ перьевъ.

Меня сильно интересовало, какъ было поставлено дѣло съ китайцами у японцевъ. Узнать это было трудно, — мало кому изъ нашихъ удавалось побывать въ мѣстностяхъ, занятыхъ японцами. Но тѣ, которые тамъ были, напр., участники мищенковскихъ набѣговъ, рассказывали вотъ что: японцы безпощадно расправлялись съ китайцами, нарушавшими ихъ постановленія; забирали у нихъ реквизиціоннымъ путемъ провіантъ и фуражъ, платя обычныя въ мирное время среднія цѣны. Былъ жестокий законъ. Но—былъ законъ. Деревни (разумѣется, не на позиціяхъ) стояли цѣлыя, кумирни—нетронутыя; фанзы были не разграблены и не разрушены, китайцы жили на мѣстахъ. У японцевъ царилъ жестокий законъ, у насъ—распушенная анархія, развращавшая всѣхъ, отъ генерала до рядового. Во время мукденскаго отступленія одинъ интеллигентный китаецъ говорилъ мнѣ:

— Почему васъ все время бьютъ? Потому что вы пріѣхали сюда не воевать, а грабить.

Нашъ главный врачъ, смотритель со своимъ помощникомъ и письмоводитель цѣлыми днями сидѣли теперь въ канцеляріи. Считали деньги, щелкали на счетахъ, писали и подписывали. Въ отчетности оказалось что-то неладное, концы съ концами не сходились.

Къ намъ иногда забѣгали помощникъ смотрителя Давидъ Соломоновичъ Брукъ и письмоводитель Иванъ Александровичъ Брукъ. Они были родные братья, евреи, оба заурядъ чиновники. Младшій, Иванъ, очень хорошенькій и очень трусливый мальчикъ, былъ крещеный. Спать онъ всегда ложился съ револьверомъ,

ужасно боялся хунхузовъ, больше же всего боялся попасть въ строй.

— То-есть, вы понимаете! Въдь у насъ тамъ форменный грабежъ!—взволнованно рассказывалъ онъ намъ.—Фальшивые счета, воровство, подложныя вѣдомости... И представьте себѣ, они меня отъ всего хотятъ устранить! Я—дѣлопроизводитель, а составить отчетную вѣдомость на фуражъ главный врачъ приглашаетъ дѣлопроизводителя сосѣдняго полка!...

И онъ сидѣлъ,—блѣдный, съ бѣгающими глазами, съ злобно-унылою складкою въ губахъ.

— Но только пусть попробуютъ. У меня на нихъ есть одинъ документикъ. Давыдовъ далъ китайцу три рубля, чтобы онъ подписался подъ счетомъ въ 180 рублей, а тотъ по-китайски написалъ: „три рубля получилъ“; мнѣ это другой китаецъ перевелъ... Пусть попробуютъ! Но только, вы понимаете, какіе они подлецы! Сейчасъ въ строй меня переведутъ! И они отлично знаютъ, что я этого боюсь...

Съ позицій въ нашу деревню пришелъ на стоянку пѣхотный полкъ, давно уже бывший на войнѣ. Главный врачъ пригласилъ къ себѣ на ужинъ дѣлопроизводителя полка. Это былъ толстый и плотный чинуша, какъ будто вытесанный изъ дуба; онъ дослужился до титулярнаго совѣтника изъ писарей. Нашъ главный врачъ, всегда очень скупой, тутъ не пожалѣлъ денегъ и усердно угощалъ гостя виномъ и ликерами. Подвыпившій гость рассказывалъ, какъ у нихъ въ полку ведется хозяйство,—рассказывалъ откровенно, съ снисходительною гордостью опытнаго мастера.

— Изъ обозныхъ лошадей двадцать двѣ самыхъ лучшихъ мы продали и показали, что пять сбѣжало, а семнадцать подошло отъ непривычнаго корма. Помѣтили: „протоколовъ составлено не было“. Подпись командира полка.. А сейчасъ у насъ числится на довольствіи восемнадцать несуществующихъ быковъ.

Главный врачъ враждебно покосился на смотрителя.

— Видите? — раздраженно сказалъ онъ. — А наши существовавшіе три быка не были записаны на довольствіе!

Дѣлопроизводитель рассказывалъ долго. Главный врачъ и смотритель жадно слушали его, какъ ученики — талантливаго, увлекательнаго учителя. Послѣ ужина главный врачъ велѣлъ обоимъ Брукамъ уйти. Онъ и смотритель остались съ гостемъ наединѣ.

Младшій Брукъ зашелъ къ намъ, унылый и злой, съ сѣро-зеленымъ лицомъ.

— Пусть теперь пришлютъ за мною, ни за что не приду! — повторялъ онъ, въ задумчивости бѣгая глазами.

Онъ взялъ фонарикъ и ушелъ на другой конецъ деревни, въ гости къ сестрамъ.

— Дурень этакій! — смѣялся Шанцеръ. — Онъ думаетъ, его устраняютъ, прячутся отъ него, чтобы съ нимъ не дѣлиться. А не сообразить, что дѣлиться съ нимъ, все равно, не стануть; бояться они его, фитюльку! А устраняютъ просто потому, что ненуженъ: что онъ понимаетъ въ этомъ серьезномъ дѣлѣ?..

Часа черезъ два главный врачъ, смотритель и гость перешли пить чай изъ фанзы главнаго врача въ помѣщеніе хозяйственнаго персонала; оно было въ той-же фанзѣ, гдѣ жили мы, врачи, и отдѣлялось отъ насъ сѣнями. За чаемъ пошли уже общіе разговоры. Слышался громкій, полный голосъ смотрителя, сильный и какъ будто придушенный голосъ главнаго врача.

— Портъ-Артуръ во всякомъ случаѣ продержится еще съ полгода. Скоро прибудетъ шестнадцатый корпусъ, тогда, Богъ дастъ, маньчжурская армія перейдетъ въ наступленіе...

Мы прислушивались и посмѣивались. Шанцеръ возмущался прямо эстетически.

— И что имъ, ворами, до наступленія маньчжурской арміи?! Какъ они могутъ объ этомъ говорить и

смотреть другъ другу въ глаза?... И я не понимаю: вѣдь вотъ, Давыдовъ каждый мѣсяцъ посылаетъ женѣ по полторы, по двѣ тысячи рублей; она-же знаетъ, что жалованія онъ получаетъ рублей пятьсотъ. Что онъ ей скажетъ, если жена спроситъ, откуда эти деньги? что будетъ дѣлать, если объ этомъ случайно узнаютъ его дѣти?

— Наивный вы человекъ!—вдохнулъ Селюковъ и сталъ раздѣваться.

Въ первомъ часу ночи, когда мы уже были въ постеляхъ, къ намъ зашелъ старшій Брукъ, помощникъ смотрителя. Только Шанцеръ сидѣлъ за столомъ и писалъ письма. Часа полтора Брукъ рассказывалъ Шанцеру о сегодняшнихъ бесѣдахъ, и оба они хохотали, сдерживаясь, чтобы не разбудить Селюкова и Гречихина.

— Но вы понимаете!—рассказывалъ Брукъ.—Слушаю я ихъ,—форменное сборище какихъ-то темныхъ личностей, мошенниковъ! За каждый изъ ихъ поступковъ полагается по нѣскольку лѣтъ Сибири! И этотъ дѣлопроизводитель: опытнѣйшій жуликъ, и важный такой! Не заурядъ-чиновникъ, какъ мы, а титулярный совѣтникъ.

— Ха-ха-ха!... *Восемнадцать несуществующихъ быковъ на довольствіи!*--покатывался Шанцеръ.

— Вчера мнѣ Давыдовъ говорить: „вы слышали про госпитали, которые смѣнили насъ въ Мукденѣ? За время боя черезъ нихъ прошло десять тысячъ раненныхъ. Если бы насъ тогда оставили въ Мукденѣ, мы съ вами были бы теперь богатыми людьми“... Я ему говорю: да-а, *мы* съ вами...

Шанцеръ хохоталъ.

— Нѣтъ, батенька, въ самомъ дѣлѣ, чего-же вы то смотрите? Они себѣ набиваютъ карманы, а вы зѣбаете!

— А сегодня мнѣ Давыдовъ говорить: плохо дѣло,

во всемъ у насъ перерасходъ, какъ-то мы сведемъ концы съ концами!

И оба они хохотали, сдерживали хохотъ и говорили другъ другу: „тише, разбудимъ!“

— Мнѣ жинка моя передъ отъѣздомъ говорила, — юмористически-задумчиво сказалъ Брукъ: — смотри, Давидъ, не подписывай фальшивыхъ счетовъ, не попадай подъ судъ. Только воротись цѣль, а деньги на хлѣбъ всегда заработаешь.

— Вы еще ни одного фальшиваго счета не написали?

Брукъ съ плутовато-огорченнымъ видомъ вздохнулъ.

— Одинъ заставили написать. Въ Мукденѣ ужъ очень много говорили про овесъ главнаго врача. Чтобъ зажать ротъ Султанову, онъ продалъ ему триста пудовъ по 1 р. 40 к., а мнѣ велѣлъ написать счетъ на 1 р. 80 к. Я было отказался, мнѣ Давыдовъ сказалъ: „ну, что вамъ стоитъ! Не все равно? Отчего не оказать любезность Султанову?..“ А Султановъ тоже мошенникъ порядочный. Штабу нашей дивизіи очень былъ нуженъ овесъ, Султановъ ему перепродалъ сто пудовъ. „Давыдовъ, — говоритъ, — вы знаете, какой гешефтмахеръ, содралъ съ меня по 1 р. 80 к. — ну, я вамъ, себѣ въ убытокъ, уступлю по 1 р. 60 к.“

— Да, батенька, вѣхали вы въ грязную исторію!

— Но вы понимаете, я не думалъ, что братишка мой такой жуликъ! Онъ всѣмъ этимъ возмущенъ только потому, что его отстраняютъ отъ дѣлежки!...

Брукъ скорбно задумался. Шанцеръ хохоталъ, сдерживаясь, чтобъ не было слышно.

Съ позицій то и дѣло доносились пушечная канонада. Происходили частичныя наступленія, ночныя атаки, иногда разносилась вѣсть, что начинается по-

вый бой. Солдаты мерзли въ окопахъ. По ночамъ морозы доходили до 8—9°, лужи замерзали. Полушубковъ все еще не было, хотя по приказу главнокомандующаго они должны были быть доставлены къ 1 октября. Солдаты поверхъ шинелей надѣвали китайскіе ватные халаты свѣтлосѣраго цвѣта; видъ солдатъ былъ смѣшонъ и страненъ, японцы изъ своихъ окоповъ издѣвались надъ ними. Офицеры съ завистью рассказывали, какіе хорошіе полушубки и фуфайки у японцевъ, какъ тепло и практично одѣты захватываемые плѣнные.

Въ концѣ октября полушубки, наконецъ, пришли. Интенданты были очень горды, что опоздали съ ними всего на мѣсяцъ: въ русско-турецкую войну полушубки прибыли въ армію только въ маѣ ¹⁾).

Дней черезъ пять послѣ прихода въ Суятунь намъ приказано было развернуться. Поставили мы три нашихъ госпитальныхъ шатра, но въ нихъ было холодно, какъ въ ледникѣ, больные и раненые зябли. Опять принялись за отдѣлку фанзъ.

Раненыхъ привозили мало, прибывали больше больные. Прибывали они съ сильно запущенными ревматизмами, бронхитами, дизентеріей: ноги у всѣхъ были опухшія отъ долгаго и неподвижнаго сидѣнія въ окопахъ. Больныхъ отправляли въ госпитали съ большою неохотою; солдаты рассказывали: всѣ сплошь страдаютъ у нихъ поносами, ломота въ суставахъ, кашель бьетъ непрерывно; просится солдатъ въ госпиталь, полковой

¹⁾ Впрочемъ, какъ впоследствии выяснилось, особенно гордиться было нечего: большое количество полушубковъ пришло въ армію даже не въ маѣ, а *черезъ годъ послѣ заключенія мира!* „Новое Время“ сообщало *въ ноябрѣ 1906 года*: „Въ Харбинѣ за послѣднее время продолжаютъ прибывать какъ отдѣльные вагоны, такъ и цѣлые поѣзда грузовъ интендантскаго вѣдомства, состоящихъ главнымъ образомъ изъ теплой одежды. Грузы эти были отправлены изъ Россіи въ дѣйствующую армію еще во время стоянія послѣдней на Шахе, но до сихъ поръ гдѣ-то блуждали“.

врачъ говоритъ: „ты притворяешься, хочешь удрать съ позицій“. И отправляли въ госпиталь только тогда, когда больного приходилось нести уже на носилкахъ.

Однажды вечеромъ въ нашу деревню пришелъ съ позицій на отдыхъ пѣхотный полкъ. Солнце сѣло, западъ былъ ярко-оранжевый, на мокрой землѣ ужъ лежала темнота. Ряды черныхъ фигуръ въ косматыхъ папахъ, съ иглами штыковъ, появлялись на невысокомъ холмѣ, вырѣзывались на огнѣ зари, спускались внизъ и тоули во мракъ; надъ чернымъ горизонтомъ двигались дальше только черныя папахи и острый лѣсъ винтовокъ. Солдаты шли страннымъ шатающимся шагомъ, и непрерывный кашель вился надъ полкомъ. Это былъ сплошной сухо-прыгающій шумъ, никогда я не слышалъ ничего подобнаго! И мнѣ стало понятно: вѣдь всѣхъ этихъ солдатъ, *всѣхъ сплошь*, нужно положить въ госпиталь; если отправлять заболѣвающихъ, то отъ полка останется лишь нѣсколько человекъ. И вотъ, значить,—сиди въ окопахъ больной, стынь, мокни, пока хватаетъ силъ, а тамъ уходи калѣкою на всю жизнь. И въ этомъ чувствовалась жуткая, но желѣзно-последовательная логика: если людей бросаютъ подъ вихрь буравящихъ насквозь пуль, подъ снаряды, рвущіе тѣло въ куски, то почему-же останавливаться передъ безвозвратно ломающею болѣзнью? Мѣрка только одна, — годенъ-ли еще человекъ въ дѣло. А дальше все равно.

И вотъ, постепенно и у врача создавалось совсѣмъ особенное отношеніе къ больному. Врачъ сливался съ цѣлымъ, переставалъ быть врачомъ и начиналъ смотреть на больного съ точки зрѣнія его дальнейшей пригодности къ „дѣлу“. Скользкій путь. И съ этого пути врачебная совѣсть срывалась въ обрывы самого голаго военно-полицейскаго сыска и поразительнаго бездушія.

Армія стала наводняться выписанными изъ госпиталей солдатами, совершенно негодными къ службѣ. Возвращали въ строй солдатъ, еле еще ходившихъ

послѣ перенесеннаго тифа; возвращали хромыхъ, задыхающихся, съ прострѣленною навылеть грудью, могущихъ съ трудомъ поднять сведенную отъ раны руку до уровня плеча. Наконецъ на это обратило вниманіе даже военное начальство. Въ декабрѣ мѣсяцѣ Военно-Полевому Медицинскому Управленію пришлось выпустить циркуляръ (№ 9060) такого содержанія: „Главкомандующій изволилъ замѣтить, что въ части войскъ въ большомъ количествѣ возвращаются изъ госпиталей нижніе чины, — либо совершенно негодные къ службѣ, либо еще не оправившіеся отъ болѣзней“. Въ виду этого врачебнымъ учрежденіямъ рекомендовалось быть впредь болѣе осматрительными при выпискѣ больныхъ.

Главкомандующій изволилъ замѣтить... Но какъ же этого не „изволило замѣтить“ военно-медицинское начальство? Какъ этого не „изволили замѣтить“ сами врачи? Военнымъ генераламъ приходилось обучать врачей внимательному отношенію къ больнымъ!

Въ нашей канцеляріи, подѣ руководствомъ полкового дѣлопроизводителя, съ утра до ночи кипѣла темная работа. Составлялись отчетныя вѣдомости, фабриковались счета. Если для подписанія счета не находили китайца, то поручали сдѣлать это старшему писарю; онъ скопировывалъ нѣсколько китайскихъ буквъ съ длинныхъ красныхъ полосокъ, въ обиліи украшавшихъ стѣны любой китайской фанзы.

Смотритель первничалъ. Онъ задумывался; въ разговорѣ часто терялъ нить; старался показать, что рѣдко заглядываетъ въ канцелярію.

— Состояніе, какъ у только-что павшей дѣвицы, — объяснялъ Селюковъ. — Съ одной стороны, — ей пріятно, она и завтра пойдетъ на свиданіе; съ другой стороны, неловко какъ-то на душѣ, тоже и за послѣдствія страшно.

Младшій Брукъ былъ унылъ, золъ, дулся на глав-

наго врача и смотрителя. Онъ всячески старался имъ показать, что „знаетъ ихъ продѣлки“. Заноса въ книгу какой-нибудь фальшивый счетъ, Брукъ вдругъ за-
являлъ:

— Да этотъ счетъ подписывать нашъ старшій пи-
сарь!

Главный врачъ равнодушно бралъ въ руки счетъ и
разсматривалъ его.

— Развѣ?... Какъ искусно подписался,—совсѣмъ,
какъ китаецъ!

Вечеромъ, лежа въ кровати рядомъ съ смотрителемъ,
Брукъ говорилъ:

— Главный врачъ увѣряетъ, что у насъ въ госпи-
талѣ совсѣмъ нѣтъ экономическихъ суммъ. А почему
ихъ нѣтъ? Недавно главный врачъ положилъ себѣ въ
карманъ двѣ тысячи рублей.

— Что-о?... —Смотритель удивленно выкатывалъ глаза
и садился на своей кровати.—Откуда вы это знаете?
Такія обвиненія можно высказывать, только имѣя дока-
зательства. Я завтра спрошу Григорія Яковлевича,
правда это или нѣтъ.

Душа Брука уходила въ пятки. Онъ блѣднѣлъ и
начиналъ объяснять, что, можетъ быть, ему это только
такъ показалось.

Въ концѣ октября мы получили приказъ сняться и
передвинуться верстъ на восемь на востокъ, въ деревню
Мизантунь. Бросили отдѣланные для больныхъ фанзы,
бросили вырытые для себя солдатами землянки. Перешли
въ Мизантунь. Больныхъ теперь прямо ужъ невысказанно
было держать въ шатрахъ: стояла глубокая, холодная
осень. Принялись за отдѣлку фанзъ, солдаты нарыли
себѣ землянокъ. Вдругъ новый приказъ,—перейти въ
деревню Ченгоузу Западную, версты четыре на сѣверо-
западъ. Опять все бросили и пошли. Солдаты были злы
и раздраженно говорили:

— Рука не заносится что работать!

Раньше они работали дружно и весело; теперь копали, рубили и мазали вяло, сонно, вполне убѣжденные въ бессмысленности своей работы.

Къ каждой дивизіи придается въ военное время по два полевыхъ подвижныхъ госпиталя. Они должны обслуживать свою дивизію и повсюду слѣдовать за нею. Наша армія стояла подъ Мукденомъ съ августа до февраля на одномъ мѣстѣ. Но отдѣльныя войсковыя части то и дѣло передвигались и мѣнялись своими мѣстами. А слѣдомъ за ними передвигались и госпитали. Мы передвигались, вновь и вновь отдѣлывали фанзы подъ больныхъ, наконецъ, развертывались; новый приказъ,—опять свертываемся, и опять идемъ за своею частью. У насъ былъ не полевой подвижной *госпиталь*,—было, какъ острили врачи, просто нѣчто „полевое-подвижное“. Учрежденіе, несомнѣнно, было полевымъ, несомнѣнно было подвижнымъ,—слишкомъ даже подвижнымъ!—но госпиталемъ оно не было. Безъ всякой пользы и толку оно моталось вслѣдъ за дивизіей, исполняя свое никому ненужное бумажное назначеніе.

Армія все время стояла на одномъ мѣстѣ. Казалось-бы,—для чего было двигать постоянно вдоль фронта безчисленные полевые госпитали вслѣдъ за ихъ частями? Что мѣшало разставить ихъ неподвижно въ нужныхъ мѣстахъ? Развѣ было не все равно, попадетъ-ли больной солдатъ единой русской арміи въ госпиталь своей или чужой дивизіи? Между тѣмъ, стоя на мѣстѣ, госпиталь могъ бы устроить многочисленныя, просторныя и теплыя помѣщенія для больныхъ, съ изоляціонными палатами для заразныхъ, съ банями, съ удобною кухней.

Въ томъ сложномъ большомъ дѣлѣ, которое творилось вокругъ, всего настоятельнѣе требовалась живая эластичность организаціи, умѣніе и желаніе при-

норовить данныя формы ко всякому содержанію. Но огромное, властное бумажное чудовище опутывало своими сухими щупальцами всю армію, люди осторожными, робкими зигзагами ползали среди этихъ щупальцевъ и думали не о дѣлѣ, а только о томъ,—какъ бы не задѣть щупальца.

Переѣхали мы въ Ченгоузу Западную. Въ деревнѣ шелъ обычный грабежъ китайцевъ. Здѣсь же стояли два артиллерійскихъ парка. Между госпиталемъ и парками происходили своеобразныя столкновенья. Артиллеристы снимаютъ съ фанзы крышу; на дворѣ изъ грудъ соломы торчатъ бревна переметовъ. Является нашъ главный врачъ или смотритель.

— Вы что это тутъ, фанзы разорять?.. Не знаете приказа главнокомандующаго? Вотъ я васъ сейчасъ-же подь судъ!...

Артиллеристы скрываются, а наши солдаты получаютъ приказаніе подобрать бревна и тащить ихъ въ госпиталь. Офицеры-артиллеристы продѣлывали то же самое съ нашими солдатами.

Холода становились сильнѣе. Временами выпадалъ снѣгъ. Въ Мукденѣ кубическая сажень дровъ стоила семьдесятъ-восемьдесятъ рублей, вскорѣ дошла уже до ста. Разореніе фанзъ приняло грандіозный характеръ. Цѣлыя деревни представляли изъ себя лишь кучи полуразрушенныхъ глиняныхъ стѣнъ. Каждый думалъ только о себѣ. Если воинская часть занимала въ деревнѣ десять фанзъ, то всѣ остальные она пожирала на дрова. Уходя изъ деревни, она разоряла послѣднія фанзы и увозила съ собою деревянныя части. А впереди еще была суровая маньчжурская зима.

Рубились деревья на кладбищахъ. У каждаго китайскаго семейства есть среди его поля свое отдѣльное, неотчуждаемое родовое кладбище: на небольшомъ

квадратномъ участкѣ развѣсистыя осоко́ри наклоняются надъ кучкой жму́щихся другъ къ другу коническихъ могилокъ. Это — величайшая святыня для каждаго кита́йца, неприкосновенное, тихое „благословенное поле“. Въ книгахъ о Китаѣ мы читаемъ: „китаецъ, по винѣ котораго чужеземцы получаютъ возможность вторгнуться въ священную ограду этого поля, считается святотатцемъ. Членъ семьи, по винѣ котораго семья теряетъ этотъ участокъ, предается проклятію, и его имя вычеркивается изъ семейной книги“.

Всею сущностью души китаецъ привязанъ къ этой величайшей для него святынѣ, — лежащему среди его нивы „полю предковъ“. Когда мы стояли въ Мизантунѣ, былъ полученъ приказъ о выселеніи изъ деревни всѣхъ китайцевъ. Выселеніе производилось съ необычно свирѣпостью и бездушіемъ. На сборы было дано... два часа! Казаки съ нагайками въ рукахъ торопили съ укладкой, китайцы спѣшно совали въ корзины что попадало подъ руку.

— Ну, будетъ! Маршъ! — И казаки въ шеи выталкивали китайцевъ изъ фанзъ.

Всѣхъ выселили. Сейчасъ-же нѣсколько стариковъ воротилось назадъ. Ихъ опять выселили. Они опять воротились. И всѣ они умерли на могилахъ предковъ. Одного старика офицеры долго еще видѣли бродящимъ по своему кладбищу. На него махнули рукою. Онъ жилъ въ полѣ, въ убогомъ шалашѣ изъ каоляна, питался бобами, пилъ воду изъ лужи. Послѣ одной сильно морозной ночи его нашли на могилѣ замерзшимъ.

На этихъ тихихъ „благословенныхъ поляхъ“ повсюду стучали теперь русскіе топоры, высокія деревья съ трескомъ валялись на могилы. Вся широкая мукденская равнина на глазахъ обнажалась и превращалась въ голую пустыню. Когда мы пріѣхали, это была цвѣту́щая страна; частыя веселыя деревни прятались въ зелени всюду темнѣли кладбищенскія рощи. Теперь

деревьевъ не было, торчали одни пни. Скучно и мрачно сѣрѣли глиняныя развалины деревень. По полямъ сновали огромныя стаи бездомныхъ, обезумѣвшихъ отъ голода, собакъ. Ночью проходимъ солдатамъ приходилось отбиваться отъ нихъ винтовками. Собаки грызлись между собою, разрывали другъ друга и тутъ-же пожирали. На позиціяхъ онѣ глодали трупы, нападали на неподобранныхъ раненыхъ, въ тылу грызли скелеты китайскихъ покойниковъ.

Китайскіе гробы не закапываются въ землю: ихъ просто ставятъ на-земь, а сверху насыпаютъ коническую могилу. Гробы дѣлаются большіе, крѣпкіе, изъ очень толстыхъ досокъ. Солдаты разрывали могилы, выворачивали крыши и стѣнки гробовъ на топливо, скелеты оставляли непокрытыми. И собаки глодали ихъ. Изъ раскрытыхъ могилъ улыбались пожелтѣвшіе, безглазые черепа съ отвалившимися косами, и скрюченные, темные пальцы высывались изъ истлѣвшихъ, широкихъ синихъ рукавовъ.

Да, все было сдѣлано христоносною Русью, чтобы растоптать и благосостояніе, и самую душу здѣшняго тихаго смирнаго народа мужика. Поруганныя кумирни, оскверненныя могилы, бездушіе и безразличіе ко всему... Какъ будто медленно ползъ по маньчжурскимъ равнинамъ гнилой, все отравляющій, туманъ, полный ужа-сающаго небреженія къ человѣку и тупо-звѣриной дикости. Тамъ, въ далекой Россіи, пѣлись гимны новымъ христовымъ воинамъ въ ихъ великой борьбѣ съ язычествомъ. Здѣсь-же интеллигентные китайцы останавливались передъ творившимся въ полномъ недоумѣніи. Они говорили:

— Мы понимаемъ, война есть война. Но мы не можемъ понять, для чего вамъ нужно осквернять могилы нашихъ отцовъ и ругаться надъ нашими богами.

Въ нашъ госпиталь пріѣхалъ корпусный контролеръ съ своими помощниками и приступилъ къ ревизіи.

Съ утра до поздняго вечера они просидѣли въ канцеляріи съ главнымъ врачомъ и смотрителемъ. Щелкали счеты, слышались слова: „изъ авансовой суммы“, „на счетъ хозяйственныхъ суммъ“, „фуражный листъ“, „приварочное довольствіе“. Свѣряли документы, подсчитывали, слѣдили, чтобъ копейка не разошлась съ копейкою. Главный врачъ и смотритель дѣловито давали объясненія. Все было сбалансировано вѣрно, точно и аккуратно.

Всѣ въ арміи прекрасно знали, что фуражъ, дрова и многое другое забирается войсковыми частями на мѣстѣ даромъ, что въ Мукденѣ китайскія лавочки совершенно открыто торгуютъ фальшивыми китайскими расписками въ полученіи какой угодно суммы. Однако контролеры добросовѣстно разсматривали каждый китайскій счетъ, тщательно подсчитывали, сходятся-ли израсходованныя суммы съ суммами, указанными въ фальшивыхъ счетахъ. Цѣлью такого контроля могло быть только одно,—пріучить армію мошенничать аккуратно. И часы напролетъ люди, съ дѣловитымъ, серьезнымъ видомъ, сидѣли, щелкали счетами, надъ ними рѣялъ на своихъ сухихъ крыльяхъ безликій бумажный богъ и кивалъ имъ съ ласковымъ видомъ сообщника.

Контролеры уѣхали. Главный врачъ и смотрители ходили довольные и веселые. Младшій Брукъ корчился отъ зависти, худѣлъ и задумывался.

Любопытно было наблюдать этого юношу. Чтобъ имѣть отдѣльный уголъ, намъ, врачамъ, пришлось поселиться на другомъ концѣ деревни. Ходить оттуда въ палаты было далеко, и дежурный врачъ свои сутки дежурства проводилъ въ канцеляріи, гдѣ жилъ Иванъ Брукъ. Времени наблюдать его было достаточно.

Стройный и хорошенькій, очень любившій свою красоту, онъ охотно рассказывалъ, какъ женился на

пожилой дочери статскаго совѣтника, какъ крестился для этого.

— И представьте себѣ,—съ недоумѣніемъ и укоромъ говорилъ онъ,—мой самый старшій братъ изъ-за этого порвалъ со мною всякія сношенія! Ну, почему? Когда я такъ хорошо устроился! За женой мнѣ дали въ приданое домикъ,—посмотрѣли бы вы, какой при немъ садъ, какіе въ саду фрукты! Выхлопотали мнѣ мѣсто въ банкѣ, получаю восемьдесятъ рублей жалованія...

Онъ показывалъ намъ всѣ фальшивые документы, рассказывалъ о мошенническихъ продѣлкахъ главнаго врача.

— Вотъ, недавно Давыдовъ привезъ изъ Мукдена документикъ. Посмотрите!

На тонкой китайской бумагѣ было написано: „за проданнаго быка 85 рублей получилъ сполна“,—и слѣдовала китайская подпись.

— Чтожъ, восемьдесятъ пять рублей—это по-божески,—замѣтилъ я.

Глаза Брука заблестѣли весело и лукаво.

— Да, только никакого быка не покупали. Это тотъ быкъ, который уже былъ купленъ раньше. Сначала мы провели его по авансовымъ суммамъ (довольствіе команды), а теперь проводимъ по суточному окладу (довольствіе больныхъ)...

Брукъ весь сіялъ отъ удовольствія, но вдругъ глаза его потухали, и онъ становился злымъ.

— Но вы понимаете, какіе подлецы! Я знаю всѣ ихъ продѣлки, а мнѣ ничего отъ нихъ не перепадаетъ! Помните, въ Суятуни у насъ бывалъ дѣлопроизводитель полка: ему завѣдующій хозяйственною частью платитъ за молчаніе сто рублей въ мѣсяцъ, да еще есть другіе доходы...

— Ваня, будетъ тебѣ!—брезгливо говорилъ его братъ Давидъ.

— Но я свое возьму, пусть они не думаютъ. Я все

намекая главному врачу, что мнѣ его пашни извѣстны. Я нарочно *одолжилъ* у него пятьдесятъ рублей, не отдаю, и нѣсколько разъ намекалъ, что не считаю себя его должникомъ.

— Вотъ жулье! — замѣтилъ Давидъ.

— Кто? Я? — удивился Иванъ.

Давидъ вздохнулъ.

— Да-а, и ты, между прочимъ!

— Нѣтъ, вы поймите: я всѣ ихъ фальшивые счета провожу по книгамъ, а они со мною не дѣлятся!

И Иванъ задумывался.

— Да! Если бы они иначе поставили дѣло, то я воротился бы съ войны богатымъ человекомъ...

Въ его головѣ мало-по малу зрѣлъ планъ.

— Вы знаете, я думаю, главный врачъ стѣсняется, не знаетъ, въ какой формѣ мнѣ предложить, — догадывался онъ. — На дняхъ я буду имѣть съ нимъ объясненіе.

Наконецъ, планъ созрѣлъ. Однажды вечеромъ Брукъ послалъ съ солдатомъ-писаремъ письмо главному врачу такого содержанія:

„Многоуважаемый Григорій Яковлевичъ! Вы не можете не знать, что Вы зарабатываете деньги отчасти благодаря и моей помощи, я былъ бы Вамъ очень признателенъ, если бы Вы хоть часть барышей удѣлили и мнѣ“.

Въ конвертъ, вмѣстѣ съ этимъ письмомъ, Брукъ предусмотрительно вложилъ еще пустой конвертъ, — „можетъ быть, у Давыдова не окажется подъ рукой конверта“. Солдатъ отнесъ письмо главному врачу, тотъ сказалъ, что отвѣта не будетъ.

Брукъ прождалъ въ канцеляріи два часа, потомъ пошелъ къ Давыдову. У него сидѣли сестры, смотритель. Главный врачъ шутилъ съ сестрами, смѣялся, на Брука не смотрѣлъ. Письмо, разорванное въ клочки, валялось на полу. Брукъ посидѣлъ, подобралъ клочки своего письма и удалился.

На слѣдующій день главный врачъ въ канцелярію не пришелъ, на третій, четвертый день--тоже. Брукъ подробно рассказывать намъ всю исторію, замиралъ и волновался.

— Ужасно я боюсь, вдругъ онъ переведетъ меня въ строй.

— Батенька мой, да вѣдь вы сами-же прямо на это идете!--засмѣялся Шанцеръ.

Глаза Брука забѣгали, на побѣлѣвшихъ губахъ мелькнула подленькая улыбка.

— Тогда я на всѣхъ ихъ донесу!--быстро произнесъ онъ.

Воротился старшій Брукъ, ѣздившій въ командировку въ Харбинъ. Главный врачъ призвалъ его, рассказалъ о письмѣ, которое написалъ его братъ, и сказалъ:

— Я разорвалъ письмо, жалѣя васъ. Этотъ мальчишка даже не понимаетъ, что ему грозило за такое письмо. Поговорите съ нимъ и объясните... Что касается „барышей“,—я, дѣйствительно, часть суммъ не показываю въ отчетахъ, а держу ихъ про запасъ, на случай, если на меня окажется пачетъ. Вы знаете, какъ неясны и запутаны военные законы. контроль каждую минуту можетъ признать ту или другую трату незаконной,—и деньги будутъ взыскивать съ меня. Если же начета не окажется, и все кончится благополучно, то послѣ войны я эти суммы подѣлю между всѣми.

Давидъ Брукъ собирался вечеромъ поговорить съ братомъ, но послѣ обѣда Иванъ уѣхалъ съ главнымъ врачомъ въ корпусное казначейство. Давидъ ужасно волновался,—вдругъ Иванъ въ дорогѣ опять заговорить съ главнымъ врачомъ о дѣлежкѣ.

Иванъ вернулся поздно вечеромъ.

— Ты знаешь, я въ дорогѣ поговорилъ съ главнымъ врачомъ,—объявилъ онъ брату.

Давидъ въ ужасѣ всплеснулъ руками.

— Дуракъ ты, дуракъ!

— Ничего не дуракъ, — спокойно возразилъ Иванъ. — Будь покоенъ, я его лучше знаю. Къ Рождеству мнѣ будетъ награда, каждый мѣсяцъ, за усиленные труды по канцеляріи, я буду получать добавочныхъ двадцать пять рублей, и кромѣ того онъ далъ мнѣ понять, что пятьдесятъ рублей, которые я у него одолжилъ, онъ считаетъ моими.

По дорогѣ въ Маньчжурію и здѣсь, въ самой Маньчжуріи, всѣхъ насъ очень удивляло одно обстоятельство. Армія испытывала большой недостатокъ въ офицерскомъ составѣ; раненыхъ офицеровъ, чуть оправившихся, снова возвращали въ строй; эвакуаціонныя коммисіи, по предписанію свыше, съ каждымъ мѣсяцемъ становились все строже, эвакуировали офицеровъ все съ большими трудностями. Здѣсь къ намъ то и дѣло обращались за врачебными совѣтами строевые офицеры, — хворые, часто совсѣмъ больные. Изъ прибывшихъ сюда къ началу войны многіе были до того переутомлены, что, какъ счастья, ждали раны или смерти.

А рядомъ съ этимъ масса здоровыхъ цвѣтущихъ офицеровъ занимала покойныя и безопасныя должности въ тылу арміи. И что особенно удивительно, — на этихъ тыловыхъ должностяхъ офицеры и жалованіе получали гораздо большее, чѣмъ въ строю. Офицеры наполняли интендантства, были смотрителями госпиталей и лазаретовъ, комендантами станцій, этаповъ, санитарныхъ поѣздовъ, завѣдывали всевозможными складами, транспортами, обозами, хлѣбопекарнями. Здѣсь, гдѣ ихъ дѣло легко могли исполнять и чиновники, наличность офицеровъ считалась необходимой. А въ бояхъ ротами командовали заурядъ-прапорщики, т. е. нижніе чины, только на время войны произведенные въ офицеры; для боя специально-военныя познанія офицеровъ какъ будто

не признавались важными. Роты шли въ бой съ культурнымъ образованнымъ врагомъ, — подъ предводительствомъ нижнихъ чиновъ, а въ это время пышящіе здоровьемъ офицеры, специально обучавшіеся для войны, считали госпитальные халаты и торговали въ вагонахъ офицерскихъ экономическихъ обществъ конфетами и чайными печеніями.

Однажды къ намъ въ госпиталь пріѣхалъ начальникъ нашей дивизіи. Онъ осмотрѣлъ палаты, потомъ пошелъ пить чай къ главному врачу.

— Да, поручикъ, вотъ что! — обратился генераль къ смотрителю. — Вы переводитесь въ строй. Главнокомандующій приказалъ на покойныя тыловыя мѣста назначать оправившихся отъ ранъ строевыхъ офицеровъ, а здоровыхъ офицеровъ переводить въ строй. Можете выбрать, въ какой изъ нашихъ полковъ вы хотите перейти.

Смотритель побѣлѣлъ, какъ снѣгъ, колѣнки его задрожали; онъ сразу осунулся и сгорбился.

— Слушаю-съ! — упавшимъ голосомъ отозвался онъ.

— Ваше превосходительство! Ну, куда ему въ строй? — вмѣшался главный врачъ. — Офицеръ онъ никуда не годный, строевую службу совсѣмъ забылъ, при томъ трусъ отчаянный. А смотритель прекрасный... Увѣряю васъ, въ строю онъ будетъ только вреденъ.

Генераль сквозь очки мелькомъ взглянулъ на смотрителя, и въ его глазахъ промелькнула усмѣшка: смотритель сидѣлъ сгорбившись, съ неподвижнымъ взглядомъ, и, видимо, нисколько не былъ задѣтъ указаніемъ на его трусость.

— Офицеръ не можетъ быть трусомъ, — рѣзко сказалъ генераль. — И приказа главнокомандующаго я нарушить не могу. Подумайте и дайте знать въ штабъ, какой вы полкъ выбираете.

— Слушаю-съ! — еще разъ отозвался смотритель.

Генераль уѣхалъ.

Смотритель рѣзко измѣнился. Прежде самодовольный, наглый и веселый, онъ теперь молчаливо сидѣлъ и сосредоточенно думалъ. Приходилъ за распоряженіями фельдфебеля.—смотритель вяло махалъ рукою и отвѣчалъ:

— Дѣлайте, какъ хотите!

Шелъ къ сестрамъ ц, стѣсняя ихъ, цѣлыми часами сидѣлъ у нихъ на тепломъ кханѣ (лежанкѣ). Сидѣлъ, поджавъ по-турецки ноги, мягкій, толстый, и молчалъ. Если начиналъ говорить, то въ такомъ родѣ:

— Когда меня, раненаго, принесутъ къ вамъ въ госпиталь...

Ходилъ онъ теперь сильно сгорбившись, и, какъ параличный старикъ, волочилъ по землѣ свои толстыя ноги въ валенныхъ сапогахъ.

Приказъ главнокомандующаго былъ переданъ и во всѣ другія учрежденія. Повсюду разлилось безпокойство и уныніе.

Главный врачъ всѣ дни проводилъ въ разѣздахъ и усиленно хлопоталъ за смотрителя. Раньше Давыдовъ постоянно высказывалъ недовольство его лѣнностью и нераспорядительностью, да и теперь отзывался о немъ такъ: „на что этотъ увалень нуженъ въ строю! И тутъ-то, какъ смотритель, онъ никуда не годится!“ Однако хлопоталъ за него дни напролетъ: „По добротѣ душевной. Жалко человѣка“,—объяснялъ самъ Давыдовъ. Но всѣ кругомъ ясно видѣли причину этой доброты. Смотритель былъ бездѣятеленъ и лѣнивъ: юркому, дѣловитому главному врачу это было только выгодно, всю хозяйственную часть онъ забралъ въ свои руки. Съ другой стороны, смотритель былъ, повидимому, человѣкъ „честный“, т. е. себѣ въ карманъ ничего не клалъ и притворялся, что не видитъ воровства главнаго врача. Съ нимъ, значитъ, не приходилось дѣлиться. Человѣкъ былъ самый подходящий.

Шли дни. Стучилось какъ-то такъ, что назначеніе

смотрителя въ полкъ замедлилось, явились какія-то препятствія, оказалось возможнымъ сдѣлать это только черезъ мѣсяцъ; черезъ мѣсяцъ сдѣлать это забыли. Смотритель остался въ госпиталѣ, а раненный офицеръ, намѣченный на его мѣсто, пошелъ опять въ строй.

И такъ же незамѣтно, совсѣмъ случайно, вслѣдствіе непредотвратимаго стеченія обстоятельствъ, сложились дѣла и повсюду кругомъ. Всѣ остались на своихъ мѣстахъ. Для каждого оказалось возможнымъ сдѣлать исключеніе изъ правила. Въ строй попалъ только смотритель султановскаго госпиталя. Султанову, конечно, ничего не стоило устроить такъ, чтобы онъ остался, но у Султана не было обычая хлопотать за другихъ; а связи онъ имѣлъ такія высокія, что никакой другой смотритель ему не былъ страшенъ или неудобенъ.

И опять по-прежнему на этапахъ, на станціяхъ, въ лазаретахъ и обозахъ,—всюду бросались въ глаза тѣ же, пышнѣе здоровьемъ, упитанныя офицерскія фizioноміи. Приказъ главнокомандующаго, какъ и другіе его указы, безсильною бумажкою нѣсколько времени потрепался въ воздухъ, пугая простаковъ,—и юркнулъ подъ сукно.

Въ нашъ госпиталь шли больные, изрѣдка попадали и раненые. Лечить-ли ихъ на мѣстѣ или эвакуировать въ тылъ? Это былъ вопросъ чрезвычайно сложный. насчетъ котораго начальство никакъ не могло столковаться. Приѣзжалъ корпусный врачъ, узпавалъ, что мы эвакуируемъ больныхъ,—и разносилъ. „У васъ—госпиталь, а вы его обращаете въ какой-то этапный пунктъ! Для чего-же у васъ врачи, сестры, аптека?“ Приѣзжалъ начальникъ санитарной части Треповъ, узнавалъ, что больные лежатъ у насъ по пять-шесть дней,—и разносилъ. „Почему больные лежатъ у васъ такъ долго, почему вы ихъ не эвакуируете?“ На эвакуаціи онъ былъ положительно помѣшанъ.

Генераль Треповъ былъ главнымъ начальникомъ всей санитарной части арміи. Какими онъ обладалъ данными для завѣдыванія этою отвѣтственною частью, наврядъ-ли могъ бы сказать хоть кто-нибудь. Въ начальники санитарной части онъ попалъ не то изъ сенаторовъ, не то изъ губернаторовъ, отличался развѣ только своею поразительною нераспорядительностью, въ дѣлѣ же медицины былъ круглый невѣжда. Тѣмъ не менѣе, генераль вмѣшивался въ чисто-медицинскіе вопросы и щедро разсыпалъ выговоры врачамъ за то, въ чемъ былъ совершенно некомпетентъ.

Однажды, обходя нашъ госпиталь, онъ остановилъ вниманіе на одномъ больномъ, лежавшемъ въ палатѣ хрониковъ.

— Чѣмъ онъ боленъ?

— Сифилисомъ.

— Что-о?... Съ сифилисомъ вы кладете въ общую палату?!

— Ваше превосходительство, у него третичная стадія, она не заразительна. А отдѣльной сифилитической палаты у насъ нѣтъ. Онъ къ намъ положенъ сегодня, завтра мы его эвакуируемъ.

— Это все равно! Это все равно! *Сифилитика* класть вмѣстѣ съ другими больными! Чтобъ этого у меня никогда больше не было!

Другой разъ, тоже въ палатѣ хрониковъ, Треповъ увидѣлъ солдата съ хроническою экземой лица. Видъ у больного былъ пугающій: красное, раздувшееся лицо съ шелушащеюся, покрытою желтоватыми корками, кожею. Генераль пришелъ въ негодованіе и грозно спросилъ главнаго врача, почему такой больной не изолированъ. Главный врачъ почтительно объяснилъ, что эта болѣзнь незаразная. Генераль замолчалъ и пошелъ дальше. Уѣзжая, онъ поблагодарилъ главнаго врача за порядокъ въ госпиталѣ.

Послѣ каждаго посѣщенія высшаго начальства представитель военнаго учрежденія обязанъ извѣщать свое непосредственное начальство о состоявшемся посѣщеніи, съ сообщеніемъ всѣхъ замѣчаній, одобреній и порицаній, высказанныхъ осматривавшимъ начальствомъ. Главный врачъ телеграфировалъ корпусному врачу, что былъ начальникъ санитарной части, осмотрѣлъ госпиталь и остался доволенъ порядкомъ. На слѣдующій день прискакалъ корпусный врачъ и накинулся на главнаго врача:

— Вы мнѣ телеграфировали, что Треповъ нашелъ все въ порядкѣ, а у меня былъ самъ Треповъ и сообщилъ, что сдѣлалъ вамъ выговоръ: вы держите заразныхъ больныхъ вмѣстѣ съ незаразными!

Главный врачъ въ недоумѣніи развелъ руками, объяснилъ корпусному врачу, въ чемъ дѣло, и сказалъ, что не считаетъ генерала Трепова компетентнымъ дѣлать врачамъ выговоры въ области медицины; не телеграфировалъ онъ о полученномъ выговорѣ изъ чувства деликатности, не желая въ официальной бумагѣ ставить начальника санитарной части въ смѣшное положеніе. Корпусному врачу только и осталось, что перевести разговоръ на другое.

Чтобы быть даже фельдшеромъ или сестрою милосердія, чтобъ нести въ врачевномъ дѣлѣ даже чисто исполнительныя обязанности, требуются спеціальныя знанія. Для несенія-же самыхъ важныхъ и отвѣтственныхъ врачебныхъ функцій въ полумилліонной русской арміи никакихъ спеціальныхъ знаній не требовалось; для этого нужно было имѣть только... соотвѣтственный чинъ. Вотъ документъ,—и я совершенно серьезно увѣряю читателей, онъ взятъ мною не изъ юмористическаго журнала, онъ помѣщенъ въ приложеніи къ Приказу главнокомандующаго отъ 18 ноября 1904 г. за № 130.

Временный штатъ Управленія главнаго начальника Санитарной части при Главнокомандующемъ.

Главный начальникъ санитарной части (*генераль-лейтенантъ*)—1. Генераль для порученій (*генераль-майоръ*)—1. Составъ управленія: Начальникъ госпитальнаго отдѣленія (*можетъ быть изъ врачей*)—1. Начальникъ эвакуаціоннаго отдѣленія (*можетъ быть изъ врачей*)—1. Для порученій: штабъ - офицеровъ—2, *врачей*—3.

Санитарно статистическое бюро: Завѣдывающій бюро, *полковникъ, можетъ быть генераль-майоръ (можетъ быть изъ врачей)*—1. Помощниковъ *врачей*—2.

Управленіе Главнаго Полевого Военно-Медицинскаго Инспектора: Главный полевой военно медицинскій инспекторъ—1. *Главный полевой хирургъ.*—1. Правитель канцеляріи (*изъ врачей*)—1. Чины для порученій: *врачей 3-го медицинскаго разряда*—2, *4-го разряда*—2.

Главная полевая эвакуаціонная комиссія арміи: Предсѣдатель комиссіи, *генераль-майоръ (можетъ быть полковникъ)*—1. Помощниковъ предсѣдателя—2. *Главный врачъ комиссіи*—1. Для порученій: оберъ-офицеровъ—6, *врачей*—10.

У японцевъ врачебно-санитарнымъ дѣломъ арміи завѣдывали извѣстные профессора медики. У насъ, какъ видно изъ приводимаго документа, кромѣ поста военно-медицинскаго инспектора, ни одно сколько-нибудь отвѣтственное мѣсто съ руководящею ролью не было оставлено врачу. Просмотрите первый отдѣлъ документа, гдѣ опредѣляются штаты центральнаго врачебно-санитарнаго управленія всей арміи: генераль-лейтенантъ, генераль-майоръ... На второстепенныхъ должностяхъ *могутъ быть* врачи, а могутъ быть и полковники... Объяснительно-же врачами замѣщены только три должности—*для порученій!*

И во всемъ документѣ тотъ-же стиль выдержанъ весьма строго. Кое-гдѣ относительно второстепенныхъ должностей снисходительно помѣчено: „можетъ быть изъ врачей“; вообще-же врачамъ предоставлены лишь самыя низшія, чисто-исполнительныя должности,—правителей канцелярій, „для порученій“ и. т. д. И только одно исключеніе, портящее стиль: относительно главнаго полевого хирурга не прибавлено, что онъ только *можетъ быть* изъ врачей. Почему? Если начальникомъ санитарной части могъ быть бывшій губернаторъ, инспекторомъ госпиталей—бывшій полиціймейстеръ, то почему главнымъ полевымъ хирургомъ не могъ быть, напр., бывшій полицейскій приставъ?

Но все это слишкомъ печально, чтобъ смѣяться... И если бы еще, рядомъ съ невѣжественными генералами и полковниками, хотъ роли ихъ помощниковъ несли талантливые знающіе врачи! Но этого не было. Въ управленіи арміи мы не находимъ ни одного врача, сколько-нибудь авторитетнаго въ научномъ или моральномъ отношеніи. Вездѣ сидѣли бездарные врачи-чиновники съ бумажными душами, прошедшіе путь военной муштровки до полного обезличенія. Ждать отъ нихъ таланта, самостоятельнаго творчества, горячей любви къ дѣлу,—было бы то же самое, что искать теплой крови и живыхъ нервовъ въ стопѣ канцелярской бумаги. А что такое представляли изъ себя военные носители высшихъ врачебныхъ должностей,—генералы Треповъ, Езерскій, Четыркинъ и др.,—это читатель уже отчасти видѣлъ, отчасти еще увидитъ.

Послѣдствія такого состава высшаго врачебнаго управленія несла на себѣ многострадальная русская армія. Въ первомъ изъ боевъ, при Тюренченѣ, раненые шли и ползли безъ помощи десятки верстъ, а въ это время сотни врачей и десятки госпиталей стояли безъ дѣла. И то же самое повторялось во всѣхъ слѣдующихъ бояхъ, вплоть до великаго мукденскаго боя включительно.

Громадный запасъ врачебныхъ силъ съ роковою правильностью каждый разъ оказывался совершенно неиспользованнымъ, и дѣло ухода за ранеными обставлялось такъ, какъ будто на всю нашу армію было всего нѣсколько десятковъ врачей.

Наши начальники-врачи на свѣжую душу производили впечатлѣніе поражающее. Я бы не взялся изобразить ихъ въ беллетристической формѣ. Какъ бы ни смягчать дѣйствительность, какъ бы ни затемнять краски,—всякій бы, прочитавъ, сказалъ: это злобный шаржъ, пересоленная карикатура, такихъ людей въ настоящее время быть не можетъ!

И сами мы, врачи изъ запаса, думали, что такихъ людей, тѣмъ болѣе среди врачей, давно уже не существуетъ. Въ изумленіи смотрѣли мы на распоряжавшихся нами начальниковъ-врачей, „старшихъ товарищей“. Какъ будто изъ сѣдой старины поднялись тусклые, жуткіе призраки съ высокомерно-безстрастными лицами, съ гусинымъ перомъ за ухомъ, съ чернильными мыслями и бумажною душою. Въявъ вставали передъ нами уродливые образы „Ревизора“, „Мертвыхъ душъ“ и „Губернскихъ Очерковъ“.

Имѣть собственное мнѣніе даже въ вопросахъ чисто-медицинскихъ — подчиненнымъ не полагалось. Нельзя было возражать противъ діагноза, поставленнаго начальствомъ, какъ бы этотъ діагнозъ ни былъ легкомысленъ или намѣренно недобросовѣстенъ. На моихъ глазахъ полевой медицинскій инспекторъ третьей арміи дѣлалъ обходъ госпиталя. Взялъ листокъ одного больного, посмотрѣлъ діагнозъ, — „тифъ“. Подошелъ къ больному, не раздѣвая, ткнулъ его рукою въ лѣвое подреберье и заявилъ:

— Это не тифъ, а инфлюэнца!

И велѣлъ немедленно перемѣнить діагнозъ. Военно-медицинскій инспекторъ тыла, при посѣщеніи под-

вѣдомственныхъ ему госпиталей, если слышалъ отъ ординатора діагнозъ „тифъ“, хмурился и спрашивалъ:

— А какіе вы знаете симптомы тифа?

Одинъ изъ врачей отвѣтилъ:

— Я, ваше превосходительство, экзамены уже сдалъ, и вторично сдавать ихъ вамъ не обязанъ.

Дерзкій былъ за это переведенъ въ полкъ. Для побывавшаго на войнѣ врача не анекдотомъ, а вполне вѣроятнымъ фактомъ, вытекающимъ изъ самой сути царившихъ отношеній, представляется случай, о которомъ рассказываетъ д-ръ М. Л. Хейсинъ въ „Мирѣ Божіемъ“ (1906, № 6): инспекторъ В., обходя госпиталь, спросилъ у ординатора:

— Увеличена-ли у больного селезенка?

— Какъ прикажете, ваше превосходительство?—отвѣтилъ „находчивый“ ординаторъ.

Грубость и невоспитанность военно-медицинскаго начальства превосходила всякую мѣру. Печально, но это такъ: военные генералы въ обращеніи съ своими подчиненными были по большей части грубы и некультурны; но по сравненію съ генералами-врачами они могли служить образцами джентльмэнства. Я рассказывалъ, какъ въ Мукденѣ окликалъ д-ръ Горбачевичъ врачей: „послушайте, вы!“ На обходѣ нашего госпиталя, инспекторъ нашей арміи спрашиваетъ дежурнаго товарища:

— Когда положенъ этотъ больной?

— Сегодня.

— Когда ты сюда положенъ?—обращается онъ къ самому больному.

— Сегодня.

И подобнаго рода „провѣрка“, которую иной постоѣннлся бы примѣнить къ своему лакею, здѣсь такъ беззаботно-просто дѣлалась по отношенію къ врачу!

Рядомъ съ этимъ высокомеріемъ, пьянившимся

своимъ чиномъ и положеніемъ, шло удивительное бездушіе по отношенію къ подчиненнымъ врачамъ. Эвакуаціонная коммиссія, прозванная за строгость и придирчивость „драконовскою“, назначаетъ на эвакуацію врача, перенесшаго очень тяжелый тифъ. Д-ръ Горбачевичъ, не осматривая больного товарища, ни разу не видѣвъ его, отмѣняетъ постановленіе коммиссіи, и изнуренный болѣзнью врачъ водворяется на мѣсто его служенія. То, что въ бытность нашу въ Мукденѣ д-ръ Горбачевичъ продѣлалъ съ прикомандированными врачами, повторялось не разъ. Былъ я какъ-то въ Мукденѣ въ срединѣ ноября: опять тридцать врачей бѣгаютъ, не зная, гдѣ пріютиться,—Горбачевичъ выписалъ ихъ изъ Харбина на случай боя и опять предупредилъ, чтобъ они не брали съ собою никакихъ вещей. И они ночевали при управленіи инспектора на голомъ полу, на циновкахъ.

Одно, только одно, горячее, захватывающее чувство можно было усмотрѣть въ безстрастныхъ душахъ врачей-начальниковъ,—это благоговѣнно-трепетную любовь къ бумагѣ. Бумага была все, въ бумагѣ была жизнь, правда, дѣло... Передо мною, какъ живая, стоитъ тощая, лысая фигура одного дивизионнаго врача, съ унылымъ, сухимъ лицомъ. Дѣло было въ Сипингаѣ, послѣ мукденскаго разгрома.

— У васъ что-нибудь утеряно изъ обоза?—освѣдомился начальникъ санитарной части нашей арміи.

— Все утеряно, ваше превосходительство!—уныло отвѣтилъ дивизионный врачъ.

— Все? И шатры, и перевязочный матеріаль, и инструменты?

— Нѣтъ, это-то уцѣлѣло... Канцелярія вся утеряна.

Генералъ пренебрежительно отвернулся, а лицо дивизионнаго врача стало еще унылѣе, голова еще лысѣе...

Во время того же мукденскаго отступленія офицеръ полуроты, приданной для охраны одного полевого го-

спиталя, просилъ главнаго врача принять его солдатъ на довольствіе.

— Не могу, поручикъ, не могу!—отвѣтилъ главный врачъ.

— Почему же? Вѣдь вы все равно довольствуете сто человѣкъ вашей команды.

— А вашихъ не могу-съ! Обозъ еще не весь собрался, нѣту канцеляріи.

Офицеръ не выдержалъ:

— Простите, докторъ, вы, можетъ быть, думаете, что мои солдаты питаются бумагою? Нѣтъ, бумаги они не ѣдятъ.

Нашъ дивизионный врачъ выговаривалъ полковымъ врачамъ, что у нихъ заполнены не всѣ графы вѣдомостей.

— Да у насъ для этихъ графъ нѣтъ данныхъ.

— Ну... ну... Все равно, пишите фиктивные цифры, а чтобъ графы всѣ были заполнены.

Въ одномъ изъ нашихъ полковъ открылся брюшной тифъ. Корпусный врачъ спросилъ полкового:

— Дезинфекцію вы произвели?

— Какая же у насъ дезинфекція? У насъ нѣтъ никакихъ дезинфекціонныхъ средствъ.

— *Произвели вы дезинфекцію?*—выразительно повторилъ корпусный врачъ.

— Я же вамъ говорю...

— Надѣюсь, вы дезинфекцію *произвели*?

— Д-да... Но...

— Прекрасно! Пожалуйста, подайте мнѣ рапортъ, что дезинфекція произведена.

Когда, въ началѣ ноября, въ армію, наконецъ, были привезены полшубки, солдаты стали заражаться отъ нихъ сибирскою язвою. Появились случаи зараженія и въ нашей командѣ. Заработала бумажная машина, отъ насъ во всѣ стороны полетѣли телеграммы, въ отвѣтъ полетѣли къ намъ телеграммы съ строгими при-

казами: „изолировать“, „подвергнуть тщательнѣйшей дезинфекціи“, „о сдѣланномъ донести“... Мы все сдѣлали, сообщили рапортомъ. Дивизионнаго врача дома не было, принялъ рапортъ его помощникъ, съ которымъ мы были пріятелями. Съ серьезнымъ дѣловымъ лицомъ онъ принялъ рапортъ, записаль, что-то помѣтилъ, куда-то что-то отправилъ. Потомъ сѣли пить чай. За чаемъ онъ съ лукавою усмѣшкою вдругъ спрашиваетъ насъ:

— Между нами! А вправду, производили вы дезинфекцію или нѣтъ?

Этотъ пріятельскій вопросъ былъ моментальнымъ просвѣтомъ во что-то большее и зловѣщее; онъ во всей обнаженности раскрылъ передъ нами суть дѣла. Пишутъ лживыя бумаги, начальство читаетъ ихъ и притворяется, что вѣритъ, потому что надъ каждымъ начальствомъ есть высшее начальство, и оно, всѣ надѣвотся, ужъ взаправду повѣритъ.

Какъ важна была для врачебнаго начальства бумага, и какъ глубоко-безразлично было для него здоровье живого солдата, показываетъ одинъ невѣроятный циркуляръ временно и. д. военно-медицинскаго инспектора арміи, д-ра Вредена. Циркуляръ этотъ долженъ быть вписанъ огромными траурными буквами въ исторію русской военной медицины.

„Въ дѣлѣ снабженія войскъ и военно-врачебныхъ заведеній въ военное время предметами медицинскаго довольствія,—пишетъ докторъ Вреденъ,—имѣетъ важное значеніе правильное расходованіе этихъ предметовъ. Они положены въ опредѣленныхъ количествахъ, рассчитанныхъ на удовлетвореніе только самыхъ существенныхъ требованій.—Со стороны врача требуется обстоятельное знакомство, какъ съ характеромъ военныхъ больныхъ, такъ и съ имѣющимися въ распоряженіи арміи средствами къ удовлетворенію нуждъ по леченію и призрѣнію этихъ больныхъ, что пріобрѣ-

тается только болѣе или менѣе продолжительною службою въ военномъ вѣдомствѣ, между тѣмъ почти половина врачей маньчжурской арміи принадлежитъ къ числу призванныхъ изъ запаса, не служившихъ вовсе въ войскахъ и военно-врачебныхъ заведеніяхъ. Прямымъ слѣдствіемъ изъ незнанія условій военного быта и военно-медицинской службы можетъ быть быстрое израсходованіе наиболѣе употребительныхъ средствъ на такихъ больныхъ, которые, представляя однѣ только жалобы на болѣзненные явленія вмѣсто дѣйствительныхъ страданій, подтверждаемыхъ объективными данными, не нуждались вовсе въ леченіи. Въ результатъ получатся жалобы на недостатокъ медикаментовъ вслѣдствіе скупости военно-медицинскаго снабженія, тогда какъ въ дѣйствительности будетъ незнакомство врачей съ военными больными и неумѣніе пользоваться представленными въ ихъ распоряженіе средствами. Обращая вниманіе подвѣдомственныхъ мнѣ врачей на это нежелательное явленіе въ расходованіи предметовъ медицинскаго довольствія, прошу болѣе опытныхъ военныхъ врачей ознакомить своихъ младшихъ, только-что призванныхъ изъ запаса, товарищей съ особенностями военно-медицинской службы въ дѣлѣ леченія больныхъ.

„Рекомендуя, впрочемъ, соблюденіе экономіи въ расходованіи предметовъ медицинскаго довольствія, я имѣю въ виду, главнымъ образомъ, устраненіе недостатка въ медикаментахъ для больныхъ, дѣйствительно въ нихъ нуждающихся, а вовсе не экономію ради экономіи. Хотя въ районъ маньчжурской арміи и въ тылу имѣются большіе запасы медицинскаго имущества, высланнаго въ потребностъ арміи обществомъ Краснаго Креста, но возможность воспользоваться ими во всякое время не можетъ служить оправданіемъ къ легкомысленному расходоваію медикаментовъ и перевязочныхъ средствъ. Кромѣ того, необходимо имѣть въ виду, что обращеніе

къ помощи Краснаго Креста можетъ подать поводъ и къ обвиненію военно-медицинскаго вѣдомства въ скудости снабженія армии предметами медицинскаго довольствія. Нисколько не ограничивая позаймствование означенныхъ предметовъ изъ запасовъ Краснаго Креста, Полевое Военно-Медицинское Управление считаетъ только нужнымъ напомнить врачамъ, чтобъ эти позаймствования имѣли мѣсто лишь въ случаяхъ дѣйствительной необходимости“ (Циркуляръ Полевого В.-Медиц. Упр-нія, отд. фармацевтической, № 1156).

Я не знаю, возможно ли полнѣе, чѣмъ въ этомъ циркулярѣ, обнажить всю опустошенность русской военно-врачебной совѣсти. Дѣйствительно, военная медицина — это какая-то совсѣмъ особенная медицина. Наша обычная, человѣческая, научная медицина только ахнетъ отъ противопоставленія „однѣхъ только жалобъ на болѣзненные явленія“ „дѣйствительнымъ“ страданіямъ, подтверждаемымъ объективными данными“: многія болѣзни не представляютъ объективныхъ данныхъ и тѣмъ не менѣе, вопреки поученіямъ доктора Вредена, очень и очень „нуждаются въ леченіи“. И дѣло здѣсь идетъ даже не о томъ, чтобы съ большею строгостью освобождать больныхъ солдатъ отъ работъ или эвакуировать ихъ, — нѣтъ, дѣло идетъ просто о дачѣ лекарствъ. Сдѣлаемъ невѣроятное предположеніе, что половина больныхъ безъ „объективныхъ данныхъ“ — притворщики, не нуждающіеся въ леченіи. Казалось бы, что ужъ для другой половины дѣйствительно больныхъ, дѣйствительно нуждающихся въ леченіи, — потому что вѣдь не вправду же убѣжденъ д-ръ Вреденъ, будто каждая болѣзнь выражается объективными симптомами! — казалось бы, для этихъ дѣйствительно больныхъ можно бы рискнуть понапрасну дать лекарство притворщикамъ. Но нѣтъ, пусть лучше ужъ всѣ остаются безъ леченія, это не такъ важно; зато не будетъ „жа-лобъ на недостатокъ медикаментовъ, вслѣдствіе скупости“.

сти военно-медицинскаго снабженія“. Вотъ это много важнѣе. И замѣтите, — именно *жалобъ* на недостатокъ боится медицинское управленіе, а не самого недостатка. Недостатка не будетъ. Изъ того же циркуляра мы узнаемъ, что лекарства и перевязочный матеріалъ можно легко достать въ Красномъ Крестѣ, имѣющемъ ихъ „большіе запасы“, которыми можно воспользоваться „во всякое время“. Но мало ли что! Зато „обращеніе къ помощи Краснаго Креста можетъ подать *поводъ къ обвиненію военно-медицинскаго відомства* въ скудости снабженія арміи предметами медицинскаго довольствія“...

Въ своемъ циркулярѣ д-ръ Вреденъ съ большимъ одобреніемъ отзывается объ „опытныхъ военныхъ врачахъ“ и не выказываетъ никакого сомнѣнія, что они вполне считаются съ указанными въ циркулярѣ „особенностями военно-медицинской службы“. Клевещетъ ли докторъ Вреденъ на военныхъ врачей, или они дѣйствительно заслуживали его одобренія?

Въ одномъ изъ нашихъ полковъ появился сильный брюшной тифъ. Околотокъ былъ биткомъ набитъ тифозными. Младшіе врачи указали на это старшему полковому врачу, военному.

— Да нѣтъ, что вы? Это не тифъ! Зачѣмъ въ госпиталь отправлять? Отлежатся и здѣсь.

Показали ему розеолы, — „неясны“; увеличенную селезенку, — „неясна“... А больные переполняли околотокъ. Тутъ же происходилъ амбулаторный пріемъ. Тифозные, выходя изъ фанзы за нуждою, падали въ обморокъ. Младшіе врачи возмутились и налегли на старшаго. Тотъ, наконецъ, подался, пошелъ къ командиру полка. Полковникъ заволновался:

— Нѣтъ, нѣтъ! Въ госпиталь отправлять не надо. Зачѣмъ? Вѣдь, бываетъ, тифъ переносятъ на ногахъ,

это болѣзнь вовсе не такая опасная... Да и тифъ ли еще это?

Но больные все прибывали, мѣста не хватало. Волею-неволею пришлось отправить десятокъ самыхъ тяжелыхъ въ нашъ госпиталь. Отправили ихъ безъ діагноза. У дверей госпиталя, выходя изъ повозки, одинъ изъ больныхъ упалъ въ обморокъ на глазахъ бывшего у насъ корпуснаго врача. Корпусный врачъ осмотрѣлъ привезенныхъ, всполошился, покатилъ въ полкъ, — и околотокъ, наконецъ, очистился отъ тифозныхъ.

Въ другомъ полку нашей дивизіи у старшаго врача, по отношенію къ больнымъ солдатамъ, было только два выраженія: „лодыря играть“ и „миндаль разводить“. Въ каждомъ солдатѣ онъ видѣлъ притворщика. Я объ этомъ врачѣ уже рассказывалъ въ первой главѣ „Записокъ“, — какъ онъ призналъ притворщиками двухъ солдатъ, которые, по изслѣдованіи ихъ младшимъ врачомъ, оказались совершенно негодными къ службѣ. У врача этого было положеніе, — не помѣчать въ отчетахъ больше двадцати амбулаторныхъ больныхъ въ день. Въ дѣйствительности бывало человѣкъ по 70—80, но это какое же было бы санитарное состояніе полка!

Однажды на моемъ дежурствѣ въ госпиталь привезли нѣсколькихъ больныхъ солдатъ. Одинъ бросился мнѣ въ глаза своимъ лицомъ: молодой парень съ низкимъ, отлогимъ лбомъ, въ глазахъ — тупое, ушедшее въ себя—страданіе, углы губъ сильно опущены.

— Что болитъ?

— Ваше благородіе, онъ глухъ, не слышитъ! — предупредилъ меня полковой фельдшеръ.

Я сталъ громко кричать солдату на ухо свои вопросы. Онъ какъ будто очнется отъ глубокой задумчивости, повторить вопросъ и отвѣтитъ.

Въ октябрьскихъ бояхъ онъ былъ раненъ пулею въ бедро навзлетъ; недавно его выписали изъ харбинскаго

госпиталя назадъ въ строй; на правую ногу онъ замѣтно хромалъ.

Я его спросилъ, давно ли онъ оглохъ. Солдатъ разсказалъ, что года три назадъ, еще до службы, онъ возилъ съ братомъ снопы, упалъ съ воза и ударился головою о-земь. Съ тѣхъ поръ пошелъ шумъ въ ушахъ, головокруженіе, постепенно развилась глухота.

— Взяли на службу, не повѣрили, что плохо слышу, — апатично разсказывалъ онъ. — Въ ротѣ сильно обижали по головѣ, — и фельдфебель, и отдѣленные. Совсѣмъ оглохъ. Жаловаться побоялся: и вовсе забьютъ. Пошелъ въ околотокъ, докторъ сказалъ: „притворяешься! Я тебя подъ судъ отдамъ!..“ Я бросилъ въ околотокъ ходить...

Весь вечеръ передо мною стояло лицо этого парня, на душѣ было горько и жутко.

Разсказалъ я о немъ главному врачу. Утромъ мы изслѣдовали комиссіей одного солдата съ грыжею для эвакуаціи въ Россію. Я предложилъ главному врачу изслѣдовать кстати и глухого. Мы подошли къ его койкѣ.

— Надѣнь халатъ! — обычнымъ голосомъ сказалъ главный врачъ, украдкой слѣдя за больнымъ.

Тотъ не двигался. Главный врачъ крикнулъ громче, — солдатъ заторопился и надѣлъ халатъ.

Принесли инструменты. Шанцеръ, специалистъ по ушнымъ болѣзнямъ, сталъ отоскопировать больного. Задняя часть одной изъ барабанныхъ перепонокъ оказалась утолщенной. Шанцеръ безпомощно повелъ плечами.

— Доказать что-нибудь тутъ очень трудно, — сказалъ онъ. — У науки нѣтъ средствъ узнать, симулируетъ ли больной глухоту на *оба* уха.

— Ничего, изслѣдуйте! Я узнаю! — съ хитрою усмѣшкой шепнулъ главный врачъ.

Онъ беззаботно разговаривалъ съ солдатомъ и испод-

тишка пристально слѣдилъ за нимъ. Говорилъ то громче, то тише, задавалъ неожиданные вопросы, со всѣхъ сторонъ подступалъ къ нему, — насторожившіяся, съ предательски-смотрящими глазами. У меня вдругъ мелькнулъ вопросъ: гдѣ я? Въ палатѣ больныхъ, съ врачами, — или въ охранномъ отдѣленіи, среди жандармовъ и сыщиковъ?

— Симулируетъ!—рѣшительно и торжественно объявилъ главный врачъ.—Обратите вниманіе: на вопросы доктора Шанцера онъ отвѣчаетъ немедленно, а моихъ какъ-будто совсѣмъ не слышитъ.

— Вполнѣ понятно,—возразилъ я.—У Шанцера голосъ звонкій, а у васъ низкій и глухой.

— Нѣтъ, нѣтъ, вы ужъ со мною не спорьте, у меня на этотъ счетъ есть нюхъ. Сразу вижу, что симулянтъ... Ты какой губерніи?

Больной вслушался.

— Губерніи?... Пермской губерніи!—выкрикнулъ онъ.

— Пермской? — значительно протянулъ главный врачъ...—Ну, вотъ видите! Это важное подтвержденіе: по статистикѣ, жители пермской губерніи стоятъ на первомъ мѣстѣ по вызыванію ушныхъ болѣзней для избавленія отъ военной службы.

— Не знаю, но, судя по его рассказамъ, онъ, несомнѣнно, не симулируетъ,—возразилъ Шанцеръ.—Была течь? Не было. Глухота развилась не сейчасъ послѣ паденія, а постепенно, сначала былъ только шумъ въ ушахъ. Такъ симулировать могъ бы только специалистъ по ушнымъ болѣзнямъ, а не мужикъ.

— Нѣтъ, нѣтъ, нѣтъ! Симулянтъ несомнѣнный!—рѣшилъ главный врачъ.—Вы, штатскіе врачи, не знаете условій военной службы, вы, естественно, привыкли вѣрить каждому больному. А они этимъ пользуются. Тутъ гуманничанье не у мѣста.

Мы возражали яро. Глухота больного несомнѣнна. Но допустимъ даже, что она лишь въ извѣстной сте-

пени вѣроятна,—какое преступленіе главный врачъ беретъ на душу, отправляя на боевую службу, можетъ быть, глухого, да къ тому еще хромого солдата. Но чѣмъ больше мы настаивали, тѣмъ упорнѣе стоялъ главный врачъ на своемъ: у него было „внутреннее убѣжденіе“,—то непоколебимое, не нуждающееся въ фактахъ, опирающееся на нюхъ „внутреннее убѣжденіе“, которымъ такъ сильны люди сыска.

Солдата выписали въ полкъ.

Чѣмъ больше я приглядывался къ „особенностямъ военно-медицинской службы“, тѣмъ яснѣе становилось, что эти особенности,—отчасти путемъ отбора, отчасти путемъ пересозданія человѣческой души,—должны были вырабатывать, дѣйствительно, совсѣмъ особенный типъ врача.

Солдатъ взять на службу силою, съ дѣломъ своимъ никакими интересами не связанъ,—естественно, онъ охотно будетъ притворяться больнымъ. И вотъ врачъ подходитъ къ больному не съ мыслью, какъ ему помочь, а съ вопросомъ, не притворяется ли онъ. Одна необходимость этого постоянного сыска мало-по-малу мѣняетъ душу врача, развиваетъ въ ней подозрительность, желаніе „поймать“, „поддѣть“ больного. Вырабатывается глубокое враждебное недовѣріе къ больному солдату вообще. „Лодырь“—это постоянное слово въ лексиконѣ военного врача, для него его пациентъ *прежде всего*—лодырь, обратное должно быть доказано. Д-ръ Хейсинъ въ упомянутой выше статьѣ сообщаетъ про одного военного врача: врачъ этотъ давалъ больнымъ солдатамъ свою „смѣсь“, состоявшую изъ такихъ дозъ рвотнаго, чтобъ не рвало, а только тянуло къ рвотѣ. „Если больной лодырь, то въ другой разъ не придетъ, и другимъ закажетъ!“ Я уже рассказывалъ, какъ наша армія наводнилась выписанными изъ госпиталей солдатами,—по свидѣтельству главнокомандующаго, „либо совершенно негодными къ службѣ,

либо еще не оправившимися отъ болѣзней“. Профаны видѣли, что передъ ними—больные люди, а для врачей, затемненныхъ ихъ вытравляющею душу „опытностью“, все это были только лодыри и лодыри. Очевидно, та же предпосылка о лодырнической сущности русскаго солдата была въ головѣ и д-ра Вредена, когда онъ сочинялъ свой безстыдный циркуляръ.

Другая „особенность военно-медицинской службы“ заключалась въ томъ, что между врачомъ и больнымъ существовали самыя противоестественныя отношенія. Врачъ являлся „начальствомъ“, былъ обязанъ говорить больному „ты“, въ отвѣтъ слышать нелѣпыя: „такъ точно“, „никакъ нѣтъ“, „радъ стараться“. Врача окружала ненужная, бессмысленная атмосфера того почтительнаго, специфически-военнаго трепета, которая такъ портитъ офицеровъ и заставляетъ ихъ смотрѣть на солдатъ, какъ на низшія существа. До чего легко и быстро одурманиваетъ эта атмосфера, показываетъ одинъ характерный полемическій эпизодъ, разыгравшійся во время войны на страницахъ „Русскаго Врача“.

Въ 12-омъ полевомъ подвижномъ госпиталѣ состояла въ качествѣ сверхштатной сестры милосердія женщина-врачъ А. Бекъ. Однажды въ походѣ помощникъ смотрителя Рутышевъ побилъ солдата. Вечеромъ, на стоянкѣ, возмущенная г-жа Бекъ заявила объ этомъ главному врачу госпиталя, д-ру Аристову. Главный врачъ отмалчивался, смотритель оправдывалъ помощника. „Видя, что разговоръ кончается,—пишетъ г-жа Бекъ,—я спросила: „имѣетъ ли право солдатъ жаловаться?“ Тогда д-ръ Аристовъ грубо закричалъ на меня: „Да вамъ-то какое дѣло? Вы не имѣете права вмѣшиваться не въ свое дѣло! Если вамъ не нравятся порядки нашего госпиталя, то можете уходить!“ Дѣло кончилось тѣмъ, что г-жѣ Бекъ пришлось уйти. О происшедшемъ она рассказала въ письмѣ въ редакцію „Русскаго Врача“. И вотъ, въ отвѣтъ ей, въ томъ-же „Русскомъ Врачѣ“

(1905 г. № 34) помѣстили письмо четыре младшіе врача того же госпиталя, гг. А. Вертгеймъ, Данилейко, Кабановъ и Л. Франгузовъ. „Ближайшею причиною столкновения д-ра А. Бекъ съ главнымъ врачомъ,—писали они,—послужило, послѣ обсужденія самаго факта удара солдата, *несвоевременное (въ присутствіи вѣстовыхъ) и неумѣстное* заявленіе д-ра А. Бекъ: „а имѣетъ ли право этотъ солдатъ жаловаться?“—*заявленіе, облеченное въ форму предупрежденія и чуть ли не угрозы, что, если солдатъ имѣетъ право жаловаться, то она этого такъ не оставитъ*“. Авторы письма заявляютъ, что, „конечно“, этотъ инцидентъ не могъ измѣнить ихъ хорошаго отношенія къ главному врачу, такъ какъ „въ инцидентъ этомъ не болѣе, если не менѣе, виноватъ С. А. Аристовъ за свои *взвинченные нервы*, чѣмъ д-ръ А. Бекъ за свою *неумѣстную форму заявленія*“.

Младшими врачами госпиталя были врачи изъ запаса,—авторы письма, значить, всего лишь нѣсколько мѣсяцевъ носили военные мундиры. И какъ же быстро наладились они на специально-военный строй, какъ быстро усвоили по отношенію къ солдату совсѣмъ особенную мѣрку, неприложимую къ людямъ! Человѣка избили. Тѣ, кто обязаны за него заступиться, отмалчиваются. И вдругъ,—представьте себѣ!—г-жа Бекъ позволяетъ себѣ такую „неумѣстную“ безтактность, какъ „предупрежденіе и чуть ли не угрозу“, что она научить человѣка жаловаться! И это въ присутствіи другихъ солдатъ, которые тогда, чего добраго, тоже возмнять себя людьми и, получивъ въ ухо, захотятъ искать управы на обидчика!

Этотъ „опытный“ военный врачъ, отмалчивающійся тамъ, гдѣ долженъ бы вспыхнуть отъ гнѣва за произведенное беззаконіе, эти молодые врачи, негодующіе на „неумѣстное“ заступничество, — вотъ кто, вмѣсто врача-друга, стоялъ и у постели больного солдата. Врачъ-другъ... мы были для нашихъ больныхъ „ихъ благородно-

діями“, и отъ желающаго требовались большія усилія, чтобъ заставить больныхъ не замѣчать назойливо сверкавшаго передъ ними, совершенно ненужнаго для дѣла, мундира врача.

Въ приведенномъ циркулярѣ своемъ д-ръ Вреденъ усиленно рекомендуетъ подвѣдомственнымъ врачамъ не расходовать лекарствъ „легкомысленно“ и обращаться за помощью къ Красному Кресту „лишь въ случаяхъ *дѣйствительной необходимости*“. Со стороны очень трудно понять, почему военно-медицинское вѣдомство такъ боялось одолжаться чѣмъ-нибудь у Краснаго Креста. Вѣдь оба эти учрежденія имѣли одну общую цѣль, — врачебную помощь той-же русской арміи. Что же могло быть плохого или неудобнаго въ томъ, чтобъ учрежденія эти оказывали другъ другу самую широкую взаимную поддержку?

Сами врачи долго не могли усвоить мысли, что два главныхъ государственныхъ вѣдомства, обслуживающихъ врачебное дѣло нашей арміи, — не братскія учрежденія, а враждебные другъ другу станы. Въ случаяхъ нужды врачи продолжали обращаться въ склады Краснаго Креста, не понимая сути стыдливыхъ указаній д-ра Вредена на „*дѣйствительную необходимость*“. Тогда военно-медицинскій инспекторъ д-ръ Горбачевичъ выпустилъ слѣдующій циркуляръ:

„Главный военно-медицинскій инспекторъ въ телеграммѣ отъ 8 августа с. г. за № 2,344 выражаетъ недовольство по поводу обращенія нѣкоторыхъ врачей частей войскъ и госпиталей въ учрежденія Краснаго Креста за медикаментами, перевязочными средствами и за другими предметами медицинскаго довольствія и даже за хирургическими инструментами, каковыя требованія не вытекаютъ изъ нуждъ при томъ достаточномъ снабженіи полевой аптеки и военно-временныхъ магазиновъ предметами медицинскаго довольствія, ко-

торые уже высланы и при которой потребности вновь высылаются распоряженіемъ Главнаго Военно-Медицинскаго Управленія.—Почему прошу распоряженія Вашего Превосходительства, чтобы впредь врачи подвѣдомственныхъ Вамъ частей войскъ и военно-врачебныхъ заведеній обращались за предметами медицинскаго довольствія *исключительно только въ полевую аптеку или ея отдѣленія*“. (Циркуляръ Полев. В. М. Управленія, № 5391).

А какъ дѣйствовала эта полевая аптека, показываетъ письмо одного военного врача, напечатанное въ газетѣ „Наши Дни“.

„Въ теченіе всего лѣта у насъ не было касторки,—не успѣли заготовить,—пишетъ этотъ врачъ.—У насъ есть такъ называемая центральная полевая аптека. Въ теченіе всего лѣта харбинскіе госпитали слезно умоляли снабдить ихъ касторкой, но касторки не было, и госпиталямъ, которые требовали пудъ, отпускали изъ полевой аптеки одинъ фунтъ. А вѣдь лѣтомъ, при поносахъ, касторка для госпиталей составляетъ хлѣбъ насущный. Почему же ея не было? А вотъ почему: полевая аптека послала въ Петербургъ, въ заводъ военно-врачебныхъ заготовленій, телеграмму съ требованіемъ 2,000 фунтовъ кастороваго масла, но, спустя довольно продолжительное время, заводъ отвѣтилъ вопросомъ: „Чѣмъ вызвано такое требованіе?“ Пришлось написать обстоятельный докладъ,—почему да отчего. Въ такой перепискѣ прошло три-четыре мѣсяца, пока получилось, наконецъ, вмѣсто 2,000 фунтовъ только 100, а лѣто тѣмъ временемъ почти прошло. Недостаетъ массы самыхъ необходимыхъ предметовъ, другіе заготовлены въ количествѣ въ десять разъ больше, чѣмъ они нужны. Въ марлевыхъ бинтахъ, напр., страшный недостатокъ, гипсовыхъ же бинтовъ неисчислимое количество. Чтобъ помочь бѣдѣ, наше медицинское управленіе придумало слѣдующую комби-

націю: если госпиталь требует сто марлевыхъ бинтовъ, отпускаютъ 25 марлевыхъ и 75 гипсовыхъ. Но гипсовый бинтъ никакъ не можетъ замѣнить марлевого, и госпитали перехитрили медицинское управленіе: когда имъ нужно 100 марлевыхъ бинтовъ, они выписываютъ изъ полевой аптеки 400 и такимъ образомъ получаютъ требуемое количество. Благодаря этому, въ каждомъ госпиталѣ можно найти во всѣхъ углахъ, гдѣ только есть свободное мѣстечко, эти гипсовые бинты тысячами... Да сколько бумажекъ приходится исписать госпиталямъ прежде, чѣмъ получить что-нибудь изъ полевой аптеки!“ (Цит. по *Практич. Врачу*. 1905, № 3).

Была единая русская армія. О врачебныхъ нуждахъ этой арміи заботилось чрезвычайно обильное количество всякаго рода учрежденій, и учрежденія эти почти ничѣмъ не были связаны другъ съ другомъ. Военно-медицинское вѣдомство. Красный Крестъ. Общественныя организаціи,—земскія, городскія, дворянскія... Человѣку со стороны было бы очень трудно понять, для чего всѣ эти отдѣльныя учрежденія. Планъ военно-медицинской организаціи на театрѣ войны не предполагаетъ никакой посторонней помощи и исчерпываетъ всѣ стороны дѣла. И я положительно утверждаю,—врачебныхъ силъ у военно-медицинскаго вѣдомства было *избыточно много*, оно легко могло бы собственными средствами,—разумѣется, при умѣломъ руководствѣ,—удовлетворять всѣ врачебныя нужды арміи. Казалось бы, простой здравый смыслъ говорилъ: для чего учреждать новыя, очень не дешево стоящіе врачебные центры и управленія, для чего платить щедрые оклады массѣ „вольныхъ“ врачей и фельдшеровъ, когда и тѣхъ, и другихъ вполне достаточно въ военномъ вѣдомствѣ? Не разумнѣе ли всѣ эти десятки милліоновъ денегъ направлять прямо въ руки военно-медицинскаго начальства для улучшенія и расширенія уже существующихъ врачебныхъ учрежденій?

Но такое разсужденіе, основанное на вполнѣ ясномъ и очевидномъ расчетѣ, въ дѣйствительности, конечно, можетъ вызвать только улыбку: все это было бы легко, просто, разумно, если бы было довѣріе къ казеннымъ вершителямъ врачебныхъ судебъ арміи. Но довѣрія не было, не могло быть, и общество говорило: „то, что мы даемъ по доброй волѣ, мы ужъ будемъ тратить сами, а не поручимъ вамъ“. И масса денегъ тратилась непроизводительно, чтобъ хоть другую часть ихъ употребить съ дѣйствительною пользою. Правда, до извѣстной степени здѣсь были и соображенія, ничего общаго съ войною не имѣвшія: при ужасномъ режимѣ Плеве либералы хотѣли воспользоваться общеземской организаціей для помощи раненымъ, чтобъ хоть на этой почвѣ создать возможность того единенія земскихъ силъ, которому Плеве противился всѣми средствами. Оправдывались ли желательностью этого объединенія тѣ сотни тысячъ, которыя земства жертвовали на организацію съ своихъ голодныхъ, безграмотныхъ губерній,—вопросъ другой. По моему, никоимъ образомъ не оправдывались. Тѣмъ не менѣе, безотносительно къ произведеннымъ затратамъ, дѣятельность общественныхъ организацій на войнѣ была очень плодотворна,—какъ увидимъ, именно благодаря тому, что организаціи мало зависѣли отъ военно-медицинскаго начальства. Правительство,—величественное, не допускающее и тѣни сомнѣнія въ своей непогрѣшимости,—въ то же время, какъ нѣчто вполнѣ естественное, принимало недовѣріе къ нему общества и терпѣло подъ бокомъ у себя самостоятельную работу общественныхъ силъ.

Такъ обстояло дѣло съ организаціями общественными. Уяснивъ общее положеніе дѣлъ, всякій легко могъ понять отдѣльность ихъ существованія. Но ужъ совершенно безнадежны были бы попытки понять, для чего существовалъ отдѣльный Красный Крестъ. Какъ и военно-медицинское вѣдомство, онъ былъ тоже пра-

вительственнымъ учрежденіемъ, изъятымъ изъ общественнаго контроля; средства свои онъ черпалъ отчасти изъ пожертвованій правительству, отчасти изъ обязательныхъ налоговъ (желѣзнодорожные билеты и пр.). Отчего же суммы эти было прямо не передавать военномедицинскому вѣдомству,—вѣдь правительство-то довѣряло же ему! Для чего были эти сказочные оклады всякимъ главноуполномоченнымъ, уполномоченнымъ и ревизорамъ, это содержаніе многочисленнаго „вольнаго“ врачебнаго и хозяйственнаго персонала?

И вотъ создавалось удивительное явленіе: два государственныхъ вѣдомства работали въ арміи надъ однимъ и тѣмъ же, и уклады ихъ жизни нельзя было даже сравнивать другъ съ другомъ. Какъ будто жили рядомъ два чужихъ человѣка, одинъ—богатый и пышный, другой—бѣдный и убогой. Въ Красномъ Крестѣ была роскошь, онъ щеголялъ новѣйшими врачебными приборами и средствами, дорогими и часто обидно излишними; въ военныхъ госпиталяхъ не было самаго необходимаго,—не было стерилизаторовъ для перевязочнаго матеріала, не полагалось опіиной настойки, адониса. У Краснаго Креста склады ломились отъ ящиковъ съ дорогими, тончайшими винами. На моихъ глазахъ въ вагонѣ офицеръ раздавалъ своимъ случайнымъ спутникамъ по бутылкѣ прекраснаго мартеллевскаго коньяку; спутники стѣснялись брать, офицеръ добродушно говорилъ:

— Не беспокойтесь, у меня его цѣлый ящикъ: мой пріятель, студентъ-медикъ, служить въ Красномъ Крестѣ!

Вотъ, значить, какіе тамъ были запасы,—дорогія вина ящиками раздаривались пріятелямъ! У насъ же, въ военныхъ госпиталяхъ, былъ большой недостатокъ въ простой водкѣ. А добрый стаканчикъ водки для прозябшаго, промокшаго и изголодавшагося раненаго стоилъ всѣхъ самыхъ дорогихъ лекарствъ.

VI.

Великое стояніе: декабрь—февраль.

Въ концѣ ноября мы получили новый приказъ — передвинуться за двѣ версты на югъ, въ деревню М—нѣ, гдѣ ужъ почти два мѣсяца спокойно, никѣмъ не тревожимый, стоялъ султановскій госпиталь. Мы опять эвакуировали всѣхъ больныхъ, свернули госпиталь и перешли въ М—нѣ. Опять началась отдѣлка фанзъ подъ больныхъ. Но теперь она шла на широкую ногу.

Незадолго до нашего пріѣзда въ султановскомъ госпиталѣ произошло одно событіе.

Султановъ на военной службѣ былъ недавно, никакихъ знаковъ отличія не имѣлъ; за бой на Шахе его представили къ первой наградѣ, — Станиславу третьей степени, котораго имѣетъ всякій, самый маленькій, чиновникъ. А командиру корпуса очень хотѣлось выдвинуть и выдѣлить Султанова. Для этого онъ все время держалъ теперь султановскій госпиталь впереди другихъ, чтобы въ случаѣ боя онъ оказался какъ бы „на передовыхъ позиціяхъ“, и чтобы Султанова можно было представить къ Владимиру. Госпиталь былъ поставленъ въ богатую, не занятую воинскими частями деревню; въ многочисленныхъ, просторныхъ фанзахъ можно было съ удобствомъ устроиться и самимъ, и устроить палаты для больныхъ. Госпиталь вышелъ хо-

рошенькій и чистенькій, какъ игрушка, съ нимъ смѣшно было и сравнивать другіе госпитали, ютившіеся въ парѣ убогихъ, грязныхъ фанзъ.

Когда все было готово, командиръ корпуса устроилъ такъ, что главнокомандующій выразилъ желаніе осмотрѣть султановскій госпиталь. Въ ожиданіи Куропаткина, въ госпиталь каждый день чистили, мыли, мели; у входа въ палату Новицкая и Зинаида Аркадьевна соорудили два большихъ букета изъ хвойной зелени.

Куропаткинъ пріѣхалъ. Но пріѣхалъ онъ не по той дорогѣ, по которой его ждали. Онъ вышелъ изъ коляски сердитый, рапорта главнаго врача не принялъ.

— Скажите, пожалуйста, что у васъ тутъ за дороги къ госпиталю! Я сейчасъ чуть не вывалился на косогорѣ. Какъ же къ вамъ по такимъ дорогамъ будутъ возить раненыхъ?

Онъ прошелъ въ палату, не обративъ вниманія на букеты. Подошелъ къ сіявшему рукомойнику, поднялъ крышку,—внутри рукомойника была грязь. Велѣлъ затопить печку,—печка дымила. Осмотрѣлъ онъ всѣ палаты и спросилъ Султанова:

— Сколько же у васъ тутъ мѣсть?

— Сто двадцать, ваше высокопревосходительство!

— Сто двадцать? А сколько штатныхъ мѣсть полагается въ подвижномъ госпиталѣ?

— Мм... Двѣсти, ваше высокопревосходительство!— отвѣтилъ блѣдный Султановъ.

— Такъ... Приготовьте *шестьсотъ* мѣсть. Обратите вниманіе на подъездныя дороги, печи и рукомойники.

Куропаткинъ уѣхалъ, очень мало восхищенный. Султановъ лѣниво потиралъ руки и говорилъ своимъ небрежнымъ, насмѣшливымъ голосомъ:

— Бѣда съ этимъ начальствомъ! Чего его къ намъ понесло? Его высокопревосходительству захотѣлось совершить легкую послѣобѣденную прогулку, а мы за это страдаемъ!

Черезъ два дня пріѣхали какіе-то полковникъ и врачъ, спросили Султанова. Онъ вышелъ.

— Мы отъ главнокомандующаго,—вѣжливо заявилъ врачъ.—Исполнены его указанія?

Султановъ растерялся.

— Когда жъ я могъ успѣть?

— То-есть, какъ это?—удивился врачъ.—А меня главнокомандующій еще вчера посылалъ, да я не успѣлъ... Приступлено-ли, по крайней мѣрѣ, къ началу работъ?

— Д-да... Мы написали въ штабъ дивизіи...

— Полноте, это не дѣло, а бумагомараніе. А сдѣлали-то вы что?

— Что же я могу сдѣлать? У меня на это и средствъ нѣтъ.

Врачъ задумчиво покручивалъ бородку.

— Значить, такъ и доложить главнокомандующему?..

И они уѣхали.

Куропаткинъ телеграммою извѣстилъ корпуснаго командира, что нашелъ госпиталь въ полномъ хаосѣ, относить это всецѣло къ нераспорядительности начальствующихъ лицъ и приказываетъ принять самыя энергичныя мѣры къ приведенію госпиталя въ порядокъ.

Султановъ притворялся беззаботнымъ, посмѣивался и говорилъ:

— Мнѣ что! Только бы не повѣсили, а на остальное наплевать! Вѣдь всѣ мы ѣхали сюда исключительно затѣмъ, чтобъ получать непріятности. Ну, а одною больше или меньше,—не все равно?

Работа въ деревнѣ закипѣла. Корпусный командиръ прислалъ роту саперовъ для исправленія дорогъ и отдѣлки фанзъ. Было рѣшено обратить деревню въ цѣлый госпитальный городокъ, въ нее перевели нашъ госпиталь и дивизионный лазаретъ. Командиръ корпуса выхлопоталъ на оборудованіе госпиталей три ты-

сячи рублей и завѣдующимъ работами назначилъ Султанова.

Въ ожиданіи, пока будутъ отдѣланы фанзы для нашего госпиталя, мы сидѣли безъ дѣла. Работы вскорѣ пошли вяло и медленно. Зато помѣщенія Султанова и Новицкой отдѣлывались на-диво. Саперный офицеръ, завѣдывавшій работами, цѣлые дни сидѣлъ у Султанова, у него же обѣдалъ и цѣловалъ ручки Новицкой.

Въ султановскомъ госпиталѣ шли непрерывные праздники. То и дѣло пріѣзжалъ корпусный командиръ, пріѣзжали разные генералы и штабные офицеры. Часто Султановъ съ Новицкою и Зинаидой Аркадьевной уѣзжали на обѣды къ корпусному.

Въ госпиталѣ полною безконтрольною хозяйкою была Новицкая. Она распекала солдатъ, ставила ихъ черезъ главнаго врача подъ ружье. Солдаты команды обязаны были вытягиваться передъ нею во фронтъ. Врачамъ смѣшно было и подумать, чтобы Новицкая стала исполнять ихъ приказанія; она ихъ совершенно игнорировала. То и дѣло происходили столкновенія.

Новицкая была въ госпиталѣ старшею сестрою, за больными не ухаживала, а завѣдывала хозяйствомъ. Порціи для больныхъ обыкновенно выписывались съ вечера. Однажды врачъ забылъ вечеромъ выписать порціи; палатная сестра пришла къ Новицкой утромъ за яйцами и молокомъ.

— У васъ не выписано, я не выдамъ!

Врачъ написалъ требованіе, сестра съ этимъ требованіемъ пришла къ Новицкой вторично.

— Скажите вашему доктору, что не будетъ ему ни молока, ни яицъ! Пусть пишетъ во-время! — объявила Новицкая.

Сестра воротилась въ палату, сообщила врачу. Врачъ въ недоумѣніи опустилъ голову. Вошелъ въ палату старшій ординаторъ, д-ръ Васильевъ. Врачъ сообщилъ

ему о послѣдовавшемъ „высочайшемъ отказѣ“,—какъ же теперь быть? Значить, голодать больнымъ? Въ это время въ палату вошла Новицкая.

— А, вотъ-она и сестра!—сказалъ Васильевъ.—Потрудитесь сейчасъ-же отпустить для больныхъ молока и яицъ!

— Я сказала, не будетъ вамъ ничего! Впередъ будете выписывать съ вечера!

Маленькіе, черные глаза Васильева свирѣпо выкатились и заворочались.

— Вы, барышня, понимаете, что вы такое говорите?.. Сестра! Я, старшій ординаторъ, *приказываю* вамъ немедленно отпустить для больныхъ молоко и яйца!

— Ни молока, ни яицъ вамъ не будетъ!—отрѣзала Новицкая и вышла, хлопнувъ дверью.

Больные солдаты въ недоумѣніи смотрѣли. Васильевъ пошелъ къ главному врачу. Султановъ пилъ кофе съ какимъ-то полковникомъ.

— Господинъ главный врачъ! Позвольте узнать, это по вашему приказанію рѣшено проморить сегодня слабыхъ больныхъ голодомъ?

— Что такое? Въ чемъ дѣло?—поморщился Султановъ.—Что за вздоръ вы говорите?

Онъ распорядился выдать молоко и яйца.

Команда султановскаго госпиталя голодала. Нашъ главный врачъ кралъ во-всю, но онъ и смотритель заботились какъ о командѣ, такъ и о лошадяхъ. Султановъ кралъ такъ-же, такъ-же фабриковалъ фальшивые документы, но не заботился рѣшительно ни о комъ. Пища у солдатъ была отвратительная, жили они въ холодѣ. Обозныя лошади казались скелетами, обтянутыми кожей. Офицеръ-смотритель билъ солдатъ безпощадно. Они пожаловались Султанову. Султановъ затопалъ ногами и кричалъ на солдатъ.

— Не знаете порядка? Вы должны передавать мнѣ ваши претензіи черезъ смотрителя!

По удивительнымъ военнымъ правиламъ, если я жалуюсь на своего начальника, то жалобу свою я обязанъ подавать ему же. Наболѣе смѣлые солдаты отправились къ смотрителю, изложили свои претензіи на него и попросили передать эти претензіи дальше.

— Вотъ вамъ претензіи! Вотъ вамъ „дальше“!—отвѣтилъ смотритель и нагайкою избилъ жалобщиковъ.

Солдаты видѣли постоянно пирующихъ въ ихъ госпиталь генераловъ и понимали, какъ бессмысленно ждать отъ нихъ заступничества. И ходили они,—угрюмые, молчаливые, вѣчно какіе-то взъерошенные,—и на нихъ было тяжело смотрѣть.

Султановскій госпиталь начиналъ входить въ славу не только въ корпусѣ, но и во всей нашей арміи. Повсюду рассказывали о выходкахъ Султанова и Новицкой, объ ихъ всемогуществѣ. За глаза ругали, въ глаза были вѣжливы и предупредительны. Никакихъ законовъ, никакихъ приказовъ для Султанова не существовало. Изъ штаба корпуса то и дѣло приходили въ наши учрежденія приказы,—то прислать въ штабъ по десяти повозокъ для перевозки въ штабъ фуража и дровъ, то передать въ штабъ изъ хозяйственныхъ суммъ по нѣскольку сотъ рублей на пріобрѣтеніе для штаба стереотрубы или экипажей-американокъ. Всѣ учрежденія, разумѣется, немедленно исполняли приказы. Султановъ же оставлялъ ихъ даже безъ отвѣта.

Персоналъ дивизіоннаго лазарета, тоже переведеннаго въ нашу деревню, великолѣпно отдѣлалъ фанзу для своего помѣщенія: сложили хорошо и ровно грѣющую печку, потолокъ оклеили бѣлыми обоями, стѣны обили золотистыми цыновками, въ окна вставили стекла. Зашли къ нимъ Султановъ съ Новицкой. Они загадочно-внимательно оглядывали фанзу, любовались ею и восхищались. А черезъ два дня вдругъ изъ корпуса

пришелъ приказъ, — дивизионному лазарету передвинуться изъ М—ни въ деревню Ченгоузу Восточную. Передвиженіе ненужное, безсмысленное, — всего за версту на сѣверъ. Всѣмъ было ясно, что это — дѣло Султанова и Новицкой, которымъ приглянулась фанза.

— И чего ей еще? И такъ чуть не во дворцѣ живеть! — возмущались изгоняемые врачи.

Однажды дивизионный врачъ получилъ отъ Султанова бумагу. Въ этой бумагѣ Султановъ писалъ, что, „по личному приказанію командира корпуса“, онъ представляетъ сестеръ милосердія своего госпиталя къ наградамъ: сестеръ Новицкую и Буланину (Зинаиду Аркадьевну) — къ золотымъ медалямъ на анненской лентѣ „за усердный и самоотверженный уходъ за ранеными въ бою на р. Шахе“; двухъ другихъ сестеръ, какъ-разъ, дѣйствительно, работавшихъ съ самоотверженіемъ, Султановъ представлялъ къ серебрянымъ медалямъ на станиславской лентѣ просто „за уходъ за ранеными“.

Это представленіе возмутило даже нашего дивизионнаго врача, — дряхлаго, себялюбиваго чинушу, полного только думами о себѣ. Онъ сдѣлалъ на бумагѣ приписку, что, по его мнѣнію, золотой медали заслуживаетъ также и сестра Валежникова (Вѣра Николаевна), тѣмъ болѣе, что, ухаживая за больными, она заразилась тифомъ.

— А Новицкую къ золотой медали представлять не за что, — замѣтилъ ему его помощникъ. — Всѣ вѣдь знаютъ, что она больныхъ даже и не видитъ, а только ѣздитъ на обѣды въ штабъ... Довольно съ нея и серебряной медали!

Помощникъ дивизионнаго врача былъ человекъ съ живою душою. Своимъ дряхлымъ и туповатымъ патрономъ онъ вертѣлъ, какъ хотѣлъ. Но тутъ, въ первый разъ за всю ихъ совмѣстную службу, дивизионный врачъ сверкнулъ глазами и рявкнулъ на него:

— Это не ваше дѣло! Прошу молчать!

Узнавъ о представленіи Султанова, нашъ главный врачъ поспѣшилъ представить къ медалямъ и своихъ сестеръ,—старшую, имѣвшую уже серебряную медаль за свою службу въ Россіи, къ золотой, остальныхъ—къ серебрянымъ.

Представленія прошли очень скоро. Только Вѣра Николаевна получила-таки, кажется, серебряную медаль. Новицкая, жившая все время „въ высшихъ сферахъ“, высокомерно игнорировала мнѣніе другихъ сестеръ, но Зинаидѣ Аркадьевнѣ было неловко. Она забѣжала къ нашимъ сестрамъ, сообщила, что ей пожалована золотая медаль. Сама сіяя отъ радости, Зинаида Аркадьевна возмущалась, почему нашимъ сестрамъ даны серебряныя медали, „когда всѣ одинаково работали“. Объясняла она это тѣмъ, что, будто бы, дворянкамъ полагается давать золотыя медали, а не дворянкамъ—серебряныя.

— Вѣдь это просто возмутительно!.. — либеральничала она. — Ну, да это ужъ пускай-бы. Разъ такой законъ, то ничего не подѣлаешь. А почему объ насъ съ Новицкою Султановъ написали лучшія рецензіи, чѣмъ о другихъ сестрахъ? Вѣдь всѣ мы работали совсѣмъ одинаково. Я положительно не могу выносить такихъ несправедливостей!.. — И сейчасъ же, охваченная своею радостью, она прибавляла: — Теперь обязательно нужно будетъ еще устроить, чтобъ получить медаль на георгіевской лентѣ, иначе не стоило сюда и ѣхать!

Наступилъ канунъ Рождества. Японцы перебросили въ наши окопы записочки, въ которыхъ извѣщали, что русскіе спокойно могутъ встрѣчать свой праздникъ: японцы мѣшать имъ не станутъ и тревожить не будутъ. Разумѣется, коварнымъ азіатамъ никто не вѣрилъ. Всѣ ждали внезапнаго ночного нападенія.

Въ сочельникъ подѣ вечеръ къ намъ пришелъ телеграфный приказъ: въ виду ожидающагося боя, немедленно выѣхать въ дивизионный лазаретъ обоимъ главнымъ врачамъ госпиталей, захвативъ съ собою по два младшихъ врача и по двѣ сестры. Нашъ дивизионный лазаретъ уже нѣсколько дней назадъ былъ передвинутъ изъ Ченгоузы версты на четыре къ югу, къ самымъ позиціямъ.

Приказъ представлялъ собою вопіющее беззаконіе: главнаго врача госпиталя *ни въ какомъ случаѣ* нельзя откомандировывать отъ его госпиталя, разъ госпиталь открытъ. При данныхъ-же обстоятельствахъ эта командировка главныхъ врачей на позиціи была прямою нелѣпостью: если предстоитъ жестокой бой, то работы будетъ много не только въ дивизионномъ лазаретѣ, но и въ госпиталяхъ; какъ же можно было оставлять госпитали безъ главныхъ врачей? Къ тому же, было совершенно неизвѣстно, понадобятся ли еще лишніе врачи въ лазаретъ, даже будетъ ли вообще бой.

Дѣло не оставляло никакихъ сомнѣній: Султанову нуженъ Владимиръ съ мечами, Новицкой и Зинаидѣ Аркадьевнѣ нужны медали на георгіевскихъ лентахъ. Если командировать одного Султанова съ обѣими дѣвицами, то это слишкомъ бы бросилось всѣмъ въ глаза. И вотъ, „на позиціи“ было двинуто по половинѣ наличнаго врачебнаго состава обоихъ госпиталей.

Стемнѣло уже давно, мы выѣхали съ фонарями. Ночь стояла тихая, темная и весенне-теплая; снѣгу не было. Пріѣхали мы въ дивизионный лазаретъ, стали пить чай. Всѣ смѣялись и острили по поводу этой фантастической командировки. Пріѣхалъ Султановъ съ двумя своими врачами—и безъ сестеръ.

— А что же ваши сестры?

— Онѣ поѣхали на елку къ корпусному командиру,— отвѣтилъ Султановъ.

Поѣхали, конечно, Новицкая и Зинаида Аркадьевна,—

почему же Султановъ не взялъ двухъ другихъ сестеръ? Но никому и въ голову не пришло спрашивать, всё понимали, что, если было сюда ѣхать, то именно Новицкой и Зинаидѣ Аркадьевнѣ... А былъ данъ совершенно опредѣленный приказъ пріѣхать съ сестрами.

Часу въ девятомъ раздался одинъ ружейный выстрѣлъ, другой, — и вскорѣ на нашихъ позиціяхъ затрещалъ бѣшеный пачечный огонь. Тяжело загрохотали пушки. Всѣ примолкли. Творилось что-то жуткое. Ружейная стрѣльба распространялась все шире, бухали пушки, и снаряды съ завываніемъ уносились вдаль.

Мы приготовились къ пріему раненыхъ. Раненыхъ не привозили. А пальба перекатывалась бѣшено и лихорадочно, мимо скакали въ темнотѣ взволнованные ординарцы... На японскихъ позиціяхъ засвѣтился прожекторъ, голубоватый лучъ медленно поползъ по нашимъ позиціямъ.

Раненыхъ мы такъ и не дождались. Къ полуночи пальба смолкла. Мы легли спать, а утромъ воротились домой. Необычная мобилизація госпитального персонала „на позиціи“ оказалась совершенно излишнею

Разскажу кстати, что же это была за пальба.

Разыгралась одна изъ самыхъ смѣхотворныхъ исторій за всю эту войну, вообще столь богатую юмористикою. Царило глубокое убѣжденіе, что японцы въ эту ночь что-то намъ готовятъ, нервы у всѣхъ были напряжены. Охотники одного изъ нашихъ полковъ услышали въ темнотѣ быстро приближавшійся со стороны японцевъ широкій, легкій и частый топотъ. Охотники открыли огонь. Увѣряютъ, что это было стадо китайскихъ свиней; оно вырвалось откуда-то изъ закуты и бѣжало по полю. Огонь охотниковъ былъ подхваченъ сидѣвшимъ въ окопахъ батальономъ, оттуда огонь передался въ сосѣднія части, дали знать въ батареи, — и пошла канонада. Офицеры, бывшіе въ это время на сопкахъ, рассказывали мнѣ: сверху вдоль русскихъ

окоповъ были видны сплошныя, мерцающія огненные линіи отъ ружейныхъ выстрѣловъ. Командиръ батальона, обнаружившаго наступленіе свиней, послалъ командиру полка телеграмму: „дольше держаться не могу, пришлите подкрѣпленіе“ (Многіе офицеры честнымъ словомъ завѣряли меня, что это фактъ). Стали рвать фугасы. Взорвали одинъ фугасъ, другой взорвался самъ собою...

И тутъ всѣ сгорѣли со стыда: огонь взрывовъ освѣтилъ вокругъ полнѣйшую пустыню. Нигдѣ ни одного врага. Между тѣмъ начали, наконецъ, отвѣчать изъ своихъ окоповъ и японцы, засвѣтился ихъ прожекторъ и съ недоумѣніемъ сталъ шарить по нашимъ позиціямъ, бѣшено трещавшимъ выстрѣлами.

Во всеподданнѣйшей телеграммѣ Куропаткина событіе это было изложено такъ:

„Въ ночь на 25 декабря японцы начали было тревожить насъ на фронтѣ центральной части нашего расположенія. Своевременно обнаруженные нашимъ сторожевымъ охраненіемъ, они встрѣчены были артиллерійскимъ и ружейнымъ огнемъ и послѣ перестрѣлки отошли назадъ. У насъ раненъ заурядъ-прапорщикъ, убито 3 и ранено 17 нижнихъ чиновъ“.

Куропаткинъ только не прибавилъ, что они были убиты и ранены *русскими* пулями: пострадавшіе находились впереди окоповъ, въ дозорахъ и секретахъ, и на нихъ обрушился весь вихрь пуль.

Впрочемъ, какъ увѣрялъ одинъ шутникъ-офицеръ, были и японцы, пострадавшіе въ эту достопримѣчательную ночь: развѣдчики нашли во вражескихъ окопахъ трупы нѣсколькихъ японцевъ, лопнувшихъ отъ смѣха.

Однажды въ нашъ госпиталь принесли изъ сосѣдней деревни нѣсколько тяжело раненныхъ солдатъ.

Раны были ужасны: одному оторвало обѣ руки, другому разорвало животъ, у остальныхъ были перебиты руки и ноги, проломлены головы. Ранены они были вотъ какъ: полкъ пришелъ съ позицій на отдыхъ въ деревню; одинъ солдатъ захватилъ съ собою подобранную на позиціяхъ неразорвавшуюся японскую шрапнель; солдаты столпились на дворѣ фанзы и стали разсматривать снарядъ: вертѣли его, щелкали, начали отвертывать дистанціонную трубку. Разумѣется, произошелъ взрывъ. Трехъ убило наповаль, одиннадцать тяжело ранило. Пострадали три-четыре солдата, просто шедшіе мимо получать у каптенармуса валенки... Погибло полтора десятка человѣкъ. Изъ-за чего? Изъ-за „несчастной случайности“?

Нѣтъ, это не была несчастная случайность. Если заставить слѣпыхъ людей бѣжать по полю, изрытому ямами, то не будетъ несчастною случайностью, что люди то-и-дѣло станутъ падать въ ямы. Русскій же солдатъ находился именно въ подобномъ положеніи, и катастрофы были неизбежны.

Вся война была однимъ сплошнымъ рядомъ такого рода катастрофъ. Выяснялось съ полною очевидностью, что для побѣды въ современной войнѣ отъ солдата прежде всего требуется не сила быка, не храбрость льва, а развитый, дисциплинированный разумъ человѣка. Этого-то у русскаго солдата и не оказалось. Поразительно прекрасный въ своемъ беззавѣтномъ мужествѣ, въ желѣзной выносливости, — онъ былъ жалокъ и раздражающъ своею некультурностью и умственной мѣшковатостью.

Если бы даже вся организація нашей арміи представляла собою на-диво стройную, прекрасно налаженную машину, — а въ дѣйствительности и машина-то была на-диво неуклюжая и неслаженная, — то и тогда это невѣжество солдата было бы пескомъ, тершимся межъ всѣхъ колесиковъ машины.

— Какъ эта деревня называется?

— Не можемъ знать!

— А вы здѣсь давно стоите?

— Четвертый мѣсяцъ.

Китайцы выселены, спросить некого, дѣло спѣшное,—и безпомощно смотритъ посланный на свой планъ, и не можетъ узнать, такъ-ли онъ ѣдетъ, какъ нужно.

— Гдѣ-то тутъ неподалеку должна быть деревня Людогоу, не знаете вы ее?

— Никакъ нѣтъ!

Посланный ѣдетъ дальше, блуждаетъ. Наконецъ оказывается,—деревня, гдѣ онъ спрашивалъ солдатъ, и была какъ-разъ Людогоу!

Сами солдаты безпомощно блуждали по мѣстности, не умѣя ни пользоваться компасомъ, ни читать картъ. Въ бояхъ, гдѣ прежняя стадная колонна теперь разсыпается въ широкія цѣпи самостоятельно-дѣйствующихъ и отдѣльно-чувствующихъ людей, нашъ солдатъ терялся и падалъ духомъ; выбывали изъ строя офицеры,—и сотня людей обращалась въ ничто, не знала, куда двинуться, что дѣлать.

Между позиціями, позади позицій,—вездѣ шла предательская, неуловимая разрушительная работа. Въ нужный моментъ самыя необходимыя приспособленія оказывались испорченными. Шла охота на китайцевъ, ихъ хватали, рубили имъ головы... Но при чемъ тутъ были китайцы! Большинство крупныхъ, существенныхъ предательствъ совершалось вовсе не китайскимъ злодѣйствомъ, а роднымъ русскимъ невѣжествомъ. Пусть за меня разсказываютъ официальные приказы.

„Проводимыя въ районъ дѣйствія нашихъ войскъ линіи военнаго телеграфа, шестовыя и кабельныя, нерѣдко подвергаются порчѣ самими-же войсками и обозами. Такъ, напр., замѣчены случаи, что войска располагались биваками подъ самыми линіями телеграфа, и

однажды костеръ былъ разведенъ на телеграфномъ кабелѣ; къ телеграфнымъ шестамъ привязывали лошадей; ѣдущіе казаки пиками обрывали проволоку; при прогонѣ порціоннаго скота по полямъ, безъ дорогъ, скотъ валить и ломаетъ шесты и рветъ проводъ; при осмотрѣ кабеля, подвѣшеннаго къ деревьямъ, случалось, что находили не только срубленные вѣтки, на которыхъ висѣлъ кабель, но и разрубленный кабель; также при осмотрѣ кабеля оказывались надрѣзы изолировки, а иногда зачистки ея съ оголеніемъ жилы, что дѣлается, вѣроятно, изъ любопытства. Главнокомандующій изволилъ приказать обратить на это вниманіе“ и т. д. (*Приказанія главнокомандующаго*, 14 ноября 1904 г., № 69).

„Обращено вниманіе, что поломка телеграфныхъ шестовъ войсковыми обозами и конными фуражирами, несмотря на неоднократныя приказанія о принятіи противъ сего войсковымъ начальствомъ надлежащихъ строгихъ мѣръ, все еще продолжается. Ежедневно (!) поступаютъ жалобы на перерывъ телеграфныхъ сообщеній вслѣдствіе небрежнаго обращенія войскъ съ телеграфными линіями. Повозки, транспорты и въюки слѣдуютъ часто по сторонамъ проѣзжихъ дорогъ, задѣваютъ и ломаютъ шесты. Главнокомандующій приказалъ вновь обратить вниманіе“ и т. д. (*Прик. главнокомандующаго*, 5 декабря 1904 г., № 168).

„Замѣчено, что на участкѣ, находящемся въ нашихъ рукахъ къ югу отъ станціи Суятунъ, полотно желѣзной дороги постепенно разрушается нашими же нижними чинами, которые растаскиваютъ шпалы на протяженіи цѣлыхъ звеньевъ. То же небрежное отношеніе и отсутствіе сознанія причиняемаго вреда проявляется среди нижнихъ чиновъ и въ отношеніяхъ ихъ къ линіямъ полевого телеграфа, мостамъ, гатямъ и другимъ техническимъ сооруженіямъ, устройство и поддержаніе въ исправности которыхъ стоитъ огромныхъ затратъ и усилій“ (При-

казъ войскамъ 3-й маньчжурской арміи, 1 янв. 1905 г., № 15).

Медленно и тягуче мѣсяць шель за мѣсяцемъ. Двѣ огромныя арміи неподвижно стояли другъ противъ друга; обѣ усиленно укрѣплялись и окапывались. Постепенно выросли одна противъ другой какъ бы двѣ длинныя, въ десятки верстъ, крѣпости,—непрístupно укрѣпленныя, снабженныя тяжелыми осадными орудіями. Повсюду тянулись окопы, редуты, люнеты, другъ съ другомъ они соединялись земляными ходами. Обѣ арміи, какъ кроты, закопались въ землю, тысячи глазъ пристально глядѣли изъ рвовъ, и въ cadaго неосторожнаго сейчасъ же летѣли пули. Было холодно, люди стыли въ окопахъ; отъ неподвижнаго стоянія опухали ноги и атрофировались ножныя мышцы; выходя изъ окоповъ, солдаты шатались и шли, какъ пьяные.

На позиціяхъ были холодъ, лишенія, праздное стояніе съ постояннымъ нервнымъ напряженіемъ отъ стегущей опасности. За позиціями, на отдыхъ, шло безпробудное пьянство и отчаянная карточная игра. То же самое происходило и въ убогихъ мукденскихъ ресторанахъ. На улицахъ Мукдена китайскіе ребята зазывали офицеровъ къ „китайска мадама“, которыя, какъ увѣряли дѣти, „шибко шанго“. И кандидаты на дворъ фанзы часами ждали своей очереди, чтобъ лечь на лежанку съ грязной и накрашенной четырнадцатилѣтней китаянкой.

Настроеніе арміи было мрачное и угрюмое. Въ побѣду мало вѣрили. Офицеры бодрились, высчитывали, на сколько тысячъ штыковъ увеличивается въ мѣсяць наша армія, надѣялись на балтійскую эскадру, на Портъ-Артуръ... Портъ-Артуръ сдался. Освободившаяся армія Ноги двинулась на соединеніе съ Оямой.

Настроение падало все больше, хотѣлось мира; но офицеры говорили:

— Какъ тогда воротиться? Хоть снимай мундиръ, совѣстно будетъ показаться на улицѣ.

Было немало офицеровъ, которые о мирѣ не хотѣли и слышать. У нихъ была своеобразная военная „честь“, требовавшая продолженія войны.

У солдата никакой такой „честь“ не было, войны онъ совершенно не понималъ и напрасно добивался отъ кого-нибудь разъясненій.

— Ваше благородіе, изъ-за чего эта война?—спрашивалъ онъ офицера.

— Японецъ виновать, мы не хотѣли. Онъ на насъ первый напалъ.

— Точно такъ... А только, вѣдь, безъ причины чего жъ ему нападать?

Молчаніе.

— Вотъ, говорятъ, изъ-за Маньчжуріи этой война. Да на что она намъ? Мы бы тутъ и задаромъ не стали жить. А черезъ Сибирь ѣхали,—вонъ сколько вездѣ земли, конца нѣтъ...

Положеніе желавшихъ „поддержать духъ арміи“ было чрезвычайно затруднительное. Нельзя было и намека найти на что-нибудь, что зажигало бы душу желаніемъ подвига, желаніемъ борьбы во имя чего-то высокаго и свѣтлаго.

При штабѣ главнокомандующаго издавалась спеціальная газетка, „Вѣстникъ Маньчжурскихъ Армій“. Газетка эта, имѣвшая задачей играть роль Тиртея русской арміи, представляла собою нѣчто поразительное по своей бездарности, лживости, отсутствію огня и вдохновенія. Казенно-слащавыя фразы о вѣрѣ, царѣ и отечествѣ, о чести родины, бахвальство безъ мѣры и безъ оглядки—вотъ что должно было питать духъ участниковъ титанической борьбы, гдѣ отъ канонады въ потрясенномъ насквозь воздухѣ сгущались грозы, и

цѣлыя равнины устилались кровавыми коврами труповъ. Мнѣ не разъ еще придется цитировать эту по истинѣ замѣчательную газетку.

А вотъ въ какомъ родѣ писали патріотическіе авторы брошюрокъ, въ большомъ количествѣ распространенныхъ среди солдатъ. Передо мною изящно изданная книжка, съ прекрасными иллюстраціями, подъ заглавіемъ: „Въ осажденномъ Портъ-Артурѣ или геройская смерть рядового Дмитрія Өомина“. Начинается рассказъ такъ:

„— Нѣтъ, братъ-япоша, моихъ рукъ тебѣ не миновать, отвѣдаешь теперь русскихъ щей да каши, блюда-съ—за первый сортъ...

„Такъ думалъ рядовой Дмитрій Өоминъ, находясь въ засадѣ съ ружьемъ наготовѣ и зорко слѣдя за японскимъ развѣдчикомъ“.

Японецъ ползетъ по скаламъ, рискуя каждую минуту свалиться. „И японцу тоже не легко, думалъ Өоминъ, *онъ тоже вѣдь исполняетъ приказанія своего начальства*. И ему даже жаль стало японца. Въ другое время Өоминъ навѣрно помогъ бы ему вскарабкаться, но теперь, *полный готовности исполнить приказанія своего собственнаго начальства и угодить ему*, онъ ждалъ, не могъ дожидаться, пока японецъ не приблизится къ нему настолько, чтобъ наброситься на него неожиданно и схватить его...“

Бѣдная русская армія, бѣдный, бѣдный русскій народъ! Вотъ что должно было зажечь его огнемъ борьбы и одушевленія,—желаніе *угодить начальству!*.. Но напрасно авторъ-патріотъ думаетъ, будто и японцы только „исполняли приказанія своего начальства“. Нѣтъ, *этотъ* огонь не грѣетъ души и не зажигаетъ сердца. А души японцевъ горѣли сверкающимъ огнемъ, они рвались къ смерти и умирали улыбаясь, счастливые и гордые.

Немировичъ-Данченко сообщаетъ, что однажды, въ частной бесѣдѣ, Куропаткинъ сказалъ: „да, приходится

признать, что въ настоящее время войны ведутся не правительствами, а народами“. Признать это приходилось всякому, имѣющему глаза и уши. Времена, когда русская „святая скотинка“ карабкалась вслѣдъ за Суворовымъ на Альпы, изумляя міръ своимъ безсмысленнымъ героизмомъ, — времена эти прошли безвозвратно.

Каждый день въ нашъ госпиталь привозили съ позицій раненныхъ. Поражало, какая масса ихъ ранена въ кисти рукъ, особенно правой. Сначала мы принимали это за случайность, но чрезмѣрное постоянство такихъ ранъ вскорѣ бросилось въ глаза. Приходитъ дежурный фельдшеръ, докладываетъ:

— Ваше благородіе, пять раненныхъ привезли.

— Въ руки ранены?

— Такъ точно! — сдерживая улыбку, отвѣчаетъ фельдшеръ.

Разспрашиваешь солдата, при какихъ обстоятельствахъ онъ раненъ. Раненый путается, сбивается. „Потянулъ руку за ковыльяномъ“, „потянулся на брустверъ за патронами“... Сестрамъ, съ которыми солдаты меньше стѣснялись, они прямо рассказывали:

— Какъ случилось! Высунешь однѣ руки и стрѣляешь. Вѣдь вотъ, въ руку попало. А высунь-ка я голову, — прямо бы въ голову и угодило!

Главный начальникъ тыла въ одномъ изъ своихъ приказовъ пишетъ:

„Въ госпитали тыла поступило большое число нижнихъ чиновъ съ пораненіями пальцевъ на рукахъ. Изъ нихъ съ пораненными только указательными пальцами 1.200. Отсутствие указательнаго пальца на правой рукѣ освобождаетъ отъ военной службы. Поэтому, а также принимая во вниманіе, что пальцы хорошо защищаются при стрѣльбѣ ружейной скобкой, есть основаніе предполагать умышленное членовредительство. Въ виду вышеизложеннаго, главнокомандующій приказалъ на-

значить слѣдствіе для привлеченія виновныхъ къ законной отвѣтственности“.

Солдаты только и жили, что ожиданіемъ мира. Ожиданіе было страстное, напряженное, съ какою-то почти мистическою вѣрою въ близость этого желаннаго, все не приходящаго „замирения“. Чуть гдѣ на стоянкѣ раздается „ура!“—солдаты всѣхъ окрестныхъ частей встрепенутся и взволнованно спрашиваютъ:

— Что это? Не замирение ли?

Однажды утромъ, въ срединѣ января, мой денщикъ говоритъ мнѣ:

— 27-го числа война кончится.—И загадочно улыбається.

— Черезъ годъ?—усмѣхнулся я.

— Никакъ нѣтъ, въ этомъ мѣсяцѣ,—отвѣтилъ онъ увѣренно.

И рассказалъ мнѣ исторію. Въ Кромскомъ полку есть солдатъ-провидецъ. Онъ сообщилъ товарищамъ, что война кончится ровно черезъ годъ послѣ ея начала, 27 января 1905 года. Ротный узналъ про это предсказаніе и поставилъ провидца на три часа подъ ружье. Идетъ мимо командиръ полка, спрашиваетъ:— „За что стоишь?“—За правду, ваше высокородіе!—„За какую правду?“—Солдатъ рассказалъ.—„Ну, передай твоему ротному, чтобъ онъ тебѣ отъ меня еще три часа набавилъ“.—Нѣтъ, ваше высокородіе, вы меня не обижайте, а вотъ послушайте, что я скажу! Вамъ на почтѣ письмо лежитъ, а въ томъ письмѣ прописано, что у васъ братецъ въ Россіи померъ.—Оказалось вѣрно. Полковникъ пошелъ и все рассказалъ Куропаткину. Куропаткинъ вызвалъ солдата, сталъ на него кричать и топтать ногами, а солдатъ говоритъ: „Ваше высокопревосходительство! У васъ въ правомъ карманѣ коробка спичекъ, а спичекъ въ ней сорокъ двѣ штуки“. Куропаткинъ пересчиталъ спички,—вѣрно. Онъ оставилъ

солдата при себѣ. „Если,—говорить,—сбудется, какъ ты сказалъ, произведу тебя въ офицеры, не сбудется, —разстрѣляю“.

Пошелъ я въ палату. Раненые и больные оживленно говорили и расспрашивали о предсказаніи кромца. Быстрѣ свѣта, ворвавшася въ тьму, предсказаніе распространилось по всей нашей арміи. Въ окопахъ, въ землянкахъ, на бивуакахъ у костровъ,—вездѣ солдаты съ радостными лицами говорили о возвѣщенной близости замиренія. Начальство всполошилось. Прошелъ слухъ, что тѣхъ, кто станетъ разговаривать о мирѣ, будутъ вѣшать.

— Ну-у!.. Веревокъ не хватитъ!—съ усмѣшкой возражали солдаты.

Мы посмѣивались надъ предсказаніемъ, но,—человѣческая натура! — такъ хотѣлось мира, что, вопреки очевидности, въ глубинѣ души все-таки жило какое-то глупое, радостное ожиданіе. И слухи шли, подкрѣплявшіе это ожиданіе. Рассказывали, что интендантство распорядилось представить ему требовательныя вѣдомости только на три мѣсяца впередъ, а не на шесть, какъ было раньше; войскамъ велѣно не запасать провіанту, а потреблять уже заготовленные консервы; германскій императоръ каждый день, будто бы, бываетъ то у русскаго посла, то у японскаго; войскъ изъ Россіи больше ужъ не отправляютъ... Рассказывали, что январскій фланговой бой у Сандепу былъ предпринятъ по приказанію изъ Петербурга, чтобъ въ послѣдній разъ попытать счастья. Уложили пятнадцать тысячъ человѣкъ и не смогли взять одной деревни. Рассчитали, что, если начать бой по всему фронту, то придется уложить сотни тысячъ людей безъ всякаго результата,—и начали переговоры о мирѣ. Въ апрѣлѣ мѣсяцѣ, сообщали слухи, мы уже поѣдемъ домой.

Пришло 27 января. Мира, конечно, нѣтъ. Мы смѣемся,

напоминаемъ солдатамъ объ ихъ вѣщемъ кромцѣ. Они конфузятся и чешутъ за ухомъ.

— Значить, ошибся...

Было горькое разочарованіе. И слухи пошли ужъ совсѣмъ другіе: рѣшено сформировать новую трехсот-тысячную армію для Кореи, построить новый огромный флотъ; Японія рассчитываетъ воевать еще въ теченіе всего 1905 года...

На душѣ у всѣхъ было тяжело и смутно.

Въ большомъ количествѣ въ госпитали шли офицеры. Въ одномъ изъ нашихъ полковъ, еще не участвовавшемъ ни въ одномъ бою, выбыло „по болѣзни“ двадцать процентовъ офицерскаго состава. Съ наивнымъ цинизмомъ къ намъ заходили офицеры посоветоваться частнымъ образомъ, нельзя ли эвакуироваться вслѣдствіе той или другой венерической болѣзни.

— Знаете, съ сентября ужъ мѣсяца здѣсь, надоѣло, хочется въ Россію.

Эвакуировался одинъ изъ адъютантовъ штаба нашей дивизіи, по доброй волѣ поѣхавшій на войну.

— Зачѣмъ же вы ѣхали?

— Мы всѣ были убѣждены, что въ октябрѣ война кончится, что будетъ она въ родѣ китайской. А для движенія по службѣ поѣхать было выгодно.

На моемъ дежурствѣ явился въ нашъ госпиталь одинъ высокій бравый капитанъ.

— Здравствуйте, докторъ!—сказалъ онъ солиднымъ барскимъ басомъ, протягивая руку. — Вотъ, пріѣхалъ лечь къ вамъ въ госпиталь.

— Что у васъ болитъ?

— Видите ли, въ чемъ дѣло. Я человекъ ужъ не молодой, при томъ женатый, избалованный. Имѣю въ Москвѣ собственность. Оставаться здѣсь я рѣшительно больше не въ состояніи. Въ этихъ окопахъ и землян-

кахъ такіа антисанитарныя условія, что прямо невозможно! Я началъ каплять, въ ногахъ ломота... Пули, снаряды,—этого я, разумѣется, не боюсь; но, знаете, ревматизмъ захватить на всю жизнь—пріятнаго мало... Вы меня будьте добры только эвакуировать въ Харбинъ, у меня тамъ въ эвакуаціонной комиссіи есть одинъ хорошій пріятель - москвичъ, тамъ я ужъ устроюсь...

Когда появлялся слухъ о готовящемся боѣ, волна офицеровъ, стремившихся въ госпитали, сильно увеличивалась. Про этихъ „героевъ мирнаго времени“ въ арміи сложилась цѣлая пѣсенка.

Пришелъ приказъ идти впередъ,
Въ госпиталя валить народъ,—
Вотъ такъ кампанія!
Вотъ такъ кампанія!..
Шимоза мимо пролетѣла,
Меня нисколько не задѣла,
Но я контужень!
Но я контужень!
Свидѣтельство я получу
И вмигъ на сѣверъ укачу.
Вѣдь югъ такъ вредень!
Вѣдь югъ такъ вредень!..

Командиры рвали и метали, глядя на бѣгство своихъ офицеровъ. Пріѣхалъ къ намъ въ госпиталь одинъ штабсъ-капитанъ съ хроническимъ желудочно - кишечнымъ катарромъ. Къ его санитарному листу была приложена четвертушка бумаги, съ слѣдующими строками командира полка:

„По глубокому моему убѣжденію, штабсъ-капитанъ Н. страдаетъ *тыломаніей*, — болѣзнью, къ сожалѣнію, очень распространенною среди гг. офицеровъ. Прошу это мое заявленіе приложить къ санитарному листу“.

Завѣдывать офицерскою палатою было мучительно. Больные изводили своими мелочными, пустяковыми жалобами.

— Ахъ, да, докторъ! Я вамъ забылъ сказать! — бацилъ московскій собственникъ.—Я замѣчаю еще, что за послѣдніе два мѣсяца у меня сильно похудѣли руки и ноги.

Другой сообщалъ:

— Прошлою весною я лечился въ Крыму кактусомъ. Какъ по-вашему, не слѣдуетъ ли мнѣ еще разъ повторить курсъ этого леченія?

— Докторъ, у меня еще вотъ что бываетъ,—заявлялъ третій.—Когда жарко, то у меня кружится голова и появляется тошнота.

— Да это у всѣхъ такъ.

— Нѣтъ, у меня какъ-то особенно...

Иногда хотѣлось остановиться посреди палаты и хотать безъ удержу. Это—*воины*! Всю жизнь они прожили на хлѣбахъ народа, и единственнымъ оправданіемъ ихъ жизни могло быть только то, отъ чего они теперь такъ старательно увертывались. Теперь смѣяться мнѣ ужъ не хочется. Я вспоминаю своихъ тогдашнихъ пациентовъ и думаю: гдѣ-то они? Сколько боевъ съ безоружнымъ народомъ храбро выдержали они въ городахъ и селахъ Россіи? Сколько высѣкли женщинъ? Сколько людей приговорили къ смертной казни?

Однажды въ нашъ госпиталь неожиданно пріѣхалъ Куропаткинъ. Черные съ сѣдинкою волосы, умный и твердый взглядъ на серьезномъ, сумрачномъ лицѣ, простой въ обращеніи, безъ тѣни бурбонства и генеральства. Единственный изъ всѣхъ здѣшнихъ генераловъ, онъ безусловно импонировалъ. Замѣчанія его были дѣльны и лишены самодурства.

Между прочимъ, Куропаткинъ зашелъ и въ офицерскую палату.

— Вы чѣмъ больны? — обратился онъ къ одному офицеру.

— Общее нервное разстройство, ваше высокопревосходительство! — отвѣтилъ офицеръ и, спѣша воспользо-

ваться случаемъ, прибавилъ:—за меня хлопочетъ начальникъ дивизіи, чтобъ перевести на нестроевую должность.

— Кто хлопочетъ?—спросилъ Куропаткинъ; слегка поднявъ брови.

— Начальникъ ** дивизіи, ваше высокопревосходительство!

— А вы гѣмъ больны?—обратился Куропаткинъ къ другому офицеру.

— Простуда, ломота въ суставахъ, кашель, — поспѣшно перечислялъ тотъ свои болѣзни.

Куропаткинъ слегка вздохнулъ, спросилъ третьяго, четвертаго, и молча, не прощаясь, вышелъ.

Видимо, впечатлѣніе было для него старое и знакомое. Еще мѣсяць назадъ онъ издалъ слѣдующій, полный насмѣшки и яду, приказъ:

„Изъ полученныхъ отъ санитарно-статистическаго бюро свѣдѣній оказывается, что болѣзненность на тысячу списочнаго состава среди нижнихъ чиновъ арміи лишь немногимъ превышаетъ болѣзненность мирнаго времени; болѣзненность же среди офицеровъ превышаетъ болѣе, чѣмъ вдвое, болѣзненность нижнихъ чиновъ. Обращаю на это вниманіе всѣхъ начальствующихъ лицъ. Обращаю вниманіе также на то, что именно офицеры, находясь въ лучшихъ санитарныхъ условіяхъ, должны показывать нижнимъ чинамъ примѣръ сознательнаго отношенія къ условіямъ сохраненія здоровья. При этомъ надо помнить, что болѣть отъ собственной неосторожности въ военное время предосудительно“. (Приказъ 17 дек. 1904 г., № 305).

А рядомъ съ подобными господами въ госпиталь прибывали изъ строя такіе давнишніе, застарѣлые калѣки, что мы разводили руками. Прибылъ одинъ подполковникъ, только мѣсяць назадъ присланный изъ Россіи „на пополненіе“: глухой на одно ухо, съ сильнѣйшею одышкою, съ застарѣлымъ ревматизмомъ, во рту всего

пять зубовъ... Было удивительно смотрѣть на этого строевого офицера-развалину и вспоминать здоровенныхъ молодцовъ, сидѣвшихъ въ тылу на должностяхъ комендантовъ и смотрителей.

Другой такой же, тоже подполковникъ. Ему 58 лѣтъ, хроническій ревматизмъ, катарръ желудка, одышка, сердце плохое, на обоихъ глазахъ два раза дѣлали какія-то операции. Славный старикъ, какіе бываютъ среди старичковъ-офицеровъ, скромный и ненавязчивый.

— Какъ вы съ такимъ здоровьемъ служите?—изумился я.

— Что жъ подѣлаешь!.. Жена и то убѣждала выйти въ отставку, да какъ выйдешь? До эмеритуры осталось всего два года. А у меня четверо дѣтей, да еще трое сиротъ-племянниковъ. Всѣхъ нужно накормить, одѣть... А хвораю-то я ужъ давно. Комиссія два раза выдавала удостовѣренія, что мнѣ необходимо лечиться водами въ Старой Руссѣ, тамъ есть для офицеровъ казенныя мѣста. Но вѣдь знаете сами, нашему брату-армейцу трудно чего-нибудь добиться, протекціи нѣтъ. Казенныя мѣста всегда заняты штабными, а намъ и доступу нѣтъ...

И этотъ старый-старый старикъ три мѣсяца стиль въ окопахъ!..

Выписку и переводъ изъ госпиталя больныхъ офицеровъ взялъ у насъ на себя самъ главный врачъ. Онъ ужасно возмущался „трусостью и недобросовѣстностью“ русскихъ офицеровъ, говорилъ:

— Это насмѣшка надъ нами! Стану я эвакуировать этихъ лодырей, какъ же! Всѣхъ назадъ въ строй выпишу!

Но постоянно выходило какъ-то такъ: смирные, ненавязчивые выписывались обратно въ строй, люди же съ апломбомъ и со связями эвакуировались. Между прочимъ, былъ эвакуированъ въ Харбинъ къ своему

пріятелю изъ эвакуаціонной комиссіи также и наглый московскій собственникъ.

Однажды на моемъ дежурствѣ поздно вечеромъ зовутъ меня въ пріемную. Прихожу. У стола стоялъ въ мѣховой николаевской шинели ротмистръ графъ Зарайскій, личный адъютантъ командира нашего корпуса, а рядомъ съ нимъ—высокая, стройная дама въ шубкѣ и бѣлой мѣховой шапочкѣ.

-- Здравствуйте, докторъ, — сказалъ графъ. — Пріѣхалъ лечь къ вамъ въ госпиталь: ѣздилъ въ Харбинъ, продуло меня, въ ухѣ образовался нарывъ... А еще привезъ вамъ вотъ новую сестру.

И онъ познакомилъ меня съ дамой.

Новую сестру?.. По штату, на госпиталь полагается четыре сестры,—у насъ ихъ было уже шесть: кромѣ четырехъ штатныхъ, еще „сестра-мальчикъ“ и жена офицера, недавно воротившаяся изъ Харбина послѣ перенесеннаго тифа. И этимъ-то сестрамъ дѣлать было рѣшительно нечего, онѣ хандрили, жаловались на скуку и бездѣлье. А тутъ еще седьмая!

Графа проводили въ офицерскую палату, дама отправилась ночевать къ нашимъ сестрамъ.

У всѣхъ было негодующее изумленіе,—зачѣмъ эта сестра, кому она нужна? Утромъ, когда главный врачъ зашелъ въ офицерскую палату, графъ Зарайскій попросилъ его принять въ госпиталь сверхштатною сестрою привезенную имъ даму.

— Это моя добрая знакомая, я ѣздилъ въ Харбинъ встрѣчать ее.

Главный врачъ отвѣтилъ неопредѣленно, воротился къ себѣ. Какъ разъ въ это время заѣхалъ къ нему дивизионный врачъ. Узналъ онъ о просьбѣ графа и вышелъ изъ себя.

— Это ужъ седьмая сестра будетъ въ госпиталѣ! Ни за что не позволю!—горячился онъ.

— И главное, на что, на что она мнѣ?—вторилъ главный врачъ.—Я и съ своими-то сестрами не знаю, что дѣлать, и онѣ-то мнѣ совсѣмъ ненужны!

Смотритель еще подливалъ масла въ огонь:

— А какъ мы ихъ всѣхъ будемъ перевозить? Особые экипажи для нихъ заказывать, что-ли?

Дивизионный врачъ, весь кипя гнѣвомъ, пошелъ въ палату къ графу. Одна изъ нашихъ сестеръ лукаво обратилась къ смотрителю:

— Давайте на пари, что эта сестра останется у насъ!

— Какъ это можетъ быть, что вы говорите! Смѣяться они надъ нами, что-ли, хотятъ!

Дивизионный врачъ воротился отъ графа. Теперь онъ молчалъ и на вопросъ главнаго врача отвѣчалъ уклончиво. Пріѣхавъ къ себѣ, онъ написалъ начальнику дивизіи письмо, гдѣ сообщалъ о желаніи новой сестры поступить въ нашъ госпиталь и спрашивалъ, принять ли ее. Начальникъ дивизіи отвѣтилъ, что удивляется его письму: по закону, подобнаго рода вопросы дивизионный врачъ рѣшаетъ собственною властью, и ему лучше знать, нужны ли въ госпиталѣ сестры. Тогда дивизионный врачъ предоставилъ рѣшеніе нашему главному врачу. Главный врачъ сестру принялъ.

— Вотъ еще новая обуза свалилась на плечи!—раздраженно говорилъ онъ нашимъ сестрамъ.—Какъ я теперь всѣхъ васъ буду перевозить? •

Сестры передали это новой сестрѣ. Она при встрѣчѣ сказала главному врачу:

— Я слышала, я васъ буду сильно стѣснять при переѣздахъ?

— Ну, что тамъ!—добродушно отвѣтилъ Давыдовъ.—Вѣдь мы обыкновенно передвигаемся не больше, какъ на пять, на шесть верстъ. Въ крайнемъ случаѣ можно будетъ всѣхъ васъ перевезти въ два раза.

Помѣщеніе сестеръ было очень небольшое. Новая сестра сильно стѣснила всѣхъ своими сундуками и чемоданами. Наши сестры дулись. Но новая сестра какъ-будто этого не замѣчала, держалась мило и добродушно. Она сообщила сестрамъ, что ужасно боится больныхъ, что вида крови совсѣмъ не выносить.

— Лучше я буду у васъ въ качествѣ горничной, буду убирать и подметать нашу фанзу,—смѣясь, говорила она.

Цѣлые дни новая сестра проводила въ офицерской палатѣ при графѣ.

А отъ графа охалъ и морщился весь госпиталь. Однажды ему не понравился поданный бульонъ; графъ велѣлъ передать, что, если ему еще разъ подадутъ такой бульонъ, то онъ набьетъ морду повару. Смотритель ежечасно бѣгалъ къ графу справляться, хорошо ли ему. Однажды графъ сказалъ: „не дурно бы выпить вина!“ Смотритель тотчасъ же прислалъ бутылку прекрасной мадеры, пожертвованной для больныхъ. Но у графа былъ нарывъ въ наружномъ слуховомъ проходѣ, и, конечно, никакихъ показаній къ вину не существовало.

Графъ посмѣивался надъ этими ухаживаніями и говорилъ:

— Хорошо, что я не требователенъ, а то бы они мнѣ каждый день и шампанскаго давали!

Кстати о пожертвованіяхъ. Больныхъ у насъ обыкновенно было немного, но изъ склада жертвованныхъ вещей при Красномъ Крестѣ главный врачъ постоянно получалъ разныя хорошія вещи,—теплую одежду, вина, готовые папиросы. Давали тамъ безъ счета и безъ контроля, больше даже, чѣмъ спрашивалось: „тамъ кому-нибудь раздадите!“ И дѣлалась мелкая противная гнусность: скупой главный врачъ щедро угощалъ пріѣзжавшихъ знакомыхъ жертвованнымъ коньякомъ и мадерой, курилъ жертвованныя папиросы, и даровою

водкою поилъ команду, приходившую поздравлять его со днемъ ангела или рожденія.

Вскорѣ главный врачъ отдалъ въ распоряженіе вновь пріѣхавшей сестрѣ небольшую, стоявшую въ сторонѣ, фанзу, отдѣланную подъ больныхъ. Онъ назначилъ сестрѣ отдѣльнаго денщика. По закону, сестрамъ денщиковъ не полагается, наши сестры, конечно, ихъ не имѣли: онѣ сами убирали свое помѣщеніе, стирали себѣ бѣлье и т. п. Давыдовъ далъ новой сестрѣ казенную лампу, отпускалъ казенный керосинъ, убѣждалъ ее не жалѣть дровъ, чтобъ въ фанзѣ было тепло. Другія же сестры дровъ никогда не видѣли: имъ выдавали для топки перемѣшанный съ навозомъ каолянъ, служившій подстилкою лошадямъ.

Сестры всѣмъ этимъ, конечно, страшно возмущались, указывали, въ какой онѣ живутъ тѣснотѣ, и какъ просторно помѣщена пріѣхавшая сестра. Мы совѣтовали имъ:

— Заявите главному врачу, чтобъ часть изъ васъ перевели къ ней.

— Ахъ, Боже мой! Какъ вы не понимаете? Ей необходимо жить *одной!*..

Графъ вскорѣ выздоровѣлъ и выписался изъ госпиталя. И каждый вечеръ у одинокой фанзочки, гдѣ жила новая сестра, до поздней ночи стояла корпусная „американка“, или дремалъ солдатъ вѣстовой, держа въ поводу двухъ лошадей, графскую и свою.

Красавица-русалка Вѣра Николаевна, отболѣвшая въ Харбинѣ тифомъ, не захотѣла вернуться въ султановскій госпиталь и осталась сестрою въ Харбинѣ. Тогда на ея мѣсто перевелась въ султановскій госпиталь штатною сестрою жилица одинокой фанзочки, „графская сестра“, какъ ее прозвали солдаты. Въ качествѣ штатной сестры, она стала получать жалованіе, около 80 руб. въ мѣсяцъ. Жить она осталась въ той же

фанзѣ, только вмѣсто нашего солдата ей теперь прислуживалъ солдатъ изъ султановскаго госпиталя.

И вспоминалось мнѣ, какъ много дѣльныхъ, опытныхъ фельдшерицъ, желавшихъ идти сестрами на войну, получали отказы „за неимѣніемъ мѣстъ“. А въ это время на народныя деньги здѣсь содержались Новикія и „графскія сестры“, не выносившія вида крови, не умѣвшія подойти къ больнымъ и даже вовсе не желавшія этого.

Въ нашемъ госпиталѣ лежалъ одинъ раненный офицеръ изъ сосѣдняго корпуса. Офицеръ былъ знатный, съ большими связями. Его пріѣхалъ провѣдать его корпусный командиръ. Старый, старый старикъ,—какъ говорили, съ громаднымъ вліяніемъ при дворѣ.

У насъ-же въ госпиталѣ лежалъ солдатъ изъ его корпуса, съ правою рукою, вдребезги разбитою осколками снаряда. Мы уговаривали солдата согласиться на ампутацію, но онъ отказывался:

— Что я безъ руки дѣлать буду? Можетъ, какъ-нибудь заживетъ... У меня трое ребятъ.

Но въ рукѣ ужъ начиналась гангрена. Когда генераль вышелъ изъ офицерской палаты, нашъ главный врачъ сказалъ ему:

— Ваше высокопревосходительство! У насъ лежитъ одинъ солдатъ изъ вашего корпуса; ему необходимо ампутировать руку, а онъ не соглашается. Можетъ быть, вамъ удастся его уговорить.

—А... Да-да-да, хорошо!.. Проведите меня къ нему. Я съ нимъ поговорю.

Генерала ввели въ солдатскую палату, подвели къ раненому.

— Ты знаешь, кто я?—спросилъ генераль.

— Такъ точно, ваше высокопревосходительство!

— Ну, такъ вотъ. Доктора тебѣ говорятъ,—и я тебѣ

то же самое говорю: нужно тебѣ отрѣзать руку, а то помрешь!

Солдатъ молчалъ и грустно смотрѣлъ на генерала.

— Понялъ меня?

— Такъ точно!

— Ну, вотъ... И ты не печалься. Въ Петербургѣ у государыни - императрицы есть великолѣпныя искусственныя руки и ноги. Такую тебѣ дадутъ руку,—никто и не узнаетъ, что ненастоящая.

Солдатъ молчалъ.

— Такъ значитъ, вотъ что я тебѣ совѣтую. Ты такъ и сдѣлай. Понялъ меня? Ну, прощай!.. Ты грамотный?

— Такъ точно!

Генераль двинулся къ выходу и сказалъ, обращаясь къ намъ:

— Вѣдь писать онъ можетъ научиться и лѣвой рукой...

Отгремѣлъ январскій бой подъ Сандепу. Нѣсколько дней студеный воздухъ дрожалъ отъ непрерывной канонады, на вечерней зарѣ виднѣлись на западѣ огоньки вспыхивающихъ шрапнелей. Было такъ холодно, что въ топленыхъ фанзахъ, укутавшись всѣмъ, чѣмъ возможно, мы не могли спать отъ холода. А тамъ на этомъ морозѣ шли бои.

Потомъ канонада прекратилась; стало тихо, какъ будто всѣ звуки замерзли. Пошли вѣсти о происшедшемъ дѣлѣ. Русскіе заняли было Сандепу и окрестныя деревни, но затѣмъ отступили обратно, потерявъ около пятнадцати тысячъ человѣкъ. Уборка и перевозка раненыхъ были поставлены еще небрежнѣе, чѣмъ во всѣхъ предыдущіе бои. Спаслись только тѣ, которые собственными силами могли добраться до перевязочныхъ пунктовъ, остальные замерзли. Не хватало ни арбъ, ни носилокъ. Раненыхъ везли въ холодныхъ товарныхъ

вагонахъ. Въ Мукденѣ мнѣ рассказывали, что въ одномъ пришедшемъ съ юга санитарномъ поѣздѣ оказалось тридцать труповъ замерзшихъ въ дорогѣ раненыхъ. Инспекторъ госпиталей второй арміи, Солнцевъ, застрѣлился. Рассказывали объ оставленной имъ запискѣ, гдѣ онъ винилъ себя, что изъ-за его нераспорядительности померзли тысячи раненыхъ. Другіе рассказывали, что Солнцевъ сошелъ съ ума въ самомъ началѣ боя, и покончилъ съ собою въ припадкѣ сумасшествія.

Въ неудачѣ дѣла одни винили Куропаткина, другіе—командовавшаго второй арміей Гриппенберга. На глазахъ всей арміи происходила ихъ ссора. Рассказывали о письмахъ Куропаткина, оставленныхъ Гриппенбергомъ безъ отвѣта, объ отвѣдѣ Гриппенберга изъ арміи безъ вѣдома главнокомандующаго. Передавали слова, громко сказанныя Гриппенбергомъ на харбинскомъ вокзалѣ, что Куропаткинъ — государственный преступникъ, котораго слѣдуетъ предать суду. Съ неуменьіемъ слѣдили всѣ, какъ Гриппенбергъ, чтобъ доказать свою правоту, выбалтывалъ иностраннымъ корреспондентамъ военныя тайны о количествѣ и распредѣленіи нашихъ войскъ на театрѣ войны.

И, въ параллель этому, рассказывали о недавнемъ столкновеніи, происшедшемъ въ штабѣ японской арміи между маршаломъ Оямой и начальникомъ его штаба Кодамой. Кодама, будто бы, далъ пощечину Оямѣ за то, что маршалъ систематически приписывалъ себѣ идеи и планы, вырабатывавшіеся Кодамой. Вспыхнуло что-то угрожающее, вспыхнуло—и сейчасъ же погасло. Ояма забылъ свою пощечину, Кодама—свою личную обиду. Оба они были нужны для дѣла, и оба остались работать рядомъ.

Было-ли это вправду, не знаю. Но объ этомъ рассказывали съ горечью, съ завистью, съ восгоргомъ,—какъ рассказывали о великомъ одушевленіи японцевъ,

о талантливости ихъ вождей, объ образованности офицеровъ и культурности солдатъ, объ удивительной практичности, остроуміи и слаженности всей ихъ организаціи.

Герценъ когда-то писалъ: „Европа намъ нужна, какъ идеаль, какъ упрекъ, какъ благой примѣръ; если она не такая, ее надобно выдумать“. Такое же отношеніе царило здѣсь къ японцамъ: если у нихъ не было такъ, какъ рассказывали, то *должно было быть такъ*, должно было быть, „какъ идеаль, какъ упрекъ, какъ благой примѣръ“. Это являлось неодолимою душевною потребностью среди державно-царившей кругомъ безтолочи, среди бездарности не внушавшихъ довѣрія вождей, некультурности офицеровъ и тупой апатіи солдатъ.

И все, что намъ удавалось узнавать про японцевъ, могло вызывать только стыдъ за себя и преклоненіе передъ ними. Удивительна была у нихъ заботливость о солдатѣ: снаряженіе прочное, легкое и удобное, тщательно обдуманная каждая мелочь; по позиціямъ развозилось для солдатъ чистое бѣлье, грязное отбиралось и отдавалось въ стирку китайцамъ-прачкамъ; передъ боемъ японцы тщательно мылись, поэтому раны ихъ труднѣе заражались и протекали удивительно благоприятно. И всѣ стороны жизни солдата служили предметомъ такого же заботливаго вниманія. У насъ же солдатъ былъ только сѣрымъ человѣческимъ матеріаломъ. Грязный, въ немытомъ мѣсяцами бѣльѣ, кишачій вшами, задыхающійся подъ тяжестью двухпудовой амуниціи, знающій только „молчать!“ и „не разсуждать!“. Были вещи удивительныя, которымъ трудно повѣрить: наши офицеры платили за фунтъ сахара въ офицерскихъ экономическихъ обществахъ 18 коп.; солдатамъ доступъ въ эти общества воспрещался, и они платили за сахаръ въ греческихъ и армянскихъ лавочкахъ по сорока копеекъ.

Чѣмъ больше у тебя есть, тѣмъ больше тебѣ дастся,—вотъ было у насъ основное руководящее правило. Чѣмъ выше по своему положенію стоялъ русскій начальникъ, тѣмъ больше была для него война средствомъ къ обогащенію: прогоны, пособія, оклады—все было сказочно-щедро. Для солдатъ же война являлась полнымъ разореніемъ, семьи ихъ голодали, пособія изъ казны и отъ земствъ были до смѣшного нищенскія, и тѣ выдавались очень неаккуратно, объ этомъ изъ дому то и дѣло писали солдатамъ.

Нашъ главнокомандующій получалъ въ годъ 144 тысячи рублей, каждый изъ командующихъ арміей—по сто тысячъ съ чѣмъ-то. Командиръ корпуса получалъ 28—30 тысячъ. Лейбъ-акушеръ проф. Оттъ, какъ сообщали „Новости“, былъ командированъ на нѣсколько мѣсяцевъ на Дальній Востокъ, для осмотра врачебныхъ учрежденій, съ окладомъ въ 20 тыс. руб. въ мѣсяцъ! Съ изумленіемъ читали мы въ иностранныхъ газетахъ, что у японцевъ маршалы и адмиралы получаютъ въ годъ всего по шесть тысячъ рублей, что мѣсячное жалованіе японскихъ офицеровъ—около тридцати рублей. Одинъ русскій корпусный командиръ получалъ больше, чѣмъ Того, Ноги, Куроки и Нодзу, взятые вмѣстѣ. Зато солдатамъ своимъ японская казна платила по пять рублей въ мѣсяцъ; нашъ же солдатъ получалъ въ мѣсяцъ „по усиленному окладу“... *сорокъ три съ половиною копейки!*

Въ концѣ января я получилъ изъ Гунчжулина телеграмму отъ пріятеля унтеръ-офицера, раненаго подъ Сандепу и лежавшаго въ одномъ изъ гунчжулинскихъ госпиталей. Я поѣхалъ его провѣдать.

Въ мукденскомъ вокзалѣ подхожу я къ кассѣ, спрашиваю билетъ. Оказывается, билета нельзя получить безъ записки коменданта станціи. Я отправился къ коменданту.

— Теперь ужь поздно, приходите до половины двѣнадцатаго. Сейчасъ выдать записки не могу.

— Но позвольте, поѣздъ отходить еще черезъ сорокъ минутъ!

— Все равно, приходили бы во-время!

— Скажите, пожалуйста, откуда я могу знать, что у васъ значить „во-время“. Въ официальномъ „Вѣстникѣ Манчжурскихъ Армій“ публикуются часы отхода поѣздовъ, и вы тамъ не заявляете, что нужно прѣзжать за часъ до отхода. А я двѣнадцать верстъ протрясся на морозѣ, спѣшно вызванъ телеграммой къ раненному знакомому.

— Это до меня не касается!—невозмутимо возразилъ комендантъ.

— Тогда скажите, пожалуйста, къ кому мнѣ здѣсь обратиться выше васъ?

— Не знаю.—И комендантъ отвернулся.

Мы препирались еще минутъ пять,—за это время можно было бы выдать нѣсколько десятковъ удостовѣреній. Наконецъ комендантъ смиростивился и выдалъ мнѣ записку.

Я получилъ билетъ. Поѣздъ состоялъ изъ ряда теплушекъ, среди нихъ темнѣлъ своими трубами одинъ классный вагонъ. Онъ былъ полонъ офицерами и военными чиновниками. Съ трудомъ отыскалъ я себѣ мѣсто.

Разговорился съ сосѣдями, изумляюсь порядкамъ, царящимъ на вокзалѣ.

-- А вы зачѣмъ же билетъ брали?—удивился сосѣдь-офицеръ.

— А какъ же иначе?

— Неужели вы не знаете, что у насъ все законное обставляется всяческими трудностями спеціально для того, чтобы люди дѣйствовали незаконно?

— Какъ же однако безъ билета? Спросить кондукторъ...

— Что-о?.. Пошлите его къ чорту, больше ничего! А станеть приставать,—дайте въ морду.

Оказалось, большинство въ вагонѣ ѣхало безъ билетовъ. Съ этой поры и я сталъ ѣздить безъ билета и самъ просвѣщалъ неопытныхъ новичковъ. Получить билетъ было трудно и хлопотливо, нужно было проходить цѣлый рядъ инстанцій; въ одномъ помѣщеніи выдавали удостовѣреніе, въ другомъ прикладывали печать, въ третьемъ снабжали билетомъ; коменданты держались надменно и грубо. Ёхать же безъ билета было удивительно легко и просто.

Отъ Мукдена до Гунчжулина около двухсотъ верстъ. Эти двѣсти верстъ мы ѣхали трое сутокъ. Поѣздъ долгими часами стоялъ на каждомъ разъѣздѣ. Рассказывали, что гдѣ-то къ сѣверу произошло крушеніе санитарнаго поѣзда, много раненыхъ перебито и вновь переранено, и путь спѣшно очищается.

Въ вагонѣ шли непрерывные рассказы и споры. Ёхало много участниковъ послѣдняго боя. Озлобленно ругали Куропаткина, смѣялись надъ „геніальностью“ его всегдашнихъ отступленій. Одинъ офицеръ ужасно удивился, какъ это я не знаю, что Куропаткинъ давно уже сошелъ съ ума.

Куропаткина ругали. Дѣйствительно, непригодность его была слишкомъ очевидна. Но я спрашивалъ:

— Ну, хорошо, а кого же, по-вашему, слѣдовало бы назначить на его мѣсто?

И сколько разъ за всю войну я ни задавалъ этотъ вопросъ, всегда я получалъ одинъ отвѣтъ:

— Кого?..— Офицеръ задумывался, пожималъ плечами.— Да назначить-то, собственно, нѣкого, это правда!

Подполковникъ, участвовавшій въ послѣднемъ бою, раздраженно рассказывалъ:

— Пусть исторія рѣшаетъ, почему мы проигрывали другіе бои, а насчетъ этого боя я вамъ ручаюсь, что проиграли мы его исключительно благодаря безтолко-

ности и неумѣлости нашихъ начальниковъ. Помилуйте, съ самаго начала выводятъ на полномъ виду цѣлый корпусъ, словно на высочайшій смотръ! Японцы видятъ и, конечно, стягиваютъ подкрѣпленія...

Онъ рассказывалъ, какъ при атакахъ систематически не поспѣвали во-время резервы, рассказывалъ о непостижимомъ довѣріи начальства къ завѣдомо-плохимъ картамъ: Сандепу обстрѣливали по „картѣ № 6“, взяли, послали въ Петербургъ ликующую телеграмму,—и вдругъ неожиданность: сейчасъ же за разрушенною частью деревни стоитъ другая, никѣмъ не подозрѣвавшаяся, съ дѣйствиительно-нетронутыми укрѣпленіями, пулеметы изъ редюитовъ пошли косить ворвавшіеся полки,—и мы отступили. Зато теперь, на „карту № 8“, эта другая часть деревни нанесена весьма точно...

— Но я васъ спрашиваю: вѣдь до Ляояна вся эта мѣстность была въ нашихъ рукахъ,—какъ же мы не удосужились снять точныхъ плановъ?

— А у насъ вотъ что было,—рассказывалъ другой офицеръ.—Восемнадцать нашихъ охотниковъ завяли деревню Бейтадзы, — великолѣпный наблюдательный пунктъ, можно сказать, почти ключъ къ Сандепу. Неподалеку стоитъ полкъ; начальникъ охотничьей команды посылаетъ къ командиру, просить прислать двѣ роты. „Не могу. Полкъ въ резервѣ, безъ разрѣшенія своего начальства не имѣю права“. Пришли японцы, прогнали охотниковъ и заняли деревню. Чтобъ отбить ее обратно, пришлось уложить три батальона...

— У насъ въ центрѣ, въ ноябрѣ мѣсяцѣ, еще чище вышло дѣло. Нашъ полкъ стоялъ на позиціяхъ. Доносясь съ наблюдательнаго поста, что японцы перевозятъ какое-то крупное орудіе съ Хоутхайской сопки въ Ламатунь. Рядомъ съ нами стояла батарея, только она не была подвѣдомственна нашему командиру. Командиръ по телефону—начальнику дивизіи, начальникъ дивизіи—корпусному, корпусный—начальнику артиллеріи,

начальника артиллеріи не оказалось дома... А японцы тѣмъ временемъ благополучно перевезли орудіе на мѣсто.

— Да, хоть миллионъ войска сюда привези, побѣды, все равно, не будетъ,—вздыхнулъ подполковникъ...

Черезъ двое сутокъ къ ночи мы были за тридцать верстъ отъ Гунчжулина. Спать я не ложился,—каждую минуту ждалъ, что пріѣдемъ. Но пріѣхали мы въ Гунчжулинъ только *черезъ сутки*, въ два часа ночи.

Вышелъ я на перронъ. Пустынно. Справляюсь, гдѣ стоятъ госпитали,—за нѣсколько верстъ отъ станціи. Спрашиваю, гдѣ бы тутъ переночевать. Сторожъ сказалъ мнѣ, что въ Гунчжулинѣ есть офицерскій этапъ. Далеко отъ станціи? „Да вотъ, сейчасъ направо отъ вокзала, всего два шага“. Другой сказалъ, полверсты, третій,—версты полторы. Ночь была темная и мутная, играла мятель.

Я пошелъ ходить по платформѣ. Стоитъ что-то въ родѣ барака, я зашелъ въ него. Оказывается, фельдшерскій пунктъ для пріемки больныхъ съ санитарныхъ поѣздовъ. Дежурить фельдшеръ и два солдата. Я попросился у нихъ посидѣть и обогрѣться. Но обогрѣться было трудно, въ баракѣ градусникъ показывалъ 3° мороза, отовсюду дуло. Солдатъ устроилъ мнѣ изъ двухъ скамеекъ кровать, я постелилъ бурку, покрылся полушубкомъ. Все-таки было такъ холодно, что за всю ночь только раза два я забылся на полчаса.

Въ седьмомъ часу утра я услышалъ кругомъ шумъ и ходьбу. Это сажали въ санитарный поѣздъ больныхъ изъ гунчжулинскихъ госпиталей. Я вышелъ на платформу. Въ подходившей къ вокзалу новой партіи больныхъ я увидѣлъ своего пріятеля съ ампутированной рукой. Вмѣстѣ съ другими его отправляли въ Харбинъ. Мы проговорили съ нимъ часа полтора, пока стоялъ санитарный поѣздъ.

Поѣздъ ушелъ. Я отправился разузнавать, когда отходитъ поѣздъ на Мукденъ.

— Въ четыре часа дня. Но вчера, впрочемъ, онъ не шелъ.

— Можетъ быть, и сегодня не пойдетъ?

— Можетъ быть.

Кто-то сообщилъ мнѣ, что на пятомъ пути стоитъ воинскій поѣздъ, который сейчасъ отправляется на югъ. Я спросилъ разрѣшенія у начальника эшелона, поѣхалъ съ воинскимъ. Тутъ же ѣхало еще нѣсколько офицеровъ со стороны.

Къ вечеру поѣздъ остановился на подъемѣ,—у паровоза не хватило силы втащить вагоны. Воротились къ разѣзду, отцѣпили часть вагоновъ, поѣхали дальше. Ночью, на другомъ подъемѣ, четыре заднихъ вагона оторвались и побѣжали назадъ. Отправились ихъ ловить. Проводникъ вагона рассказывалъ намъ: въ движеніи происходятъ постоянныя задержки, ихъ стараются наверстать, для этого гонять скорѣе, чѣмъ можно, вмѣсто тридцати вагоновъ прицѣпляютъ сорокъ. Изъ-за этого новья неожиданности. Вагоны плохи и стары; въ оторвавшемся вагонѣ крюкъ выскочилъ вмѣстѣ съ деревомъ брусевъ.

Утромъ мы пересѣли въ другой поѣздъ, обгонявшій нашъ эшелонъ. Дряхлый, облѣзлый вагонъ третьяго класса подозрительно трещалъ и качался, по-временамъ подъ грязнымъ поломъ что-то оглушительно грохотало, вагонъ начиналъ подпрыгивать. Въ клозетѣ стояли грязныя лужи, кранъ не дѣйствовалъ.

Ночью, когда всѣ ужъ спали, насъ вдругъ разбудилъ проводникъ и попросилъ всѣхъ выйти изъ вагона: вагонъ дальше не пойдетъ.

— Почему?

— Износился.

— Попортилось что? Въ ремонтъ пойдетъ?

— Нѣтъ, совсѣмъ износился. Выбросятъ.

Мы, смѣясь, выходили изъ вагона. „Совсѣмъ износился!“ Ночью, на полпути,—не поломка какая-нибудь произошла, а просто вагонъ *совсѣмъ износился*! Можно сказать, былъ онъ использованъ до тла, до дыръ!.. Но тутъ намъ стали понятны и причины частыхъ крушеній.

До шести утра мы ждали на станціи; поѣздъ маневрировалъ, для насъ прицѣпили вагонъ-теплушку. Вошли мы въ нее,—холодъ невообразимый, въ одномъ изъ оконъ нѣтъ рамы. Чугунная печка холодная. Нѣкоторые изъ офицеровъ ѣхали съ денщиками,—денщики ухитрились задѣлать чѣмъ-то выбитое окно, сбѣгали за истопникомъ.

— Топи печку!

Истопникъ принесъ дровъ, растапливалъ-растапливалъ. Дрова сырые, не загораются. Офицеры ругались.

— Я, ваше благородіе, сбѣгаю сейчасъ, сухой ящикъ принесу для растопки,—сказалъ истопникъ и поспѣшно ушелъ.

Второй звонокъ. Офицеры не закрывали подвижной двери, чтобъ истопникъ успѣлъ вскочить въ вагонъ. Денщики смѣялись.

— Вернется онъ теперь, жди! Радъ, что удралъ!

Такъ и оказалось. Поѣздъ двинулся, истопникъ не явился. Было ужасно холодно, пальцы ногъ зябли и нѣмѣли. Денщики возились у печки, сжигали коробку спичекъ за коробкой. Дрова шипѣли, фыркали и загораться не хотѣли.

Всѣ были злы и ругались. На станціяхъ, кромѣ самыхъ крупныхъ, ничего нельзя было найти поѣсть, нельзя было даже купить хлѣба. Офицеры, ѣхавшіе изъ командировокъ, рассказывали о повсемѣстной безпріятности,—негдѣ поѣсть, негдѣ переночевать; указываютъ на какой-то этапъ, а онъ за цѣль верстѣ отъ станціи.

— Скажите, пожалуйста,—гдѣ мы? Въ тылу полу-

милліонной арміи или на островѣ Робинзона Крузо?.. Ну, и государство російское!

А въ вагонѣ становилось все холоднѣе. Начинала болѣть голова, морозъ пробирался въ самую сердцевину костей. Блестяще-пушистый иней бѣлѣлъ на стѣнахъ. Никто ужъ не ругался, всѣ свирѣпо молчали, сидѣли на деревянныхъ нарахъ и кутались въ полушубки.

На одной изъ остановокъ двое денщиковъ выскочили изъ вагона, пропадали минутъ пять, и воротились съ плутовато-смѣющимися лицами. Они тщательно задвинули за собою дверь. Одинъ разстегнулъ на груди полушубокъ и вынулъ изъ-за пазухи стащенный гдѣ-то топоръ.

— Ну-ка, ваше благородіе, подвиньтесь маленько!

Денщикъ засунулъ топоръ за перекладину и выломалъ изъ наръ доску.

— Этотъ товаръ будетъ сухой!—сказалъ онъ, положилъ доску на полъ и сталъ ее рубить.

Печка запылала, по вагону пошло тепло. При общемъ смѣхѣ въ печку полетѣла вторая доска, третья... Нары исчезали, но печка накалялась. Мы толпились вокругъ нея, оттирали застывшія руки, распахивали на встрѣчу теплу полушубки.

— Ну, и ш-шеляма же народъ!..—восхищенно говорили офицеры.

Денщики копошились среди развороченныхъ наръ, съ трескомъ отдирали и выламывали доски. Печка пылала, заиндевѣвшія стѣны отмокали, становилось все теплѣе.

Въ началѣ февраля пошли слухи, что 12-го числа начнется генеральный бой. Къ нему готовились сосредоточенно, съ непроявлявшимися чувствами. Что будетъ?.. Рассказывали, будто Куропаткинъ сказалъ од-

ному близкому лицу, что, по его мнѣнію, кампанія уже проиграна безвозвратно. И это казалось вполне очевиднымъ. Но у офицеровъ лица были непроницаемы, они говорили, что позиціи наши прямо неприступны, что обходъ положительно невозможенъ, и трудно было понять, вправду ли они убѣждены въ этомъ, или стараются обмануть себя.

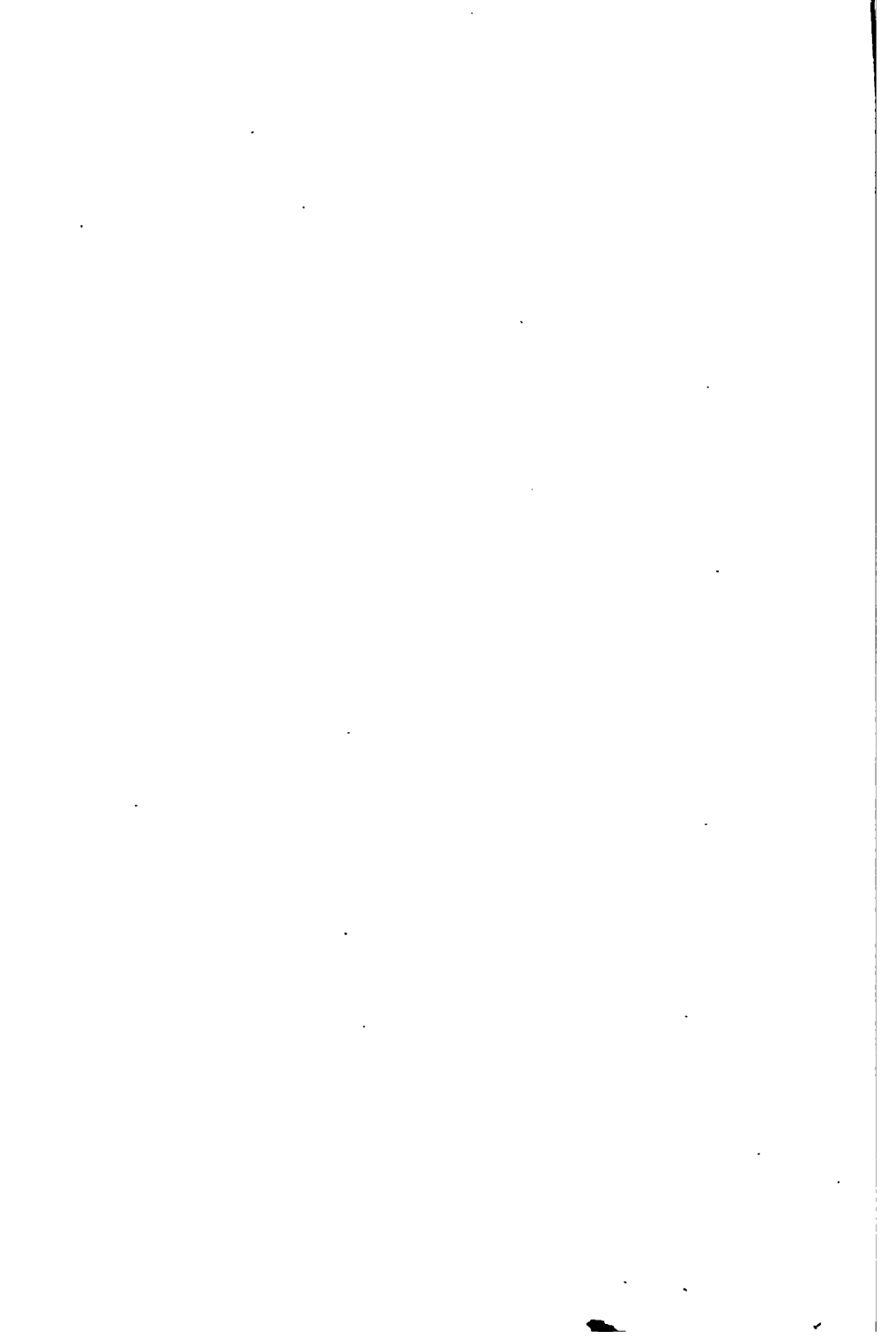
Пробравшіеся въ тылъ японскіе смѣльчаки взорвали за Гунчжулиномъ желѣзнодорожный мостъ. Разсказывали, что у Телина появились массы прекрасно-вооруженныхъ хунхузовъ, что они горятъ неистовою ненавистью къ русскимъ за поруганныя могилы и разрушенныя кумирни. Слухи о близости боя крѣпли. Надвигалось что-то чудовищно-огромное, чувствовалось, должно произойти что-то, чего никогда еще не бывало въ мірѣ.

Въ „Вѣстникѣ Маньчжурскихъ Армій“ появилась грозно-радостная передовая статья. Въ ней писалось, что войскъ у насъ больше, что наша побѣда несомнѣнна, что японцы сами прекрасно это понимаютъ, и что желанный часъ расплаты наступилъ.

Н. ГАРИНЪ.

ИНЖЕНЕРЫ.

(Продолженіе).



XI.

Въ четыре часа утра дядя разбудилъ Карташова.

На этотъ разъ Карташовъ вскочилъ, какъ встрепанный, и быстро одѣлся.

Онъ долго выбиралъ изъ костюмовъ, во что ему одѣться, и надѣлъ лакированные ботинки, шегольскую, въ родѣ гусарской, куртку, форменную шапку и золотое пенсне.

Дядя его, съ черепаховымъ пенсне на концѣ носа, внимательно осмотрѣлъ племянника.

— Ну, Господи благослови тебя на новый и дай Богъ, чтобы былъ славный путь.

Дядя торжественно, по-архіерейски, благословилъ племянника и усовѣщевалъ:

— Не топырься, не топырься! Всѣ мы, голубчикъ мой, начинали съ отрицанья Бога, а кончали, какъ и ты въ свое время кончишь, что безъ Божьяго благословенья ни отъ одного дѣла не будетъ толку.

Ровно въ пять Карташовъ былъ на площади передъ гостиницей.

Солнце, яркое и уже раскаленное, стояло надъ горизонтомъ. День обѣщалъ быть знойнымъ. Но пока еще чувствовалась прохлада и обильная роса еще сверкала на травѣ и деревьяхъ, окружавшихъ площадь.

У воротъ гостиницы стоялъ дядя и наблюдалъ.

Худой инженеръ съ черными огненными глазами уже былъ тамъ. Онъ былъ еще мрачнѣе вчерашняго,

быстро пожалъ руку Карташова и, махнувъ куда-то въ сторону, буркнулъ:

— Познакомьтесь.

Карташовъ повернулся къ группѣ рабочихъ, чело-вѣкъ въ двадцать, съ которыми о чемъ-то энергично переговаривался маленькаго роста господинъ, съ шляпой-панамой на головѣ, сдвинутой на затылокъ.

Господинъ повернулся, и Карташовъ увидѣлъ темное молдаванское лицо съ маленькими, лукавыми и веселыми, глазенками.

— Ба!—добродушно и пренебрежительно сдѣлалъ жестъ въ воздухъ господинъ въ шляпѣ-панамѣ,—Карташовъ? Ну, здравствуйте.

— Знакомые?—спросилъ старшій.

Маленькій опять сдѣлалъ пренебрежительный жестъ.

— До шестого класса въ гимназіи сидѣли рядомъ, пока меня не выгнали за то, что сказалъ учителю латинскаго языка, что его предметъ яйца выдѣннаго не стоитъ.

— А вы... Сикорскій...—замаялся Карташовъ.—Какъ же попали на наше инженерное дѣло?

Сикорскій иронически усмѣхнулся и развелъ руками.

— Вотъ, какъ видите... извините, пожалуйста, тоже инженеръ, хотя и не признанный Россіей, Турціей, Николаемъ Черногорскимъ, Абиссиніей и проч., и проч. Кончилъ въ Гентѣ.

— Давно?

— Да вотъ ужъ два года.

— И на практикѣ уже были?

— На постройкѣ двухъ дорогъ уже начальникомъ дистанціи успѣлъ быть.

— Значить, вы совершенно опытный инженеръ,—обрадовался Карташовъ,—и меня выучите?

— А вы, конечно,—ни папа, ни мама, ни бѣ, ни мѣ, ни ку-ку-ре-ку, какъ бывало по латыни? Не конфузъ-

тесъ—имѣлъ честь достаточно познакомиться и съ вашими дипломированными инженерами и съ вашими студентами. Господи, что это за лодыри, что за оболтусы! Прямо совѣстно, хуже всякихъ юнкеровъ. Въ девять часовъ онъ глаза продираетъ только, всѣ въ такихъ-же лакированныхъ сапожкахъ, пенсѣ...

Сикорскій разсмѣялся мелкимъ, замирающимъ смѣхомъ.

— Какъ они идутъ, бывало, получать жалованье, я всегда ихъ спрашиваю: „слушайте, вамъ не совѣстно?“ Ай-ай-ай...

Сикорскій раздраженно покачалъ головой.

Старшій инженеръ, наклонивъ голову, неопредѣленно слушалъ. Онъ сдѣлалъ нетерпѣливое движеніе.

— Ну, чтожъ не несутъ планы?!

И, быстро повернувшись въ сторону Сикорскаго, угрюмо бросивъ: „я самъ пойду“, рѣшительно запагалъ въ гостиницу.

— Слушайте, — говорилъ Сикорскій Карташову, — зачѣмъ вы такимъ шутымъ нарядились? Можетъ быть, для прогулокъ съ дамами это и очень подходитъ, да и то не въ такую жару, но какъ же вы будете по болотамъ шляться въ вашихъ ботинкахъ? По вашему костюму очевидно, вы никакого представленія не имѣете о томъ, что васъ ждетъ?

— Къ сожалѣнію, да.

Одѣтый въ легкую чесунчевую пару, въ парусиновыхъ сапогахъ, Сикорскій покачалъ головой и вздохнулъ:

— Боже мой, Боже мой! Что только дѣлается въ этомъ государствѣ! До двадцати пяти лѣтъ людей, какъ малолѣтнихъ, вымариваютъ, превращаютъ ихъ въ какихъ-то институтокъ, куколокъ и выпускаютъ... вотъ...

Сикорскій возмущенно хлопнулъ себя по бедрамъ руками.

— И чтожъ?—продолжалъ онъ.—Ихъ ждетъ голод-

ная смерть? Нѣтъ! Ихъ ждетъ карьера. Будете, будете и главнымъ инженеромъ и министромъ... Тварь! Гадость!

Карташова коробилъ тонъ Сикорскаго, но надъ этимъ господствовало сознаніе, что Сикорскій, въ сравненіи съ нимъ, неудачникъ, что дипломъ иностраннаго инженера никогда его дальше начальника дистанціи и не пустить и что онъ былъ бы только комиченъ среди настоящихъ инженеровъ со всѣми своими претензіями.

Еще болѣе было странно видѣть Сикорскаго въ этой новой роли обличителя, что воспоминанія о немъ изъ гимназіи не вязались съ этимъ.

Карташовъ помнилъ Сикорскаго, когда во второмъ классѣ его однажды привелъ надзиратель во время переменъ и оставилъ его въ классѣ.

Всѣ ученики обступили маленькаго, чернаго, какъ жукъ, мальчика, съ маленькими, насмѣшливыми, вызывающими глазенками, смотрящими лукаво изъ-подъ полуопущенныхъ вѣкъ.

Онъ стоялъ у окна, окруженный толпой учениковъ. И эта толпа и новичекъ смотрѣли другъ на друга, не зная, что предпринять дальше.

И вдругъ новичекъ быстрымъ движеніемъ поймалъ муху на стеклѣ окна и, сунувъ ее въ свой ротъ, сжевалъ и проглотилъ ее.

— Фу!

— Гадость!!

— Тварь!

Закричали всѣ, отплевываясь, корчась и вертясь.

Такъ и осталось это чувство какой-то брезгливости къ нему.

Опять потомъ выдвинулось въ памяти событіе: Сикорскій сразу потерялъ и отца и мать. Отца повѣсили за участіе въ убійствѣ жандарма, мать отравилась.

Это было въ четвертомъ классѣ. Сикорскій съ братомъ остались безъ всякихъ средствъ, ему достали уроки и онъ этимъ жилъ и содержалъ брата и друга

своего старшаго брата, тоже ученика, по фамиліи Мудраго. Мудрый былъ очень ограниченный человѣкъ, такимъ же былъ и братъ Сикорскаго. Оба послѣдніе были товарищами Тѣмы по ученію въ 4-мъ параллельномъ классѣ.

Сикорскій иронически называлъ Мудраго *le plus sage*—и брата *le plus grand*—не стѣсняясь, ругалъ ихъ въ глаза и за глаза. Это ироническое отношеніе ко всему и ко всѣмъ было отличительной чертой Сикорскаго. Въ товарищеской жизни младшій Сикорскій не принималъ никакого участія и не игралъ никакой роли. Но однажды въ какомъ-то дѣлѣ онъ пострадалъ, не протестуя противъ того, что пострадалъ несправедливо. Это вызвало къ нему симпатіи и уваженіе.

Произошло это уже въ шестомъ классѣ, когда взаимно читался Писаревъ, Шелгуновъ, Зиберъ, Щаповъ, Бокль, Милль и всѣ старались жить по-новому. .

Ко всему этому Сикорскій былъ совершенно равнодушенъ. Тѣмъ болѣе удивила всѣхъ его выходка съ учителемъ латинскаго языка, когда онъ объявилъ, что принципиально не желаетъ изучать такую ерунду, какъ латинскій языкъ.

Реакція тогда уже надвигалась. Реакціонный элементъ торопился выслуживаться и Сикорскаго исключили. Немного раньше, за какую-то скандальную исторію въ публичномъ мѣстѣ, были исключены старшій его братъ и Мудрый.

Всѣ трое сразу какъ-то канули въ вѣчность и до этой встрѣчи Карташовъ ничего не зналъ о всей ихъ дальнѣйшей судьбѣ.

Можетъ быть, при другой обстановкѣ Карташовъ и иначе отнесся бы къ приему Сикорскаго, но на этотъ разъ было неблагоприятно ссориться съ нимъ.

Ища соглашенія своихъ дѣйствій съ своей совѣстью, Карташовъ думалъ, что такой представитель своего

вѣдомства, какъ онъ, Карташовъ, не можетъ и служить его украшеніемъ.

— Вы только въ томъ отношеніи неправы, Сикорскій, что судите по мнѣ. Я былъ въ исключительныхъ условіяхъ.

И Карташовъ разсказалъ, какъ неудачны были всѣ его попытки попасть на практику.

— Ну, а почему же вы рабочимъ не пошли? Вѣдь, за границей всякій студентъ путей сообщенія, технологъ, горный, если не зарекомендуетъ себя рабочимъ,—никакой карьеры сдѣлать не можетъ.

— Я ѣздилъ кочегаромъ,—отвѣтилъ Карташовъ.

— Такъ почему же вы на постройку не пошли рабочимъ?

— Почему?—Карташовъ не зналъ. Можетъ быть потому, что кочегаромъ ему казалось все-таки менѣе обиднымъ служить, чѣмъ просто рабочимъ. Кочегарами ѣздили и технологи-студенты, но рабочими никто не служилъ еще.

— Слушайте, Сикорскій, вы такъ ругаете инженеровъ, а этотъ инженеръ, нашъ старшій, не обижается?

— Да развѣ вы не видите, что это тоже не вашъ инженеръ? Сталъ бы вашъ въ четыре часа вставать? Подождите, вотъ вы еще увидите своихъ, что это за цацы...

— Какъ его фамилія?

— Семенъ Васильевичъ Пахомовъ, — одинъ изъ крупныхъ Даниловскихъ орловъ. А кого Даниловъ орломъ называетъ...

Карташовъ зналъ, что Даниловъ,—тотъ толстый инженеръ, который вчера намѣчалъ линію на картѣ.

— Онъ тоже не нашъ инженеръ?

— Нѣтъ правилъ безъ исключенія: вашъ. Хоть онъ и говоритъ при этомъ: „извините, пожалуйста“, и вашей братіи терпѣть не можетъ.

Семень Васильевичъ съ картой въ рукахъ вышелъ изъ гостиницы и быстро шелъ къ нимъ.

Нѣкоторое время онъ съ Сикорскимъ разсматривалъ карту, поглядывая въ то же время и кругомъ, затѣмъ потребовалъ лѣстницу и полѣзъ на крышу гостиницы.

— По крышамъ дорогу поведемъ,—замѣтилъ одинъ рабочій.

Нѣкоторые изъ рабочихъ фыркнули, пожилой рабочій пренебрежительно махнулъ рукой и, сѣвъ, досталъ изъ мѣшка хлѣбъ и огурецъ, и принялся ѣсть. Остальные послѣдовали его примѣру. Одни ѣли, другіе сидѣли, обхвативъ руками колѣни.

Къ Карташову нерѣшительно подошелъ дядя.

— Ну, что, какъ?

Карташовъ рассказалъ, что этотъ другой инженеръ—его товарищъ по гимназій.

— Ну, и слава Богу,—это очень хорошо. Ну, прощай, я такъ и передамъ мамѣ.

Дядя сегодня съ поѣздомъ уѣзжалъ изъ Бендеръ.

Уходя, онъ лукаво подмигнулъ племяннику:

— А тебѣ на крышу рано еще?

Съ крыши въ это время уже спускались инженеры; Семень Васильевичъ, быстро, отрывисто крикнулъ:

— Вѣшки!

Рабочіе быстро поднимались. Изъ толпы вышелъ, подслѣповатый на видъ, маленькій блондинъ, средних лѣтъ, съ виду подмастерье, десятникъ Ереминъ, какъ потомъ узналъ Карташовъ, а за нимъ, лѣниво переваливаясь, пухлый гигантъ-рабочій Копейка, державшій въ рукахъ охапку тонкихъ бѣлыхъ, съ желѣзнымъ наконечникомъ, вѣшекъ.

Семень Васильевичъ нервно и быстро установилъ теодолитъ, еще разъ оглянувшись кругомъ и пригнувшись къ трубѣ.

Ереминъ съ двумя вѣшками въ рукахъ, лицомъ къ трубѣ, пятился, пока не раздалась отрывочная команда:

— Стой!

По движенью рукъ Ереминъ двигался то вправо, то влево.

— Держи вѣшку прямо: между ногами и передъ носомъ. Такъ! Ставь.

Вѣшка была воткнута, выровнена, Ереминъ взялъ новую вѣшку у Копейки и пошелъ впередъ. Шагахъ въ сорока онъ остановился на окрикъ:

— Стой!

И опять установилъ вѣшку.

Третью вѣшку ужъ безъ команды установилъ Ереминъ по двумъ предыдущимъ и услыхалъ въ догонку отрывистое:

— Ладно! Колъ!

Сикорскій подалъ Пахомову колъ.

Пахомовъ написалъ „S W, 13°/о“, а Сикорскій въ это время отвѣсомъ опредѣлялъ точку стоянія центра инструмента. Инструментъ убрали и вмѣсто него забили колъ съ надписью, предварительно провѣривъ колъ по линіи. Били долго и нѣсколько разъ Пахомовъ пробовалъ качать его.

— Ну, начало сдѣлано. Убирайте по-очереди вѣшки, забивайте вмѣсто нихъ колья и пишите на нихъ направление, и начинайте пикетажъ. Неси за мной инструментъ.

Пахомовъ, широко шагая, пошелъ впередъ по тому направленію, гдѣ уже скрывался въ длинной улицѣ Ереминъ, а Сикорскій остался на мѣстѣ.

Пахомовъ повернулся и крикнулъ:

— Строго наблюдайте, чтобы при пикетажѣ колья съ направленіемъ не выдерживались!

— Ну, съ Богомъ! — обратился Сикорскій къ тех-

нику-пикетажисту съ напряженнымъ молодымъ лицомъ, усиленно вытиравшему лившійся съ него потъ.

— Ну, а теперь и я, — сказалъ Сикорскій, устанавливая нивелиръ.

— А я когда?—спросилъ Карташовъ упавшимъ голосомъ, видя, что на его долю никакой работы, видимому, не осталось.

— Вы будете разбивать кривыя. Вотъ вамъ Кренке, вотъ цѣпь, вотъ гаміометръ и эккеръ, вотъ колья, вотъ вашихъ пять рабочихъ.

„Разбивка кривыхъ“—подумалъ Карташовъ,—„какъ разъ тотъ вопросъ по Геодезіи, который онъ отвѣчалъ мѣсяцъ тому назадъ на экзаменѣ“.

И тогда онъ исписалъ цѣлую доску, говорилъ и получилъ пять.

Что онъ отвѣчалъ тогда? Мысли, какъ воробыи, разлетались во всѣ стороны и онъ напрасно ломалъ свою пустую голову.

— Надо успокоиться. Вѣдь не сейчасъ же еще разбивка. Навѣрно, вспомню. Вспомнилъ теперь.

По мѣрѣ того, какъ они подвигались впередъ, предъ глазами Карташова вставала большая черная экзаменационная доска, на которой онъ видѣлъ сдѣланные имъ чертежи. Онъ всегда очень плохо чертилъ и на этотъ разъ было не лучше. Предъ его глазами и теперь эта черта, долженствовавшая изображать прямую. Какая угодно кривая, но только не прямая. А сама кривая какимъ уродомъ вышла. Отъ такой кривой поѣздъ и двухъ сажений не сдѣлалъ бы. Надо было бы хоть теперь когда-нибудь позаняться чертежами. Конечно, это неважно... Знать, что чертить, а вычертить любой чертежникъ. Да, это хорошо зналъ Карташовъ и всѣ его проекты, хотя уставомъ института это и запрещалось, вычерчивалъ такой чертежникъ. А теперь совсѣмъ вспомнилъ... Кривая можетъ быть и по кругу и по эллипсу...

— Какую кривую надо, по кругу или по эллипсу?— спросилъ Сикорскаго Карташовъ.

— По кругу.

— Все равно, значить, надо будетъ опредѣлить уголъ... Охъ, ужъ эти отсчеты по лимбу; онъ всегда путался въ нихъ: азимутальный, румбическій углы. Особенно, эти румбическіе. А какъ же опредѣлить такіе оси безъ логарифмовъ?

Карташовъ обратился къ Сикорскому.

— Прежде всего, всѣ ваши лекціи забудьте. Такъ, какъ въ лекціяхъ описано, такъ теперь никто нигдѣ и давнымъ-давно не работаетъ. Вотъ эта книжонка, которую я вамъ далъ, разбивки кривыхъ Кренке, слышали что-нибудь о ней?

Кажется, эта фамилія гдѣ-то въ примѣчаніяхъ упоминалась въ лекціяхъ. Предъ Карташовымъ предстало желтоватое отъ времени, литографированное толстое изданіе лекцій. Онъ даже помнилъ, что, если это примѣчаніе есть, то оно внизу на правой сторонѣ стоитъ вторымъ подъ двумя звѣздочками и тутъ же слѣдъ раздавленной присохшей мухи.

Онъ почувствовалъ даже запахъ этихъ лекцій, немного могильный, затхлый.

— О Кренке есть у насъ, но что именно—не помню.

Первая небольшая кривая была у выхода изъ города.

Сикорскій подошелъ къ угловой вѣшкѣ и списалъ съ нея въ новую записную книжку:

уголъ лѣво $1^{\circ} - 9'$ № 2° R. 200 ty. bis
длина кривой.

— Этотъ корнетикъ возьмите себѣ и записывайте въ него по порядку всѣ углы. Прежде всего, переписавши въ корнетикъ даты вѣшки, надо всегда опять провѣрить записанное. Затѣмъ надо свѣрить румбическіе углы. Буссоль у васъ есть и поэтому вы можете провѣрить сами румбъ. Вѣрно. S. W. 11° , а первая ли-

нія была S. W. 13°, слѣдовательно, дополненіе существеннаго угла будетъ дѣйствительно 11° влѣво. Теперь по Кренке провѣримъ ту абі длину. Такъ какъ таблицы Кренке рассчитаны на радіусъ въ тысячу сажень, то, чтобъ получить для радіуса въ двѣсти, нужно дату раздѣлить на тысячу и умножить на двѣсти. Итакъ, ищемъ таблицу для 11°. Вотъ она. Отъ этихъ пяти столбцовъ эти три для тангенса, биссектрисы и длины кривой. Умножить и раздѣлить.

Умноживъ, Сикорскій вторично повѣрилъ умноженное, замѣтивъ при этомъ:

— Въ нашемъ инженерномъ дѣлѣ умноженіе безъ провѣрки—преступленіе. Все такъ тѣсно связано въ этомъ дѣлѣ одно съ другимъ, что одна ошибка гдѣ-нибудь влечетъ за собой накопленіе ошибокъ, часто непоправимыхъ. На одной дорогѣ ошибка на сажень въ нивелировкѣ на предѣльномъ подъемѣ стоила два милліона рублей. Инженеръ несчастный застрѣлился, но дѣлу отъ этого не легче было, и компанія разорилась.

— Все-таки глупо было стрѣляться.

Сикорскій сдѣлалъ гримасу.

— Карьера его, какъ инженера, во всякомъ случаѣ была кончена.

„Чортъ побери,—подумалъ Карташовъ,—надо будетъ ухо держать востро.“

А Сикорскій продолжалъ:

— Вы счастливо попали, вы въ три мѣсяца пройдете все дѣло постройки отъ *а* до *зетъ* и сами скоро убѣдитесь, что все дѣло наше строительное сводится къ тому же простому ремеслу, какъ и шитье сапогъ. И вся сила въ трехъ вещахъ: въ трудоспособности, точности и честности. При такихъ условіяхъ быть честнымъ выгодно: васъ хозяинъ самъ озолотитъ.

— Вы много уже заработали?—спросилъ Карташовъ.

— Съ двухъ дорогъ двѣ преміи цѣликомъ въ банкъ—

двѣнадцать тысячъ рублей. Эту дорогу кончу и уйду въ подрядчики. Сперва мелкіе, а тамъ видно будетъ.

— А почему же не будете продолжать службы?

— Потому, что заграничнымъ инженерамъ и теперь ходу нѣтъ, а чѣмъ дальше, тѣмъ меньше будетъ. Вы вотъ другое дѣло: тогда не забудьте...

Сикорскій иронически снялъ свою шляпу и всталъ.

— Ну, теперь прежде всего отобьемъ.

Когда разбивка и провѣрка кривой кончилась, Сикорскій сказалъ:

— Слѣдующую вы сами при мнѣ разобьете, а дальше я васъ брошу и работайте сами.

Третья кривая, съ которой Карташовъ справлялся одинъ, была уже за городомъ, въ долину, гдѣ линія уходила вдаль по отлогимъ покатостямъ долины.

Кривая была большая, приходилось работать въ виноградникахъ и, когда онъ, наконецъ, кончилъ, сзади на него насѣли и пикетажистъ и Сикорскій съ нивелиромъ.

— Собственно, время и обѣдать, — сказалъ Сикорскій.

Выбрали лужайку повыше подъ деревьями и присѣли; подъ однимъ деревомъ Сикорскій, пикетажистъ и Карташовъ, а подъ слѣдующими деревьями рабочіе.

Подѣхала подвода, изъ которой Сикорскій, пикетажистъ и рабочіе стали вынимать свои мѣшки съ провизіей.

— А вы что? — спросилъ Карташова Сикорскій.

— Я не сообразилъ и ничего не взялъ, — отвѣтилъ Карташовъ. — Да и ѣсть не хочется: жарко...

— Съ завтрашняго дня дѣло наладится, да и сегодня вечеромъ на привалѣ въ деревнѣ намъ приготовить обѣдъ; мой братъ — помните того *le plus grand* — ужъ поѣхалъ впередъ, а теперь какъ-нибудь подѣлимся, чѣмъ Богъ послалъ. Днемъ мы всегда будемъ какъ-нибудь ѣсть: некогда, и не такъ ѣсть, какъ пить хочется, — завтра будетъ чай, а сегодня ужъ какъ-нибудь...

Вы не засиживайтесь; поѣдимъ и уходите впередъ, чтобы не задержать насъ: верстъ десять надо сдѣлать сегодня...

Въ корзинкѣ Сикорскаго, въ чистыхъ бумажкахъ, лежали красивые бутерброды: вестфальская ветчина, маленькія куриныя котлетки, нѣсколько огурцовъ, редиска, масло.

— Возьмемъ по рюмочкѣ, — сказалъ Сикорскій, доставая маленькую бутылку. — Это ракія, а эта ветчина изъ Рагузы, она по нѣсколько лѣтъ у нихъ вылеживается. Совершенно особенно готовится. Нравится? —

Карташовъ выпилъ и закусывалъ ветчиной.

И ракія ему понравилась и ветчина съ сильнымъ ароматомъ и особымъ вкусомъ.

— Ее необходимо рѣзать очень тонкими пластами, чѣмъ тоньше, тѣмъ вкуснѣе. Тамъ на Адриатическомъ морѣ пластинки чуть ли не какъ кисея тонки и прозрачны.

Карташовъ ѣлъ съ наслажденіемъ, усиливавшимся, послѣ утомительной и непривычной еще работы, прохладой подъ деревомъ, послѣ зноя, отъ котораго плохо предохраняла форменная фуражка.

Полузакрывъ глаза, онъ ѣлъ, ни о чемъ не думая, смотря на открывавшуюся даль Днѣстра, на далекія линіи на горизонтѣ, сливавшіяся съ синевой неба. Тамъ небо синее было, а надъ головой ярко-мглистое, раскаленное. Въ садахъ, съ пригорка, гдѣ они сидѣли, видны были широкіе листья винограда, густо укрывшіе кусты, землю; правильными рядами тянулись фруктовые деревья. Между ними клумбы съ ягодами: видны были уже краснѣющая клубника, кусты красной смородины, крыжовника.

Хорошо бы, какъ въ дѣтствѣ, перелѣзть чрезъ низкую ограду и нарвать тайкомъ.

Еще лучше забраться въ тѣ баштаны, гдѣ распол-

злись по землѣ длинныя плети огурцовъ, дынь, арбузовъ.

А тамъ за баштанами потянулись поля уже высокой кукурузы. И ко всему прибавлялось радостное, бьющееся какъ живое, сознаніе въ душѣ заработанной ѣды, заработаннаго дня, сознаніе, что онъ, Карташовъ, получающій теперь даже меньше рабочаго, больше не дармоѣдъ и ничего общаго не имѣетъ со всей той ордой хищниковъ, съ которыми еще вчера, казалось, связала его роковымъ образомъ судьба.

Даже мысль о томъ, что онъ ничего не знаетъ, больше не смущала его.

Теперь его незнаніе обнаружено. Теперь учиться, учиться и учиться. Учиться у рабочаго, десятника, техника, у Сикорскаго. Карташову казалось, что точно для него нарочно вся эта дорога задумана и выстроится въ три мѣсяца, чтобы успѣлъ онъ придти и наверстать всѣ недочеты. Всего черезъ три мѣсяца онъ постигнетъ свое ремесло, онъ съ правомъ скажетъ:

— Я инженеръ.

А Сикорскій подбавлялъ масла въ огонь, характеризую ему ихъ общую специальность.

— Основное правило въ нашемъ дѣлѣ: за незнанье не бьютъ, но за скрыватье своего незнанья—бьютъ, убиваютъ и вонъ гонять съ дѣла. Незнающаго научить не трудно, но негодяй, который говоритъ—знаю, а самъ не знаетъ, губить безвозвратно дѣло.

„Да, да,—думалъ Карташовъ,—это та логика, которая всегда безсознательно сидѣла въ немъ, подавляемая всегда сознаніемъ, что до сихъ поръ это было не такъ, что до сихъ поръ, напротивъ, шарлатаны, какъ будто и пользовались успѣхомъ въ жизни. Тѣмъ лучше, и слава Богу, что онъ сразу объявилъ, что онъ ничего не знаетъ“.

— Начальства у насъ нѣтъ,—продолжалъ Сикорскій, кто палку взялъ въ нашемъ дѣлѣ, тотъ и капраль.

Это значитъ, что кто хочетъ работать, кто можетъ работать, тотъ скоро и становится хозяиномъ дѣла, помимо всякой іерархіи служебной.

„Буду, буду хозяиномъ“,—напряженно стучало въ головѣ Карташова.

— И рядомъ съ этимъ надо учиться быть смѣлымъ, рѣшительнымъ, находчивымъ. У меня былъ старикъ-десятникъ, у котораго я учился въ первыхъ своихъ шагахъ инженера. Онъ всегда говорилъ: „глаза робятъ, а руки уже дѣлаютъ“...

„Неужели,—думалъ Карташовъ,—такъ случайно выбранная имъ карьера инженера дѣйствительно подойдетъ ко всему складу его натуры, души?

— Ну, поѣли? И ступайте.

Карташовъ вскочилъ свѣжій и радостный.

— Я эту проклятую куртку къ чорту брошу, на эту телѣгу.—Карташовъ снялъ куртку и жилетку и остался въ одной рубахѣ.

— Вечеромъ,—сказалъ Сикорскій,—пошлемъ le plus grand въ городъ за вашими вещами. Завтра надѣвайте только панталоны, ночную рубаху, высокіе сапоги и пусть вамъ шляпу съ большими полями покупать. Да бросьте вы эту балаболку.

Сикорскій указалъ на болтавшееся на груди Карташова золотое пенснѣ.

— У васъ въ гимназіи же было хорошее зрѣніе.

— Оно и теперь хорошее.

Карташовъ оцупалъ свое пенснѣ и съ размаху бросилъ его въ сосѣдній садъ.

— Ну, это ужъ глупо,—сказалъ Сикорскій.

Карташовъ вспомнилъ, какъ однажды въ деревнѣ Аделаида Борисовна, краснѣя и смущаясь, сказала ему съ ласковымъ упрекомъ:

— Зачѣмъ вы носите пенснѣ?

Можетъ быть онъ когда-нибудь расскажетъ ей, при какихъ условіяхъ расстался онъ съ своимъ пенснѣ.

И ему еще веселѣе стало на душѣ. Въ первый разъ онъ почувствовалъ, что Аделаида можетъ быть его женой.

Что до рабочихъ Карташова, то они далеко не были въ такомъ праздничномъ настроеніи, какъ хозяинъ и, идя за нимъ, роптали.

— Такъ безъ отдыха начнемъ махать,—и сапоги и ноги скоро обрабатываемъ.

— Чтобъ вамъ обидно не было, я сегодня вамъ отъ себя прибавлю по двадцать копеекъ на человѣка,—сказалъ Карташовъ.

Это произвело хорошее впечатлѣніе. Ропотъ прекратился и рабочіе уже молча шли за Карташовымъ.

— Ничего,—сказалъ съ длинной шеей худой молодой рабочій, съ подслѣповатыми глазами,—добѣжимъ какъ нибудь до смерти.

Онъ комично потянулъ носомъ, покосился на товарищей и съ глуповатой физіономіей продолжалъ:

— За прибавку, конечно, спасибо... Только нашъ братъ, извѣстно, дуракъ,—ему, что коню, въ брюхо бы только что воткнуть.

— Вы же поѣли?

— Поѣсть-то поѣли, а выпить вотъ и забыли.

Веселый смѣхъ остальныхъ поддержалъ рабочаго.

— Водки хотите?

— А неужели воды?

Рабочіе опять расхохотались,

— Ты ему сунь воды,—показалъ рабочій на обрюзгшее отъ водки лицо сосѣда,—а онъ тебѣ въ морду пожалуй.

Рабочіе совѣмъ развеселились.

— Да гдѣ же здѣсь достать водку?—спросилъ Карташовъ.

— Э-во!—отвѣтилъ парень.—Только доставалки были-бы, а то въ одинъ мигъ...

— Ты, что-ли, пойдешь?—спросилъ Карташовъ.

— А неужто,—показаль парень на опившагося,—его посылать? Туда-то онъ махомъ, а назадъ ракомъ. Лучше я пойду.

— Тебя какъ звать?

— Тимофей, что ли...

Тимофей взялъ деньги и, пока приступаль Карташовъ къ разбивкѣ, уже возвратился съ водкой.

Другой рабочій позаботился и объ закуску, забѣжавъ по дорогѣ въ баштаны и сорвавъ нѣсколько огурцовъ.

— Вотъ что, ребята,—сказаль Тимофей,—присѣсть надо.

И, обращаясь къ Карташову, сказаль:

— Ты пять минутъ намъ дай сроку, а потомъ мы тебѣ на рысахъ отзвонимъ тебѣ,—и танца твоего и бисестриць...

Карташова сильный соблазнъ разбираль при видѣ огурцовъ только-что, да еще воровски, сорванныхъ съ баштана. Всегда въ дѣтствѣ такіе огурцы казались ему особенно вкусными. Онъ не утерпѣль и, поборовъ смущеніе, нерѣшительно сказаль:

— Можетъ быть есть лишній у васъ огурецъ?

— О!?—радостно отвѣтилъ Тимофей,—бери сколько хочешь,—у насъ кладовая во какая.

Тимофей махнулъ рукой на всю даль баштановъ.

Нашелся и ножъ, и соль, и темный пшеничный хлѣбъ съ особымъ ароматомъ.

Присѣвъ подъ дерево, Карташовъ разрѣзаль огурецъ, посолиль его, потеръ обѣ половинки и сталъ ѣсть его съ хлѣбомъ.

— Ну-ка, лети еще за огурчиками,—скомандоваль Тимофей одному рабочему.

Выпивъ, рабочіе заѣдали огурцами безъ соли и хлѣбомъ. Челюсти ихъ медленно, какъ работу, жевали пищу.

— Еще одинъ, еще два, — поднесъ Тимофей Карташову въ полъ рубахи огурцы.

Рабочіе выбирали уже желтѣвшіе огурцы, а Карташову хотѣлось зеленыхъ.

— Я самъ себѣ выберу, — не утерпѣлъ Карташовъ и пошелъ самъ на баштаны.

— Го-го! — пустилъ ему въ догонку Тимофей, — изъ нашихъ, видно, тоже...

Какъ разъ, когда наклонился къ огурцамъ Карташовъ и сталъ рыться въ зеленой листвѣ ихъ, изъ-подъ которой сверкали желтые цвѣты, изъ шалаша вышелъ сторожъ съ ружьемъ и медленно пошелъ къ Карташову.

Карташовъ сорвалъ три огурца и ждалъ сторожа.

Рабочіе съ любопытствомъ слѣдили за развязкой.

Когда сторожъ подошелъ, Карташовъ сказалъ:

— Вотъ, мои рабочіе и я сорвали десятка два огурцовъ. Рубля довольно за нихъ?

— Я не хозяинъ, — отвѣтилъ флегматично хохоль сторожъ, уже старикъ.

— Ну, — сказалъ Карташовъ, протягивая ему рубль, — что слѣдуетъ хозяину, отдай, а остальное себѣ возьми.

— Хм... — сказалъ хохоль, — хiba винъ сдачу мнѣ дать? Отбере усе...

Тогда Карташовъ досталъ мелочь и сказалъ:

— Вотъ двадцать копеекъ отдай хозяину, а вотъ эти восемьдесятъ себѣ возьми.

— А за що?

— Да такъ просто...

— Хм...

Хохоль еще подумалъ, и, рѣшительно отдавая деньги, сказалъ:

— Ни, не возьму.

— А водки хочешь?

— Хiba есть?

— Пойдемъ.

Хохоль пошелъ за Карташовымъ и рабочіе угостили его водкой.

— На, диду,—сказалъ Тимофей.

Передъ тѣмъ, какъ выпить, хохоль снялъ шляпу, перекрестился, лицо его сдѣлалось ласковое, умильное, и, почтительно кивнувъ Карташову, сказалъ:

— Ну, дай же ты, Боже, що намъ гоже, а що не гоже...

Хохоль безопасно махнулъ рукой.

— Того не дай, Боже...

Онъ выпилъ, крикнулъ и, взявъ огурецъ, подсѣлъ къ рабочимъ.

— Старый, дидъ?—спросилъ Карташовъ, принимаясь за новый огурецъ.

— Старый,—мотнулъ головой дѣдъ.

— Сколько лѣтъ? Годывъ сколько?

— Не знаю... Помню ще Екатерину. Въ косахъ ходили солдаты, ще мукой посыпали ихъ. А вшей, вшей въ нихъ,—не доведи, Боже... Гайдамашку ще помню...

— Самъ чай, гайдамакой былъ,—подсказалъ Тимофей.

— Ни, чумаковалъ... Пара воловъ, возъ соли два корбованца стоилъ, а теперь и за полтыщи не ухватишь.

— Ну дидъ, еще горилки.

Дидъ опять всталъ, перекрестился, покивалъ на всѣ стороны и, выпивъ, крикнулъ.

— Добра...

— Еще осталось... Кому отдать? Пьяницъ,—рѣшилъ Тимофей и передалъ рабочему съ одутловатымъ лицомъ.

Рабочіе вставали; Карташовъ, съѣвъ третій огурецъ, тоже поднимался.

— Ну, дидъ,—сказалъ Тимофей,—иди спать теперь, а мы тоже уйдемъ: никто больше красть у тебя не станетъ.

— А що хоть и возьме кто? Всѣмъ у Бога хватить. Только вотъ хлопоты мнѣ съ этимъ,—показалъ дидъ на двугривенный,—куда его сховать?

Карташовъ опять предложилъ ему деньги.

— Ну!—брезгливо махнулъ дидъ рукой и побрелъ къ своему шалашу.

— Ну, ребята, смотри только какъ бока отбивать!—весело командовалъ Тимофѣй.

Кривая была быстро разбита. Последнюю кривую, когда уже солнце длинными лучами скользило по долинѣ, Карташовъ разбивалъ на глазахъ у Пахомова, нагнавъ его.

Пикетажистъ и Сикорскій остались далеко позади и не были видны.

Пахомовъ, кончивъ работу, сталъ и молча, сдвинувъ брови, смотрѣлъ, какъ на рысяхъ команда Карташова, совершенно приспособившаяся, вела свою работу.

Карташовъ боялся только, какъ бы рабочіе не начали при Пахомовѣ свою болтовню и не выдали бы его, Карташова, начальственную слабость. Но самый строгій глазъ не замѣтилъ бы малѣйшей непочтительности или чего-нибудь такого въ обращеніи, что напомнило бы, что онъ, Карташовъ, вмѣстѣ съ этими самыми рабочими воровалъ сегодня огурцы съ огородовъ.

Когда разбивка была кончена, Пахомовъ подошелъ ближе и внимательно, съ видомъ знатока, смотрѣлъ на колья, обозначающіе кривую. Мѣстность была открытая, пологая красивая кривая ясно обозначалась кольями, и Карташовъ, затаивъ дыханіе, слѣдилъ за Пахомовымъ.

Онъ, очевидно, остался доволенъ, но ничего не сказалъ и только, сильнѣе сдвинувъ брови, буркнулъ:

— На сегодня довольно. Идемъ въ эту деревню.

Пахомовъ съ Карташовымъ пошли впередъ, а рабочіе, значительно отставъ, смѣшавшись съ рабочими Пахомова, шли веселой гурьбой.

Напрасно ждалъ Карташовъ, что Пахомовъ хоть однимъ словомъ обмолвится. Такъ, молча, и дошли они

до просторной молдаванской избы, чисто, опрятно выбѣленной бѣлой глиной.

На порогѣ избы уже стоялъ, выжидая, братъ Сикорскаго и, согнувшись, почтительно пожалъ руку Пахомова.

— Все въ порядкѣ?—сухо спросилъ Пахомовъ.

— Все, Семенъ Васильевичъ,—ласково, съ особымъ тономъ почтительной фамиллярности своего человѣка, отвѣтилъ Сикорскій.

— Ну, вотъ познакомьтесь,—буркнулъ Пахомовъ.

Сперва Сикорскій важно было протянулъ руку Карташову, но затѣмъ весело и съ уваженіемъ въ голосѣ крикнулъ:

— Кого я вижу? Одинъ изъ столповъ нашей революціи въ гимназіи. Вѣдь, Семенъ Васильевичъ,—онъ, Корневъ и Рыльскій были наши самые первые главари, бунтари. Писаревъ, Шелгуновъ...

— Вотъ какъ, — отвѣтилъ односложно Пахомовъ, усаживаясь на широкую деревянную скамью и скользя съ любопытствомъ по Карташову.

— Да какъ же? Наши свѣтила...

— Ну, вотъ,—смущенно отвѣчалъ Карташовъ, и польщенный и съ тревогой думавшій, какъ посмотреть Пахомовъ на то, что онъ когда-то былъ бунтаремъ.

Изба была просторная, прохладная, съ чисто-вымазаннымъ глинянымъ поломъ, съ сильнымъ и пріятнымъ запахомъ васильковъ. Посреди избы уже стоялъ накрытый столъ, на немъ тарелки, деревянные ложки, водка, вино, разныя закуски.

— Не взыщите, какъ умѣлъ,—говорилъ Сикорскій.

На что Пахомовъ только сильнѣе сдвинулъ брови и Карташовъ, внимательно наблюдая его, не зналъ что это значило: доволенъ онъ или нѣтъ?

Когда пришли младшій Сикорскій и пикетажистъ, сѣли ужинать.

Младшій Сикорскій, войдя, сдѣлалъ презрительную гримасу и жестъ въ воздухъ.

— Семень Васильевичъ,—сказалъ онъ,—вы бы его дубиной,—указалъ онъ на брата.—Что онъ тутъ за развратъ развелъ? Закуски, анчоусы. Тварь!

Старшій Сикорскій, только растерянно оглядываясь на всѣхъ и мигая маленькими глазами, повторялъ:

— Ну, вотъ, ну, вотъ....

Пахомовъ нервно, громко и коротко, разсмѣялся и опять уже угрюмо сказалъ:

— Ну, будемъ ѣсть.

— Я сейчасъ,—отвѣтилъ младшій Сикорскій.

Онъ ушелъ, вымылъ лицо и руки, расчесался и возвратился къ столу, когда уже ѣли борщъ изъ свѣжей капусты, помидоръ и утки съ саломъ.

Младшій Сикорскій сдѣлалъ еще разъ пренебрежительный жестъ, показавъ на закуски, при чемъ у старшаго брата Леонида опять появилось испуганное выраженіе лица, и принялся за закуски. Онъ ѣлъ сардинки, пикулми, икру. Ылъ помногу.

Леонидъ сказалъ:

— Ругалъ меня, а одинъ ѣстъ закуски.

— Не пропадать же,—отвѣтилъ младшій братъ.

— А ты лучше супъ ѣшь. Всегда вотъ такъ: закусокъ наѣтся, а остального не ѣстъ.

На второе подали синіе баклажаны по-гречески.

— Это я буду ѣсть!—сказалъ младшій Сикорскій и, обходя борщъ, наложилъ полную тарелку баклажанъ.— А каѣнскій перецъ есть?

— Есть и каѣнскій,—съ гордостью отвѣтилъ старшій братъ. И, обратясь къ Пахомову, жалобно сказалъ:

-- Вотъ такъ онъ всегда, Семень Васильевичъ:—ворчить, что много, а чего нибудь не окажется—ругаться начнеть.—Больше, господа, ничего нѣтъ.

— А чай будетъ?—спросилъ Пахомовъ.

— Эй, Никитка, живо самоваръ! Убирай все тутъ...

Никитка, проворный и глуповатый парень, быстро сталъ приготовлять чай.

Старшій Сикорскій, наклонившись къ Карташову, въ это время громкимъ шопотомъ говорилъ:

— На всѣ руки парень... Раздобудеть хоть чорта изъ ада.

— И дѣвицъ?—иронически бросилъ младшій братъ.

— Ну да, кому онѣ нужны,—засмѣялся, краснѣя, старшій братъ и, впадая опять въ благодушный тонъ, весело прибавилъ:

— Написалъ записку ко мнѣ и подписалъ; „вашъ всенижайшій рабъ Никитка—какъ собака преданный“.

— А ты и радъ? Тебѣ бы поручить,—снова рабство завелъ бы.

— Вовсе не завелъ бы, но пріятно встрѣтить пре даннаго человѣка.

— Э дуракъ! Ну съ чего онъ будетъ тебѣ преданъ?

И столько было презрѣнія въ тонѣ младшаго Сикорскаго, что тотъ опять покраснѣлъ, замигалъ усиленно глазами и уныло замолчалъ.

Карташову было отъ всей души жаль старшаго Сикорскаго.

— Я чай пить не буду,—сказалъ младшій Сикорскій,—а пока свѣтло еще, вывѣрю инструменты. Вамъ тоже вывѣрить, Семенъ Васильевичъ?

— Пожалуйста.

Карташовъ пошелъ за младшимъ Сикорскимъ.

— Отчего вы такъ къ брату рѣзко относитесь?

— Рѣзко! Его бить безостановочно надо.

— Все-таки онъ вамъ братъ.

— Ну, это мнѣ странно слышать отъ васъ, Карташовъ; сколько помню въ вашемъ кружкѣ въ гимназіи расцѣнка слову „братъ“ была сдѣлана. Что такое братъ? Хорошій честный человѣкъ—братъ, а прохвость хоть и братъ, прохвость. Для меня нѣтъ ни брата, ни родныхъ. Когда послѣ смерти родителей мы съ нимъ остались, мнѣ

было четырнадцать лѣтъ. Вся эта сволочь-родня намъ гроша ломаного не дала. Своими руками и себя и этого оболтуса кормилъ. А что онъ мнѣ стоилъ за-границей!

— Онъ тоже былъ тамъ?

— Куда-жъ я его дѣну?

— И тоже инженеръ?

Сикорскій помолчалъ и съ презрѣніемъ бросилъ:

— Тоже!

Еще помолчалъ, занявшись установкой нивеллира, и потомъ продолжалъ:

— За-границей рядомъ съ настоящимъ аттестатомъ выдають аттестаты хоть осламъ. Вотъ такой и у моего брата.

— Отчего же онъ у васъ не на дѣлѣ, а по какой-то провіантской части?

— Ему нельзя никакого дѣла кромѣ этого поручить: онъ такъ навретъ, такъ все перепутаетъ, что до чумы доведетъ. Я никогда бы не взялъ на себя отвѣтственность поручить ему какое бы то ни было дѣло. И это дѣло не я ему поручилъ; я уговаривалъ Семена Васильевича, но онъ все-таки взялъ его. И не сомнѣваюсь, что въ концѣ концовъ выйдутъ непріятности.

— Какія?

Сикорскій не сразу отвѣтилъ.

— Воровство,—нехотя сказалъ онъ.—Никитка его будетъ обворовывать, а онъ насъ.

Карташовъ ушамъ своимъ не вѣрилъ.

— Вы слишкомъ строги.

— Ну, оставьте... Я и васъ предупреждаю: очень скоро онъ будетъ у васъ просить займы. Нѣтъ на свѣтѣ такого человѣка, зная котораго онъ не возьмъ бы у него займы.

Карташовъ слушалъ и въ то же время внимательно смотрѣлъ за провѣркой, стараясь возстановить въ своей памяти лекціи. И опять было что-то не то. Въ концѣ

концовъ эти воспоминанія только путали его и, отбросивъ ихъ, онъ принялся за усвоеніе практическихъ приемовъ. Кончивъ провѣрку, младшій Сикорскій позвалъ брата и отойдя съ нимъ долго что-то говорилъ по-французски.

Братъ оправдывался, вынималъ свою записную книжку, вынималъ портфель, кошелекъ.

Карташовъ ушелъ подальше отъ нихъ, сѣлъ на завалинку избы и смотрѣлъ на горѣвшую послѣдними лучами волнистую даль Днѣстра. Солнце уже исчезло и только изъ-за далекой горы точно снизу вырывались лучи, золотистой пылью осыпая верхи холмовъ. И на темномъ уже фонѣ окружавшіе холмы казались прозрачными, свѣтлыми, повисшими между небомъ и землею. Тамъ въ небѣ стояли всѣхъ цвѣтовъ и тоновъ облака, мѣняя свои яркіе и причудливые образы. И каждое мгновеніе появлялись новыя сочетанія; они казались такими установившимися и прочными, а въ слѣдующія ихъ смѣняло уже новое и новое.

Далекій отблескъ земли и неба будилъ въ душѣ какой-то отблескъ чего-то далекаго, забытаго и нѣжнаго. Этотъ тихій видъ догорающей дали, какъ музыка ласкалъ, и звалъ. Хотѣлось тоже ласки, хотѣлось жить, любить, хотѣлось, чтобы жизнь прошла не даромъ. Сегодня уже нѣсколько разъ касались въ разговорахъ прошлаго Карташова, когда онъ былъ краснымъ еще. Такимъ онъ и остался въ глазахъ Сикорскихъ и теперь въ глазахъ Пахомова. И ему какъ-то не хотѣлось разубѣждать ихъ въ этомъ. Да развѣ и была такая большая разница между нимъ прежнимъ и теперешнимъ? Вѣдь не противъ сущности, а только противъ достиженія цѣли, противъ мальчишескихъ приемовъ возставалъ онъ. Но тамъ, гдѣ-то въ глубинѣ души, онъ чувствовалъ, что это уже новый компромиссъ, на которомъ трудно ему будетъ удержаться, что рано или поздно, а надо будетъ стать опредѣленно на ту или

другую сторону. Ну чтожъ, онъ и станетъ тамъ, куда его увлечетъ жизнь. Онъ вовсе не изъ тѣхъ предубѣжденныхъ людей, которые, разъ сказавъ что-нибудь, такъ и будутъ стоять на этомъ до конца жизни. Никакихъ предубѣждений! Съ открытыми глазами итти смотрѣть и искать истину.

— А если такъ ставится вопросъ,—подумалъ вдругъ Карташовъ—то, пожалуй, истина тамъ, гдѣ была, когда онъ былъ въ гимназіи. Тѣмъ лучше!

Карташову стало весело и свѣтло на душѣ. Онъ вдругъ вспомнилъ Яшку, Гараську, Кольку, Конона, Петра. Опять всѣ они, и сегодняшний Тимофей и всѣ его рабочіе сегодняшніе, были близки ему, такъ близки, какъ когда-то въ дѣтствѣ Яшка, Гараська, Колька.

Къ нему подошелъ Тимофей и, наклонившись, дружески сказалъ:

— Рабочимъ надо бы дать, что обѣщано.

— Конечно, конечно, — заторопился Карташовъ и полѣзъ въ карманъ.

— А вмѣсто Сидора этого пьяницы, лучше бы намъ взять Копейку.

— Неловко.

— Что неловко? Вы у Еремина попросите—онъ согласится.

— Почему же Сидора?

— Спаивать насъ будетъ; онъ только объ водкѣ и думаетъ. Все надѣется, что работа лучше пойдетъ съ водкой, а налакается и опять не можетъ. Днем не надо пить. Лучше же вечеромъ и съ устатку. А днемъ лучше чайкомъ бы ихъ побаловать. Вотъ еслибъ чайника намъ добиться! Да еще подводу намъ надо раздобыть: у всѣхъ есть, только у насъ нѣтъ.

— Чайникъ будетъ,—отвѣтилъ Карташовъ.

Старшій Сикорскій, окончивъ скучный разговоръ съ братомъ, собирался съ Никиткой въ городъ. Карташовъ

поручилъ ему привезти кое-какія вещи изъ его чемодана, широкую шляпу, купить высокіе сапоги.

— Хотите мои?—предложилъ Леонидъ.

— Не берите,—брезгливо сказалъ Валерьянъ:—гадость какая, лакированные, какъ у лакея: и для болота совершенно не годятся. Вотъ какіе сапоги надо!—Сикорскій протянулъ ногу, показалъ некрасивые изъ толстой кожи сапоги.

— Хорошо, я вамъ такіе куплю,—покорно согласился Леонидъ.

Карташовъ поручилъ купить большой чайникъ, металлические кружекъ шесть штукъ, чаю, сахару.

— Чай, сахаръ—общіе.

— Мнѣ еще нужно для рабочихъ.

— Это ужъ лишнее,—замѣтилъ сухо Сикорскій.

— По-моему тоже,—авторитетно поддержалъ Леонидъ.

— Мнѣ надо на рыскахъ все время работать, чтобъ не задерживать васъ,—оправдывался Карташовъ.

— Только, по крайней мѣрѣ, не дѣляйте на виду, чтобъ остальныхъ рабочихъ не взбаламутить.

Въ избѣ стало темно и зажгли свѣчи.

Пахомовъ сталъ вычерчивать планъ, а Сикорскій подсчитывать нивелировочный корнетикъ. Пикетажистъ диктовалъ Пахомову, а Карташовъ свѣрялъ свой корнетикъ съ наносимой на планъ линіей.

Въ десять часовъ Пахомовъ кончилъ и рѣшительно сказалъ:—Теперь спать!

-- Сейчасъ и я кончаю, Семенъ Васильевичъ, — отвѣтилъ младшій Сикорскій.

— Жребій, кто гдѣ будетъ спать!—сказалъ Пахомовъ.

Попробовали было протестовать, но Пахомовъ настоялъ. Карташову досталось на полу, на свѣже-накошенной травѣ, закрытой рядомъ. Подушка его была въ городъ и вмѣсто подушки было набито побольше травы.

Карташовъ легъ, свѣчи потушили и онъ сразу уто-

нуль въ ароматѣ своей постели, во мракѣ вечера, смотрѣвшаго въ открытыя окна. Тамъ на небѣ не осталось уже ни одной тучки и синее, напряженное, усыпанное большими яркими звѣздами, оно смотрѣло въ маленькія окна избы и звало къ себѣ на волю, чтобы разсказывать какія-то невѣдомыя, душу захватывающія сказки.

— Да, жизнь—сказка,—думалъ, укладываясь, Карташовъ—и только тотъ, кто вѣритъ въ эту сказку—у того и будутъ силы и коверъ-самолетъ, и волшебная палочка, и моя жизнь сказка: я уже умиралъ и опять живу и опять инженеръ, и вижу, что это моя дорога и я на ней уже!—Мысли его какъ ножомъ обрѣзало, какъ только голова плотно прилегла къ изголовью и онъ заснулъ крѣпко, безъ сновъ, ровно до четырехъ часовъ утра, когда рѣзкій пронзительный свистъ надъ ухомъ заставилъ его вскочить.

Но скамейкѣ, смѣясь, сидѣлъ Пахомовъ со свисткомъ въ рукахъ. А на столѣ уже стоялъ кипѣвшій самоваръ, стаканы, масло, свѣжій хлѣбъ, брынза, сыръ, колбаса.

— Скорѣй, скорѣй!..—торопилъ Пахомовъ.

Когда кончили чай, подѣхалъ и Леонидъ Сикорскій. Онъ былъ растрепанный, маленькіе глаза красные и воспаленные.

— Хорошъ!—бросилъ пренебрежительно братъ.

— Да, хорошъ,—тебя бы послать!—жалобно огрызался старшій братъ.

Никитка въ торопливой выгрузкѣ привезеннаго старлся скрыть себя.

Карташовъ получилъ шляпу и сапоги.

— Ваши остальные вещи,—сказалъ Леонидъ Карташову,—я сложилъ въ номеръ главнаго инженера. Онъ самъ предложилъ; чего же вамъ платить даромъ за свой номеръ.

— Отлично! Очень вамъ благодаренъ.

— Хотите сейчасъ рассчитаемся или послѣ?

Карташовъ давалъ Сикорскому сто рублей.

— Конечно послѣ.

Уходя на работы, Пахомовъ сказалъ старшему Сикорскому.

— Обѣдаемъ въ Киркаештахъ.

— Слушаюсъ, Семень Васильевичъ, я сейчасъ же прямо туда и поѣду со всѣмъ скарбомъ.

И наклонившись къ уху Карташова, старшій Сикорскій шепнулъ.

— Ни одной минуты не спать ночью!

Тимофей хозяйничалъ энергично: вещи рабочихъ, чайники, чашки, сахаръ, чай, кое-какая ѣда, небольшой багажъ Карташова, колья—все это было уложено на подводу и не было еще пяти часовъ, когда потянулись изъ деревни партіи съ рабочими.

Впереди широкими шагами выступалъ Пахомовъ рядомъ съ Карташовымъ.

— Надо въ четыре часа на работѣ стоять—бросилъ, Пахомовъ Карташову,—періодъ изысканій обыкновенно три-четыре лѣтнихъ мѣсяца. Это періодъ лѣтнихъ работъ крестьянина и, если онъ, при своей плохой ѣдѣ, можетъ выдерживать 16-ти часовую работу, то конечно можемъ и мы.

Это была первая рѣчь Пахомова, обращенная къ Карташову и Карташовъ отвѣтилъ:

— Конечно.

Пройдя съ версту за деревню, Пахомовъ остановился на линіи, развернулъ карту и заговорилъ громко:

— Эту прямую можно было бы продолжить еще версты три, но я боюсь, что этотъ загибъ рѣки заставитъ насъ тогда сдѣлать довольно большой входящій уголъ, а такъ какъ всякій входящій удлиняетъ, то чѣмъ меньше онъ будетъ, тѣмъ лучше. Если здѣсь сдѣлать что-нибудь около десяти градусовъ, то прямая получится верстъ въ семь, если, конечно, карта вѣрна.

— Вы какъ находите, карта вообще вѣрна?

— Для двухверстной—да. Есть и одноверстныя, но не успѣли достать. Попробуйте установить и снять уголь.

Карташовъ вспыхнулъ отъ удовольствія, покраснѣлъ какъ ракъ, ему сразу сдѣлалось жарко. Онъ какъ реликвію слегка дрожащими руками принялъ отъ Пахомова маленькій теодолитъ.

— Повѣрку сдѣлать?—спросилъ онъ.

— Сикорскій вчера сдѣлалъ. Пожалуй, сдѣлайте.

Карташовъ быстро продѣлалъ усвоенное вчера.

Когда инструментъ былъ установленъ и сведены лимбы, Пахомовъ показалъ ему рукой направленіе.

— Держите вотъ на то деревцо, немного правѣе, чтобъ не рубить его.

Карташовъ повернулъ трубу. Ереминъ вѣшилъ впереди вѣшками. Подражая манерамъ и тону Пахомова Карташовъ, съ такимъ же какъ у Пахомова угрюмымъ и сосредоточеннымъ лицомъ, бросалъ: „Право.. лѣво... Между ногами и передъ носомъ...”

Онъ такъ вошелъ въ роль, что, какъ и Пахомовъ, когда Ереминъ по тремъ вѣшкамъ пошелъ уже самостоятельно, полѣзъ въ карманъ пиджака за платкомъ. Но онъ былъ только въ ночной рубахѣ, подштанникахъ, а потому изъ этого движенія ничего и не вышло, и Карташовъ смущенно, но такъ же угрюмо буркнулъ:

— Коль!—и сталъ писать на немъ уголь, румбы, радіусъ.

— Какой радіусъ, Семенъ Васильевичъ?

Пахомовъ сдвинулъ брови и угрюмо заговорилъ:

— Идеаль—прямая. Всякій уголь, всякій радіусъ уже зло, и чѣмъ больше онъ будетъ, чѣмъ ближе будетъ подходить къ идеалу прямой — тѣмъ лучше. Поэтому, если мѣстность позволяетъ, то чѣмъ больше радіусъ, тѣмъ лучше. Возьмите тысячу сажень: всегда надо приблизительно на глазъ въ умѣ отбить биссектрису, прикинуть длину тангенса и кривая уже обрису-

ется и вамъ тогда видно будетъ, встрѣчаются ли на мѣстности какія-нибудь препятствія.

Когда уголь былъ снятъ, Похомовъ бросилъ, уходя:
— Справитесь, догоняйте!

Карташовъ догналъ на третьей верстѣ Пахомова.

— Вотъ вамъ бинокль,—сказалъ Пахомовъ,—и слѣдите за линіей.

Иногда Пахомовъ бралъ бинокль у Карташова и провѣрялъ. Такъ какъ вѣшекъ было ограниченное количество, то по мѣрѣ удаленія, старыя вѣшки снимались и вмѣсто нихъ черезъ одну забивался колъ съ направлениемъ. За этой работой Пахомовъ очень внимательно наблюдалъ.

Вслѣдствіе несоблюденія этого сплошь и рядомъ въ постройкѣ вмѣсто прямой получаютъ ломанья линіи. Такъ сломали на Фастовской прекрасную пятнадцати-верстную прямую. И надо, чтобъ эти колья закрачивались такъ, чтобъ ихъ потомъ выдернуть нельзя было. Надо постоянно самому пробовать.

Какъ Пахомовъ сказалъ, такъ и вышло: прямая получилась въ семь верстъ.

Послѣ нѣсколькихъ объясненій на картѣ, Карташовъ подъ руководствомъ Пахомова сдѣлалъ новый уголь. Было уже одиннадцать часовъ утра.

— Ну, здѣсь тоже опять что-нибудь въ родѣ семи верстъ будетъ. До вечера не дойдемъ. Разбейте кривую и ведите сколько успѣете дальше линію, а я поѣду въ городъ и вечеромъ приѣду прямо уже въ Киркашты. Карту себѣ возьмите. Вамъ ничего въ городѣ не надо?

— Нѣтъ, благодарю васъ.

Пахомовъ сѣлъ въ парный экипажъ, все время ѣхавшій невдалекѣ, кивнулъ головой и поѣхалъ, а Карташовъ принялся за разбивку кривой.

Когда экипажъ скрылся, Ереминъ, бросивъ вѣшить, возвратился къ Карташову и сказалъ:

— Какъ прикажете? Время обѣдать.

— Я разобью еще эту кривую, а вы, пожалуй, со своими рабочими садитесь обѣдать, разведите огонь, вскипятите пока воду, пошлите въ эту деревню, можетъ быть можно немного водки купить, не больше какъ по стакану на человѣка.

Рабочіе съ полуоткрытыми рта́ми слушали насторожившись; Ереминъ угрюмо-недовольно сказалъ:

— Слушаю-сь.

— Ну, скорѣе разобьемъ эту кривую! — крикнулъ Карташовъ. И работа вездѣ весело закипѣла. Двое Ереминскихъ рабочихъ уже бѣжали въ сосѣднюю деревню. Копейка обламывалъ сучья сухого дерева, вытащилъ чайникъ и побѣжалъ за водой.

Въ то время, какъ Карташовъ незамѣтно входилъ въ роль Пахомова, Тимофей входилъ въ роль Карташова. Одну половину кривой разбивалъ самъ Карташовъ, а другую Тимофей и, смотря въ щелку эккера, грозно кричалъ.

— Чортъ полосатый, тебѣ говорить вправо. Ладно! Бей!

И новый колъ забивался.

Кривую кончили, саранъ жарился, чайникъ кипятился, стояла на-готовѣ водка. Подъ однимъ деревомъ сидѣли всѣ и въ ожиданіи ѣды вели непринужденный разговоръ.

Тимофей гордился пріобрѣтеннымъ вліяніемъ надъ Карташовымъ и отъ поры до времени старался показывать это передъ рабочими. Карташовъ выше головы былъ доволенъ своей новой ролью и, добродушно щурясь, не мѣшалъ Тимофею командовать.

Когда уже все устроилось и предлоговъ командовать больше никакихъ не было, Карташовъ спросилъ полулежавшаго Тимофея:

— Ты самъ откуда, Тимофей?

— Я издалека... изъ-за Волги...

— Мѣста тамъ у васъ привольныя.

— Было, до сплыло,—сплюнуль Тимофей.—Земли— оно много и сейчасъ, да за чужими руками, а нашъ братъ мужикъ не хуже какъ въ каменномъ мѣшкѣ бьется на своемъ сиротскомъ надѣлѣ.

— А земля въ чьихъ рукахъ?

— У господъ, у купцовъ, удѣльная, казенная... А порядки вездѣ такіе, что стало хуже неволи. А особенно у купцовъ. Они цѣну тебѣ назначили 15 рублей за десятину и рубль задатку. Паши, сѣи, жни, молоти даже, только зерно къ нему въ амбаръ. До Покрова отдасть деньги—бери зерно, нѣтъ—въ Покровъ по базарной цѣнѣ хлѣбъ остался за хозяиномъ. А въ Покровъ нѣтъ ниже цѣны,—барки ушли, сразу на полцѣны хлѣбъ упадетъ. И выходитъ такъ, что весь хлѣбъ отдасть, а заверстать его не хватило. Еще пять-три рубля остается долгу на мужикѣ. Вексель пиши. Вся работа значить пропала, сѣмена отдасть, да еще долгу накрутилъ себѣ на шею. Въ крѣпостныхъ были, половина работы шла на барина,—три дня твоихъ, три дня моихъ, праздникъ ничей, а тутъ всѣ твои и съ праздникомъ, да съ сѣменами, да съ долгомъ еще: отработывай зимой по рублю за мѣсяцъ... Такъ сладко, что некуда больше...

— У васъ,—степенно заговорилъ Копейка,—хотя по 15 руб., да мѣра сотенная, а у насъ сороковка по 30.

— А ты откуда?

— Изъ Елисаветградскаго уѣзда, села Благодатной.

— Дяди Хорвата?—подумалъ Карташовъ.

— Хорвата?

— Его самага. А за все штрафъ: всю кровь пьютъ. А ужъ этотъ приказчикъ у него, Кононъ...

— Кононъ Львовичъ?

— Онъ самый! Такого аспида самъ чортъ у цыцки своей выкормилъ, да и пустилъ на свѣтъ на пагубу добрымъ людямъ.

Карташовъ смущенно слушалъ. Тотъ самый Кононь Львовичъ, который былъ и у его матери. Онъ вспомнилъ тогдашнюю исторію, когда съ Корневымъ они поскакали утромъ въ поле.

И остальные рабочіе, каждый изъ своего угла Россіи, говорили о той же неприглядной картинѣ жизни простого народа.

Если бы все это Карташовъ читалъ въ какой-нибудь прогрессивной газетѣ, онъ читалъ бы съ предубѣжденнымъ чувствомъ, что все это подтасовано, сгущено, предвзято.

Такихъ подозрѣній здѣсь не могло быть. Люди эти никакихъ газетъ и не читали, и читать не умѣли, и даже не знали, что гдѣ-то кто-то тоже заботится объ ихъ интересахъ.

И ясно было одно, что это, дѣйствительно, сбродъ обездоленныхъ, несчастныхъ людей, для которыхъ кусокъ мяса, стаканъ чаю, ласковое слово—уже праздникъ жизни.

Конечно, не въ его, Карташова, власти измѣнить неизбежный тяжелый ходъ жизни, но въ его полной власти эти нѣсколько дней, на которые судьба свела его съ этими людьми, превратить въ возможный праздникъ для нихъ, сдѣлать все, что отъ него зависитъ.

Поѣли барана, достали опять огурцовъ, выпили водки. Угостили и Карташова, и онъ хлебнулъ. И такой вкусный и сочный былъ баранъ, что всего его съѣли безъ остатка, а кости побросали увязавшейся собачонкѣ, лохматой, несчастной, но уже ставшей общей любимицей и получившей кличку „Черногузъ“ за свой черный задъ.

Карташовъ хотѣлъ-было сейчасъ послѣ ѣды начинать, но рабочіе попросили часъ-два заснуть.

Тимофей авторитетно посовѣтовалъ Карташову согласиться:

— Наверстаемъ,—подмигнулъ онъ.

Карташовъ согласился и съ часами въ рукахъ си-

дѣлъ подъ деревомъ. Потомъ ему пришло въ голову устроить сюрпризъ рабочимъ и вскипятить новый чайникъ. Онъ наломалъ новыхъ сучьевъ, сходилъ за водою. Чайникъ успѣлъ вскипѣть, онъ самъ выпилъ еще стаканъ чаю.

Потомъ разбудилъ рабочихъ.

Сюрпризомъ рабочіе были очень тронуты, жадно распили приготовленный чай, и начали энергично собираться на работу.

Прошли прямую въ шесть верстъ, Карташовъ на свой рискъ сдѣлалъ еще уголъ и прошелъ по новой линіи еще три версты.

Въ Киркаешты возвратились они уже въ сумерки. Всѣ и Пахомовъ были уже на-лицо. Узнавъ о положеніи дѣлъ, онъ только молча кивнулъ головой.

Дни потянулись за днями въ непрерывной напряженной работѣ.

Карташовъ все больше входилъ во вкусъ этой работы.

Высокій пикетажистъ заболѣлъ такими жестокими приступами лихорадки, что его пришлось отправить назадъ.

Карташовъ взялъ на себя и разбивку кривыхъ и пикетажъ, съ обѣщаніемъ не задерживать Сикорскаго...

Обѣщаніе свое онъ больше чѣмъ выполнилъ. При прежнемъ пикетажистѣ не проходили больше восьми верстъ въ день, Карташовъ же проходилъ, въ то же время разбивая и кривыя, по 12 верстъ въ день и мечталъ о пятнадцати.

Пахомовъ, ушедшій настолько впередъ, что хотѣлъ было ночевать съ Карташовымъ отдѣльно отъ Сикорскаго, теперь передумалъ, такъ какъ Карташовъ, чуть только приходилось Пахомову мѣнять неудачно взятое направленіе, уже насѣдалъ на него.

Отношенія и Пахомова и Сикорскаго къ Карташову рѣзко измѣнились. Онъ былъ признанъ вполне равно-

правнымъ членомъ ихъ общества, а его работоспособность была настолькоъ внѣ конкуренціи, что въ интересахъ, чтобы рабочіе его не разбѣжались, Пахомовъ самъ просилъ его охладить немного свое рвеніе.

Карташовъ былъ и пораженъ и смущенъ, когда однажды его рабочіе въ полномъ составѣ, съ Тимофеемъ во главѣ, вечеромъ, послѣ работы, обратились къ Пахомову съ жалобой на него, Карташова.

— Не можемъ, никакъ не можемъ... Одинъ—два дня вытерпѣть на рыскахъ въ такую жару, а вѣдь вторая недѣля кончается. Зайцы мы, что-ли? Ну что съ того, что онъ водки да барана даетъ? Гляди, какъ мы полегчали: тѣнь осталась отъ людей. Опять обувь... Дождь, не дождь, гонить, какъ на пожаръ. Словно безъ ума... Развѣ такъ можно?! Ноги всѣ опухли, точно язва ихъ ѣстъ.

На другой день Карташовъ вошелъ въ дополнительное соглашеніе съ рабочими.

— Ну, давайте, сдѣлаемъ такъ: урокъ пусть будетъ восемь верстъ, а если двѣнадцать выйдетъ, я вамъ плачу кромѣ водки и ѣды двойное жалованье.

Рабочіе думали.

— Экъ тебя нудить,—раздумчиво замѣтилъ одинъ рабочій.

— Господа, вѣдь еще недѣля,—и конецъ всей работѣ: вы же больше заработаете...

— Заработаетъ на больницу.

Порѣшили, наконецъ на томъ, чтобы не неволить. Кто согласенъ—согласенъ, а не согласны—расчетъ и набирай новыхъ.

Большая половина рабочихъ въ тотъ же вечеръ расчитались. Въмѣсто нихъ поступили молодые парни молдаване изъ мѣстныхъ жителей.

Это были добродушные, но лѣнливые, почти не понимавшіе русской рѣчи, люди.

Еле-еле прошли восемь верстъ.

А на другой день молдаване рабочіе и совѣтъ отка-
зались идти на работы, апатично заявляя:

— Сербатори, нуй лукрали!

что значить:

— Праздникъ, нѣтъ работы.

И хотя въ святцахъ 23 Іюня никакого особаго праз-
дника не значилось, но молдаване ссылались на церков-
ный звонъ.

Съ маленькой деревянной колокольни села, гдѣ
почевали инженеры, дѣйствительно, неслись и разли-
вались въ утреннемъ воздухѣ ровные мирные звуки
церковнаго колокола.

Сикорскій весело разсмѣялся и сказалъ:

— Вотъ шельма! Это за вчерашнее... Вѣдь здѣшній
народъ первобытный: въ полной власти у своихъ поповъ.
Слава Богу, я самъ молдаванецъ, и хорошо знаю что
это за паца.

Вчера вечеромъ приходилъ къ нимъ мѣстный свя-
щенникъ: молодой, высокій, пухлый, съ черными, какъ
воронье крыло волосами и оливковымъ цвѣтомъ лица.

Пахомовъ во все время визита высокомерно и уг-
рюмо молчалъ, а Сикорскій съ нескрываемымъ сарказ-
момъ выпытывалъ у батюшки, сколько онъ беретъ за
свадьбу, крестины, похороны... Священникъ хотѣлъ
щегольнуть и говорилъ очень высокія цѣны, а Сикор-
скій, возмущаясь, доказывалъ ему, что онъ грабитъ на-
родъ.

Священникъ въ концѣ-концовъ такъ разобидѣлся,
что ушелъ, едва простившись.

— Отвадили,—пустилъ ему въ догонку Сикорскій
при общемъ смѣхѣ.

Даже Пахомовъ смѣялся сухимъ ѣдкимъ смѣхомъ,
скала зубы и сверкая глазами.

Теперь, когда звонъ произвелъ такое дѣйствіе, Си-
корскій не сомнѣвался больше, что это месть.

Онъ пожалъ плечами, сказавъ презрительно:

— Надо идти мириться,—и пошелъ къ церкви.

Звонъ скоро прекратился, и Сикорскій появился вмѣстѣ со священникомъ, который объяснилъ рабочимъ, что это не праздникъ, а заказная обѣдня.

Рабочіе согласились идти на работу, и всѣ двинулись въ путь, напутствуемые добродушными пожеланіями священника.

— Какъ вы съ нимъ поладили?—спросилъ Карташовъ.

— Какъ? Сунулъ въ зубы пятишницу, обѣщалъ позвать на молебенъ и дать ему двѣ телки.

Въ тотъ же день произошла и первая встрѣча съ полиціей въ лицѣ мѣстнаго станового. Онъ подѣхалъ въ тарантасъ къ Карташову и спросилъ, не зная съ кѣмъ имѣетъ дѣло:

— Что за люди?

По внѣшнему виду было, дѣйствительно, трудно угадать въ Карташовѣ не только инженера, но даже и интеллигента.

Его ночная рубаха и подштанники были такъ же грязны, такого же сѣраго цвѣта, какъ и бѣлье рабочихъ. Дешевая соломенная шляпа поломалась, и поля ея точно изгрызъ какой-нибудь звѣрь. На ногахъ, вмѣсто сапогъ, страшно натершихъ ноги, давно уже были лапти Тимофея.

— Инженеры,—отвѣтилъ Карташовъ,—изысканія дѣлаемъ.

— Гдѣ старшій?

Сикорскій въ это время подходилъ уже со своими инженерами, и Карташовъ указалъ на него.

На глазахъ увсѣхъ рабочихъ Сикорскій, поговоривъ немного, вынулъ двадцать пять рублей и съ обычной гримасой презрѣнія далъ ихъ становому.

Становой взялъ деньги, пожалъ руку Сикорскому и уѣхалъ.

Карташовъ, совершенно пораженный, пошелъ къ Сикорскому:

— Вы ему взятку дали?

— Какъ видите.

— Ну, а еслибы онъ васъ за это ударилъ?

— Онъ?!

Сикорскій расхохотался.

— Слушайте, даже стыдно быть такимъ наивнымъ.

Вѣдь это же полиція!

— Какъ же вы ему дали?

— Какъ далъ? Сказалъ, что будемъ строить дорогу, что полиція будетъ получать отъ насъ, что ему будемъ платить по 25 рублей въ мѣсяцъ, а за особыя происшествія отдѣльно, и что такъ какъ онъ уже тутъ, то пусть и получить за этотъ мѣсяцъ. А онъ спрашиваетъ; „А когда будете брать справочныя цѣны это какъ будетъ считаться—особо?“ Пришлось разочаровывать его, что справочныя цѣны только у военныхъ инженеровъ да въ водяномъ и шоссеиномъ департаментахъ.

— Это что еще за справочныя цѣны?

— Только по такимъ, утвержденнымъ полиціей, цѣнамъ вѣдомства эти утверждаютъ расходы. Напримеръ, пусть доска стоитъ въ дѣйствительности 50 коп., а если утверждена справочная цѣна два рубля, то такъ и будетъ. Цѣны эти кажется утверждаютъ два раза въ годъ. Вотъ къ этому времени всѣ эти полицейскіе и собираютъ дань. Неужели вамъ никогда не приходилось имѣть дѣло съ полиціей?

— Нѣтъ.

— Ну, будете...

— А меня онъ вѣрно принялъ за старшаго рабочаго?

— Да, знаете, угадать въ васъ трудно того франтика, который двѣ недѣли тому назадъ явился къ намъ въ

золотомъ пенснэ, расшитой курткѣ и шапкѣ съ кокардой. Теперь вы жуликъ, форменный золоторотецъ.

Карташовъ, оглядывая себя, довольно улыбался, а Сикорскій сказалъ:

— Ну, идите, идите...

Карташовъ часто старался дать себѣ отчетъ, что захватывало его, точно переродило и неудержимо тянуло къ работѣ,

Конечно самолюбіе, желаніе доказать, что и онъ на что-нибудь годится, было на первомъ планѣ; удовлетворенное сознаніе, что онъ можетъ работать, тянуло его дальше — онъ хотѣлъ достигнуть предѣла того, что онъ можетъ, предѣла своихъ силъ.

Его прежняя практика, ѣзда кочегаромъ, являлась своего рода масштабомъ для него.

И, въ сравненіи съ тѣмъ масштабомъ, ему казалось, что теперь онъ очень мало работаетъ. Вѣдь въ сущности все сводится къ пріятной прогулкѣ по двадцати верстѣ въ день.

Могло ли это сравниться съ утомительнымъ стояніемъ безъ перерыва по 32 часа передъ горячимъ паровозомъ, съ перебрасываніемъ ежедневно трехсотъ пудовъ угля изъ тендера въ топку, съ работой на тормазѣ, утомительнымъ лазаньемъ съ тяжелыми рѣзцами въ рукавахъ подъ паровозъ, съ невыносимой борьбой со сномъ, когда исчезаетъ понятіе о днѣ и ночи, когда вдругъ мгновенно сонъ сковывалъ его, стоявшаго на паровозѣ, и превращалъ въ окаменѣвшую статую? А это постоянное напряженіе при наблюденіи за исправностью паровоза, эта тряска, ослѣпляющій блескъ топки и жаръ отъ этой топки, когда спина мерзнетъ отъ холоднаго ночного вѣтра, часто съ дождемъ? И такъ постоянно: грязный, мокрый; изможденный до такой степени, что острые куски черного угля подъ бокомъ и такіе же подъ головой казались самой мягкой, самой желательной, постелью:—только бы прилечь, и мгновенный, крѣп-

кій, какъ сталь, сонъ охватывалъ тѣло. Здѣсь онъ ни разу еще не чувствовалъ того сладостнаго утомленія, когда, хотя бы цѣной жизни, но берутся нѣсколько мгновений безмятежнаго отдыха.

Онъ удивлялся жалобамъ рабочихъ на непосильный трудъ и не вѣрилъ имъ.

Но и помимо всякаго самолюбія и удовлетворенія сама работа увлекала его.

Карташовъ объяснялъ это тѣмъ, что вѣроятно наследственная страсть его предковъ къ охотѣ переродилась въ немъ тоже въ своего рода охоту: линія—это тотъ же звѣрь, котораго тоже надо умѣть выслѣдить по разнымъ примѣтамъ, требующимъ знанія, опыта, особаго дарованія.

Онъ выслѣдилъ, напримѣръ, въ одномъ мѣстѣ этого звѣря. Пахомовъ, довѣряясь картѣ, повелъ линію иначе, но Карташовъ все-таки, выгадавъ время, успѣлъ сдѣлать изысканіе, и его направленіе было и болѣе выгодное и болѣе короткое. И вопреки карты при этомъ не оказалось болота, а напротивъ, твердая, засѣянная хлѣбами поля. Вечеромъ Пахомовъ выслушалъ Карташова, а на другой день утромъ, осмотрѣвъ его линію, согласился съ нимъ.

Кончивъ осмотръ, онъ угрюмо протянулъ ему руку и сказалъ:

— Поздравляю и предсказываю вамъ въ будущемъ хорошаго изыскателя, потому что основное свойство изыскателя—не вѣрить никакимъ авторитетамъ, отцу и матери не вѣрить, не вѣрить картамъ, своимъ глазамъ, чорту не вѣрить, ничему не вѣрить, тогда только будетъ увѣренность, что линія выбрана правильно. А въ этомъ все. Та экономія, которую могутъ дать изысканія, предъ экономіей самой постройки всегда ничтожна. И хорошія изысканія—это все, это основа всей постройки.

Въ другой разъ Пахомовъ сказалъ Карташову:

— Я не увѣренъ, что я теперь иду правильно. Сдѣлайте вариантъ мимо той деревни.

Вариантъ длиною былъ около пяти верстъ и до прихода Сикорскаго Карташовъ, сдѣлавъ этотъ вариантъ, успѣлъ и его и линію Пахомова пройти пикетажемъ, разбивъ и всѣ кривыя. Въ этотъ день онъ прошелъ въ общемъ семнадцать верстъ и почувствовалъ, наконецъ, то блаженное состояніе утомленія, о которомъ такъ мечталъ.

Онъ даже и ѣсть не могъ и, нанеся планъ, сейчасъ же завалился спать.

Что до рабочихъ, то, несмотря на награду по три рубля на человѣка, всѣ, кромѣ Тимофея и Копейки, взяли расчетъ, хотя и оставалось работы всего на три, четыре дня.

Единственнымъ слабымъ мѣстомъ теперь у Карташова оставалась нивеллировка. Чтобы подучиться, рѣшено было, что обратно въ городъ онъ пойдетъ повѣрочною, нивеллировкой, при чемъ одинъ день проработаетъ съ нимъ Сикорскій, а затѣмъ онъ пойдетъ уже самостоятельно. Такъ и поступили. Окончивъ линію и связавшись съ слѣдующей партіей, Пахомовъ уѣхалъ въ городъ, поручивъ Карташову на обратномъ пути сдѣлать еще нѣсколько мелкихъ вариантовъ.

Сикорскій пробылъ съ Карташовымъ только полдня и, выписавъ ему репера, тоже уѣхалъ.

Въ распоряженіи Карташова остался Ереминъ, семь рабочихъ, въ томъ числѣ Тимофей и Копейка, а также и старшій Сикорскій.

Но старшій Сикорскій съ отъѣздомъ Пахомова и брата только разъ лично привезъ провизію Карташову.

Держалъ онъ себя при этомъ важно, читалъ нотаціи Карташову, что у него много выходитъ и что, вѣроятно, Тимофей воруетъ у него, и, въ концѣ концовъ, ссылаясь на то, что братъ его куда-то теперь командированъ и что у него вышли подотчетныя деньги,

взялъ у Карташова двѣсти рублей. О раньше взятыхъ ста Сикорскій не заикался.

Вмѣсто Сикорскаго пріѣзжалъ Никитка и, подражая Сикорскому, тоже изображалъ изъ себя недовольнаго хозяина. Провизію онъ привозилъ все худшую и худшую и, наконецъ, Карташовъ, послѣ совѣщанія съ Ереминнымъ и Тимофеемъ, сказалъ Никиткѣ, чтобы онъ больше не возилъ провизіи и не ѣздилъ къ нему.

— Вы развѣ нанимали меня? Хозяинъ вы, что-ли, чтобъ мнѣ приказывать? — нахально спросилъ Никитка.

— Хозяинъ!! — заревѣлъ Карташовъ, и глаза его налились кровью, а руки сжались въ кулакъ.

Никитка не сталъ испытывать больше его терпѣнье, вскочилъ въ тарантасъ и уѣхалъ. А Карташовъ, придя въ себя, былъ смущенъ охватившимъ его вдругъ бѣшенствомъ, но при воспоминаніи объ испуганной физіономіи Никитки, испытывалъ удовлетвореніе и думалъ: „Будетъ и на слѣдующій разъ ухо остро держать, да и остальные видѣли, что ласковъ и покладливъ я, когда хочу и когда со мной не нахальничаютъ...“

XII.

На восьмой день Карташовъ подходилъ къ городу, сдѣлавъ въ среднемъ по 12 верстъ. Разъ сдѣлалъ онъ семнадцать верстъ, но 22, о чемъ рассказывалъ ему Сикорскій, онъ такъ и не могъ сдѣлать. Онъ утѣшался, что Сикорскій сдѣлалъ это въ степи, беря взгляды по двѣсти сажень въ обѣ стороны, въ то время какъ при здѣшней мѣстности не выходило и ста. Да при этомъ. вслѣдствіе неопытности, приходилось часто возвращаться назадъ, вслѣдствіе несходности отмѣтки съ отмѣткой репера.

При этомъ онъ каждый разъ мечталъ, что накрылъ на этотъ разъ Сикорскаго. Но провѣрка опять показывала, что онъ опять ошибся. Такъ ни разу и не

накрылъ онъ Сикорскаго. Теперь, подходя къ городу, онъ радъ былъ этому, потому что зналъ, что этимъ обрадуется Сикорскаго.

Уже на разстояніи тридцати верстъ отъ города онъ видѣлъ толпы рабочихъ, землекоповъ, развозимый матеріалъ. Топтались поля, кукуруза, виноградники. Въ одномъ мѣстѣ черезъ садъ тянулась сквозная просѣка. На землѣ валялись срубленные яблони, груши,—съ массой зеленыхъ плодовъ на нихъ. Садилось солнце и золотой пылью осыпало деревья, и ослѣпительные лучи горѣли между листьями. Гдѣ-то мелодично куковала кукушка, и Карташовъ насчиталъ 17 лѣтъ остающейся еще ему жизни. Это было слишкомъ много, и Карташову съ ужасомъ представилась его сорокадвухлѣтняя фигура. Уже тридцать лѣтъ казались ему какой-то безпросвѣтной и безнадежной старостью.

Безмятежнымъ покоемъ вечера вѣяло отъ садовъ и дачъ, Днѣстра и неба, съ его золотистыми переливами, съ его голубыми перламутровыми облаками. Точно воды протекли и оставили песчаный свой слѣдъ. Но песокъ былъ яркій, блестящій, съ переливами всѣхъ цвѣтовъ. И только тамъ, подъ солнцемъ, вплоть до горизонта былъ однообразный нѣжно-золотистый тонъ.

Изъ какого-то густого сада и домика въ немъ Карташова окликнулъ голосъ младшаго Сикорскаго, и самъ онъ показался на улицѣ.

— Ну, здравствуйте, сошлось?

— Совершенно сошлось!—радостно говорилъ Карташовъ, горячо пожимая руку Сикорскаго.—Нѣсколько разъ думалъ-было васъ накрыть, но такъ и не выгорѣло. Сикорскій весело смѣялся.

— Ну, довольно. Здѣсь ужъ строить, и 30 верстъ, отсюда уже была вторая нивеллировка. Идемъ къ намъ, я васъ познакомлю съ сестрой и зятемъ.

Карташовъ оглянулся на свой костюмъ. Правда, онъ уже третій день одѣвалъ панталоны, а сегодня надѣлъ

и куртку, но и куртка и панталоны изображали изъ себя теперь только грязныя лохмотья, да при этомъ изгрызанная, поломанная шляпа, истоптанные, съ перекосенными на-сторону высокими каблуками, сапоги, которые онъ надѣлъ, такъ какъ въ лаптяхъ ходить по городу и совсѣмъ было неудобно. На мягкихъ поляхъ эти свороченные на-сторону каблуки еще не такъ давали себя чувствовать, но на твердой мостовой онъ при каждомъ движеніи чувствовать и боль и неудобство ходьбы.

— Ну, пустяки,—сказалъ Сикорскій.—Моя сестра выкла къ разнымъ фигурамъ.

— Ну, тогда постойте,—сказалъ Карташовъ, и, присѣвъ на мостовую, вытянувъ ногу, сказалъ рабочему съ топоромъ,—руби каблуки!

Когда каблуки были отрублены, Карташовъ, правда, чувствовалъ себя въ какихъ-то широчайшихъ башмакахъ, но зато не испытывалъ больше ни боли, ни неудобства.

Затѣмъ онъ разсчиталъ рабочихъ, оставивъ только Тимофея и Копейку, и съ Ереминымъ, подводой и инструментами отправилъ ихъ въ гостиницу.

— Мнѣ, право, совѣстно,—покончивъ, обратился Карташовъ опять къ Сикорскому.

— Да идите, идите!

— Вы понимаете, благодаря этой дырѣ,—онъ показлъ на одну половину своихъ штановъ,—я могу показываться только бокомъ.

— Ну и отлично.

Они вошли въ маленькую калитку и очутились въ густомъ саду, дорожкой прошли къ террасѣ дома и вошли на террасу.

Посреди террасы стоялъ столъ, покрытый бѣлоснѣжной скатертью. На ней стоялъ вычищенный, сверкавшій мѣдью, кипѣвшій самоваръ. Посуда, масленка съ масломъ и льдомъ, стаканы и чашки—все было безу-

коризненной чистоты. Также свѣтло и чисто одѣтъ былъ Сикорскій, его зять, начинавшій полнѣть блондинъ, его сестра, молодая, похожая на брата, несмотря на надменное выраженіе, все-таки съ симпатичнымъ привлекательнымъ лицомъ.

— Ну вотъ, знакомьтесь, — бросилъ пренебрежительно Сикорскій.

— Петръ Матвѣвичъ Петровъ, — поздоровался блондинъ. — Прошу любить и жаловать.

— Тебя полюбишь, — сказалъ Сикорскій.

— Молчи, — отвѣтилъ Петръ Матвѣвичъ.

Карташовъ бокомъ пробрался къ сестрѣ Сикорскаго и пожалъ такъ протянутую изъ-за самовара руку, точно протягивавшая несовсѣмъ была увѣрена, что надо это сдѣлать.

— Ты попроси его повернуться, — предложилъ ей братъ.

Петровъ уже видѣлъ дефектъ Карташова и раскатисто смѣялся, его жена улыбалась и казалась еще симпатичнѣе.

— Не обращайтесь на нихъ вниманія, — заговорила она красивымъ музыкальнымъ голосомъ, — и садитесь. Чаю хотите?

Карташовъ поспѣшно сѣлъ на стулъ, вдвинулъ его какъ можно глубже подъ столъ и пригнувшись отвѣтилъ:

— Съ большимъ удовольствіемъ.

— Петя, — обратился Сикорскій къ зятю, — надо тебѣ было видѣть этого господина мѣсяцъ тому назадъ, какимъ франтикомъ онъ выступилъ отсюда.

Онъ обратился къ Карташову:

— Идите сюда къ зеркалу. Посмотрите на себя. Волосы одни чего стоятъ, сзади уже въ косичку завивать можно: въ дѣячки хоть сейчасъ идите...

Но Карташовъ только головой покачалъ.

— Къ зеркалу не могу идти.

Онъ молча показалъ на свой разорванный бокъ, и всѣ опять смѣялись.

Карташову дали чай, любимыя его сливки, такія же холодныя, какъ и масло, любимые бублики, и онъ, теперь всегда голодный, пилъ и ѣлъ съ завиднымъ аппетитомъ.

— Вы знаете,—замѣтилъ ему Петръ Матвѣевичъ,—какъ здѣсь на югѣ нѣмцы-колонисты нанимаютъ рабочихъ? Прежде всего садятъ съ собой за столъ ѣсть. Ъсть хорошо—берутъ, нѣтъ—прогоняютъ. Васъ бы взяли. Покажите руки.

Карташовъ показалъ.

— И руки хороши: мозоли есть.

— Это, вѣроятно, еще отъ кочегарства.

— Вотъ попались бы вы къ этому господину,—показалъ Карташову Сикорскій на зятя,—этотъ бы и васъ замучилъ на работѣ.

— Тебя же незамучилъ,—отвѣтилъ Петръ Матвѣевичъ.

— Только и спасла вотъ она,—ткнулъ Сикорскій въ сестру.—Вижу, что забьёшь, я и подсунулъ ему сестру. Ну, и пропалъ... Теперь и половины отъ него уже не осталось. Толстѣть сталъ.

— Ну, ври больше,—отвѣтилъ Петръ Матвѣевичъ и всталъ, взявъ лежавшій тутъ же корнетикъ.

Жена его тоже поднялась и спросила:

— Къ ужину придешь?

— Да, приду.

Они съ мужемъ ушли, а Карташовъ сказалъ Сикорскому:

— Я не зналъ, что у васъ есть сестра.

— Цѣлыхъ двѣ,—онъ у дяди жили раньше.

— А Петръ Матвѣевичъ тоже инженеръ?

— У него нѣтъ диплома инженера, но уже лѣтъ дѣять начальникъ дистанціи. Я у него и началъ свою практику. Очень дѣльный человѣкъ. Точный, какъ часы. Его дистанція первая отъ Бендеръ. Кстати, хотите быть моимъ помощникомъ: моя третья отсюда дистанція?

— Съ удовольствіемъ, конечно.

— Мы такъ и порѣшили съ Паховымъ. Жалованье вамъ назначено по двѣсти рублей въ мѣсяцъ, подъемныя шестьсотъ, на обзаведеніе лошадьми триста. Идите завтра и получайте, да ко всему еще за два мѣсяца уже прослуженныхъ.

— Одинъ мѣсяцъ.

— Штаты утверждены съ мая. А деньги вы отдайте на сохраненіе сестрѣ.

— Отлично, а то я ихъ въ концѣ концовъ потеряю.

Карташовъ вынулъ портфель, пересчиталъ, оставилъ у себя пятьсотъ, а тысячу рублей вынулъ и положилъ на столъ.

Когда сестра Сикорскаго возвратилась на террасу, братъ сказалъ:

— Марися, возьми у него эти деньги и спрячь, чтобы не растерялъ. Завтра еще тебѣ столько дастъ. Да зачѣмъ вы столько оставили себѣ?

— Такъ, на всякій случай.

— Давайте лучше мнѣ, — цѣлѣе будутъ, — сказала ласково сестра и добродушно кивнула головой.

— Нѣтъ, мнѣ нужно возстановить свой гардеробъ.

— Ну, что вы здѣсь, въ Бендерахъ, найдете! А знаете что! Вы можете дня на два, на три пока-что съѣздить въ Одессу, къ своимъ. Я вамъ завтра это устрою.

Карташовъ очень обрадовался.

— И мнѣ купите кой-что.

— Зинѣ кланяйтесь, — сказала сестра Сикорскаго.

— Вы ее развѣ знаете? Теперь она уже монахиня.

И Карташовъ разсказалъ, какъ она уѣхала въ Іерусалимъ.

Сикорскій возмущался, качалъ головой и говорилъ со своей обычной гримасой:

— Ой, какая гадость! Фу! Вотъ до чего доводитъ людей религія! бросить дѣтей... Ой, ой, ой!..

Сестра Сикорского слушала, вдумывалась и сказала:

— Я тоже не понимаю этого... Бросить дѣтей!..—Я знаю и васъ; я была въ младшемъ классѣ, а она въ старшемъ, и она меня очень любила; я видѣла и васъ, и Корнева, и васъ съ Маней Корневой.

Она разсмѣялась и немного покраснѣла.

— А что, не дуракъ поужаживать?—спросилъ братъ.

— Ого! и какой еще! Иди сюда, Ваня.

Сестра вышла въ комнаты, а за ней ушелъ и братъ.

Затворивъ за собой дверь на террасу, сестра заговорила:

— Баня у насъ еще горячая. Сведи ты его въ баню,—вѣдь отъ него, несчастнаго, такъ и разить; дай ему хотя Петино бѣлье и костюмъ, и ботинки. Дай ему частый гребень: пф!.. и жалко и противно...

— Ну, хорошо, ты уходи, приготовь тамъ все, а я съ нимъ поговорю.

Въ это время въ комнату вошла младшая сестра Сикорского.

— Постои,—добродушно махнула ей старшая сестра,—не ходи еще туда: пусть его сначала обмоютъ, а то онъ теперь такой, что и чай пить не захочешь.

Сикорскій возвратился къ Карташову, поговорилъ еще съ нимъ и спросилъ:

— Давно не умывались?

— Откровенно сказать, какъ разстался съ вами.

— Восемь дней?!

— Куда-то задѣвалось полотенце, да и вообще—проснешься, торопишься на работу... На изысканіяхъ собственно некогда умываться.

— Ну, это только русскіе способны... Вы возьмите англичанъ на изысканіяхъ: каждый день три раза ванну: резиновые походныя ванны. Знаете что, сегодня у насъ вслѣдствіе субботы баня: идите въ баню.

Карташовъ сдѣлалъ-было гримасу.

— Очень длинная исторія. Начать съ того, что у меня съ собой никакого чистаго бѣлья нѣтъ.

— Бѣлье будетъ... Послушайте, нельзя же, если сказать по-товарищески, такой свиньей ходить. Вѣдь отъ васъ пахнетъ, какъ отъ свиньи.

Карташовъ понюхалъ свое платье и немного обиженно сказалъ:

— Ну, ужъ это неправда!

— Чтобы убѣдиться—вы вымойтесь, переодѣньтесь и потомъ понюхайте свое грязное бѣлье. И волосы вычешите, потому что вши у васъ уже и полицу ползаютъ.

И такъ какъ Карташовъ не вѣрилъ, онъ взялъ его осторожно за руку и подвелъ къ зеркалу.

— Чортъ знаетъ что!—брезгливо согласился, наконецъ, Карташовъ.

— Ну, ступайте. И такъ какъ вы навѣрно сами вымыться не сумѣете, то я пришлю къ вамъ банщика.

— Я терпѣть не могу съ банщикомъ мыться.

— И придете назадъ съ грязными ушами. Нѣтъ, берите банщика.

Карташову дали бѣлье, частую гребенку, дали верхнее платье, ботинки, дали банщика и отправили въ баню.

Карташовъ на цыпочкахъ проходилъ по блестящимъ, какъ зеркало, поламъ, по комнатамъ сверкавшимъ голландской чистотой.

— У нихъ въ роду чистоплотность,—подумалъ онъ.

И смутился, вспомнивъ гримасу отвращенія на лицѣ сестры Сикорскаго.

Сейчасъ же по его уходѣ, сестра Сикорскаго позвала горничную и вмѣстѣ съ ней занялась обмываніемъ той части пола и стула, на которомъ сидѣлъ Карташовъ. Затѣмъ она внимательно осмотрѣла скатерть, стряхнувъ всѣ крошки, покачала головой и сказала:

— Порядочная свинья: какъ грязно ѣсть, всю скатерть измазаль.

Когда Карташовъ вернулся изъ бани, одѣтый въ лѣтній костюмъ Петрова, только сестры Сикорскаго были на террасѣ.

Старшая сестра, Марья Андреевна, встрѣтила его уже, какъ стараго знакомаго.

— Ну вотъ... и вамъ навѣрное же самому пріятнѣе...

— Мнѣ все равно,—отвѣтилъ весело Карташовъ,— хотя теперь я себя чувствую отлично.

— Ну, вотъ съ моей сестрой познакомьтесь.

Младшая сестра Сикорскаго была похожа на какую-то маленькую миньятюру, легкую и воздушную. Микро-скопическая ручка, прекрасные неподвижные черные глаза, поразительная бѣлизна кожи, несмотря на лѣто, на общій загаръ, хорошенькій полуоткрытый ротъ и рядъ мелкихъ бѣлыхъ зубовъ—все вмѣстѣ производило впечатлѣніе видѣнія, которое вотъ-вотъ поднимется на воздухъ и исчезнетъ.

Голосъ ея былъ еще мелодичнѣе, еще тише и нѣжнѣе, чѣмъ у сестры.

Въ тихомъ вечерѣ въ саду нѣжно и звонко пѣла какая-то птичка, и Карташову слышалось что-то родственное въ этомъ пѣніи и голосъ младшей сестры Сикорскаго.

Въ ея лицѣ не было надменности старшей. Напротивъ: въ глазахъ свѣтилась поразительная доброта ласка, интересъ.

Карташовъ сразу почувствовалъ себя хорошо въ обществѣ двухъ сестеръ.

Солнце зашло, но еще горѣлъ свѣтомъ садъ и сильнѣе былъ ароматъ поливавшихся садовникомъ розъ, клумбы которыхъ окружали террасу.

— Вы знаете, на изысканіяхъ,—говорилъ Карташовъ,—я научился любить природу. Природа—это самая лучшая изъ книгъ, написанная на особомъ языкѣ. Этотъ языкъ надо изучить. Я его изучилъ, и теперь чтеніе этой книги доставляетъ мнѣ такое непередавае-

моё наслажденіе. Все остальное на свѣтѣ ничего не стоитъ въ сравненіи съ ней.

— Потому что все-таки это она,—сказала старшая сестра и всѣ разсмѣялись.

— Хотите посмотрѣть,—тихой смущенно предложила младшая сестра,—видъ съ нашего обрыва въ саду?

— Ну, идите, а я буду готовить къ ужину.

По извилистымъ дорожкамъ сада Елисавета Андреевна и Карташовъ прошли къ обрыву надъ Днѣстромъ, гдѣ стояла вся обросшая дикимъ виноградомъ бесѣдка.

Карташовъ сѣлъ рядомъ съ ней и казался самъ себѣ такимъ маленькимъ и неустойчивымъ, что все боялся, что вотъ онъ ее толкнетъ, и она, вздрогнувъ, растаетъ, сольется съ тѣмъ живымъ и прекраснымъ, что было передъ глазами: сверкающая лента Днѣстра, неподвижная полоса зеленыхъ камышей, прозрачное небо непередаваемыхъ тоновъ. И все: небо и рѣка, камыши и воздухъ—замерли въ своей неподвижности и только гдѣ-то пѣсня, протяжная и нѣжная, нарушала неземную тишину этой округи.

Пѣсня смолкла, Карташовъ спросилъ:

— Кажется, очень хорошо спѣто?

— Хорошо... Это на сосѣдней дачѣ одинъ больной чахоточный студентъ поетъ.

— Какая это пѣсня?

Въ отвѣтъ Елисавета Андреевна вполголоса запѣла пѣсню,—такъ мелодично, такъ музыкально, что Карташовъ боялся пошевелиться, чтобы не нарушить очарованья.

Когда она кончила, Карташовъ сказалъ:

— Ахъ, какъ хорошо вы поете; навѣрно вы и играете отлично,—это сразу чувствуется. И знаете, пѣнье бываетъ—помимо того, хорошее ли оно или нѣтъ,—умное или глупое. У васъ умное, очень выразительное. Ничего лучше нѣтъ на свѣтѣ пѣнья, музыки...

— Природы...—лукаво подсказала Елисавета Андреевна.

— А развѣ это не проявленіе все той же природы? Все одинъ и тотъ же общій, гармоничный аккордъ одного и того же оркестра, гдѣ природа, музыка, красота,—подъ общей дирижерской палочкой.

— А кто дирижеръ?

— Кто? Молодость.

— А когда молодость пройдетъ?

— Впрочемъ нѣтъ, не молодость. Чувство красоты, любви къ музыкѣ, въ природѣ—остаются вѣчно въ человѣкѣ. Напротивъ, молодость мѣшаетъ созерцательному настроенію. Она отвлекаетъ, она, какъ буря на морѣ, постоянно волнуетъ поверхность, закрываетъ даль тучами и не даетъ возможности отдаваться полностью наслажденію сознанія, что живешь и чувствуешь. Я буду очень счастливъ, когда эта молодость со всей ея ненасытностью оставить меня.

Елисавета Андреевна улыбалась, и теперь Карташовъ сравнивалъ ее съ той единственной звѣздочкой, которая появилась на горизонтѣ и робко, нѣжно и нерѣшительно искрилась тамъ.

Онъ вспомнилъ вдругъ Аделаиду Борисовну и горячо сказалъ:

— И вы знаете, въ молодости человѣкъ при всемъ желаньи не можетъ быть честнымъ.

— Напротивъ, я думаю только въ молодости, пока земное не коснулось еще, и можетъ быть и честенъ и идеаленъ человѣкъ. Никто же сразу не беретъ взятокъ...

— Я не объ этомъ, это ужъ полная гадость, о которой и говорить не стоитъ. Нѣтъ, а вотъ возьмите такъ: вы кого-нибудь любите—хотите его любить всю жизнь, и вдругъ чувствуете, что вамъ и другой уже нравится...

— Значить не очень любите.

— Не знаю: на своемъ вѣку я очень любилъ, а никогда застрахованъ не былъ.

— Можеть быть еще полюбите и застрахуетесь. Не большой еще, вѣдь, вѣкъ вашъ.

— Больше вашего во всякомъ случаѣ.

— Тотъ большой вѣкъ, кому меньше жить осталось,—отвѣтила грустно, загадочно смотря вдаль, Елисавета Андреевна.

— А кто это знаетъ?—спросилъ Карташовъ.

— Знаю,—кивнула головой Елисавета Андреевна и, вставъ, сказала:

— Сыро, пойдемъ домой.

Становилось дѣйствительно сыро. Свѣтъ оставался только еще тамъ, надъ рѣкой, какой-то призрачный, словно изъ открытаго окна другого міра, и вмѣстѣ съ этимъ свѣтомъ вставалъ призрачный туманъ и поднимался все выше и выше.

Подъ нависшими деревьями сада было уже совсѣмъ темно, и казалось и садъ расплывался и уходилъ въ эту темную туманную даль. Только около самага дома свѣтлыя пятна изъ оконъ падали на клумбы, и ярче вырисовывались въ нихъ розовые кусты центифолій.

На террасѣ уже стоялъ накрытый столъ такой же бѣлоснѣжный и яркій. Карташову опять хотѣлось ѣсть.

Елисавета Андреевна прошла къ тутъ же стоявшему роялю и стала наигрывать сначала одной рукой, а затѣмъ и двумя.

Вошла старшая сестра и сказала:

— Лиза, надѣнь накидку.

— Мнѣ не холодно.

— Опять будетъ лихорадка. Играй, я принесу тебѣ.

Сестра пришла и накинула ей на плечи черную кружевную накидку. Накидка эта очень шла къ Елисаветѣ Андреевнѣ, и Карташовъ смотрѣлъ на нее и ломалъ голову, гдѣ въ Эрмитажѣ, между старинными

картинами, видѣлъ онъ такой бюстъ, такую античную головку герцогини или маркизы, а можетъ быть и королевы.

— Что вы, какъ жукъ, приколотый булавкой, сидите?— спросила его старшая сестра.

Младшая тоже посмотрѣла на Карташова и, бросивъ играть, разсмѣялась нѣжнымъ серебристымъ смѣхомъ.

Карташовъ тоже разсмѣялся.

— Знаете, ваша сестра какая-то маленькая волшебница...

— Ну, вы, однако, поосторожнѣе, потому, что если это услышитъ ея женихъ...

Карташовъ почувствовалъ что-то непріятное, какъ рѣзнувшая вдругъ ухо фальшивая нота, но быстро отвѣтилъ:

— Женихъ только счастливъ можетъ быть, что у него такая невѣста, и не во власти всѣхъ жениховъ въ мірѣ отнять у вашей сестры ея свойство...

— Не слушай его, Лиза, потому что мнѣ Ваня говорилъ, что онъ и самъ уже заинтересованъ одной барышней.

— Если это такъ, то тѣмъ сильнѣе я только чувствую все прекрасное.

Старшая сестра только головой покачала.

— Ну, ну, хорошо языкъ вашъ подвѣшенъ и бѣда тѣмъ, кто на тотъ колокольный звонъ вашъ попадется.

Пришли Петровъ, оба брата Сикорскихъ и сѣли ужинать.

— Ну, надо водки выпить,—сказалъ Петровъ и налилъ себѣ объемистую рюмку.—Вамъ наливать?—обратился онъ къ Карташову.

— Я не знаю,—отвѣтилъ Карташовъ.

— Попробуйте,—сказалъ Петровъ и налилъ Карташову такую же рюмку.

Но въ то же время Марья Андреевна протянула руку, взяла рюмку Карташова и, подойдя къ краю террасы, выплеснула ее.

— Нечего развращать людей,—сказала она.

— Ого, значить и васъ уже посадили на цѣпочку, но, все-таки, зачѣмъ же добро выливать? не онъ—другой кто-нибудь выпилъ...

Подали ароматныя на поджаренномъ лукѣ бризольки, свѣже-просоленные огурцы; Карташовъ съѣлъ и два раза накладывалъ себѣ еще.

— Валяйте, валяйте,—говорилъ ему Петровъ,—этимъ лучше, чѣмъ чѣмъ-нибудь другимъ вы заслужите ея милость. Смотрите, смотрите, какими любовными глазами она смотреть на васъ.

— Я очень люблю, чтобы у меня ѣли хорошо,—отвѣтила ласково Марья Андреевна и еще ласковѣ спросила Карташова:

-- Не хотите ли еще?

— Кажется, довольно,—неудачно проглатывая послѣдній кусокъ съ третьей тарелки, отвѣтилъ Карташовъ, смотря на Марью Андреевну.

— Маленькій,—кивнула она ему головой, слегка поднявъ при этомъ по привычкѣ правое плечо.

И такъ какъ Карташовъ нерѣшительно молчалъ, то она сама положила ему еще одинъ увѣсистый кусокъ и щедро полила его прозрачнымъ сверху, съ темнымъ осадкомъ внизу, соусомъ.

Карташовъ съѣлъ и этотъ кусокъ и оставшійся соусъ, обмакивая въ него, какъ бывало въ дѣтствѣ, хлѣбъ.

— Ну, кажется, я сытъ теперь,—сказалъ онъ.

— Подождите: еще вареники со сметаной и масломъ, а потомъ молодая пшенка,—говорила Марья Андреевна.

— Ой-ой-ой!

-- Ну, а потомъ ужъ пустяки самые останутся: мо-

лочная каша, пироги съ вишнями въ сметанѣ, мороженое, черешни, кофе, чай...

Каждое блюдо Карташовъ долженъ былъ ѣсть, и на вопросъ:—„развѣ вы его не любите?“ отвѣчалъ:

— Самое мое любимое,—и когда всѣ смѣялись, онъ говорилъ:

— Ей-Богу, любимое!

— Не удивительно, потому что вы сами же южанинъ,—поддерживала его Марья Андреевна.

— И южанинъ, и такъ вкусно все, что я въ концѣ концовъ лопну,

— Ну, сказалъ ему Петръ Матвѣевичъ,—теперь она и спать васъ оставитъ у себя.

— Въ домѣ негдѣ, а вотъ, если не боитесь, въ бѣсѣдкѣ надъ обрывомъ,—предложила Марья Андреевна.

— Я съ наслажденіемъ,—отвѣтилъ Карташовъ.

— Онъ на все согласенъ,—разсмѣялась махнувъ рукой Марья Андреевна.

Общее настроеніе за столомъ портило только старшій Сикорскій. Онъ сидѣлъ мрачный и молчаливый.

Старшая сестра нехотя спросила его;

— Ты это что сегодня, Леня?

— Такъ, ничего,—угрюмо отвѣтилъ старшій Сикорскій.

Марья Андреевна помолчала и спросила мужа:

— Что съ нимъ?

Мужъ кивнулъ на младшаго Сикорскаго и сказалъ:

— Спрашивай его.

Младшій сталъ серьезнымъ, сдѣлалъ презрительную гримасу и сказалъ:

— Обидѣлся, что главнымъ инженеромъ его не назначили.

— Да, главнымъ! —горячо и обиженно заговорилъ старшій Сикорскій.—Бьешься, какъ рыба объ ледъ, стараешься, другихъ, въ десять разъ меньше работавшихъ

помощниками поназначали, а меня какимъ-то паршивымъ техникомъ на затычку, да еще въ контору.

— Я что-ли назначаю?

— Могъ бы отлично взять меня къ себѣ въ помощники, чѣмъ чужихъ брать.

Младшій Сикорскій только презрительно фыркнулъ.

Старшій повернулся къ Карташову:

— Я ничего противъ васъ не имѣю и признаю даже ваши заслуги, но согласитесь, что же это за брать...

— Совѣстно даже слушать,—ледянымъ голосомъ бросилъ младшій братъ.

— Тебѣ все совѣстно, когда надо чѣмъ-нибудь помочь брату.

Карташова, который зналъ, какъ неспособный старшій со всѣми своими извращенными наклонностями ѣхалъ на младшемъ,—коробило. Онъ цѣнилъ младшаго, который ни однимъ словомъ не подчеркнул несправедливости и нахальности своего брата. Впрочемъ, старшій Сикорскій, изливъ свой гнѣвъ, сказалъ строго сестрѣ: „Дай мнѣ еще пирога“, успокоился, и за чаемъ уже рассказывалъ такъ смѣшно про свои похождения въ главной конторѣ по части добыванія себѣ лучшаго мѣста, что всѣ, и онъ самъ, хохотали до слезъ.

Послѣ ужина онъ предложилъ младшей сестрѣ выучиться новому танцу—вальсу въ два па,—сыгралъ этотъ вальсъ на піанино, заставилъ старшую сестру подобрать его, началъ танцевать съ сестрой. Выучивъ сестру, онъ началъ учить Карташова, а потомъ заставилъ танцевать этотъ вальсъ Карташова и сестру.

Карташовъ танцевалъ съ удовольствіемъ, обнимая стройный станъ Елисаветы Андреевны, держа въ своей рукѣ ея маленькую ручку.

И даже, когда кончили танцевать, нѣсколько мгновений она не отнимала, а онъ все продолжалъ держать ея руку, стоя у барьера террасы. Луна взошла и не-

ясныя тѣни движущимися образами серебрили уходившій къ оврагу садъ.

— Правда, что-то волшебное въ этомъ?—спросилъ ее Карташовъ.

Въ отвѣтъ она отняла свою руку, а онъ сказалъ:

— Вотъ теперь волшебство пропало...

И оба разсмѣялись.

— Ничего и удивительнаго нѣтъ, — началъ-было разъяснять Карташовъ, — разъ волшебница...

— Знаю, знаю, — отвѣтила Елисавета Андреевна, — спокойной ночи.

— Вамъ ужъ тамъ въ бесѣдкѣ готово, — сказала, прощаясь, Марья Андреевна.

— Смотрите, русалки заберутся къ вамъ съ Днѣстра, — сказалъ, крѣпко сжимая руку Петръ Матвѣвичъ.

На скамейкѣ бесѣдки лежалъ тюфякъ, покрытый двумя бѣлыми простынями и двѣ подушки.

Когда Карташовъ раздѣлся, легъ и потушилъ свѣчу, въ дверяхъ бесѣдки показалась чья-то фигура.

— Кто тутъ?—кликнулъ Карташовъ.

— Это я, Леонидъ.

Старшій Сикорскій присѣлъ возлѣ Карташова на скамью и началъ молча вздыхать.

Карташовъ помолчалъ и спросилъ:

— Въ чемъ дѣло?

— Въ томъ дѣло, что сегодня я пулю себѣ въ лобъ пушу. Вы понимаете, какое положеніе: до сихъ поръ я велъ расходы по конторѣ. Теперь назначенъ Рыбаловъ. Чортъ его знаетъ, какъ я просчиталъ около пятисотъ рублей. Прямо физической возможности нѣтъ все записать. Я рассчитывалъ, что меня назначать помощникомъ, дадутъ двѣсти рублей, а дали всего 125 р., и теперь у меня двухсотъ рублей не хватаетъ.

— Такъ возьмите у меня.

— Нужели вы можете? Мнѣ такъ совѣстно, я уже

долженъ вамъ триста... Я отлично помню, какъ видите, свои долги.

Карташовъ полѣзъ подъ изголовье, зажегъ свѣчку и отсчиталъ 200 рублей.

— Пожалуйста только брату не говорите.

— Тамъ кто еще?

— Никитка.

Проснувшись утромъ, Карташовъ полѣзъ въ портфель, чтобы дать на чай горничной, но въ портфель ни мелкихъ, ни крупныхъ денегъ не было.

Съ выпученными глазами Карташовъ нѣкоторое время смотрѣлъ передъ собой.

Онъ вспомнилъ, какъ вчера сверкнули глаза Сикорскаго, когда онъ пряталъ подъ подушку портфель, и подумалъ: неужели? И на мгновенье тѣнью старшаго брата покрылась и вся его семья, и гадливое чувство охватило Карташова. Но онъ сейчасъ же и прогналъ эту мысль, вспомнивъ, какъ Марья Андреевна уговаривала его отдать ей на сохраненіе всѣ деньги.

— Хорошо, что хоть тысячу отдалъ.

Потомъ онъ вспомнилъ, что и Никитка вчера тутъ же былъ и рѣшилъ, что укралъ деньги Никитка.

Въ концѣ концовъ онъ подумалъ, вздохнувъ:

— Э, чортъ съ ними! Пропали, такъ пропали.. Могли бы еще убить. И какъ ни какъ я все-таки перебилъ дорогу этому старшему Сикорскому и безъ меня онъ очень можетъ быть былъ бы тоже помощникомъ начальника дистанціи.

И къ Карташову опять возвратилось то пріятное и веселое настроеніе, въ которомъ онъ уже мѣсяцъ жилъ. Какая-то безоблачная радостная жизнь и за все время не было ни разу этого обычнаго, владѣвшаго имъ всегда чувства какого-то страха, что вотъ-вотъ вдругъ случится что-то страшное, неотразимое и непоправимое.

Было просто весело, легко и радостно на душѣ, какъ радостно это утро, рѣка, въ лучахъ солнца кукувавшая

гдѣ-то кукушка, этотъ садъ, манившій своею прохладой, ароматомъ розъ и спѣлой малиной.

Хорошо бы перелетѣть теперь туда на Днѣстръ, купаться и возвратиться назадъ.

Онъ еще разъ заглянулъ въ маленькое зеркальце, стоявшее на столѣ бесѣдки, подумалъ, что надо прежде всего сегодня остричься, и пошелъ вверхъ по дорожкѣ къ террасѣ.

Около розовыхъ клумбъ онъ еще издали увидѣлъ легкое розовое платьѣ и угадалъ Елисавету Андреевну.

Она повернулась, и лицо ея сверкнуло ему такой яркой и доброжелательной лаской, что пошлый комплиментъ, вертѣвшійся уже въ головѣ Карташова относительно розъ и ея розоваго платья,—такъ и не сошелъ съ его языка.

— Хорошо спали?

— Отлично,—отвѣтилъ онъ, горячо пожимая ей руку.

Она кивнула ему головой и своимъ нѣжнымъ голосомъ сказала.

— Идите пить кофе, я только цвѣтовъ нарву.

За столомъ была только Марья Андреевна. Послѣ обычныхъ вопросовъ, какъ спалъ, хорошо ли себя чувствуетъ, Карташовъ принялся за кофе, густыя съ пѣнкой сливки и свѣжіе бублики съ масломъ.

— Знаете, Марья Андреевна,—говорилъ онъ,—въ вашей Лизочкѣ...

— Смотрите, пожалуйста!

— Не считайте меня нахаломъ. Я говорю въ смыслъ глубочайшаго уваженія и благоговѣнія къ ней. Какъ къ Богу, когда говорятъ Ему Ты. Въ ней такая непередаваемая прелесть. Это птичка, это самый нѣжный цвѣточекъ, это волшебница, фея. Я помню въ дѣтствѣ, наслушавшись сказокъ, такъ благоговѣлъ передъ феей, доброй волшебницей, и радостный ждалъ, что вотъ-вотъ она появится. И еслибъ тогда вошла ваша Лизочка, я

бы, вѣроятно. сразу заболѣлъ нервной горячкой. Отчего она такая неземная у васъ?

Марья Андреевна опустила глаза и тихо отвѣтила:

— У нея чахотка. Она проживетъ очень недолго.

Карташовъ долго молчалъ, пораженный.

— Господи! Какъ это ужасно! Все свѣтлое, все радостное,—является только для того, чтобы еще мучительнѣе подчеркивать что-то такое страшное и неотразимое, что сразу руки опускаются и спрашиваешь себя: зачѣмъ все это, къ чему жить? Въ этомъ, конечно, и утѣшеніе, что и самъ не долго переживешь тѣхъ, кто прекрасенъ, кто дорогъ, близокъ, но зато такъ скучно дѣлается отъ этого сознанія, что готовъ хоть сейчасъ въ могилу.

— Ну, эти погребальные разговоры теперь бросьте, потому что идетъ Лизочка

Елисавета Андреевна взшла по ступенькамъ, держа въ рукахъ нарѣзанные цвѣты. Она подошла къ Карташову и, откинувъ голову, показала ему розы, гвоздики, левкой.

Карташовъ восторженно смотрѣлъ на Елисавету Андреевну, тоже со стыдливимъ выраженіемъ смотрѣвшую на него.

— Ахъ, если бы я былъ художникомъ, я бы такъ и написалъ васъ съ цвѣтами. Я написалъ бы васъ въ ста видахъ и составилъ бы себѣ этимъ однимъ и громадное имя и состояніе.

— А все-таки и состояніе?—не пропустила Марья Андреевна.

— Да, конечно, и состояніе. Я не денегъ хочу, но я хочу могущества, хочу сознавать, что я все могу, а безъ денегъ этого не будетъ.

— Э, стыдно, бросьте. Когда человѣкъ только начинаетъ думать о деньгахъ, онъ уже пропалъ.

— Съ этимъ я согласенъ, и никогда я объ нихъ и не думаю, но какъ-то такъ, увѣренъ, что въ одинъ пре-

красный день у меня вдругъ появятся милліоны, и столько милліоновъ, сколько я захочу.

— Для чего?

— Не знаю. Во всякомъ случаѣ не для себя, Этотъ мѣсяцъ я жилъ жизнью дикаря и счастливѣе никогда себя не чувствовалъ.

— И покамѣстъ такъ будете жить и будете счастливы.

Карташовъ кончилъ, и Марья Андреевна сказала ему:

— Братъ васъ просилъ пріѣхать въ управленіе. Вы знаете, гдѣ оно?

— Нѣтъ.

— Всякій извозчикъ знаетъ. Я пошлю сейчасъ за извозчикомъ.

Марья Андреевна ушла, а Елисавета Андреевна принялась внимательно составлять букетъ.

— Вы вѣнокъ себѣ сплетите,—предложилъ Карташовъ.

— Когда я умру, вы мнѣ сплетите!

— Когда вы умрете, тогда всѣ мы сразу, весь свѣтъ умретъ, и некому будетъ плести вѣнки.

Она тихо засмѣялась и еще внимательнѣе принялась за букетъ.

— Когда у васъ денегъ будетъ много,—голосъ ея глухо звучалъ изъ-за цвѣтовъ,—тогда устройте дворецъ. И въ этомъ дворцѣ пусть рассказываютъ блестящія сказки, непохожія на жизнь. Или только сказки жизни, той, которая будетъ когда-нибудь не тамъ, на небѣ, а здѣсь, на землѣ. Для этихъ сказокъ есть уже храмы...

Она остановилась и смотрѣла, спрашивая, немного испуганно, своими прекрасными глазами Карташова.

— Всякаго другого, кто бы это сказалъ, я бы иначе слушала. Но чувствую, что вы сказали мнѣ самую свою сокровенную мечту. И, конечно, — вы можете вѣрить

или не вѣрить—мнѣ, но если у меня когда-нибудь будутъ, дѣйствительно, милліоны, я выстрою такой дворецъ. А надъ входомъ этого дворца будетъ жемчугомъ выбито: „богинѣ любви“ и подъ этой надписью будете вы съ цвѣтами въ платьѣ.

— У меня сестра была, Наташа...

— Я ее знала...

— Она на васъ похожа, но... безъ вашихъ горизонтовъ. Она запуталась въ религіи, какъ и Зина. Мать ихъ запутала. Но она изъ такого же тѣста. Я и ея портреты помѣщу у входа въ замокъ. Только будутъ женскіе портреты, и именно такихъ женщинъ.

— Помѣстите и Корде... которая убила Марата...

И въ лицѣ ея вдругъ появилось странное сочетаніе нѣжной прелести глазъ съ чѣмъ-то хищнымъ, сверкнувшимъ въ улыбкѣ бѣлоснѣжныхъ мелкихъ и острыхъ зубовъ.

— Ну, извозчикъ готовъ,—сказала, входя Марья Андреевна.

Управленіе занимало большой двухэтажный, плохо устроенный, плохо отремонтированный, какой-то полицейскій домъ. Штукатурка на стѣнахъ обвалилась, на потолкахъ растрескалась и грозила упасть на головы, полы разохлись и половицы такъ и ходили подъ ногами.

Въ громадной залѣ, гдѣ прежде, вѣроятно, веселились и танцевали, теперь стояли ряды столовъ съ чертежами и торчавшими надъ ними головами чертежниковъ.

Какъ въ муравейникѣ, кипѣла работа въ обоихъ этажахъ.

Толстый главный инженеръ, тотъ, который принялъ Карташова на службу, не видимый ни для кого, засѣдалъ въ одной изъ нижнихъ комнатъ.

Пахомовъ былъ его помощникъ и начальникъ технического отдѣленія.

Помощникомъ его былъ инженеръ Борисовъ, полный, большой, съ большими, умными, и добродушными и лукавыми, глазами. Онъ былъ красивъ съ густыми русыми волосами, лѣтъ тридцати.

Младшій Сикорскій, представляя ему Карташова, захотѣлъ-было сказать нѣсколько лестныхъ словъ о своемъ помощникѣ. Борисовъ, со своей пренебрежительной манерой, немного заикаясь при началѣ каждой фразы, махнулъ рукой и сказалъ:

— Знаемъ, все знаемъ уже, и просимъ васъ больше не беспокоиться по этому предмету.

— Кстати,—обратился онъ къ Карташову,—тутъ на васъ ссылается машинистъ Григорьевъ, говоритъ, что вы ѣздили у него кочегаромъ. Дѣльный онъ господинъ?

— О, очень дѣльный.

И Карташовъ одушевленно сталъ характеризовать Григорьева.

— По тракціи у насъ пока никого еще нѣтъ...

Борисовъ позвонилъ и сказалъ вошедшему курьеру:

— Позовите машиниста Григорьева.

— Григорьевъ!—крикнулъ въ коридоръ курьеръ и пропустилъ его въ комнату.

Вошелъ приземистый, съ большимъ краснымъ носомъ, съ загорѣлымъ лицомъ, пожилой человекъ въ пиджакѣ. Входя, онъ усердно вытиралъ цвѣтнымъ темнымъ платкомъ лившійся по его лицу потъ. Ему было, очевидно, невыносимо жарко въ его пиджакѣ изъ толстаго кастора, такихъ же штанахъ и жилеткѣ.

Увидѣвъ Карташова, онъ и радостно и нерѣшительно кивнулъ ему головой.

— Здравствуйте, — весело поздоровался съ нимъ Карташовъ, горячо пожимая его руку.—Какъ поживаете?

— Да вотъ, носъ все лупится,—угрюмо отвѣтилъ Григорьевъ.

— Ну, вотъ,—обратился къ машинисту Борисовъ,—инженеръ...

Онъ показаль на Карташова.

— Ого...—довольно перебилъ его Григорьевъ.

— ... далъ о васъ блестящую аттестацію...

— Я же говорилъ вамъ,—перебилъ его опять Григорьевъ.

— ... и мы принимаемъ васъ на службу.

— Ну, вотъ и слава Богу. А то такъ,—обратился онъ къ Карташову,—нашего брата гоняли: ты, говорятъ, только испытанный кочегаръ, въ школѣ не былъ: не ученый.

— Жалованье сто рублей, а поверстныхъ и преміи то же, что и на Одесской дорогѣ.

Григорьевъ, все вытирая потъ, кивнулъ головой.

— Завтра приходите сюда получить подъемные и инструкцію.

Григорьевъ опять кивнулъ головой, тяжело подошелъ къ Карташову,—протянулъ ему руку и, подмигнувъ добродушно, сказалъ:

— Инженеръ?

— Какъ ваша дочка поживаетъ?

— Тутъ, тоже съ нами: куда жъ ее дѣнешь? И Лермонтовъ съ нами. Помните тотъ, что вы мнѣ подарили. И старый есть. Что не хватало—я списалъ съ новаго и вставилъ. Старый читаю по буднямъ, а новый по воскресеньямъ. Дочка такъ и знаетъ ужъ, такъ и готовить мнѣ. Заходите, если не побрезгаете.

— А гдѣ вы живете?

— Да покамѣстъ тутъ въ одномъ заѣзжемъ дворѣ устроились. Нѣтъ, ужъ лучше я сперва квартиру найду: увидимся еще, а покамѣстъ прощайте.

— Дочкѣ вашей Аннѣ Васильевнѣ кланяйтесь.

— Ишь, помните все-таки...—кивнулъ головой Григорьевъ, скрываясь въ дверяхъ.

Прощаясь съ Карташовымъ, Борисовъ ласково и серьезно сказалъ ему:

— Часа въ четыре сегодня не придете чайку напиться?

— Съ удовольствіемъ, — отвѣтилъ Карташовъ и записалъ его адресъ.

— Ба, ба, ба! — встрѣтилъ Карташова угрюмо-привѣтливо Пахомовъ, со своимъ обычнымъ широкимъ размахомъ руки. — Кого я вижу. Кончили?

— Кончилъ, Семенъ Васильевичъ.

— Навралъ? — показалъ Пахомовъ на младшаго Сикорскаго.

— Нѣтъ.

— Ну, и отлично. Вы знаете уже, конечно, что вы у него помощникомъ?

— Знаю, отъ души благодарю и употребляю всѣ усилія..

— Не сомнѣваюсь.

— Я сейчасъ съ нимъ поговорю о вашей поѣздкѣ въ Одессу, — шепнулъ Сикорскій Карташову, — а вы пока идите въ кассу и получайте свои деньги. — Карташовъ получилъ всего 1.300 руб., и, въ ожиданіи Сикорскаго, подсчитывалъ свои капиталы. Итого у него теперь — 2.300 р., т. е. на триста рублей больше того, что онъ привезъ съ собой мѣсяцъ назадъ. А могло бы быть 3.300 р. Изъ этой тысячи двѣсти рублей ушло на рабочихъ, триста съ мелочью украдено изъ портфеля сегодня ночью, около пятисотъ взялъ Сикорскій. Ну, двѣсти на рабочихъ не жаль, а восемьсотъ могло бы быть въ карманѣ. Сколько бы подарковъ онъ могъ бы закупить на эти деньги матери, сестрѣ, брату!

Онъ сталъ думать о томъ, что подарить, когда пришелъ Сикорскій.

— Васъ зоветъ главный инженеръ. Васъ отпускаютъ и дадутъ вамъ письмо къ инженеру Савинскому, главному повѣренному Полякова, который теперь въ Одессѣ.

— Ну, здравствуйте, — встрѣтилъ его главный инженеръ въ своемъ кабинетѣ, сидя въ широкомъ креслѣ за большимъ столомъ.

Главный инженеръ былъ все такой же толстый. Оче-

видно изнывая отъ жары, онъ сидѣлъ въ одной рубахѣ изъ чесунчи, уже довольно грязной, или казавшейся такой, потому что рубаха была покрыта обильными пятнами пота.—Присаживайтесь!

Карташовъ пожалъ черезъ столъ широкую пухлую руку Данилова и смотрѣлъ въ прищурившееся, ласковое лицо инженера.

— Ну, что же, наладились? Не такъ чортъ страшенъ, какъ его малюютъ? И все дѣло наше легче ремесла сапожника, была бы только охота. Вотъ это письмо передайте, пожалуйста, Николаю Тимофеевичу. Онъ живетъ въ Лондонской гостиницѣ, знаете на бульварѣ? Кланяйтесь ему, расскажите, что знаете и отвѣтъ привезите.

Когда Карташовъ уже откланялся, Даниловъ сказалъ ему:

— Кстати, вѣдь ваши вещи у меня. Вы гдѣ здѣсь остановились?

— Пока еще нигдѣ.

— Останавливайтесь у меня. Вещи ваши такъ и лежатъ въ отдѣльной комнатѣ, тамъ и живите.—Карташовъ началъ-было говорить, что стѣснить его, но Даниловъ перебилъ:

— Если бы стѣснили, то и не звалъ бы васъ. Я одинъ въ пяти комнатахъ. И обѣдайте у меня.—Карташовъ поблагодарилъ и вышелъ.

Вмѣстѣ съ Сикорскимъ они возвратились на дачу обѣдать. Когда Сикорскій рассказалъ за столомъ о своемъ свиданіи съ главнымъ инженеромъ, Петръ Матвѣевичъ воскликнулъ:

— О-го! Въ гору идетъ человѣкъ; надо выпить...

— Это очень важно, что вы теперь познакомитесь съ Савинскимъ; это гога и магога всего Поляковского дѣла. Я четвертый годъ у Полякова работаю, а Савинскаго и въ глаза не видалъ.

— Онъ нашъ инженеръ?

— Вашъ, но умный. Умѣе всѣхъ остальныхъ вашихъ инженеровъ, за исключеніемъ Данилова, всѣхъ вмѣстѣ взятыхъ. Если понравится ему...

Сикорскій покачалъ головой.

— Понравится,—махнула рукой Марья Андреевна и разсмѣялась.

— Ну, нѣтъ, это не дамы,—сказалъ старшій Сикорскій. Старшій Сикорскій какъ будто чувствовалъ себя не совсѣмъ въ обычной тарелкѣ.

— Не дамы?—огрызнулся Петръ Матвѣевичъ. — А Даниловъ, у котораго онъ жить теперь будетъ? А Пахомовъ? А Борисовъ, который на чай уже позвалъ его? Борисовъ порядочная колючка... Паховымъ вертить.— Петръ Матвѣевичъ махнулъ рукой и весело сказалъ:

— Понравится и Савинскому, ужъ видно, что пролаза. Ну, за нашего пролаза...

Обѣдъ прошелъ весело. Карташовъ разошелся и рассказывалъ про себя всякія свои похождения.

Иногда, чувствуя, что надо усилить эффектъ, онъ прибавлялъ что-нибудь, особенно въ комическую сторону.

Благодарная аудиторія не оставалась въ долгу, всѣ весело смѣялись, а веселѣе всѣхъ, до слезъ, по дѣтски, смѣялась Елисавета Андреевна.

Въ три часа Карташовъ началъ прощаться.

— Куда же вы такъ рано?—спросила Марья Андреевна.

— Я хочу сперва заѣхать на квартиру Данилова, немного одѣться, уложить и приготовить вещи, а оттуда поѣду къ Борисову.

— А оттуда къ намъ?

— Конечно!

— Вы успѣете еще поужинать съ нами. Поѣздъ идетъ только въ 12 часовъ ночи.

Пять комнатъ Данилова—тоже въ какомъ-то необитаемомъ домѣ—были почти пусты.

Въ комнатѣ Карташова стояла кровать, неокрашен-

ный деревянный столикъ, такая же табуретка съ простымъ умывальникомъ и на полу лежалъ его чемоданъ, покрытый толстымъ слоемъ пыли.

Карташовъ раскрылъ чемоданъ, сталъ искать свой черный сюртукъ, и не нашелъ его тамъ.

Даниловъ, уже выпавшійся, въ одной рубахѣ безъ подштанниковъ, босой, заглянулъ къ Карташову въ комнату.

— Вы что ищете?

— Да вотъ не знаю куда дѣвалъ свой сюртукъ...

— Семень!—крикнулъ Даниловъ.

Въ коридорѣ показался заспанный угрюмый человѣкъ.

— Сюртукъ инженера не видалъ?

Семень, отгоняя мухъ, сонно махнулъ головой съ шапкой густыхъ волосъ, подумалъ немного и безучастно отвѣтилъ:

— Не видалъ.

Даниловъ ушелъ къ себѣ, а Карташовъ, убѣдившись, что сюртука нѣтъ, началъ запереть чемоданъ.

— Это не вашъ сюртукъ?—спросилъ Карташова Даниловъ, появившись въ дверяхъ и держа что-то очень грязное и замазанное въ рукахъ.

Карташовъ сперва отказался было, но, всмотрѣвшись внимательно, сказалъ.

— Нѣтъ, мой!

— Подъ кроватью у меня былъ,—сказалъ уходя Даниловъ.

Въ дверяхъ появился Семень и все тѣмъ же безучастнымъ голосомъ сказалъ:

— Давайте, почищу.

— Такъ вотъ что, пожалуйста, Семень. Вы его почистите и уложите въ чемоданъ и заперите его. Я сегодня ѣду въ Одессу и передъ поѣздомъ въ половинѣ двѣнадцатаго зайду. Пойдите еще...—Карташовъ сла-

зиль въ карманъ, досталь трехрублевую и передалъ ее Семену.

Затѣмъ, ваявъ шляпу, стараясь быть незамѣченнымъ, юркнулъ въ коридоръ, а оттуда на улицу, гдѣ ждалъ его извозчикъ. Съ извозчикомъ онъ уже подружился и теперь извозчикъ, молодой веселый парень изъ великоруссовъ фамиллярно спросилъ его, взираясь на высокія козлы своего фаятончика.

— Ну что, потрафилъ въ аккуратъ?

— Въ аккуратъ.

— Скоро вы!

Желѣзный, точно весь изъ бубенчиковъ, экипажъ загрохоталъ по мостовой и, разговаривая и извозчикъ и Карташовъ должны были кричать чуть не во все горло.

У Борисова обстановка была иная.

Бѣлый одноэтажный домикъ опрятно выглядывалъ изъ маленькаго скромнаго садика. Только по оградѣ росли въ немъ деревья, а остальное пространство было занято огородными грядками клубники.

И внутри домика въ маленькихъ комнатахъ было сравнительно чисто.

Самъ хозяинъ сидѣлъ съ книгой за столомъ на большой террасѣ, выходившей въ садъ. На столѣ уже кипѣлъ самоваръ. Хозяинъ былъ тоже только въ рубахѣ. При входѣ Карташова, онъ положилъ на столъ книгу и, здороваясь, спросилъ:

— Прикажете одѣться?

На просьбу оставаться такъ, онъ сказалъ:

— Ну, тогда и вы снимайте вашъ пиджакъ. Пойдите, пойдите...

Борисовъ внимательно всмотрѣлся въ пятно пиджака и сказалъ добродушно, заикаясь:

— А вѣдь я сейчасъ городского позову: пиджакъ-то этотъ Петрова.—Карташовъ разсмѣялся и подтвердилъ, что пиджакъ дѣйствительно Петрова.

— Ну, повинную голову и мечъ не сѣчетъ. Снимайте и садитесь. Чаю хотите?

И наливая Карташову чаю, онъ говорилъ.

— Вотъ, какъ видите, такъ и живемъ. Захочется огурца, клубники, пойдешь въ садъ... — Передъ Борисовымъ лежала открытая книга. Карташовъ заглянулъ въ нее и увидѣлъ, что это не беллетристика, да къ тому же и написано было по-нѣмецки. Поднявъ взглядъ на Карташова, хозяинъ сказалъ шутливо:

— У меня, надо вамъ знать, пунктикъ своего рода — философія. Теперь вотъ одолѣваю Гегеля.

Хозяинъ махнулъ рукой.

— И самъ по себѣ онъ невыносимый господинъ со своей тарабарщиной, а въ такую жару просто нестерпимо. Спасибо, что пришли и выручили

Карташовъ вспомнилъ лекцію Рѣдкина и сказалъ:

— Да, повозился и я съ ними. Тезъ, антитезъ, синтезъ, бытѣе, становленіе, не бытѣе, діалектическій методъ...

— Э! Да вы откуда знаете всю эту премудрость?

— Въ свое время зубрилъ ихъ всѣхъ отъ Фалеса до Тренделенбурга.

— Батюшки, караулъ, такого и не слыхалъ.

Онъ усмѣхнулся и заговорилъ:

— Это чтеніе своего рода отвлеченіе. Самое интересное было бы проникнуть въ сущность современной жизни, по... — онъ широко развелъ руками. — О чемъ позволяетъ говорить цензура, то никому конечно не интересно. Экивоки и эзоповскій языкъ литературы даетъ мало, совсѣмъ не даетъ, понятія, что творится тамъ, въ тайникахъ нашей жизни. Тайники эти такой заколдованный кругъ, что мнѣ при всемъ желаніи такъ никогда и не удалось соприкоснуться съ ними. За-границей ни разу не былъ... А мозги требуютъ пищи. Мозги ли одни? Вотъ такъ, волей-неволей, и отвле-

каешь себя такой отвлеченностью. Какъ считаешь часа-два, ну и не захочется на тотъ день ломать себѣ больше голову какъ быть, какъ жить, чтобы уважать и себя и людей. А вы соприкасались съ нашимъ революціоннымъ міромъ?

— Почти нѣтъ.

Борисовъ усмѣхнулся.

— Положимъ, не такъ-то просто и открыться первому встрѣчному...

Пришли еще два инженера. Оба молодые. Одинъ худой въ темныхъ очкахъ, маленький и угрюмый, Адамъ Людоговичъ Лепуховскій. Другой, полный и жизнерадостный, Владимиръ Николаевичъ Пановъ.

— Это вотъ двѣ мои свинки,—говорилъ хозяинъ,—одна грустная, другая веселая. Называется этотъ веселый господинъ Володенькой, знаете, про котораго въ пѣсни поется:

Инженеръ молоденькій, а зовутъ Володенькой.

Онъ не курить и не пьетъ...

Жизнерадостный инженеръ хлопнулъ хозяина по спинѣ и сказалъ:

— Ну, будетъ тебѣ...

— Вы знаете, мы всѣ—и еще есть два—называемся бандуристами. Вы знаете, что такое бандуристы? Непокойный народъ, которому нигдѣ не сидѣлось, точно шило у нихъ было, скандальники первоклассные, которыхъ въ концѣ-концовъ всегда выставляли изъ компаній. Несмотря на нашу молодость и насъ уже съ нѣсколькихъ дорогъ выставили. Выставятъ и отсюда. И мы уже начали выводить свою линію, рѣшивъ на первый случай осадить всю правительственную инспекцію. Мало того, что они, помимо своего казеннаго жалованья, получаютъ и отъ насъ, они вздумали изображать изъ себя настоящее начальство. Вотъ мы и рѣшили ихъ осаживать. Во-

первыхъ ни одного проекта имъ на утверждене не посылаемъ; во-вторыхъ на-отрѣзъ отказались носить форму—и вы тоже очевидно не ея поклонникъ,—въ 3-хъ демонстративно имъ визитовъ не дѣлаемъ... Вы уже были у нихъ—спросилъ онъ у Карташова.

— Во-первыхъ—я еще первый разъ о нихъ слышу, а во-вторыхъ разъ рѣшили вы, чтобы не дѣлать визитовъ—и я конечно не буду дѣлать.

— Какъ будто тоже нашъ, бандурить!—обратился Борисовъ къ товарищамъ. Лепуховскій, въ своихъ темныхъ очкахъ похожій на скелеть, блѣдно улыбался, оскаливъ большіе зубы, а потомъ сказалъ;

— А коли нашъ, такъ пива давай!

Принесли пива и Пановъ выпилъ первый стаканъ залпомъ.

Остальные отказались отъ пива.

— Вы и Сикорскаго предупредите, чтобы не смѣлъ съ визитами ѣздить. Онъ что за человѣкъ въ этомъ отношеніи?

— Онъ человѣкъ освѣдомленный,—авторитетно отвѣтилъ Карташовъ—и конечно относится отрицательно ко всей нашей русской жизни.

— Что до Петрова,—продолжалъ хозяинъ,—то ужъ Богъ съ нимъ; онъ и семейный человѣкъ и позиція его здѣсь на первой дистанціи, гдѣ всякій можетъ совать свой носъ, опасная...

— Я къ вамъ съ большой просьбой, Борисъ Платоновичъ,—сказалъ Карташовъ.—Ѣду я въ Одессу и долженъ передать письмо Савинскому. И Даниловъ просилъ, чтобы я ему рассказалъ, что у насъ дѣлается. Но я собственно ничего не знаю, что у насъ дѣлается.

— Извольте, это мы вамъ расскажемъ.

Борисовъ обстоятельно сообщилъ Карташову о положеніи дѣлъ.

— Ну, не забывайте,—сказалъ прощаясь съ Карташовымъ Борисовъ,—изъ Одессы привезите гостинцевъ.

- А вы что любите?
- Семитаки и альвачикъ.
- Привезу.
- Да не стоитъ, я шучу.

Отъ Борисова Карташовъ заѣхалъ остричься, потомъ купилъ себѣ новую шляпу и поѣхалъ къ Петровымъ. Онъ ѣхалъ и думалъ, что какъ странно, что всѣ принимаютъ его за краснаго. И это не только не вредитъ, а, напротивъ, вызываетъ къ нему интересъ и даже уваженіе. Борисовъ даже думаетъ, что онъ ближе къ революціоннымъ кружкамъ, чѣмъ хочетъ показаться. А собственно и то, что онъ, Карташовъ, сказалъ тамъ, ложь; вѣдь рѣшительно же никакого отношенія къ революціоннымъ кружкамъ не имѣлъ и тѣмъ паче не имѣетъ.

Карташову стало непріятно и онъ подумалъ:

— Ну все-таки съ Ивановымъ встрѣчался... А Маня! — радостно вспомнилъ онъ о своей сестрѣ. — Маня говорила, что она и до сихъ поръ поддерживала прежнія отношенія. Ахъ, какъ жаль что я про нее не вспомнилъ у Борисова. Ну, ничего, когда пріѣду брошу вскользь, это еще сильнѣе будетъ и надо будетъ съ Маней поближе сойтись...

На террасѣ Карташовъ засталъ младшаго Сикорскаго и двухъ сестеръ.

— Ну, рассказывайте—сказала ему Марья Андреевна.—Малины со сливками хотите?

Карташовъ сталъ ѣсть малину и рассказывать.

Разсмѣшилъ своимъ визитомъ къ Данилову и передалъ свое чаепитіе у Борисова.

— Они меня спрашивали кто вы и что вы,—обратился онъ къ Сикорскому,—и высказали предположеніе, что разъ вы были за-границей, то глаза у васъ должны быть открытые. Я сказалъ, что по-моему это такъ и что вы относитесь ко всей нашей жизни отрицательно.

Сикорскій безнадежно махнулъ рукой.

— Видите, я одинаково отрицательно отношусь и къ вашему правительству и къ вамъ, краснымъ, и ко всему русскому народу, потому что вѣковое рабство такъ сгноило его, что я уже не вѣрю, чтобъ этотъ народъ могъ когда-нибудь встать на ноги.

— Этотъ народъ?—переспросилъ Карташовъ.—Вашъ народъ?..

— Нѣтъ. Мой народъ, моя родина тамъ, гдѣ мнѣ хорошо. Для меня нѣтъ ни француза, ни нѣмца, ни англичанина, ни, тѣмъ менѣе, русскаго, румына, турка, китайца.

— Почему же вы живете въ Россіи?

— Потому что здѣсь легче всего заработать столько денегъ, чтобы потомъ жить, гдѣ хочешь и какъ хочешь.

— И всегда опять воротиться сюда же,—сказала Марья Андреевна.—Родные, знакомые, привычки, вкусы.

— Ерунда!—Презрительно махнулъ рукой Сикорскій.

— Вы знаете,—сказалъ Карташовъ,—они между прочимъ просятъ всѣхъ не дѣлать визитовъ инспекціи.

— Ну, конечно не буду. Эту сволочь за людей нельзя признавать. Я понимаю еще какого-нибудь станового, попа, берущаго взятки. Но свой братъ инженеръ, цинично, открыто берущій и требующій еще уваженія къ себѣ... Тьфу! Наглость, выше которой ничего не можетъ быть! Какъ-то на-дняхъ сюда къ намъ забрался этотъ пьяница старшій инспекторъ—я удралъ.

— А Петѣ что оставалось дѣлать?—подняла плечо Марья Андреевна.—Когда онъ чуть не силой влетѣлъ къ намъ?

— И о Петрѣ Матвѣевичѣ говорили, и всѣ признали его безвыходное положеніе, какъ начальника первой дистанціи.

— Вы понимаете все подъ носомъ здѣсь; выѣхалъ на пикникъ, а рапортуетъ, что на линіи былъ, за работами слѣдилъ. Петя говоритъ, что на мосту отъ нихъ

отбоя нѣтъ. Извозчикъ къ мосту всего двугривенный стоитъ, а онъ разѣздовъ, которые наша же контора оплачиваетъ, выведетъ себѣ на сто рублей.—Ну! прямо совѣстно смотрѣть на это безстыжее отродье. Пьянъ, ничего не знаетъ, ничего не понимаетъ, несетъ такую чушь, что уши вянутъ.

— А попробуй съ нимъ не поладить!

— Самое лучшее, конечно, избѣгать ихъ, какъ чумы.

— Деньги получили?—спросила Марья Андреевна.

— Получилъ.

— Ну, давайте ихъ сюда.

— Нѣтъ, Марья Андреевна, эти деньги я рѣшилъ истратить.

— Куда?

— На подарки матери, сестрѣ, брату.

— Слушайте, такъ хотъ сдѣлайте толковыя подарки. Знаете, чтобъ я вамъ посовѣтовала: деньгами имъ дайте, а то вѣдь накупите всякой ненужной дряни, какъ вотъ онъ,—она показала на брата, — а того, что нужно, и не купите.

— Ну, матери, напимѣръ, какъ же деньгами?

XIII.

Карташовъ пріѣхалъ въ Одессу утромъ. Его никто не ждалъ и тѣмъ болѣе обрадовались.

Нашли его помолодѣвшимъ, поздоровѣвшимъ и такимъ жизнерадостнымъ, какимъ уже давно не видали.

Пошли за дядей Митей, который въ это время былъ въ городѣ, и слушая Карташова и мать и дядя постоянно крестились.

— Ну, слава тебѣ Господи, слава тебѣ!—Когда мать услышала, что онъ уже помощникомъ начальника дистанціи, получаетъ уже по 200 руб. въ мѣсяцъ, она встала, прошла къ спальню и долго тамъ молилась, стоя на колѣняхъ передъ образомъ.

Возвратившись, она горячо поцѣловала сына въ лобъ и сказала:

— Отъ всей души тебя поздравляю и не сомнѣваюсь, что мой сынъ будетъ и умный и дѣльный, и будетъ украшеніемъ своей корпораціи. Теперь сдѣлай своей матери подарокъ: подари мнѣ 200 рублей.

— Я хотѣлъ вамъ больше подарить! — разсмѣялся Карташовъ.

— Больше не надо. Дай свой портфель—я сама возьму.

Она взяла изъ портфеля, возвратила портфель сыну, а двѣсти рублей держала въ рукахъ.

— Когда ты былъ безнадежно боленъ, я пообѣщала изъ перваго твоего жалованья послать эти двѣсти рублей на Аеонъ, и сегодня они будутъ посланы.

Маня дергала носомъ и протянувъ руку къ матери лукаво сказала:

— Лучше дайте мнѣ...

— Нѣтъ, нѣтъ,—рѣшительно сказала мать.

— Конечно, не отдавайте, сестра,—поддержалъ ее и дядя,—и я и отъ себя еще дамъ.

Онъ тоже вынулъ двѣсти рублей.

— Тогда я закажу также на Аеонъ на эти двѣсти рублей образъ съ тремя святителями; Пантелеемъ, Дмитріемъ и Артеміемъ и этотъ образъ,—обратилась она къ брату,—мы подаримъ не ему, а женѣ его. Согласенъ?

— Такъ вѣдь онъ кухарку же собирался взять себѣ въ жены!—разсмѣялся дядя и обнявъ племянника и цѣлуя его сказалъ:—Сердце мое, какъ люблю я тебя.

А мать сказала:

— Это ужъ его право выбирать себѣ жену; кого возьметъ, та и будетъ моей дочерью.

— Да, жалко, жалко, что Деля теперь не видитъ тебя,—сказала Маня,—она кстати тебѣ кланяется.

— Спасибо,—сказалъ Карташовъ и посмотрѣлъ на часы.—Мнѣ надо ѣхать въ городъ.

Онъ разсказалъ, что привезъ письмо главному уполномо-

моченному Полякова, инженеру Савинскому, и что хочет его сейчас же отвезти, захавъ предварительно въ магазинъ купить себѣ лѣтній костюмъ.

Дядя Митя сдѣлалъ большіе глаза, почтительно наклонилъ голову и сказалъ:

— Помяните мое слово; блестящую карьеру сдѣлаетъ.

Дядя Митя пользовался въ роднѣ репутаціей очень умнаго человѣка и сердцевида.

Матери были очень пріятны слова брата.

Карташову тоже была пріятна эта похвала. Онъ усмѣхнулся и сказалъ:

— Говорятъ, что я тоже похожъ на Бертензона.

Докторъ Бертензонъ, еврей, былъ старинный домашній докторъ Карташовыхъ и въ памяти его остались какъ-то шутливо сказанныя слова отца, что мать его увлекалась Бертензономъ.

— Глупости говоришь,—сказала мать, и Карташову показалось что она смутилась.

А дядя весело прибавилъ:

— Если твоя мама, смотря въ свое время на него, высмотрѣла и его пронырливый умъ для тебя, такъ и слава Богу, и благодари ее за то...

— Ну, господа, вы оба глупости заговорили.

— Да такъ же, сестра, всегда бываетъ—отъ большого ума зсегда на малый сходятъ.

-- Хочешь вмѣстѣ ѣдемъ, Маня?..—предложилъ Карташовъ.

— Ёдемъ,—весело согласилась сестра.

— Отлично, поѣзжай,—сказала мать, — и поторгуйся за него.

— Ну, какъ живешь?—спросилъ сестру Карташовъ, сидя съ ней на извозчикѣ.

— Живемъ,—отвѣтила сестра и насторожилась.

Наступило молчаніе и сестра спросила:

— Ты что это вдругъ заинтересовался моею жизнью?

— Я во-первыхъ всегда интересовался, но раньше

я тебѣ совершенно не сочувствовалъ, а теперь сочувствую.

— Громъ и молнія! Что жъ это значить?

— Да я самъ еще не знаю. Видишь, я все время, съ гимназій еще, уперся лбомъ, что все это только мальчишество, плодъ, такъ сказать, незрѣлой мысли. Ну, а въ этотъ мѣсяцъ я встрѣтилъ такую массу людей, которыхъ очень уважаю и которыхъ упрекнуть въ незрѣлости мысли никакъ нельзя. Съ рабочими изо-дня въ день цѣлый мѣсяцъ прожилъ ихъ жизнью, ихъ мыслями. Все это какъ-то отвело меня отъ стѣны и можетъ быть и я самъ отсталъ, и уже самъ являю изъ себя плодъ незрѣлой мысли. Я и хотѣлъ съ тобой поговорить. Если у тебя есть что почитать, я съ удовольствіемъ прочту.

— Пріятно слышать во всякомъ случаѣ,—сказала помолчавъ сестра.—Двѣ брошюры есть, я дамъ ихъ тебѣ.

— Можешь ты мнѣ въ краткихъ словахъ передать сущность вашего ученія?

— Могу, конечно... Земля принадлежитъ крестьянамъ, народу. Народъ, темная масса, этого не сознаетъ и отдаетъ себя въ кабалу. Пробудить самосознаніе въ этой темной массѣ, сдѣлать ее хозяиномъ въ государствѣ, гдѣ она составляетъ 90 0/0 населенія—вотъ основная задача партіи.

Правительство, конечно, противъ этого и ведетъ съ нами борьбу. Эта борьба все больше и больше обостряется и на этой почвѣ страсти съ обѣихъ сторонъ разыгрывается. Все больше и больше приходимъ мы къ заключенію, что при полной нашей безправности, мы не можемъ вести мирную оппозицію. Пока что-нибудь успѣешь уяснить неграмотному крестьянству, тебя уже схватятъ и сошлютъ на каторгу. Ну, тогда ужъ самъ собою ставится вопросъ; на каторгу такъ на каторгу—было бы за что! Репрессія идетъ очень быстрыми

шагами впередъ; можетъ быть и казни начнутся, тогда опять—разъ казнь—было бы за что! Я лично не сочувствую всему этому ужасу, да собственно и всѣ наши—тоже, но роковымъ образомъ, само-собою, это идетъ все дальше и дальше, и хотя страшно уродливо, но логически вытекаетъ одно изъ другого. Нѣкоторые изъ нашихъ считаютъ уже теперь бесполезной работой хождение теперь въ народъ и высказываются только за политическую борьбу, за борьбу съ правительствомъ, путемъ, конечно, единственнымъ, который имѣется въ распоряженіи партій—путемъ террора, убійства тѣхъ, кто особенно стѣсняетъ жить, дѣйствовать, проводить свои взгляды.

— Такая борьба, ты думаешь, приведетъ къ успѣху?

— Что къ успѣху приведетъ—въ этомъ нѣтъ никакого сомнѣнія. Ты же знаешь міровую исторію и не изъ другого же тѣста и мы, русскіе, сдѣланы; но когда будетъ успѣхъ, конечно нельзя сказать. Россія такъ громадна, такъ разнообразна и въ ядрѣ своемъ такъ некультурна, что сказать что-нибудь определенное, врядъ ли можно. Лично я такъ смотрю: и я, и ты, и всѣ мы—грибы своего времени. Этимъ временемъ и опредѣляется свойство грибовъ и въ этомъ отношеніи и я, и ты, мы—стихійныя силы, которыя должны руководствоваться прежде всего инстинктомъ. Этотъ инстинктъ толкаетъ и создаетъ въ концѣ концовъ общечеловѣческую исторію.

— Ты, значить, считаешь, что партія только въ началѣ своей дѣятельности?

— Конечно.

— Но, ты говоришь, уже расколъ есть?

— Чтожъ изъ этого? Расколъ—это работа мысли и его бояться нечего.

— У васъ сношенія съ за-границей есть?

— Есть. Если слишкомъ сильны будутъ репрессіи, то центр тяжести можетъ опять, какъ при Герценѣ, перенестись за границу.

-- А Герценъ уже потерялъ значеніе?

— Да, на соціальной почвѣ онъ слабъ. Его заѣло въ значительной степени славянофильство, увѣренность, что мы, русскіе, изъ другого тѣста созданы. Онъ носитъ со своей общиной, какъ ячейкой будущей соціальной формы, забывая, что у насъ эта община такой же пережитокъ, какъ имъ въ свое время она была и на западѣ. Наша община прежде всего фискальная, служащая интересамъ только правительства, и, въ той формѣ, какъ она существуетъ, по-моему, источникъ только всякаго мрака. Въ этомъ вопросѣ я, впрочемъ, расхожусь почти со всѣми. По-моему единственный Глѣбъ Успенскій не вводитъ себя въ обманъ относительно общины. И видишь, разъ дѣло перейдетъ на политическую борьбу, тогда само собой всѣ эти вопросы отойдутъ на задній планъ.

— Ну, а деньги у васъ есть для борьбы?

— Насчетъ денегъ—трудно!

— Я хотѣлъ тебѣ сдѣлать подарокъ, но не знаю деньгами, или подаркомъ.

-- Деньгами, конечно!—весело разсмѣялась Маня.

— Я тебѣ дамъ пятьсотъ рублей.

— Ты съ ума сошелъ! Больше пятидесяти не возьму.

Карташовъ сталъ убѣждать и Маня скоро согласилась.

— Давай!—сказала она.—Все равно такъ же пропадутъ, отдашь первому встрѣчному, или украдутъ...

Карташовъ вспомнилъ Леонида и разсмѣялся.

— Ты знаешь, съ твоимъ кружкомъ очень жаждетъ познакомиться одинъ инженеръ, Борисовъ. Очень дѣльный и умный человѣкъ. И чистая душа, это сразу чувствуется. Онъ и деньгами навѣрно поможетъ. Я какънибудь его привезу.

— А онъ не выдастъ насъ?

— Ну, что ты, Богъ съ тобой! Онъ хочетъ работать, и я увѣренъ, что онъ могъ бы быть большой силой.

— Ну, что жъ, вези!

— Вотъ, еслибы ты за него замужъ вышла—то-то парочка была бы.

— Ну, ну... Если не хочешь, чтобъ онъ сразу мнѣ опротивѣлъ, о замужествѣ не говори.

Подѣхали къ магазину готового платья съ большимъ зеркальнымъ окномъ.

Карташовъ нашелъ для себя легкій чесунчиковый костюмъ, похожій на костюмъ Сикорскаго и былъ очень доволенъ.

— Ты знаешь, — сказала ему Маня, выходя съ нимъ изъ магазина, — у тебя даже манера говорить и голосъ перемѣнился—нѣтъ, ты мнѣ теперь положительно нравишься!

Карташовъ чувствовалъ себя Сикорскимъ, а еще больше Пахомовымъ, дѣлая такія же рѣзкія, размашистыя движенія, то сдвигая, то раздвигая брови, бросая отрывочныя фразы.

— Ты только не засиживайся, — сказала ему сестра, когда они подѣхали къ Лондонской гостиницѣ. Инженеръ Савинскій сейчасъ же принялъ Карташова.

Онъ былъ одѣтъ въ оригинальный, скромный, изящный, лѣтній бѣлый костюмъ, красиво обрисовывавшій его нарядную фигуру.

Карташовъ представлялъ его себѣ уже пожилымъ инженеромъ, что-то въ родѣ Данилова, и увидѣлъ очень живого красиваго брюнета. Лицо Савинскаго было не-большое, но глаза большіе, веселые и ласковые, и въ то же время проницательные и умные.

Особенно оригинальны были его сѣдые волосы, которые еще ярче подчеркивали молодость лица.

— Пожалуйста, садитесь, — радушно встрѣтилъ Карташова Савинскій, откладывая въ сторону поданное ему письмо. — Вы давно изъ Бендеръ?

— Сегодня пріѣхалъ.

— Это очень любезно съ вашей стороны сейчасъ же и завезти мнѣ письмо. Вы здѣсь одинъ, или у родныхъ?

— У своихъ.

— Тѣмъ больше цѣню. Новости, которыя вы привезли, очень меня интересуютъ, но я не хотѣлъ бы быть эгоистомъ. Здѣсь еще есть одинъ инженеръ, который тоже принимаетъ участіе въ нашей дорогѣ. Мы сегодня съ нимъ завтракаемъ въ часъ. Если и вы были бы такъ любезны позавтракать съ нами здѣсь въ общей залѣ.

— Съ большимъ удовольствіемъ,—сказалъ Карташовъ вставая и откланиваясь.

— Уже!—удивилась Маня.

— Отложилъ разговоръ до завтрака, сегодня въ часъ здѣсь.

— О—го! какъ сказалъ бы дядя Митя.

Когда дома Карташовъ сказалъ, что будетъ завтракать съ Савинскимъ, Сережа крикнулъ:

— Пойду непременно на бульваръ и загляну въ окна ресторана, чтобъ хотя издали увидѣть твое начальство, якъ оно выглядит!

Ровно въ часъ Карташовъ вошелъ въ общую залу ресторана, и среди разбросанныхъ за маленькими столиками группъ, увидѣлъ у окна инженера Савинскаго и другого, молодого, высокаго съ длинной тонкой шеей, съ англійскимъ проборомъ. Когда Савинскій знакомилъ ихъ, Карташовъ сказалъ;

— Я васъ сразу узналъ,—вы Лостеръ? Вы кончили гимназію, когда я поступилъ въ нее.

— Вы эту гимназію и кончили?

— Да, эту.

— Довольно рѣдкій случай. И сколько васъ такъ поступившихъ въ первый классъ дошли до конца?

— Я одинъ,—отвѣтилъ Карташовъ.— И помню какъ крѣпко меня побилъ мой товарищъ въ первомъ классѣ, когда я ему сказалъ: „Вотъ, когда я буду въ седьмомъ классѣ“... Смѣясь, всѣ трое сѣли за столикъ, на кото-

ромъ въ безукоризненной чистотѣ были поставлены—водка, еще какая-то бутылка, креветки, редиска со льдомъ и—тоже со льдомъ—свѣжая икра.

— Прикажите джину, водки?

Лостеръ совсѣмъ отказался, а Савинскій, наливая себѣ въ маленькую рюмочку немного джину, сказалъ;

— Ну, а я, старый пьяница, выпью по слабости своей къ англичанамъ, джину.

— Пока намъ подадутъ, можетъ быть расскажете намъ, что у васъ теперь дѣлается?

Карташовъ со словъ Борисова передалъ о положеніи дѣлъ и оба инженера очень внимательно его слушали.

— А вы сами, когда возвратились съ линіи?—спросилъ Савинскій Карташова.

— Я возвратился третьяго дня.

— И уже такъ хорошо вошли въ курсъ дѣла?

Карташовъ покраснѣлъ и увидѣлъ въ это время въ окнѣ смѣшно вытянутое, заглядывающее лицо брата, который, очевидно, не ожидалъ, что наблюдаемый имъ оказался такъ близко сидящимъ къ окну. Увидальъ Карташовъ и море, сверкавшее синевой и прохладой, и еще веселѣе стало ему на душѣ.

— Нескромный вопросъ,—сказалъ Савинскій, смотря на Карташова,—вообще благосклонно дамы къ вамъ относятся?

Карташовъ смутился и только махнулъ рукой, а Савинскій, смѣясь, сказалъ Лостеру:

— Что, Николай Павловичъ, совсѣмъ, вѣдь, еще юноша?

Онъ ласково смотрѣлъ въ глаза Карташова и пододвигая къ нему чашу съ ботвиньей, говорилъ:

— Пожалуйста!

— Вино бѣлое, или красное?—спросилъ Савинскій.

— Бѣлое, конечно,—сказалъ авторитетно Лостеръ.

— Бѣлое,—сказалъ и Карташовъ.

— Дайте намъ... дайте намъ... ну, Гуть доръ.

— Вы знаете,—обратился онъ къ Карташову,—разницу въ винахъ? Если вы хотите быть веселѣе—пейте рейнское. Если хотите крѣпко спать—бордо. Если хотите ухаживать за женщинами, пейте бургонское. Англичане предпочитаютъ это вино, и такъ какъ я имѣю слабость къ англичанамъ...

Савинскій выставлялъ себя пьяницей, но пилъ очень мало, еще меньше пилъ Лостеръ.

Прощаясь, Савинскій сказалъ Карташову:

— Очень вамъ благодаренъ за все сообщенное. Я отвѣтное письмо сегодня же напишу и пришлю къ вамъ. Вы дома будете?

— Да, я прямо домой ѣду.

Савинскій записалъ адресъ Карташова.

— Это ваша сестра сегодня утромъ была съ вами?

— Чортъ побери,—подумалъ Карташовъ,—онъ въ окно значить увидѣлъ“.

— Да, сестра.

— Сходство есть.

У выхода Карташовъ столкнулся съ братомъ.

— Ну, ѣдемъ скорѣе,—устало проговорилъ Сережа. Тебѣ тамъ хорошо было прохлаждаться, а у меня, братецъ мой, только слюнки текли, и теперь брюхо такъ подвело...

Сережа хотѣлъ-было сѣсть на извозчика, но Карташовъ, сдѣлавъ знакъ извозчику, сказалъ:

— Пройдемъ немного пѣшкомъ.

— Это еще зачѣмъ?

— Я тебѣ потомъ объясню.

Пройдя и сѣвъ на извозчика, онъ разсказалъ какъ Савинскій въ окно увидалъ сегодня Маню.

— Ну, такъ въ чемъ же дѣло?—обидѣлся Сережа.—Тебѣ совѣстно, что ли, что я твой братъ и ты со мной ѣдешь?

— О, чучело! — разсмѣялся Карташовъ. — За твой голодь я хочу тебя вознаградить. Я куплю тебѣ свѣжей икры, балыка...

— Валяй!

— Куплю персиковъ, всякихъ фруктъ...

— Валяй, валяй!

— И подарю тебѣ сто рублей.

— А вотъ это и совсѣмъ умно, — развеселился окончательно Сережа. — Это очень умно, пожалуйста почаще прѣзжай.

Въ фруктовыхъ лавкахъ Сережа говорилъ брату:

— Смотри, смотри, свѣжія фисташки въ кожурѣ, а вотъ уже и виноградъ константинопольскій и свѣжіе орѣхи.

Накупили всего. Увидѣлъ Сережа на улицѣ продающійся альвачикъ и обратилъ и на него вниманіе брата.

— Мнѣ и его надо, — сказалъ старшій Карташовъ.

— А теперь знаешь, — предложилъ Сережа, — чтобы закончить, заѣдемъ и выпьемъ квасу на углу Успенской и Александровской. Ты навѣрно давно его не пилъ?

— Съ гимназическихъ временъ.

— Любилъ его?..

— Очень.

Старшій Карташовъ, отпивъ, сидя на зеленой скамьѣ подъ навѣсомъ у входа въ погребъ, гдѣ разливали квасъ, сказалъ:

— Прежде онъ былъ вкуснѣе.

— Подожди еще годковъ десятокъ, -- отвѣтилъ Сережа, — и еще вкуснѣе станетъ тотъ прежній. Отличный квасъ.

И Сережа жадно тянулъ розовую ароматную холодную влагу, смѣшанную съ пѣной.

Домой прѣехали братья нагруженные выше головы.

У подъѣзда Сережа таинственно замѣтилъ брату:

— Если ты не забудешь своего щедраго подарка, то сдѣлай это такъ, чтобъ твоя правая рука не знала, что

творить лѣвая...—Старшій Карташовъ досталъ сто рублевую бумажку и въ лѣвой рукѣ, самъ отвернувшись, протянулъ ее брату.

— Правильно;—отвѣтилъ братъ, пряча бумажку въ то время, какъ дѣвушка отворяла дверь.

Всѣ уже пообѣдали и теперь усадили обѣдать Сережу, а старшій братъ съ Маней пошли наверхъ съ визитомъ.

Генералъ и Евгенія Борисовна радушно приняли Карташова и горячо поздравляли его.

Къ четыремъ часамъ они спустились внизъ на террасу къ общему чаю, къ которому пріѣхалъ и дядя Митя послушать о результатѣ визита племянника къ Савинскому.

У Сережи съ Аней шли обычныя пререканія.

Онъ говорилъ брату:

— Ты совершенно напрасно подарилъ ей сто рублей. Вѣдь такъ и будутъ лежать, пока не сгниютъ.

— А чтожъ, лучше такъ, какъ ты, выбросить за окошко?—отвѣчала бойко, тараща на брата глаза, Аня.

— Умница Аня!—говорила мать.

— Такъ я по крайней мѣрѣ живу,—говорилъ Сережа и потянулся за громаднымъ персикомъ, а ты что? Прозябаешь. Стираешь воротнички свои—жизнь прачки. Аня обидѣлась и поджавъ губы сказала:

— По крайней мѣрѣ у мужа моего будетъ всегда чистая рубаха.

Это вызвало громкій смѣхъ и среди смѣха Аглана Васильевна твердила:

— Умница моя, умница...

Въ это время вдругъ пріѣхалъ, никѣмъ не ожидаемый Савинскій. Это вниманіе съ его стороны было очень оцѣнено и Аглаидой Васильевной и братомъ ея, а Сережу это такъ поразило, что пока познакомились съ Савинскимъ старшіе, онъ, прикрывъ ротъ, торопился справиться съ непомѣрно-большимъ персикомъ.

который отъ неожиданности сразу засунулъ себѣ въ ротъ.

Дядя Митя торопливо застегивая свой пиджакъ почтительно раскланялся съ Савинскимъ. Савинскій былъ въ формѣ съ погонами дѣйствительнаго статскаго совѣтника, Владимиромъ на шеѣ и шпагой.

Какъ свѣтскій, умный и образованный [человѣкъ, онъ быстро уловилъ общій тонъ и, не только не стѣснилъ общество, но еще прибавилъ оживленія.

Усаживаясь и принимая стаканъ чаю, онъ весело говорилъ:

— Я изъ передней услыхалъ такой подмывающій, беззавѣтный смѣхъ, какой въ Россіи рѣдко слышишь. И сразу оставили меня всякія мысли, заботы и мнѣ захотѣлось самому смѣяться и я разсмѣялся. Вѣроятно ваша горничная приняла меня за ненормальнаго, судя, по крайней мѣрѣ, по ея лицу.

Виновница смѣха Аня, залилась яркимъ румянцемъ, когда остановился на ней взглядъ Савинскаго, а такъ какъ и всѣ посмотрѣли на Аню, то опять послѣдовалъ взрывъ смѣха, а Аня, вскочивъ, убѣжала.

Когда Савинскому объяснили въ чемъ дѣло, онъ сказалъ:

— Это такъ прелестно, что я, заклятый врагъ, до сихъ поръ, женитьбы, перемѣнилъ бы свое рѣшеніе, еслибъ не былъ уже старикомъ.

Маня отвѣтила ему:

— Своими сѣдыми волосами, во-первыхъ, не кокетничайте, а, во-вторыхъ, позвольте притянуть васъ къ отвѣту; что въ такомъ случаѣ вы понимаете подъ женой?

Дядя Митя, все время настороженный, недовольно смотрѣлъ на Маню.

— Подъ хорошей женой, подходящей женой? Подъ хорошей женой, какъ и подъ всякимъ подходящимъ товарищемъ, я понимаю человѣка, могущаго, по

возможности, обходиться безъ посторонней помощи, годнаго на все,—отъ самой черной работы до высшей.

— Что значить высшей?

— Вплоть до участія въ революціи, — отвѣтилъ улыбаясь Савинскій.

— Берегитесь, — сказала Маня, — здѣсь предсѣдатель военнаго суда.

— Я уже имѣлъ честь познакомиться съ Его Превосходительствомъ и не сомнѣваюсь, что какъ вы, такъ и я, не продолжимъ знакомство съ нимъ до скамьи подсудимыхъ.

Маня разсмѣялась.

— Ну, если вы такъ увѣрены въ себѣ, какъ во мнѣ, то не поздравляю васъ, потому что мое знакомство съ Евграфомъ Пантелеевичемъ и началось съ этой скамьи.

На этотъ разъ не только дядя, но и Аглаида Васильевна почувствовала себя не ловко. Смутился и Карташовъ.

Но Савинскій весело и непринужденно отвѣтилъ:

— Тѣмъ лучше и для меня. Для васъ, что все такъ благополучно окончилось, а для меня, — что такъ же благополучно окончится. У меня къ тому же есть преимущество, котораго у васъ нѣтъ. А именно. При всемъ моемъ уваженіи къ господамъ русскимъ революціонерамъ, я все-таки не могу не заявить, что, если вся русская жизнь отстала отъ европейской лѣтъ на полтора ста, то и жизнь интеллигентной Россіи отстала также лѣтъ на сорокъ, пятьдесятъ. То слово, которое нашими революціонерами признается послѣднимъ словомъ, на Западѣ уже очень отжитое слово. Всѣ эти Фурье, на которыхъ воспитался Чернышевскій, все это народничество, все это ученіе, стремящееся къ земному раю, утверждаетъ, что достаточно пожелать и рай земной сойдетъ на землю.

У насъ все еще устаиваются вниманія давно

подорванные авторитеты. Продолжаются утопическія попытки перепрыгнуть, такъ-сказать, черезъ эту пропасть социальныхъ противорѣчій, въ то время, какъ уже начался естественный переходъ черезъ эту пропасть, я говорю о такомъ міровомъ фактѣ, каково появленіе перваго социалистическаго депутата въ Германскомъ парламентѣ — Бебеля, дѣйствующаго по законамъ, выработаннымъ Марксомъ, это не учитывается совершенно нашей молодежью. Еслибы наша молодежь считала обязательнымъ для себя европейское образованіе, она не теряла бы своихъ силъ даромъ тамъ, гдѣ это, какъ уже выяснилъ міровой опытъ, только безплодная потеря силъ. Я очень извиняюсь передъ обществомъ, но разъ я былъ уже привлеченъ Марьей Николаевной на скамью подсудимыхъ, можетъ быть признають за мной, обвиняемымъ, право сказать нѣсколько словъ, если не къ оправданію, то къ уменьшенію своей вины.

И при общемъ смѣхѣ Савинскій слегка поклонился въ сторону Евграфа Пантелеевича.

— Къ полному даже оправданію, — отвѣтилъ Евграфъ Пантелеевичъ — потому что изъ словъ Вашего Превосходительства очевидно, что разъ Бебель депутатъ, то этимъ самымъ и ученіе его признано законнымъ. А при такихъ условіяхъ и военному суду нечего было бы дѣлать, и я бы теперь, вмѣсто того, чтобы итти въ скучное засѣданіе, продолжалъ бы сидѣть въ такомъ, въ высшей степени интересномъ, обществѣ. Очень, очень жалѣю, что надо уходить.

Евграфъ Пантелеевичъ всталъ, попрощался со всѣми и ушелъ, а за нимъ пошла и Евгенія Борисовна, сказавъ:

— Я только провожу мужа!

Савинскій еще долго просидѣлъ, рассказывая о своихъ инженерныхъ скитаніяхъ.

— Вы знаете, съ Европейской Россіей мнѣ пришлось такъ ознакомиться, что чуть ли не во всѣхъ ея безчисленныхъ углахъ перебывалъ, имѣя передъ глазами весь разрывъ нашей жизни, отъ крестьянской избы и послѣдняго рабочаго, до самыхъ высокихъ палатъ.—Коснулся Савинскій и войны, замѣтивъ иронически, что расчеты правительства на нее, какъ на отвлеченіе, послѣ понесенныхъ неудачъ, разлетятся въ прахъ и вмѣсто отвлеченія получится совершенно обратное.

— Я увѣренъ, что мы гораздо ближе къ конституціи, чѣмъ думаютъ наши правители.—Маня очевидно произвела на Савинскаго впечатлѣніе. Онъ постоянно обращался къ ней и даже предложилъ быть посредникомъ съ заграницей по части полученія всякихъ книгъ, журналовъ и газетъ, объяснивъ, что онъ получалъ все это безъ цензурныхъ помарокъ.

Между прочимъ онъ сказалъ:

— Я сразу догадался, что вы сестра Артемія Николаевича, увидавъ васъ сегодня утромъ на извозчикѣ.

Маня покраснѣла, улыбнулась, и отвѣтила:

— И увидавъ меня, вы были такъ любезны, что не задержали брата ни минуты. Вотъ какъ невольно можно явиться помѣхой въ дѣлѣ.

— Помѣхи никакой.

Прощаясь, Савинскій передалъ Карташову письмо къ Данилову, замѣтивъ вскользь:

— Ничего спѣшнаго въ немъ нѣтъ.

Аглайда Васильевна прощаясь съ Савинскимъ приглашала его бывать и благодарила за сына.

— Помилуйте, мы должны благодарить Артемія Николаевича что онъ попался къ намъ. Я жалѣю, что не захватилъ письмо Данилова, вы увидѣли бы изъ него, какъ онъ относится къ вашему сыну. Называетъ его даже орленкомъ. Кто знаетъ, что такое Даниловскіе орлы, только тотъ оцѣнитъ, что это значить.

Когда Савинскій уѣхалъ, всѣ были въ восторгѣ, всѣ были очарованы имъ.

— Ай, какой умница!—говорила горячо Аглаида Васильевна.—И какъ образованъ. Теперь я только понимаю, что такое инженеры. Если во французской революціи такую видную роль сыграли юристы, то въ нашей я увѣрена сыграютъ инженеры. И такой отзывчивый, простой, все понимающій. Вотъ это мой идеалъ русскаго образованнаго человѣка. И какъ была я права, когда настояла на томъ, чтобы не пускать тебя, въ пажескій корпусъ.

— Вы, сестра, вспомните мое слово,—Савинскій будетъ министромъ. И разъ уже твое такое счастье,—обратился дядя къ племяннику,—то держись за него, мое сердце, и руками и ногами...

— И зубами,—перебилъ Сережа.—Вотъ такъ!

И Сережа скорчилъ уродливую фізіономію, оскаливъ и плотно сжавъ зубы.

— А чтобъ ты и зналъ что-такъ!—сказалъ дядя. А потомъ и самъ будешь министромъ.

— Ой—ой,—замахалъ руками Сережа,—такая высокая компанія не по-плечу больше мнѣ, и я бѣгу...

— И я иду,—сказала, вставая, Маня.

Была суббота, монастырскій колоколъ мирно и однозвучно звонилъ къ вечерни.

Аглаидѣ Васильевнѣ очень хотѣлось заманить сына въ церковь, но, боясь отказа, она незамѣтно, поманивъ Евгенію Борисовну въ комнаты, сказала ей:

— Дорогая моя, мнѣ хочется повести Тѣму въ церковь. Попросите его быть вашимъ кавалеромъ — тогда онъ пойдетъ.

Евгенія Борисовна, лукаво улыбаясь, подошла къ Карташову и сказала съ своей обычной манерой и ласковой и повелительной:

— Будьте моимъ кавалеромъ въ церковь.

Карташовъ поклонился и предупредительно отвѣтилъ.

— Съ большимъ удовольствіемъ.

— Ну, такъ я только пойду одѣнусь и посмотрю что дѣлаетъ Аля.

— Можетъ быть и ты съ нами?—обратилась къ брату Аглаида Васильевна.

— А чтожь? Съ удовольствіемъ пойду.

Немного впередъ шла Аня въ своей круглой соломенной шляпкѣ, короткой накидкѣ и короткомъ платьѣ, тутъ же сзади Аглаида Васильевна съ братомъ, а значительно отставъ шли Карташовъ съ Евгеніей Борисовной.

Сначала шли молча, потомъ она сказала:

— Получила отъ Дели письмо, кланяется вамъ.

Въ голосъ Евгеніи Борисовны почувствовалась Карташову особая нотка.

— Очень, очень ей благодаренъ. Пожалуйста, кланяйтесь отъ меня ей. Я никогда не забуду того короткаго времени, которое провелъ въ ея обществѣ. Какъ она теперь поживаетъ?

— Пишетъ, что скучно. На-дняхъ она уѣзжала къ сестрѣ въ имѣніе въ Самарскую губернію—тамъ у насъ у всѣхъ имѣнія, а на зиму опять возвратится къ отцу. Весной же мы съ ней и мужемъ думаемъ поѣхать за границу. Пасху она проведетъ съ нами здѣсь и послѣ Пасхи вмѣстѣ уѣдемъ.

Евгенія Борисовна помолчала и сказала съ свей обычной авторитетностью:

— Деля очень хорошій человѣкъ и дастъ большое счастье тому, кого полюбитъ.

— О, я въ этомъ не сомнѣваюсь,—горячо отвѣтилъ Карташовъ. И печально dokonчилъ:

— И я даже представить не могу человѣка, который стоилъ бы ее.

— Кто оцѣнить, кто полюбитъ ее,—тотъ и будетъ стоять.

— Ну, этого мало еще; тогда слишкомъ много бы нашлось охотниковъ.

Карташовъ опять проходилъ монастырскій дворикъ и сердце его радостно сжалось отъ охватившаго воспоминанья о томъ, какъ шли они здѣсь съ Аделандой Борисовной.

Вспоминалась и Маня Корнева, ея сверкавшая сквозь кисею бѣлизна кожи, сильный запахъ акацій, васильковъ и увядавшей травы. Такъ прозрачно, такъ нѣжно было надъ ними небо, а тамъ вверху черныя вершины деревьевъ тихо и неподвижно слушали пѣніе женскихъ голосовъ, выливавшееся изъ открытыхъ оконъ церкви. Пѣла и та стройная красавица монашка, которая подавала самоваръ въ кельѣ матери Натальи.

Карташовъ вздохнулъ всей грудью и вошелъ въ церковь. Прихожанъ было очень мало, по звонкимъ плитамъ церкви глухо разносились его и Евгениі Борисовны шаги.

Наверху мелодично, нѣжно и такъ печально пѣлъ хоръ: „Свѣте тихій“.

И „Свѣте тихій“ и „Славъ Вышнихъ Богу“ были любимыми напѣвами Карташова.

Его охватило съ дѣтства знакомое чувство,—бывало маленькій онъ также стоялъ и прислушивался къ этимъ мотивамъ, тихо и торжественно разносившимся по церкви. А сквозь облака ладана, прорѣзанныя косыми лучами солнца, строго смотрѣли образы святыхъ.

Пѣніе кончилось.

Поднявъ голову, Карташовъ разсматривалъ образа на куполѣ.

Все тамъ, на томъ же мѣстѣ, и тотъ рядомъ съ головой быка, и тотъ, другой, пишущій, и всѣ они вѣчные, неподвижные при своемъ дѣлѣ. И тѣ тамъ вверху были конечно чистые и сильные; не они виноваты, во что превратилось ихъ ученіе; все то, о чемъ на каждомъ шагу Христосъ твердилъ:

— Понимайте въ духѣ истины и разума!

А свелось къ тому же языческому, къ тому же идоло-

поклонству, къ увѣренію въ томъ, чего никто не знаетъ, не можетъ знать и что, въ концѣ концовъ, такъ грубо, грубо.

И несмотря на то, что часть общества уже вполне сознательно относится къ суевѣрію, сколько еще вѣковъ, а можетъ быть и тысячелѣтій, сохранить человѣчество эту унижительную потребность быть обманутымъ, дрожать передъ чѣмъ-то, надъ чѣмъ только стоитъ немножко подумать, чтобы все сразу разлетѣлось въ прахъ. Хотя бы то; гдѣ эти всѣ бородатые боги засѣдаютъ, на какой звѣздѣ, на какомъ кускѣ неба и что такое это небо? Географію перваго класса достаточно знать. Отчетливо конкретно представить себѣ только это-и точно повязка съ глазъ спадетъ и сразу охватитъ унижительное чувство за этихъ людей и хочется сказать имъ:

— Идите же вонъ, безстыдные шарлатаны.

И Карташовъ уже сверкающими злыми глазами смотрѣлъ на стоявшаго на амвонѣ священника.

— Лучше въ садъ уйду,—подумалъ онъ и вышелъ изъ церкви, какъ разъ въ то время, какъ туда хотѣла войти Маня.

— Не застала дома,—сказала она,—ты куда?

— Въ садъ.

Маня пошла съ нимъ и онъ говорилъ ей:

— Иногда такъ наглядно, такъ осязательно чувствуешь всю комедію и ложь религіи, что силъ нѣтъ выносить охватывающее тебя униженіе.

Онъ сѣлъ на садовой скамьѣ.

Маня была задумчива.

— Какъ тебѣ понравился Савинскій?

Отрываясь отъ своихъ мыслей, она разсѣянно отвѣтила:

— Онъ очень интересный, наблюдательный, умный и начитанный.

— Ты какъ относишься къ его возраженіямъ?

Маня пожала плечами.

— Несомнѣнно, что мы очень мало обращаемъ вниманія на образованіе. И можетъ, дѣйствительно, случится, разъ прицѣлъ не правиленъ—ошибоченъ и выстрѣлъ; въ данномъ случаѣ жизнь пойдетъ на смарку, даромъ пропадетъ. А жизнь одна—и хотѣлось бы использовать ее какъ можно правильнѣе. А съ другой стороны что-то роковое идетъ, такъ идетъ, что захватываетъ, тянетъ. Знаешь, я думала о тебѣ. Нѣтъ, ты въ нашу компанію не залѣзай, не торопись. Передъ тобой такой путь, который рано или поздно, а откроетъ тебѣ глаза и тогда уже иди сознательно, провѣривши, имѣя возможность провѣрить, а мы вѣдь собственно лишены этой возможности. Мнѣ кажется, новая жизнь будетъ длиннѣе нашей. Ты такъ-то не торопишься жить, ты старше меня, а ребенокъ еще во многомъ. Поздно развиваешься, растешь. И расти. Еслибъ еще жена тебѣ попалась хорошая. Съ тобой можно говорить на эту тему?

— Говори...

— Лучше Аделаиды Борисовны не найдешь, Тѣма.

— Я знаю.

— Если знаешь, то зачѣмъ же ты тянешь?

— Видишь, если говорить серьезно, то теперь мнѣ кажется, это болѣе достижимо, теперь чѣмъ было тогда. Я теперь инженеръ, эта дорога по-мнѣ, уже теперь я получаю 2400 р. въ годъ. Говорятъ, чуть ли не такую же и премію дадутъ. Такимъ образомъ и себя и жену я смогу бы содержать. Теперь, конечно, горячка будетъ строительная, вѣдь въ 45 дней рѣшено выстроить 280 верстъ. По быстротѣ постройки это будетъ первая въ мірѣ дорога...

Служба кончилась. Съ Аглаидой Васильевной вышли и мать Наталія и красавица послушница.

Мать Наталія разсыпалась въ поздравленіяхъ, а по-

слушница молчала и загадочно и смѣло смотрѣла своими глазами на Карташова.

Смотрѣлъ на нее и Карташовъ, и хотѣлось бы ему заглянуть на мгновенье въ ея душу, чтобъ узнать вдругъ вся ея сокровенное.

А мать Наталія очевидно совсѣмъ не хотѣла этого и торопливо-почтительно стала прощаться.

XIV.

Карташовъ, не успѣвшій сдѣлать нужныхъ покупокъ, могъ выѣхать только въ понедѣльникъ и пріѣхалъ въ Бендеры во вторникъ утромъ.

Съ этимъ же поѣздомъ по дѣламъ уѣзжалъ старшій Сикорскій и его провожала Елисавета Андреевна. Такимъ образомъ Карташовъ встрѣтился съ ней на вокзалѣ, страшно обрадовался и вмѣстѣ съ ней поѣхалъ на дачу.

Послѣ первыхъ радостныхъ привѣтствій, пересказа того, что случилось въ Одессѣ, передачи привезенныхъ Марьѣ Андреевнѣ разныхъ отсутствовавшихъ въ Бендерахъ фруктовъ и сдѣланныхъ ею порученій, младшій Сикорскій сказалъ:

— Ну, а теперь ѣдемъ въ управленіе принимать чертежи, проекты, бумагу, инструменты, потому что насъ гонять на линію и черезъ два дня ѣдемъ.

Въ управленіи Карташовъ, передавъ Пахомову письмо Савинскаго, пошелъ съ Сикорскимъ къ Борисову.

— Вотъ ему сдавайте все,—сказалъ Борисову Сикорскій.

— Что значить „все ему сдавайте“? На рукахъ онъ все это унесетъ? Нужны ящики, люди, подводы, наконецъ, чтобъ увезти отсюда все сданное. Готово все это?

Карташовъ молча отрицательно мотнулъ головой, а Борисовъ отвѣтилъ:

— А нѣтъ—такъ и проваливайте, потому что и настоящего дѣла по горло.

Сикорскій отвелъ Карташова въ сторону и сказалъ:

— Разыщите Еремина и вашего Тимофея, пусть Ереминъ купить ящики какіе-нибудь, ну хоть изъ-подъ апельсиновъ, пусть найдетъ подводу и ѣдетъ сюда. Собственно, конечно, Борисъ Платоновичъ могъ бы пока и такъ выдавать, складывали бы пока на полу.

— Совершенно не могъ бы,—отвѣтилъ услыхавшій Борисовъ,—не дальше какъ вчера вотъ такъ какъ разъ отпускали, а пока послали искать ящики и извозчиковъ, половину растаскали. Повѣрьте, что въ вашихъ же интересахъ призываю васъ къ совершенно справедливому, во всѣхъ парламентахъ даже и въ коммунѣ принятому, порядку.

— Ну, идите,—махнулъ рукой Сикорскій.

Черезъ часъ Карташовъ съ Ереминомъ и Тимофеемъ принимали отъ помощниковъ Борисова по спискамъ принадлежащее имъ и укладывали въ ящики.

— Вотъ что,—сказалъ Карташову Борисовъ, отрываясь отъ работы и выходя изъ-за своего стола,—какая ни на есть, а будетъ матеріальная отчетность, и если у васъ счетовода еще нѣтъ, то пока вы хоть ведите реестръ получаемого.

— Я вѣдь беру опись.

— Ну—у...—зайкнулся слегка Борисовъ,—а если вы потеряете опись,—гдѣ у васъ слѣдъ того, что такая опись была? А вы заведите книжку себѣ,—на книжечкѣ напишите...

И Борисовъ взялъ со стола книжку и написалъ на первомъ листѣ:

„Опись получаемого имущества и матеріаловъ.“

— Вотъ... Теперь раздѣлите это на графы...

Карташовъ провозился съ приѣмкой часа три.

— Вотъ теперь у васъ все въ порядкѣ,—говорилъ ему Борисовъ,—и сдавая все это вашему счетоводу, или завѣдующему матеріальнымъ складомъ, или кому тамъ, вамъ останется только передать ему эту книжечку съ

прилагаемыми документами. Такъ то, а теперь пойдемъ ко мнѣ обѣдать, потому что у Сикорскихъ отобѣдали уже.

Когда пришли къ Борисову, прежде обѣда Борисовъ снялъ со стѣны двѣ рапиры, двѣ маски, нагрудники и спросилъ Карташова:

— Фехтовать умѣете?

— Нѣтъ.

— Одѣвайтесь, буду учить.

И съ полчася училъ Карташова, немилосердно тыкая его рапирой.

— Ну, теперь располировавъ немножко кровь, можно садиться за обѣдъ.—Обѣдъ былъ простой, изъ двухъ блюдъ: борщъ малороссійскій съ ушками и саломъ, и вареники съ масломъ и сметаной.

Кончивъ обѣдъ, Борисовъ, ѣвшій съ такимъ же аппетитомъ какъ и Карташовъ, махнулъ рукой и сказалъ дѣвушкамъ:

— Убирайте, и самоваръ намъ! А вы,—обратился онъ къ Карташову,—разсказывайте теперь что дѣлали въ Одессѣ?

Карташовъ разсказалъ.

— Похвалили меня за то, что такъ обстоятельно съ вашихъ словъ передалъ о положеніи дѣлъ.

— Выручать инспекцію не забыли?

— Конечно, и Николай Тимофеевичъ на дняхъ съ Лостеромъ самъ ѣдетъ въ Букарештъ къ главному инженеру Горчакову.

— Это хорошо; Горчаковъ человѣкъ толковый, онъ ихъ живо подтянетъ.

Карташовъ сообщилъ Борисову также и объ интересовавшемъ его предметѣ.

На столѣ уже лежали привезенные альвачикъ и се-метаки. Теперь Карташовъ вынулъ изъ кармана двѣ привезенныя и въ дорогѣ уже просмотрѣнныя имъ брошюры.

Мимоходомъ онъ упомянулъ о сестрѣ и высказалъ свой взглядъ на революціонную партію, при чемъ какъ и въ вопросѣ передачи Савинскому явился только популяризаторомъ идей сестры и Савинскаго.

Борисовъ внимательно слушалъ и Карташовъ, кончая, сказалъ:

— Если соберетесь какъ-нибудь въ Одессу, я вамъ дамъ письмо къ сестрѣ.

Борисовъ покраснѣлъ и напряженно потянувшись, горячо пожалъ руку Карташову.

— Непремѣнно...

Но въ это время пришли Лепуховскій, съ другимъ инженеромъ, темнымъ, загорѣлымъ, и третій молодой, Игнатьевъ.

— Это ты что такъ горячо его трясешь?—спросилъ добродушно, выпячивая животъ, Лепуховскій.

— Не твоего ума дѣло,—отвѣтилъ Борисовъ, а Карташовъ сталъ прощаться.

Выйдя отъ Борисова онъ отправился на свою квартиру къ Данилову.

Ящики изъ управленія уже стояли въ комнатѣ и тутъ же стояли рейки треноги.

Заглянуль Даниловъ въ одной рубахѣ и повелъ Карташова къ себѣ въ комнату.

— Хотите идти купаться?—спросилъ онъ.

— Хорошо,—согласился Карташовъ.

Даниловъ натянулъ лѣтніе штаны, надѣлъ пиджакъ, на голову широкую соломенную шляпу, на босую ногу туфли, простыню накинулъ на плечи, какъ шарфъ, и сказалъ:

— Ну, идемъ...

И такъ шли они по городу, обращая вниманіе прохожихъ.

Кто зналъ, что этотъ толстый неряха въ туфляхъ на босую ногу—Даниловъ,—останавливался и долго еще смотрѣлъ ему вслѣдъ.

Въ купальнѣ Даниловъ долго сидѣлъ въ водѣ и фыркалъ и полоскался, какъ бегемотъ.

Карташовъ одѣвался и думалъ, какъ бы ему отдѣлаться отъ него.

Выйдя изъ воды Даниловъ спросилъ Карташова:

— Ну, вы куда теперь.

— Надо свое начальство разыскать. Мы послѣ завтра хотимъ ѣхать.

— Пора, пора... ну идите, не по дорогѣ: я отсюда въ управленіе.

На дачѣ Марья Андреевна встрѣтила его съ упрекомъ:

— Это очень мило. Мы его ждемъ съ обѣдомъ, не ѣдимъ...

— Но, ради Бога!..

— Да, ѣли, ѣли,—успокоилъ его младшій Сикорскій и спросилъ,—принялъ ли онъ все въ управленіи?

— Все, кромѣ тѣхъ чертежей, которые у нихъ еще въ работѣ. Въ этихъ спискахъ обозначено.

Карташовъ показалъ списки, свою книжку.

Сикорскій посмотрѣлъ, кивнулъ головой и сказалъ:

— Это, значить, въ порядкѣ. Завтра утромъ надо ѣхать на ярмарку покупать лошадей, тарантасы и завтра же нагрузить на нихъ весь нашъ скarbъ, и съ Ереминымъ и еще однимъ десятникомъ, котораго я взялъ, отправить въ Заимъ, оставивъ себѣ только тарантасъ и мою тройку и послѣ-завтра налегкѣ, чтобы къ вечеру быть въ Заимѣ, выѣдемъ.

Выбранное резиденціей третьей дистанціи село Заимъ ясно встало въ глазахъ Карташова.

Ужинали, гуляли по саду, пѣли, играли, разговаривали.

Въ половинѣ одиннадцатаго Сикорскій сказалъ:

— Ну, а теперь спать. Въ пять утра я буду васъ ждать на ярмаркѣ.

А Петръ Матвѣевичъ, у котораго уже слипались глаза, сказалъ:

— Слава Богу, кажется начинается водворяться порядокъ.

Когда Карташовъ пріѣхалъ на свою квартиру, онъ увидѣлъ спину Данилова, наклоненную надъ столомъ.

Быстро раздѣвшись, онъ легъ, потушилъ свѣчку и сейчасъ же заснулъ, попросивъ разбудить себя съ четыре часа.

Извозчикъ у него былъ уже договоренъ, все тотъ же молодой парень изъ Россіи.

Апатичный Семенъ ровно въ четыре часа уже будилъ Карташова, а немного погодя принесъ ему чай, масло и хлѣбъ.

Умываясь, Карташовъ заглянулъ въ коридоръ и увидѣвъ въ кабинетѣ опять неподвижную спину Данилова, подумалъ:

— Чтожъ онъ такъ не вставая и сидитъ за работой? А на видъ лѣнтяй, какого и не выдумаешь.

Когда онъ уходилъ, Даниловъ, тяжело повернувшись, спросилъ его:

— Куда?

— Лошадей покупать.

— А вы понимаете въ нихъ?

— Немного, но тамъ будетъ и Сикорскій, и Ереминъ, и Тимофей и мой извозчикъ.

Карташовъ заѣхалъ за Ереминымъ и Тимофеемъ и съ ними проѣхалъ на ярмарку.

Она представляла безконечное количество конныхъ рядовъ и только гдѣ-то въ сторонѣ стояли балаганы съ наваленными передъ ними кадками, колесами, лопатами и другими деревянными издѣліями, да высокія молдаванскія каруцы съ углемъ и разнымъ лѣсомъ. Были пряники съ сусальнымъ золотомъ и лошадки изъ картона крашенныя и подинованныя, съ ихъ особымъ

запахомъ кислаго клея, но все это уже не интересовало Карташова.

Маленькій Сикорскій вынырнулъ изъ-за одной изъ телѣгъ и крикнулъ ему:

— Идите сюда!

Онъ уже облюбовалъ тройку для себя, и теперь отчаянно торговался съ цыганами.

Глазки Сикорскаго сверкали лукаво, шурился онъ такъ же, какъ и цыгане, хлопалъ ихъ по ладонямъ и твердо выкрикивалъ свою цѣну.

Черный цыганъ, снявъ свой картузъ и вытирая платкомъ потъ, говорилъ:

— Ай, ай, баринъ, ужъ не цыганъ ли ты самъ?

Сикорскій весело хохоталъ и уходилъ, а цыганъ, послѣ долгаго раздумья, кричалъ:

— Ну, Богъ съ тобой, красненькую прибавь и бери!

Но Сикорскій, не поворачиваясь, кричалъ ему свою прежнюю цѣну.

И съ отчаяніемъ опять кричалъ цыганъ:

— Бери!

Сикорскій возвращался и говорилъ:

— Нѣтъ, послѣ мы еще запрежемъ, а вы, господа, смотрите лошадей.

И Ереминъ, и Тимофей и извозчикъ осматривали лошадей еще разъ. Смотрѣли въ зубы, наступали имъ на копыта, сжимали имъ ноздри, водили передъ глазами соломинкой, выворачивали губы, щупали подъ челюстями и осматривали всѣ пятна на спинѣ, запускали руки подъ ноги. Потомъ запрягли.

Купили тройку, купили трехъ рабочихъ лошадей, купили тарантасъ, телѣги.

Карташовъ совершенно случайно нашелъ и для себя то, что искалъ.

На маленькой, красиво сдѣланной телѣжкѣ, запряженной молодой гнѣдой кобылой, сидѣлъ пожилой мѣщанинъ.

— Купите, баринъ, — сказалъ онъ проходившему Карташову, — всю справу продаю.

Карташовъ остановился.

— Продаю безъ обмана; я не цыганинъ и не барышникъ. Лошадка выросла у меня въ домѣ, и думалъ никогда не разстанусь. Да вотъ, пришлось. Купите, будете благодарить и вспоминать меня. Присаживайтесь, попробуйте.

Когда Карташовъ сѣлъ, хозяинъ сказалъ:

— Берите сами и вожжи и поѣзжайте, куда хотите.

Карташовъ взялъ вожжи, выѣхалъ въ улицу и поѣхалъ. Онъ поворачивалъ и направо и налево, пробовалъ и кнутомъ ударить, пускалъ полнымъ ходомъ и поѣхалъ опять шагомъ.

Лошадка словно чувствовала, что выдержала экзаменъ, и весело-задорно вздергивала головой.

— Послушная лошадка, говорю вамъ, и умна, какъ человѣкъ: воспитанная скотинка, руками своими воспиталъ. Бросьте вожжи, уходите куда хотите, — сутки простоитъ и не шелохнется. Вотъ, постоитъ, смотрите.

Хозяинъ слѣзъ, зашелъ впередъ лошади и сказалъ:

— Машка, за мной.

И умное животное, вытянувъ шею, осторожно ступая, шла вслѣдъ за своимъ хозяиномъ.

Карташову очень понравились и лошадь и телѣжка.

Лошадка, дѣйствительно, была красивая, стройная съ тонкими ножками и блестящей нѣжной гнѣдой шерстью.

— Какая цѣна?

— Безъ запросу полтора ста рублей.

— А дешевле?

— Нѣтъ, пожалуйста, не торгуйтесь. Отъ нужды вѣдь только продаю. Раньше ни за какую бы цѣну не отдалъ.

— Хорошо, я беру.

И Карташовъ торопливо, пока не подошла компанія, отдалъ деньги и, сѣвъ въ телѣжку, поѣхалъ разыскивать своихъ.

Онъ радостно думаль:

— Съ такой лошадыю и кучера мнѣ не надо. Уложу нивеллирь, рейку на телѣжку и буду ѣздить.

— Смотрите, смотрите,—закричалъ Сикорскій, увидѣвъ Карташова,—это что? Купили?

— Купилъ.

Всѣ стали внимательно осматривать покупку.

Лошадь, правда, оказалась молодая, неиспорченная, но цѣну нашли дорогой.

— Семьдесятъ пять рублей цѣна, ну, черезъ силу во семьдесятъ пять,—сказаль извозчикъ.

Сикорскій изъ-подъ полуопущенныхъ вѣкъ насмѣшливо смотрѣлъ на Карташова. Ротъ его былъ полуоткрытъ по обыкновенію, уши какъ будто еще больше оттопырились и, качая головой, онъ говорилъ:

— Эхъ вы... Ну что позвать бы было насъ!

Но Карташовъ былъ доволенъ.

Его поддержаль и проходившій мимо бывшій хозяинъ:

— Не сумлѣвайтесь, сударь, — будете благодарить. Это не цыганское отродье.

— Ну, ты!—закричалъ на него высокій черный цыганище и такъ сверкнулъ своими громадными, изсиня бѣлыми бѣлками, что бывшій хозяинъ махнулъ на него и, торопливо уходя, бросилъ:

— Богъ съ тобой, Богъ съ тобой...

— Я на этой лошаdkѣ и назадъ поѣду. Садись, Тимофей, со мной.

Карташовъ подкатилъ къ дачѣ и весело побѣждалъ звать дамъ смотрѣть его покупку. Марья Андреевна очень внимательно и дѣловито осматривала лошадь, а Елисавета Андреевна стояла и радостно повторяла:

— Прелестная лошадка и телѣжка хорошенькая!

— Хотите попробовать?.. — предложилъ ей Карташовъ.

Елисавета Андреевна посмотрѣла на сестру,

— Поѣзжай, только не долго ѣздите, черезъ часъ обѣдъ. Какая хорошенькая лошадка!

Елисавета Андреевна и Карташовъ уѣхали, а Марья Андреевна, прикрывъ рукой глаза, долго еще смотрѣла имъ вслѣдъ.

Возвращаясь назадъ, правила уже сама Елисавета Андреевна, а Карташовъ то смотрѣлъ на нее, то на лошадку, то на окружающія дачи, Днѣстръ, небо, и чувствовалъ непередаваемую радость жизни.

— Теперь, — сказалъ онъ, высаживая Елисавету Андреевну, — когда я буду одиноко разѣѣзжать по линіи, со мной будетъ всегда прелестная маленькая волшебница Лизочка.

Елисавета Андреевна только покраснѣла, махнула рукой и быстро скрылась въ саду.

Собиралась гроза, въ небѣ спокойно двигались облака и на горизонтѣ собирались уже цѣлые батальоны изъ темныхъ грозныхъ тучъ. А между ними, какъ въ амбразурахъ, еще нѣжныѣ, еще безмятежныѣ просвѣчивалось небо. Въ воздухѣ сразу посвѣжѣло.

— И куда вы ѣдете на дождь! — говорила Марья Андреевна.

— Надо, надо, — рѣшительно отвѣчалъ попрощавшись и направляясь къ тарантасу Сикорскій.

— Промокнете.

— Не сахарный.

— Господи! — удержала за руку Марья Андреевна Карташова, — неужели вы уѣзжаете? Я такъ привыкла къ вамъ, какъ будто мы уже сто лѣтъ жили вмѣстѣ.

— Слышите, слышите? — говорилъ ей мужъ, — нѣтъ ужъ лучше уѣзжайте...

— Не забывайте же насъ.

Карташовъ, сидя уже въ тарантасѣ, кланялся и смотрѣлъ на Марью Андреевну и ея сестру. Елисавета Андреевна стояла грустная и молчала.

Отъѣхавъ и вставъ на ноги, Карташовъ крикнулъ ей:

— Ёду строить воздушный замокъ!

Она кивнула головой, а онъ все стоялъ и смотрѣлъ и такъ много хотѣлось бы ему теперь сказать ей, Марѣ Андреевнѣ, ея милому мужу, ласковаго, любящаго, чего-то такого, что переполняло его душу и рвалось изъ нея.

Но экипажъ уже повернулъ, группа скрылась и все быстрѣе и быстрѣе мелькали послѣдніе сады и дачи.

Что до Сикорскаго, то онъ весь былъ поглощенъ вниманіемъ къ своимъ новокупленнымъ лошадямъ; то откинувшись на пристяжную съ своей стороны, то вставая смотрѣлъ на другую, на коренника, какъ тотъ, забирая рысью, несъ на себѣ высокую дугу съ разливавшимися подъ нею колокольцами. А пристяжныя давно уже поднялись вскачь, съ загнутыми на-сторону головами, все больше и больше свертывались въ клубки, выбивая сразу всѣми четырьмя ногами облака пыли.

— Эй вы, соколики!—прикрикнулъ кучеръ, едва передернувъ вожжами, и рѣзвѣ взвились пристяжныя и со всѣмъ вытянулся, широко махая, коренникъ.

— Хорошій кучеръ,—тихо сказалъ Карташову Сикорскій,—и лошади очень удачно подобраны: коренникъ выше, пристяжныя поменьше, я еще куплю имъ бубенцы и буду тогда настоящій женихъ-становой.

Онъ весело разсмѣялся.

— А вы знаете,—говорилъ онъ,—я вотъ заплатилъ за все это пятьсотъ рублей, а попомните меня, что продамъ за тысячу, а вы вашу Машку, дай Богъ, чтобъ за пятьдесятъ продали.

Но Карташовъ совершенно не интересовался теперь ни тройкой, ни тѣмъ, за сколько онъ продастъ потомъ свою Машку. Его захватывала ѣзда, какіе-то образы такъ же быстро проносились передъ нимъ и щемило душу сожалѣніе о томъ, что все такъ быстро проносится въ жизни.

Особенно хорошее...

А дождь ужъ лиль, и отъ края до края, по всему темно-сѣрому небу, сверкала зигзагами молнія, и страшно перекатываясь громъ грохоталъ, казалось, надъ самыми головами. Въ наступившей темнотѣ вдругъ точно разорвалось все небо, и громадная ослѣпительная молнія упала передъ глазами. Испугавшись, лошади сразу подхватили, понесли и мчали куда-то въ невѣдомую даль въ сѣрой сплошной отъ дождя мглѣ. Напрасно, откинувшись совсѣмъ назадъ, тянулъ кучеръ, напрасно помогали Карташовъ и Сикорскій. Казалось, неземная сила гнала лошадей, крылья вдругъ выросли у нихъ, и летѣли и онѣ, и экипажъ, и три пигмея въ немъ. И вдругъ трескъ— и сразу упали и лошади, и экипажъ, и какъ пробки изъ бутылки шампанскаго разлетѣлись изъ него и Карташовъ, и Сикорскій и кучеръ.

Наступила на мгновеніе тишина, совпавшая съ тишиною въ небѣ.

Первый поднялся кучеръ и хромая пошелъ къ лошадямъ. Затѣмъ всталъ съ земли Сикорскій и усталымъ голосомъ спросилъ:

— Карташовъ, вы живы?

Карташовъ лежалъ въ лужѣ и отвѣтилъ лежа:

— Кажется, живъ.

— Ну, такъ вставайте.

— Сейчасъ: я немного ошалѣлъ отъ паденія. Кажется головой ударился.— Онъ сдѣлалъ усиліе встать, но кружилась голова, ноги такъ дрожали, что онъ опять присѣлъ и, чувствуя боль въ головѣ, началъ мочить голову водою изъ лужи.

— Ну, теперь кажется ничего.

Карташовъ опять всталъ и пошелъ къ экипажу и лошадямъ.

Лошади уже были на ногахъ и тоже дрожали.

— Кажется, благополучно,— говорилъ осматривая ихъ кучеръ.

Экипажъ оказался въ порядкѣ, стали собирать

вещи. Дождь по-прежнему лилъ, какъ изъ ведра. Все побилось, промокло: ѣда, закуски, вина, фрукты.

— Тѣмъ лучше,—махнулъ рукой Сикорскій,—сразу по крайней мѣрѣ перейдемъ на походное положеніе. Какъ голова?

— Ничего.

— А твоя нога?

— Не знаю, болить,—отвѣтилъ кучеръ и горячо заговорилъ, указывая на коренника.

— Теперь, когда характеръ его узналъ, врешь: я ему сейчасъ покажѣсть изъ ремешка сплету вторья удила, онъ и не сможетъ тогда уже закусывать, а какъ станетъ ему рвать челюсть—небось остановится тогда. И трензель, чтобъ и голову драть ему, нельзя было бы.

И кучеръ принялся плести ремешокъ.

А гроза тѣмъ временемъ уже пронеслась, и выглянуло яркое умытое небо.

И все больше выглядывало, пока не сверкнули первые густо-багровые лучи солнца по сѣрой грязи земли.

Собравъ и наладивъ все, промокшіе насквозь, сѣли и поѣхали дальше.

Немного погода начался крутой спускъ и, покачивая головой, кучеръ говорилъ:

— Ну это все-таки, слава Богу: не дай Богъ до этой кручи донестись бы...

Сдерживая коренника, кучеръ не кончилъ и только энергичнѣе потрянулъ головой.

— Спустимъ ли?—спросилъ тревожно Сикорскій.

— Богъ дастъ спустимъ.

И какъ бы въ отвѣтъ на это осѣвшій совсѣмъ на заднія ноги коренникъ энергично замоталъ головой.

— Я все-таки слѣзу,—сказалъ Сикорскій, и быстро соскочилъ. — Слѣзайте и вы!—крикнулъ онъ Карташову.

Если слѣзть—неловко передъ кучеромъ, не слѣзть—передъ Сикорскимъ.

И Карташовъ, продолжая сидѣть, все думалъ, какъ ему быть, а тѣмъ временемъ лошади спустили, но все-таки Карташовъ за нѣсколько саженой до конца ложе спрыгнулъ.

— Къ чему рисковать?—сказалъ ему Сикорскій.

— Конечно,—согласился съ нимъ Карташовъ.

Солнце сѣло, но еще горѣлъ западъ и грозными крѣпостями сверкали золотистыя верхушки темныхъ тучъ. Приѣхали, когда потухли и эти огни, и только блѣдный отсвѣтъ осталея тамъ, въ небѣ, и въ немъ яркій серпъ молодого мѣсяца, да зарница перебѣгала, освѣщая на мгновеніе темную бездну подъ ними.

XV.

На другой же день съ утра Сикорскій, захвативъ съ собой Карташова, сопровождаемый толпой подрядчиковъ, выѣхалъ на линію.

Онъ разставлялъ подрядчиковъ, показывалъ Карташову, какъ дѣлать разбивки, полотно, какъ назначать отводныя и нагорныя канавы; разбили станцію, пассажирское зданіе, намѣтили мѣста для будокъ и только къ вечеру усталые и голодные возвратились домой. Дома ихъ уже ждали новые наѣхавшіе подрядчики. Подрядчику мостовъ дали выписку, и безконечные ряды подводъ съ лѣсомъ потянулись черезъ деревню.

— Пожалуйста, завтра незадержите работу,—просилъ мостовой подрядчикъ,—у меня въ четырехъ мѣстахъ сразу начнуть.

— Не задержимъ, не задержимъ,—отвѣчалъ Сикорскій.

Наскоро поѣвъ, Сикорскій сказалъ:

— Ну, теперь садитесь, и я вамъ объясню, какъ дѣлается разбивка моста и даются обрѣзы свай, потому что завтра, чтобы поспѣть вездѣ, мы поѣдемъ съ вами въ разныя стороны. Берите себѣ на завтра короткій хвостъ дистанціи къ Бендерамъ, а я поѣду въ другую сторону.

Село Заимъ было расположено такъ, что до конца дистанціи въ сторону Бендеръ было пять верстъ, тогда какъ въ сторону Галаца было двадцать пять.

— А теперь спать, чтобы завтра въ четыре часа уже выѣзжать намъ.

Въ четыре часа на другой день, въ то время, какъ Сикорскій на своей тройкѣ поѣхалъ вправо, Карташовъ, самъ правя, выѣхалъ на своей телѣжкѣ, запряженной Машкой. Въ телѣжкѣ лежали нивеллиръ, рейки, угловой инструментъ, эккеръ, лента, цѣпь и рулетка, топоръ, колья и вѣшки, лежалъ и узелокъ съ хлѣбомъ и холоднымъ кускомъ мяса, а черезъ плечо была надѣта фляжка съ холоднымъ чаемъ.

Начинавшееся утро послѣ вчерашнихъ дождя и бури было свѣжо и ароматно. На небѣ ни одной тучки. На востокѣ едва розовѣла полоска свѣта. Этотъ востокъ былъ все время предъ глазами Карташова, и онъ наблюдалъ, какъ полоска эта все болѣе и болѣе алѣла, совсѣмъ покраснѣла, пока изъ-за нея не показался кусокъ солнца. Оно быстро поднялось надъ полоской, стало большимъ, круглымъ, безъ лучей, и точно оставилось на мгновеніе. Еще поднялось солнце и сверкнули первые лучи и заиграли разноцвѣтными огнями на травѣ капли вчерашняго дождя. И звонко полились откуда-то съ высоты пѣсни жаворонковъ, закричала чайка, крикнули утки на болотѣ вправо. И еще ароматнѣе сталъ согрѣтый воздухъ. Карташовъ вдыхалъ въ себя его аромат и наслаждался ясной и радостной тишиной утра.

Въ двухъ мѣстахъ уже ждали плотники у свален-

ныхъ бревенъ, спѣшно собирая коперъ. Карташовъ остановился, вынулъ профиль, нашелъ на ней соответственное мѣсто и началъ разбивку.

— Ну, Господи благослови, въ добрый часъ!—тряхнулъ кудрями плотный десятникъ подрядчика, снявъ шапку и перекрестясь. Когда Карташовъ уже приказалъ забивать первый коль, онъ кашлянулъ осторожно.

— Не лучше ли будетъ, начальникъ, въ ту низинку перенести мостъ,—водѣ будто вольготнѣе будетъ бѣжать туда—внизъ, значить.

Карташовъ покраснѣлъ, нѣкоторое время внимательно смотрѣлъ, стараясь опредѣлить на-глазъ, какое мѣсто ниже и, вспомнивъ о нивеллирѣ, рѣшилъ воспользоваться имъ.

Десятникъ оказался правъ, и мостъ былъ перенесенъ на указанное имъ мѣсто.

Окончивъ разбивку, Карташовъ съ десятникомъ проѣхалъ на самый конецъ дистанціи и разбилъ и тамъ мостъ.

По окончаніи десятникъ сказалъ:

— На тотъ случай, если потомъ вамъ недосугъ будетъ, быть можетъ, сейчасъ и обрѣзъ дадите?

— Какъ же, когда сваи еще не забиты?..

— По колышку, а когда забьемъ, я проватерпашу.

Карташовъ подумалъ и сказалъ: „Хорошо“.

Но, когда отнесся къ стоявшему невдалекѣ реперу, онъ далъ отмѣтку обрѣза, его поразило, что сваи будутъ торчать изъ земли всего на нѣсколько вершковъ.

Онъ нѣсколько разъ провѣрилъ свой взглядъ въ трубу, вывѣрилъ еще разъ нивеллиръ и въ нерѣшимости остановился.

Бывалый десятникъ все время, не мигая, смотрѣлъ на Карташова и наконецъ, приложивъ руку ко рту и кашлянувъ, ласково, почтительно заговорилъ:

— Тутъ подъ мостомъ канавка подъ русло пойдетъ, и такъ что...

Онъ приложилъ руку къ козырьку и посмотрѣлъ въ правую сторону, куда падала долина.

— Примѣрно еще сотыхъ на двадцать пять, а то и тридцать, значитъ глубже подъ мостомъ будетъ.

— Да, да, конечно,—поспѣшилъ согласиться Карташовъ и въ то же время подумалъ:

— Ахъ, да, дѣйствительно! Канавка... Какой у него, однако, опытный глазъ.

Когда опять пріѣхали къ первому мосту, конецъ уже былъ готовъ, его скоро установили на мѣсто, и къ нему подтащили первую сваю.

Десятникъ быстро, толково, безъ шума распорядился и когда свая была захвачена, поднята и установлена и прикрѣплена канатомъ, когда плотники, они же и забойщики, стали на мѣста, десятникъ, вынувъ поддержки изъ-подъ бабы, обратился къ Карташову:

— Благословите, господинъ начальникъ, начинать.

— Съ Богомъ!

— Господи благослови! крестись, ребята!

И всѣ перекрестились.

— Ну, закоперщикъ, затягивай пѣсню!

Закоперщикъ началъ пѣть:

— И такъ за первую залогъ

Да помолимся мы Богу...

И хоръ рабочихъ въ красныхъ рубахахъ дружно и звонко подхватилъ:

Эй, дубинушка, ухнемъ!

Эй, зеленая сама поидеть!

Поидеть, поидеть, поидеть...

И воздухъ потрясли тяжелые удары бабы о сваю, первые подъ припѣвъ, а остальные молча.

Карташовъ во всѣ глаза смотрѣлъ. Ему вспоминались чертежи мостовъ, свай, вспоминался текстъ лекцій.

Когда запѣли дубинушку, которую онъ до сихъ поръ слышалъ только на студенческихъ вечеринкахъ, его охватила радость и восторгъ.

— Залога!

И удары прекратились.

— Какъ поють, господинъ начальникъ?

— Хорошо.

— Прямо, можно сказать, архирейскій хоръ,—говорилъ десятникъ, отмѣчая на сваѣ карандашомъ разстояние, на какое свая ушла въ землю,—на одиннадцать сотыхъ, господинъ начальникъ, отказъ...

— Ахъ, да,—вспомнилъ Карташовъ наказъ Сикорскаго,—надо будетъ отмѣчать отказы. У васъ есть книжечка?

— Такъ точно.

— Я вамъ разграфлю.

— Не извольте беспокоиться: я разграфилъ уже. Обыкновенно нашему брату, подрядчику, этого дѣла не довѣряютъ: опасаются, какъ бы мы свою линію не выводили; бываетъ такъ, что и закапываютъ сваи вмѣсто того, чтобы забивать ихъ, всяко бываетъ, только нашъ подрядчикъ не изъ такихъ и намъ не велить. Онъ лучше же лишняго перебьетъ. До какого отказа, господинъ начальникъ, бить будемъ?

Карташовъ напряженно вспоминалъ: „какъ это, до двухъ сотыхъ или до двухъ тысячныхъ?“

— Ежели, къ примѣру,—продолжалъ десятникъ,—свая ровно пойдетъ, такъ и въ три сотни отказъ будетъ ладный.

— Нѣтъ, все-таки до двухъ бейте.

— Какъ прикажете.

И, повернувшись къ рабочимъ, десятникъ сказалъ:

— Ну, готовы, что ли? Это еще что?—точно не понимая въ чемъ дѣло, спросилъ десятникъ.

Отъ рабочихъ закоперщикъ съ шапкой въ рукахъ подходилъ къ Карташову.

— Имѣемъ честь поздравить васъ съ благополучнымъ началомъ.

— Ну, народъ,—неопредѣленно качнулъ головой

десятникъ, наблюдая Карташова, и, увидѣвъ, что Карташовъ досталъ десять рублей, сказалъ весело:—ну, смотри, ребята, старайтесь, да благодарите господина начальника.

— Благодаримъ!—дружно и весело отозвались рабочие.

— Поднимай бабу!

И баба подъ красивый пригѣвъ речитатива: „Разчестная наша мать, помоги бабу поднять!“, стала подниматься вверхъ, а закоперщикъ уже опять затягивалъ:

Эй, ребятки, не робѣйте.
Своей силы не жалѣйте.

Послѣ второго залога десятникъ, приподнявъ шапку, обратился къ Карташову:

— Дозволите ли веселыя пѣсни пѣть?

— Конечно.

— Работа пойдетъ у нихъ веселѣй: валяй, ребята!

Лица рабочихъ свѣтились лукавою радостью, и только закоперщикъ съ безстрастнымъ лицомъ, все тѣмъ же замогильнымъ глухимъ голосомъ выводилъ:

Инженера мы уважимъ,
По губамъ—помажемъ.

И восторженно подхватила артель дубинушку, замѣтивъ, какъ залилось краской до корней волосъ лицо смущенно-растерянно улыбавагося Карташова.

Къ обѣду возвратились въ Займъ и Карташовъ и Сикорскій. Карташовъ сдѣлалъ Сикорскому обстоятельный докладъ.

— Только одно неправильно, — никогда впередъ обрѣза не давайте. На этомъ и строятся всѣ мошенничества. Поѣзжайте послѣ обѣда опять и уничтожьте обрѣзъ. Когда кончатъ забивку, пусть и позовутъ тогда. А что касается того, чтобы вести журналъ забивки свай, то сегодня приѣдетъ десятникъ еще.

XVI.

Работы наладились, и все пошло изо дня въ день.

Карташовъ ѣздилъ въ дальнюю сторону дистанціи, Сикорскій взялъ на себя болѣе короткую, такъ какъ на немъ, кромѣ технической стороны дѣла, лежали и распорядительная и административная части. Постоянно пріѣзжали изъ города, привозили матеріалы, запрашивали срочно по телеграфу, и ему необходимо было, какъ онъ говорилъ, быть всегда на ружейный выстрѣлъ отъ конторы.

Все дѣлалось съ какой то сказочной быстротой, и быстрота эта все возрастала; установились и ночныя работы.

Въ каждомъ мѣстѣ линія кишѣла рабочими: забивали сваи, сыпали насыпи, копали выемки, тянулись обозы съ вывозимою землею, лились пѣсни, крики, громкій говоръ. Узкая полоса земли на протяженіи 280 верстъ жила полной жизнью безостановочно въ 24 часа въ сутки.

Ночью эта лента была сплошь огненная отъ костровъ. Уже провели телеграфъ и въ Заимѣ сидѣла телеграфистка.

Смѣны ей не было; и ночью и днемъ она должна была принимать телеграммы.

Еще молодая, съ терпѣливыми всевыносящими глазами, сидѣла она въ минуты отдыха на завалинкѣ своей избы, курила и смотрѣла равнодушно вдаль, туда, гдѣ кипѣла работа.

Карташовъ жилъ въ избѣ рядомъ. Въ четыре часа онъ уже выѣзжалъ на линію.

Въ телѣжкѣ лежали инструменты и холодный завтракъ.

Уѣзжалъ опъ на весь день и возвращался домой часамъ къ десяти,

Иногда надо было зайти еще въ контору къ Сикорскому. Иногда и ночью необходимо было ѣхать вторично на линію. Сутокъ не хватало. Въ каждомъ мѣстѣ, въ каждой точкѣ уже ждали, нетерпѣливо ждали Карташова съ разбивкой, съ отмѣткой, съ вопросами, безъ рѣшенія которыхъ дѣло останавливалось. Получалось такое впечатлѣніе, что все вездѣ стоитъ и виновникъ этому только онъ, Карташовъ.

Это тяготило, мучило, угнетало, и Карташовъ почти не выходилъ изъ подавленнаго и въ то же время напряженнаго, крайне непріятнаго состоянія отъ сознанія что никогда ему не поспѣтъ вездѣ во-время.

Его лошадь начала портиться.

Вначалѣ она ходила рысью, но чѣмъ дальше, тѣмъ больше теряла бѣдная Машка силы.

Давно исчезла округленность ея формъ, блескъ ея шерсти.

Ея худая, теперь острая, спина поднялась кверху, шерсть болѣзненно торчала во всѣ стороны, грива была спутана, сбита, а сама она точно потеряла всякую способность понимать, гдѣ дорога, гдѣ оврагъ. Прѣжде бывало, хоть домой она бѣжала. Теперь же одинаково равнодушно, несмотря на всѣ удары, шла все тѣмъ же заплетающимся шагомъ.

И это еще болѣе раздражало и угнетало Карташова. Но когда однажды Машка отказалась и такимъ шагомъ идти, когда она безпомощно остановилась и, несмотря на всякія понуканія, не хотѣла идти дальше, Карташовъ, котораго во всѣхъ мѣстахъ ждали, какъ манну съ неба, пришелъ въ такое отчаяніе отъ своей собственной несостоятельности, отъ несостоятельности Машки, что расплакался.

Въ такомъ положеніи и засталъ Карташова Сикорскій, несшійся на своей жениховской тройкѣ.

Карташовъ торопливо уничтожилъ слѣды слезъ, а Сикорскій сдѣлалъ видъ, что ихъ не замѣтилъ,

— Ну, сегодня я за васъ распоряжусь, а вы поѣзжайте домой и сейчасъ же купите вторую лошадь. Необходимо ѣздить на смѣнныхъ лошадяхъ.

— Она и домой не пойдетъ.

— Дайте овса ей.

— Нѣтъ у меня овса.

— Ну, такъ чего же вы хотите? Человѣкъ восемнадцать часовъ ѣздить и не кормить лошадь. Обязательно надо брать торбу съ овсомъ. Доѣхали до конца дистанціи, надѣли на нее торбу, сами закусили и поѣхали назадъ. А теперь что-же дѣлать? Выпрягите ее и пустите попасись по этой травѣ.

Сикорскій уѣхалъ, а Карташовъ выпрягъ Машку, пустилъ ее на траву, а самъ, сидя на телѣжкѣ, ѣлъ свой хлѣбъ съ колбасой и грустно-безсильно смотрѣлъ туда вдаль, гдѣ кипѣла работа, гдѣ ждали его, въ то время какъ онъ долженъ былъ пасти свою лошадь.

Въ этотъ день Карташовъ возвратился домой въ неурочное время, когда солнце было еще высоко въ небѣ.

Продажная лошадь оказалась у хозяина, въ избѣ котораго жилъ Карташовъ.

Выйдя изъ своей телеграфной конторы,—она же и спальня,—телеграфистка тоже, присѣвъ на завалинкѣ, смотрѣла, какъ Карташовъ пробовалъ лошадь и съ своей стороны сдѣлала нѣсколько замѣчаній, обнаруживъ нѣкоторыя познанія по этой части.

Между нею и Карташовымъ завязался разговоръ и оказалось что она дочь мелкаго херсонскаго помѣщика.

Карташовъ, чувствовавшій себя въ общемъ не лучше Машки, хотѣлъ-было воспользоваться отдыхомъ и лечь спать, но начавшееся знакомство отвлекло его и, сидя устало на завалинкѣ, онъ дотянулъ до вечера въ разговорахъ съ телеграфисткой.

Она была некрасива, почти необразованна, но было въ ней что-то симпатичное, беззащитное и, наконецъ,

молодое—въ улыbkѣ, взглядѣ, въ бессознательныхъ движеніяхъ. Было интересно будить это молодое.

Общее положеніе заморенныхъ, работающихъ черезъ силу людей, при походной жизни, при сознаніи, что очень скоро все это кончится и въ свое время, какъ и все, унесетъ невозвратное будущее, еще больше сближало, примиряло, заставляло торопиться.

Высока въ небѣ, какъ заброшенный маякъ, ярко свѣтила луна.

Бѣлая колокольная, бѣлыя избы рельефно и неподвижно стояли, и отъ нихъ падала густая черная тѣнь. Въ яркомъ ослѣпительномъ воздухѣ, какъ серебро сверкала на водѣ полоса луннаго свѣта.

Было свѣжо, телеграфистка куталась въ платокъ и курила.

Карташовъ устало сидѣлъ рядомъ съ ней.

Гулко звонили часы на высокой колокольнѣ, и ему было хорошо и уютно около простой доброй дѣвушки полу-спать, полу-бодрствовать, наслаждаясь волшебной красотой ночи.

— Вы спите совсѣмъ,—положите на плечо мнѣ вашу голову.

И Карташовъ положилъ.

— И холодно вамъ, вотъ вамъ половина моего платка.

Пришлось сѣсть плотнѣе подъ однимъ платкомъ.

Такъ и сидѣли они, изрѣдка перебрасываясь словами, не замѣчая, какъ идетъ время.

Все такъ же неподвижно свѣтила луна съ своей безконечной высоты, такъ же стояли настороженные бѣлыя хатки, и лунный свѣтъ игралъ въ водѣ.

Какой-то особый сонъ на яву владѣлъ душой. Они не помнили, какъ обнялись, какъ поцѣловались, какъ очутились вдвоемъ на ея узкой постели, какъ уснули обнявшись, прикрытые ея платкомъ, единственнымъ теплымъ, что было въ ея скудномъ багажѣ.

А въ четыре часа Карташовъ осторожно, чтобы не замѣтили, пробирался въ свою избу.

Но на завалинкѣ уже сидѣлъ Тимофей, и смущенный Карташовъ чувствовалъ, что Тимофей обо всемъ догадался.

Рядомъ съ исключительнымъ размахомъ въ дѣлѣ постройки во всемъ соблюдалась экономія, доходившая до скарденности. Такъ, служащихъ въ общемъ было мало и на долю каждого приходилась двадцати-головая работа. Будки, напримѣръ, какъ временныя, рѣшено было строить самаго легкаго типа, при чемъ ассигновано было на каждую будку по 125 рублей, тогда какъ обычная цѣна будки отъ 500—до 1000 рублей.

Быль предоставленъ полный просторъ для инициативы и выбора строительнаго матеріала.

— Предоставляю,—сказалъ Сикорскій Карташову,— все дѣло вамъ, стройте хоть изъ навоза, и условіе одно—не выйти изъ смѣты, потому что, помните, это своего рода пунктикъ, конекъ начальника участка.

Въ помощники себѣ Карташовъ взялъ Тимофея.

Рѣшено было пользоваться въ общемъ, типомъ молдаванскихъ легкихъ клѣтушекъ, изъ легкаго деревяннаго остова въ видѣ ралъ, заплетенныхъ плетнемъ и смазанныхъ съ однихъ сторонъ глиной съ навозомъ. Крыши крыть очеретомъ. Печи глинобитныя съ каменнымъ, за неимѣніемъ кирпича, сводомъ.

Но и камня не было. Тимофей разыскивалъ въ степи колодцы, устраиваемые набожными молдаванами и выбиралъ оттуда тотъ камень, которымъ были обложены стѣнки колодца. Лѣсной матеріалъ покупался у молдаванъ въ каруцахъ и состоялъ изъ жердей въ 1 $\frac{1}{2}$ —2 вершка въ діаметрѣ.

Высокая каруца съ такими торчащими жердями стоила отъ 3 до 5 рублей. Четырехъ, пяти такихъ каруцъ было достаточно для будки. Но и эта цѣна показалась Тимофею дорогой.

Онъ узналъ откуда молдаване возятъ лѣсъ, съѣз-
дилъ туда и купилъ тамъ двѣ десятины такого же
лѣса по сорока рублей за десятину. Этого лѣсу хва-
тило съ избыткомъ на всю дистанцію. Одни рубили
его, и очищали отъ коры, другіе возили на линію.

Работа, какъ говорилъ Тимофей, шла колесомъ.

Сегодня Тимофей тащилъ Карташова въ лѣсъ осмо-
трѣть покупку и работы Тимофея.

Лѣсъ былъ верстахъ въ двѣнадцати отъ линіи.

Карташовъ хотѣлъ успѣть побывать и въ лѣсу и
проѣхать по линіи.

— Ну, чай сегодня некогда пить,—скорѣй запря-
гай Румынку и поѣдемъ.

Черезъ нѣсколько минутъ Карташовъ уже выѣз-
жалъ на Румынкѣ, захвативъ для нея заготовленную
съ вечера торбу съ овсомъ, а рядомъ верхомъ ѣхалъ
Тимофей.

Проѣзжая мимо телеграфной конторы, Карташовъ
покосился на ея безмолвныя окна, и поцѣловалъ спав-
шую за ними ласковую, на все согласную, молодую
телеграфистку.

— Дать бы ей выспаться,—подумалъ Карташовъ,—
и подольше бы не присылали телеграммъ сегодня.

День обѣщалъ быть дождливымъ. Все небо заволо-
кло ровною сѣрою пеленою, и только при восходѣ
солнца тамъ на востокѣ прорвалась на мгновеніе эта
пелена и изъ-подъ нея выглянувъ печально, солнце
опять скрылось.

Скоро сталъ накрапывать мелкій ровный дождикъ,
и точно спустилась на всю округу мокрая сѣрая одно-
образная пелена.

Иногда дождь переставалъ и опять принимался,
такой же однообразный, тихій и ровный.

— Теперь, пожалуй,—говорилъ Тимофей,—и ни къ
чему ужъ онъ Развѣ вотъ для озимей передъ сѣвомъ...
ну, корму прибавится...

— Н-да,—соглашался Карташовъ, продолжая испытывать смущеніе при Тимофѣѣ.

На отрогахъ далекихъ холмовъ и невысокихъ горъ показался лѣсъ.

— Вотъ и нашъ лѣсъ,—показалъ рукой Тимофѣѣ туда, гдѣ борясь съ дождемъ, поднималась синяя струйка дыма,—можетъ кипяченая вода будетъ, чаю напьемся.

Подъѣхали къ лѣсу, привязали лошадей и пошли на просѣку. Дождь опять пересталъ. На только-что срубленныхъ мокрыхъ деревьяхъ дрожали крупныя капли воды, пахло сыростью, свѣжимъ лѣсомъ, пахло дымомъ и ярче вспоминалась ночь, луна, телеграфистка.

Оказался и кипятокъ, сварили чай и напились.

Карташовъ въ первый еще разъ былъ въ настоящемъ лѣсу, въ первый разъ видѣлъ, какъ его рубятъ, какъ выдѣлываютъ изъ него годный для постройки матеріалъ. Онъ осмотрѣлъ работы, одобрилъ все, далъ дровосѣкамъ на водку и уѣхалъ напрямикъ къ концу дистанціи.

Дорожка прихотливо вилась между полями поспѣвавшихъ кукурузы, пшеницы, овса. Румынка бодро бѣжала, а Карташовъ сидѣлъ, смотрѣлъ изъ-подъ своего капюшона и все не могъ оторваться отъ воспоминаній прошедшей ночи. Иногда сердце его особенно сжималось, и становилось весело и легко на душѣ.

На концѣ дистанціи, въ наскоро сколоченныхъ балаганахъ, жилъ рядчикъ Савельевъ съ артелью рабочихъ человѣкъ въ сорокъ. Онъ копалъ земляное полотно на двухъ послѣднихъ верстахъ и долженъ быть рыть нагорную канаву, которую хотѣлъ сегодня разбить Карташовъ.

Подъѣхавъ къ навѣсамъ, Карташовъ привязалъ лошадь, подвязалъ ей торбу съ овсомъ и пошелъ къ главному балагану.

По случаю дождя работы не было. Вышелъ маленькій, кудрявый, среднихъ лѣтъ рядчикъ Савельевъ и почтительно поклонился.

— Я пріѣхалъ вамъ канаву разбить.

— Очень даже пріятно. И, если бы, къ примѣру сказать, вчера съ намѣревались пріѣхать, сегодня съ утра бы уже ребята принялись бы за работу.

Окончивъ разбивку, Карташовъ возвратился, и такъ какъ Румынка еще не кончила своего овса, присѣлъ подъ навѣсомъ, гдѣ была устроена для рабочихъ столовая: вкопанныя въ землю козлы покрытыя досками. Тутъ недалеко, подъ низкимъ навѣсомъ, была устроена кухня, горѣлъ огонь и неся аппетитный паръ изъ двухъ котловъ, около которыхъ, засучивъ высоко рукава, хлопотала молодая, здоровая русская баба.

Карташову тоже захотѣлось поѣсть, но онъ стѣсняясь, считая это несовмѣстнымъ съ его служебнымъ положеніемъ и думая въ то же время, что бы сказали этотъ рядчикъ и рабочіе, если бы знали, какъ провелъ онъ эту ночь. И теперь ему было уже непріятно воспоминаніе объ этой ночи.

— Не желаете-ли, господинъ начальникъ,—вкрадчиво-ласково заговорилъ рядчикъ, прерывая мысли Карташова, — съѣсть чего нибудь: варенаго мяса можно, косточку съ мозгомъ, а то и щецъ.

И мясо и щи, а особенно кость съ мозгомъ—вызвали сразу усиленное выдѣленіе слюны у Карташова, но не колеблясь онъ отвѣтилъ:

— Нѣтъ, благодарю васъ...

— А то можетъ быть сала поджарить кусочекъ:

Это было уже выше силъ Карташова, и пока онъ боролся съ собой, Савельевъ уже крикнулъ:

— Матрена, живѣй, поджарь-ка сала.

— Вы, русскіе, развѣ тоже ѣдите сало?—спросилъ Карташовъ.—Я думалъ, что только мы, хохлы...

— Хорошее вездѣ хорошо, господинъ начальникъ.

— Вы сами что-жъ не присядете?

— Покорно благодарю, господинъ начальникъ, — отвѣтилъ Савельевъ, и послѣ настойчивыхъ повтореній, присѣлъ, наконецъ, на самый край скамьи и снялъ шапку.

Матрена принесла горячую сковородку, съ подрумяненными на ней розоватыми кусками шипящаго малороссійскаго сала. Затѣмъ она принесла нѣсколько ломтей полубѣлаго хлѣба и ласково сказала:

— Кушайте на здоровье.

Было это какъ-то особенно сочно сдѣлано, а Карташовъ, вспомнивъ обрядъ простого народа, снялъ шапку, положилъ ее рядомъ на скамью и перекрестился.

— А вы развѣ не будете ѣсть?—спросилъ Карташовъ.

— Нѣтъ, ужъ позвольте съ народомъ; ужъ такой порядокъ у насъ... Карташовъ принялся за сало и ѣлъ его за оба уха, какъ говорятъ хохлы.

Когда онъ кончилъ, ему поднесли миску щей, на тарелкѣ кашу, а на другой кусокъ вареной говядины съ мозговой костью.

— Нѣтъ, нѣтъ...—началь-было Карташовъ, но хозяинъ перебилъ его.

— Вы, господинъ начальникъ, нашъ начальникъ, и ваша обязанность пробовать ѣду рабочихъ, чтобы не было обмана или обиды со стороны хозяина работъ. Это ужъ такое заведеніе, и не нами выдуманно оно.

— Если такъ...—сказалъ Карташовъ и съѣлъ нѣсколько ложекъ щей съ кашей, нѣсколько кусковъ говядины, посыпая ее крупной солью и наконецъ, по настоянію хозяина, съѣлъ и мозгъ. Кончивъ Карташовъ сказалъ:

— Мяѣ совѣстно, закормили вы меня.

— Помилуйте, господинъ инженеръ, можно ли о такихъ пустякахъ говорить. Не обезсудьте и напередки: шутка сказать день деньской не ѣвши, а изъ-за насъ же.

Наступалъ обѣдъ, собрались рабочіе и слушали.

Карташовъ колебался, но прощаясь протянулъ руку рядчику. Рабочимъ далъ пять рублей на водку, а Матренѣ отдѣльно рубль. Этимъ онъ какъ бы расплатился за ѣду, но сознаніе, что этого все-таки не слѣдовало бы дѣлать, мучило его и, ѣдучи обратно, его одновременно начало грызть и тревожное сознаніе того, что онъ сдѣлалъ только-что на этомъ концѣ дистанціи, и того, что произошло ночью на другомъ ея концѣ.

Но постепенно дѣло снова захватило, тревожное состояніе исчезло. Все было важно, все было дорого и интересно. Каждая случайно встрѣченная и вновь купленная каруца съ лѣсомъ волновала и радовала такъ, какъ-будто все это было лично его, Карташова.

По дорогѣ его нагналъ троечный вмѣстительный тарантасъ, въ которомъ сидѣлъ инженеръ Даниловъ.

Даниловъ водой изъ Одессы проѣхалъ въ Букарестъ, оттуда въ Галацъ и затѣмъ уже на лошадахъ, проѣхавъ всю линію, возвращался въ Бендеры.

О своемъ проѣздѣ онъ никого не увѣдомлялъ, объясняя это тѣмъ, что встрѣча начальства отнимаетъ всегда много лишняго времени, а въ такой горячкѣ этого лишняго времени нѣтъ.

— Ну, что-жъ?—сказалъ Даниловъ, остановивъ лошадей и поздоровавшись съ Карташовымъ,—вы ко мнѣ пересѣсть не можете, такъ какъ тогда некому будетъ отвести вашу лошадь домой, такъ я къ вамъ пересяду.

Толстый Даниловъ кое-какъ усѣлся въ маленькой телѣжкѣ Карташова, а Карташовъ сдвинулся, чтобы дать ему мѣсто, на самый край.

Чтобы не задерживать Данилова, Карташовъ хотѣлъ-было, не останавливаясь на работахъ, ѣхать прямо, но Даниловъ настоялъ, чтобы все дѣлалось такъ, какъ всегда.

И Карташовъ останавливался, разбивалъ полотно

дороги или провѣрялъ разбивку, давалъ новыя выписки, дѣлалъ обрѣзы мостамъ.

По дорогѣ его останавливали молдаване съ каруцами лѣса, съ возами соломы. Онъ торговался, покупалъ и вмѣстѣ съ Даниловымъ ѣхалъ впереди этихъ каруцъ, указывая тѣ будки, гдѣ нуженъ былъ этотъ матеріалъ.

Однажды, когда Карташовъ купилъ возъ соломы, на горизонтѣ показался другой, и Карташовъ боялся, что пока онъ будетъ указывать продавшему, куда сваливать, тотъ другой, появившійся на горизонтѣ, ускользнеть отъ него.

Тогда Даниловъ предложилъ свои услуги и остался въ телѣжкѣ караулить подѣзжавшаго, въ то время, какъ Карташовъ, усѣвшись на купленный возъ, поѣхалъ съ молдаванами къ будкѣ.

Въ это время подѣхалъ къ Данилову и Сикорскій, и когда Карташовъ возвратился къ нимъ, и другой возъ былъ купленъ Даниловымъ на 25 коп. дешевле противъ назначенной Карташовымъ цѣны.

Затѣмъ Даниловъ пересѣлъ къ Сикорскому, и они уѣхали въ Заимъ, а Карташовъ продолжалъ свою обычную работу.

Когда къ десяти часамъ вечера Карташовъ наконецъ добрался домой и отправился въ контору, то оказалось, что Даниловъ уже уѣхалъ.

Сикорскій былъ въ духѣ и сказалъ Карташову съ обычной своей манерой, нехотя и вскользь, что Даниловъ остался доволенъ и работами и имъ, Карташовымъ.

Прощаясь, онъ разсказалъ, какъ Даниловъ побывалъ и на телеграфной станціи, какъ телеграфистка жаловалась на трудность безсмѣнной и днемъ и ночью работы, и какъ Даниловъ отвѣтилъ, чтобы по ночамъ телеграфистка не дежурила и что для ночныхъ работъ онъ пришлетъ телеграфиста. Карташову показалось, что Си-

корскій какъ-то особенно при этомъ смотрѣлъ на него, Карташова, и поторопился уйти, чтобы скрыть свое смущеніе.

Высоко въ небѣ опять свѣтилась луна, опять бѣлѣли домики, и опять на завалинкѣ сидѣла телеграфистка, Дарья Степановна Основская, куталась въ свою шаль и курила папирску.

И опять потянуло Карташова къ этой одинокой, беззащитной, на все готовой и въ то же время ничего не ищущей, фигуркѣ.

— Хотите, будемъ чай пить?—предложила Дарья Степановна.

И они вдвоемъ, такъ какъ при телеграфѣ не было и сторожа, стали ставить самоваръ, потомъ пили чай, а въ четыре часа утра, какъ и наканунѣ, Карташовъ пробѣжалъ опять къ себѣ, чтобы запрягать лошадь и ѣхать на линію.

И опять, доѣхавъ до конца дистанціи, онъ не могъ устоять отъ соблазна у рядчика Савельева и, рѣшительно отказавшись отъ остального, съѣлъ нѣсколько ломтиковъ горячаго, слегка поджареннаго сала.

Такъ и пошло изъ дня въ день. Карташовъ, какъ маятникъ, качался между этими двумя крайними пунктами своей дистанціи, между двумя соблазнами дня и ночи, всегда твердо зарекаясь устоять и всегда безсильный въ своихъ зарокахъ.

Однажды на работахъ, когда Карташовъ въ трехъ верстахъ отъ линіи разбивалъ водоемное зданіе, вдругъ къ нему подъѣхало нѣсколько экипажей.

Въ переднемъ экипажѣ, въ большой открытой коляскѣ, на заднемъ сидѣніи сидѣлъ инженеръ Савинскій и рядомъ съ нимъ маленькій, уже пожилой, съ сморщеннымъ лицомъ, господинъ.

На переднемъ сидѣніи возвышались Пахомовъ и Сикорскій.

Савинскій быстро вышелъ, радушно, съ манерой свѣт-

скаго человѣка, протянулъ Карташову руку и, пожимая ее, весело проговорилъ:

— Вотъ, наконецъ, гдѣ мы васъ поймали.

Въ это время осторожно и морщась сошелъ съ экипажа и маленькій пожилой господинъ въ котелкѣ, немного сдвинутомъ на затылокъ, и Савинскій дѣлая движеніе рукой въ сторону Карташова, сказалъ:

— Инженеръ Карташовъ.

На что маленькій пожилой господинъ протянулъ руку Карташову, такъ, какъ будто это стоило ему большого усилія или боли, и небрежно бросилъ:

— Самуилъ Поляковъ.

— Такъ вотъ онъ!—мелькнуло молніей въ головѣ Карташова, а Сикорскій въ то же время шепнулъ ему:

— Говорите ему Ваше Превосходительство.

— Вы что здѣсь дѣлаете?—бросилъ Поляковъ, устало оглядываясь.

— Разбиваю водопроводъ, Ваше Превосходительство.

— А гдѣ же вашъ экипажъ?

— Экипажъ на станціи, я пришелъ сюда нивелировкой и...

— Ну, такъ поѣдемъ съ нами тогда... Садитесь... Ну, на козлы къ намъ садитесь.

И Поляковъ полѣзъ назадъ въ экипажъ.

Карташова бросило въ жаръ и холодъ.

Этимъ предложеніемъ влѣзть на козлы точно хлыстомъ его вдругъ ударили по лицу.

Онъ былъ бы счастливъ, еслибы могъ вдругъ провалиться сквозь землю и навсегда.

Онъ мучительно искалъ выхода, рѣзкій отказъ напрашивался на языкъ, и онъ напрягалъ всѣ силы, чтобы удержаться, а между тѣмъ экипажъ уже трогался, и, съ отчаяніемъ въ душѣ, Карташовъ взобрался на козлы и сидѣлъ на нихъ растерянный, раздавленный, съ душой, охваченной ужасомъ, тоской, униженіемъ...

Ему казалось, что вся станція, когда они подъѣзжали, только на него и смотрѣла, исполнѣ понимая всю унижительность его положенія.

Какъ только вышли изъ экипажа, Карташовъ шепнулъ Сикорскому:

— Я сейчасъ же уѣзжаю. Скажите и выдумайте, что хотите Полякову, но не оставляйте меня, потому что иначе я наговорю ему такихъ дерзостей...

— За что?!

Въ это время къ Карташову подошелъ Савинскій.

— А я привезъ вамъ письма отъ вашихъ и корзинку,—передалъ ее Валеріану Андреевичу. Ваши здоровы всѣ, кланяются вамъ и ждутъ въ гости.

Карташовъ взялъ письмо, благодаря, старался улыбаться и при первой возможности скрылся. Сѣлъ въ свою телѣжку и, не оглядываясь, погналъ Румынку прочь отъ станціи.

Позднѣе обыкновеннаго возвратился Карташовъ въ тотъ день въ Заимъ, объѣзжая глухими дорогами, чтобы какъ-нибудь не встрѣтиться опять съ Поляковымъ и его свитой.

— И зачѣмъ онъ оторвалъ меня отъ работы? Мало у него свиты и безъ меня? Сколько въ нихъ, начиная съ самаго шефа, чванства? И отчего Данилова не было между ними? И какимъ смущеннымъ и маленькимъ казался Пахомовъ, вынужденный ѣздить на передкѣ!

И Карташовъ опять и опять переживалъ свое униженіе, и съ омерзѣніемъ, крѣпко отплевываясь, кричалъ въ темноту:

— Тварь!

Оставивъ лошадь дома, онъ пошелъ въ контору, со страхомъ вглядываясь въ ея окна и стараясь угадать, уѣхалъ ли Поляковъ.

Поляковъ уѣхалъ со всей свитой, но на столахъ конторы еще оставались слѣды обѣда, такъ какъ Сикорскій всѣхъ ихъ накормилъ.

Карташовъ никогда не видалъ Сикорскаго такимъ веселымъ.

— Эхъ вы!—встрѣтилъ онъ Карташова.—Ну, чего вы обидѣлись? Если Пахомовъ можетъ ѣхать на передкѣ, то почему вамъ не сѣсть на козлы? Вѣдь не на голову же Полякову посадить васъ... Совершенно напрасно, совершенно... Ну, слушайте: все-таки Поляковъ просилъ передать вамъ свою благодарность. Я сказалъ ему, что послалъ васъ по экстренному дѣлу... Вамъ назначено жалованье триста, съ уплатой съ самаго начала и прибавлено подъемныхъ еще пятьсотъ рублей...

Карташову было пріятно это и главнымъ образомъ, какъ вниманіе.

— А вотъ и ваша корзинка. Ну, теперь слушайте дальше: балластировку Поляковъ сдалъ мнѣ и вамъ отдѣльно...

— Какъ это?

— То-есть въ данномъ случаѣ мы сами являемся подрядчиками; намъ назначена цѣна двѣнадцать рублей кубъ и, такимъ образомъ, разница противъ того, во что это обойдется въ дѣйствительности, будетъ въ нашу пользу. Я уже собралъ кое-какія справки и думаю, что можетъ обойтись не дороже семи рублей, а можетъ быть даже шесть. Нужно всего четыре тысячи кубовъ, слѣдовательно, въ нашу пользу останется 24.000 рублей.

— Я рѣшительно отказываюсь отъ этого подряда.

— Почему?

Отвѣтъ былъ для Карташова совершенно ясенъ: служить, получать жалованье и въ то же время заниматься подрядомъ, контролерами котораго будутъ они же—было для него совершенно невозможнымъ.

Но такъ какъ Сикорскій уже очевидно изъявилъ свое согласіе, а можетъ быть и самъ попросилъ объ этомъ, то Карташовъ придумывалъ отвѣтъ, который не былъ бы обиднымъ.

— Видите, Валеріанъ Андреевичъ, вы—другое дѣло. Вы сами говорите, что вы, какъ заграничный инженеръ, вынуждены будете перейти на подряды. Что до меня, то подрядчикомъ я никогда въ жизни не буду. Я хочу только служить. Вы и берите этотъ подрядъ, а я всѣми силами помогу вамъ, но участвовать не буду. И для васъ же это лучше, потому что разъ я не заинтересованъ, то у васъ является пріемщикъ и при такихъ условіяхъ никто не заподозритъ меня въ пристрастіи, такъ какъ здѣсь я ни въ чемъ не заинтересованъ.

Сикорскій убѣждалъ Карташова, но тотъ остался при своемъ.

— Эхъ вы, — прощаясь, добродушно кивнулъ головой Сикорскій.

Смѣясь, онъ быстро коснулся панталонъ Карташова и трясъ ихъ сказалъ.

— Я вамъ предсказываю, что кромѣ такихъ штановъ у васъ никогда ничего въ жизни не будетъ...

Карташовъ тоже смѣялся, и радостный, веселый, шелъ къ себѣ домой. „И ничего нѣтъ больше, кромѣ этихъ штановъ и не надо“—радостно думалъ онъ, усаживаясь около ожидавшей его, по обыкновенію, Дарьи Степановны.

И она была такимъ же, какъ и онъ, и бездомнымъ и ничего другого не желавшимъ человѣкомъ, и Карташовъ больше уже не чувствовалъ угрызений совѣсти, сидя съ ней. Напротивъ, чувствовалъ себя налаженнымъ, веселымъ, удовлетвореннымъ.

— Вы что сегодня такой веселый?—спросила его Дарья Степановна. Карташовъ съ удовольствіемъ принялся рассказывать ей все случившееся за этотъ день съ нимъ.

Онъ такъ смѣшно изображалъ себя на козлахъ, что и онъ и Дарья Степановна смѣялись до-слезъ. Кончивъ, онъ вспомнилъ о корзинкѣ. Въ ней были орѣхи, персики, виноградъ.

Бла Дарья Степановна, Ёль Карташовъ и думалъ, что бы сказала его мать, если бы знала съ кѣмъ онъ Ёстъ это?

XVII.

Ко всему теперь прибавились еще заботы о пескѣ.

Для розысковъ мѣстонахожденій песка былъ назначенъ особый десятникъ, толстый, добродушный увалень съ виду, но очень расторопный на дѣлѣ. Фамилія его была Сырченко, и на видъ можно было дать ему не больше 25 лѣтъ. Онъ обладалъ какимъ-то особымъ чутьемъ разыскивать песокъ. И чѣмъ ближе онъ былъ къ линіи, тѣмъ больше радовался Сикорскій, такъ какъ за перевозку куба такого песку они платили молдаванамъ по рублю съ каждой версты.

Карташовъ страшно заинтересовался этими розысками и, беря уроки у Сырченко, все свое свободное время употреблялъ на поиски за пескомъ.

Онъ заглядывалъ во всѣ попутные овраги, гдѣ были обнажены наслоенія. Онъ возилъ съ собой лопату и, въ мѣстахъ, гдѣ были бугорки или приподнятость почвы, копалъ пробные шурфы. Особенно остро стояло дѣло относительно песку въ южной части дистанціи, къ сторонѣ Галаца, гдѣ на протяженіи пятнадцати погонныхъ верстъ никакихъ слѣдовъ песку не было. Однажды вечеромъ пріѣхалъ Сырченко и, безсильно разводя руками, сказалъ:

— Окончательно, Валеріанъ Андреевичъ, песку тамъ нѣтъ.

Лицо Сикорскаго собралось въ обычную гримасу, точно у него болитъ тамъ, внутри, и обиженнымъ голосомъ онъ сказалъ, опуская углы рта:

— Ну, тогда изъ всего подряда ничего не выйдетъ, потому что, то, что заработаемъ на одной половинѣ, приложимъ къ другой. И дай, Богъ, чтобы еще хуже не вышло.

Сырченко стоялъ, точно чувствовалъ себя виноватымъ. Да и Карташовъ испытывалъ то же самое, какъ будто и его упрекали въ нерадѣніи къ интересамъ Сикорскаго. Онъ поспѣшилъ уйти домой и все время только и думалъ, гдѣ бы найти песокъ. Онъ вдругъ вспомнилъ ту дорожку, по которой тогда возвращался въ лѣсъ и, уже понаторѣвшій въ опытахъ исканія, возстановивъ въ памяти мѣстность, онъ рѣшилъ завтра еще разъ проѣхать по той дорожкѣ.

Результатъ превзошелъ всѣ его ожиданія. Въ трехъ верстахъ отъ линіи, на срединномъ разстояніи отъ обоихъ концовъ, подъ полуаршиннымъ слоемъ чернозема, показался слой прекраснаго гравія, какой удалось разыскать только въ одномъ карьерѣ. Карташовъ копалъ въ разныхъ мѣстахъ и карьеръ опредѣлился длиною до шестидесяти сажень и шириною до двадцати. Оставалось выяснить залеганіе балласта вглубь.

— Если сажень глубины, — рассуждалъ Карташовъ, — то уже это составитъ 1.200 кубовъ не разрыхленнаго балласта, а вывезеннаго и полторы тысячи, то есть почти все количество.

Тутъ же на мѣстѣ Карташовъ опредѣлилъ процентъ глины. Для этого у него была стеклянная трубочка съ однимъ глухимъ концомъ. На трубочкѣ Карташовъ надѣлалъ алмазомъ для рѣзанія стекла дѣленія.

Въ трубочку онъ насыпалъ до ея половины вновь добытаго песка, а вмѣсто воды налилъ изъ фляжки холоднаго чаю, которымъ запивалъ свой завтракъ.

Примѣсей оказалось до восьми процентовъ.

Первоначально Сикорскій прибыльный процентъ назначилъ двѣнадцать, но потомъ поднялъ до пятнадцати и такимъ образомъ новый балластъ и въ этомъ отношеніи могъ быть названъ идеальнымъ.

Карташовъ такъ взволновался послѣ этого послѣдняго опредѣленія, что, набравъ полный платокъ гравія, рѣшилъ ѣхать прямо назадъ къ Сикорскому.

Сикорскаго онъ засталъ дома въ подштанникахъ и ночной рубашкѣ, въ жаркомъ разговорѣ съ полною молдаванкой. Сикорскій, самъ молдаванинъ родомъ, говорилъ съ молдаванами на ихъ родномъ языкѣ. Это такъ радовало молдаванъ, такъ было имъ пріятно, что Сикорскій буквально вилъ изъ нихъ какія только хотѣлъ веревки. Такъ, напримѣръ, главнѣйшая работа населенія, всякія перевозки—обходились на дистанціи Сикорскаго почти вдвое дешевле противъ другихъ мѣстъ линіи.

— Что случилось?—встревоженно спросилъ Сикорскій въ неурочный часъ явившагося Карташова.

— Какъ вамъ нравится этотъ балластъ?—спросилъ Карташовъ.

Сикорскій пригнулся къ столу, на который Карташовъ высыпалъ изъ платка гравій, и внимательно сталъ разсматривать его.

— Гдѣ вы нашли его?—не отрываясь, жадно, какъ золото, перебирая его рукой, спросилъ Сикорскій.

Карташову хотѣлось, чтобы Сикорскій сперва отвѣтилъ, какъ нравится качество балласта, но желая поскорѣ доставить пріятное, онъ залпомъ отвѣтилъ:

— Въ трехъ верстахъ отъ линіи, на равномъ разстояніи отъ конца дистанціи и послѣдняго разъѣзда.

Сикорскій, ничего не отвѣчая, только ниже пригнулся къ гравію.

— Какая вскрышка?

— Поль-аршина.

— Какая площадь?

— Около шестисотъ квадратныхъ сажень.

— Глубина залеганія?

— Вы ужъ многого захотѣли: конечно, не могъ опредѣлить.

— Надо будетъ сейчасъ взять нѣсколько рабочихъ и поѣдемъ.

Обратившись къ стоявшимъ молдаванамъ съ интересомъ слѣдившимъ за всей сценой, Сикорскій сказалъ:

— Ну, теперь дѣло мѣняется: песокъ нашли ближе. Кто хочетъ взять возку, пускай ѣдетъ сейчасъ за нами. И лопаты захватите.

Карташовъ отвелъ Машку домой и поѣхалъ вмѣстѣ съ Сикорскимъ на его тройкѣ.

За ними ѣхали три подводы съ десятью молдаванами. Такимъ образомъ и рабочихъ не пришлось брать.

Пріѣхавъ, Сикорскій внимательно осмотрѣлъ сдѣланный Карташовымъ шурфъ, осмотрѣлъ мѣстность и сказалъ:

— Площадь гораздо больше. Балластъ долженъ непременно выливиться въ томъ оврагѣ и вскрышка будетъ тамъ уже около сажени. Ёдемъ къ тому оврагу.

Оврагъ былъ довольно крутой и послѣ нѣсколькихъ ударовъ лопатами сталъ уже обнаруживаться песокъ.

Предположенія Сикорскаго совершенно оправдались: вскрышка, дѣйствительно, была до сажени, а пласть залеганія болѣе двухъ сажень.

Лицо Сикорскаго приняло сосредоточенное, важное, даже огорченное выраженіе. Онъ вынулъ кошелекъ, досталъ оттуда пять рублей и, передавая молдаванамъ, сказалъ:

— Вотъ вамъ деньги за труды и уѣзжайте домой: здѣсь не будемъ возить песокъ.

Молдаване, не ожидавшіе такого исхода, до того веселые, взяли, недоумѣвая, деньги, смолкли, сѣли на свои подводы и уѣхали.

Карташовъ еще болѣе недоумѣвалъ и растерянно, сконфуженно, спрашивалъ:

— Не годится развѣ?

Сикорскій молчалъ, слѣдя глазами за уѣзжавшими молдаванами. Когда они уже совсѣмъ скрылись, Сикорскій медленно обвелъ еще разъ глазами округу, прилегъ на траву и сказалъ Карташову:

— Садитесь.

Карташовъ присѣлъ и напряженно уставился въ своего шефа.

Сикорскій заговорилъ тихо, съ разстановками, какъ умирающій:

— Это не карьеръ, а золото... чистое золото, и значеніе такого балласта вы поймете и оцѣните не раньше года эксплуатаціи. Въ то время, какъ отъ мелкаго черезъ годъ и половины не останется, этотъ весь будетъ на-лицо. Въ то время, какъ въ мелкомъ шпала будетъ ѣздить взадъ и впередъ—потребуется на ремонтъ пути отъ одного до двухъ человѣкъ на версту,—для этого не понадобится и полчеловѣка. Съ такимъ балластомъ скорость можетъ быть доведена и до 60 верстъ въ часъ. За-границей только такой балластъ и допускается, а гдѣ его нѣтъ, тамъ употребляютъ щебенку, кубъ которой обходится до тридцати рублей. Вотъ какой это балластъ! Хватить его не только на 15 верстъ, но и на 150. И возить его не лошадьми надо, а желѣзной дорогой. Когда будетъ проведенъ путь, мы проложимъ сюда вѣтку и станемъ поѣздами вывозить. Больше двухъ рублей кубъ не обойдется и я сейчасъ же отдамъ распоряженіе Сырченко прекратить возку изъ всѣхъ карьеровъ, отстоящихъ далѣе трехъ верстъ отъ линіи и, во всякомъ случаѣ, вывозить не полное количество, съ такимъ расчетомъ, чтобы сверху былъ балластъ изъ этого карьера. О-о! Я головой теперь отвѣчаю, что на всей линіи равноѣ нашей дистанціи по балласту не будетъ.

Лицо Сикорскаго распустилось въ лукавую улыбку и уже веселымъ голосомъ онъ сказалъ:

— Ну, теперь расскажите мнѣ, какъ вы унюхали это золото.

Когда Карташовъ сообщилъ, Сикорскій, качая головой, сказалъ:

— Надо будетъ васъ какому-нибудь жиду сдать на

аренду: онъ вамъ будетъ платить изъ жилетнаго кармана жалованье, а вы ему будете набивать всѣ остальные его карманы чистымъ золотомъ.

Онъ поднялся, отряхнулъ свой костюмъ и сказалъ:

— Ну, а теперь ѣдемъ домой и я васъ накормлю и, разъ не хотите денегъ, напою шампанскимъ.

Онъ пошелъ къ экипажу и, оглядываясь, говорилъ:

— Да, за такой карьеръ можно выпить шампанскаго. И мы назовемъ его Карташовскимъ. Съ завтрашняго же дня поставлю здѣсь Сырченко съ рабочими пробивать траншею. Этотъ карьеръ мы будемъ разрабатывать уже по всѣмъ правиламъ искусства, и рыться, какъ свиньямъ, не позволю здѣсь, потому что это выгодноѣ, и всѣ — и Даниловъ и Пахомовъ — побываютъ на этомъ карьерѣ...

Когда сѣли въ экипажъ, Сикорскій весело ударилъ себя по дбу.

— Та-та-та! Слушайте! Первое, что надо сдѣлать, это — купить на мое имя этотъ карьеръ. Я сегодня же пошлю Сырченко разузнать, кому эта земля принадлежитъ, и куплю, въ крайнемъ случаѣ, арендную дѣть на двадцать и тогда пусть дорога покупаетъ этотъ карьеръ у меня. Вся его длина будетъ сажень триста, если даже ширина двадцать, въ чемъ я очень сомнѣваюсь, и двѣ глубины, то это составитъ на линіи не менѣе пятнадцати тысячъ кубовъ. Мнѣ надо три тысячи и, если дорога по рублю мнѣ заплатитъ за кубъ — за остальные, то уже это одно составитъ двѣнадцать тысячъ, но я головой отвѣчаю, что вдвое, втрое, больше.

Немного погодя, Сикорскій горячо говорилъ:

— Слушайте еще вотъ что. Сильвинъ, начальникъ сосѣдней къ Галацу дистанціи, говорилъ мнѣ, что у него совсѣмъ нѣтъ балласту и я предложу ему по два или по рублю пользы съ куба, съ тѣмъ, чтобы подрядъ онъ передалъ мнѣ.

Сикорскій засвисталъ.

— Это еще чистыхъ тридцать тысячъ въ карманѣ...

Онъ сосредоточенно покачалъ головой и опять съ миной умирающаго проговорилъ:

— Тысячъ до ста можно заработать!

Онъ энергично махнулъ рукой.

— Ну, тогда будьте вы всѣ, Поляковы, прокляты. О, тогда я буду чувствовать себя человѣкомъ! Да, вотъ и все въ жизни такъ: все только рубль и случай!

Карташовъ слушалъ, подавляя въ себѣ непріятное чувство, вызванное пробуждавшеюся корыстностью Сикорскаго, старался сосредоточиться на доставлявшемъ ему наслажденіе сознаніи, что онъ сегодня сдѣлалъ что-то очень важное и цѣнное. Съ какой завистью будетъ смотрѣть на него его учитель Сырченко!

Узнаютъ объ этомъ и въ Бендерахъ: узнаютъ и Петровъ, и Борисовъ, и Пахомовъ, и Даниловъ и окончательно упрочится его репутація дѣльнаго и толковаго работника.

И Карташовъ чувствовалъ приливъ къ сердцу теплой крови, ему было радостно и хорошо на душѣ. Онъ щурился отъ яркихъ лучей, смотрѣлъ въ далекую лазурь точно умытаго неба, щурился иногда такъ, что все небо это покрывалось золотыми искрами и переживалъ то состояніе, когда кажется, что нѣтъ уже тѣла, что все оно, и онъ самъ, растворились безъ остатка въ этой искрящейся радостной синевѣ.

Черезъ нѣсколько дней послѣ открытія новаго карьера Сикорскій сказалъ Карташову:

— Вотъ вамъ копія моего условія съ молдаванами относительно перевозки песку. Они должны складывать этотъ песокъ въ конуса. Размѣръ имъ дать такой, чтобъ въ каждомъ кубѣ было на десятую часть больше куба и такимъ образомъ каждый десятый кубъ будетъ у насъ бесплатнымъ.

Карташовъ слушалъ, стараясь не выдать своихъ мыслей, но ему было досадно и обидно за Сикорскаго. И безъ того съ cadaго куба оставалось въ его пользу

по 9 рублей и то, что онъ еще придумалъ, являлось въ глазахъ Карташова въ сущности обманомъ.

Но какъ ни старался скрыть свои мысли Карташовъ, Сикорскій былъ достаточно проницательнымъ, чтобы не прочесть ихъ на лицѣ Карташова.

— Здѣсь никакого обмѣра нѣтъ, потому что въ этомъ условіи мы платимъ не за кубъ, а за кубъ десять сотыхъ. Справедливо это и въ томъ отношеніи, что въ мирное время за эту же работу они взяли бы вдвое дешевле.

Сикорскій теперь увлекался только пескомъ и все остальное бросилъ на руки Карташова.

Карташовъ чувствовалъ себя полнымъ хозяиномъ на дистанціи и былъ радъ, вспоминая слова Сикорскаго, что въ ихъ дѣлѣ, кто палку взялъ—тотъ и кап-ралъ.

Теперь капраломъ на дистанціи былъ Карташовъ. Чувствовалъ это и онъ и всѣ. Подрядчики, рядчики стали еще почтительнѣе въ виду предстоявшихъ обмѣровъ работъ.

Съ каждымъ днемъ горячка спадала на линіи. Цѣлыми верстами уже, гдѣ прежде кучился народъ, были шумъ и крикъ, теперь опять было тихо и только узкой змѣйкой извивалась полоса готоваго полотна. Къ этому полотну везли шпалы и рельсы, шла укладка, и звонъ сбиваемыхъ накладками рельсовъ разносился далеко въ воздухѣ.

Но для Карташова работы не убавлялось. Надо было обмѣривать и учитывать все сдѣланное.

Крупный подрядчикъ земляныхъ работъ Ратнеръ, взявшій также и листовку и дерновку, вѣдучи съ Карташовымъ на обмѣръ, говорилъ ему:

— Слушайте меня, старика, Артемій Николаевичъ, что я вамъ скажу. Вы человѣкъ молодой, только-что начали, а я, слава Богу, посѣдѣлъ на этихъ работахъ. И слава Богу, никогда ни съ кѣмъ изъ инженеровъ

не вадорилъ. Вы нашихъ порядковъ не знаете, а порядки у насъ простые. Одинъ въ свой ротъ не забересть всего: дѣло это столько и мое, сколько и ваше. Ничего незаконнаго я отъ васъ не прошу, будьте только справедливы—и десять процентовъ ваши.

— Это какую сумму составить?—спросилъ Карташовъ.

— Это составить тысячь двадцать.

— Допустимъ, что я взялъ у васъ эти двадцать тысячь. Будемъ считать, что онѣ по пяти процентовъ въ годъ дадутъ мнѣ тысячу рублей. Но, если узнаютъ, что я взялъ у васъ эти деньги, меня прогонять и больше на службу не примутъ. Какой же мнѣ расчетъ, когда я уже получаю теперь 3600 руб. въ годъ?

— Во-первыхъ, никто же не узнаетъ...

— Вы первый расскажете... Теперь, конечно, нѣтъ, а когда дѣло кончится, вы скажете: за что этотъ чловѣкъ вытащилъ у меня изъ кармана двадцать тысячь? И вамъ будетъ досадно и вы всѣмъ скажете. Какъ же иначе всегда всѣ знаютъ: такой-то инженеръ воръ, а такой-то не воръ. Нѣтъ, г-нъ Ратнеръ, вы сами видите, что не выгодно для меня ваше предложеніе...

— А сколько же вы бы хотѣли?

Карташовъ разсмѣялся.

— Ну, миллионъ.

— Милліонъ? когда всего дѣла на триста тысячь?

И Ратнеръ презрительно разсмѣялся.

— Ну, вотъ видите,—сказалъ Карташовъ,— и не сойдется наше дѣло. А давайте лучше такъ: все, что законно, я вамъ и такъ сдѣлаю, а незаконнаго ни за какія деньги не сдѣлаю.

— А я о чемъ же прошу?—отвѣтилъ угрюмо Ратнеръ.

Какъ ни старался Карташовъ быть безпристрастнымъ при обмѣрѣ, Ратнеръ оставался недоволенъ и жаловался Сикорскому, требуя обмѣра въ присутствіи его, Сикорскаго.

Сикорскій съ унылымъ лицомъ выслушалъ Ратнера

и опустивъ углы рта книзу, сказалъ, разводя руками:
— Хорошо.

Карташовъ разсказалъ Сикорскому о предложеніи Ратнера.

— Я его проучу,—сказалъ угрюмо Сикорскій.

И дѣйствительно, по обмѣру Сикорскаго вышло на два процента меньше, чѣмъ у Карташова.

Ратнеръ только возмущенно развелъ руками.

А Сикорскій сказалъ ему:

— Утѣшьтеся тѣмъ, что это всего на три тысячи рублей и такимъ образомъ у васъ въ карманѣ осталось изъ тѣхъ денегъ, которыя вы предлагали, семнадцать тысячъ рублей.

— Я никому ничего не предлагалъ,—рѣзко отвѣтилъ Ратнеръ,—и буду жаловаться Полякову.

— Это ваше право, какъ право Полякова отдать вамъ хоть все свое состояніе.

— Ну, знаете, что я вамъ скажу,—говорилъ Ратнеръ пряча квитанцію,—отъ такихъ инженеровъ Поляковъ только разорится, потому что у такихъ инженеровъ могутъ работать только мошенники...

— Вонъ негодай!!!—Завопилъ вдругъ Сикорскій, бросаясь на Ратнера, но Ратнеръ былъ уже у дверей.

— Охъ, какъ испугался!—смѣрилъ онъ съ ногъ до головы маленькаго Сикорскаго и, выйдя, хлопнулъ дверь.

— Дайте телеграмму, чтобы сейчасъ же выслали сюда двухъ жандармовъ и пусть безсмѣнно дежурятъ здѣсь въ конторѣ.

Пришла очередь обмѣрять и рядчика Савельева.

Карташовъ, при всей своей неопытности, видѣлъ, что дѣло Савельева не изъ важныхъ. Кормилъ онъ своихъ работниковъ на-убой и въ этомъ отношеніи былъ выше всѣхъ подрядчиковъ. Но работы его были не изъ выгодныхъ,—мелкія насыпи, безъ выемокъ, гдѣ оплачивался каждый кубъ вдвойнѣ, почти безъ

дополнительныхъ работъ, какъ-то: нагорныя канавы, углубленія руслъ и проч.

Чѣмъ ближе подвигалось дѣло къ концу, тѣмъ грустнѣе становился Савельевъ, тѣмъ почтительнѣй становился онъ съ Карташовымъ, смотря на него съ мольбой и страхомъ.

Когда Карташовъ пріѣхалъ къ нему съ обмѣромъ, онъ, стоя безъ шапки, сказалъ съ отчаяніемъ:

— Вся надежда только на васъ.

Карташовъ смущенно отвѣтилъ:

— Я сдѣлаю все, что могу.

И началъ обмѣръ.

Цѣлый день продолжался обмѣръ. Уѣзжая Карташовъ сказалъ:

— Обмѣръ я передамъ завтра въ контору дистанціи.

А Савельевъ, какъ на молитвѣ, кивая головой, молилъ:

— Не оставьте несчастнаго, господинъ начальникъ.

Съ сжатымъ сердцемъ уѣхалъ отъ него Карташовъ, предчувствуя драму.

Пріѣхавъ домой, Карташовъ сейчасъ же засѣлъ за подсчетъ и еще въ тотъ вечеръ передалъ итоги Сикорскому.

Савельевъ на другой день явился за расчетомъ.

— Триста двѣнадцать кубовъ у васъ,—сказалъ ему Сикорскій,—по три рубля...

Савельевъ сдѣлался бѣлымъ, какъ мѣлъ, и даже качнулся.

— Помилюйте, господинъ начальникъ,—зашевелилъ онъ побѣлѣвшими губами,—за три мѣсяца харчей только вдвое больше вышло... Не можетъ этого быть: ошибка тутъ вышла...

Сикорскій сдѣлалъ гримасу и сказалъ:

— Вы что-жъ провѣрки хотите?

— Пусть сами Артемій Николаевичъ провѣрятъ:

они-жъ, навѣрно, не захотятъ обидѣть несчастнаго человѣка.

— Хорошо, я скажу ему.

Подъѣзжая въ тотъ вечеръ къ дому, Карташовъ увидѣлъ темную фигуру у своихъ дверей.

— Кто?

— Я, Савельевъ.

— Заходите.

Савельевъ вошелъ вслѣдъ за Карташовымъ въ темную комнату и повалился на колѣни.

— Не погубите, Артемій Николаевичъ, не погубите! Не можетъ быть, что всего триста кубовъ наработано. По народу не можетъ быть меньше тысячи кубовъ и то только-только въ чистую выйду...

— Встаньте, встаньте,—поднималъ его Карташовъ.

Но Савельевъ грузно сидѣлъ на своихъ колѣняхъ и продолжалъ:

— Я былъ у начальника дистанціи, онъ разрѣшилъ вамъ перемѣрить меня, я нарочито его самого не звалъ: не погубите, Артемій Николаевичъ! Вѣдь пропалъ я совсѣмъ!

— Я завтра же перемѣрю. Конечно, можетъ быть я и ошибся...

Савельевъ всталъ съ колѣнъ. Отъ отчаянія онъ перешелъ къ надеждѣ. Онъ заговорилъ облегченно:

— Охъ, ошиблись, ошиблись, Артемій Николаевичъ, и, Богъ дастъ, завтра все исправите.

Карташовъ протянулъ ему руку и вдругъ почувствовалъ въ своей рукѣ бумажку. Это была вчетверо сложенная десятирублевка.

Сердце его тоскливо сжалось.

— Нѣтъ, нѣтъ, г-нъ Савельевъ, не нужно, совершенно не нужно. Вотъ вамъ крестъ, что я и безъ этого сдѣлаю все, что могу.

Савельевъ растерянно прошепталъ:

— Простите Христа ради,—и вышелъ изъ комнаты. Тяжелое, тоскливое волненіе охватило Карташова.

— Самъ виновать, самъ виновать,—твердилъ онъ въ отчаяніи, идя къ Сикорскому.

— Савельевъ недоволенъ вашимъ обмѣромъ,—сказалъ ему Сикорскій.

— Это такая ужасная исторія...

И Карташовъ разсказалъ, какъ онъ изо дня въ день одоужался у Савельева саломъ.

Сикорскій мрачно слушалъ.

— Ахъ, какъ нехорошо,—сказалъ онъ, когда Карташовъ кончилъ.

Онъ покачалъ головой и досадно повторилъ:

— Очень некрасивая исторія.

Карташовъ сидѣлъ, переживая отвратительное чувство униженія.

— Сколько приблизительно могли вы съѣсть у него сала?

— Я не знаю... Мѣсяца два я ѣлъ каждый день по нѣсколько ломтиковъ.

— Фунтъ въ день?

— Не думаю.

— Будемъ считать фунтъ, будемъ вдвое дороже считать: по двадцать копеекъ за фунтъ,—двѣнадцать рублей. Заплатите ему тридцать, пятьдесятъ рублей заплатите. Сдѣлайте завтра новый обмѣръ, а тамъ завтра я въ вашемъ присутствіи произведу съ нимъ расчетъ. Ай, ай, ай...

Долго еще качалъ головой Сикорскій.

Уйдя отъ Сикорскаго, Карташовъ обходной дорогой, чтобъ не проходить мимо Дарьи Степановны, пробрался прямо къ себѣ.

Не зажигая свѣчи, онъ раздѣлся и легъ, торопясь поскорѣе уснуть. Но сонъ бѣжалъ отъ него. Чувство обиды и раздраженія все усиливалось. Сердился онъ и на себя и на Сикорскаго, такъ строго отнесшагося

къ нему. Но подъ обидой и гнѣвомъ, непріятнѣ всего было чувство униженія. Что-то давно забытое, давно пережитое напоминало оно ему. И вдругъ онъ вспомнилъ и мучительно пережилъ далекое прошлое.

Онъ былъ тогда гимназистомъ перваго класса. По случаю весенней распутицы онъ жилъ тогда въ городѣ и только по субботамъ ѣздилъ домой, возвращаясь въ понедѣльникъ въ городъ. Жилъ онъ у брата отца, угрюмаго сановитаго холостяка, занимавшаго большую квартиру въ первомъ этажѣ на главной улицѣ. Громадныя венеціанскія окна выходили на улицу и онъ отчетливо помнилъ себя въ этой квартирѣ съ высокими комнатами, маленькаго, затеряннаго въ ней, всегда одинокаго, такъ какъ дядя или не бывалъ дома, или сидѣлъ въ своемъ кабинетѣ.

Онъ помнилъ себя сидящимъ на подоконникѣ этихъ громадныхъ оконъ, какъ смотрѣлъ онъ на проходящихъ, какъ слушалъ шарманку, какъ тоскливо замирали ея послѣднія высокія ноты въ влажномъ воздухѣ.

Какъ-то въ понедѣльникъ отецъ далъ ему рубль на покупку учебника ариѣметики, стоившаго 35 коп. До субботы остальные 65 коп. оставались у него въ карманѣ. А соблазновъ было такъ много. Къ пяти часамъ вечера его начиналъ мучить обыкновенно голодъ. Онъ очень любилъ швейцарскій сыръ, любилъ французскія булки, особенныя—съ двойнымъ животикомъ, слегка соленныя. И онъ покупалъ и этотъ сыръ, и эти булки и, сидя на подоконникѣ, съѣдалъ ихъ, смотря на прохожихъ, слушая музыку и мучаясь въ то же время сознаниемъ растраты. Къ субботѣ на послѣдній пятакъ онъ купилъ альвачику, а чтобъ скрыть растрату, стеръ цѣну на обложкѣ, протеръ обложку въ этомъ мѣстѣ пальцемъ насквозь, а снизу подклеилъ синюю бумажку, на которой написалъ „1 рубль.“ Чернила расплзлись и „1“ распухъ и перьями разошелся во всѣ стороны. Можетъ быть отецъ такъ и не вспомнилъ бы, но онъ

самъ только и думалъ объ этомъ и, поздоровавшись, сейчасъ же вынулъ изъ сумки учебникъ, въ доказательство, что онъ дѣйствительно стоитъ рубль, и передавая учебникъ, ему уже стало вполне яснымъ, что подлогъ не можетъ не обнаружиться. Какъ могъ онъ за мгновеніе до этого думать, что никто и не догадается объ этомъ, онъ самъ не понималъ. И теперь ему было совершенно ясно, что надо было просто признаться во всемъ. И, несмотря на все это, онъ на вопросъ отца, почему это такъ странно обозначена цѣна, отвѣтилъ, что онъ не знаетъ, но что онъ заплатилъ за учебникъ рубль. Сверхъ обыкновенія, отецъ не вспыхнулъ и только какъ-то загадочно замолчалъ. Это молчанье болѣзненной тревогой охватило душу Тѣмы и онъ напряженно ждалъ. Онъ ждалъ, что мать заговорить съ нимъ. Только въ воскресенье утромъ мать спросила его, оставшись съ нимъ наединѣ: „Тѣма, ты дѣйствительно заплатилъ рубль?“ „Да, мама“, — горячо и увѣренно отвѣтилъ Тѣма въ то время, какъ сердце его усиленно заколотилось въ груди и кровь прилила къ лицу. И опять больше ничего, и весь день тревога не улеглась въ его душѣ. Онъ берегъ эту тревогу, былъ какъ-то задорно развязанъ съ сестрами и въ то же время почему-то находилъ въ себѣ сходство съ тѣми арестантами, которые подъ конвоемъ солдатъ чинили улицы. И отъ этого сравненія и отъ какого-то особеннаго молчанія матери и отца еще тревожнѣе становилось у него на душѣ, а къ вечеру онъ совсѣмъ упалъ духомъ и, сидя на окнѣ, тоскливо смотрѣлъ на знакомый закатъ, тамъ, гдѣ-то, за голыми еще деревьями, опускавшася солнца, гдѣ въ лучахъ его ярко горѣли окна какого то зданія. Тогда, въ дѣтствѣ, няня рассказывала, что это волшебный дворецъ, что тамъ спитъ его принцесса и когда онъ вырастетъ, онъ придетъ къ ней и разбудить ее. И вотъ теперь онъ выросъ и сдѣлался воромъ и не ему, конечно, теперь ужъ мечтать о принцессахъ.

Съ такимъ же тоскливымъ чувствомъ проснулся онъ и въ понедѣльникъ и сердце его мучительно ёкнуло, когда въ столовой онъ увидѣлъ совсѣмъ одѣтаго отца. Очевидно, отецъ ѣдетъ съ нимъ. Куда?! Можетъ быть въ полицію, гдѣ его сейчасъ и посадятъ въ тюрьму. Отецъ вышелъ, молча сѣлъ въ дрожки рядомъ съ сыномъ, и только, когда въѣхали въ городъ, спросилъ сына:

— Въ какомъ магазинѣ ты покупалъ учебникъ?

Сдѣлавъ усиліе, Тёма хрипло, упавшимъ голосомъ, назвалъ магазинъ. Такъ вотъ куда ѣдетъ съ нимъ отецъ. Неужели отецъ рѣшится войти съ нимъ въ магазинъ и спрашивать то, что и безъ того уже ясно?

Когда экипажъ остановился, отецъ, уже у дверей самаго магазина, спросилъ сына:

— Въ послѣдній разъ тебя спрашиваю, сколько стоитъ учебникъ?

Вихремъ закружились всѣ мысли въ головѣ Тёмы, сперлось дыханіе и захотѣлось плакать, но едва слышнымъ голосомъ онъ отвѣтилъ:

— Рубль.

Дверь шумно распахнулась и въ магазинъ вошелъ старикъ Карташовъ, высокій, въ николаевской шинели, бритый, съ нафабранными черными усами, съ прической на виски, а за нимъ съезжившійся, растерянный, приговоренный уже, маленькій гимназистикъ. Мучительно тянулись мгновенья, когда маленькій, серьезный хозяинъ магазина въ золотыхъ очкахъ, въ бѣломъ галстукѣ, внимательно разсматривалъ поданный ему учебникъ. Такой же серьезный и угрюмый стоялъ передъ нимъ генералъ Карташовъ.

— Всѣ приказчики на-лицо,—заговорилъ, наконецъ, тихо хозяинъ и, поднявъ глаза, спросилъ Тёму:

— Кто именно вамъ продалъ эту книгу?

Тёма отвѣтилъ:

— Одинъ мальчикъ.

— Мальчики у насъ не продають.

Тёма молчалъ, потушившись.

— У насъ есть мальчики, но собственно, къ продажѣ они никакого отношенія не имѣють,—пояснилъ хозяинъ генералу.

Затѣмъ онъ обратился къ одному изъ приказчиковъ и сказалъ:

— Позовите сюда всѣхъ мальчиковъ.

Пришли четыре мальчика въ бѣлыхъ фартукахъ и стали въ рядъ.

— Кто-нибудь изъ нихъ?—спросилъ у Тёмы хозяинъ.

Мальчики бойко и загадочно смотрѣли на Тёму. Тёма тоскливо посмотрѣлъ на нихъ и тихо отвѣтилъ:

— Нѣтъ.

— Больше никого изъ служащихъ въ магазинъ нѣтъ,—холодно сказалъ хозяинъ.

И опять наступило страшное томительное молчаніе. Пригнувшись, Тёма ждалъ, самъ не зная чего.

— Вонъ негодяй! Въ кузнецы отдамъ!—загремѣлъ голосъ отца, и въ слѣдующее мгновеніе, сопровождаемый такимъ подзатыльникомъ, отъ котораго шапка Тёмы упала на панель, Тёма очутился на улицѣ.

Видятъ все это и изъ магазина, видятъ и Еремѣи на козлахъ и всѣ прохожіе, остановившіеся и смотрѣвшіе съ любопытствомъ.

Отецъ сѣлъ въ экипажъ и уѣхалъ, не удостоивъ больше ни однимъ словомъ сына.

Съ вытаращенными глазами, [красный, какъ ракъ, съ грязной фуражкой на головѣ, какъ пьяный, въ полусознаніи, поплелся Тёма въ гимназію. И вдругъ бѣшеная злоба на отца охватила его. Онъ громко шепталъ: „ты самъ негодяй, ты дуракъ, я тебя не просилъ быть моимъ отцомъ и, если бъ меня спросили кто я хочу быть, я захотѣлъ бы быть однимъ изъ тѣхъ мальчиковъ въ магазинъ, которые смотрятъ весело, безъ страха и никого не боятся, какъ я, какъ

будто все время около меня страшная змѣя, которая сейчасъ укуситъ меня!“

Онъ шелъ дальше, и громче и бѣшенѣе бормоталъ:

— А и дуракъ, точно мама позволить ему отдать меня въ кузнецы, хотя бы я былъ бы очень радъ навсегда отдѣлаться отъ такого удава, какъ ты. Ахъ, еслибъ ты зналъ, какъ я ненавижу, ненавижу, ненавижу тебя...

И какъ теперь, такъ и тогда, подъ этимъ бѣшенствомъ и злобой на отца еще сильнѣе владѣло душой чувство безконечнаго униженія и стыда.

Въ тотъ день онъ уже не ѣлъ швейцарскаго сыра. Приѣхавшая къ нему мать застала его спящимъ. Она сидѣла надъ своимъ сыномъ, зная его манеру спать съ горя, когда Тема вдругъ сталъ возбужденно кричать во снѣ: „папа подлецъ, папа подлецъ“...

Мать разбудила его и, сидя на диванѣ, Тема сперва ничего не понималъ, а когда понялъ, то разразился горькими рыданіями, между которыми, всхлипывая и задыхаясь, рассказалъ, какъ и на что онъ растратилъ злополучныя деньги.

На другой день Карташовъ опять весь день обмѣривалъ Савельева, а вечеромъ подсчитывалъ.

Вышло 318 кубовъ.

Утромъ Савельевъ явился въ контору.

Сикорскій съ обычной гримасой презрѣнія сообщилъ ему результатъ и вынулъ 967 рублей.

— А вотъ еще пятьдесятъ рублей отъ инженера Карташова, за сѣдненное у васъ сало.

— За какое сало?—спросилъ, какъ обожженный, Савельевъ.—За что такая обида еще? Разорили чело-вѣка и надсмѣялись еще.

Онъ порывисто схватилъ 917 руб. и, не трогая 50, пошелъ къ дверямъ.

— Жандармъ,—сказалъ Сикорскій,—возьмите эти 50 р. въ пользу Краснаго Креста отъ г. Савельева.

Савельевъ, уже въ дверяхъ, не поворачиваясь, только досадливо рукой махнулъ.

Возвратившись въ свои балаганы, онъ разсчиталъ всѣхъ рабочихъ и отправилъ, а самъ ночью повѣсился, оставивъ неграмотную записку: „погибаю невинно, заплатите, по крайности, мяснику заборъ четыреста двѣнадцать рублей. Савельевъ“.

Когда Сикорскій прочелъ эту записку, онъ сухо сказалъ Карташову:

— Какимъ же образомъ дорога можетъ заплатить?

— Я заплачу, — съ горечью сказалъ Карташовъ.

— Это ваше дѣло, — холодно отвѣтилъ Сикорскій, передавая записку жандарму и говоря ему:

— Распорядитесь похоронами, гробъ закажите, яму выгребите, крестъ.

— Нанять священника, какъ прикажете?

— Пойдите, спросите священника.

— Пожалуйста, изъ моихъ денегъ 412 р. передайте жандарму, — сказалъ Карташовъ, вставая и уходя изъ конторы.

Жандармъ ушелъ къ священнику. Немного погодя онъ возвратился и, вытянувшись, держа передъ собой фуражку, сказалъ:

— Такъ что священникъ отказывается, какъ самоубійца они.

— Ну, тогда безъ священника.

(Продолженіе въ слѣдующемъ сборникѣ).

ih.

